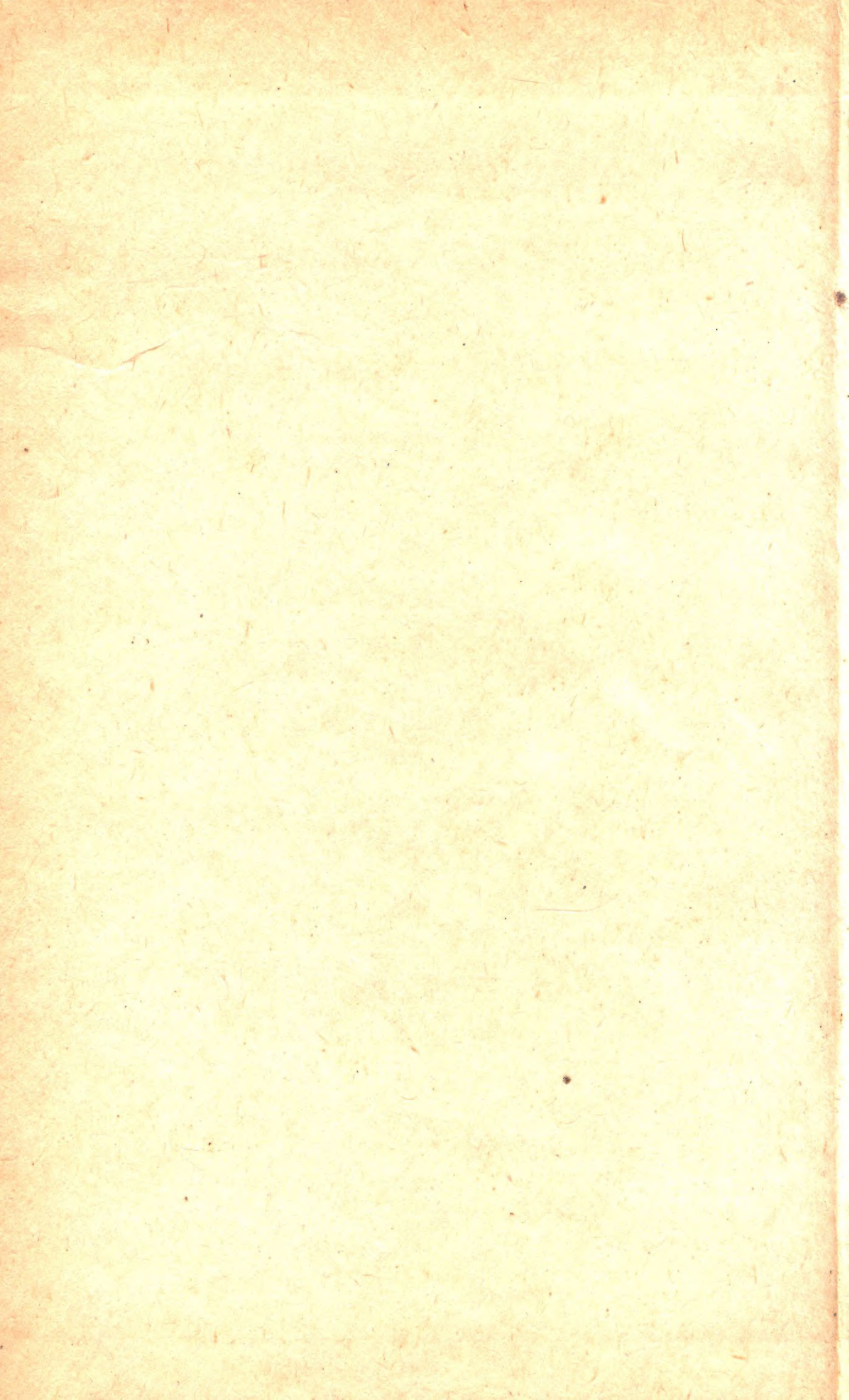
СТРУГАЦКИЕ

1 ХРОМАЯ СУДЬБА

2 ХИЩНЫЕ ВЕЩИ ВЕКА







Аркадий Стругацкий,
Борис Стругацкий

Хромая судьба
Хищные вещи века

Фантастические повести

Москва «Книга» 1990

ББК 84Р-7
С 87

С $\frac{4702010201-076}{002(01)-90}$ Без объявл.

ISBN 5-212-00171-4

Хромая судьба

Как пляшет огонек!
Сквозь запертые ставни
Осень рвется в дом.

Райдзан

Авторы считают своим долгом предупредить читателя, что ни один из персонажей этой повести не существует (и никогда не существовал) в действительности. Поэтому возможные попытки угадать, кто здесь есть кто, не имеют никакого смысла. Точно так же являются вымышленными все упомянутые в этой повести учреждения, организации и заведения.

1. Феликс Сорокин. Пурга

В середине января, примерно в два часа пополудни, я сидел у окна и, вместо того чтобы заниматься сценарием, пил вино и размышлял о нескольких вещах сразу. За окном мело, машины боязливо ползли по шоссе, на обочинах громоздились сугробы, и смутно чернели за пеленой несущегося снега скопления голых деревьев и щетинистые пятна и полосы кустарника на пустыре.

Москву заметало.

Москву заметало, как богом забытый полустанок где-нибудь под Актюбинском. Вот уже полчаса посредине шоссе буксовало такси, неосторожно попытавшееся здесь развернуться, и я представлял себе, сколько их буксует сейчас по всему огромному городу — такси, автобусов, грузовиков и даже черных блестящих лимузинов на шипованных шинах.

Мысли мои текли в несколько этажей, лениво и вяло перебивая друг друга. Думал я, например, о дворниках. О том, что до войны не было бульдозеров, не было этих звероподобных, ярко раскрашенных снегоочистителей, снегоотбрасывателей, снегозагребателей, а были дворники в фартуках, с метлами, с квадратными фанерными лопатами. В валенках. А снега на улицах, помнится, было не в пример меньше. Может быть, правда, стихии были тогда не те...

Еще думал я о том, что в последнее время то и дело случаются со мной какие-то унылые, нелепые, подозрительные даже происшествия, словно тот, кому надлежит ведать моей судьбою, совсем одурел от скуки и принялся кудесить, но только дурак он, куда деваться?— и кудеса у него получаются дурацкие, такого свойства, что ни у кого, даже у самого шутника, никаких чувств не вызывают, кроме неловкости и стыда с поджиманием пальцев в ботинках.

И за всем этим не переставал я думать о том, что вот стоит рядом отодвинутая вправо моя пишущая машинка марки «типпа» с заедающей от рождения буквой «з», и вставлена в нее незаконченная страница, и на странице читается:

«...Башни танков повернуты влево, они бьют из пушек по партизанским позициям, бьют методично, по очереди, чтобы не мешать друг другу пристреливаться. За башней переднего танка сидит на корточках Рудольф, командир танкистов, лейтенант СС. Он — мозг — дирижер этого оркестра смерти — жестами отдает команды идущим позади эсэсовским автоматчикам. Партизанские пули щелкают по броне, разбрызгивают грязь вокруг гусениц, вздымают столбики воды в темных лужах.

Передовой секрет партизан, крошечный окопчик у берега болота. Двое партизан — старик и молодой — растерянно глядят на приближающиеся танки. Банг! Банг! Банг!—удары танковых пушек».

Мне пятьдесят шесть лет, но я никогда не был в партизанах, и под танковую атаку мне попасть тоже не довелось. А ведь, строго говоря, я должен был погибнуть на Курской дуге. Все наше училище погибло там, остались только: Рафка Резанов без обеих ног, Вася Кузнецов из пулеметного батальона и я, минометчик.

Нас с Кузнецовым за неделю до выпуска откомандировали в Куйбышев в ВИП. Видно, тот, кому надлежало ведать моей судьбой, был тогда еще полон энтузиазма по моему поводу, и ему хотелось посмотреть, что из меня может получиться. И получилось, что всю свою молодость я провел в армии и всегда считал своей обязанностью писать об армии, об офицерах, о танковых атаках, хотя с годами все чаще мне приходило в голову: именно потому, что жив я остался по совершенной случайности, мне-то как раз и не следовало обо всем этом писать.

Вот так я подумал сейчас, глядя в окно на заметаемый Третий Рим, и я взял стакан и сделал хороший глоток. Около буксующего такси засело теперь еще две машины, и бродили там, пригибаясь в метели, тоскливые фигуры с лопатами.

Я стал смотреть на полки с книгами.

Боже мой, внезапно подумал я, ощутив холод в сердце, ведь это же, конечно, последняя моя библиотека!

Больше библиотек у меня уже не будет. Поздно. Эта моя библиотека пятая и теперь уже последняя. От первой осталась у меня только одна книга, ныне сделавшаяся библиографической редкостью: П. В. Макаров. «Адъютант генерала Май-Маевского». По этой книге недавно отснят был телевизионный сериал «Адъютант его превосходительства», картина неплохая, и даже хорошая, только вот с самой книгой она почти не соотносится. В книге все куда серьезней и основательней, хотя приключений и подвигов куда как меньше. Этот Павел Васильевич Макаров был, как видно, значительным человеком, и приятно читать на обороте титульного листа дарственную надпись, сделанную химическим карандашом: «Дорогому товарищу А. Сорокину. Пусть эта книга послужит памятью о живой фигуре адъютанта ген. Май-Маевского зам. командира Крымской Повстанческой. С искренним партизанским приветом П. В. Макаров. 6 IX 1927 года, г. Ленинград». Могу себе представить, как дорожил, наверное, этой книгой отец мой Александр Александрович Сорокин. Впрочем, ничего этого я не помню. И совершенно не помню, как книга ухитрилась уцелеть, когда дом наш в Ленинграде разбомбило и первая библиотека погибла вся.

От второй же библиотеки ничего не осталось вообще. Я собрал ее в Канске, где два года, до самого скандала со мной, преподавал на курсах. По обстоятельствам выезд мой из Канска был стремительным и управлялся свыше — решительно и непреклонно. Упаковать книги мы с Кларой тогда успели и даже успели их отправить малой скоростью в Иркутск, но мы-то с Кларой в Иркутске пробыли всего два дня, а через неделю были уже в Корсакове, а еще через неделю уже плыли на тральщике в Петропавловск, так что вторая библиотека моя так меня и не нашла.

До сих пор жалко, сил нет. Там у меня были четыре томика «Тарзана» на английском, которые я купил во время отпуска в букинистическом, что на Литейном в Ленинграде; «Машина времени» и сборник рассказов Уэллса из приложения ко «Всемирному следопыту» с иллюстрациями Фитингофа; переплетенный комплект «Вокруг света» за 1927 год... Я страстно любил тогда чтение такого рода. А было еще во второй моей библиотеке несколько книг с совершенно особенной судьбой.

В пятьдесят втором году по Вооруженным Силам вышел приказ списать и уничтожить всю печатную про-

дукцию идеологически вредного содержания. А в книгохранилище наших курсов свалена была трофейная библиотека, принадлежавшая, видимо, какому-то придворному маньчжоугоского императора Пу И. И конечно же, ни у кого не было ни желания, ни возможности разобраться, где среди тысяч томов на японском, китайском, корейском, английском и немецком языках, где в этой уже приплесневевшей груде агнцы, а где козлища, и приказано было списать все целиком.

...Был разгар лета, и жара стояла, и корчились переплеты в жарких черно-кровавых кучах, и чумазые, как черти в аду, курсанты суетились, и летали над всем расположением невесомые клочья пепла, а по ночам, невзирая на строжайший запрет, мы, офицеры-преподаватели, пробирались к заготовленным на завтра штабелям, хищно бросались, хватали, что попадало под руку, и уносили домой. Мне досталась превосходная «История Японии» на английском языке, «История сыска в эпоху Мэйдзи»... а-а, все равно ни тогда, ни потом не было у меня времени все это толком прочитать.

Третью библиотеку я отдал Паранайскому дому культуры, когда в пятьдесят пятом году возвращался с Камчатки на материк.

И как это я тогда решился подать рапорт об увольнении? Ведь я был никто тогда, ничего решительно не умел, ничему не был обучен для гражданской жизни, с капризной женой и золотушной Катькой на шее... Нет, никогда бы я не рискнул, если бы хоть что-нибудь светило мне в армии. Но ничего не светило мне в армии, а ведь был я тогда молодой, честолюбивый, страшно мне было представить себя на годы и годы вперед все тем же лейтенантом, все тем же переводчиком, все в той же дивизии.

Странно, что я никогда не пишу об этом времени. Это же материал, который интересен любому читателю. С руками бы оторвал это любой читатель, в особенности если писать в этакой мужественной современной манере, которую я лично уже давно терпеть не могу, но которая почему-то всем очень нравится. Например:

«На палубе «Коньэй-мару» было скользко, и пахло испорченной рыбой и квашеной редькой. Стекла рубки были разбиты и заклеены бумагой...»

(Тут ценно как можно чаще повторять «были», «был», «было». Стекла были разбиты, морда была перекошена...)

«Валентин, придерживая на груди автомат, пролез в рубку. «Сэнтё, выходи»,— строго сказал он. К нам вылез шкипер. Он был старый, сгорбленный, лицо у него было голое, под подбородком торчал редкий седой волос. На голове у него была косынка с красными иероглифами, на правой стороне синей куртки тоже были иероглифы, только белые. На ногах шкипера были теплые носки с большим пальцем. Шкипер подошел к нам, сложил руки перед грудью и поклонился. «Спроси его, знает ли он, что забрался в наши воды»,— приказал майор. Я спросил. Шкипер ответил, что не знает. «Спроси его, знает ли он, что лов в пределах двенадцатимильной зоны запрещен»,— приказал майор.

(Это тоже ценно: приказал, приказал, приказал...)

Я спросил. Шкипер ответил, что знает, и губы его раздвинулись, обнажив редкие желтые зубы. «Скажи ему, что мы арестовываем судно и команду»,— приказал майор. Я перевел. Шкипер часто закивал, а может быть, у него затряслась голова. Он снова сложил ладони перед грудью и заговорил быстро и неразборчиво. «Что он говорит?»— спросил майор. Насколько я понял, шкипер просил отпустить шхуну. Он говорил, что они не могут вернуться домой без рыбы, что все они умрут с голода. Он говорил на каком-то диалекте, вместо «ки» говорил «кси», вместо «цу» говорил «ту», понять его было очень трудно...»

Иногда мне кажется, что такое я мог бы писать километрами. Но скорее всего это не так. На километры можно тянуть лишь то, к чему вполне равнодушен.

Через неделю, когда мы расставались, шкипер подарил мне томик Кикутикана и «Человек-тень» Эдогавы. Вон они стоят рядышком, Паранайскому дому культуры они были ни к чему. «Человек-тень» — первая японская книга, которую я прочитал от начала до конца. Нравится мне Хираи Таро, недаром он взял такой псевдоним: Эдогава Рампо — Эдгар Аллан По...

А четвертая библиотека осталась у Клары. И господь с ними обеими. Зря, ох, зря заезжаю я сейчас в эту область. Сколько раз давал я зарок даже мысленно не относиться к тем, кто полагает себя мною униженными и оскорбленными. Я и так вечно кому-то что-то должен, не исполнил что-то обещанное, подвел кого-то, разрушил чьи-то планы... и уж не потому ли, что вообразил себя великим писателем, которому все дозволено?

И стоило мне вспомнить об этом моем неизбывном окаянстве, как тут же зазвонил телефон, и председатель наш Федор Михеич с легко различимым раздражением в голосе осведомился у меня, когда я, наконец, намерен съездить на Банную.

Что за разгильдяйство, Феликс Александрович, говорил он мне. В четвертый раз я тебе звоню, говорил он, а тебе все как об стену горох. Ведь не гоняют же тебя, бумагомараку, говорил он, на овощехранилище свеклу гнилую перебирать. Ученых, докторов наук гоняют, говорил он, а тебя всего-навсего-то просят что съездить на Банную, отвезти десять страничек на машинке, которые рук тебе не оторвут. И не для развлечения это делается, говорил он мне, не по чьей-то глупой воле, сам же ты голосовал за то, чтобы помочь ученым, лингвистам этим, кибернетикам-математикам... не исполнил... подвел... разрушил... вообразил себя...

Что оставалось мне делать? Я снова пообещал, что съезжу, сегодня же съезжу, и с лязгом и дребезгом гневно-укоризненным швырнули трубку на том конце провода. А я торопливо вылил из бутылки остатки вина в стакан и выпил, чтобы успокоиться, подумав с отчаянной отчетливостью, что не вина этого паршивого надо было купить мне вчера, а коньяка. Или, еще лучше, пшеничной водки.

Дело же было в том, что еще прошлой осенью наш секретариат решил удовлетворить просьбу некоего Института лингвистических, кажется, исследований, чтобы все московские писатели представили в Институт этот по нескольку страничек своих рукописей на предмет специальных изысканий, что-то там насчет теории информации, языковой какой-то энтропии... Никто у нас этого толком не понял, кроме разве Гарика Аганяна, который, говорят, понял, но втолковать все равно никому из нас не сумел. Поняли мы только, что требуется этому Институту как можно больше писателей, а все остальное было неважно: сколько страниц — неважно; какие именно страницы и чего — тоже неважно; требуется только сходить к ним на Банную в любой рабочий день, прием с девяти до пяти. Возражений ни у кого тогда не оказалось, многие, наоборот, были даже польщены поучаствовать в научно-техническом прогрессе, так что, по слухам, первое время на Банной были даже очереди и даже со скандалами. А потом все как-то сошло на нет, забылось как-то, и теперь вот бедняга Федор Ми-

хеевич раз в месяц, а то и чаще, теребит нас, нерадивых, срамит и поносит по телефону и при личных встречах.

Конечно, ничего нет хорошего лежать бревном на пути научно-технического прогресса, а с другой стороны — ну, люди ведь мы, человеки: то я оказываюсь на Банной и вспоминаю же, что надо бы зайти, но нет у меня с собой рукописи; то уже и рукопись, бывало, под мышкой, и направляюсь я именно на Банную, а оказываюсь странным каким-то образом не на Банной, а наоборот, в Клубе. Я объясняю все эти загадочные девиации тем, что невозможно, по-моему, относиться к этой затее, как и ко множеству иных затей нашего секретариата, с необходимой серьезностью. Ну какая, в самом деле, может быть у нас на Москве-реке языковая энтропия? А главное, при чем здесь я?

Однако же податься некуда, и я принялся искать папку, в которую, помнится, сложил черновики на позапрошлой неделе. Нигде на поверхности папки не было, и тут я вспомнил, что тогда намеревался зайти на Банную из «Зарубежного инвалида», куда отправился с Кап-Капычем к Нос-Носычу ругаться из-за статьи. Но на обратном пути из «Инвалида» мы на Банную не попали, а попали мы все в ресторан «Псков». Так что искать теперь эту папку мне, пожалуй, смысла не было.

Слава богу, недостатка в черновиках я уже давно не испытываю. Кряхтя, я поднялся с кресла, подошел к «стенке», к самой дальней секции, и, кряхтя, уселся рядом с нею прямо на пол. Ах, как много движений я могу теперь совершать, только натужно кряхтя,— как движений телесных, так и движений духовных.

(Кряхтя, мы встаем ото сна. Кряхтя, обновляем покровы. Кряхтя, устремляемся мыслью. Кряхтя, мы услышим шаги стихии огня, но будем уже готовы управлять волнами пламени. Кряхтя. «Упанишады», кажется. А может быть, и не совсем «Упанишады». Или не «Упанишады» вовсе.)

Кряхтя, я откинул створку цокольного шкафчика, и на колени мне повалились папки, общие тетради в разноцветных клеенчатых обложках, пожелтевшие, густо исписанные листочки, скрепленные ржавыми скрепками. Я взял первую попавшуюся папку — с обломанными от ветхости углами, с одной только грязной тесемкой, с многочисленными полустертыми надписями на

обложке, из которых разобрать можно было лишь какой-то старинный телефон, шестизначный, с буквой, да еще строчку иероглифов зелеными чернилами: «Сэйнэн дзидай-но саку» — «Творения юношеских лет». В эту папку я не заглядывал лет пятнадцать. Здесь все было очень старое, времен Камчатки и даже раньше, времен Канска, Казани, ВИПа,— выдирки из тетрадей в линейку, самодельные тетради, сшитые суровой ниткой, отдельные листки шершавой желтоватой бумаги, то ли оберточной, то ли просто дряхлой до невозможности, и все исписано от руки, ни единой строчки, ни единой буквы на машинке.

«Угрюмый негр вывез из кабинета кресло с человеческой развалиной. Шеф плотно закрыл за ним дверь...»

Какой негр? Что за развалина? Ничего не помню.

«— Кстати, вы не заметили, были ли среди большевиков китайцы?— спросил вдруг шеф.

— Китайцы? М-м-м... Кажется, были. Китайцы, или корейцы, или монголы. В общем, желтые...»

Да-да-да-да-да! Вспоминаю! Это был у меня такой политический памфлет... Нет. Ничего не помню.

«Крепость пала, но гарнизон победил».

Так.

«Видю тя! Видю тя!— взревел Кроличьи Яйца, обнаружив видимого противника... И новый выстрел из тьмы наверху...»

А-а-а, это же я из Киплинга переводил, «Сталки и компания». Тысяча девятьсот пятьдесят третий год. Камчатка. Я сижу в штабе и перевожу Киплинга, потому что за отсутствием видимого противника переводчику делать больше нечего.

«Кроличьи Яйца» — «Rabbit's Eggs». И нечего тут скалить зубы, ребята. Если бы Киплинг имел в виду то же, что и вы, он бы написал «Rabbit's Balls». Да, помучился я, помнится, с этим переводом, но школа для меня получилась отменная, нет лучше школы для переводчика, нежели талантливое произведение, описывающее совершенно незнакомый мир, конкретно локализованный в пространстве и времени...

А вот и «Случай в карауле». Тоже пятьдесят третий год и тоже Камчатка.

«Позже Беркутов, часовой у входа в караульное помещение, никак не мог вспомнить, что́ впервые заставило его насторожиться и крепче сжать оружие, напряженно вслушиваясь в невнятные шорохи теплой

июльской ночи. Просто к шелесту листвы, шуму собственных шагов, сонному скрипу ветвей примешалось...» ну, и так далее. Коротко говоря, под покровом ночи подкрались к часовому, напали на него, и он, не в силах отбиться, вызвал огонь на себя.

Был я тогда по литературным воззрениям моим великим моралистом, причем не просто моралистом, но вдохновенным певцом воинского регламента. А потому, товарищи солдаты, главным в данном конкретном «Случае в карауле» было вот что:

«Как могло случиться, что Линько, так хорошо знавший уставы, допустил грубейшее нарушение уставов гарнизонной и караульной служб? А ты, Беркутов? Разве ты не оказался ротозеем, не заметив, куда ушел Симаков? И мы все — как мы не заметили, что Симакова не оказалось с нами, когда караул был поднят в ружье?»

До чего же странно все это перечитывать сегодня! Словно рассказывают тебе умиленно, как ты в три годика, не удержавшись, обделался при большом скоплении гостей. А ведь не три годика, а все двадцать восемь было мне тогда. Но до чего же хотелось увидеть свое имя напечатанным, почувствовать себя писателем, выставить напоказ клеймо любимца муз и Аполлона! И какое же это было горькое разочарование, когда «Суворовский натиск», дай бог ему здоровья, завернул мне мою рукопись под вежливым предлогом, что «Случай в карауле» не является типичным для нашей армии! Святые слова. За свою жизнь я простоял в караулах часов двести, и только однажды к шелесту листвы, шуму собственных шагов и в особенности к сонному скрипу ветвей примешались посторонние звуки, а именно: в кромешной тьме кто-то напористо и страшно пер через ограждение из колючей проволоки, никак не реагируя на мои отчаянные вопли: «Стой! Стой, кто идет? Стой, стрелять буду!» Подоспевшее на выстрелы караульное начальство обнаружило запутавшегося в колючей проволоке, убитого наповал козла. Сгоряча мне обещана была гауптвахта, но потом все обошлось...

Нет, не отдам я им мой «Случай в карауле» на препарирование. Пусть лежит. И снова подумал я, какая это все-таки дурацкая затея с языковой энтропией, если им все равно, что анализировать: «Случай в карауле» или про кресло с человеческой развалиной.

Я отложил «Творения юношеских лет» в сторону и

взял другую папку, уже вполне современного вида, с хорошо сохранившимися, тщательно завязанными красными тесемками. На обложку наклеен был белый ярлык, а на ярлыке значилось: «Отрывки, неопубликованное, сюжеты, планы».

Я раскрыл папку и сразу же наткнулся на рассказ «Нарцисс», написанный в пятьдесят седьмом году. Этот рассказ я помню очень хорошо. Действующие лица там такие: доктор Лобс, Шуа дю Гюрзель, граф Денкер, баронесса Люст... Упоминаются: Картсэ-Шануа, «полновесный идиот, ставший импотентом в шестнадцать лет», а также Стэлла Буа-Косю, родная тетка графа Денкера, садистка и лесбиянка. А соль этого рассказа в том, что упомянутый Шуа дю Гюрзель, аристократ и гипнотизер необычайной силы, налетел на свое отражение в зеркале, когда «взгляд его был полон желания, мольбы, властного и нежного повеления, призыва к покорности и любви». И поскольку «воле Шуа дю Гюрзеля не мог противостоять даже сам Шуа дю Гюрзель», бедняга безумно влюбился сам в себя. Как Нарцисс. Дьявольски элегантный и аристократический рассказ. Там есть еще такое место: «К его счастью, после Нарцисса жил еще пастух Онан. Так что граф живет сам с собою, выводит себя в свет и кокетничает с дамами, вызывая, вероятно, у себя приятную возбуждающую ревность к самому себе».

Ай-яй-яй-яй-яй, какое манерное, похабное, салонное, махровое пшено! И подумать только, ведь проросло оно из того же кусочка души моей, что и мои «Современные сказки» полтора десятка лет спустя, из того же самого кусочка души, из которого растет сейчас моя Синяя Папка...

Нет, не дам я им моего «Нарцисса». Во-первых, потому что всего один экземпляр. А во-вторых, совершенно никому не нужно знать, что Сорокин Феликс Александрович, автор романа «Товарищи офицеры» и пьесы «Равнение на середину!», не говоря уже о сценариях и армейских очерках, пишет еще, оказывается, всякие порнографические фантасмагории.

А дам-ка я им вот что. Пятьдесят восьмой год. «Корягины». Пьеса в трех действиях. Действующие лица: Сергей Иванович Корягин, ученый, около 60 лет; Ирина Петровна, его жена, 45 лет; Николай Сергеевич Корягин, его сын от первого брака, демобилизованный офицер, около 30 лет. И еще семь действующих лиц —

студенты, художники, слушатели военной академии. Действие происходит в Москве, в наши дни.

АНЯ: Слушай, можно задать тебе один вопрос?

НИКОЛАЙ: Попробуй.

АНЯ: А ты не обидишься?

НИКОЛАЙ: Смотря... Нет, не обижусь. Насчет жены?

АНЯ: Да. Почему ты с нею развелся?

Очень хорошо. Антон Павлович. Константин Сергеевич, Владимир Иванович. Главное, не закончено и никогда закончено не будет. Вот это мы им и отдадим.

Отложивши за спину рукопись, я принялся запихивать и уминать в шкафчик все остальное, и тут в руку мне попалась общая тетрадь в липком коричневом переплете, разбухшая от торчащих из нее посторонних листков. Я даже засмеялся от радости и сказал ей: «Вот где ты, голубушка!», потому что это была тетрадь заветная, драгоценная, потому что это был мой рабочий дневник, который я потерял в прошлом году, когда в последний раз наводил порядок в своих бумагах.

Тетрадь сама раскрылась у меня в руках, и обнаружился в ней мой заветный цанговый карандаш из Чехословакии, карандаш не простой, а счастливый; все сюжеты надлежало записывать только этим карандашом, и никаким иным, хотя, признаться, был он довольно неудобен, потому что корпус у него лопнул в двух местах, и грифель при неосторожном нажиме проваливался внутрь.

Я уже, оказывается, и забыл совсем, что начиналась эта тетрадка 30 марта почти ровно одиннадцать лет назад. Я писал тогда повесть «Железная семья» — о современных, мирных, так сказать, танкистах. Писалась она трудно, кровью и сукровицей она писалась, эта повесть. Помнится, я несколько раз выезжал в части по командировкам, правое ухо обморозил, и все равно толку никакого не получилось. Повесть отклонили. Спасибо, хоть аванс не отобрали.

Я листал страницы с однообразными записями:

2. 04. Сдел. 5 стр. Вечером 2 стр. Всего 135 стр.

3. 04. Сдел. 4 стр. Вечер. 1 стр. Всего 140...

Это у меня верный признак: если никаких записей, кроме статистических, не ведется, значит, работа идет либо очень хорошо, либо на пропасть. Впрочем, 7.04 странная запись: «Писал жалобу в правительствующий сенат». И еще: 19.04. «Омерзительный, как окурок в писсуаре». И 3.05. «Ничто так не взрослит, как предательство».

А вот и этот день, когда начал я придумывать современные сказки.

21 мая 72 года. «История про новосела-рабочего. У него работают циклевщик, грузчик, водопроводчик, все кандидаты наук. И все застревают в квартире. Циклевщик защемил палец в паркете, грузчика задвинули шкафом, водопроводчик хлебнул вместо спирта эликсиру и стал невидимым. И еще домовой. И строитель, замурованный в вентиляционной шахте. И приходит Катя».

Это еще не «Современные сказки», до «Современных сказок» было тогда еще далеко. Справиться с этим сюжетом мне так и не удалось, и сейчас я даже не помню: какой новосел? почему домовой? что за эликсир?

Или вот еще сюжет того же времени.

28.10.72. «Человек (фокусник), которого все принимали за пришельца из Космоса». В те поры все вокруг словно бы с ума сошли по поводу летающих тарелок. Только об этом и разговоров: братья по разуму, Баальбекская веранда, Тассильские рисунки. И вот тогда мне придумалось: живет себе человек, ни о чем таком не думает, по профессии фокусник, причем фокусник очень хороший. И замечает он вдруг некое беспокоящее к себе внимание. Соседи по лестничной площадке странно с ним заговаривают, участковый заходит, интересуется реквизитом и туманно рассуждает насчет закона сохранения энергии. «Это исчезающее яйцо,— говорит он,— не согласуется у вас, гражданин, с современными представлениями о законах сохранения». Наконец, вызывают его в отдел кадров, а там у кадровика сидит какой-то гражданин, вроде бы даже знакомый, но с одним глазом. И кадровик принимается моего героя расспрашивать, сколько церквей в его родном Забубенске, да кому там памятник стоит на главной площади, да не помнит ли он, сколько на фасаде горсовета окон. А герой, разумеется, ничего этого не помнит, и атмосфера подозрительности все сгущается, и вот уже заводятся вокруг него разговоры о принудительном медосмотре... Чем должна была кончиться вся эта история, я придумать так и не сумел: охладел. И теперь очень жалко мне, что охладел.

Второго ноября записано: «Не работал, страдаю брюхом», а третьего — короткая запись: «Вполсвиста».

С теплой грустью листал я свой рабочий дневник страницу за страницей. «Человек — это душонка, обремененная трупом. Эпиктет».

«Цветок душистых прерий Лаврентий Палыч Берий».

«Против кого дружите?»

«Ректальная литература».

«Только те науки распространяют свет, кои способствуют выполнению начальственных предписаний. Салтыков-Щедрин».

«Гнал спирт из ногтей алкоголиков».

А это опять для современных сказок:

«Кот Элегант. Пес по фамилии Верный, он же Верка. Мальчик-вундеркинд, почитывает «Кубические формы» Ю. Манина, очкарик; когда моет посуду, любит петь Высоцкого. Двенадцать лет в восьмеричной системе исчисления. Цитирует труды Иллича-Святича. Кот по утрам, вернувшись со спевки, стирает перчатки. Пса учат за едой не сопеть, не чавкать и пользоваться ножом и вилкой. Он демонстративно уходит из-за стола и шумно, с обидой, грызет кость под крыльцом. Кот Элегант о каком-то госте: "Этот Петровский-Зеликович совершенно похож на бульдога Рамзеса, которому я нынешней весной в кровь изодрал морду за хамское приставание"».

Еще фразы:

«Путал сентименталов с симменталами».

«Мария Павловна за Островским шубу шестнадцать лет носила, я у нее перекупила, стала чистить — три воши нашла, одна старая, еще по-аглицки говорит...»

Я запихал оставшиеся папки и бумаги в шкафчик и перебрался за стол. Это находит на меня иногда: беру старые свои рукописи или старые дневники, и начинает мне казаться, что вот это все и есть моя настоящая жизнь — исчирканные листочки, чертежи какие-то, на которых я изображал, кто где стоит и куда смотрит, обрывки фраз, заявки на сценарии, черновики писем в инстанции, детальнейше разработанные планы произведений, которые никогда не будут созданы, и однообразно сухие: «Сделано 5 стр. Вечер. сдел. 3 стр.» А жены, дети, комиссии, семинары, командировки, осетринка по-московски, друзья-трепачи и друзья-молчуны — все это сон, фата-моргана, мираж в сухой пустыне, то ли было это у меня, то ли нет.

И вот сюжет хороший. Точной даты почему-то нет, начало семьдесят третьего года.

...Курортный городишко в горах. И недалеко от города пещера. И в ней — кап-кап-кап — падает в каменное углубление Живая Вода. За год набирается всего

одна пробирка. Только пять человек в мире знают об этом. Пока они пьют эту воду (по наперстку в год), они бессмертны. Но случайно узнает об этом шестой. А Живой Воды хватает только на пятерых. А шестой этот — брат пятого и школьный друг четвертого. А третий, женщина, Катя, жарко влюблена в четвертого и ненавидит за подлость второго. Клубочек. А шестой вдобавок великий альтруист и ни себя не считает достойным бессмертия, ни остальных пятерых...

Помнится, я не написал эту повесть потому, что запутался. Слишком сложной получилась система отношений, она перестала помещаться у меня в воображении. А получиться могло бы очень остро: и слежка за шестым, и угрозы, и покушения, и все на этакой философско-психологической закваске, и превращался в конце мой альтруист-пацифист в такого лютого зверя, что любо-дорого смотреть, и ведь все от принципов своих, все от возвышенных своих намерений...

В ту минуту, когда я читал наброски по этому сюжету, раздался в передней звонок. Я даже вздрогнул, но тут же мною овладело радостное предчувствие. Теряя и подхватывая на ходу тапочки, я устремился в переднюю и открыл дверь. Так и есть, явилась она, волшебница моя добрая, долгожданная, румяная с метели, запорошенная снегом. Клавочка. Вошла, блестя зубками, поздоровалась и прямо направилась на кухню, а я уже бежал, теряя тапочки, за паспортом, и получилось мне сто девяносто шесть рублей прописью и одиннадцать копеек цифрами из Литконсультации за рецензии на бездарный ихний самотек. Как всегда, вернул я Клавочке рубль, как всегда, она сперва отказалась, а потом, как всегда, приняла с благодарностью, и, как всегда, провожая ее, я сказал ей: «Приходите, Клавочка, почаще», а она ответила: «А вы пишите побольше».

Кроме денег, оставила Клавочка на кухонном столе длинный, пестрый от наклеек и марок, с красно-бело-синим бордюром авиапочты конверт. Писали из Японии. «Господину Фериксу Арександровичу Сорокину». Я взял ножницы, срезал край конверта и извлек два листка тонкой рисовой бумаги. Писал мне некто Рю Таками. и писал по-русски.

«Токио, 25 декабря 1981 года. Многоуважаемый господин Ф. А. Сорокин! Есри Вы помните меня, мы познакомились весной 1975 года в Москве. Я был в японской деригации писателей, Вы сидели рядом и лю-

безно подарили мне Вашу книгу «Современные сказки». Книга очень мне понравилась сразу. Я неоднократно обращался в наше издательство «Хаякава» и журнал «Эс-Эф магадзин», но наши издатели консервативны. Однако теперь благодаря тому, что Ваша книга пользуется успехом в США, наконец наше издательство стали обращать внимание на Вашу книгу и по-видимому иметь намерение издать Вашу книгу. Это значит, что наша издательская культура находится под сильным врия-нием американской и это — наша действительность. А как бы ни то было, то новое направление в нашем издательском мире так радостно и для Вас, и для меня. По плану моей работы я кончаю перевод Вашей книги в феврале будущего года. Но, к сожалению, я не понимают некоторых слов и выражений (Вы найдете их в приложении). Я хотел бы просить Вас помощь. В началах каждой сказки процитировано фразы из произведения разных писателей. Если ничто Вам не помешает, прошу Вас сообщить мне, в каких названиях и в каких местах в них я смогу найти их. Я хочу познакомить Вас и Вашу литературную деятельность с нашими читателями как можно подробнее, но, к сожалению, у меня теперь совсем нет последних новостей о них. Я был бы очень рад, если Вы сообщили мне теперешнее положение Вашей работы и жизни и послали Ваши фотографии. И я желаю читать статьи и критики о Вашей литературе и узнать, где (в каких журналах, газетах и книгах) я смогу найти их. Мне хотелось бы просить Вас оказать мне многие помощи, которые я просил выше. Заранее брагодарю Вас за помощь. С искренним уважением (подпись иероглифами)».

Я прочитал это письмо дважды и через некоторое время поймал себя на том, что благосклонно улыбаюсь, подкручивая себе усы обеими руками. Честно говоря, я совершенно не помнил этого японца и тем не менее испытывал к нему сейчас чувство живейшей симпатии и даже, пожалуй, благодарности. Вот и до Японии добрались мои сказки. Так сказать, боку-но отоги-банаси-ва Ниппон-мадэ-мо ятто тассимасьта...

Разнообразные чувства обуревали меня — вплоть до восхищения самим собою. И в волнах этих чувств я без труда различал ледяную струю жестокого злорадства. Я снова вспоминал иронические улыбочки и недоуменные риторические вопросы в критических обзорах, и пьяные подначки, и грубовато-дружественные: «Ты что

же это, старик, а? Совсем уже, а?» Теперь это, конечно, дела прошлые, но я, оказывается, ничего не забыл. И никого не забыл. А еще тут же вспомнилось мне, что когда выступаю я в домах культуры или на предприятиях, так если меня в зале кто-нибудь и знает, то не как автора «Товарищей офицеров» и уж, конечно, не как автора многочисленных моих армейских очерков, а именно как сочинителя «Современных сказок». И неоднократно мне даже присылали записки: «Не родственник ли Вы Сорокина, написавшего «Современные сказки»?»

Я вспомнил о втором листке из конверта и, развернув, бегло его проглядел. Сначала недоумения Рю Таками позабавили меня, но не прошло и нескольких минут, как я понял, что ничего особенно забавного мне не предстоит.

А предстоит мне объяснить, да еще в письменном виде, да еще японцу, что означают такие, например, выражения: «хватить шилом патоки», «цвести, как майская роза», «иметь попсовый вид», «полные штаны удовольствия», «тяпнуть по маленькой» и «залить зенки»... Но все это было еще полбеды, и не так уж, в конце концов, трудно было объяснить японцу, что «банан» на жаргоне школьников означает «двойку как отметку, в скобках, оценку», а «забойный» означает всего-навсего «сногсшибательный» в смысле «великолепный». А вот как быть с выражением «фиг тебе»? Во-первых, фигу, она же дуля, она же кукиш, надлежало самым решительным образом отмежевать от плода фигового дерева, дабы не подумал Таками, что слова «фиг тебе» означают «подношу тебе в подарок спелую, сладкую фигу». А во-вторых, фига, она же дуля, она же кукиш, означает для японца нечто иное, нежели для европейца или, по крайней мере, для русского. Этой несложной фигурой из трех пальцев в Японии когда-то пользовались уличные дамы, выражая готовность обслужить клиента...

Я и сам не заметил, как эта работа увлекла меня.

Вообще говоря, я не люблю писать писем и положил себе за правило отвечать только на те письма, которые содержат вопросы. Письмо же Рю Таками содержало не просто вопросы, оно содержало вопросы деловые, причем по делу, в котором я сам был заинтересован. Поэтому я встал из-за стола только тогда, когда закончил ответ, перепечатал его (выдернув из машинки незаконченную страницу сценария), вложил в конверт, заклеил и надписал адрес.

Теперь у меня было по крайней мере два повода выйти из дому.

Я оделся, кряхтя, натянул на ноги башмаки на «молниях», сунул в нагрудный карман пятьдесят рублей, и тут раздался телефонный звонок.

Сколько раз я твердил себе: не бери трубку, когда собираешься из дому и уже одет. Но ведь это же Рита могла вернуться из командировки, как же мне было не взять трубку? И взял я трубку, и сейчас же раскаялся, ибо звонила никакая не Рита, а звонил Леня Баринов, по прозвищу Шибзд.

У меня есть несколько приятелей, которые специализируются по таким вот несвоевременным телефонным звонкам. Например, Слава Крутоярский звонит мне исключительно в те минуты, когда я ем суп — не обязательно, впрочем, суп. Это может быть борщ или, скажем, солянка. Тут главное, чтобы половина тарелки была уже мною съедена, а оставшаяся половина как следует остыла за время телефонной беседы. Гарик Аганян выбирает время, когда я сижу в сортире и притом ожидаю важного звонка. Что же касается Лени Баринова, то его специальность — звонить, либо когда я собираюсь выйти и уже одет, либо когда собираюсь принять душ и уже раздет, а паче всего — рано утром, часов в семь, позвонить и низким подпольным голосом отрывисто спросить: «Как дела?»

Леня Баринов, по прозвищу Шибзд, спросил меня низким подпольным голосом:

— Как дела?

— Собираюсь уходить,— сказал я сухо, но это был неверный ход.

— Куда?— сейчас же осведомился Леня.

— Леня,— сказал я теперь уже просительно.— Может быть, потом созвонимся? Или ты по делу?

Да, Леня звонил по делу. И дело у него было вот какое. До Лени дошел слух (до него всегда доходят слухи), будто всех писателей, которые не имели публикаций в течение последних двух лет, будут исключать. Я ничего не слышал по этому поводу? Нет, точно ничего не слышал? Может быть, слышал, но не обратил внимания? Ведь я никогда не обращаю внимания и потому всегда тащусь в хвосте событий... А может, исключать не будут, а будут отбирать пропуск в Клуб? Как я думаю?

Я сказал, как я думаю.

— Ну, не груби, не груби,— примирительно попросил Леня.— Ладно. А куда ты идешь?

Я рассказал, что иду отправить заказное письмо, а потом на Банную. Лене все это было неинтересно.

— А потом куда?— спросил он.

Я сказал, что потом, наверное, зайду в Клуб.

— А зачем тебе сегодня в Клуб?

Я сказал, закипая, что у меня в Клубе дело: мне там надо дров наколоть и продуть паровое отопление.

— Опять грубишь,— произнес Леня грустно.— Что вы все такие грубые? Кому ни позвонишь — хам. Ну, не хочешь по телефону говорить — не надо. В Клубе расскажешь. Только учти, денег у меня нет...

Потом я повесил трубку и посмотрел в окно. Уже совсем смеркалось, впору было зажигать лампу. Я сидел у стола в пальто и в шапке, в тяжелых своих, жарких ботинках. И идти мне теперь уже никуда не хотелось совсем. Собственно, письмо в Японию можно послать и не заказным, ничего с ним не сделается, наляпаю побольше марок и брошу в ящик. И Банная подождет, с нею тоже ничего не сделается до завтра... Ты посмотри, какая вьюга разыгралась, вовсе ничего не видно. Дом напротив — и того не видно, только слабо светятся мутные желтые огоньки. Но ведь сидеть вот так просто, всухомятку, с двумя сотнями рублей в кармане — тоже глупо и даже расточительно. А сбегаю-ка я вниз, благо все равно одет.

И я сбегал вниз, в нашу кондитерскую. В нашу странную кондитерскую, где слева цветут на прилавке кремовые розы тортов, а справа призывно поблескивают ряды бутылок с горячительными напитками. Где слева толпятся старушки, дамы и дети, а справа чинной очередью стоят вперемежку солидные портфеленосцы-кейсовладельцы и звероподобные, возбужденно-говорливые от приятных предвкушений братья по разуму. Где слева мне не нужно было ничегошеньки, а справа я взял бутылку коньяку и бутылку «Салюта».

И, поднимаясь в лифте к себе на шестнадцатый этаж, прижимая локтем к боку бутылки, вытирая свободной ладонью с лица растаявший снег, я уже знал, как я проведу этот вечер. То ли пурга, из которой я только что выскочил, слепая, слепящая, съевшая остатки дня пурга была тому причиною, то ли приятные предвкушения, которых я, как и все мои братья по разуму, не чужд, но мне стало ясно совершенно: раз уж суж-

дено мне закончить этот день дома и раз уж Рита моя все не возвращается, то не стану я звонить ни Гоге Чачуа, ни Славке Крутоярскому, а закончу я этот день по-особенному — наедине с самим собой, но не с тем, кого знают по комиссиям, семинарам, редакциям и клубному ресторану, а с тем, кого не знают нигде.

Мы с ним сейчас очистим стол на кухне, расставим на плетеных салфетках бутылки и алюминиевые формочки с заливным мясом от гостиницы «Прогресс», мы включим по всей квартире весь свет — пусть будет светло! — и перетащим из кабинета торшер, мы с ним откроем единственный ящик стола, запираемый на ключ, достанем Синюю Папку и, когда настанет час, развяжем зеленые тесемки.

Пока я отряхивался от снега, пока переодевался в домашнее, пока осуществлял свою нехитрую предварительную программу, я неотрывно думал, как поступить с телефоном. Выяснилось вдруг, что именно нынче вечером мне могли позвонить, более того — должны были позвонить многие и многие, в том числе и нужные. Но с другой стороны, я ведь не вспомнил об этом, когда всего полчаса назад намеревался провести вечер в Клубе, а если и вспомнил бы, то не посчитал бы эти звонки за достаточно нужные. И в самый разгар этих внутренних борений рука моя сама собой протянулась и выключила телефон.

И сразу стало сугубо уютно и тихо в доме, хотя по-прежнему бренчало за стеной неумелое пианино, и доносилось через отдушину в потолке кряканье и бормотанье магнитофонного барда.

И вот этот час настал, но я не торопился, а некоторое время еще смотрел, как бьет в оконное стекло с сухим шелестом из черноты сорвавшаяся с цепи вьюга. А жалко, право же, что там у меня не бывает вьюг. А впрочем, мало ли чего там не бывает. Зато там есть многое из того, чего не бывает здесь.

Я неторопливо развязал тесемки и откинул крышку папки. Мельком я и скорбно, и радостно подумал, что не часто позволяю себе это, да и сегодня бы не позволил, если бы не... что? Вьюга? Леня Шибзд?

Титула на титульном листе у меня не было. Был эпиграф:

> Я в третьем круге, там, где дождь струится,
>
> . . . .

Хотя проклятым людям, здесь живущим,
К прямому совершенству не прийти,
Их ждет полнее бытие в грядущем...

И была наклеена на титульный лист дрянная фоторепродукция: под нависшими ночными тучами замерший от ужаса город на холме, а вокруг города и вокруг холма обвился исполинский спящий змий с мокро отсвечивающей гладкой кожей.

Но не эту картинку, знакомую многим и многим, я сейчас видел перед собой, а видел я сейчас то, чего не видел кроме меня и видеть не мог никто во всем свете. Во всей Вселенной никто. Откинувшись на спинку дивана, вцепившись руками в край стола, вглядывался я в улицы, мокрые, серые и пустые, в палисадники, где тихо гибли от сырости яблони... покосившиеся заборы, и многие дома заколочены, под карнизами высыпала белесая плесень, вылиняли краски, и всем этим безраздельно владеет дождь. Дождь падает просто так, дождь сеется с крыш мелкой водяной пылью, дождь собирается в туманные крутящиеся столбы, волочащиеся от стены к стене, дождь с урчанием хлещет из ржавых водосточных труб... черно-серые тучи медленно ползут над самыми крышами, а людей на улицах нет, человек — незваный гость на этих улицах, и дождь его не жалует.

У меня их здесь десять тысяч человеков в моем городе — дураков, энтузиастов, фанатиков, разочарованных, равнодушных, множество чиновников, вояк, добропорядочных буржуа, полицейских, шпиков. Детей. И неописуемое наслаждение доставляло мне управлять их судьбами, приводить их в столкновение друг с другом и с мрачными чудесами, в которые они у меня оказались замешаны...

Еще совсем недавно мне казалось, что я покончил с ними. Каждый у меня получил свое, каждому я сказал все, что я о нем думаю. И наверное, именно эта определенность постепенно подступила мне к горлу, породила во мне душное беспокойство и недовольство. Нужно мне было что-то еще. Еще какую-то картинку, последнюю, надо было мне нарисовать. Но я не знал — какую, и временами мне становилось тоскливо и страшно при мысли о том, что я так никогда этого не узнаю. Что ж, может быть, я никогда не закончу эту мою вещь, но я буду над нею думать, пока не впаду в маразм, а возможно, и после этого.

Клянешься ли ты и далее думать и придумывать про свой город до тех пор, пока не впадешь в полный маразм, а может быть, и далее?

А куда мне деваться? Конечно, клянусь, сказал я и раскрыл рукопись.

2. Банев. В кругу семьи и друзей

Когда Ирма вышла, аккуратно притворив за собой дверь, худая, длинноногая, по-взрослому вежливо улыбаясь большим ртом с яркими, как у матери, губами, Виктор принялся старательно раскуривать сигарету. Это никакой не ребенок, думал он ошеломленно. Дети так не говорят. Это даже не грубость, это — жестокость, и даже не жестокость, а просто ей все равно. Как будто она нам тут теорему доказала — просчитала все, проанализировала, деловито сообщила результат и удалилась, подрагивая косичками, совершенно спокойная. Превозмогая неловкость, Виктор посмотрел на Лолу. Лицо ее шло красными пятнами, яркие губы дрожали, словно она собиралась заплакать, но она, конечно, и не думала плакать, она была в бешенстве.

— Ты видишь?— сказала она высоким голосом.— Девчонка, соплячка... Дрянь! Ничего святого, что ни слово — то оскорбление, будто я не мать, а половая тряпка, о которую можно вытирать ноги. Перед соседями стыдно! Мерзавка, хамка...

Да, подумал Виктор, и с этой женщиной я жил, я гулял с нею в горах, я читал ей Бодлера, и трепетал, когда прикасался к ней, и помнил ее запах... кажется, даже дрался из-за нее. До сих пор не понимаю, что она думала, когда я читал ей Бодлера? Нет, это просто удивительно, что мне удалось от нее удрать. Уму непостижимо, и как это она меня выпустила? Наверное, я тоже был не сахар. Наверное, я и сейчас не сахар, но тогда я пил еще больше, чем сейчас, и к тому же полагал себя большим поэтом.

— Тебе, конечно, не до того, куда там,— говорила Лола.— Столичная жизнь, всякие балерины, артистки... Я всё знаю. Не воображай, что мы здесь ничего не знаем. И деньги твои бешеные, и любовницы, и бесконечные скандалы... Мне это, если хочешь ты знать, безразлично, я тебе не мешала, ты жил, как хотел...

Вообще ее губит то, что она очень много говорит.

В девицах она была тихая, молчаливая, таинственная. Есть такие девицы, которые от рождения знают, как себя вести. Она знала. Вообще-то она и сейчас ничего, когда сидит, выставив колени... или заложит вдруг руки за голову и потянется. На провинциального адвоката это должно действовать чрезвычайно... Виктор представил себе уютный вечерок: этот столик придвинут к тому вон дивану, бутылка, шампанское шипит в фужерах, перевязанная ленточкой коробка шоколаду и сам адвокат, запакованный в крахмал, галстук бабочкой. Всё как у людей, и вдруг входит Ирма... Кошмар, подумал Виктор. Да она же несчастная женщина...

— Ты сам должен понимать,— говорила Лола,— что дело не в деньгах, что не деньги сейчас всё решают.— Она уже успокоилась, красные пятна пропали.— Я знаю, ты по-своему честный человек, взбалмошный, разболтанный, но не злой. Ты всегда помогал нам, и в этом отношении никаких претензий я к тебе не имею. Но теперь мне нужна не такая помощь... Счастливой назвать себя я не могу, но и несчастной тебе тоже не удалось меня сделать. У тебя своя жизнь, а у меня — своя. Я, между прочим, еще не старуха, у меня еще многое впереди...

Девочку придется забрать, подумал Виктор. Она уже всё, как видно, решила. Если оставить Ирму здесь, в доме начнется ад кромешный... Хорошо, а куда я ее дену? Давай-ка честно, предложил он себе. Только честно. Здесь надо честно, это не игрушки. Он очень честно вспомнил свою жизнь в столице. Плохо, подумал он. Можно, конечно, взять экономку. Значит, снять постоянную квартиру... Да не в этом же дело: девочка должна быть со мной, а не с экономкой... Говорят, дети, которых воспитали отцы,— это самые лучшие дети. И потом она мне нравится, хотя она очень странная девочка. И вообще я должен. Как честный человек, как отец. И я виноват перед нею. Но это все литература. А если все-таки честно? Если честно — боюсь. Потому что она будет стоять передо мной, по-взрослому улыбаясь большим ртом, и что я ей сумею сказать? Читай, больше читай, каждый день читай, ничем тебе больше не нужно заниматься, только читай. Она это и без меня знает, а больше мне сказать ей нечего. Поэтому и боюсь... Но и это еще не совсем честно. Не хочется мне, вот в чем дело. Я привык один. Я люблю один. Я не хочу по-другому... Вот как это выглядит, если честно. Отвра-

тительно выглядит, как и всякая правда. Цинично выглядит, себялюбиво, гнусненько. Честно.

— Что же ты молчишь?— спросила Лола.— Ты так и собираешься молчать?

— Нет-нет, я слушаю тебя,— поспешно сказал Виктор.

— Что ты слушаешь? Я уже полчаса жду, когда ты соизволишь отреагировать. Это же не только мой ребенок, в конце концов...

А с нею тоже надо честно?— подумал Виктор. Вот уж с нею мне совсем не хочется честно. Она, кажется, вообразила себе, что такой вопрос я могу решить тут же, не сходя с места, между двумя сигаретами.

— Пойми,— сказала Лола,— я ведь не говорю, чтобы ты взял ее на себя. Я же знаю, что ты не возьмешь, и слава богу, что не возьмешь, ты ни на что такое не годен. Но у тебя же есть связи, знакомства, ты все-таки довольно известный человек — помоги ее устроить! Есть же у нас какие-то привилегированные учебные заведения, пансионы, специальные школы. Она ведь способная девочка, у нее к языкам способности, и к математике, и к музыке...

— Пансион,— сказал Виктор.— Да, конечно... Пансион. Сиротский приют... Нет-нет, я шучу. Об этом стоит подумать.

— А что тут особенно думать? Любой был бы рад устроить своего ребенка в хороший пансион или в специальную школу. Жена нашего директора...

— Слушай, Лола,— сказал Виктор.— Это хорошая мысль, я попытаюсь что-нибудь сделать. Но это не так просто, на это нужно время. Я, конечно, напишу.

— Напишу! Ты весь в этом. Не писать надо, а ехать, лично просить, пороги обивать! Ты же все равно здесь бездельничаешь! Все равно только пьянствуешь и путаешься с девками. Неужели так трудно для родной дочери...

О черт, подумал Виктор, так ей все и объясни. Он снова закурил, поднялся и прошелся по комнате. За окном темнело, и по-прежнему лил дождь, крупный, тяжелый, неторопливый,— дождь, которого было очень много и который явно никуда не торопился.

— Ах, как ты мне надоел!— сказала Лола с неожиданной злостью.— Если бы ты знал, как ты мне надоел...

Пора идти, подумал Виктор. Начинается священный материнский гнев, ярость покинутой и все такое прочее.

Все равно ничего я сегодня ей не отвечу. И ничего не стану обещать.

— Ни в чем на тебя нельзя положиться,— продолжала она.— Негодный муж, бездарный отец... модный писатель, видите ли! Дочь родную воспитать не сумел... Да любой мужик понимает в людях больше, чем ты! Ну что мне теперь делать? От тебя же никакого проку. Я одна из сил выбиваюсь, не могу ничего. Я для нее нуль, для нее любой мокрец во сто раз важнее, чем я. Ну ничего, ты еще спохватишься! Ты ее не учишь, так они ее научат! Дождешься еще, что она тебе в рожу будет плевать, как мне...

— Брось, Лола,— сказал Виктор, морщась.— Ты всё-таки, знаешь, как-то... Я отец, это верно, но ты же мать... Все у тебя кругом виноваты...

— Убирайся!— сказала она.

— Ну, вот что,— сказал Виктор.— Ссориться с тобой я не намерен. Буду думать. А ты...

Она теперь стояла, выпрямившись, и прямо-таки дрожала, предвкушая упрек, готовая с наслаждением кинуться в свару.

— А ты,— спокойно сказал он,— постарайся не нервничать. Что-нибудь придумаем. Я тебе позвоню.

Он вышел в прихожую и натянул плащ. Плащ был мокрый. Виктор заглянул в комнату Ирмы, чтобы попрощаться, но Ирмы не было. Окно было раскрыто настежь, в подоконник хлестал дождь. На стене красовался транспарант с надписью большими красивыми буквами: «Прошу никогда не закрывать окно». Транспарант был мятый, с надрывами и темными пятнами, словно его неоднократно срывали и топтали ногами. Виктор прикрыл дверь.

— До свиданья, Лола,— сказал он. Лола не ответила.

На улице было уже совсем темно. Дождь застучал по плечам, по капюшону. Виктор ссутулился и сунул руки поглубже в карманы. Вот в этом скверике мы в первый раз поцеловались, думал он. А вот этого дома тогда еще не было, а был пустырь, а за пустырем — свалка, там мы охотились с рогатками на кошек. В городе была чертова уйма кошек, а сейчас я что-то ни одной не видел... И ни черта мы тогда не читали, а вот у Ирмы полная комната книг. Что такое была в мое время 12-летняя девчонка? Конопатое хихикающее существо, бантики, куклы, картинки с зайчиками и

белоснежками, всегда парочками-троечками: шу-шу-шу, кульки с ирисками, испорченные зубы. Чистюли, ябеды, а самые лучшие из них — точно такие же, как мы: коленки в ссадинах, дикие рысьи глаза и пристрастие к подножкам... Времена новые, наконец, наступили, что ли? Нет, подумал он. Это не времена. То есть и времена, конечно, тоже... А может быть, она у меня вундеркинд? Случаются же вундеркинды. Я — отец вундеркинда. Почетно, но хлопотно, и не столько почетно, сколько хлопотно, да в конце концов и не почетно вовсе... А вот эту улочку я всегда любил, потому что она самая узкая. Так, а вот и драка. Правильно, у нас без этого нельзя, мы без этого никак не можем. Это у нас испокон веков. И двое на одного...

На углу стоял фонарь. У границы освещенного пространства мокнул автомобиль с брезентовым верхом, а рядом с автомобилем двое в блестящих плащах пригибали к мостовой третьего — в черном и мокром. Все трое с натугой и неуклюже топтались по булыжнику. Виктор приостановился, затем подошел поближе. Непонятно было, что тут, собственно, происходит. На драку не похоже: никто никого не бьет. На возню от избытка молодых сил не похоже тем более — не слышно азартного гиканья и жеребячьего ржания... Третий, в черном, вдруг вырвался, упал на спину, и двое в плащах сейчас же повалились на него. Тут Виктор заметил, что дверцы машины распахнуты, и подумал, что этого черного либо недавно вытащили оттуда, либо пытаются туда запихнуть. Он подошел и рявкнул:

— Отставить!

Двое в плащах разом обернулись и несколько мгновений смотрели на Виктора из-под надвинутых капюшонов. Виктор заметил только, что они молодые и что рты у них разинуты от напряжения, а затем они с невероятной быстротой нырнули в автомобиль, стукнули дверцы, машина взревела и умчалась в темноту. Человек в черном медленно поднялся, и, разглядев его, Виктор отступил на шаг. Это был больной из лепрозория — «мокрец», или «очкарик», как их звали за желтые круги вокруг глаз,— в плотной черной повязке, закрывающей нижнюю половину лица. Он мучительно тяжело дышал, страдальчески задрав остатки бровей. По лысой голове стекала вода.

— Что случилось?— спросил Виктор.

Очкарик смотрел не на него, а мимо, глаза его

выкатились. Виктор хотел обернуться, но тут его с хрустом ударило в затылок, и когда он очнулся, то обнаружил, что лежит лицом вверх под водосточной трубой. Вода хлестала ему в рот, она была тепловатая и ржавая на вкус. Отплевываясь и кашляя, он отодвинулся и сел, прислонившись спиной к кирпичной стене. Вода, набравшаяся в капюшон, полилась за воротник и поползла по телу. В голове гудели и звенели колокола, трубили трубы и били барабаны. Сквозь этот шум Виктор разглядел перед собой худое темное лицо. Знакомое. Где-то я его видел. Еще до того, как у меня лязгнули челюсти... Он подвигал языком, пошевелил челюстью. Зубы были в порядке. Мальчик набрал под трубой пригоршню воды и плеснул ему в глаза.

— Милый,— сказал Виктор.— Хватит.

— Мне показалось, что вы еще не очнулись,— сказал мальчик серьезно.

Виктор осторожно засунул руку под капюшон и ощупал затылок. Там была шишка — ничего страшного, никаких раздробленных костей, даже крови не было.

— Кто же это меня?— задумчиво спросил он.— Надеюсь, не ты?

— Вы сами сможете идти, господин Банев?— сказал мальчик.— Или позвать кого-нибудь? Видите ли, для меня вы слишком тяжелый.

Виктор вспомнил, кто это.

— Я тебя знаю,— сказал он.— Ты — Бол-Кунац, приятель моей дочки.

— Да,— сказал мальчик.

— Вот и хорошо. Не надо никого звать и не надо никому говорить. А давай-ка немножко посидим и опомнимся.

Теперь он разглядел, что с Бол-Кунацем тоже не все в порядке. На щеке у него темнела свежая ссадина, а верхняя губа припухла и кровоточила.

— Я всё-таки кого-нибудь позову,— сказал Бол-Кунац.

— Стоит ли?

— Видите ли, господин Банев, мне не нравится, как у вас дергается лицо.

— В самом деле?— Виктор ощупал лицо. Лицо не дергалось.— Это тебе только кажется... Так. А теперь мы встанем. Что для этого необходимо? Для этого необходимо подтянуть под себя ноги...— Он подтянул под себя ноги, и ноги показались ему не совсем своими.—

Затем, слегка оттолкнувшись от стены, перенести центр тяжести таким образом...— Ему никак не удавалось перенести центр тяжести, что-то мешало. «Чем же это меня?— подумал он.— Да ведь как ловко...»

— Вы наступили себе на плащ,— сообщил мальчик, но Виктор уже сам разобрался со своими руками и ногами, со своим плащом и оркестром под черепом. Он встал. Сначала пришлось придерживаться за стенку, но потом дело пошло лучше.

— Ага,— сказал он.— Значит, ты меня тащил оттуда до этой трубы. Спасибо.

Фонарь стоял на месте, но не было ни машины, ни очкарика. Никого не было. Только маленький Бол-Кунац осторожно гладил свою ссадину мокрой ладонью.

— Куда же они все делись?— спросил Виктор.

Мальчик не ответил.

— Я тут один лежал?— спросил Виктор.— Вокруг никого больше не было?

— Давайте я вас провожу,— сказал Бол-Кунац.— Куда вам лучше идти? Домой?

— Погоди,— сказал Виктор.— Ты видел, как они хотели схватить очкарика?

— Я видел, как вас ударили,— сказал Бол-Кунац.

— Кто?

— Я не разглядел. Он стоял спиной.

— А ты где был?

— Видите ли, я лежал тут за углом...

— Ничего не понимаю...— сказал Виктор.— Или у меня с головой что-то... Почему ты, собственно, лежал за углом? Ты там живешь?

— Видите ли, я лежал, потому что меня ударили еще раньше. Не тот, который вас ударил, а другой.

— Очкарик?

Они медленно шли, стараясь держаться мостовой, чтобы на них не лило с крыш.

— Н-нет,— ответил Бол-Кунац, подумав.— По-моему, они все были без очков.

— О господи,— сказал Виктор. Он полез рукой под капюшон и пощупал шишку.— Я говорю о прокаженном, их называют очкариками. Ну знаешь, из лепрозория... Мокрецы...

— Не знаю,— сдержанно произнес Бол-Кунац.— По-моему, они все были вполне здоровы.

— Ну-ну!— сказал Виктор. Он ощутил некоторое беспокойство и даже остановился.— Ты что же, хочешь

меня уверить, что там не было прокаженного? С черной повязкой, весь в черном...

— Это никакой не прокаженный!— с неожиданной запальчивостью сказал Бол-Кунац.— Он поздоровее вас...

Впервые в этом мальчике обнаружилось что-то мальчишеское и сейчас же исчезло.

— Я не совсем понимаю, куда мы идем,— помолчав, сказал он прежним серьезным до бесстрастности тоном.— Сначала мне показалось, что вы направляетесь домой, но теперь я вижу, что мы идем в противоположную сторону.

Виктор все стоял, глядя на Бол-Кунаца сверху вниз. Два сапога пара, подумал он. Все просчитал, проанализировал и деловито решил не сообщать результата. Так он мне и не расскажет, что здесь было. Интересно, почему? Неужели уголовщина? Нет, не похоже. Или все-таки уголовщина? Новые, знаете ли, времена... Чепуха, знаю я нынешних уголовников...

— Все правильно,— сказал он и двинулся дальше.— Мы идем в гостиницу, я там живу.

Мальчик, прямой, строгий и мокрый, шагал рядом. Преодолев некоторую нерешительность, Виктор положил руку ему на плечо. Ничего особенного не произошло — мальчик стерпел. Впрочем, он, вероятно, просто решил, что его плечо понадобилось в утилитарных целях, как подпорка для травмированного.

— Должен тебе сказать,— самым доверительным тоном сообщил Виктор,— что у вас с Ирмой очень странная манера разговаривать. Мы в детстве говорили не так.

— Правда?— вежливо спросил Бол-Кунац.— И как же вы говорили?

— Ну, например, этот твой вопрос у нас звучал бы так: чиво?

Бол-Кунац пожал плечами.

— Вы хотите сказать, что это было бы лучше?

— Упаси бог! Я хочу только сказать, что это было бы естественнее.

— Именно то, что наиболее естественно,— заметил Бол-Кунац,— менее всего подобает человеку.

Виктор ощутил какой-то холод внутри. Какое-то беспокойство. Или даже страх. Словно в лицо ему расхохоталась кошка.

— Естественное всегда примитивно,— продолжал между тем Бол-Кунац.— А человек — существо слож-

ное, естественность ему не идет. Вы меня понимаете, господин Банев?

— Да,— сказал Виктор.— Конечно.

Было нечто удивительно фальшивое в том, как отечески он держал руку на плече этого мальчика, который не мальчик. У него даже заныло в локте. Он осторожно убрал руку и сунул в карман.

— Сколько тебе лет?— спросил он.

— Четырнадцать,— рассеянно ответил Бол-Кунац.

— А-а...

Любой мальчик на месте Бол-Кунаца непременно заинтересовался бы этим раздражающе неопределенным «а-а», но Бол-Кунац был не из любых мальчиков. Его не занимали интригующие междометия. Он размышлял над соотношением естественного и примитивного в природе и обществе. Он жалел, что ему попался такой неинтеллигентный собеседник, да еще ударенный по голове...

Они вышли на проспект Президента. Здесь было много фонарей, и попадались прохожие, торопливые, согнутые многодневным дождем мужчины и женщины. Здесь были освещенные витрины, и озаренный неоновым светом вход в кинотеатр, где под навесом толпились очень одинаковые молодые люди неопределенного пола, в блестящих плащах до пяток. И над всем этим сквозь дождь сияли золотые и синие заклинания: «Президент — отец народа», «Легионер Свободы — верный сын Президента», «Армия — наша грозная слава»...

Они шли по мостовой, и проехавший автомобиль, рявкнув сигналом, загнал их на тротуар и окатил грязной водой.

— А я думал, тебе лет восемьдесят,— сказал Виктор.

— Чиво-чиво?— противным голосом спросил Бол-Кунац, и Виктор облегченно засмеялся. Все-таки это был мальчик, обыкновенный нормальный вундеркинд, начитавшийся Гейбора, Зурзмансора, Фромма и, может быть, даже осиливший Шпенглера.

— У меня в детстве был приятель,— сказал Виктор,— который затеял прочитать Гегеля в подлиннике, и прочитал-таки, но сделался шизофреником. Ты в свои годы, безусловно, знаешь, что такое шизофреник.

— Да, знаю,— сказал Бол-Кунац.

— И ты не боишься?

— Нет.

Они подошли к отелю, и Виктор предложил:

— Может быть, зайдешь ко мне, обсохнешь?

— Благодарю вас. Я как раз собирался попросить разрешения зайти. Во-первых, я должен вам еще кое-что сказать, а во-вторых, мне надо поговорить по телефону. Вы разрешите?

Виктор разрешил. Они прошли сквозь вращающуюся дверь мимо швейцара, снявшего перед Виктором фуражку, мимо богатых статуй с электрическими свечами в совершенно пустой вестибюль, пропитанный ресторанными запахами, и Виктор ощутил привычный подъем в предвкушении наступающего вечера, когда можно будет пить и безответственно болтать, и отодвинуть локтем на завтра то, что раздражающе наседало сегодня; в предвкушении Юла Голема и доктора Р. Квадриги, и, может быть, еще с кем-нибудь познакомлюсь, и, может быть, что-нибудь случится — драка или сюжет вдруг заиграет,— и закажу-ка я сегодня миноги, и пусть всё будет хорошо, а последним автобусом поеду к Диане.

Пока Виктор брал ключи у портье, за его спиной происходил разговор. Бол-Кунац разговаривал со швейцаром. «Ты зачем сюда впёрся?— шипел швейцар. «У меня разговор с господином Баневым». «Я тебе покажу разговор с господином Баневым,— шипел швейцар.— Шляешься по ресторанам...» «У меня разговор с господином Баневым,— повторял Бол-Кунац.— Ресторан меня не интересует». «Еще бы тебя, щенка, ресторан интересовал... Вот я тебя отсюда вышвырну...» Виктор взял ключ и обернулся.

— Э...— сказал он. Он опять забыл имя швейцара.— Парнишка со мной, всё в порядке.

Швейцар ничего не ответил, лицо у него было недовольное.

Они поднялись в номер. Виктор с наслаждением сбросил плащ и наклонился, чтобы расшнуровать сырые ботинки. Кровь прилила к голове, и он ощутил изнутри болезненные редкие толчки в то место, где был желвак, тяжелый и круглый, как свинцовая лепешка. Он сразу выпрямился и, придерживаясь за косяк, стал сдирать ботинок, упершись в задник носком другой ноги. Бол-Кунац стоял рядом, с него капало.

— Раздевайся,— сказал Виктор.— Повесь все на радиатор, сейчас я дам полотенце.

— Разрешите, я позвоню,— сказал Бол-Кунац, не двигаясь с места.

— Валяй.— Виктор содрал второй ботинок и в мок-

рых носках ушел в ванную. Раздеваясь, он слышал, как мальчик негромко разговаривает, спокойно и неразборчиво. Только однажды он отчетливо и громко произнес: «Не знаю». Виктор обтерся полотенцем, накинул халат и, достав чистую купальную простыню, вышел в комнату. «Вот тебе»,— сказал он и тут же увидел, что это ни к чему. Бол-Кунац по-прежнему стоял у дверей, и с него по-прежнему капало.

— Благодарю вас,— сказал он.— Видите ли, мне надо идти. Я хотел бы еще только...

— Простудишься,— сказал Виктор.

— Нет, не беспокойтесь, благодарю вас. Я не простужусь. Я хотел бы еще только выяснить с вами один вопрос. Ирма вам ничего не говорила?

Виктор бросил простыню на диван, присел на корточки перед баром и вытащил бутылку и стакан.

— Ирма мне много чего говорила,— ответил он довольно мрачно. Он налил в стакан на палец джину и долил немного воды.

— Она не передавала вам наше приглашение?

— Нет. Приглашений она мне не передавала. На, выпей.

— Благодарю вас, не нужно. Раз она не передавала, то передам я. Мы хотели бы встретиться с вами, господин Банев.

— Кто это — мы?

— Гимназисты. Видите ли, мы читали ваши книги и хотели бы задать вам несколько вопросов.

— Гм,— сказал Виктор с сомнением.— Ты уверен, что это будет интересно всем?

— Я думаю — да.

— Все-таки я пишу не для гимназистов,— напомнил Виктор.

— Это неважно,— сказал Бол-Кунац с мягкой настойчивостью.— Вы согласились бы?

Виктор покрутил в стакане прозрачную смесь.

— Может быть, все-таки выпьешь?— спросил он.— Лучшее средство от простуды. Нет? Ну тогда выпью я.— Он осушил стакан.— Хорошо, я согласен. Только никаких афиш, объявлений и прочего. Узкий круг. Вы и я... Когда?

— Когда вам будет удобно. Лучше бы на этой неделе. Утром.

— Скажем, через два-три дня. Только не очень рано. Скажем, в пятницу, в одиннадцать. Это подойдет?

— Да. В пятницу в одиннадцать. В гимназии. Вам напомнить?

— Обязательно,— сказал Виктор.— О раутах, суарэ и банкетах, а также о митингах, встречах и совещаниях я всегда стараюсь забыть.

— Хорошо, я напомню,— сказал Бол-Кунац.— А теперь я с вашего разрешения пойду. До свидания, господин Банев.

— Постой, я тебя провожу,— сказал Виктор.— Как бы тебя этот... швейцар не обидел. Что-то он сегодня не в духе, а швейцары знаешь какой народ...

— Благодарю вас, не беспокойтесь,— возразил Бол-Кунац.— Это мой отец.

И он вышел. Виктор налил себе еще на палец джину и повалился в кресло. Так, подумал он. Бедный швейцар. Как же его зовут? Неудобно даже, все-таки мы с ним товарищи по несчастью, коллеги. Надо будет с ним поговорить, обменяться опытом. Он, наверно, опытнее... Какая, однако, концентрация вундеркиндов в моем родном промозглом городишке. Может быть, это от повышенной влажности?.. Он откинул голову и сморщился от боли. Вот гад, чем это он меня все-таки? Он ощупал желвак. Похоже на резиновую дубинку. Впрочем, откуда мне знать, как это бывает от резиновой дубинки? Как бывает от модернового стула в «Жареном Пегасе» — это я знаю. Как бывает от автоматного приклада или, например, от рукоятки пистолета, я тоже знаю. От бутылки из-под шампанского и от бутылки с шампанским... Надо будет спросить Голема... Вообще странная какая-то история, хорошо бы в ней разобраться. И он стал разбираться в этой истории, чтобы отогнать всплывшую вторым планом мысль об Ирме, о необходимости от чего-то отказываться и как-то себя ограничивать или куда-то кому-то писать, кого-то просить... «Извини, что беспокою тебя, старина, но тут у меня объявилась дочка двенадцати с лишним лет, очень славная девочка, но мать у нее дура и отец тоже дурак, так вот надобно ее пристроить куда-нибудь подальше от глупых людей...» Не хочу я сегодня об этом думать, завтра подумаю. Он посмотрел на часы. Хватит думать вообще. Хватит.

Он поднялся и стал одеваться перед зеркалом. Брюхо растет, вот дьявол, и откуда бы у меня быть брюху? Такой всегда был сухощавый, жилистый человек... Даже и не брюхо собственно — благородное трудовое чрево

от размеренной жизни и хорошей пищи,— а так, брюшко какое-то паршивенькое, оппозиционерский животик. У господина президента небось не такой. У господина президента небось благородный, обтянутый черным лоснящийся дирижабль...

Повязывая галстук, он подвинул лицо к зеркалу и вдруг подумал, как выглядело это уверенное крепкое лицо, столь обожаемое женщинами известного сорта, некрасивое, но мужественное лицо бойца с квадратным подбородком, как оно выглядело к концу исторической встречи. Лицо господина президента, тоже не лишенное мужественности и элементов прямоугольности, к концу исторической встречи напоминало, прямо скажем, между нами, кабанье рыло. Господин президент изволили взвинтить себя до последней степени, из клыкастой пасти летели брызги, и я достал платок и демонстративно вытер себе щеку, и это был, наверное, самый смелый поступок в моей жизни, если не считать того случая, когда я дрался с тремя танками сразу. Но как я дрался с танками — я не помню, знаю только по рассказам очевидцев, а вот платочек я вынул сознательно и соображал, на что иду... В газетах об этом не писали. В газетах честно и мужественно, с суровой прямотой сообщили, что «беллетрист В. Банев искренне поблагодарил господина президента за все замечания и разъяснения, сделанные в ходе беседы».

Странно, как хорошо я все это помню. Он обнаружил, что у него побелели щеки и кончик носа. Вот таким я и был тогда, на такого орать сам бог велел. Он ведь не знал, бедняга, что это я не от страха, что бледнею я от злости, как Людовик XIV... Только не будем махать кулаками после драки. Какая разница, отчего я там у него бледнел... Ладно, не будем. Но для того, чтобы успокоиться, для того, чтобы привести себя в порядок перед появлением нá люди, чтобы вернуть нормальный цвет некрасивому, но мужественному лицу, я должен напомнить вам, господин Банев, что, если бы вы не продемонстрировали господину президенту свой платочек, вы бы благополучнейшим образом обретались сейчас в нашей славной столице, а не в этой мокрой дыре...

Виктор залпом допил джин и спустился в ресторан.

— Может быть, конечно, и хулиганы,— сказал Виктор.— Только в мое время никакой хулиган не стал бы

связываться с очкариком. Запустить в него камнем — это еще туда-сюда, но хватать, тащить и вообще прикасаться... Мы их все боялись, как заразы.

— Я же говорю вам: это генетическая болезнь,— сказал Голем.— Они абсолютно не заразные.

— Как же не заразные,— возразил Виктор,— когда от них бородавки, как от жабы! Это же все знают.

— От жаб не бывает бородавок,— благодушно сказал Голем.— От мокрецов тоже. Стыдно, господин писатель. Впрочем, писатели — народ серый.

— Как и всякий народ. Народ сер, но мудр. И если народ утверждает, что от жаб и очкариков бывают бородавки...

— А вот приближается мой инспектор,— сказал Голем.

Подошел Павор в мокром плаще, прямо с улицы.

— Добрый вечер,— сказал он.— Весь промок, хочу выпить.

— Опять от него тиной воняет,— с негодованием произнес доктор Р. Квадрига, пробудившись от алкогольного транса.— Вечно от него воняет тиной. Как в пруду. Ряска.

— Что вы пьете?— спросил Павор.

— Кто мы?— осведомился Голем.— Я, например, как всегда пью коньяк. Виктор пьет джин. А доктор — всё по очереди.

— Срам!— с негодованием сказал доктор Р. Квадрига.— Чешуя! И головы.

— Двойной коньяк!— крикнул Павор официанту.

Лицо у него было мокрое от дождя, густые волосы слиплись, и от висков по бритым щекам стекали блестящие струйки. Тоже твердое лицо, многие, наверное, завидуют. Откуда у санитарного инспектора такое лицо? Твердое лицо — это: сыплет дождь, прожектора, тени на мокрых вагонах мечутся, ломаются... все черное и блестящее, только черное и только блестящее, и никаких разговоров, никакой болтовни, только команды, и все повинуются... не обязательно вагоны, может быть, самолеты, аэродром, и потом никто не знает, где он был и откуда пришел... девочки падают навзничь, а мужчинам хочется сделать что-нибудь мужественное — например, расправить плечи и втянуть брюхо. Вот Голему не мешало бы втянуть брюхо, только вряд ли, куда он его втянет, там у него все занято. Доктор Р. Квадрига — да, но зато ему не расправить плечи, вот уже много дней и навсегда он согбен. Вечерами

он согбен над столом, по утрам — над тазиком, а днем — от больной печени. И значит, только я здесь способен втянуть брюхо и расправить плечи, но я лучше мужественно хлопну стаканчик джину.

— Нимфоман,— грустно сказал Павору доктор Р. Квадрига.— Русалкоман. И водоросли.

— Заткнитесь, доктор,— сказал Павор. Он вытирал лицо бумажными салфетками, комкал их и бросал на пол. Потом он стал вытирать руки.

— С кем это вы подрались?— спросил Виктор.

— Изнасилован мокрецом,— произнес доктор Р. Квадрига, мучительно стараясь развести по местам глаза, которые съехались у него к переносице.

— Пока ни с кем,— ответил Павор и пристально посмотрел на доктора, но Р. Квадрига этого не заметил.

Официант принес рюмку. Павор медленно выцедил коньяк и поднялся.

— Пойду-ка я умоюсь,— сказал он ровным голосом.— За городом грязь, весь в дерьме.— И он ушел, задевая по дороге стулья.

— Что-то происходит с моим инспектором,— произнес Голем. Он щелчком сбросил со стола мятую салфетку.— Что-то мировых масштабов. Вы случайно не знаете, что именно?

— Вам лучше знать,— сказал Виктор.— Он инспектирует вас, а не меня. И потом вы ведь всё знаете. Кстати, Голем, откуда вы всё знаете?

— Никто ничего не знает,— возразил Голем.— Некоторые догадываются. Очень немногие — кому хочется. Но нельзя спросить: откуда они догадываются?— это насилие над языком. Куда идет дождь? Чем встает солнце? Вы бы простили Шекспиру, если бы он написал что-нибудь в этом роде? Впрочем, Шекспиру вы бы простили. Шекспиру мы много прощаем, не то что Баневу... Слушайте, господин беллетрист, у меня есть идея. Я выпью коньяку, а вы покончите с этим джином. Или вы уже готовы?

— Голем,— сказал Виктор,— вы знаете, что я — железный человек?

— Я догадываюсь.

— А что из этого следует?

— Что вы боитесь заржаветь.

— Предположим,— сказал Виктор.— Но я имею в виду не это. Я имею в виду, что могу пить много и долго, не теряя нравственного равновесия.

— Ах вот в чем дело,— сказал Голем, наливая себе из графинчика.— Ну хорошо, мы еще вернемся к этой теме.

— Я не помню,— сказал вдруг ясным голосом доктор Р. Квадрига.— Я вам представлялся или нет, господа? Честь имею: Рем Квадрига, живописец, доктор гонорис кауза, почетный член... Тебя я помню,— сказал он Виктору.— Мы с тобой учились и еще что-то... А вот вы, простите...

— Меня зовут Юл Голем,— небрежно сказал Голем.

— Очень рад. Скульпт'р?

— Нет. Врач.

— Х'рург?

— Я главный врач лепрозория,— терпеливо объяснил Голем.

— Ах да!— сказал доктор Р. Квадрига, по-лошадиному мотая головой.— Конечно. Простите меня, Юл... Только почему вы скрываете? Какой вы там врач? Вы же разводите мокрецов... Я вас представлю. Такие люди нам нужны... Простите,— сказал он неожиданно.— Я сейчас.

Он выбрался из кресла и устремился к выходу, блуждая между пустыми столиками. К нему подскочил официант, и доктор Р. Квадрига обнял его за шею.

— Это всё дожди,— сказал Голем.— Мы дышим водой. Но мы не рыбы, мы либо умрем, либо уйдем отсюда.— Он серьезно и печально глядел на Виктора.— А дождь будет падать на пустой город, размывать мостовые, сочиться сквозь крыши, сквозь гнилые крыши... потом смоет всё, растворит город в первобытной земле, но не остановится, а будет падать и падать...

— Апокалипсис,— проговорил Виктор, чтобы что-нибудь сказать.

— Да, Апокалипсис... Будет падать и падать, а потом земля напитается, и взойдет новый посев, каких раньше не бывало, и не будет плевел среди сплошных злаков. Но не будет и нас, чтобы насладиться новой вселенной...

Если бы не эти сизые мешки под глазами, если бы не вислое студенистое брюхо, если бы этот великолепный семитский нос не был так похож на топографическую карту... Хотя, ежели подумать, все пророки были пьяницами, потому что уж очень тоскливо: ты всё знаешь, а тебе никто не верит. Если бы в департаментах ввели штатную должность пророка, то им сле-

довало бы присваивать не ниже тайного советника — для укрепления авторитета. И всё равно, наверное, не помогло бы...

— За систематический пессимизм,— сказал Виктор вслух,— ведущий к подрыву служебной дисциплины и веры в разумное будущее, приказываю: тайного советника Голема побить камнями в экзекуторской.

Голем хмыкнул.

— Я всего лишь коллежский советник,— сообщил он.— И потом, какие пророки в наше время? Я не знаю ни одного. Множество лжепророков, и ни одного пророка. В наше время нельзя предвидеть будущее — это насилие над языком. Что бы вы сказали, прочитав у Шекспира: предвидеть настоящее? Разве можно предвидеть шкаф в собственной комнате?.. А вот идет мой инспектор. Как вы себя чувствуете, инспектор?

— Прекрасно,— сказал Павор, усаживаясь.— Официант, двойной коньяк! Там, в вестибюле, нашего живописца держат четверо,— сообщил он.— Объясняют ему, где вход в ресторан. Я решил не вмешиваться, потому что он никому не верит и дерется... О каких шкафах идет речь?

Он был сух, элегантен, свеж, от него пахло одеколоном.

— Мы говорим о будущем,— сказал Голем.

— Какой смысл говорить о будущем?— возразил Павор.— О будущем не говорят, будущее делают. Вот рюмка коньяку. Она полная. Я делаю ее пустой. Вот так. Один умный человек сказал, что будущее нельзя предвидеть, но можно изобрести.

— Другой умный человек сказал,— заметил Виктор,— что будущего вообще не бывает, есть только настоящее.

— Я не люблю классической философии,— сказал Павор.— Эти люди ничего не умели и ничего не хотели. Им просто нравилось рассуждать, как Голему — пить. Будущее — это тщательно обезвреженное настоящее.

— У меня всегда возникает странное ощущение,— сказал Голем,— когда при мне штатский человек рассуждает, как военный.

— Военные вообще не рассуждают,— возразил Павор.— У военных только рефлексы и немного эмоций.

— У большинства штатских тоже,— сказал Виктор, ощупывая свой затылок.

— Сейчас ни у кого нет времени рассуждать,— сказал Павор.— Ни у военных, ни у штатских. Сейчас

надо успевать поворачиваться. Если тебя интересует будущее, изобретай его быстро, на ходу, в соответствии с рефлексами и эмоциями.

— К чертям изобретателей,— сказал Виктор. Он чувствовал себя пьяным и веселым. Все стояло на своих местах. Не хотелось никуда идти, хотелось оставаться здесь, в этом пустом полутемном зале, еще не совсем ветхом, но уже с потеками на стенах, с расхлябанными половицами, с запахом кухни; особенно если вспомнить, что снаружи во всем мире идет дождь, над булыжными мостовыми — дождь, над островерхими крышами — дождь, и дождь заливает горы и равнину, и когда-нибудь он все это смоет, но это случится еще очень нескоро... хотя, если подумать, сейчас ни о чем нельзя говорить, что это случится нескоро. Да, милые мои, давно оно прошло, то время, когда будущее было повторением настоящего и все перемены маячили где-то за далекими горизонтами. Голем прав, нет на свете никакого будущего, оно слилось с настоящим, и теперь не разберешь, где что.

— Изнасилован мокрецом!— сказал Павор злорадно.

В дверях ресторана появился доктор Р. Квадрига. Несколько секунд он стоял, с тяжелым вниманием обозревая ряды пустых столиков, затем лицо его прояснилось, и он, резко качнувшись вперед, устремился к своему месту.

— Почему вы их называете мокрецами?— спросил Виктор.— Что они — мокрые у вас тут стали от дождей?

— А почему нет?— спросил Павор.— Как их, по-вашему, называть?

— Очкарики,— сказал Виктор.— Доброе старое слово. Спокон веков мы их называли очкариками.

Доктор Р. Квадрига приближался. Спереди он был весь мокрый, вероятно, его отмывали над раковиной. Выглядел он утомленным и разочарованным.

— Черт знает что,— брюзгливо сказал он еще издали.— Никогда со мной такого не бывало: нет входа! Куда ни ткнусь — везде сплошные окна... Кажется, я заставил вас ждать, господа.— Он упал в свое кресло и узрел Павора.— Опять он здесь,— сообщил он Голему доверительным шепотом.— Надеюсь, он вам не мешает... А со мной, знаете ли, произошла удивительная история. Всего облили.

Голем налил ему коньяку.

— Благодарю вас,— сказал Р. Квадрига,— но я, пожалуй, лучше пропущу пару кругов. Надо обсохнуть.

— Я вообще за всё старое доброе,— объявил Виктор.— Пусть очкарики остаются очкариками. И вообще пусть всё остается без изменений. Я — консерватор... Внимание!— сказал он громко.— Предлагается тост за консерватизм. Минуточку...— Он налил себе джину, встал и оперся рукой на спинку кресла.— Я — консерватор,— сказал он.— И с каждым годом я становлюсь все консервативнее, но не потому, что старею, а потому, что ощущаю в этом потребность...

Трезвый Павор с рюмкой наготове глядел на него снизу вверх с подчеркнутым вниманием. Голем медленно ел миноги, а доктор Р. Квадрига, казалось, тщился понять, откуда до него доносится голос и чей. Всё было очень хорошо.

— Люди обожают критиковать правительства за консерватизм,— продолжал Виктор.— Люди обожают превозносить прогресс. Это новое веяние, и оно глупо, как и все новое. Людям надлежало бы молить бога, чтобы он даровал им самое косное, самое заскорузлое и конформистское правительство...

Теперь и Голем поднял глаза и смотрел на него, и Тэдди за своей стойкой тоже перестал перетирать бутылки и прислушиваться, только вот затылок вдруг заломило, и пришлось поставить рюмку и погладить желвак.

— Государственный аппарат, господа, во все времена почитал своей главной задачей сохранение статус-кво. Не знаю, насколько это было оправдано раньше, но сейчас такая функция государства попросту необходима. Я бы определил эту функцию так: всячески препятствовать будущему запускать щупальца в наше время, обрубать эти щупальца, прижигать их каленым железом... Мешать изобретателям, поощрять схоластов и болтунов... в гимназиях ввести повсеместно исключительно классическое образование. На высшие государственные посты — старцев, обремененных семействами и долгами, не моложе шестидесяти лет, чтобы брали взятки и спали на заседаниях...

— Что вы такое несёте, Виктор,— сказал Павор укоризненно.

— Нет, отчего же,— сказал Голем.— Необычайно приятно слышать такие умеренные, лояльные речи.

— Я еще не кончил, господа!.. Талантливых ученых

назначать администраторами с крупным окладом. Все без исключения изобретения принимать, плохо оплачивать и класть под сукно. Ввести драконовские налоги на каждую товарную и производственную новинку...— А чего я, собственно, стою?— подумал Виктор и сел.— Ну, как вам это показалось?— спросил он Голема.

— Вы совершенно правы,— сказал Голем.— А то у нас нынче все радикалы. Даже директор гимназии. Консерватизм — вот наше спасение.

Виктор хлебнул джину и сказал горестно:

— Не будет никакого спасения. Потому что все дураки-радикалы не только верят в прогресс, они еще и любят прогресс, они воображают, что не могут без прогресса. Потому что прогресс — это, кроме всего прочего, дешевые автомобили, бытовая электроника и вообще возможность делать поменьше, а получать побольше. И потому каждое правительство вынуждено одной рукой... то есть не рукой, конечно... одной ногой нажимать на тормоза, а другой — на акселератор. Как гонщик на повороте. На тормоза — чтобы не потерять управление, а на акселератор — чтобы не потерять скорости, а то ведь какой-нибудь демагог, поборник прогресса, обязательно спихнет с водительского места.

— С вами трудно спорить,— вежливо сказал Павор.

— А вы не спорьте,— сказал Виктор.— Не надо спорить: в спорах рождается истина, пропади она пропадом.— Он нежно погладил желвак и добавил:— Впрочем, у меня это, наверное, от невежества. Все ученые — поборники прогресса, а я — не ученый. Я просто небезызвестный куплетист.

— Что это вы все время хватаетесь за затылок?— спросил Павор.

— Какая-то сволочь долбанула,— сказал Виктор.— Кастетом... Правильно я говорю, Голем? Кастетом?

— По-моему, кастетом,— сказал Голем.— А может быть, и кирпичом.

— Что вы такое говорите?— удивился Павор.— Каким кастетом? В этом захолустье?

— Вот видите,— наставительно сказал Виктор.— Прогресс!.. Давайте снова выпьем за консерватизм.

Позвали официанта, выпили еще раз за консерватизм. Пробило девять, и в зале появилась известная пара — молодой человек в мощных очках и его долговязый спутник. Усевшись за свой столик, они включили торшер, смиренно огляделись и принялись изучать меню. Моло-

дой человек опять пришел с портфелем, портфель он поставил на свободное кресло рядом с собой. Он всегда был очень добр к своему портфелю. Продиктовав официанту заказ, они выпрямились и стали молча глядеть в пространство.

Странная пара, подумал Виктор. Удивительное несоответствие. Они выглядят, как в испорченном бинокле: один в фокусе, другой расплывается, и наоборот. Полнейшая несовместимость. С молодым человеком в очках можно было бы поговорить о прогрессе, а с долговязым — нет. Долговязый мог бы двинуть меня кастетом, а молодой в очках — нет... Но я вас сейчас совмещу. Как бы это мне вас совместить? Ну, например, вот... Какой-нибудь государственный банк, подвалы... цемент, бетон, сигнализация... долговязый набирает номер на диске, стальная башня поворачивается, открывается вход в сокровищницу, оба входят, долговязый набирает номер на другом диске, дверца сейфа откатывается, и молодой по локоть погружается в бриллианты.

Доктор Р. Квадрига вдруг расплакался и схватил Виктора за руку.

— Ночевать,— сказал он.— Ко мне. А?

Виктор немедленно налил ему джину. Р. Квадрига выпил, вытер под носом и продолжал:

— Ко мне. Вилла. Фонтан есть. А?

— Фонтан — это у тебя хорошо придумано,— заметил Виктор уклончиво.— А еще что?

— Подвал,— печально сказал Р. Квадрига.— Следы. Боюсь. Страшно. Хочешь — продам?

— Лучше подари,— предложил Виктор.

Р. Квадрига заморгал.

— Жалко,— сказал он.

— Скупердяй,— сказал Виктор с упреком.— Это у тебя с детства. Виллы ему жалко! Ну и подавись своей виллой.

— Ты меня не любишь,— горько констатировал доктор Р. Квадрига.— И никто.

— А господин президент?— агрессивно спросил Виктор.

— «Президент — отец народа»,— оживляясь, сказал Р. Квадрига.— Эскиз в золотых тонах... «Президент на позициях». Фрагмент картины: «Президент на обстреливаемых позициях».

— А еще?— поинтересовался Виктор.

— «Президент с плащом»,— сказал Р. Квадрига с готовностью.— Панно. Панорама.

Виктор, соскучившись, отрезал кусочек миноги и стал слушать Голема.

— Вот что, Павор,— говорил тот.— Отстаньте вы от меня. Что я еще могу? Отчетность я вам представил. Рапорт ваш готов подписать. Хотите жаловаться на военных — жалуйтесь. Хотите жаловаться на меня...

— Не хочу я на вас жаловаться,— отвечал Павор, прижимая руку к груди.

— Тогда не жалуйтесь.

— Ну посоветуйте мне что-нибудь! Неужели вы ничего мне не можете посоветовать?

— Господа,— сказал Виктор.— Скучища. Я пойду.

На него не обратили внимания. Он отодвинул стул, поднялся и, чувствуя себя очень пьяным, направился к стойке. Лысый Тэдди перетирал бутылки и смотрел на него без любопытства.

— Как всегда?— спросил он.

— Подожди,— сказал Виктор.— Что это я у тебя хотел спросить... Да! Как дела, Тэдди?

— Дождь,— коротко сказал Тэдди и налил ему очищенной.

— Проклятая погода стала у нас в городе,— сказал Виктор и оперся на стойку.— Что на твоем барометре?

Тэдди сунул руку под стойку и достал «погодник». Все три шипа плотно прилегали к блестящему, словно отлакированному стволику.

— Без просвета,— сказал Тэдди, внимательно разглядывая «погодник».— Дьявольская выдумка.— Подумав, он добавил:— А вообще-то, бог его знает, может быть, он давно уже заломался — который год уже дождь, как проверишь?

— Можно съездить в Сахару,— предложил Виктор.

Тэдди ухмыльнулся.

— Смешно,— сказал он.— Господин этот ваш, Павор, смешное дело, двести крон предлагает за эту штуку.

— Спьяну, наверное,— сказал Виктор.— Зачем она ему...

— Я ему так и сказал.— Тэдди повертел «погодник», поднес его к правому глазу.— Не отдам,— заявил он решительно.— Пусть-ка сам поищет.— Он сунул «погодник» под стойку, посмотрел, как Виктор крутит в пальцах рюмку, и сообщил:— Диана твоя приезжала.

— Давно?— небрежно спросил Виктор.

— Да часов в пять примерно. Выдал ей ящик коньяку. Росшепер всё гуляет, никак не остановится. Гоняет

персонал за коньяком, жирная морда. Тоже мне — член парламента... Ты за нее не опасаешься?

Виктор пожал плечами. Он вдруг увидел Диану рядом с собой. Она возникла возле стойки в мокром дождевике с откинутым капюшоном, она не смотрела в его сторону, он видел только ее профиль и думал, что из всех женщин, которых он раньше знал, она — самая красивая и что такой у него больше никогда, наверное, не будет. Она стояла, опершись на стойку, и лицо ее было очень бледным и очень равнодушным, и она была самой красивой — у нее всё было красивое. И всегда. И когда она плакала, и когда смеялась, и когда злилась, и когда ей было наплевать, и даже когда мерзла, а особенно — когда на нее находило... Ох и пьян же я, подумал Виктор, и разит, наверное, от меня, как от Р. Квадриги. Он вытянул нижнюю губу и подышал себе под нос. Ничего не разобрать.

— Дороги мокрые, скользкие,— говорил Тэдди.— Туман... А потом, я тебе скажу, что Росшепер этот — наверняка бабник, старый козел.

— Росшепер — импотент,— возразил Виктор, машинально проглотив очищенную.

— Это она тебе рассказала?

— Брось, Тэдди,— сказал Виктор.— Перестань.

Тэдди пристально на него посмотрел, потом вздохнул, крякнув, присел на корточки, покопался под стойкой и выставил перед Виктором пузырек с нашатырным спиртом и початую пачку чая. Виктор глянул на часы и стал смотреть, как Тэдди неторопливо достает чистый бокал, наливает в него содовую, капает из пузырька и всё так же неторопливо мешает стеклянной палочкой. Потом он придвинул бокал к Виктору. Виктор выпил и зажмурился, задерживая дыхание. Свежая и отвратительная, отвратительно-свежая струя нашатыря ударила в мозг и разлилась где-то под глазами. Виктор потянул носом воздух, сделавшийся нестерпимо холодным, и запустил пальцы в пачку с чаем.

— Ладно, Тэдди,— сказал он.— Спасибо. Запиши на меня, что полагается. Они тебе скажут, что полагается. Пойду.

Старательно жуя чай, он вернулся к своему столику. Очкастый молодой человек со своим долговязым спутником торопливо поглощали ужин. Перед ними стояла единственная бутылка — с привозной минеральной водой. Павор и Голем, освободив место на скатерти, иг-

рали в кости, а доктор Р. Квадрига, охватив нечесаную голову, монотонно бубнил: «Легион Свободы — опора президента». Мозаика... В счастливый день именин вашего высокопревосходительства... «Президент — отец детей». Аллегорическая картина...»

— Я пошел,— сказал Виктор.

— Жаль,— сказал Голем.— Впрочем, желаю удачи.

— Привет Росшеперу,— сказал Павор, подмигнув.

— «Член парламента Росшепер Нант»,— оживился Р. Квадрига.— Портрет. Недорого. Поясной...

Виктор взял свою зажигалку и пачку сигарет и пошел к выходу. Позади доктор Р. Квадрига ясным голосом произнес: «Я полагаю, господа, что нам пора познакомиться. Я — Рем Квадрига, доктор гонорис кауза, а вот вас, сударь, я не припоминаю...» В дверях Виктор столкнулся с толстым тренером футбольной команды «Братья по разуму». Тренер был очень озабочен, очень мокр и уступил Виктору дорогу.

Автобус остановился, и шофер сказал:

— Приехали.

— Санаторий?— спросил Виктор. Снаружи был туман, плотный, молочный. Свет фар рассеивался в нем, и ничего не было видно.

— Санаторий, санаторий,— проворчал шофер, раскуривая сигарету.

Виктор подошел к двери и, спускаясь с подножки, сказал:

— Ну и туманище. Ничего не вижу.

— Разберетесь,— равнодушно пообещал шофер. Он сплюнул в окошко.— Нашли место, где санаторий устраивать. Днем — туман, вечером — туман...

— Счастливого пути,— сказал Виктор.

Шофер не ответил. Взвыл двигатель, захлопнулись двери, и огромный пустой автобус, весь стеклянный и освещенный изнутри, как закрытый на ночь универмаг, развернулся, сразу превратившись в мутное пятно света, и укатил обратно в город. Виктор, с трудом перебирая руками решетчатую изгородь, нашел ворота и ощупью двинулся по аллее. Теперь, когда глаза привыкли к темноте, он смутно различал впереди освещенные окна правого крыла и какую-то особенно глубокую тьму на месте левого, где сейчас спали намотавшиеся за день под дождем «Братья по разуму». В тумане, словно сквозь вату, слышались обычные звуки — играла

радиола, дребезжала посуда, кто-то хрипло орал. Виктор продвигался, стараясь держаться середины песчаной аллеи, чтобы не налететь ненароком на какую-нибудь гипсовую вазу. Бутылку с джином он бережно прижимал к груди и был очень осторожен, но тем не менее вскоре споткнулся о мягкое и прошелся на четвереньках. Позади вяло и сонно выругались в том смысле, что надо, мол, зажигать свет. Виктор нашарил в сумраке упавшую бутылку, снова прижал ее к груди и пошел дальше, выставив свободную руку. Скоро он столкнулся с автомобилем, ощупью обошел его и столкнулся с другим. Дьявол, здесь оказалась целая куча автомобилей. Виктор, ругаясь, блуждал среди них, как в лабиринте, и долго не мог выбраться к смутному сиянию, означавшему вход в вестибюль. Гладкие бока автомобилей были влажными от осевшего тумана. Где-то рядом хихикали и отбивались.

В вестибюле на этот раз было пусто, никто не играл в жмурки, никто не бегал в пятнашки, тряся жирным задом, никто не спал в креслах. Повсюду валялись скомканные плащи, а некий остряк повесил шляпу на фикус. Виктор поднялся по ковровой лестнице на второй этаж. Музыка гремела. Справа в коридоре все двери в апартаменты члена парламента были распахнуты, оттуда несло жирными запахами пищи, курева и разгоряченных тел. Виктор повернул налево и постучал в комнату Дианы. Никто не отозвался. Дверь была заперта, ключ торчал в замочной скважине. Виктор вошел, зажег свет и поставил бутылку на телефонный столик. Послышались шаги, и он выглянул наружу. Направо по коридору широкой и твердой походкой удалялся рослый человек в черном вечернем костюме. На лестничной площадке он остановился перед зеркалом, вскинул голову, поправил галстук (Виктор успел разглядеть изжелта-смуглый орлиный профиль и острый подбородок), а затем в нем что-то изменилось: он ссутулился, слегка перекосился набок и, гнусно виляя бедрами, скрылся в одной из распахнутых дверей. Пижон, неуверенно подумал Виктор. Блевать ходил... Он поглядел влево. Там было темно.

Виктор снял плащ, запер комнату и отправился искать Диану. Придется заглянуть к Росшеперу, подумал он. Где ей еще быть?

Росшепер занимал три палаты. В первой недавно жрали: на столах, покрытых замаранными скатертями,

громоздились грязные тарелки, пепельницы, бутылки, мятые салфетки, и никого не было, если не считать одинокой потной лысины, храпевшей в блюде с заливным.

В смежной палате дым стоял коромыслом. На гигантской Росшеперовой кровати брыкались полураздетые нездешние девчонки. Они играли в какую-то странную игру с апоплексически-багровым господином бургомистром, который зарывался в них, как свинья в желуди, и тоже брыкался и хрюкал от удовольствия. Тут же присутствовали: господин полицмейстер без кителя, господин городской судья с глазами, вылезшими из орбит от нервной одышки, и какая-то незнакомая юркая личность в сиреневом. Эти трое азартно сражались в детский бильярд, поставленный на туалетный столик, а в углу, прислоненный к стене, сидел, раскинув ноги, облаченный в перепачканный вицмундир директор гимназии с идиотской улыбкой на устах. Виктор уже собрался уходить, когда кто-то поймал его за штанину. Он глянул вниз и отпрянул. Под ним стоял на четвереньках член парламента, кавалер орденов, автор нашумевшего проекта об обрыблении Китчинганских водоемов Росшепер Нант.

— В лошадки хочу,— просительно проблеял Росшепер.— Давай в лошадки! Иго-го!— Он был невменяем.

Виктор деликатно освободился и заглянул в последнюю палату. Там он увидел Диану. Сначала он не понял, что это Диана, а потом кисло подумал: очень мило! Здесь было полно народу, каких-то полузнакомых мужчин и женщин, они стояли кругом и хлопали в ладоши, а в центре круга Диана отплясывала с тем самым желтолицым пижоном, обладателем орлиного профиля. У нее горели глаза, горели щеки, волосы летали над плечами, и черт был ей не брат. Орлиный профиль очень старался соответствовать.

Странно, подумал Виктор. В чем дело?.. Что-то здесь было не так. Танцует он хорошо, он просто прекрасно танцует. Как учитель танцев. Не танцует, а показывает, как танцевать... Даже не как учитель, а как ученик на экзаменах. Очень хочет получить пятерку... Нет, не то. Слушай, милый, ты же с Дианой танцуешь! Неужели ты этого не замечаешь? Виктор привычно напряг воображение. Актер танцует на сцене, всё хорошо, всё прекрасно, всё идет как надо, без накладок, а дома несчастье... нет, не обязательно несчастье, просто ждут, когда же он вернется, и он тоже ждет, когда дадут

занавес и погасят огни... и даже никакой не актер, а посторонний человек, изображающий актера, который сам играет совсем уж постороннего... Неужели Диана не чувствует? Это же фальшивка. Манекен. Ни капли близости между ними, ни капли соблазна, ни тени желания... Говорят друг другу что-то, представить невозможно — что. Шерочка с машерочкой... Вы не вспотели? Да, читал, и даже два раза... Тут он увидел, что Диана, распихивая гостей, бежит к нему.

— Пошли плясать!— закричала она еще издали.

Кто-то преградил ей дорогу, кто-то схватил ее за руку, она вырвалась, смеясь, а Виктор все искал глазами желтолицего и не находил, и это неприятно беспокоило.

Она подбежала к нему, вцепилась в рукав и потащила в круг.

— Пошли, пошли! Здесь все свои — вся пьянь, рвань, дрянь... Покажи им, как надо! Этот мальчишка ничего не умеет...

Она втащила его в круг, кто-то в толпе заорал: «Писателю Баневу — ура!» Замолкшая на секунду радиола снова залаяла и залязгала, Диана прижалась к нему, потом отпрянула, от нее пахло духами и вином, она была горячая, и Виктор теперь ничего не видел, кроме ее возбужденного прекрасного лица и летящих волос.

— Пляши!— крикнула она, и он стал плясать.

— Молодец, что приехал.

— Да. Да.

— Зачем ты трезвый? Вечно ты трезвый, когда не надо.

— Я буду пьяный.

— Сегодня ты мне нужен пьяный.

— Буду.

— Чтобы делать с тобой, что хочу. Не ты со мной, а я.

— Да.

Она удовлетворенно смеялась, и они плясали молча, ничего не видя и ни о чем не думая. Как во сне. Как в бою. Такая она была сейчас — как сон, как бой. Диана, На Которую Нашло... Вокруг били в ладоши и вскрикивали, кажется, еще кто-то пытался плясать, но Виктор отшвырнул его, чтобы не мешал, а Росшепер протяжно кричал: «О мой бедный пьяный народ!»

— Он импотент?

— Еще бы. Я его мою.

— И как?
— Абсолютно.
— О мой бедный пьяный народ!— стонал Росшепер.
— Пошли отсюда,— сказал Виктор.

Он поймал ее за руку и повел. Пьянь и рвань расступалась перед ними, воняя спиртом и чесноком, а в дверях путь преградил губастый молокосос с румянцем во всю щеку и сказал что-то наглое, кулаки у него чесались, но Виктор сказал ему: «Потом, потом», и молокосос исчез. Держась за руки, они пробежали по пустому коридору, затем Виктор, не выпуская ее руки, отпер дверь и, не выпуская ее руки, запер дверь изнутри, и было жарко, стало нестерпимо жарко, душно, и комната была сначала широкая и просторная, а потом сделалась узкой и тесной, и тогда Виктор встал и распахнул окно, и черный сырой воздух залил его голые плечи и грудь. Он вернулся на кровать, нашарил в темноте бутылку с джином, отхлебнул и передал Диане. Потом он лег, и слева тек холодный воздух, а справа было горячее шелковистое и нежное. Теперь он слышал, что пьянка продолжается — гости пели хором.

— Это надолго?— спросил он.
— Что?— спросила Диана сонно.
— Долго они будут выть?
— Не знаю. Да черт с ними со всеми...— Она повернулась набок и легла щекой на его плечо.— Холодно,— пожаловалась она.

Они повозились, забираясь под одеяло.

— Не спи,— сказал он.
— Угу,— пробормотала она.
— Тебе хорошо?
— Угу.
— А если за ухо?
— Угу... Отстань, больно.
— Слушай, а нельзя здесь пожить недельку?
— Можно.
— А где?
— Я спать хочу. Дай поспать бедной пьяной женщине.

Он замолчал и лежал не шевелясь. Она уже спала. Так я и сделаю, подумал он. Здесь будет хорошо, тихо. Только не вечером. А может быть, и вечером. Не станет же он пьянствовать каждый вечер, ему ведь лечиться надо... Пожить здесь денька три-четыре... пять-шесть... и поменьше пить, совсем не пить, и поработать... давно я не работал... Чтобы начать работать, надо хо-

рошенько заскучать, чтобы ничего больше не хотелось... Он вздрогнул, задремывая. Насчет Ирмы... Насчет Ирмы я напишу Роц-Тусову, вот что я сделаю. Не струсил бы Роц-Тусов, трус он. Должен мне девятьсот крон. Когда речь заходит о господине президенте, все это не имеет значения, все мы становимся трусами. Почему мы все такие трусы? Чего мы, собственно, боимся? Перемены мы боимся. Нельзя будет пойти в писательский кабак и пропустить рюмку очищенной... швейцар не будет кланяться... и вообще швейцара не будет, самого сделают швейцаром. Плохо, если на рудники... это, действительно, плохо... Но это же редко, времена не те... смягчение нравов... Сто раз я об этом думал и сто раз обнаруживал, что бояться, в общем, нечего, а все равно боюсь. Потому что тупая сила, подумал он. Это страшная штука, когда против тебя тупая, свиная со щетиной сила, неуязвимая, ни для логики неуязвимая, ни для эмоций... И Дианы не будет...

Он задремал и снова проснулся, потому что под открытым окном громко разговаривали и ржали, как животные. Затрещали кусты.

— Не могу я их сажать,— сказал пьяный голос полицмейстера.— Нет такого закона...

— Будет,— сказал голос Росшепера.— Я депутат или нет?

— А такой закон есть, чтобы под городом — рассадник заразы?— рявкнул бургомистр.

— Будет!— упрямо сказал Росшепер.

— Они не заразные,— проблеял фальцетом директор гимназии.— Я имею в виду, что в медицинском отношении...

— Эй, гимназия,— сказал Росшепер,— расстегнуться не забудь.

— А такой закон есть, чтобы честных людей разоряли?— рявкнул бургомистр.— Чтобы разоряли, есть такой закон?

— Будет, я тебе говорю!— сказал Росшепер.— Я депутат или нет?

Чем бы их садануть?— подумал Виктор.

— Росшепер!— сказал полицмейстер.— Ты мне друг? Я тебя, подлеца, на руках носил. Я тебя, подлеца, выбирал. А теперь они шляются, заразы, по городу, и я ничего не могу. Закона нет, понимаешь?

— Будет,— сказал Росшепер.— Я тебе говорю — будет. В связи с заражением атмосферы...

— Нравственной!— вставил директор гимназии.— Нравственной и моральной.

— Что?.. В связи, говорю... с отравлением атмосферы и по причине недостаточного обрыбления прилежащих водоемов... заразу ликвидировать и учредить в отдаленной местности. Годится?

— Дай, я тебя поцелую,— сказал полицмейстер.

— Молодец,— сказал бургомистр.— Голова. Дай, я тоже...

— Ерунда,— сказал Росшепер.— Раз плюнуть... Споем? Нет, не желаю. Пошли еще по маленькой.

— Правильно. По маленькой — и домой.

Снова затрещали кусты, Росшепер сказал уже где-то в отдалении: «Эй, гимназия, застегнуться забыл!», и под окном стало тихо. Виктор снова задремал, просмотрел какой-то незначительный сон, а потом раздался телефонный звонок.

— Да,— сказала Диана хрипло.— Да, это я...— Она откашлялась.— Ничего, ничего, я слушаю. Всё хорошо, он был, по-моему, доволен... Что?

Она разговаривала, перевалившись через Виктора, и вдруг он почувствовал, как напряглось ее тело.

— Странно,— сказала она.— Хорошо, я сейчас посмотрю... Да... Хорошо, я ему скажу.

Она положила трубку, перелезла через Виктора и зажгла ночник.

— Что случилось?— спросил Виктор сонно.

— Ничего. Спи, я сейчас вернусь.

Сквозь прижмуренные веки он смотрел, как она собирает разбросанное белье, и лицо у нее было такое серьезное, что он встревожился. Она быстро оделась и вышла, на ходу одергивая платье. Росшеперу плохо, подумал он, прислушиваясь. Допился, старый мерин. В огромном здании было тихо, и он отчетливо слышал шаги Дианы в коридоре, но она пошла не направо, как он ожидал, а налево. Потом скрипнула дверь, и шаги стихли. Он повернулся на бок и попробовал снова заснуть, но сна не было. Он понял, что ждет Диану и что ему не заснуть, пока она не вернется. Тогда он сел и закурил. Желвак на затылке принялся пульсировать, и он поморщился. Диана не возвращалась. Почему-то он вспомнил плясуна с орлиным профилем. Он-то здесь при чем?— подумал Виктор. Артист, который играет другого артиста, который играет третьего... А, вот в чем дело: он вышел как раз оттуда, слева, куда ушла Диана.

Дошел до лестничной площадки и превратился в пижона. Сначала играл светского льва, а потом стал играть разболтанного хлыща... Виктор снова прислушался. На редкость тихо, все спят... храпит кто-то... Потом снова скрипнула дверь, и послышались приближающиеся шаги. Вошла Диана, лицо у нее было по-прежнему серьезное. Ничего не кончилось, происшествие продолжалось. Диана подошла к телефону и набрала номер.

— Его нет,— сказала она.— Нет-нет, он ушел... Я тоже... Ничего, ничего, что вы. Спокойной ночи.

Она положила трубку, постояла немного, глядя в темноту за окном, затем села на кровать рядом с Виктором. В руке у нее был цилиндрический фонарик. Виктор закурил сигарету и подал ей. Она молча курила, о чем-то напряженно думая, а потом спросила:

— Ты когда заснул?

— Не знаю, трудно сказать.

— Но уже после меня?

— Да.

Она повернула к нему лицо.

— Ты ничего не слышал? Какого-нибудь скандала, драки...

— Нет,— сказал Виктор.— По-моему, все было очень мирно. Сначала они пели, потом Росшепер с компанией мочился у нас под окном, потом я заснул. Они уже собирались разъезжаться.

Она бросила сигарету за окно и поднялась.

— Одевайся,— сказала она.

Виктор усмехнулся и протянул руку за трусами. Слушаю и повинуюсь, подумал он. Хорошая вещь— повиновение. Только не надо ни о чем спрашивать. Он спросил:

— Поедем или пойдем?

— Что?.. Сначала пойдем, а там видно будет.

— Кто-нибудь пропал?

— Кажется.

— Росшепер?

Он вдруг поймал на себе ее взгляд. Она смотрела на него с сомнением. Она уже немного раскаивалась, что позвала его. Она спрашивала себя: а кто он, собственно, такой, чтобы брать его с собою?

— Я готов,— сказал он.

Она все еще сомневалась, задумчиво играя фонариком.

— Ну, ладно... тогда пошли.— Она не двигалась с места.

— Может быть, отломать у стула ножку?— предложил Виктор.— Или, скажем, у кровати...

Она встрепенулась.

— Нет. Ножка не годится.— Она выдвинула ящик стола и достала огромный черный пистолет.— На,— сказала она.

Виктор насторожился было, но это оказался спортивный мелкокалиберный пистолет. И к тому же без обоймы.

— Давай патроны,— сказал Виктор.

Она непонимающе посмотрела на него, потом посмотрела на пистолет и сказала:

— Нет. Патроны не понадобятся. Пошли.

Виктор пожал плечами и сунул пистолет в карман. Они спустились в вестибюль и вышли на крыльцо. Туман поредел, моросил хилый дождик. Машин у крыльца не было. Диана свернула в аллейку между мокрыми кустами и включила фонарик. Дурацкое положение, подумал Виктор. Ужасно хочется спросить, в чем дело, а спросить нельзя. Хорошо бы придумать, как спросить. Как-нибудь облически. Не спросить, а так — отпустить замечание с вопросом в подтексте. Может быть, драться придется? Неохота. Сегодня неохота. Буду бить рукояткой. Прямо между глаз... А как мой желвак? Желвак оказался на месте и побаливал. Странные, однако, обязанности у медсестры в этом санатории... А ведь я всегда считал, что Диана — женщина с тайной. С первого взгляда и все пять дней... Ну и сырость, надо было глотнуть перед уходом. Как только вернусь, сейчас же и глотну... А я молодец, подумал он. Никаких вопросов. Слушаю и повинуюсь.

Они обогнули крыло, пробрались через сирень и оказались перед оградой. Диана посветила. Одного железного прута в ограде не было.

— Виктор,— сказала она негромко.— Сейчас мы пойдем по тропинке. Ты пойдешь сзади. Смотри под ноги, и ни шагу в сторону. Понял?

— Понял,— покорно сказал Виктор.— Шаг влево, шаг вправо — стреляю.

Диана пролезла первой и посветила Виктору. Потом они очень медленно двинулись под гору. Это был восточный склон холма, на котором стоял санаторий. Вокруг шумели под дождем невидимые деревья. Раз Диана поскользнулась, и Виктор едва успел схватить ее за плечи. Она нетерпеливо вывернулась и пошла дальше.

Каждую минуту она повторяла: «Смотри под ноги... Держись за мной». Виктор послушно смотрел вниз, на ноги Дианы, мелькавшие в прыгающем светлом круге. Сначала он все ожидал удара по затылку, прямо по желваку, или чего-нибудь в этом роде, а потом решил: вряд ли. Концы с концами не сходились. Просто, наверное, удрал какой-нибудь псих — например, у Росшепера случилась белая горячка, и его придется вести назад, пугая разряженным пистолетом...

Диана неожиданно остановилась и что-то сказала, но ее слова не дошли до сознания Виктора, потому что в следующую секунду он увидел возле тропинки чьи-то блестящие глаза, неподвижные, огромные, пристально глядевшие из-под мокрого выпуклого лба — только глаза и лоб, и ничего больше, ни рта, ни носа, ни тела — ничего. Сырая тяжелая темнота, и в светлом круге — блестящие глаза и неестественно белый лоб.

— Сволочи,— сказала Диана перехваченным голосом.— Так я и знала. Зверье.

Она упала на колени, луч фонарика скользнул вдоль черного тела, и Виктор увидел какую-то блестящую металлическую дугу, цепь в траве, а Диана скомандовала: «Скорее, Виктор!», и он присел рядом с нею на корточки и только теперь понял, что это капкан, а в капкане — нога человека. Он обеими руками вцепился в железные челюсти и попытался развести их, но они подались чуть-чуть и сомкнулись снова. «Дурак!— крикнула Диана.— Пистолетом!» Он скрипнул зубами, ухватился поудобнее, напряг мускулы, так что захрустело в плечах, и челюсти разошлись. «Тащи»,— хрипло сказал он. Нога исчезла, железные дуги снова сомкнулись и сжали ему пальцы. «Подержи фонарик»,— сказала Диана. «Не могу,— виновато сказал Виктор.— Попался. Возьми у меня из кармана пистолет...» Диана, чертыхнувшись, полезла к нему в карман. Он снова развел капкан, она вставила между скобами рукоятку, и он освободился.

— Подержи фонарик,— повторила она.— Я посмотрю, что с ногой.

— Кость раздроблена,— сказал из темноты напряженный голос.— Несите меня в санаторий и вызывайте машину.

— Правильно,— сказала Диана.— Сейчас, Виктор, давай фонарик, возьми его.

Она посветила. Человек сидел на прежнем месте,

прислонившись к стволу дерева. Нижняя половина его лица была закутана черной повязкой. Очкарик, подумал Виктор. Мокрец. Как он сюда попал?

— Бери же,— нетерпеливо сказала Диана.— На спину.

— Сейчас,— отозвался он. Ему вспомнились желтые круги вокруг глаз. Подкатило к горлу.— Сейчас...— Он сел возле мокреца на корточки и повернулся к нему спиной.— Обнимите меня за шею,— сказал он.

Мокрец оказался тощим и легким. Он не двигался и даже, казалось, не дышал, и он не стонал, когда Виктор оскальзывался, но всякий раз его тело сводило судорогой. Тропинка была гораздо круче, чем думал Виктор, и, когда они дошли до ограды, он основательно запыхался. Трудно оказалось протащить мокреца через щель в ограде, но и с этим они в конце концов справились.

— Куда его?— спросил Виктор, когда они подошли к подъезду.

— Пока в вестибюль,— ответила Диана.

— Не надо,— тем же напряженным голосом произнес мокрец.— Оставьте меня здесь.

— Здесь дождь,— возразил Виктор.

— Перестаньте болтать,— сказал мокрец.— Я останусь здесь.

Виктор промолчал и стал подниматься по ступенькам.

— Оставь его,— сказала Диана.

Виктор остановился.

— Какого черта, здесь же дождь,— сказал он.

— Не будьте дураком,— проговорил мокрец.— Оставьте... здесь...

Виктор, не говоря ни слова, шагая через три ступеньки, поднялся к двери и вошел в вестибюль.

— Кретин,— тихо сказал мокрец и уронил голову на его плечо.

— Болван,— сказала Диана, догоняя Виктора и хватая его за рукав.— Ты его убьешь, идиот! Немедленно вынеси и положи его под дождь! Немедленно, слышишь? Ну, чего стоишь?

— С ума вы все посходили,— сердито и растерянно сказал Виктор.

Он повернулся, пнул дверь и вышел на крыльцо. Дождь словно только и ждал этого. Только что он лениво моросил, а тут вдруг хлынул настоящим ливнем. Мокрец тихонько застонал, поднял голову и вдруг задышал часто-часто, как загнанный. Виктор все еще мед-

лил, инстинктивно осматриваясь в поисках какого-нибудь навеса.

— Положите меня,— сказал мокрец.

— В лужу?— язвительно и горько спросил Виктор.

— Это безразлично... Положите.

Виктор осторожно опустил его на керамические плитки крыльца, и мокрец сразу раскинул руки и вытянулся. Правая нога его была неестественно вывернута, огромный лоб в свете сильной лампы казался синевато-белым. Виктор сел рядом на ступеньки. Ему очень хотелось уйти в вестибюль, но это было невозможно — оставить под проливным дождем раненого человека, а самому уйти в тепло. Сколько раз меня сегодня назвали дураком?— подумал он, обтирая лицо ладонью. Ох, что-то много. И кажется, доля истины в этом есть, поскольку дурак, он же болван, он же кретин и прочее,— это невежда, упорствующий в своем невежестве. А ведь, ей-богу, ему под дождем лучше! И глаза открыл, и не такие они у него страшные... Мокрец, подумал он. Да, пожалуй, скорее мокрец, чем очкарик. Как это его в капкан занесло? И откуда здесь капканы? Второго мокреца сегодня встречаю, и у обоих неприятности. У них неприятности, и у меня из-за них неприятности...

Диана в вестибюле говорила по телефону. Виктор прислушался.

— Нога!.. Да. Раздроблена кость... Хорошо... Ладно... Скорее, мы ждем.

Сквозь стеклянную дверь Виктор увидел, как она повесила трубку и побежала вверх по лестнице. Что-то у нас в городе стало с мокрецами нехорошо. Возня какая-то вокруг них. Что-то они стали всем мешать, даже директору гимназии. Даже Лоле, вспомнил он вдруг. Кажется, она тоже проходилась насчет них... Он поглядел на мокреца. Мокрец смотрел на него.

— Как вы себя чувствуете?— спросил Виктор. Мокрец молчал.— Вам что-нибудь нужно?— спросил Виктор, повышая голос.— Глоток джину?

— Не орите,— сказал мокрец.— Я слышу.

— Больно?— сочувственно спросил Виктор.

— А как вы думаете?

На редкость неприятный человек, подумал Виктор. Впрочем, бог с ним — встретились и разошлись. А ему больно...

— Ничего,— сказал он.— Потерпите еще несколько минут. Сейчас за вами приедут.

Мокрец ничего не ответил, лоб его сморщился, глаза закрылись. Он стал похож на мертвого — плоский и неподвижный под проливным дождем. На крыльцо выскочила Диана с докторским чемоданчиком, присела рядом и стала что-то делать с покалеченной ногой. Мокрец тихонько зарычал, но Диана не произносила успокаивающих слов, какие обычно говорят в таких случаях врачи. «Тебе помочь?»— спросил Виктор. Она не ответила. Он поднялся, и Диана, не поворачивая головы, проговорила: «Подожди, не уходи».

— Я не ухожу,— сказал Виктор. Он смотрел, как она ловко накладывает шину.

— Ты еще понадобишься,— сказала Диана.

— Я не ухожу,— повторил Виктор.

— Вообще-то ты можешь сбегать наверх. Сбегай, хлебни чего-нибудь, пока есть время, но потом сразу возвращайся.

— Ничего,— сказал Виктор.— Обойдусь.

Потом где-то за пеленой дождя зарычал мотор, вспыхнули фары. Виктор увидел какой-то джип, осторожно заворачивающий в ворота. Джип подкатил к крыльцу, и из него грузно выбрался Юл Голем в своем неуклюжем плаще. Он поднялся по ступенькам, нагнулся над мокрецом, взял его руку. Мокрец глухо сказал:

— Никаких уколов.

— Ладно,— сказал Голем и посмотрел на Виктора.— Берите его.

Виктор взял мокреца на руки и понес к джипу. Голем обогнал его, распахнул дверцу и залез внутрь.

— Давайте его сюда,— сказал он из темноты.— Нет,— ногами вперед... Смелее... Придержите за плечи...

Он сопел и возился в машине. Мокрец снова зарычал, и Голем сказал ему что-то непонятное, а может быть, выругался, что-то вроде: «Шесть углов на шее...» Потом он вылез наружу, захлопнул дверцу и, усаживаясь за руль, спросил Диану:

— Вы им звонили?

— Нет,— ответила Диана.— Позвонить?

— Теперь уж не стоит,— сказал Голем,— а то они всё законопатят. До свидания.

Джип тронулся с места, обогнул клумбу и укатил по аллее.

— Пойдем,— сказала Диана.

— Поплывем,— сказал Виктор. Теперь, когда всё кончилось, он не чувствовал ничего больше, кроме раздражения.

В вестибюле Диана взяла его под руку.

— Ничего,— сказала она.— Сейчас переоденешься в сухое, выпьешь водочки, и всё станет хорошо.

— Течет, как с мокрой собаки,— сердито пожаловался Виктор.— И потом, может быть, ты объяснишь, наконец, что здесь произошло?

Диана устало вздохнула.

— Да ничего здесь особенного не произошло. Не надо было фонарик забывать.

— А капканы на дорогах — это у вас в порядке вещей?

— Бургомистр ставит, сволочь...

Они поднялись на второй этаж и пошли по коридору.

— Он сумасшедший?— осведомился Виктор.— Это же уголовное дело. Или он действительно сумасшедший?

— Нет. Он просто сволочь и ненавидит мокрецов. Как и весь город.

— Это я заметил. Мы их тоже не любили, но капканы... А что мокрецы им сделали?

— Надо же кого-то ненавидеть,— сказала Диана.— В одних местах ненавидят евреев, где-то еще — негров, а у нас — мокрецов.

Они остановились перед дверью, Диана повернула ключ, вошла и зажгла свет.

— Подожди,— сказал Виктор, озираясь.— Куда ты меня привела?

— Это лаборатория,— ответила Диана.— Я сейчас...

Виктор остался в дверях и смотрел, как она ходит по огромной комнате и закрывает окна. Под окнами темнели лужи.

— А что он здесь делал ночью?— спросил Виктор.

— Где?— спросила Диана, не оборачиваясь.

— На тропинке... Ты ведь знала, что он здесь?

— Ну, понимаешь,— сказала она,— в лепрозории плохо с медикаментами. Иногда они приходят к нам, просят...

Она закрыла последнее окно и прошлась по лаборатории, оглядывая столы, заставленные приборами и химической посудой.

— Гнусно все это,— сказал Виктор.— Ну и государство. Куда ни поедешь — везде какая-нибудь дрянь... Пошли, а то я замерз.

— Сейчас,— сказала Диана.

Она взяла со стула какую-то темную одежду и встряхнула ее. Это был мужской вечерний костюм. Она ак-

куратно повесила его в шкафчик для спецодежды. Откуда здесь костюм?— подумал Виктор. Причем какой-то знакомый костюм...

— Ну вот,— сказала Диана.— Ты как хочешь, а я сейчас залезу в горячую ванну.

— Послушай, Диана,— сказал Виктор осторожно.— А кто был этот... с таким вот носом... желтолицый? С которым ты плясала...

Диана взяла его за руку.

— Видишь ли,— сказала она, помолчав,— это мой муж... Бывший муж.

3. Феликс Сорокин. Приключение

С вечера я не принял сустак, и не потому что забыл, а как-то осенило меня, что сустак нельзя запивать спиртным. И поэтому с утра я чувствовал себя очень вялым, апатичным и непрерывно преодолевал себя: умывался через силу, одевался через силу, прибирался, завтракал... Коньяку осталось больше половины, и, наверное, «Салюта» на стакан хватило бы, я поколебался, не опохмелиться ли мне, однако тут же, очень некстати, вспомнил, что главным признаком алкоголизма нынешние врачи полагают синдром похмелья, и похмеляться не стал. Боже мой, подумал я, как это хорошо, что нет надо мной Клары и что я вообще один!

И конечно же, тут же позвонила Катька и, конечно же, озабоченно, однако не без яду осведомилась: «Опять сосуды расширял?» И конечно же, опять пришлось мне врать и оправдываться, тем более что насчет постройки ей шубы в нашем ателье я опять ничего не предпринял. Впрочем, звонила Катька вовсе не насчет шубы: оказалось, что она намерена зайти ко мне сегодня или завтра вечером и принести мой продуктовый заказ. Только и всего. Мы повесили трубки, и я на радостях плеснул себе с палец коньяку и слегка поправился.

А за окном погода сделалась чудесная. Вьюги вчерашней не было и в помине, солнце выглянуло, которого не видно было с самого Нового Года, прихотливо изогнутый сугроб у меня в лоджии весело искрился, и подморозило видимо, потому что за каждой машиной на шоссе тянулся шлейф белого пара. Давление установилось, и не усматривалось никакой причины, мешающей сесть за сценарий.

Впрочем, предварительно я трижды позвонил в ателье — все три раза без всякого толка. Надо сказать, звонки эти носили чисто ритуальный характер: если человек всерьез намерен построить для дочери шубу, ему надлежит идти в ателье самому, производить массу аллегорических телодвижений и произносить массу аллегорических фраз, все время рискуя нарваться либо на открытую грубость, либо на подленькую увертливость.

Затем я сел за машинку и начал прямо с фразы, которую придумал еще вчера, но не пустил в ход, а сберег специально для затравки на сегодня: «Это не по ним, это по их товарищам справа...» И сначала всё пошло у меня лихо, бодро-весело, по-суворовски, но уже через час с небольшим я обнаружил, что сижу в расслабленной позе и тупо, в который уже раз перечитываю последний абзац: «А Комиссар все смотрит на горящий танк. Из-под очков текут слезы, он не вытирает их, лицо его неподвижно и спокойно».

Я уже чувствовал, что застрял, застрял надолго и без всякого просвета. И не в том было дело, что я не представлял себе, как события будут развиваться дальше: все события я продумал на двадцать пять страниц вперед. Нет, дело было гораздо хуже: я испытывал что-то вроде мозговой тошноты.

Да, я отчетливо видел перед собой и лицо Комиссара, и полуобрушенный окоп, и горящий «тигр». Но все это было словно бы из папье-маше. Из картона и из раскрашенной фанеры. Как на сцене захудалого дома культуры.

И в который раз я подумал, с унылым удовлетворением, что писать должно либо о том, что ты знаешь очень хорошо, либо о том, чего не знает никто. Большинство из нас держится иного мнения — ну и что же? Правильно сказала моя дочь Катька: надо всегда оставаться в меньшинстве.

Я терпеть не могу таких вот пробуксовок в работе, я от них делаюсь больной. И я тут же решил, что не дам загнать себя в уныние. В конце концов, у меня и без того много дел, нечего сидеть и киснуть. Меня ждут на Банной.

Торопливо, сминая страницы, я засунул черновики сценария в специально отведенный для него пластиковый футляр и принялся одеваться. «В движенье мельник должен жить...»— бормотал я, с кряхтеньем натягивая башмаки. «Вода примером служит нам!..»— спел я во

весь голос, укладывая в папку блистательную пьесу «Корягины». Я отгонял страх. «В крайнем случае отдам аванс!»— громко сказал я, натягивая куртку. Но дело было не в авансе. Что-то слишком уж часто в последнее время стали нападать на меня такие вот пробуксовки, а если говорить прямо — приступы отвращения к работе, которая меня кормит.

Стоя на лестничной площадке, я, чтобы наверняка отвлечься, стал думать о том, что вот уже третий день пошел, как со мной не случается ничего нелепого и дурацкого,— похоже, тот, кому надлежит ведать моей судьбой, совсем иссяк и стал не годен даже на дурацкие кудеса... А лифты все не поднимались, ни большой, ни малый, и я постучал по створкам одного и другого и прислушался. Снизу доносились гулко невнятные голоса. Тогда я чертыхнулся и стал спускаться по лестнице.

На площадке десятого этажа я увидел, что дверь в квартиру Кости Кудинова, поэта, настежь распахнута и из нее выдвигается обширная спина в белом халате. «Ну вот, опять»,— подумал я сразу же. И не ошибся. Костю Кудинова выносили на носилках, и большой лифт был раскрыт, чтобы вместить его. Костя был бледен до зелени, мутные глаза его то закатывались, то сходились к переносице, испачканный рот был вяло распущен.

Мне показалось вначале, что Костя пребывает без сознания, и я не могу сказать, чтобы зрелище это горько потрясло меня или хотя бы расстроило. Мы с ним были всего лишь знакомые — соседи по дому и члены одной писательской организации, насчитывающей несколько тысяч человек. Как-то десяток лет назад во время какой-то кампании он публично выступил против меня — вздорно, конечно, выступил, однако весьма едко. Правда, потом он принес извинения, сказавши, что спутал меня с другим Сорокиным, с Сорокиным из детской секции, так что с тех пор мы при встречах приветливо здороваемся, обмениваемся слухами и досадуем, что никак не удается собраться и посидеть. Но в остальном был он мне вообще-то никем, и вдобавок, поглядев на него, решил было я, что он попросту опять набрался сверх своей обычной меры. Словом, если бы всё было предоставлено равнодушной природе, Костю Кудинова, поэта, должны были бы сейчас занести в приготовленный лифт, створки бы сдвинулись, скрыв его от моих глаз, я уточнил бы у врача, что же все-таки произошло,

а вечером рассказал бы об этом небольшом происшествии кому-нибудь в Клубе.

Но тот, кому надлежит ведать моей судьбой, был, оказывается, еще полон сил.

— Феликс!— произнес Костя таким отчаянным голосом, что санитары враз остановились, ожидая продолжения.— Сам бог тебя ко мне послал, Феликс...

Тут глаза его закатились, и он умолк. Но едва санитары, не дождавшись продолжения, стронулись с места, как он заговорил снова. Говорил он сбивчиво, не очень внятно, срываясь с хрипа на шепот, и всё требовал, чтобы я записывал, и я, конечно, послушно раскрыл папку, достал авторучку и стал записывать на клапане: «М. Сокольники, Богородское шоссе, авт. 239, Институт, Мартинсон Иван Давыдович, мафусаллин». То есть мне предстояло сейчас переться на противоположный край Москвы, отыскать где-то на Богородском шоссе какой-то неведомый институт, в институте добраться до некоего Мартинсона и попросить у него для Кости этого самого мафусаллина. («Хоть две-три капли... Мне не полагается, но все равно, пусть даст... Помру иначе...») Затем створки лифта сдвинулись, и я остался на площадке один.

Буду совершенно откровенен. Не было у меня совсем ни жалости какой-либо, ни тем более желания проделывать эти сложнейшие эволюции в пространстве и в моем личном времени. С какой стати? Кто он мне? Полузнакомый упившийся поэт! Да еще выступавший против меня — пусть по ошибке, но ведь против, а не за! Я бы, конечно, никуда сейчас не поехал, в том числе и на Банную, слишком все это меня расстроило и раздражило. Но тут из Костиной квартиры вышел и встал рядом со мною у двери лифта еще один человек в белом халате. Судя по фонендоскопу и роговым очкам — врач, добрый доктор Айболит с незакуренной «беломориной» в углу рта. И я спросил его, что с Костей, и он ответил мне, что у Кости подозрение на ботулизм, тяжелое отравление консервами. Я испугался. Я сам травился консервами на Камчатке, чуть богу душу не отдал.

Створки лифта раздвинулись, мы с врачом вошли, и я спросил, сверившись с записью на клапане папки, поможет ли Косте этот самый мафусаллин. Врач непонимающе на меня взглянул, и я прочитал ему по слогам: ма-фу-сал-лин. Однако врач ничего про мафусаллин

не знал, и я сделал вывод, что это лекарство новое и даже новейшее.

У «неотложки» мы расстались. Несчастного Костю повезли в Бирюлево, в новую больницу, а я направился в метро.

Ехать мне никуда не хотелось по-прежнему. Я честно признался себе — это было как откровение,— что Костя никогда не был мне симпатичен: совершенно чужой, сущеглупый и бесталанный человек. Ботулизм его вызывал, правда, определенное сочувствие, но и раздражение он тоже вызывал, и с каждой минутой раздражение это становилось все сильнее сочувствия. Какого черта я, пожилой и больной человек, должен тащиться через весь город в какой-то неведомый институт к какому-то неведомому Мартинсону за каким-то неведомым мафусаллином, о котором даже врач ничего не знает... бродить, расспрашивать, искать, а потом искательно упрашивать, ведь Костя сам признал, что ему не полагается... и ведь непременно выяснится, что никакого такого института нет, а если институт и есть, то нет в нем никакого Мартинсона... что все это вообще Костин бред, полуобморочные видения, отравлен же человек, и отравлен сильно...

Увязая в неубранном дворниками снегу, то и дело оскальзываясь на скрытых ледяных рытвинах, я пробирался к метро, придумывая себе всё новые и новые оправдания, хотя знал уже совершенно твердо, что чем больше оправданий я придумаю, тем вернее повезет меня кривая через всю Москву, за Сокольники, к Мартинсону Ивану Давыдовичу, а потом с тремя каплями драгоценного мафусаллина обратно через всю Москву, в Бирюлево, спасать совершенно мне ненужного и несимпатичного Костю Кудинова, поэта...

Слава богу, метро от нас до Сокольников без пересадок, народу в это время (около двух) немного, я забрался в угол и закрыл глаза. Мысли мои приняли несколько иное, профессиональное, если можно так выразиться, направление.

В который уже раз подумал я о том, что литература, даже самая реалистическая, лишь очень приблизительно соответствует реальности, когда речь идет о внутреннем мире человека. Я попытался припомнить хоть одно литературное произведение, где герой, оказавшийся в моем или похожем положении, позволил бы себе сколько-нибудь отчетливо, без всяких экивоков, выразить не-

желание ехать. Читатель не простил бы ему этого никогда. Пусть герой все равно бы поехал, преодолел бы тысячи препятствий, совершил бы чудеса героизма, но все равно так и остался бы с неким неопрятным пятном на образе — в глазах читателя и уж тем более в глазах издателя.

Вообще-то положительному герою в наши либеральные времена разрешается иметь многие недостатки. Ему даже пьяницей дозволяется быть и даже, черт подери, стянуть плохо лежащее (бескорыстно, разумеется). Он может быть плохим семьянином, разгильдяем и неумехой, он может быть человеком совершенно легкомысленным и поверхностным. Одно запрещается положительному герою: практическая мизантропия. Легче верблюду пролезть сквозь игольное ушко, нежели литературному герою стать положительным, если он, герой, хоть раз позволит себе пройти равнодушно мимо птички с перебитым крылышком. Вот и выходит, что я, Феликс Александрович Сорокин, по всем литературным нормам — как отечественным, так и зарубежным — в лучшем случае являюсь нравственным калекой.

Этот вывод развеселил меня и привел в хорошее настроение. Во-первых, сегодня опять можно было не ехать на Банную под предлогом не только вполне законным, но и высокогуманным. Во-вторых... Во-вторых, достаточно во-первых. На обратном пути я возьму такси, деньги, слава богу, есть. Смотаюсь в Бирюлево, отдам этот мафусаллин и на том же такси прямиком в Клуб...

Я стал задремывать и подумал сквозь дрему, какое же, однако, странное название у этого новейшего лекарства. Мафусаллин. Оно вызывает ассоциации. Турция. Ближний Восток почему-то. Мафусаил. Библия?..

Институт я нашел без труда. Автобус остановился напротив проходной, в обе стороны от которой тянулся вдоль пустынной улицы бесконечный высоченный забор. Вывески на проходной не было, а у крыльца стоял, руки в карманы, какой-то мужчина без пальто, но в шапке-ушанке с задранными ушами. Он покосился на меня, но ничего не сказал, и я вступил в жарко натопленную будку. Наверное, мне следовало, не глядя ни направо, ни налево, протопать себе по коридорчику и дальше наружу, но я так не умею. Я сунулся лицом к крошечному окошечку и спросил искательно:

— К Мартинсону Ивану Давыдовичу как мне пройти?

За окошечком пил из блюдца чай вприкуску смор-

щенный старикашка в засаленном кителе. Он неторопливо поставил дымящееся блюдце на стол, достал из-под стола засаленную фуражечку с кантом и аккуратно напялил ее себе на плешь.

— Пропуск,— сказал он.

Я сказал, что пропуска у меня нет. Это признание подтвердило самые худшие его опасения. Словно с утра еще его предупредили, что полезет сегодня один без пропуска, так вот его ни в коем случае пускать нельзя. Он выбрался из-за стола, выдвинулся в коридорчик и загородил собой турникет. Я принялся ныть и клянчить. Чем жалобней я ныл, тем непреклоннее становился жестокий старик, и длилось это до той минуты, пока я не осознал, что передо мной непреодолимое препятствие, а потому можно с легким сердцем гнать отсюда прямо на Банную и затем в Клуб. Я с наслаждением обозвал старикашку древней гнидой и, очень довольный, повернулся и вышел.

Ах, не тут-то было!

— Не пускает,— утвердительно произнес мужчина в шапке с задранными ушами.

— Гнида старая, персидская,— объяснил я ему.

И тогда мужчина, которого никто об этом не просил, с большой охотой рассказал мне, что через проходную нынче никто не ходит, не пускают никого через проходную, а ходят нынче все сквозь забор, в ста шагах отсюда есть в заборе дыра, через нее все нынче и ходят, потому что кому это охота по Богородскому вдоль забора три версты крюка давать, а так ты сквозь забор, через территорию и снова сквозь забор, и ты у винного.

Что мне оставалось делать? Я поблагодарил доброго человека и в точности последовал его указаниям. От пролома в заборе через занесенную снегом огромную территорию вела хорошо утоптанная дорожка. Справа от дорожки громоздилась какая-то законсервированная стройка, а слева возвышался пятиэтажный корпус белого кирпича с широкими школьными окнами. Видимо, это и был собственно институт. К нему от дорожки ответвлялась тропа, тоже хорошо утоптанная.

У входа в институт (широкое низкое крыльцо, широкая застекленная дверь под широким бетонным козырьком) трое мужчин, опять-таки без пальто и в шапках с задранными ушами, вскрывали контейнер, заляпанный иностранными надписями. Я миновал их, поднялся по ступенькам и вступил в вестибюль.

Это было обширное помещение, залитое светом ртутных ламп, и было в нем полно людей, которые, по-моему, ничем не занимались, а только стояли кучками и курили. Наученный горьким опытом, я никого ни о чем не стал спрашивать, а двинулся прямо к гардеробу, где разделся, держа на лице хмуро-озабоченное выражение и стараясь выставить напоказ свою папку.

Потом я причесался перед зеркалом и поднялся по лестнице на второй этаж. Почему именно на второй — я объяснить бы не сумел, да и не спрашивал никто у меня объяснений по этому поводу. Здесь тоже пол был покрыт плиткой, тоже сияли ртутные лампы и тоже стояли кучками люди с сигаретами. Я высмотрел молодого человека, стоявшего отдельно. У него тоже было хмуро-озабоченное выражение лица, и я подумал, что уж он-то не станет выяснять, кто я, зачем я здесь и имею ли я право.

Я не ошибся. Он рассеянно, даже не глядя на меня, объяснил, что Мартинсон скорее всего у себя в нужнике, это на третьем этаже сразу за скелетами направо, а номер нужника — тридцать семь.

Никаких скелетов я на третьем этаже не обнаружил, не знаю, что имел в виду молодой человек с образной речью, а нужник номер тридцать семь оказался большой, очень светлой комнатой. Было там множество стекла и мигающих огоньков, на экранах, где положено, змеились зеленоватые кривые, пахло искусственной жизнью и разумными машинами, а посередине комнаты, спиной ко мне, сидел какой-то человек и громко разговаривал по телефону.

— Брось!— гремел он.— Какой закон? Напирай плотней! Оставь! При чем здесь Ломоносов — Лавуазье? Главное, напирай плотней!

Потом он бросил трубку, повернулся ко мне и рявкнул:

— В местком, в местком!

Я сказал, что мне нужен Иван Давыдович. Он налился кровью. Был он огромен, плечист, с могучей шеей и с всклокоченной пегой шевелюрой.

— Я сказал — в местком!— гаркнул он.— С трех до пяти! А здесь у нас разговора не будет, вам ясно?

— Я от Кости Кудинова,— произнес я.

Он как бы споткнулся.

— От Кости? А в чем дело?

Я рассказал. Пока я рассказывал, он встал, обошел меня и плотно закрыл дверь.

— А вы, собственно, кто такой?— спросил он. Краска ушла с его лица, и теперь он был скорее бледен. В глаза он мне не смотрел.

— Я его сосед.

— Это я понял,— сказал он нетерпеливо.— Кто вы такой, вот что я спрашиваю...

Я представился.

— Мне это имя ничего не говорит,— объявил он и уставился мне в переносицу. Глаза у него были черные, близко посаженные, двустволка да и только.

Я разозлился. Черт подери! Опять меня заставляют оправдываться!

— А мне ваше имя тоже, между прочим, ничего не говорит,— сказал я.— Однако вот я через всю Москву к вам перся...

— Документ у вас есть какой-нибудь?— прервал он меня.— Хоть что-нибудь...

Документов у меня не было. Не ношу. Он подумал.

— Ладно, я сам этим займусь. В какой, вы говорите, он больнице?

Я повторил.

— Чтоб его там...— пробормотал он.— Действительно, другой конец Москвы... Ну, ладно, идите. Я займусь.

Внутренне клокоча, я повернулся, чтобы идти, и уже взялся за дверную ручку, как он вдруг спохватился.

— Па-азвольте!— пророкотал он.— А как же вы сюда попали? Без пропуска! У вас даже документов нет!

— А через дыру!— сказал я ядовито.

— Через какую дыру?

— А в заборе!— сказал я мстительно и вышел. Весь в белом.

Я спускался по лестнице, когда меня поразила ужасная мысль: а вдруг этот лютый Мартинсон как раз сейчас звонит по телефону и через минуту ко всем дырам в заборе побегут вохровцы вперемежку с плотниками, и я окажусь в мешке, как какой-нибудь битый Паулюс... Не удержавшись, я побежал сам, мысленно снова и снова проклиная Костю Кудинова с его ботулизмом и свою хромую судьбу. Только заметив, что на меня оглядываются, я сумел взять себя в руки и появился перед гардеробщиком как подобает деловому, хмуро-озабоченному человеку с карманами, набитыми пропусками и документами.

Спустившись с крыльца, я почему-то оглянулся. Сам не знаю почему. И вот что я увидел. За стеклянной

дверью, упершись в стекло огромными ладонями и выставив бледное лицо, пристально смотрел мне в спину Иван Давыдович Мартинсон, собственной персоной. Словно вурдалак вслед ускользнувшей жертве.

Стыдно признаться, но я снова перешел на бег. Несмотря на мои сосуды. Несмотря на мое брюхо. Несмотря на мою перемежающуюся хромоту. Лишь когда я, нырнув в дыру, вынырнул на Богородское шоссе, чувство собственного достоинства моего возопило наконец, и я перешел на шаг, застегивая куртку и поправляя сбившуюся шапку. Очень не нравилось мне это приключение, и особенно не нравился мне Иван Давыдович Мартинсон, и я снова и снова проклинал Костю с его ботулизмом, и давал себе клятву, что впредь никогда и никто, и ни за что...

После всех этих передряг не могло быть и речи о том, чтобы ехать на Банную. Только в Клуб. Только в Клуб! В наш ресторанный зал, обитый коричневым деревом! В атмосферу прельстительных запахов! За мой столик под крахмальной скатертью! Под крылышко к Сашеньке... хотя нет, сегодня нечетный день. Значит, под крылышко к Аленушке! Правильно, и сразу же отдать ей долг, и заказать селедочку, маслено поблескивающую, жирную, тающую, ломтиками, посыпанную мелко нарезанным зеленым лучком, а к ней три-четыре горячих рассыпчатых картофелины и тут же кубик масла прямо из ледяной воды, и пузатый графинчик (нет-нет, без этого не обойдется, я это заслужил сегодня)... и еще соленые грузди, сопливенькие, в соку, вперемешку с репчатым луком кольчиками, и по потребности минеральной... или пива?.. нет, минеральной... А притушив первый голод и взвинтив в себе настоящий аппетит, мы обратимся к солянке мясной, которую у нас в Клубе, к счастью, готовить еще не разучились, и будет она у нас в тусклом металлическом бачке, янтарная, пáрящая, скрывающая под поверхностью своею деликатесные мяса разного вида и черные лоснящиеся маслины... Батюшки, главное чуть не забыл! Калач! Наш знаменитый клубный калач с ручкой для держания, пухлый, мягкий, поджаристый... и парочку надо будет прихватить с собою домой. Ну-с, теперь второе...

Однако второе просмаковать я не успел, потому что почувствовал вдруг какое-то неудобство, неловкость какую-то и, вернувшись к действительности, обнаружил, что мчусь уже в метро, двое долговязых с сумками

«адидас» нависают надо мною, а в просвет между ними уставились на меня сквозь стекла очков пристальные светлые глаза. Лишь одну секунду я видел эти глаза, а также рыжую норвежскую бородку и белое кашне между отворотами клетчатого пальто, а затем поезд начал тормозить, долговязые сомкнулись, и мой наблюдатель исчез из виду.

Мне показалось, что глядел он на меня неприлично внимательно, словно у меня было что-то не в порядке с одеждой или лицо испачкано. На всякий случай я даже проверил, не нахлобучил ли второпях шапку задом наперед. Впрочем, когда через минуту между долговязыми вновь образовался просвет, мой наблюдатель мирно дремал, сложив на животе руки,— средних лет мужчина, очки в металлической оправе и клетчатое пальто, какие были в моде несколько лет назад. Помнится, поражали такие пальто мое воображение тем, что их можно было носить и на левую сторону тоже: с одной стороны, например, они были черные в серую клетку, а навыворот — серые в черную.

Мимолетный эпизод этот отвлек меня все-таки от гастрономических видений, и я вспомнил почему-то, как лежал в больнице и целый месяц меня кормили чудовищно пресной, нарочито вываренной пищей, от которой взяла меня такая тоска, что врачи в конце концов разрешили Катьке принести мне холодного цыпленка табака. О том, что предстоит в этом смысле отравленному Косте, страшно было подумать. Да и некогда мне было думать об этих вещах, потому что поезд остановился на «Кропоткинской», и я заторопился к выходу.

Подслеповатая дежурная в дверях Клуба потребовала, чтобы я предъявил писательский билет, и в который раз я попытался втолковать ей, что вот уже четверть века состою в писателях и по крайней мере пять лет прохожу в Клуб мимо нее, старой кочерыжки. Она не поверила ни единому моему слову, но тут дядя Коля прогудел из недр гардероба: «Свой, свой, Марья Трофимовна!», и я был пропущен.

Беседуя с дядей Колей о погоде, я нарочно неторопливо разоблачился, взял с барьера листок клубной газеты, оставив вместо него монетку, причесался и расчесал усы, раскланиваясь с отражениями знакомых, возникавшими в глубине зеркала, а затем, продолжая раскланиваться, наполняясь теплым ощущением уюта, отстраняясь от всего неудобного и тревожного, бодро зашагал в ресторанную залу.

А далее все получилось по программе, с тем только отклонением, что не оказалось соленых груздей. Когда я доедал солянку, к столику моему начала прибиваться обычная компания. Первым был Гарик Аганян, у которого через час начинался ихний семинар. Пить он поэтому не стал и заказал себе что-то пустяковое. Двух слов мы сказать не успели, как из-за столика в дальнем углу поднялся и приблизился к нам, хромая, Жора Наумов. В одной руке он держал наполовину опорожненный графинчик, а в другой — пиалу с остатками столичного салата. Выяснилось, что нынче утром он забежал в Москву по дороге из Краснодара в Таллинн. Виды на урожай на юге хорошие, а что до остального, то оно, как всегда, в руках божьих. И тут же возник на нашем горизонте Валя Демченко, держа под мышкой новую трость с рукояткой в виде львиной лапы.

Мы обсудили эту трость, поговорили об урожае озимых и о прошлогоднем нашествии филлоксеры; Гарик, чертя вилкой по скатерти, объяснил нам, как надлежит понимать появившуюся в центральной прессе заметку под названием «Дыра во Вселенной», а потом я рассказал про мои с Костей Кудиновым сегодняшние беды.

Это мое сообщение вызвало реакцию вялую и не вполне мною ожидаемую. Гарик пробормотал пренебрежительно: «Ничего, выплывет, дерьмо не тонет». Валя лениво процитировал старую, им же самим о Косте придуманную хохму: «Вчера помощник председателя Иностранной комиссии товарищ Кудинов принял в Белом зале группу писателей Парагвая за группу писателей Уругвая...» А Жора Наумов, разглядывая мир сквозь рюмочку с водочкой, пересказал нам выступление студента Литинститута Кости Кудинова, в те поры румяного, задорного и непьющего, на общем собрании курса в памятном тысяча девятьсот сорок девятом. Когда Жора закончил, все помолчали, а затем Валя с интересом спросил: «Ну, и что же ты?» «А что я?— агрессивно произнес Жора.— Хотел ему морду набить, так ведь он был тогда здоровенный, штангист, разрядник, понимаешь, а у меня обе ноги прострелены, я тогда меж двух костылей болтался, как стариковская мошонка меж ног...» «Но потом,— сказал Гарик,— когда ты без костылей заходил... и вообще, в благословенном пятьдесят девятом... он перед тобой, случайно, не извинялся?» «А как же! Даже стихи мне посвятил. В «Литературке». На манер Пушкина, про лицейскую дружбу...» «Пожа-

луй, будь себе татарин?..»— ядовито предположил Валя. Мы поржали — не очень весело, впрочем, и заговорили о стихах, а потом разговор как-то незаметно перекинулся на Банную.

Выяснилось, что все, кроме меня, на Банной уже побывали.

Дисциплинированный Гарик сходил туда сразу же, еще в октябре. Решительно ничего интересного. Довольно убогая машина, может быть, ЕС 10—20, а может быть, и вовсе какой-нибудь «Минск» поплоше. Сидит тунеядец в черном халате, берет у тебя рукопись и по листочку сует ее в приемную щель. На дисплее загораются цифры, а засим можешь спокойно идти домой.

Жора, побывавший там под самый Новый Год, возразил, что никакой машины там не было, а были там какие-то серые шкафы, тунеядец был не в черном халате, а в белом, и пахло печеной картошкой. В общем, мура, обман трудящихся. Если хотите знать мое мнение, сказал Жора Наумов, он же Гирш Наумович, то все очень просто: какой-то еврей из Академии наук охмурил нашего Теодор Михеича и гонит себе сейчас докторскую из нашего трудового пота.

В ответ на этот антисемитский выпад Валя Демченко возразил, что это было бы еще полбеды, а беда (с таинственным видом сообщил он) состоит в том, что вот уже много лет идет разработка кибернетического редактора. Ученые — писателям. В порядке помощи. Собственно, сам робот-редактор уже создан, и теперь его на наших рукописях только дрессируют. И вот когда эта машина вступит в строй, вот тут нам всем будет конец, потому что она не только грамматические ошибки будет исправлять и стиль править, она, дяденьки, подтекст на два метра под текстом будет углядывать. Она, дяденьки, сразу определит, кто есть кто и почему.

Я с уважением смотрел на Валю, ощущая в этой его вдохновенной белиберде флер некоего благородного, близкого мне безумия. Гарик откровенно хихикал, а Жора, человек, близкий к земле, сердито спросил, откуда это ему, Валентину, может быть известно.

— В глаза!— проникновенно произнес Валя.— В глаза надо человеку смотреть, дяденька! Не какой у него там халат, черный или белый, а в глаза! Я как в глаза ему посмотрел, так всё и понял!

Гарик налил ему пива, и Валя продолжал. Робот-редактор, оказывается, был только зарею новой эры.

Это машина громоздкая, стационарная, дорогая. А вот на подходе уже, если хотите знать, дяденьки, специальные пишущие машинки, пока еще только для нас, прозаиков. На этих машинках установлены электронные цензурные ограничители. Представляете? Печатаешь ты двумя пальцами «ж...», а на бумаге выходит: «окорока» «пятая точка», «афедрон» и уж в самом крайнем случае Ж с тремя точками.

И тут среди нас возник Петенька Скоробогатов по прозвищу Ойло Союзное. Только что его не было, и вот он уже сидит между Гариком и Валей и наливает себе водки из моего графинчика. Глаза у него по обыкновению воспалены и бегают, и по обыкновению идет он красными пятнами и шелушится.

Как всегда, был он распираем новостями и слухами, которые поначалу казались важными и верными, но, будучи выпущены на вольный воздух, тут же портились и оборачивались враньем и хвастовством. Разговаривать стало невозможно, и мы с горя принялись слушать.

Для начала он сообщил, что по поводу Банной у него есть достовернейшие слухи прямо ОТТУДА. (Толстый указательный палец уставляется в потолок.) Валя правильно говорит: сейчас все дела переводят на машины, потому что коррупция всех заела и никому верить нельзя. Кадровую машину уже запустили, и она выдала указание снять всех директоров издательств и всех главных редакторов в Москве. Он, Петенька Скоробогатов, поэтому подождет подписывать два договора, которые ему давеча прислали. Почему? А потому что смысла нет. Все равно будут назначены новые директора и новые главные, и договоры будут пересматривать...

— Вы меня не перебивайте, потому что завтра я уезжаю в Замбию, мне еще прививки надо делать, а вы меня все время перебиваете... Я вам насчет Банной хочу объяснить. Там машина — особенная. Она показывает талант. В абсолютных единицах. Сашка Толоконников знаете что учинил? Подсунул им в машину вместо своей галиматьи пять страниц из «Тихого Дона»! Машину, конечно, к едрене фене зашкалило, на такой уровень, сами понимаете, никто у них там не рассчитывал, ну и теперь Сашку на ковер. За поступок, недостойный советского писателя... Да Сашка что! Сама Ираида с одра поднялась и черновики свои туда потащила. Она-то думала, что машина ее подтвердит и восславит, а машина ей — бац!— ноль целых хрен де-

сятых! Так она их всех там зонтиком, зонтиком, что ты! Вы тут сидите, ничего не знаете, а вчера я туда сунулся, на Банную, а там оцепление, конная милиция... Михеич трясется, сам не рад, что всё это затеял, ему же тоже туда идти... Я ему говорю: «Михеич, говорю, ну что ты боишься? Хочешь, говорю, мои черновики?»...

Да, вот он у нас какой, Петенька Скоробогатов. Ойло наше Союзное. Я выпил рюмку водки и стал размышлять о том, что ничего на свете придумать нельзя. Придумано уже всё. Я вспомнил, как лет пятнадцать назад покойный Анатолий Ефимович однажды разоткровенничался и рассказал мне замысел своей новой комедии. Дело у него там происходило в писательском Доме творчества, и вот какой-то изобретатель приволакивает туда свой фантастический аппарат... Как же он его называл? Ужасно неуклюже, помнится... Да! «Изпитал»! «Измеритель писательского таланта». Писатели сначала по глупости своей радуются — наконец-то все узнают, что Иванов дерьмо, а я гений. Но потом, когда машина стала дарить их объективной истиной... В общем, машину они, кажется, разнесли по винтикам, а на изобретателя сообща написали донос со всеми вытекающими последствиями... И как же был огорчен Анатолий Ефимович, когда я, извиняясь и оправдываясь, дал ему прочесть «Мензуру Зоили», написанную еще в шестнадцатом году и изданную у нас на русском в середине тридцатых! Ничего нельзя придумать. Всё, что ты придумываешь, либо было придумано до тебя, либо происходит на самом деле.

Я стукнул кулаком по столу и, глядя Петеньке Скоробогатову прямо в свинячьи его глазки, процитировал на весь зал:

— «С тех пор, как изобрели эту штуку, всем этим писателям и художникам, которые торгуют собачьим мясом, а называют его бараниной,— всем им теперь крышка!»

После чего встал и направился в туалет. Я был уже основательно набравшись. Я чувствовал это потому, что щеки у меня онемели и все время хотелось выпячивать нижнюю челюсть. Пожалуй, на сегодня было достаточно. Пора было возвращаться к пенатам, тем более что может зайти Катька с заказом, да и оставалось еще у пенатов не менее полбутылки коньяку. И было еще что-то там у пенатов, что я должен был сделать. Но вот что именно?

На обратном пути я вспомнил. Должно было мне позвонить и узнать, как там дела у Кости Кудинова, поэта, не загнулся ли он. А то я тут водку пью с Петенькой Скоробогатовым, с Ойлом моим Союзным, а Костя между тем, может быть, концы отдает. Несправедливо.

Трубку на Костиной квартире взяла его жена. Голос у нее был ничего себе, довольно бодрый. Я представился и спросил:

— Ну, как там Костя вообще?

— Ой, как хорошо, что вы позвонили, Феликс Александрович! Я только что от него, только-только вошла... Феликс Александрович, он очень, очень просит, чтобы вы к нему зашли!

— Обязательно,— сказал я.— А как он вообще?

— Да всё обошлось, слава богу. Значит, вы зайдете?

— Вообще-то...— промямлил я.— Завтра, пожалуй, в это время.

— Нет! Нет, Феликс Александрович, он просил — непременно сегодня! Он мне так и сказал: позвонит Феликс Александрович, и ты ему скажи, чтоб он ОБЯЗАТЕЛЬНО сегодня! Что очень срочно, важно очень...

— Вообще-то ладно...— сказал я, и мы распрощались.

Никогда не надо делать добрые дела, думал я, возвращаясь в ресторан. Стоит только начать, и конца им не будет. Причем, обратите внимание: ни слова благодарности. Целый день мотаюсь по Москве из-за этого симулянта, одного страха сколько натерпелся, и вечером — пожалуйста, опять все сначала, тащись куда-то, как верблюд, и ни слова благодарности...

Гарика за столом уже не было, он ушел на свой семинар, а на его месте сидел Петенькин приятель. В лицо я его знаю, несколько раз меня с ним знакомили, но как его зовут — я не помню, и какое он имеет отношение к литературе — представления не имею. По-моему, он целыми днями торчит в нашей бильярдной, вот и все его отношения с советской литературой.

И еще, пока меня не было, на столе появилась большая бутылка пшеничной, а при ней, как это часто случалось и ранее, появился друг мой хороший из соседнего подъезда Слава Крутоярский, тощий, темнолицый, длинноволосый, облитый искусственным хромом и склонный к теоретизированию.

— Что такое критика?— спрашивал он Жору Нау-

мова, уже снявшего и повесившего на спинку стула свой мохнатый пиджак.— Причем я говорю не об этой критике, что у нас сейчас, ты понимаешь меня?

Слава всегда через каждые две фразы осведомлялся у собеседника, понимает ли тот его.

Жора важно кивнул в знак того, что да, понимает; и задумчиво кивнул Валя Демченко; и я на всякий случай кивнул, усаживаясь; и дружно закивали Петенька и его приятель, да так энергично, что водка плеснулась у них из стаканов.

— Критика — это наука,— продолжал Славка, глядя на Жору в упор.— Как связать, соотнести истерику творца с потребностями общества, ты понимаешь меня? Выявить соотношение между тяжкими мучениями творца и повседневной жизнью социума — вот что есть задача критики. Ты меня понимаешь?

Мысль эта показалась социуму настолько здравой и интересной, что все принялись требовать друг у друга карандаш и бумагу. Чтоб записать. Ни карандаша, ни бумаги ни у кого не оказалось, подозвали Аленушку, выклянчили у нее огрызок карандаша и листочек из блокнотика, и Петенька потребовал, чтобы Слава формулировку свою повторил. Слава честно попытался повторить и не сумел. Жора Наумов тоже не сумел и только все запутал, приплел какую-то квинтэссенцию, и, пока они галдели, перебивая друг друга, я подумал, что, как ни определяй критику, пользы от нее никакой, вреда же от нее не оберешься. Никакой не квинтэссенцией истерики творца занимается наша критика, а занимается она нивелировкой литературы с целью удобства сводить с писателями личные и вкусовые счеты. Вот так.

Я выпил и закусил ломтиком остывшего бифштекса. Между тем терминологический спор о критике естественным образом переключился на гонорарную политику.

Сам я на гонорарную политику смотрю просто: чем больше, тем лучше, все писательские разговоры о материальном стимулировании гроша ломаного не стоят. Вот этот Ойло Союзное орет все время, что, дескать, если бы ему платили, как Алексею, он бы писал, как Лев. Врет он, халтурщик. Ему сколько ни плати, все равно будет писать дерьмо. Дай ему хоть пятьсот за лист, хоть семьсот, все равно он будет долдонить: хорошо учиться, дети, это очень хорошо, а плохо учиться, бяки, это никуда не годится, и нельзя маленьких обижать.

И будет он все равно благополучно издаваться, потому что любой детской редакции занаряжено, скажем, тридцать процентов издательской площади под литературу о школьниках, а достанет ли на эти тридцать процентов хороших писателей — это уже вопрос особый. Подразумевается, что достанет. А вот Вале Демченко плати двести, плати сто, все равно он будет писать хорошо, не станет он писать хуже оттого, что ему платят хуже, хотя никакие площади под его критический урбанизм не занаряжены, а рецензенты кидаются на него, как собаки...

Тут меня тронули за плечо, и, обернувшись, я увидел Лидию Николаевну, дежурного администратора. Сухо она сообщила мне, что ищет меня уже целый час, что звонил из больницы Константин Ильич Кудинов и просил меня немедленно к нему приехать. Не знаю, что ей там наплел этот симулянт, но она была дьявольски неприветлива. По-моему, она забрала себе в голову, будто я обещался быть у страждущего друга, а сам ударился в загул, предавши всех и вся. Опять виноват. В чем, спрашивается?

Я отдал Славке деньги, чтобы расплатился он за меня, и, твердо шагая, направился по ковровой дорожке в вестибюль.

Ярко освещенный зал наш был уже полон, ни одного свободного места не оставалось, кое-где столики были сдвинуты под большую компанию, табачный дым в несколько слоев стлался над головами, сверкала прозрачная влага во вздымаемых чарах, стучал множественно металл о стекло и фаянс, раздавались заверения в дружбе, и уже в дальнем углу у фальшиво раскаленного камина некто седовласый в роскошно-мохнатой водолазке стихи возглашал диаконским рыком, а в другом углу компания лейб-гвардейцев стояла навытяжку, поднявши наполненные фужеры на уровень груди,— выслушивала тост, выражающий самые крайние упования, сожалея, вероятно, лишь о том, что нельзя будет, как при прежнем директоре Клуба, по опустошению фужеров разом ахнуть их об пол и придавить осколки каблуком; и уже двигался от столика к столику приветливо смеющийся, не очень известный читателям, но зато здесь почти всеми любимый Шура Пеклеваный, похлопывая сидящих по спинам, склонялся над женскими ручками и все отклонял и отклонял приглашения подсесть, потому что двигался к столику вполне

определенному: Шура всегда очень точно знал, к какому столику надлежит подсесть сегодня; и уже с шумом, громко переговариваясь, спускалась с антресолей по деревянной лестнице в зал манипула критиков и литературоведов, у которых только что кончилось заседание, растекалась, спустившись, между столиками, здоровалась, прощалась; а посреди этого коловращения, в самом центре зала, гопа молодых напористо угощала главного редактора периферийного журнала, квадратного, даже кубического восточного человека в тюбетейке и стандартном пиджаке, усеянном по лацканам непонятными значками... Прекрасная жизнь била ключом, а мне надо было опять тащиться в чертову даль, и я с унынием думал о том, что́ еще может выкинуть тот, кто распоряжается моей судьбой...

Мне повезло — я сразу же схватил такси, и через полчаса мы с водителем отыскали в Бирюлеве больницу. Когда я вошел в палату, Костя сидел на койке, скрестивши ноги по-турецки, и с отвращением выскребал ложкой с тарелки остатки манной каши. Был он весь в больничном, клеймен был больничными клеймами, но в остальном выглядел неплохо. Конечно, румяным крепышом я бы его сейчас не назвал, морда у него была для этого слишком бледновата, но и от умирающего в нем теперь ничего уже не осталось, хотя подбородок и был измазан — манной кашей.

Палата оказалась на шесть коек, и у окна кто-то лежал с капельницей, а больше в палате никого не было, все ушли на хоккей.

Увидев меня, Костя живо вскочил и так рьяно ко мне бросился, что я было ужаснулся: уж не хочет ли он меня обнять. Однако он ограничился пожатием и сердечным трясением руки моей. Он пожимал и тряс мою руку и говорил при этом, как заведенный, почему-то все оглядываясь на тело с капельницей. Он не давал мне сказать ни слова. Он рассказывал мне, как его сначала рвало, а потом несло, как ему промывали сначала желудок, а потом кишечник, как его кололи, как его массировали и как ему давали кислород. И все время при этом он оглядывался и, наступая мне на ноги, оттеснял меня к двери.

— Да что ты пихаешься?— сказал я, наконец, уже в коридоре.

— Пойдем присядем,— пригласил он.— Вон там скамеечка под пальмой.

Мы сели. В коридоре было совершенно пусто, только вдали дежурная сестра тихонько звякала пузырьками, а Костя все еще продолжал говорить, хотя уже и с заметно меньшим возбуждением. Его неистовую радость при встрече со мной я отнес за счет эйфории от неистового чувства благодарности и подумал, помнится: «Надо ж, животное — а ведь чувствует!» И сейчас, ворвавшись в первую же паузу, я благодушно осведомился:

— Что, помогло, значит?

— Что именно?— спросил он быстро.

— Ну, этот твой... мафусаил...

— Да!— сдавленным от восторга голосом воскликнул он, снова хватая меня за руку.— Да! Если бы не это... А тут, понимаешь, сразу промывание желудка, под давлением, представляешь? Клизму такую засадили, вредители! Знаешь, сегодня я только понял, какая это страшная пытка у инквизиторов была, когда сзади воду закачивают... Веришь, у меня глаза на лоб полезли, впору к окулисту проситься!..

И он пустился по второму разу: как его рвало, и как его несло, и так далее. При этом он острил — иногда довольно удачно, вообще пытался все изобразить в юмористическом плане, но чувствовалась за этим юмором нездоровая натуга, и очень скоро мне пришло в голову, что никакая это не эйфория от благодарности, а бурлит это в нем, наверное, и изливается сейчас наружу пережитый ужас смерти, и я совсем уже было вознамерился успокоительно похлопать его по колену, как вдруг он оборвал себя и спросил почти шепотом:

— Ты что так смотришь?

— Как?— Я растерялся.— Как я смотрю?

Взгляд его зигзагом пролетел по моему лицу и затем ускользнул куда-то во тьму за пальмой.

— Нет, никак...— уклонился он и снова стал смотреть на меня.— А ты, я вижу, вдетый сегодня, а? Поддал, а?

— Было дело,— сказал я и, не удержавшись, добавил:— Если бы не ты, я бы и сейчас там сидел с удовольствием...

— Ну, ничего!— произнес он, делая легкомысленный жест.— Завтра-послезавтра они меня отсюда выпихнут, и мы с тобой еще посидим. Я тебе знаешь какого коньячку выставлю? Мне прислали с Кавказа...

И он стал рассказывать, какой коньячок ему прислали с Кавказа. Рассказывать про коньячок — занятие столь

же бессмысленное и противоестественное, как описывать словами красоту музыки. Я его не слушал. Мне вдруг стало тошно. Эти стены белые, этот запах — то ли карболки, то ли смерти, белый халат сестры, маячащий вдали, опустошенные капельницы, выставленные у дверей палат... больница, тоска, полоса отчуждения... Да какого черта я здесь сижу? Не я же отравился, в конце концов!

— Слушай,— сказал я решительно.— Ты меня извини, но у меня, понимаешь, дочка должна прийти сегодня...

— Да-да, конечно!— воскликнул он.— Иди! Спасибо тебе большое, что пришел...

Он встал. Я тоже встал — в полной уже растерянности. Некоторое время мы молчали, глядя друг другу в глаза. Я недоумевал, потому что никак не мог понять: неужели он с такой настойчивостью, через жену, через администратора, требовал меня сюда только для того, чтобы дважды рассказать во всех подробностях, как ему промывали желудок и кишечник? Костя, казалось мне, тоже почему-то пришел в смятение. Я видел это по его глазам. И вдруг он спросил — опять же полушепотом:

— Ты чего?

Это опять был совершенно непонятный вопрос. И я сказал осторожно:

— Да нет, ничего. Сейчас пойду.

— Ну, иди,— пробормотал Костя.— Спасибо тебе...

Он пробормотал это тоже осторожно и как-то неуверенно, словно ждал от меня чего-то.

— Ты мне больше ничего не хочешь сказать?— спросил я.

— Насчет чего?— спросил Костя совсем уже тихо.

— А я не знаю — насчет чего!— сказал я, не в силах далее сдерживать раздражение.— Я не знаю, зачем ты меня выдернул из Клуба. Мне сказали: срочное дело, необходимо сегодня же, немедленно... Какое дело? Что тебе необходимо?

— Кто сказал?— спросил Костя, и глаза его снова заметались.

— Жена твоя сказала... Лидия Николаевна сказала...

И тут выяснилось, что его не так поняли. И жена его не так поняла, и Лидия Николаевна поняла его совсем не так, и вовсе он не требовал, чтобы сегодня же, немедленно, и про срочное дело он никому ничего

не говорил... Он явно врал, это было видно невооруженным глазом. Но зачем он врал и что, собственно, там произошло, оставалось мне решительно непонятным.

— Ладно,— сказал я, махнув рукой.— Не поняли, так не поняли. Выздоровел, и слава богу. А я, пожалуй, пойду.

Я двинулся к выходу, а он семенил рядом, то хватая меня за руку, то сжимая мне плечо, и все благодарил, и все извинялся, и все заглядывал мне в глаза, а на лестничной площадке, рядом с телефоном-автоматом, произошло нечто совсем уже несообразное. Он вдруг прервал свою бессвязицу, судорожно вцепился мне в грудь свитера, прижал меня спиною к стене и, брызгаясь, прошипел мне в лицо:

— Ты запомни, Сорокин! Не было ничего, понял?

Это было так неожиданно и даже страшно, что я испытал приступ давешней паники, когда удирал от этого вурдалака, Ивана Давыдовича Мартинсона.

— Постой, да ты что?— пробормотал я, пытаясь оторвать от себя его руки, неожиданно цепкие и словно бы закостеневшие.— Да пошел ты к черту, обалдел, что ли?— заорал я в полный голос, оторвал, наконец, от себя этого бледного паука и, с трудом удерживая его на расстоянии, сказал:— Да опомнись ты, чучело! Чего тебя разбирает?

Я был гораздо сильнее его и понял, что удержать его могу, а в случае чего могу и вовсе скрутить, так что приступ первой паники у меня миновал и остался лишь брезгливый страх, не за шкуру свою страх, а страх неловкости, страх дурацкого положения — не дай бог, кто-нибудь увидит, как мы топчемся по кафелю, сипло дыша друг другу в лицо...

Некоторое время он еще трясся и брызгался, повторяя: «Не было ничего, понял? Не было!..», а потом вдруг обмяк и принялся плаксиво объяснять, что накладка вышла, институт секретный, про него ни я, ни даже он сам ведать не должны, что могут выйти большие неприятности, что ему уже сделали замечание, и если я теперь хоть слово где-нибудь, хоть намекну даже только...

Я отпустил его. Он растирал, морщась, покрасневшие свои запястья и все бубнил и бубнил со слезой, и все одно и то же, и даже теми же словами, и ясно было, что он крайне деморализован и опять все врет — от первого до последнего слова. И опять я не понимал,

зачем он врет и что было на самом деле. Понимал только, что какая-то накладка и впрямь произошла: там, у лифта, Костя, ужаснувшись смерти, и впрямь сболтнул мне что-то неположенное... Хотя откуда ему, рифмоплету Кудинову, специалисту по юбилейным и праздничным виршам, знать что-либо неположенное? Разве что страшный Мартинсон у себя в нужнике за скелетами тайно гонит наркотики, а Костя их тайно распространяет? Нет, ничего я к нему сейчас не испытывал, кроме брезгливости и острого желания оказаться подальше от.

— Ну, хорошо, хорошо,— произнес я как можно спокойнее.— Ну, чего ты дергаешься? Ну, что мне до всего этого, сам подумай... Ну, не было, так не было. Что я — спорю?

Он начал свои объяснения по третьему разу, а я отодвинул его с дороги без всякой жалости и пошел спускаться по лестнице с наивозможной для меня поспешностью. Ноги у меня тряслись, и в правом колене стреляло, и все время хотелось сплюнуть. И я не обернулся, когда сверху вслед мне донесся шипящий крик: «О себе подумай, Сорокин! Серьезно тебе говорю!» Если отвлечься от интонации, это был толковый совет. И подумать только, если бы эта скотина Леня Шибзд не позвонил мне, ничего бы этого не было... Да, руководитель моей судьбы хорошо поработал сегодня, ничего не скажешь... Нет, ребята, домой, домой, к пенатам, к коньячку моему и к Синей Папке!

В гардеробе, затягивая молнию на куртке, я заметил в глубине зеркала нечто знакомое. Прямо за моей спиной сидело на скамье черное пальто в серую клетку. Я повернулся и, продолжая застегиваться, пригляделся к нему. Это был тот самый человек из метро — рыжая бородка, очки в блестящей металлической оправе, клетчатое пальто-перевертыш,— сидел себе одиноко на длинной белой скамье в почти пустом уже вестибюле больницы в Бирюлеве и читал какую-то книжку.

4. Банев. Вундеркинды

— Давно я вас не видел в городе,— сказал Павор насморочным голосом.

— Не так уж давно,— возразил Виктор.— Всего два дня.

— Можно с вами посидеть или вы хотите побыть вдвоем? — спросил Павор.

— Садитесь,— вежливо сказала Диана.

Павор сел напротив нее и крикнул: «Официант, двойной коньяк!» Смеркалось, швейцар задергивал шторы на окнах. Виктор включил торшер.

— Я вами восхищаюсь,— обратился Павор к Диане.— Жить в таком климате и сохранить прекрасный цвет лица...— Он чихнул.— Извините. Эти дожди меня доконают... Как работается? — спросил он у Виктора.

— Неважно. Не могу я работать, когда пасмурно,— все время хочется выпить.

— Что за скандал вы учинили у полицмейстера? — спросил Павор.

— А, чепуха,— сказал Виктор.— Искал справедливости.

— А что случилось?

— Скотина бургомистр охотится на мокрецов с капканами. Один попался, повредил ногу. Я взял этот капкан, пошел в полицию и потребовал расследования.

— Так,— сказал Павор.— А дальше?

— В этом городе странные законы. Поскольку заявления от потерпевшего не поступило, считается, что преступления не было, а был несчастный случай, в коем никто, кроме потерпевшего, не повинен. Я сказал полицмейстеру, что приму это к сведению, а он мне объявил, что это угроза, на чем мы и расстались.

— А где все это случилось? — спросил Павор.

— Около санатория.

— Около санатория? Что это мокрецу понадобилось около санатория?

— По-моему, это никого не касается,— резко сказала Диана.

— Конечно,— сказал Павор.— Я просто удивился...— Он сморщился, зажмурил глаза и со звоном чихнул.— Фу, черт,— сказал он.— Прошу прощения.

Он полез в карман и вытащил большой носовой платок. Что-то со стуком упало на пол. Виктор нагнулся. Это был кастет. Виктор поднял его и протянул Павору.

— Зачем вы это таскаете? — спросил он.

Павор, зарывшись лицом в носовой платок, смотрел на кастет покрасневшими глазами.

— Это все из-за вас,— произнес он сдавленным голосом и высморкался.— Это вы меня напугали своим рассказом... А между прочим, говорят, что здесь дейст-

вует какая-то местная банда. То ли бандиты, то ли хулиганы. А мне, знаете ли, не нравится, когда меня бьют.

— Вас часто бьют? — спросила Диана.

Виктор посмотрел на нее. Она сидела в кресле, положив ногу на ногу, и курила, опустив глаза. Бедный Павор, подумал Виктор. Сейчас тебя отошьют... Он протянул руку и одернул юбку у нее на коленях.

— Меня? — сказал Павор.— Неужели у меня вид человека, которого часто бьют? Это надо поправить. Официант, еще двойной коньяк!.. Да, так на следующий день я зашел в слесарные мастерские, и мне там в два счета смастерили эту штучку.— Он с довольным видом осмотрел кастет.— Хорошая штучка, даже Голему понравилась...

— Вас так и не пустили в лепрозорий? — спросил Виктор.

— Нет. Не пустили и, надо понимать, не пустят. Я уже разуверился. Я написал жалобы в три департамента, а теперь сижу и сочиняю ответ. На какую сумму лепрозорий получил в минувшем году подштанников. Отдельно мужских, отдельно женских. Дьявольски увлекательно.

— Напишите, что у них не хватает медикаментов,— посоветовал Виктор. Павор удивленно поднял брови, а Диана лениво сказала:

— Лучше бросьте вашу писанину, а выпейте стакан горячего вина и ложитесь в постель.

— Намек понял,— сказал Павор со вздохом.— Придется идти... Вы знаете, в каком я номере? — спросил он Виктора.— Навестили бы как-нибудь.

— Двести двадцать третий,— сказал Виктор.— Обязательно.

— До свидания,— сказал Павор, поднимаясь.— Желаю приятно провести вечер.

Они смотрели, как он подошел к стойке, взял бутылку красного вина и направился к выходу.

— Язык у тебя длинный,— сказала Диана.

— Да,— согласился Виктор.— Виновен. Понимаешь, он мне чем-то нравится.

— А мне — нет,— сказала Диана.

— И доктору Р. Квадриге тоже — нет. Интересно, почему?

— Морда у него мерзкая,— ответила Диана.— Белокурая бестия. Знаю я эту породу. Настоящие мужчины. Без чести, без совести, повелители дураков.

— Вот тебе и на,— удивился Виктор.— А я-то думал, что такие мужчины должны тебе нравиться.

— Теперь нет мужчин,— возразила Диана.— Теперь либо фашисты, либо бабы.

— А я? — осведомился Виктор с интересом.

— Ты? Ты слишком любишь маринованные миноги. И одновременно — справедливость.

— Правильно. Но, по-моему, это хорошо.

— Это неплохо. Но если бы тебе пришлось выбирать, ты бы выбрал миноги, вот что плохо. Тебе повезло, что у тебя талант.

— Что это ты такая злая сегодня? — спросил Виктор.

— А я вообще злая. У тебя — талант, у меня — злость. Если у тебя отобрать талант, а у меня — злость, то останутся два совокупляющихся нуля.

— Нуль нулю рознь,— заметил Виктор.— Из тебя даже нуль получился бы неплохой — стройный, прекрасно сложенный нуль. И кроме того, если у тебя отобрать твою злость, ты станешь доброй, что тоже в общем неплохо...

— Если у меня отобрать злость, я стану медузой. Чтобы я стала доброй, нужно заменить злость добротой.

— Забавно,— сказал Виктор.— Обычно женщины не любят рассуждать. Но уж когда они начинают, то становятся удивительно категоричными. Откуда ты, собственно, взяла, что у тебя только злость и никакой доброты? Так не бывает. Доброта в тебе тоже есть, только она незаметна за злостью. В каждом человеке намешано всего понемножку, а жизнь выдавливает из этой смеси что-нибудь одно на поверхность...

В зал ввалилась компания молодых людей, и сразу стало шумно. Молодые люди вели себя непринужденно: они обругали официанта, погнали его за пивом, а сами обсели столик в дальнем углу и принялись громко разговаривать и хохотать во все горло. Здоровенный губастый дылда с румяными щеками, прищелкивая на ходу пальцами и пританцовывая, направился к стойке. Тэдди ему что-то подал, он, оттопырив мизинец, взял рюмку двумя пальцами, повернулся к стойке спиной, оперся на нее локтями и скрестил ноги, победительно оглядывая пустой зал. «Привет Диане! — заорал он.— Как жизнь?» Диана равнодушно улыбнулась ему.

— Что это за диво? — спросил Виктор.

— Некий Фламин Ювента,— ответила Диана.— Племянничек полицмейстера.

— Где-то я его видел,— сказал Виктор.

— Да ну его к черту,— нетерпеливо сказала Диана.— Все люди — медузы, и ничего в них такого не намешано. Попадаются изредка настоящие, у которых есть что-нибудь свое — доброта, талант, злость... отними у них это, и ничего не останется, станут медузами, как все. Ты, кажется, вообразил, что нравишься мне своим пристрастием к миногам и справедливости? Чепуха! У тебя талант, у тебя книги, у тебя известность, а в остальном ты такая же дремучая рохля, как все.

— То, что ты говоришь,— объявил Виктор,— до такой степени неправильно, что я даже не обижаюсь. Но ты продолжай, у тебя очень интересно меняется лицо, когда ты говоришь.— Он закурил и передал ей сигарету.— Продолжай.

— Медузы,— сказала она горько.— Скользкие глупые медузы. Копошатся, ползают, стреляют, сами не знают, чего хотят, ничего не умеют, ничего по-настоящему не любят... как черви в сортире...

— Это неприлично,— сказал Виктор.— Образ, несомненно, выпуклый, но решительно неаппетитный. И вообще все это банальности. Диана, милая моя, ты не мыслитель. В прошлом веке и в провинции это еще как-то звучало бы... общество, по крайней мере, было бы сладко шокировано, и бледные юноши с горящими глазами таскались бы за тобой по пятам. Но сегодня это уже очевидности. Сегодня уже все знают, что̀ есть человек. Что с человеком делать — вот вопрос. Да и то, признаться, уже навяз на зубах.

— А что делают с медузами?

— Кто? Медузы?

— Мы.

— Насколько я знаю — ничего. Консервы, кажется, из них делают.

— Ну и ладно,— сказала Диана.— Ты что-нибудь наработал за это время?

— А как же! Я написал страшно трогательное письмо своему другу Роц-Тусову. Если после этого письма он не устроит Ирму в пансион, значит, я никуда не годен!

— И это всё?

— Да,— сказал Виктор.— Всё остальное я выбросил.

— Господи! — сказала Диана.— А я-то за тобой ухаживала, старалась не мешать, отгоняла Росшепера...

— Купала меня в ванне,— напомнил Виктор.

— Купала тебя в ванне, поила тебя кофе...

— Погоди,— сказал Виктор,— но ведь я тоже купал тебя в ванне...

— Все равно.

— Как это — все равно? Ты думаешь, легко работать, выкупав тебя в ванне? Я сделал шесть вариантов описания этого процесса, и все они никуда не годятся.

— Дай почитать.

— Только для мужчин,— сказал Виктор.— Кроме того, я их выбросил, разве я тебе не сказал? И вообще, там было так мало патриотизма и национального самосознания, что это все равно никому нельзя было бы показать.

— Скажи, а ты как — сначала напишешь, а потом уже вставляешь национальное самосознание?

— Нет,— сказал Виктор.— Сначала я проникаюсь национальным самосознанием до глубины души: читаю речи господина президента, зубрю наизусть богатырские саги, посещаю патриотические собрания. Потом, когда меня начинает рвать,— не тошнить, а уже рвать,— я принимаюсь за дело... Давай поговорим о чем-нибудь другом. Например, что мы будем делать завтра.

— Завтра у тебя встреча с гимназистами.

— Это быстро. А потом?

Диана не ответила. Она смотрела мимо него. Виктор обернулся. К ним подходил мокрец — во всей своей красе: черный, мокрый, с повязкой на лице.

— Здравствуйте,— сказал он Диане.— Голем еще не вернулся?

Виктор поразился, какое лицо сделалось у Дианы. Как на старинной картине. Даже не на картине — на иконе. Странная неподвижность черт, и ты недоумеваешь, то ли это замысел мастера, то ли бессилие ремесленника. Она не ответила. Она молчала, и мокрец тоже молча смотрел на нее, и никакой неловкости не было в этом молчании — они были вместе, а Виктор и все прочие были отдельно. Виктору это очень не понравилось.

— Голем, наверное, сейчас придет,— сказал он громко.

— Да,— сказала Диана.— Присядьте, подождите.

У нее был обычный голос, и она улыбалась мокрецу равнодушной улыбкой. Все было как обычно — Виктор был с Дианой, а мокрец и все прочие были отдельно.

— Прошу! — весело сказал Виктор, указывая на кресло доктора Р. Квадриги.

Мокрец сел, положив на колени руки в черных перчатках. Виктор налил ему коньяку. Мокрец привычно-

небрежным жестом взял рюмку, покачал, как бы взвешивая, и снова поставил на стол.

— Я надеюсь, вы не забыли? — сказал он Диане.

— Да,— сказала Диана.— Да. Сейчас принесу. Виктор, дай мне ключ от номера, я сейчас вернусь.

Она взяла ключ и быстро пошла к выходу. Виктор закурил. Что это с тобой, приятель? — сказал он себе.— Что-то тебе слишком многое мерещится в последнее время. Нежный ты стал какой-то, чувствительный... Ревнивый. А зря. Тебя это совершенно не касается — все эти бывшие мужья, все эти странные знакомства... Диана — это Диана, а ты — это ты. Росшепер импотент? Импотент. Вот и будет с тебя... Он знал, что все это не так просто, что он уже проглотил какую-то отраву, но он сказал себе: хватит, и сегодня — сейчас, пока — ему удалось убедить себя, что действительно хватит.

Мокрец сидел напротив, неподвижный и страшный, как чучело. От него пахло сыростью и еще чем-то, какой-то медициной. Мог ли я подумать, что когда-нибудь буду сидеть с мокрецом в ресторане за одним столиком?.. Прогресс, ребята, движется куда-то понемногу. Или это мы стали такие всеядные: дошло до нас, наконец, что все люди — братья? Человечество, друг мой, я горжусь тобою... А вы, сударь, отдали бы свою дочь за мокреца?..

— Моя фамилия — Банев,— представился Виктор и спросил: — Как здоровье вашего... пострадавшего? Того, что попал в капкан?

Мокрец быстро повернул к нему лицо. Смотрит, как через бруствер, подумал Виктор.

— Удовлетворительно,— ответил мокрец сухо.

— На его месте я бы подал заявление в полицию.

— Не имеет смысла,— сказал мокрец.

— Почему же? — сказал Виктор.— Не обязательно обращаться в местную полицию, можно обратиться в окружную...

— Нам это не нужно.

Виктор пожал плечами.

— Каждое ненаказанное преступление рождает новое преступление.

— Да. Но нас это не интересует.

Они помолчали. Потом мокрец сказал:

— Меня зовут Зурзмансор.

— Знаменитая фамилия,— вежливо сказал Виктор.— Вы не родственник Павлу Зурзмансору, социологу?

Мокрец прищурил глаза.

— Даже не однофамилец,— сказал он.— Мне говорили, Банев, что завтра вы выступаете в гимназии...

Виктор не успел ответить. За спиной у него двинули кресло, и молодцеватый баритон произнес:

— А ну, зараза, пошел отсюда вон!

Виктор обернулся. Над ним возвышался губастый Фламин Ювента, или как его там, словом, племянничек. Виктор глядел на него не дольше секунды, но уже чувствовал сильнейшее раздражение.

— Вы это кому, молодой человек? — осведомился он.

— Вашему приятелю,— любезно сообщил Фламин Ювента и снова гаркнул: — Тебе говорят, мокрая шкура!

— Одну минуточку,— сказал Виктор и встал. Фламин Ювента, ухмыляясь, смотрел на него сверху вниз. Этакий юный Голиаф в спортивной куртке, сверкающей многочисленными эмблемами, наш простейший отечественный штурмфюрер, верная опора нации с резиновой дубинкой в заднем кармане, гроза левых, правых и умеренных. Виктор протянул руку к его галстуку и спросил, изображая озабоченность и любопытство: «Что это у вас такое?» И когда юный Голиаф машинально наклонил голову, чтобы поглядеть, что у него там такое, Виктор крепко ущемил его нос большим и указательным пальцем. «Э!» — ошеломленно воскликнул юный Голиаф и попытался вырваться, но Виктор его не выпустил и некоторое время старательно и с ледяным наслаждением крутил и выворачивал этот наглый крепкий нос, приговаривая: «Веди себя прилично, щенок, племянничек, штурмовичок вшивый, сукин сын, хамло...» Позиция была исключительно удобной: юный Голиаф отчаянно лягался, но между ними было кресло, юный Голиаф месил воздух кулаками, но руки у Виктора были длиннее, и Виктор все крутил, вращал, драл и вывертывал, пока у него над головой не пролетела бутылка. Тогда он оглянулся: на него, раздвигая столы и опрокидывая кресла, с грохотом неслась вся банда — пятеро, причем двое из них очень рослые. На мгновение всё застыло, как на фотоснимке,— черный Зурзмансор, спокойно откинувшийся в кресле; Тэдди, повисший в прыжке над стойкой; Диана с белым свертком посередине зала; а на заднем плане в дверях — свирепое усатое лицо швейцара; и совсем рядом — злобные морды с разинутыми пастями. Затем фотография кончилась, и началось кино.

Первого верзилу Виктор очень удачно сшиб ударом по скуле. Тот исчез и некоторое время не появлялся.

Но другой верзила попал Виктору в ухо. Кто-то еще ударил его ребром ладони по щеке — видимо, промахнулся по горлу. А еще кто-то — освободившийся Голиаф? — прыгнул на него сзади. Все это было грубое уличное хулиганье, опора нации,— только один из них знал бокс, а остальные жаждали не столько драться, сколько увечить: выдавить глаз, разорвать рот, лягнуть в пах. Будь Виктор один, они бы его искалечили, но с тыла на них набежал Тэдди, который свято исповедовал золотое правило всех вышибал — гасить любую драку в самом зародыше; а с фланга появилась Диана, Диана Бешеная, оскаленная ненавистью, непохожая на себя, уже без белого пакета, а с тяжелой оплетенной бутылью в руках; и еще подоспел швейцар, человек хотя и пожилой, но, судя по ухваткам, бывший солдат — он действовал связкой ключей, словно это был ремень со штыком в ножнах. Так что, когда из кухни прибежали два официанта, делать им было уже нечего. Племянничек удрал, забыв на столике свой транзистор. Один из молодчиков остался лежать под столом — это был тот, которого Диана свалила бутылью, остальных же четверых Виктор с Тэдди, подбадривая друг друга удалыми возгласами, буквально вынесли из зала на кулаках, прогнали через вестибюль и пинками забили в вертящуюся дверь. По инерции они вылетели наружу сами и только там, под дождем, осознали полную победу и несколько успокоились.

— Сопляки паршивые,— сказал Тэдди, закуривая сразу две сигареты — себе и Виктору.— Манеру взяли — каждый четверг буянить. Прошлый раз недоглядел — два кресла сломали. А кому платить? Мне!

Виктор щупал распухающее ухо.

— Племянничек ушел,— сказал он с сожалением.— Так я до него как следует и не добрался.

— Это хорошо,— сказал Тэдди деловито.— С этим губастым лучше не связываться. Дядюшка у него знаешь кто, да и сам он... опора Родины и Порядка, или как они там называются... А драться ты, господин писатель, навострился. Такой, помню, хлипкий сопляк был — тебе, бывало, дадут, а ты и под стол. Молодец.

— Такая уж у меня профессия,— вздохнул Виктор.— Продукт борьбы за существование. У нас ведь как — все на одного. А господин президент за всех.

— Неужели до драки доходит? — простодушно удивился Тэдди.

— А ты думал! Напишут на тебя похвальную статью,

что ты-де проникнут национальным самосознанием, идешь искать критика, а он уже с компанией — и все молодые, задорные крепыши, дети президента...

— Надо же,— сказал Тэдди сочувственно.— И что?

— По-разному. И так бывает, и эдак.

К подъезду подкатил джип, отворилась дверца, и под дождь, прикрываясь одним плащом, вылез молодой человек в очках и с портфелем, и его долговязый спутник. Из-за руля выбрался Голем. Долговязый с острым, каким-то профессиональным интересом смотрел, как швейцар выбивает через вертящуюся дверь последнего буяна, еще не вполне пришедшего в себя. «Жалко, этого не было,— шепотом сказал Тэдди, указывая глазами на долговязого.— Вот это мастер! Это тебе не ты. Профессионал, понял?» — «Понял»,— тоже шепотом ответил Виктор. Молодой человек с портфелем и долговязый рысцой пробежали мимо и нырнули в подъезд. Голем неторопливо двинулся было следом, уже издали улыбаясь Виктору, но дорогу ему заступил господин Зурзмансор с белым свертком под мышкой. Он что-то сказал вполголоса, после чего Голем перестал улыбаться и вернулся в машину. Зурзмансор пробрался на заднее сиденье, и джип укатил.

— Эх! — сказал Тэдди.— Не того мы били, господин Банев. Люди кровь из-за него проливают, а он сел в чужую машину и уехал.

— Ну, это ты зря,— сказал Виктор.— Больной, несчастный человек, сегодня он, завтра ты. Мы с тобой сейчас пойдем и выпьем, а его в лепрозорий повезли.

— Знаем мы, куда его повезли! — непримиримо сказал Тэдди.— Ничего ты не понимаешь в нашей жизни, писатель.

— Оторвался от нации?

— От нации не от нации, а жизнь ты не знаешь. Поживи-ка у нас: который год дожди, на полях все погнило, дети от рук отбились... Да чего там — ни одной кошки в городе не осталось, от мышей спасенья нет... Э-эх! — сказал он, махнув рукой.— Пошли уж.

Они вернулись в вестибюль, и Тэдди спросил швейцара, уже занявшего свой пост:

— Что? Много наломали?

— Да нет,— сказал швейцар.— Можно считать, что обошлось. Торшер один покалечили, стену загадили, а деньги я у этого... у последнего отобрал, нá вот, возьми.

На ходу считая деньги, Тэдди прошел в ресторан. Виктор последовал за ним. В зале опять установился покой. Молодой человек в очках и долговязый уже скучали над бутылкой минеральной воды, меланхолично пережевывая дежурный ужин. Диана сидела на прежнем месте, очень оживленная, очень хорошенькая, и даже улыбалась занявшему свое кресло доктору Р. Квадриге, которого обычно не терпела. Перед Р. Квадригой стояла бутылка рому, но он был еще трезв и потому выглядел странно.

— С викторией! — мрачно приветствовал он Виктора.— Сожалею, что не присутствовал при сем хотя мичманом.

Виктор рухнул в кресло.

— Красивое ухо,— сказал Р. Квадрига.— Где ты такое достал? Как петушиный гребень.

— Коньяку! — потребовал Виктор. Диана налила ему коньяку.— Ей, и только ей, обязан я викторией своею,— сказал он, показывая на Диану.— Ты заплатила за бутылку?

— Бутылка не разбилась,— сказала Диана.— За кого ты меня принимаешь? Но как он упал! Боже мой, как он чудесно свалился! Все бы так...

— Приступим,— мрачно сказал Р. Квадрига и налил себе полный стакан рому.

— Покатился, как манекен,— сказала Диана.— Как кегля... Виктор, у тебя все цело? Я видела, как тебя били ногами.

— Главное цело,— ответил Виктор.— Я специально защищал.

Доктор Р. Квадрига со скворчанием всосал в себя последние капли рома из стакана, совершенно как кухонная раковина всасывает остатки воды после мытья посуды. Глаза у него сразу посоловели.

— Мы знакомы,— поспешно сказал Виктор.— Ты — доктор Рем Квадрига, я — писатель Банев...

— Брось,— сказал Р. Квадрига.— Я совершенно трезв. Но я сопьюсь. Это единственное, в чем я сейчас уверен. Вы не можете себе представить, но я приехал сюда полгода назад абсолютно непьющим человеком. У меня больная печень, катар кишок и еще что-то с желудком. Мне абсолютно запрещено пить, а я теперь пьянствую круглые сутки... Я абсолютно никому не нужен. Никогда в жизни этого со мной не бывало. Я даже писем не получаю, потому что старые друзья сидят без права переписки, а новые неграмотны...

— Никаких государственных тайн,— сказал Виктор.— Я неблагонадежен.

Р. Квадрига снова наполнил стакан и принялся прихлебывать ром, как остывший чай.

— Так лучше действует,— сообщил он.— Попробуй, Банев. Пригодится... И нечего на меня смотреть! — сказал он вдруг Диане бешено.— Попрошу скрывать свои чувства! А если вам не нравится...

— Тихо, тихо,— сказал Виктор, и Р. Квадрига скис.

— Они ни черта во мне не понимают,— сказал он жалобно.— Никто. Только ты немножко понимаешь. Ты меня всегда понимал. Только ты очень грубый, Банев, и всегда меня ранил. Я весь израненный... Они теперь боятся меня ругать, они теперь только хвалят. Как похвалит какая-нибудь сволочь — рана. Другая сволочь похвалит — другая рана. Но теперь все это позади. Они еще не знают... Слушай, Банев! Какая у тебя замечательная женщина... Я тебя прошу... Попроси ее, пусть придет ко мне в студию... Да нет, дурак! Натурщица! Ты ничего не понимаешь, я такую натурщицу ищу десять лет...

— Аллегорическая картина,— пояснил Виктор Диане.— «Президент и Вечно Юная Нация»...

— Дурак,— грустно сказал доктор Р. Квадрига.— Вы все думаете, что я продаюсь... Ну, правильно, было! Но я больше не пишу президентов... Автопортрет! Понимаешь?

— Нет,— признался Виктор.— Не понимаю. Ты хочешь писать свой портрет с Дианы?

— Дурак,— сказал Р. Квадрига.— Это будет лицо художника...

— Моя задница,— объяснила Диана Виктору.

— Лицо художника! — повторил Р. Квадрига.— Ты ведь тоже художник... И все, кто сидит без права переписки... и все, кто лежит без права переписки... и все, кто живет в моем доме... то есть не живет... Ты знаешь, Банев, я боюсь. Я ведь тебя просил: приди, поживи у меня хоть немного. У меня вилла, фонтан... А садовник сбежал. Трус... Сам я там жить не могу, в гостинице лучше... Ты думаешь, я пью, потому что продался? Дудки, это тебе не модный роман... Поживешь у меня немного и разберешься... Может быть, ты даже их узнáешь. Может быть, это вовсе не мои знакомые, может быть, это твои. Тогда бы я понял, почему они меня не узнают... Ходят босые... смеются...— Глаза его вдруг наполнились

слезами.— Господи! — сказал он.— Какое счастье, что с нами нет этого Павора! Ваше здоровье.

— Будь здоров,— сказал Виктор, переглянувшись с Дианой. Диана смотрела на Р. Квадригу с брезгливой тревогой.— Никто здесь не любит Павора,— сказал он.— Один я урод какой-то.

— Тихий омут,— произнес доктор Р. Квадрига.— И прыгнувшая лягушка. Болтун. Всегда молчит.

— Просто он уже готов,— сказал Виктор Диане.— Ничего страшного...

— Господа! — сказал доктор Р. Квадрига.— Сударыня! Я считаю своим долгом представиться! Рем Квадрига, доктор «гонорис кауза»...

Виктор пришел в гимназию за полчаса до назначенного времени, но Бол-Кунац уже ждал его. Впрочем, он был мальчиком тактичным, он только сообщил Виктору, что встреча состоится в актовом зале, и сейчас же ушел, сославшись на неотложные дела. Оставшись один, Виктор побрел по коридорам, заглядывая в пустые классы, вдыхая забытые ароматы чернил, мела, никогда не оседающей пыли, запахи драк «до первой крови», изнурительных допросов у доски, запахи тюрьмы, бесправия, лжи, возведенной в принцип. Он все надеялся вызвать в памяти какие-то сладкие воспоминания о детстве и юношестве, о рыцарстве, о товариществе, о первой чистой любви, но ничего из этого не получалось, хотя он очень старался, готовый умилиться при первой возможности. Все здесь оставалось по-прежнему — и светлые затхлые классы, и поцарапанные доски, парты, изрезанные закрашенными инициалами и апокрифическими надписями про жену и правую руку, и казематные стены, выкрашенные до половины веселой зеленой краской, и сбитая штукатурка на углах — все оставалось по-прежнему ненавистно, гадко, наводило злобу и беспросветность.

Он нашел свой класс, хотя и не сразу; нашел свое место у окна, но парта была другая, только на подоконнике все еще виднелась глубоко врезанная эмблема Легиона Свободы, и он живо вспомнил одуряющий энтузиазм тех времен, бело-красные повязки, жестяные копилки «в фонд Легиона», бешеные кровавые драки с красными и портреты во всех газетах, во всех учебниках, на всех стенах — лицо, которое казалось тогда значительным и прекрасным, а теперь стало дряблым, тупым, похожим на кабанье рыло, и огромный клыкастый брызжущий

рот. Такие юные, такие серые, такие одинаковые... И глупые, и этой глупости сейчас не радуешься, не радуешься, что стал умнее, а только обжигающий стыд за себя тогдашнего, серого, деловитого птенца, воображавшего себя ярким, незаменимым и отборным... И еще стыдные детские вожделения, и томительный страх перед девчонкой, о которой ты уже столько нахвастался, что теперь просто невозможно отступить, а на другой день — оглушительный гнев отца и пылающие уши, и все это называется счастливой порой: серость, вожделение, энтузиазм... Плохо дело, подумал он. А вдруг через пятнадцать лет окажется, что и нынешний я так же сер и несвободен, как и в детстве, и даже хуже, потому что теперь я считаю себя взрослым, достаточно много знающим и достаточно пережившим, чтобы иметь основания для самодовольства и права судить.

Скромность, и только скромность, до самоуничижения... и только правда, никогда не ври, по крайней мере — самому себе, но это ужасно: самоуничижаться, когда вокруг столько идиотов, развратников, корыстных лжецов, когда даже лучшие испещрены пятнами, как прокаженные... Хочешь ты снова стать юным? Нет. А хочешь ты прожить еще пятнадцать лет? Да. Потому что жить — это хорошо. Даже когда получаешь удары. Лишь бы иметь возможность бить в ответ... Ну ладно, хватит. Остановимся на том, что настоящая жизнь есть способ существования, позволяющий наносить ответные удары. А теперь пойдем и посмотрим, какими они стали...

В зале было довольно много ребятишек, и стоял обычный гам, который стих, когда Бол-Кунац вывел Виктора на сцену и усадил под огромным портретом президента — даром доктора Р. Квадриги — за стол, покрытый красно-белой скатертью. Потом Бол-Кунац вышел на край сцены и сказал:

— Сегодня с нами будет беседовать известный писатель Виктор Банев, уроженец нашего города.— Он повернулся к Виктору: — Как вам удобнее, господин Банев, чтобы вопросы с места или в письменном виде?

— Мне все равно,— сказал Виктор легкомысленно.— Лишь бы их было побольше.

— В таком случае, прошу вас.

Бол-Кунац спрыгнул со сцены и сел в первом ряду. Виктор почесал бровь, оглядывая зал. Их было человек пятьдесят — мальчиков и девочек в возрасте от десяти до четырнадцати лет,— и они смотрели на него со спокой-

ным ожиданием. Похоже, тут одни вундеркинды, подумал он мельком. Во втором ряду справа он увидел Ирму и улыбнулся ей. Она улыбнулась в ответ.

— Я учился в этой самой гимназии,— начал Виктор,— и на этой самой сцене мне довелось однажды играть Озрика. Роли я не знал, и мне пришлось сочинять ее на ходу. Это было первое, что я сочинил в своей жизни не под угрозой двойки. Говорят, что теперь стало учиться труднее, чем в мое время. Говорят, у вас появились новые предметы и то, что мы проходили за три года, вы должны проходить за год. Но вы, наверное, не замечаете, что стало труднее. Ученые полагают, что человеческий мозг способен вместить гораздо больше сведений, нежели кажется на первый взгляд обыкновенному человеку. Надо только уметь эти сведения впихнуть...— Ага, подумал он, сейчас я им расскажу про гипнопедию. Но тут Бол-Кунац передал ему записку: «Не надо рассказывать о достижениях науки. Говорите с нами как с равными. Валерьянс, 6 кл.» — Так,— сказал Виктор.— Тут некий Валерьянс из шестого класса предлагает мне разговаривать с вами как с равными и предупреждает, чтобы я не излагал достижения науки... Должен тебе сказать, Валерьянс, что я действительно намеревался сейчас поговорить о достижениях гипнопедии. Однако я охотно откажусь от своего намерения, хотя и считаю долгом проинформировать тебя, что большинство равных мне взрослых имеет о гипнопедии лишь самое смутное представление.— Ему было неудобно говорить сидя, он встал и прошелся по сцене.— Должен вам признаться, ребята, что я не любитель встречаться с читателями. Как правило, совершенно невозможно понять, с каким читателем имеешь дело, что ему от тебя надо и что его, собственно, интересует. Поэтому я стараюсь каждое свое выступление превращать в вечер вопросов и ответов. Иногда получается довольно забавно. Давайте, начну спрашивать я. Итак... Все ли читали мои произведения?

— Да,— отозвались детские голоса.— Читали... Все...

— Прекрасно,— сказал Виктор озадаченно.— Польщен, хотя и удивлен. Ну, ладно, далее... Желает ли собрание, чтобы я рассказал историю написания какого-нибудь своего романа?

Последовало недолгое молчание, затем в середине зала воздвигся худой прыщавый мальчик, сказал: «Нет» — и сел.

— Прекрасно,— сказал Виктор.— Это тем более хоро-

шо, что вопреки широко распространенному мнению ничего интересного в историях написания не бывает. Пойдемте дальше... Желают ли уважаемые слушатели узнать о моих творческих планах?

Бол-Кунац поднялся и вежливо сказал:

— Видите ли, господин Банев, вопросы, непосредственно связанные с техникой вашего творчества, лучше было бы обсудить в самом конце беседы, когда прояснится общая картина.

Он сел. Виктор сунул руки в карманы и снова прошелся по сцене. Становилось интересно или, во всяком случае, необычно.

— А может быть, вас интересуют литературные анекдоты? — вкрадчиво спросил он.— Как я охотился с Хемингуэем. Как Эренбург подарил мне русский самовар. Или что мне сказал Зурзмансор, когда мы встретились с ним в трамвае...

— Вы действительно встречались с Зурзмансором? — спросили из зала.

— Нет, я шучу,— сказал Виктор.— Так что́ насчет литературных анекдотов?

— Можно вопрос? — сказал, воздвигаясь, прыщавый мальчик.

— Да, конечно.

— Какими бы вы хотели видеть нас в будущем?

Без прыщей, мелькнуло в голове у Виктора, но он отогнал эту мысль, потому что понял: становится жарко. Вопрос был сильный. Хотел бы я, чтобы кто-нибудь сказал мне, каким я хочу видеть себя в настоящем, подумал он. Однако надо было отвечать.

— Умными,— сказал он наугад.— Честными. Добрыми... Хотел бы, чтобы вы любили свою работу... и работали бы только на благо людей. (Несу, подумал он. Да и как не нести?) Вот примерно так...

Зал тихонько зашумел, потом кто-то спросил, не вставая:

— Вы действительно считаете, что солдат главнее физика?

— Я?! — возмутился Виктор.

— Так я понял из вашей повести «Беда приходит ночью».— Это был белобрысый клоп лет десяти от роду. Виктор крякнул. «Беда» могла быть плохой книгой и могла быть хорошей книгой, но она ни при каких обстоятельствах не была детской книгой. Она до такой степени не была детской книгой, что в ней не разобрался ни

один из критиков: все сочли ее порнографическим чтивом, подрывающим мораль и национальное самосознание. И что самое ужасное, белобрысый клоп имел основания полагать, что автор «Беды» считает солдата «главнее» физика — во всяком случае, в некоторых отношениях.

— Дело в том,— сказал Виктор проникновенно,— что... как бы тебе сказать... Всякое бывает.

— Я вовсе не имею в виду физиологию,— возразил белобрысый клоп.— Я говорю об общей концепции книги. Может быть, «главнее» не то слово...

— Я тоже не имею в виду физиологию,— сказал Виктор.— Я хочу сказать, что бывают ситуации, когда уровень знаний не имеет значения.

Бол-Кунац принял из зала и передал ему две записки: «Может ли считаться честным и добрым человек, который работает на войну?» и «Что такое умный человек?». Виктор начал со второго вопроса — он был проще.

— Умный человек,— сказал он,— это тот человек, который сознает несовершенство, незаконченность своих знаний, стремится их пополнять и в этом преуспевает... Вы со мной согласны?

— Нет,— сказала, приподнявшись, хорошенькая девочка.

— А в чем дело?

— Ваше определение не функционально. Любой дурак, пользуясь этим определением, может полагать себя умным. Особенно если окружающие поддерживают его в этом мнении.

Да, подумал Виктор. Его охватила легкая паника. Это тебе не с братьями-писателями разговаривать.

— В какой-то степени вы правы,— сказал он, неожиданно для себя переходя на «вы».— Но дело в том, что вообще-то «дурак» и «умный» — понятия исторические и, скорее, субъективные.

— Значит, вы сами не беретесь отличить дурака от умного? — Это из задних рядов — смуглое существо с прекрасными библейскими глазами, стриженное наголо.

— Отчего же,— сказал Виктор.— Берусь. Но я не уверен, что вы всегда со мной согласитесь. Есть старый афоризм: дурак — это просто инакомыслящий...— Обычно это присловье вызывало у слушателей смех, но сейчас зал молча ждал продолжения.— Или инакочувствующий,— добавил Виктор.

Он остро ощущал разочарование зала, но он не знал, что еще сказать. Контакта не получалось. Как правило,

аудитория легко переходит на позиции выступающего, соглашается с его суждениями, и всем становится ясно, кто такие дураки, причем подразумевается, что здесь, в этом зале, дураков нет. В худшем случае аудитория не соглашалась и настраивалась враждебно, но и тогда бывало легко, потому что оставалась возможность язвить и высмеивать, а одному спорить с многими нетрудно, так как противники всегда противоречат друг другу и среди них всегда найдется самый шумный и самый глупый, на котором можно плясать ко всеобщему удовольствию.

— Я не совсем понимаю,— произнесла хорошенькая девочка.— Вы хотите, чтобы мы были умными, то есть, согласно вашему же афоризму, мыслили и чувствовали так же, как и вы. Но я прочла все ваши книги и нашла в них только отрицание. Никакой позитивной программы. С другой стороны, вам хотелось бы, чтобы мы работали на благо людей. То есть фактически на благо тех грязных и неприятных типов, которыми наполнены ваши книги. А ведь вы отражаете действительность, правда?

Виктору показалось, что он нащупал, наконец, дно под ногами.

— Видите ли,— сказал он,— под работой на благо людей я как раз понимаю превращение людей в чистых и приятных. И это мое пожелание не имеет никакого отношения к моему творчеству. В книгах я пытаюсь изобразить все, как оно есть, я не пытаюсь учить или показывать, что нужно делать. В лучшем случае я показываю объект приложения сил, обращаю внимание на то, с чем нужно бороться. Я не знаю, как изменять людей, если бы я знал, я был бы не модным писателем, а великим педагогом или знаменитым психосоциологом. Художественной литературе вообще противопоказано поучать или вести, предлагать конкретные пути или создавать конкретную методологию. Это можно видеть на примере крупнейших писателей. Я преклоняюсь перед Львом Толстым, но только до тех пор, пока он является своеобразным, уникальным по отражательному таланту зеркалом действительности. А как только он начинает учить меня ходить босиком или подставлять щеку, меня охватывает жалость и тоска... Писатель — это прибор, показывающий состояние общества, и лишь в ничтожной степени — орудие для изменения общества. История показывает, что общество изменяют не литературой, а реформами или пулеметами, а сейчас еще и наукой. Литература в лучшем случае показывает, в кого надо стрелять или

что нуждается в изменении...— Он сделал паузу, вспомнив о том, что есть еще Достоевский и Фолкнер. Но пока он придумывал, как бы ввернуть насчет роли литературы в изучении подноготной индивидуума, из зала сообщили:

— Простите, но все это довольно тривиально. Дело ведь не в этом. Дело в том, что изображаемые вами объекты совсем не хотят, чтобы их изменяли. И потом они настолько неприятны, настолько запущены, так безнадежны, что их не хочется изменять. Понимаете, они не стоят этого. Пусть уж себе догнивают — они ведь не играют никакой роли. На благо кого же мы должны, по-вашему, работать?

— Ах вот вы о чем! — медленно сказал Виктор.

До него вдруг дошло: боже мой, да ведь эти сопляки всерьез полагают, будто я пишу только о подонках, что я всех считаю подонками, но они же ничего не поняли, да и откуда им понять, это же дети, странные дети, болезненно-умные дети, но всего лишь дети, с детским жизненным опытом и с детским знанием людей плюс куча прочитанных книг, с детским идеализмом и с детским стремлением разложить все по полочкам с табличками «плохо» и «хорошо». Совершенно как братья-литераторы...

— Меня обмануло, что вы говорите, как взрослые,— сказал он.— Я даже забыл, что вы — не взрослые. Я понимаю, это непедагогично так говорить, но говорить это приходится, иначе мы никогда не выпутаемся. Все дело в том, что вы, по-видимому, не понимаете, как небритый, истеричный, вечно пьяный мужчина может быть замечательным человеком, которого нельзя не любить, перед которым преклоняешься, полагаешь за честь пожать его руку, потому что он прошел через такой ад, что и подумать страшно, а человеком все-таки остался. Всех героев моих книг вы считаете нечистыми подонками, но это еще полбеды. Вы считаете, будто и я отношусь к ним так же, как вы. Вот это уже беда. Беда в том смысле, что так мы никогда не поймем друг друга.

Черт его знает, какой реакции он ожидал на свою благодушную отповедь. То ли они начнут смущенно переглядываться, или лица их озарятся пониманием, или некий вздох облегчения пронесется по залу в знак того, что недоразумение благополучно разъяснилось и теперь можно всё начинать сначала, на новой, более реалистической основе... Во всяком случае, ничего этого не произошло. В задних рядах снова встал мальчик с библейскими глазами и спросил:

— Вы не могли бы нам сказать, что такое прогресс?

Виктор почувствовал себя оскорбленным. Ну конечно, подумал он. А потом они спросят, может ли машина мыслить и есть ли жизнь на Марсе. Все возвращается на круги своя.

— Прогресс,— сказал он,— это движение общества к такому состоянию, когда люди не убивают, не топчут и не мучают друг друга.

— А чем же они занимаются? — спросил толстый мальчик справа.

— Выпивают и закусывают квантум сатис,— пробормотал кто-то слева.

— А почему бы и нет? — сказал Виктор.— История человечества знает не так уж много эпох, когда люди могли выпивать и закусывать квантум сатис. Для меня прогресс — это движение к состоянию, когда не топчут и не убивают. А чем они там будут заниматься — это, на мой взгляд, не так уж существенно. Если угодно, для меня прежде всего важны необходимые условия прогресса, а достаточные условия — дело наживное...

— Разрешите мне,— сказал Бол-Кунац.— Давайте рассмотрим такую схему. Автоматизация развивается в тех же темпах, что и сейчас. Тогда через несколько десятков лет подавляющее большинство активного населения Земли выбрасывается из производственных процессов и из сферы обслуживания за ненадобностью. Будет очень хорошо: все сыты, топтать друг друга не к чему, никто друг другу не мешает... и никто никому не нужен. Есть, конечно, несколько сотен тысяч человек, обеспечивающих бесперебойную работу старых машин и создание машин новых, но остальные миллиарды друг другу просто не нужны. Это хорошо?

— Не знаю,— сказал Виктор.— Вообще-то это не совсем хорошо... Это как-то обидно... Но должен вам сказать, что это все-таки лучше, чем то, что мы видим сейчас. Так что определенный прогресс все-таки есть.

— А вы сами хотели бы жить в таком мире?

Виктор подумал.

— Знаете,— сказал он,— я его как-то плохо себе представляю, но если говорить честно, то было бы недурно попробовать.

— А вы можете представить себе человека, которому жить в таком мире категорически не хочется?

— Конечно, могу. Есть люди, и я таких знаю, которые там бы заскучали. Власть там не нужна, командовать

некем, топтать незачем. Правда, они вряд ли откажутся — все-таки это редчайшая возможность превратить рай в свинарник... или в казарму. Они бы этот мир с удовольствием разрушили... Так что, пожалуй, не могу.

— А ваших героев, которых вы так любите, устроило бы такое будущее?

— Да, конечно. Они обрели бы там заслуженный покой.

Бол-Кунац сел, зато встал прыщавый юнец и, горестно кивая, сказал:

— Вот в этом все дело. Не в том дело, понимаем мы реальную жизнь или нет, а в том дело, что для вас и ваших героев такое будущее вполне приемлемо, а для нас — это могильник. Конец надежд. Конец человечества. Тупик. Вот потому-то мы и говорим, что не хочется тратить силы, чтобы работать на благо ваших жаждущих покоя и по уши перепачканных типов. Вдохнуть в них энергию для настоящей жизни уже невозможно. И как вы там хотите, господин Банев, но вы показали нам в своих книгах — в интересных книгах, я полностью «за»,— показали нам не объект приложения сил, а показали нам, что объектов для приложения сил в человечестве нет, по крайней мере — в вашем поколении... Вы сожрали себя, простите, пожалуйста, вы растратили себя на междоусобные драки, на вранье и на борьбу с враньем, которую вы ведете, придумывая новое вранье... Как это у вас поется: «Правда и ложь, вы не так уж несхожи, вчерашняя правда становится ложью, вчерашняя ложь превращается завтра в чистейшую правду, в привычную правду...» Вот так вы и мотаетесь от вранья к вранью. Вы просто никак не можете поверить, что вы уже мертвецы, что вы своими руками создали мир, который стал для вас надгробным памятником. Вы гнили в окопах, вы взрывались под танками, а кому от этого стало лучше? Вы ругали правительство и порядки, как будто вы не знаете, что лучшего правительства и лучших порядков ваше поколение... да попросту недостойно. Вас били по физиономии, простите пожалуйста, а вы упорно долбили, что человек по природе добр... или, того хуже, что человек — это звучит гордо. И кого вы только не называли человеком!..

Прыщавый оратор махнул рукой и сел. Воцарилось молчание, затем он снова встал и сообщил:

— Когда я говорил «вы», я не имел в виду персонально вас, господин Банев.

— Благодарю вас,— сердито сказал Виктор.

Он ощущал раздражение: этот прыщавый сопляк не имел права говорить так безапелляционно, это наглость и дерзость... дать по затылку и вывести за ухо из комнаты. Он ощущал неловкость — многое из сказанного было правдой, и он сам думал так же, а теперь попал в положение человека, вынужденного защищать то, что он ненавидит. Он ощущал растерянность — непонятно было, как вести себя дальше, как продолжать разговор и стоит ли вообще продолжать... Он оглядел зал и увидел, что его ответа ждут, что Ирма ждет его ответа, что все эти розовощекие и конопатые чудовища думают одинаково, и прыщавый наглец только высказал общее мнение, и высказал его искренне, с глубоким убеждением, а не потому что прочел вчера запрещенную брошюру, что они действительно не испытывают ни малейшего чувства благодарности или хотя бы элементарного уважения к нему, Баневу, за то, что он пошел добровольцем в гусары, и ходил на «рейнметаллы» в конном строю, и едва не подох от дизентерии в окружении, и резал часовых самодельным ножом, а потом, уже на гражданке, дал по морде спецуполномоченному, который предложил ему подписать донос, и шлялся без работы с дырой в легких, и спекулировал фруктами, хотя ему предлагали очень выгодные должности... А почему, собственно, они должны уважать меня за все это? Что я ходил на танки с саблей наголо? Так ведь надо быть идиотом, чтобы иметь правительство, которое довело армию до подобного положения... Тут он содрогнулся, представив себе, какую огромную мыслительную работу должны были проделать эти птенцы, чтобы прийти к выводам, к которым взрослые приходят, ободрав с себя всю шкуру, обратив душу в развалины, исковеркав свою жизнь и множество соседних жизней... да и то не все, а только некоторые, а большинство и до сих пор считает, что всё было правильно и очень здорово, и если понадобится — готовы начать всё с начала... Неужели все-таки настали новые времена? Он глядел в зал почти со страхом. Кажется, будущему удалось все-таки запустить щупальцы в самое сердце настоящего, и это будущее было холодным, безжалостным, ему было наплевать на все заслуги прошлого — истинные или мнимые.

— Ребята,— сказал Виктор.— Вы, наверное, этого не замечаете, но вы жестоки. Вы жестоки из самых лучших побуждений, но жестокость — это всегда жестокость. И ничего она не может принести, кроме нового горя,

новых слез и новых подлостей. Вот что вы имейте в виду. И не воображайте, что вы говорите что-то особенно новое. Разрушить старый мир и на его костях построить новый — это очень старая идея. И ни разу пока она не привела к желаемым результатам. То самое, что в старом мире вызывает желание беспощадно разрушать, особенно легко приспосабливается к процессу разрушения, к жестокости, к беспощадности, становится необходимым в этом процессе и непременно сохраняется, становится хозяином в новом мире и в конечном счете убивает смелых разрушителей. Ворон ворону глаз не выклюет, жестокостью жестокость не уничтожишь. Ирония и жалость, ребята! Ирония и жалость!

Вдруг весь зал поднялся. Это было совершенно неожиданно, и у Виктора мелькнула сумасшедшая мысль, что ему удалось, наконец, сказать нечто такое, что поразило воображение слушателей. Но он уже видел, что от дверей идет мокрец, тощий, легкий, почти нематериальный, словно тень, и дети смотрят на него, и не просто смотрят, а тянутся к нему, а он сдержанно поклонился Виктору, пробормотал извинения и сел с краю, рядом с Ирмой, и все дети тоже сели, а Виктор смотрел на Ирму и видел, что она счастлива, что она старается не показать этого, но удовольствие и радость так и брызжут из нее. И прежде чем он успел опомниться, заговорил Бол-Кунац.

— Боюсь, вы не так нас поняли, господин Банев,— сказал он.— Мы совсем не жестоки, а если и жестоки, с вашей точки зрения, то лишь теоретически. Ведь мы вовсе не собираемся разрушать ваш старый мир. Мы собираемся построить новый. Вот вы — жестоки: вы не представляете себе строительство нового без разрушения старого. А мы представляем себе это очень хорошо. Мы даже поможем вашему поколению создать этот ваш рай, выпивайте и закусывайте на здоровье. Строить, господин Банев, только строить. Ничего не разрушать, только строить.

Виктор, наконец, оторвал взгляд от Ирмы и собрался с мыслями.

— Да,— сказал он.— Конечно. Валяйте, стройте. Я целиком с вами. Вы меня ошеломили сегодня, но я все равно с вами... Если понадобится, я даже откажусь от выпивки и закуски... Не забывайте только, что старые миры приходилось разрушать именно потому, что они мешали... мешали строить новые, не любили новое, давили его...

— Нынешний старый мир,— загадочно сказал Бол-Кунац,— нам мешать не станет. Он будет даже помогать. Прежняя история прекратила течение свое, не надо на нее ссылаться.

— Что ж, тем лучше,— сказал Виктор устало.— Очень рад, что у вас так удачно все складывается...

Славные мальчики и девочки, подумал он. Странные, но славные. Жалко их, вот что... подрастут, полезут друг на друга, размножатся, и начнется работа за хлеб насущный... Нет, подумал он с отчаяньем. Может быть, и обойдется... Он сгреб со стола записки. Их накопилось довольно много: «Что такое факт?», «Может ли считаться честным и добрым человек, который работает на войну?», «Почему вы так много пьете?», «Ваше мнение о Шпенглере?»...

— Тут у меня несколько вопросов,— сказал он.— Не знаю, стоит ли теперь...

Прыщавый нигилист поднялся и сказал:

— Видите ли, господин Банев, я не знаю, что там за вопросы, но это, в общем, не важно. Мы ведь просто хотели познакомиться с современным известным писателем. Каждый известный писатель выражает идеологию общества или части общества, а нам нужно знать идеологов современного общества. Теперь мы знаем больше, чем знали до встречи с вами. Спасибо.

В зале зашевелились, загомонили: «Спасибо... Спасибо, господин Банев», стали подниматься, выбираться со своих мест, а Виктор стоял, стиснув в кулаке записки, и чувствовал себя болваном, и знал, что красен, что вид имеет растерянный и жалкий, но он взял себя в руки, сунул записки в карман и спустился со сцены.

Самым трудным было то, что он так и не понял, как следует относиться к этим детям. Они были ирреальны, они были невозможны, их высказывания, их отношение к тому, что он писал, и к тому, что он говорил, не имело никаких точек соприкосновения с торчащими косичками, взлохмаченными вихрами, с плохо отмытыми шеями, с цыпками на худых руках, с писклявым шумом, который стоял вокруг. Словно какая-то сила, забавляясь, совместила в пространстве детский сад и диспут в научной лаборатории. Совместила несовместимое. Наверное, так чувствовала себя та подопытная кошка, которой дали кусочек рыбки, почесали за ухом и в тот же миг ударили электрическим током, взорвали под носом пороховой заряд и ослепили прожектором... Да, сочувствен-

но сказал Виктор кошке, состояние которой он представлял себе сейчас очень хорошо. Наша с тобой психика к таким шокам не приспособлена, мы с тобой от таких шоков и помереть можем...

Тут он обнаружил, что завяз. Его обступили и не давали пройти. На мгновенье его охватил панический ужас. Он бы не удивился, если бы его сейчас молча и деловито повалили и принялись вскрывать на предмет исследования идеологии. Но они не хотели его вскрывать. Они протягивали ему раскрытые книжки, дешевые блокнотики, листки бумаги. Они лепетали: «Автограф, пожалуйста!» Они пищали: «Вот здесь, пожалуйста!» Они сипели ломающимися голосами: «Будьте добры, господин Банев!»

И он достал авторучку и принялся свинчивать колпачок, с интересом постороннего прислушиваясь к своим ощущениям, и он не удивился, ощутив гордость. Это были призраки будущего, и пользоваться у них известностью было все-таки приятно.

У себя в номере он сразу полез в бар, налил джину и выпил залпом, как лекарство. С волос по лицу и за шиворот стекала вода — оказывается, он забыл надеть капюшон. Брюки промокли по колено и облепили ноги — вероятно, он шагал, не разбирая дороги, прямо по лужам. Зверски хотелось курить — кажется, он ни разу не закурил за эти два с лишним часа...

Акселерация, твердил он про себя, когда сбрасывал прямо на пол мокрый плащ, переодевался, вытирал голову полотенцем. Это всего лишь акселерация, успокаивал он себя, раскуривая сигарету и делая первые жадные затяжки. Вот она — акселерация в действии, с ужасом думал он, вспоминая уверенные детские голоса, твердившие ему невозможные вещи. Боже, спаси взрослых, боже, спаси их родителей, просвети их и сделай умнее, сейчас самое время... Для твоей же пользы прошу тебя, боже, а то построят они тебе вавилонскую башню, надгробный памятник всем дуракам, которых ты выпустил на эту Землю плодиться и размножаться, не продумав как следует последствий акселерации... Простак ты, братец...

Виктор выплюнул на ковер окурок и раскурил новую сигарету. Чего это я разволновался? — подумал он.— Фантазия разыгралась... Ну, дети, ну, акселерация, ну, не по годам развитые. Что я, не по годам развитых детей не видел? Откуда я взял, что они всё это сами приду-

мали? Нагляделись в городе всякой грязи, начитались книжек, всё упростили и пришли, естественно, к выводу, что надобно строить новый мир. И совсем не все они там такие. Есть у них атаманы, крикуны — Бол-Кунац... прыщавый этот... и еще хорошенькая девчушка. Заводилы. А остальные — дети как дети, сидели, слушали и скучали... Он знал, что это неправда. Ну, положим, не скучали, слушали с интересом — все-таки провинция, известный писатель... Черта с два в их возрасте я стал бы читать мои книги. Черта с два в их возрасте я пошел бы куда-нибудь, кроме кино с пальбой или проезжего цирка — любоваться на ляжки канатоходицы. Глубоко начхать мне было и на старый мир, и на новый мир, я об этом и представления не имел — футбол до полного изнеможения, или вывинтить где-нибудь лампочку и ахнуть об стену, или подстеречь какого-нибудь гогочку и начистить ему рыло... Виктор откинулся в кресле и вытянул ноги. Мы все вспоминаем события счастливого детства с умилением и уверены, что со времен Тома Сойера так было, есть и будет. Должно быть. А если не так, значит, ребенок ненормальный, вызывает со стороны легкую жалость, а при непосредственном столкновении — педагогическое негодование. А ребенок кротко смотрит на тебя и думает: ты, конечно, взрослый, здоровенный, можешь меня выпороть, однако как ты был с самого детства дураком, так дураком и останешься, и помрешь дураком, но тебе этого мало, ты еще и меня дураком хочешь сделать...

Виктор налил себе еще джину и стал вспоминать, как всё было, и ему пришлось сделать поспешный глоток, чтобы не завыть от срама. Как он приперся к этим ребятишкам, самодовольный и самоуверенный, сверху-вниз-смотрящий, модный остолоп, как он сразу начал с пошлятины, благоглупостей и псевдомужественного сюсюканья и как его осадили, но он не успокоился и продолжал демонстрировать свою острую интеллектуальную недостаточность, как его честно пытались направить на путь истинный и ведь предупреждали, но он всё нес банальщину и тривиальщину, всё воображал, что кривая вывезет, что, чего там, и так сойдет,— а когда ему, наконец, потеряв терпение, надавали по морде, он малодушно ударился в слезы и стал жаловаться, что с ним плохо обращаются... и как он постыдно возликовал, когда они из жалости стали брать у него автографы... Виктор зарычал, поняв, что о сегодняшнем он, несмотря на свою

натужную честность, никогда и никому не осмелится рассказать и что через какие-нибудь полчаса из соображений сохранения душевного равновесия он хитроумно перевернет всё так, как будто учиненное сегодня над ним плюходействие было величайшим триумфом в его жизни или, во всяком случае, довольно обычной и не слишком интересной встречей с периферийными вундеркиндами, которые — что с них взять? — дети, а потому неважно разбираются в литературе и в жизни... Меня бы в департамент просвещения, подумал он с ненавистью. Там такие всегда были нужны... Одно утешение, подумал он. Этих ребятишек пока еще очень мало, и если акселерация пойдет нынешними темпами, то к тому времени, когда их будет много, я уже, даст бог, благополучно помру. Как это славно — вовремя помереть!..

В дверь постучали. Виктор крикнул: «Да!», и вошел Павор в поддельном бухарском халате, расстроенный, с распухшим носом.

— Наконец-то,— сказал он насморочным голосом, сел напротив, извлек из-за пазухи большой мокрый платок и принялся сморкаться и чихать. Жалкое зрелище — ничего не осталось от прежнего Павора.

— Что—наконец-то?—спросил Виктор.—Джину хотите?

— Ох, не знаю...— отозвался Павор, хлюпая и всхлипывая.— Меня этот город доконает... Р-р-рум-чж-ж-жах! Ох...

— Будьте здоровы,— сказал Виктор.

Павор уставился на него слезящимися глазами.

— Где вы пропадаете? — спросил он капризно.— Я три раза к вам толкался, хотел взять что-нибудь почитать. Погибаю ведь, одно занятие здесь — чихать и сморкаться... в гостинице ни души, к швейцару обратился, так он мне, дурень старый, телефонную книгу предложил и старые проспекты... «Посетите наш солнечный город». У вас есть что-нибудь почитать?

— Вряд ли,— сказал Виктор.

— Какого черта, вы же писатель! Ну, я понимаю, других вы никого не читаете, но себя-то уж наверняка иногда перелистываете... Вокруг только и говорят: Банев, Банев... Как там у вас называется? «Смерть после полудня»? «Полночь после смерти»? Не помню...

— «Беда приходит в полночь»,— сказал Виктор.

— Вот-вот. Дайте почитать.

— Не дам. Нету,— решительно сказал Виктор.— А ес-

ли бы и была, все равно бы не дал. Вы бы мне ее засморкали. Да и не поняли бы там ничего.

— Почему это — не понял бы? — осведомился Павор с возмущением.— Там у вас, говорят, из жизни гомосексуалистов, чего же тут не понять?

— Сами вы...— сказал Виктор.— Давайте лучше джину выпьем. Вам с водой?

Павор чихнул, заворчал, в отчаянии оглядел комнату, закинул голову и снова чихнул.

— Башка болит,— пожаловался он.— Вот здесь... А где вы были? Говорят, встречались с читателями? С местными гомосексуалистами?

— Хуже,— сказал Виктор.— Я встречался с местными вундеркиндами. Вы знаете, что такое акселерация?

— Акселерация? Это что-то связанное с преждевременным созреванием? Слыхал, об этом одно время шумели, но потом в нашем департаменте создали комиссию, и она доказала, что это есть результат личной заботы господина президента о подрастающем поколении львов и мечтателей, так что все стало на свои места. Но я-то знаю, о чем вы говорите, я этих местных вундеркиндов видел. Упаси бог от таких львов, ибо место им в кунсткамере.

— А может быть, это нам с вами место в кунсткамере? — возразил Виктор.

— Может быть,— согласился Павор.— Только акселерация здесь ни при чем. Акселерация — дело биологическое и физиологическое. Возрастание веса новорожденных, потом они вымахивают метра на два, как жирафы, а в двенадцать лет уже готовы размножаться. А здесь — детишки самые обыкновенные, а вот учителя у них...

— Что — учителя?

Павор чихнул.

— А вот учителя — необыкновенные,— сказал он гнусаво.

Виктор вспомнил директора гимназии.

— Что же в здешних учителях необыкновенного? — спросил он.— Что они ширинку забывают расстегнуть?

— Какую ширинку? — спросил Павор, озадаченно воззрившись на Виктора.— У них и ширинок-то никаких нет.

— А еще что? — спросил Виктор.

— В каком смысле?

— Что у них еще необыкновенного?

Павор долго сморкался, а Виктор посасывал джин и смотрел на него с жалостью.

— Ни черта, я вижу, вы не знаете,— сказал Павор, разглядывая засморканный платок.— Как справедливо утверждает господин президент, главное свойство наших писателей — это хроническое незнание жизни и оторванность от интересов нации... Вот вы здесь уже больше недели. Были вы где-нибудь, кроме кабака и санатория? Говорили вы с кем-нибудь, кроме этой пьяной скотины Квадриги? Черт знает, за что вам деньги платят...

— Ну ладно, хватит,— сказал Виктор.— Хватит с меня и газет. Тоже мне — критик в соплях, учитель без ширинки...

— А-а, не любите? — сказал Павор с удовлетворением.— Ладно, не буду... Расскажите, как вы встречались с вундеркиндами.

— Да ну, что там рассказывать,— сказал Виктор.— Вундеркинды как вундеркинды...

— А все-таки?

— Ну, я пришел. Задали мне несколько вопросов. Интересные вопросы, вполне взрослые...— Виктор помолчал.— В общем, если говорить честно, мне там здорово всыпали.

— А какие вопросы? — спросил Павор. Он смотрел на Виктора с искренним интересом и, кажется, с сочувствием.

— Суть не в вопросах,— вздохнул Виктор.— Если говорить откровенно, меня больше всего поразило, что они как взрослые, да еще не просто как взрослые, а как взрослые высшего класса... Адское, какое-то болезненное несоответствие...— Павор сочувственно кивал.— Словом, плохо мне там было,— сказал Виктор.— Неохота вспоминать.

— Понятно,— сказал Павор.— Не вы первый, не вы последний. Должен вам сказать, что родители двенадцатилетнего ребенка — это всегда существа довольно жалкие, обремененные кучей забот. Но здешние родители — это что-то особенное. Они мне напоминают тылы оккупационной армии в районе активных партизанских действий... Ну, а о чем вас все-таки спрашивали?

— Ну, спрашивали, что такое прогресс.

— Так. И что же такое, по-ихнему, прогресс?

— А по-ихнему прогресс — это очень просто. Загнать нас всех в резервации, чтобы не путались под ногами, а самим на свободе изучать Зурзмансора и Шпенглера. Такое у меня, во всяком случае, впечатление.

— Что же, очень даже может быть,— сказал Павор.—

Каков поп, таков и приход. Вот вы говорите: акселерация, Зурзмансор... А вы знаете, что говорит по этому поводу нация?

— Кто-кто?

— Нация!.. Она говорит, что все беды от мокрецов. Дети свихнулись — от мокрецов...

— Это потому, что в городе нет евреев,— заметил Виктор. Потом вспомнил про мокреца, который пришел в зал, и как дети встали, и какое лицо было у Ирмы.— Вы это серьезно? — спросил он.

— Это не я,— сказал Павор.— Это голос нации. Вокс populi. Кошки из города сбежали, а детишки обожают мокрецов, шляются к ним в лепрозорий, днюют там и ночуют, отбились от рук, никого не слушаются. Воруют у родителей деньги и покупают книги... Говорят, сначала родители очень радовались, что дети не рвут штанов, лазая по заборам, а тихо сидят дома и почитывают книжечки. Тем более что погода плохая. Но теперь уже все видят, к чему это привело и кто это затеял. Теперь уже больше никто не радуется. Однако мокрецов по старинке боятся и только рычат им вслед...

Голос нации, подумал Виктор. Голос Лолы и господина бургомистра. Слыхали мы этот голос... Кошки, дожди, телевизоры. Кровь христианских младенцев...

— Я не понимаю,— сказал он.— Вы это серьезно или от скуки?

— Это не я! — повторил Павор проникновенно.— Так говорят в городе.

— Как говорят в городе, мне ясно,— сказал Виктор.— А вы-то сами что об этом думаете?

Павор пожал плечами.

— Течение жизни,— туманно сказал он.— Трепотня пополам с истиной.— Он посмотрел на Виктора поверх платка.— Не считайте меня идиотом,— сказал он.— Вспомните лучше детей: где вы еще видели таких детей? Или, по крайней мере, столько таких детей?

Да, подумал Виктор, таких детей... Кошки кошками, но этот мокрец в зале — это вам не кошки пополам с дождем... Есть такое выражение: лицо, освещенное изнутри. Именно такое лицо было у Ирмы, а когда она разговаривает со мной, лицо ее освещено только снаружи. А с матерью она вообще не разговаривает — цедит сквозь зубы что-то брезгливо-снисходительное... Но только если все это так, если это правда, а не грязная болтовня, то выглядит это крайне нечистоплотно. Что им

нужно от детей? Они же больные люди, обреченные... и вообще, что за свинство — настраивать детей против родителей, даже против таких родителей, как мы с Лолой. Хватит с нас господина президента: нация превыше родительских уз, Легион Свободы — ваш отец и ваша мать, и мальчишка идет в ближайший штаб и сообщает, что отец назвал господина президента странным человеком, а мать назвала походы Легиона разорительным предприятием. А теперь еще является черный мокрый дядя и уже безо всяких объявляет, что отец твой — пьяная безмозглая скотина, а мать — дура и шлюха. Положим, что это и верно, но все равно свинство, все это должно делаться не так, и не их это собачье дело, не они за это отвечают, и никто их не просит заниматься таким просветительством... Патология какая-то... Если только это просветительство. А если похуже? Дитя начинает розовыми губками лепетать о прогрессе, начинает говорить страшные, жестокие вещи, не ведая, что лепечет, но уже от младых ногтей приучаясь к интеллектуальной жестокости, к самой страшной жестокости, какую можно придумать, а они, намотав черные тряпки на шелушащиеся физиономии, стоят за сценой и дергают ниточки... и, значит, никакого нового поколения нет, а есть все та же старая и грязная игра в марионетки, и я был вдвойне ослом, когда обмирал сегодня на сцене... До чего же это мерзкая затея — наша цивилизация...

— ...имеющий глаза да видит,— говорил Павор.— Нас не пускают в лепрозорий. Колючая проволока, солдаты, ладно. Но кое-что можно видеть и здесь, в городе. Я видел, как мокрецы разговаривают с мальчишками и как ведут себя при этом эти мальчишки, какими они становятся ангелочками, а спроси у него, как пройти к фабрике,— от тебя обольет презрением с ног до головы...

Нас не пускают в лепрозорий, думал Виктор. Колючая проволока, а мокрецы гуляют по городу свободно. Но не Голем же это выдумал... Вот сволочь, подумал он, отец нации. Вот мерзавец. Значит, и здесь его работа. Лучший друг детей... Очень может быть, очень на него похоже. А вы знаете, господин президент, на вашем месте я бы попытался разнообразить свои приемы. Слишком легко стало отличать ваш хвост от всех других хвостов. Колючая проволока, солдаты, пропуска — значит, господин президент; значит, обязательно какая-нибудь мерзость...

— На кой черт там колючая проволока? — спросил Виктор.

— А я откуда знаю? — сказал Павор.— Никогда раньше там не было колючей проволоки.

— Значит, вы там уже бывали?

— Почему? Не был. Но не первый же я здесь санитарный инспектор... да дело и не в колючей проволоке, мало ли на свете колючей проволоки. Детишек туда пропускают беспрепятственно, мокрецов оттуда выпускают беспрепятственно, а нас с вами туда не пустят,— вот что удивительно.

Нет, это все-таки не президент, думал Виктор. Президент и чтение Зурзмансора, да еще и Банева — это как-то не совмещается. И эта разрушительная идеология... Если бы я такое написал, меня бы распяли. Непонятно, непонятно... И нечисто... Спрошу-ка я у Ирмы, подумал он. Просто спрошу и посмотрю, что она ответит... Между прочим, и Диана должна кое-что знать.

— Вы не слушаете? — спросил Павор.

— Виноват, задумался.

— Я говорю, что не удивился бы, если бы город принял меры. Причем, как и полагается городу, жестокие.

— Я тоже не удивился бы,— пробормотал Виктор.— Я не удивлюсь, если даже мне самому захочется принять кое-какие меры.

Павор поднялся и подошел к окну.

— Ну и погодка,— сказал он с тоской.— Уехать бы отсюда поскорее... Дадите вы мне книгу или нет?

— У меня нет книг,— сказал Виктор.— Всё, что я с собой привез, всё в санатории... Слушайте, а зачем мокрецам наши дети?

Павор пожал плечами.

— Это же больные люди,— ответил он.— Откуда нам знать? Мы-то с вами здоровые.

В дверь постучали, и вошел Голем, грузный и мокрый.

— Спросим Голема,— сказал Павор.— Голем, зачем мокрецам наши дети?

— Ваши дети? — сказал Голем, внимательно разглядывая этикетку на бутылке с джином.— У вас есть дети, Павор?

— Павор утверждает,— сказал Виктор,— будто ваши мокрецы настраивают городских детей против родителей. Что вы об этом знаете, Голем?

— Гм...— сказал Голем.— Где у вас чистые стаканы? Ага... Мокрецы настраивают детей? Ну что ж... Не они

первые, не они последние.— Он прямо в плаще повалился на кушетку и понюхал джин в стакане.— И почему бы в наше время не настраивать детей против родителей, если белых настраивают против черных, а желтых настраивают против белых, а глупых настраивают против умных... Что вас, собственно, удивляет?

— Павор утверждает,— повторил Виктор,— что ваши больные шляются по городу и учат детей всяким странным вещам. Я тоже заметил кое-что подобное, хотя пока ничего не утверждаю. Так вот, я ничему не удивляюсь, а спрашиваю вас: правда это или нет?

— Насколько я знаю,— сказал Голем, отхлебнув из стакана,— мокрецы спокон веков имели совершенно свободный доступ в город. Не знаю, что вы имеете в виду, когда говорите про обучение всяким странным вещам, но позвольте мне спросить вас, аборигена этих мест: знакома ли вам игрушка под названием «злой волчок»?

— Ну, конечно,— сказал Виктор.

— У вас была такая игрушка?

— У меня, конечно, нет... но у ребят, помнится, была...— Виктор замолчал.— Да, действительно,— сказал он.— Ребята говорили, что этот волчок подарил им мокрец. Вы это имеете в виду?

— Да, именно это. И «погодник», и «деревянную руку»...

— Пардон,— сказал Павор.— Можно узнать мне, пришельцу из столицы, о чем говорят аборигены?

— Нельзя,— сказал Голем.— Это не входит в вашу компетенцию.

— Откуда вы знаете, что входит и что не входит в мою компетенцию? — спросил Павор с обиженным видом.

— Знаю,— сказал Голем.— Догадываюсь, потому что мне так хочется... И перестаньте врать, вы же торговали у Тэдди «погодник» и прекрасно знаете, что это такое.

— Идите вы к черту,— сказал Павор капризно.— Я не про «погодник»...

— Погодите, Павор,— нетерпеливо сказал Виктор.— Голем, вы не ответили на мой вопрос.

— Разве? А мне показалось, что ответил... Видите ли, Виктор, мокрецы — глубоко и безнадежно больные люди. Это страшная штука — генетическая болезнь. Но при этом они сохраняют доброту и ум, так что не надо их обижать.

— Кто их обижает?

— А разве вы их не обижаете?

— Пока нет. Пока даже наоборот.

— Ну, тогда все в порядке,— сказал Голем и поднялся.— Тогда поехали.

Виктор вытаращил глаза.

— Куда поехали?

— В санаторий. Я еду в санаторий, вы, я вижу, тоже собираетесь в санаторий, а вы, Павор, ложитесь в постель. Хватит распространять грипп.

Виктор посмотрел на часы.

— Не рано ли? — сказал он.

— Как угодно. Только имейте в виду, с сегодняшнего дня автобус отменили. За нерентабельностью.

— А может быть, сначала пообедаем?

— Как угодно,— повторил Голем.— Я никогда не обедаю. И вам не советую.

Виктор пощупал живот.

— Да,— сказал он. Потом он посмотрел на Павора.— Поеду, пожалуй.

— А мне-то что? — сказал Павор. Он был обижен.— Только книжек привезите.

— Обязательно,— пообещал Виктор и стал одеваться.

Когда они влезли в машину, под сырой брезент, в сырой, провонявший табаком, бензином и медикаментами кузов, Голем сказал:

— Вы намеки понимаете?

— Иногда,— ответил Виктор.— Когда знаю, что это намеки. А что?

— Так вот, обратите внимание: намек. Перестаньте трепаться.

— Гм,— пробормотал Виктор.— И как прикажете это понимать?

— Как намек. Перестаньте болтать языком.

— С удовольствием,— сказал Виктор и замолчал, раздумывая.

Они пересекли город, миновали консервную фабрику, проехали пустой городской парк, запущенный, никлый, полусгнивший от сырости, промчались мимо стадиона, где полосатые от грязи «Братья по разуму» упорно лупили разбухшими бутсами по разбухшим мячам, и выкатили на шоссе, ведущее к санаторию. Вокруг, за пеленой дождя, лежала мокрая степь, ровная, как стол, когда-то сухая, выжженная, колючая, а теперь медленно превращающаяся в топкое болото.

— Ваш намек,— сказал Виктор,— напомнил мне один разговор — мой разговор с его превосходительством господином референтом господина президента по государственной идеологии. Его превосходительство вызвал меня в свой скромный кабинет — тридцать на двадцать — и осведомился: «Виктуар, вы хотите по-прежнему иметь кусок хлеба с маслом?» Я, естественно, ответил утвердительно. «Тогда перестаньте бренчать!» — гаркнул его превосходительство и отпустил меня мановением руки.

Голем ухмыльнулся.

— А чем вы, собственно, бренчали?

— Его превосходительство намекал на мои упражнения с банджо в молодежных клубах.

Голем покосился на него прищуренным глазом.

— Почему вы, собственно, так уверены, что я не шпик?

— А я в этом не уверен,— возразил Виктор.— Просто мне наплевать. Кроме того, сейчас не говорят «шпик». Шпик — это архаизм. Сейчас все культурные люди говорят «дятел».

— Не ощущаю разницы,— сказал Голем.

— Я практически тоже,— произнес Виктор.— Итак, не будем болтать языком. Ваш пациент выздоровел?

— Мои пациенты никогда не выздоравливают.

— У вас прекрасная репутация! Но я-то спрашиваю про того беднягу, который угодил в капкан. Как его нога?

Голем помолчал, а потом сказал:

— Которого из них вы имеете в виду?

— Не понимаю,— сказал Виктор.— Того, естественно, который попал в капкан.

— Их было четверо,— сказал Голем, всматриваясь в залитую дождем дорогу.— Один попал в капкан, другого вы тащили на спине, третьего я увез в машине, а из-за четвертого вы затеяли давеча безобразную драку в ресторане.

Виктор ошеломленно молчал. Голем тоже молчал. Он очень ловко вел машину, огибая многочисленные выбоины на старом асфальте.

— Ну-ну, не напрягайтесь так,— сказал он наконец.— Я пошутил. Он был один. И нога его зажила в ту же ночь.

— Это тоже шутка? — осведомился Виктор.— Ха-ха-ха. Теперь я понимаю, почему ваши больные никогда не выздоравливают.

— Мои больные,— сказал Голем,— никогда не выздо-

равливают по двум причинам. Во-первых, я, как и всякий порядочный врач, не умею лечить генетические болезни. А во-вторых, они не хотят выздоравливать.

— Забавно,— пробормотал Виктор.— Я уже столько наслушался об этих ваших мокрецах, что теперь, ей-богу, готов поверить во всё: и в дожди, и в кошек, и в то, что раздробленная кость может зажить за одну ночь.

— В кошек? — сказал Голем.

— Ну да,— сказал Виктор.— Почему в городе не осталось кошек. Мокрецы виноваты. Тэдди от мышей пропадает... Вы бы посоветовали мокрецам вывести из города заодно и мышей.

— А ля Гаммельнский крысолов? — спросил Голем.

— Да,— легкомысленно подтвердил Виктор.— Именно а ля.— Потом он вспомнил, чем кончилась история с Гаммельнским крысоловом.— Ничего смешного тут нет,— сказал он.— Сегодня я выступал в гимназии. Видел ребятишек. И видел, как они встречали какого-то мокреца. Теперь я нисколько не удивлюсь, если в один прекрасный день на городскую площадь выйдет мокрец с аккордеоном и уведет детишек к черту на рога.

— Вы не удивитесь,— сказал Голем.— А еще что вы сделаете?

— Не знаю... Может быть, отберу у него аккордеон.

— И сами заиграете?

— Да,— вздохнул Виктор.— Это верно. Мне этих детей увлечь нечем, это я понял. Интересно, чем они увлекают? Вы ведь знаете, Голем.

— Виктуар, перестаньте бренчать,— сказал Голем.

— Как угодно,— сказал Виктор.— Вы очень старательно и более или менее ловко уклоняетесь от моих вопросов, я это заметил. Глупо. Я все равно узнаю, а вы потеряете возможность придать выгодную вам эмоциональную окраску этой информации.

— Сохранение врачебной тайны! — изрек Голем.— И потом, я ничего не знаю. Я могу только догадываться.

Он притормозил. Впереди, за вуалью дождя, появились какие-то фигуры, стоящие на дороге. Три серые фигуры и серый дорожный столб с указателями: «Лепрозорий — 6 км» и «Сан. «Теплые Ключи» — 2,5 км». Фигуры отступили на обочину — взрослый мужчина и двое детей.

— А ну-ка, остановитесь,— сказал Виктор, сразу охрипнув.

— Что случилось? — Голем затормозил.

Виктор не ответил. Он смотрел на людей у столба, на рослого черного мокреца в тренировочном костюме, пропитанном водой, на мальчика, который тоже был без плаща, в промокшем костюмчике и сандалиях, и на девочку, босую, в платье, облепившем тело. Затем он рывком распахнул дверцу и выскочил на дорогу. Дождь с ветром ударил ему в лицо, он даже захлебнулся, но не заметил этого. Он ощутил приступ нестерпимого бешенства, когда хочется всё ломать, когда еще сознаешь, что намерен делать глупости, но это сознание только радует. На негнущихся ногах он подошел вплотную к мокрецу.

— Что здесь происходит? — выдавил он сквозь зубы. А потом девочке, глядевшей на него с удивлением: — Ирма, немедленно иди в машину! — А потом снова мокрецу: — Черт бы вас побрал, что это вы делаете? — И снова Ирме: — Марш в машину, кому говорят?

Ирма не двинулась с места. Все трое стояли, как прежде, глаза мокреца над черной повязкой спокойно помаргивали. Потом Ирма сказала с непонятной интонацией: «Это мой отец», и он вдруг сообразил, спинным мозгом понял, что здесь нельзя орать и замахиваться, нельзя угрожать, хватать за шиворот и тащить... вообще нельзя беситься. Он сказал очень спокойно:

— Ирма, иди в машину, ты вся промокла. Бол-Кунац, на твоем месте я бы тоже пошел в машину.

Он был уверен, что Ирма послушается, и она послушалась. Не совсем так, как ему хотелось бы. Нет, не то чтобы она хотя бы взглядом испросила у мокреца разрешения уйти, но осталась у него тень впечатления, будто что-то было, некий обмен мнениями, какое-то краткое совещание, в результате которого вопрос был решен в его пользу. Ирма задрала нос и направилась к машине, а Бол-Кунац сказал вежливо:

— Благодарю вас, господин Банев, но, право, я лучше останусь.

— Как хочешь,— сказал Виктор. Бол-Кунац его мало волновал. Сейчас нужно было что-то сказать этому мокрецу на прощание. Виктор заранее знал, что это будет нечто весьма глупое, но что делать? — уйти просто так он не мог. Из чисто престижных соображений. И он сказал:

— Вас, милостивый государь,— сказал он надменно,— я не приглашаю. Вы здесь, по-видимому, чувствуете себя как рыба в воде.

Затем он повернулся и, отшвырнув воображаемую перчатку, зашагал прочь. «Произнеся эти слова,— с отвращением думал он,— граф с достоинством удалился...»

Ирма, забравшись с ногами на переднее сиденье, отжимала косички. Виктор пролез назад, покряхтывая от стыда, и, когда Голем тронул машину, сказал:

— Произнеся эти слова, граф удалился... Просунь сюда ноги, Ирма, я их разотру.

— Зачем? — с любопытством спросила Ирма.

— Воспаление легких получить хочешь? Давай сюда ноги!

— Пожалуйста,— сказала Ирма и, скособочившись на сидении, просунула ему одну ногу.

Предвкушая, что вот сейчас он сделает, наконец, что-то естественное и полезное, Виктор взял обеими руками эту тощую девчоночью ногу, мокрую и трогательную, и вознамерился было ее растирать — до красноты, до багровости, добрыми суровыми отцовскими руками, эту грязную костлявую ледышку, извечный проводник насморков, гриппов, катаров дыхательных путей и двусторонних пневмоний,— когда обнаружил, что его ладони холоднее ее ноги. По инерции он сделал несколько оглаживающих движений, затем осторожно отпустил ногу. Да ведь я же знал это, подумал он вдруг, я же знал это, еще когда стоял перед ними, знал, что здесь есть какой-то подвох, что детям ничто не грозит, никакие катары и воспаления, только мне не хотелось этого, а хотелось спасать, вырывать из когтей, гневаться справедливо, исполнять долг, и опять меня обвели вокруг пальца, и опять я дурак дураком, второй раз за этот день...

— Забери свою ногу,— сказал он Ирме.

Ирма забрала ногу и спросила:

— Мы куда — в санаторий едем?

— Да,— ответил Виктор и посмотрел на Голема — не заметил ли тот позора. Голем невозмутимо смотрел за дорогой, грузно расплывшись на водительском сидении, седой, неряшливый, сутулый и всезнающий.

— А зачем? — спросила Ирма.

— Переоденешься в сухое и ляжешь в постель,— сказал Виктор.

— Вот еще! — сказала Ирма.— Что это ты придумал?

— Ладно, ладно...— пробормотал Виктор.— Дам тебе книжки, и будешь читать.

Действительно, на кой черт я ее туда везу? — подумал он. Диана... Ну, это мы посмотрим. Никаких выпивок и

вообще ничего такого, но как я ее повезу обратно? А, черт, возьму чью попало машину и отвезу... Хорошо бы сейчас чего-нибудь глотнуть.

— Голем...— начал было он, но спохватился. Дьявол, нельзя, неудобно.

— Да? — сказал Голем, не оборачиваясь.

— Нет, ничего,— вздохнул Виктор, уставясь на горлышко фляги, торчащее из кармана Големова плаща.— Ирма,— сказал он утомленно.— Что вы там делали на этом перекрестке?

— Мы думали туман,— ответила Ирма.

— Что?

— Думали туман,— повторила Ирма.

— Про туман,— поправил Виктор.— Или о тумане.

— Зачем это — про туман? — сказала Ирма.

— Думать — непереходный глагол,— объяснил Виктор.— Он требует предлогов. Вы проходили непереходные глаголы?

— Это когда как,— сказала Ирма.— Думать туман — это одно, а думать про туман — это совсем другое... и кому это нужно — думать про туман, неизвестно.

Виктор вытащил сигарету и закурил.

— Погоди,— сказал он.— Думать туман — так не говорят, это неграмотно. Есть такие глаголы — непереходные: думать, бегать, ходить... Они всегда требуют предлога. Ходить по улице. Думать про... что-нибудь там...

— Думать глупости,— сказал Голем.

— Ну, это исключение,— сказал Виктор, несколько потерявшись.

— Ходить быстро,— сказал Голем.

— Быстро — это не существительное,— запальчиво сказал Виктор.— Не путайте ребенка, Голем.

— Папа, ты можешь не курить?—осведомилась Ирма.

Кажется, Голем издал какой-то звук, а может быть, это мотор чихнул на подъеме. Виктор смял сигарету и растоптал ее каблуком. Они поднимались к санаторию, а сбоку, из степи, навстречу дождю надвигалась плотная белесая стена.

— Вот тебе и туман,— сказал Виктор.— Можешь его думать. А также нюхать, бегать и ходить.

Ирма хотела что-то сказать, но Голем перебил ее.

— Между прочим,— сказал он.— Глагол «думать» выступает как переходный также и в сложноподчиненных предложениях. Например: я думаю, что... и так далее.

— Это совсем другое дело,— возразил Виктор. Ему надоело. Ему очень хотелось курить и выпить. Он с вожделением поглядел на горлышко фляги.

— Тебе не холодно, Ирма? — спросил он с неясной надеждой.

— Нет. А тебе?

— Познабливает,— признался Виктор.

— Надо выпить джину,— заметил Голем.

— Да, неплохо бы... А у вас есть?

— Есть,— сказал Голем.— Но мы уже почти приехали.

Джип вкатился в ворота, и тут началось то, о чем Виктор как-то не подумал. Первые струи тумана еще только начали просачиваться через решетку ограды, и видимость была прекрасная. На подъездной дорожке лежало тело в промокшей пижаме, лежало с таким видом, словно пребывало здесь уже много дней и ночей. Голем осторожно объехал его, миновал гипсовую вазу, украшенную незамысловатыми рисунками и соответствующими надписями, и приткнулся к стаду машин, сгрудившихся перед подъездом правого крыла. Ирма распахнула дверцу, и сейчас же испитая морда высунулась из окна ближайшей машины и проблеяла: «Деточка, хочешь, я тебе отдамся?» Виктор, обмирая, полез наружу. Ирма с любопытством озиралась. Виктор крепко взял ее за руку и повел к подъезду. На ступеньках сидели под дождем, обнявшись, две девки в белье и уличными голосами пели про жестокого аптекаря — не отпускает героин. Узрев Виктора, они замолчали, но, когда он проходил мимо, одна из них попыталась ухватить его за брюки. Виктор втолкнул Ирму в вестибюль. Здесь было темно, окна занавешены, воняло табачным дымом и какой-то кислятиной, трещал проекционный аппарат, и на белой стене прыгали порнографические изображения. Виктор, стиснув зубы, шагал по чьим-то ногам, волоча за собой спотыкающуюся Ирму. Вслед неслась сердитая нецензурщина. Они выбрались из вестибюля, и Виктор пошел шагать через три ступеньки по ковровой лестнице. Ирма помалкивала, и он не рисковал взглянуть на нее.

На лестничной площадке его уже ждал с распростертыми объятиями синий и раздутый член парламента Росшепер Нант. «Виктуар! — просипел он.— Др-руг! — Тут он заметил Ирму и пришел в восторг.— Виктуар! И ты тоже!.. На малолетних малолеточек!..» Виктор зажмурился, крепко наступил ему на ногу и толкнул в грудь — Росшепер повалился спиной, опрокинув урну.

Обливаясь потом, Виктор зашагал по коридору. Ирма неслышными прыжками неслась рядом. Он ткнулся в дверь Дианы — дверь была заперта, ключа не было. Он бешено застучал, и Диана немедленно откликнулась. «Пошел к чертовой матери! — заорала она яростно.— Импотент вонючий! Говнюк, дерьмо собачье!» «Диана!» — рявкнул Виктор.— Открывай!» Диана замолчала, и дверь распахнулась. Она стояла на пороге с импортным зонтиком наготове. Виктор отпихнул ее, втолкнул Ирму в комнату и захлопнул за собой дверь.

— А, это ты,— сказала Диана.— Я думала, опять Росшепер.— От нее пахло спиртным.— Господи,— сказала она.— Кого ты привел?

— Это моя дочь,— с трудом сказал Виктор.— Ее зовут Ирма. Ирма, это Диана.

Он смотрел на Диану в упор, с отчаянием и надеждой. Слава богу, кажется, она не была пьяна. Или сразу протрезвела.

— Ты с ума сошел,— сказала она тихо.

— Она промокла,— проговорил он.— Переодень ее в сухое, уложи в постель, и вообще...

— Я не лягу,— заявила Ирма.

— Ирма,— сказал Виктор.— Изволь слушаться, а то я сейчас кого-нибудь выпорю...

— Кое-кого здесь надо бы выпороть,— сказала Диана безнадежно.

— Диана,— сказал Виктор.— Я тебя прошу.

— Ладно,— сказала Диана.— Иди к себе. Разберемся.

Виктор с огромным облегчением вышел. Он отправился прямо в свою комнату, но и там не было покоя. Ему пришлось предварительно вышвырнуть в коридор разнежившуюся совершенно незнакомую парочку и испачканное постельное белье. Потом он запер дверь, повалился на голый матрас, закурил отсыревшую сигарету и стал думать, что же он натворил.

5. Феликс Сорокин. «...и животноводство!»

Спал я скверно, душили меня вязкие кошмары, будто читаю я какой-то японский текст, и все слова как будто знакомые, но никак не складываются они во что-нибудь осмысленное, и это мучительно, потому что необходимо, совершенно необходимо доказать, что я не забыл свою

специальность, и временами я наполовину просыпался и с облегчением осознавал, что это всего лишь сон, и пытался расшифровать этот текст в полусне, и снова проваливался в уныние и тоску бессилия...

Проснувшись окончательно, никакого облегчения я не ощутил. Я лежал в темной комнате и смотрел на потолок с квадратным пятном света от прожектора, освещающего платную стоянку внизу под домом, слушал шумы ранних машин на шоссе и с тоской думал о том, что вот такие длинные унылые кошмары принялись за меня совсем недавно, всего два или три года назад, а раньше снились больше бабы. Видимо, это уже навалилась на меня настоящая старость, не временные провалы в апатию, а новое, стационарное состояние, из которого уже не будет мне возврата.

Ныло правое колено, ныло под ложечкой, ныло левее предплечья, все у меня ныло, и оттого еще больше было жалко себя. Во время таких вот приступов предрассветного упадка сил, которые случались со мной теперь все чаще и чаще, я с неизбежностью начинал думать о бесперспективности своей: не было впереди более ничего, на все оставшиеся годы не было впереди ничего такого, ради чего стоило бы превозмогать себя и вставать, тащиться в туалет и воевать с неисправным бачком, затем лезть под душ уже без всякой надежды обрести хотя бы подобие былой бодрости, затем приниматься за завтрак... И мало того, что противно было думать о еде: раньше после еды ожидала меня сигарета, о которой я начинал думать, едва продрав глаза, а теперь вот и этого у меня нет...

Ничего у меня теперь нет. Ну, напишу я этот сценарий, ну, примут его, и влезет в мою жизнь молодой, энергичный и непременно глупый режиссер, и станет почтительно и в то же время с наглостью поучать меня, что кино имеет свой язык, что в кино главное — образы, а не слова, и непременно станет щеголять доморощенными афоризмами вроде: «Ни кадра на родной земле» или «Сойдет за мировоззрение»... Какое мне дело до него, до его мелких карьерных хлопот, когда мне наперед известно, что фильм получится дерьмовый и что на студийном просмотре я буду мучительно бороться с желанием встать и объявить: снимите мое имя с титров...

И дурак я, что этим занимаюсь, давно уже знаю, что заниматься этим мне не следует, но видно, как был я изначально торговцем псиной, так им и остался, и никогда

теперь уже не стану никем другим, напиши я еще хоть сто «Современных сказок», потому что откуда мне знать: может быть, и Синяя Папка, тихая моя гордость, непонятная надежда моя,— тоже никакая не баранина, а та же псина, только с другой живодерни...

Ну, ладно, предположим даже, что это баранина, парна́я, первый сорт. Ну и что? Никогда при жизни моей не будет это опубликовано, потому что не вижу я на своем горизонте ни единого издателя, которому можно было бы втолковать, что видения мои являют ценность хотя бы еще для десятка человек в мире, кроме меня самого. После же смерти моей...

Да, после смерти автора у нас зачастую публикуют довольно странные его произведения, словно смерть очищает их от зыбких двусмысленностей, ненужных аллюзий и коварных подтекстов. Будто неуправляемые ассоциации умирают вместе с автором. Может быть, может быть. Но мне-то что до этого? Я уже давно не пылкий юноша, уже давно миновали времена, когда я каждым новым сочинением своим мыслил осчастливить или, по крайности, просветить человечество. Я давным-давно перестал понимать, зачем я пишу. Славы мне хватает той, какая у меня есть, сколь бы сомнительна она ни была, эта моя слава. Деньги добывать проще халтурою, чем честным писательским трудом. А пресловутых радостей творчества я так ни разу в жизни и не удостоился. Что же за всем этим остается? Читатель? Но ведь я ничего о нем не знаю. Это просто очень много незнакомых и совершенно посторонних мне людей. Почему меня должно заботить отношение ко мне незнакомых и посторонних людей? Я ведь прекрасно сознаю: исчезни я сейчас, и никто из них этого бы не заметил. Более того, не было бы меня вовсе или останься я штабным переводчиком, тоже ничего, ну, ничегошеньки в их жизни бы не изменилось ни к лучшему, ни к худшему.

Да что там Сорокин Эф А? Вот сейчас утро. Кто сейчас в десятимиллионной Москве, проснувшись, вспомнил о Толстом Эль Эн? Кроме разве школьников, не приготовивших урока по «Войне и миру». Потрясатель душ. Владыка умов. Зеркало русской революции. Может, и побежал он из Ясной Поляны потому именно, что пришла ему к концу жизни вот эта такая простенькая и такая мертвящая мысль.

А ведь он был верующий человек, подумал вдруг я. Ему было легче, гораздо легче. Мы-то знаем твердо: нет

ничего ДО и нет ничего ПОСЛЕ. Привычная тоска овладела мною. Между двумя НИЧТО проскакивает слабенькая искра, вот и все наше существование. И нет ни наград нам, ни возмездий в предстоящем НИЧТО, и нет никакой надежды, что искорка эта когда-то и где-то проскочит снова. И в отчаянии мы придумываем искорке смысл, мы втолковываем друг другу, что искорка искорке рознь, что одни действительно угасают бесследно, а другие зажигают гигантские пожары идей и деяний, и первые, следовательно, заслуживают только презрительной жалости, а другие есть пример для всяческого подражания, если хочешь ты, чтобы жизнь твоя имела смысл.

И так велика и мощна эйфория молодости, что простенькая приманка эта действует безотказно на каждого юнца, если он вообще задумывается над такими предметами, и, только перевалив через некую вершину, пустившись неудержимо под уклон, человек начинает понимать, что все это — лишь слова, бессмысленные слова поддержки и утешения, с которыми обращаются к соседям, потерявшим почву под ногами. А в действительности построил ты государство или построил дачу из ворованного материала — к делу это не относится, ибо есть лишь НИЧТО ДО и НИЧТО ПОСЛЕ и жизнь твоя имеет смысл лишь до тех пор, пока ты не осознал это до конца...

Склонность к такого рода мрачным логическим умопостроениям появилась у меня тоже сравнительно недавно. И есть она, по-моему, предвестник если не самого старческого маразма, то, во всяком случае, старческой импотенции. В широком смысле этого слова, разумеется. Сначала такие приступы меня даже пугали: я поспешно прибегал к испытанному средству от всех скорбей, душевных и физических — опрокидывал стакан спиртного, и спустя несколько минут привычный образ искры, возжигающей пламень — пусть даже небольшой, местного значения,— вновь обретал для меня убедительность неколебимого социального постулата. Затем, когда такие погружения в пучину вселенской тоски стали привычными, я перестал пугаться и правильно сделал, ибо пучина тоски, как выяснилось, имела дно, оттолкнувшись от коего, я неминуемо всплывал на поверхность.

Тут вся суть была в том, что мрачная логика пучины годилась только для абстрактного мира деяний общечеловеческих, в то время как каждая конкретная жизнь состоит вовсе не из деяний, к которым только и применимо понятие смысла, а из горестей и радостей, больших

и малых, сиюминутных и протяженных, чисто личных и связанных с социальными катаклизмами. И как бы много горестей ни наваливалось на человека единовременно, всегда у него в запасе остается что-нибудь для согрева души.

Внуки у него остаются, близнецы, драчуны-бандиты чумазые Петька и Сашка, и ни с чем не сравнимое умилительное удовольствие доставлять им радость. Дочь у него остается, Катька-неудачница, перед которой постоянно чувствуешь вину, а за что — непонятно: наверное, за то, что она твоя, плоть от плоти, в тебя пошла и характером, и судьбой. И водочка под соленые грузди в Клубе... Банально, я понимаю,— водочка, так ведь и все радости банальны! А безответственный, вполпьяна, треп в Клубе, это что, не банально? А беспричинный восторг, когда летом выйдешь в одних трусах спозаранку в лоджию, и синее небо, и пустынное еще шоссе, и розовые стены домов напротив, и уже длинные синеватые тени тянутся через пустырь, и воробьи галдят в пышно-зеленых зарослях на пустыре? Тоже банально, однако никогда не надоедает...

Бывают, конечно, деятели, для которых все радости и горести воплощаются именно в деяниях. Их хлебом не корми, а дай порох открыть, Валдайские горы походом форсировать или какое другое кровопролитие совершить. Ну и пусть их. А мы — люди маленькие. С нас и воробьев по утрам предовольно. И вот что: не забыть бы сегодня хоть коробку шоколада для близнецов купить. Или игрушки...

Почувствовав себя на поверхности, я, не вставая, сделал несколько физкультурных движений (более для проформы), кряхтя, поднялся и нашарил ногами тапочки. Процедура мне предстояла такая: застелить постель, распахнуть настежь дверь в лоджию и подвигнуться на свершение утреннего туалета. Однако порядок был нарушен в самом начале. Едва я перебросил подушку в кресло, как задребезжал телефон. Я взглянул на часы, чтобы определить, кто звонит. Было семь тридцать четыре, и значит, звонил Леня Шибзд.

— Здорово,— произнес он низким, подпольно-заговорщицким голосом.— Как дела?

— Охайо,— отозвался я.— Боцубоцу-са. Аригато.

— А на каком-нибудь человеческом языке ты не можешь? — спросил он.

— Могу,— сказал я с готовностью.— Эврисинг из окэй.

— Так бы сразу и сказал.— Он помолчал.— Ну, а чем у тебя все кончилось вчера?

— Ты о чем? — спросил я, насторожившись, потому что ни с того ни с сего мне вдруг вспомнился вчерашний человек в клетчатом пальто-перевертыше.

— Ну, эти твои дела... Куда ты вчера там ездил?

Я, наконец, сообразил, что он спрашивает всего-навсего о визите на Банную.

— М-мать...— сказал я.— Опять я папку где-то забыл!

Я стал лихорадочно вспоминать, где я мог забыть папку с бессмертной пьесой о Корягиных, а он все бубнил. Он бубнил о том, что есть слух, будто кто из писателей женат более трех раз, того снимают из очереди на квартиру в новом писательском доме и будут предоставлять только освобождающуюся площадь. Леню Шибзда это задевало потому, что он был женат уже по четвертому разу.

— В ресторане я ее забыл! — проговорил я с облегчением.

— Кого? — спросил он, охотно прервавшись.

— Папку!

— Какую?

— Канцелярскую. Со шнурочками.

— А внутри? — напирал Шибзд.

— Слушай,— сказал я.— Отстань, а? Я только что встал, постель еще не застелена.

— У меня тоже... Так ты был вчера на Банной?

— Не был я на Банной! Не был!

— А где ты тогда был?

Помыслить было страшно — рассказать Шибзду о вчерашних моих похождениях. И не только потому, что вдруг уставились на меня из вчерашнего дня двустволичьи глаза Ивана Давыдовича и донеслось ядовито-предостерегающее шипение Кости Кудинова, поэта; и не потому даже, что ощущал я во всем этом какую-то пакость, мерзость какую-то. Проще, много проще! Ведь Шибзд — это человек, которого не интересует ЧТО. Его всегда интересует ПОЧЕМУ. Он душу из меня живую вынет, требуя разъяснений, а вынув, затолкает ее обратно как попало, излагая свои собственные чугунные версии, каждая из коих, как нарочно, объясняет только один факт и противоречит всем прочим фактам...

— Леня,— сказал я решительно,— извини, в дверь звонят. Это я водопроводчика вызвал.

С тем, не слушая протестов, я повесил трубку.

Вообще-то я люблю Леню Баринова. Более того, я его уважаю. И прозвище такое я дал ему не за сущность его, а за наружность. Шибздик он — маленький, черняВенький, всегда чем-нибудь напуганный. Пишет он мучительно, буквально по нескольку слов в день, потому что вечно в себе сомневается и совершенно искренне исповедует эту бредовую идею хрестоматийного литературоведения о том, что существует якобы одно-единственное слово, точнее всех прочих выражающее заданную идею, и вся суть только в том, чтобы постараться, напрячься, поднатужиться, не полениться и это одно-единственное слово отыскать, и вот таким-то только манером ты и создашь, наконец, что-нибудь достойное.

И никуда не денешься: литературный вкус у него великолепный, слабости любого художественного текста он вылавливает мгновенно, способность к литературному анализу у него прямо-таки редкостная, я таких критиков и среди наших профессионалов не знаю. И вот этот талант к анализу роковым образом оборачивается его неспособностью к синтезу, потому что сила писателя, на мой взгляд, не в том, чтобы уметь найти единственное верное слово, а в том, чтобы отбросить все заведомо неверные. А Леня, бедняга, сидит и день за днем мучительно, до помутнения в мозгах, взвешивает на внутренних весах своих, как будет точнее сказать: «она тронула его руку» или «она притронулась к его руке»... И в отчаянии он звонит за советом Вале, и жестокий Валя Демченко, не теряя ни секунды, отвечает ему знаменитым аверченковским: «Она схватила ему за руку и неоднократно спросила, где ты девал деньги...» И тогда он в отчаянии звонит мне, а я тоже не сахар, и ему остается только упавшим голосом упрекнуть меня в грубости...

Но есть, есть между нами некое сродство! Я уверен, что прочитай я ему из своей Синей Папки, он понял бы меня так, как, может быть, никто другой на свете, понял бы и принял бы. Только читать ему из Синей Папки никак нельзя. Ведь он же болтун, он как худое ведро, в нем ничего не держится. Это же любимое занятие его: собирать сведения и затем распространять их кому попало и где попало, да еще и непременно с комментариями... При его великолепной памяти и с сумеречным его воображением... Нет, подумать страшно — читать ему из Синей Папки.

А вот он читал мне из своей повести, над которой тоже работает второй год,— про спринтера, гениального спорт-

смена и несчастного человека. Этот его герой бьет все рекорды на расстояниях до километра, все им восхищаются, все ему завидуют, но никто не знает, почему он эти рекорды бьет. А секрет в том, что на тартановой дорожке немедленно просыпается в нем слепой первобытный ужас преследуемого животного. Каждый раз рвется он к финишу, забыв в себе все разумное, все человеческое, с одной только целью — во что бы то ни стало спасти жизнь, оторваться и уйти от настигающей его своры хищников, стремящихся догнать, завалить и сожрать заживо. И вот он получает призы, мировую известность, почести — все за свою патологическую, атавистическую трусость, а человек он честный, и любит его славная девушка...

Мне нравятся такие повороты. Редакторам вот не нравятся, а мне нравятся. Это вам не бурный романчик между женатым начальником главка и замужним технологом на фоне кипящего металла и недовыполнения плана по литью.

Размышляя о литературе, о сюжетах и о Шибзде Баринове, я уселся завтракать. Мною же придуманный ядовитый пример насчет бурного романчика вдруг занял мое воображение. Десятилетия проходят, исписываются тысячи и тысячи страниц, но ничего, кроме откровенной халтуры или в лучшем случае трогательной беспомощности, литература такого рода нам не демонстрирует.

И ведь вот что поразительно: сюжет-то ведь реально существует! Действительно, металл льется, планы недовыполняются, и на фоне всего этого и даже в связи со всем этим женатый начальник главка действительно встречается с замужним технологом, и начинается между ними конфликт, который переходит в бурный романчик, и возникают жуткие ситуации, зреют и лопаются кошмарные нравственно-организационные нарывы, вплоть до КПК...

Все это действительно бывает в жизни, и даже частенько бывает, и все это, наверное, достойно отображения никак не меньше, нежели бурный романчик бездельника-дворянина с провинциальной барышней, вплоть до дуэли. Но получается лажа.

И всегда получалась лажа, и, между прочим, не только у нашего брата — советского писателя. Вон и у Хемингуэя высмеян бедняга халтурщик, который пишет роман о забастовке на текстильной фабрике и тщится совместить проблемы профсоюзной работы со страстью к молодой еврейке-агитатору. Замужний технолог, еврейка-агитатор... Язык человеческий протестует против

таких сочетаний, когда речь идет об отношениях между мужчиной и женщиной. «Молодая пешеход добежал до переход...»

У меня вот в «Товарищах офицерах» любовь протекает на фоне политико-воспитательной работы среди офицерского состава Н-ского танко-самоходного полка. И это ужасно. Я из-за этого собственную книгу боюсь перечитывать. Это же нужен какой-то особенный читатель — читать такие книги! И он у нас есть. То ли мы его выковали своими произведениями, то ли он как-то сам произрос — во всяком случае, на книжных прилавках ничего не залеживается.

Я пил кефир, стоя перед окном. Светало, и был мороз. Деревья и кустарники — все было белое. Гасли огни в доме напротив, спешили к автобусной остановке черные человечки по нерасчищенным тропинкам среди сугробов. Машины неслись, подфарники у некоторых были уже погашены.

Потому что нет в наше время любви, подумал я вдруг. Романчики есть, а любви нет. Некогда в наше время любить: автобусы переполнены, в магазинах очереди, ясли на другом конце города, нужно быть очень молодым и очень беззаботным человеком, чтобы оказаться способным на любовь. А любят сейчас только пожилые пары, которым удалось продержаться вместе четверть века, не потонуть в квартирном вопросе, не озвереть от мириад всеразъедающих мелких неудобств, полюбовно поделить между собой власть и обязанности. Вот как Валя Демченко со своей Сонечкой. Но такую любовь у нас не принято воспевать. И слава богу. Воспевать вообще ничего не надо. Костя Кудинов пусть воспевает. Или Ойло Союзное...

— Однако все это философия, а не пора ли за работу? — произнес я вслух.

И я стал мыть посуду. Я не выношу, когда у меня в мойке хоть одна грязная тарелка. Для нормальной работы необходимо, чтобы мойка была чиста и пуста. Особенно когда речь идет о работе над сценариями или над статьями. Я люблю писать сценарии. Из всех видов литературной поденщины мне более всего по душе переводы и сценарии. Может быть, потому, что в обоих этих случаях мне не приходится взваливать на себя всю полноту ответственности.

Приятно все-таки сознавать, что за будущий фильм в конечном счете отвечает режиссер — человек, как пра-

вило, молодой, энергичный, до тонкости понимающий, что кино имеет свой язык и главное в кино — не слова, которые я сочиняю, а образы, которые изобретает он. А если что-нибудь не так, он махнет рукой и скажет беспечно: «А, сойдет за мировоззрение!» А что касается другого его афоризма — «Ни кадра на родной земле»,— то пусть-ка он попробует отснять кадры танковой атаки где-нибудь на Елисейских полях! И фильм у него в конце концов получится. Это будет не Эйзенштейн и не Тарковский, конечно, но смотреть его будут, и я сам посмотрю не без интереса, потому что и вправду интересно же, как у него получится моя танковая атака.

(Я человек простой, я люблю, чтобы в кино — но только в кино! — была парочка штурмбанфюреров СС, чтобы огонь велся по возможности из всех видов стрелкового оружия и чтобы имела место хор-р-рошая танковая атака, желательно массированная... Киновкусы у меня самые примитивные, такие, что Валя Демченко называет их инфантильным милитаризмом.)

Я сел за машинку и писал, почти не прерываясь, два с лишним часа, пока не раздался снова телефонный звонок.

Солнце давно уже било в комнату, и было мне жарко, и был я в запарке, и в телефонную трубку не сказал я, а рявкнул. Однако это оказался Федор наш Михеич, и мне, японисту, свято соблюдающему конфуцианские принципы, немедленно пришлось взять тоном ниже.

Слава богу, разговор пошел вовсе не о Банной. Михеич осведомился, известно ли мне о конфликте между Олегом Орешиным и Семеном Колесниченко. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы переключиться, а затем я сказал, что да, знаю я об этом конфликте, была у нас такая склока на приемной комиссии в прошлом месяце. Тогда Михеич сообщил, что Орешин подал на Колесниченко жалобу в секретариат и что он, Михеич, хотел бы знать мое, Сорокина, мнение по этому конфликту.

— Дурак он и склочник, этот Орешин,— ляпнул я, не сдержавшись, в который уже раз позабыв твердое свое решение никогда не вмешиваться, не впутываться и не вступаться.

Михеич сурово указал мне, что это не ответ, что от меня ждут не брани-ругани, что от меня ждут объективного мнения по конкретному делу.

Ну, какое объективное мнение могло быть у меня по этому делу? На прошлом заседании приемной комиссии

этот Олег Орешин, холеный и гладкий мужчина лет пятидесяти в отлично сшитом костюме, сверкая запонками, толстым кольцом и золотым зубом, потребовал вдруг слова и провозгласил жалобу на прозаика Семена Колесниченко, который совершил злостный плагиат. У кого? Да у него, Олега Орешина, поэта-баснописца, члена приемной комиссии, лауреата специальной премии журнала «Станкостроитель». Он, Олег Орешин, два года назад опубликовал в упомянутом журнале сатирическую басню «Медвежьи хлопоты». Каково же было его, Олега Орешина, изумление, когда буквально на днях в декабрьском номере журнала «Советише Гэймланд» он прочитал повесть «Поезд надежды», переведенную с иврита, в точности повторяющую всю ситуацию, весь сюжет и всю расстановку действующих лиц его, Олега Орешина, басни «Медвежьи хлопоты»! Пораженный, он предпринял самостоятельное расследование и установил, что упомянутый С. Колесниченко, производя плагиат, написал повесть, а потом подсунул ее в редакцию журнала под видом перевода с иврита. С. Колесниченко при этом обманул редакцию, сказавши, что перевод повести прогрессивного израильского писателя имярек осуществил якобы его прикованный к постели друг, и т. д., и т. д., и т. п. Он, Олег Орешин, требует, чтобы его товарищи по приемной комиссии помогли ему, и т. д., и т. д., и т. п.

Самым фантастическим в этой бредовой истории было то, что по меньшей мере треть приемной комиссии горячо приняла к сердцу жалобу О. Орешина и тут же стала с живостью предлагать меры одна другой жутче. Однако силы разума возобладали. Председатель наш, мигом сообразив, что волочь эту склоку на горбу придется лично ему, очень строго объявил: он лично понимает возмущение товарища Орешина, но дело это в компетенцию приемной комиссии никак не входит и отвлекаться на него приемная комиссия никак не может.

Я, честно говоря, подумал тогда, что тем все и кончится. Но нет, видимо, пределов человеческой глупости. Не кончилась эта бодяга. Впрочем, Михеич был прав: бранью-руганью, как и бесплодными сентенциями по поводу пределов глупости, здесь не обойдешься. Я подобрался и, тщательно взвешивая слова, высказался в том смысле, что доводы Олега Орешина для меня не убедительны. Превращение басни в повесть, даже если таковое имело место, лежит, по моему мнению, за гранью понятия о плагиате. Мне, с другой стороны, бывалому перевод-

чику, было бы очень интересно узнать, как это Колесниченко удалось выдать свое собственное произведение за перевод. На мой взгляд, это просто невозможно.

Вот это была речь не мальчика, но мужа. Михеич выслушал ее, не перебивая, поблагодарил и повесил трубку. О Банной так и не было вспомнено.

Я вылез из-за стола, открыл дверь в лоджию и постоял на пороге в лучах солнца. Я чувствовал себя опустошенным, усталым и ублаготворенным. Так или иначе, а сегодняшний урок был выполнен, и даже с походом. Теперь можно было с чистой совестью упрятать сценарий в стол, накрыть машинку и спуститься за газетами. Что я и сделал.

Кроме газет, пришло мне два письма. Одно официальное, из Клуба, приглашали меня на концерт неизвестного мне барда, и я подумал, что приглашение это надо отдать Катьке,— может быть, ей это будет интересно.

Второй конверт был самодельный, из плотной коричневой бумаги, клапан его был заклеен скотчем, адрес с прибавлением «лично, в собственные руки!» написали черной тушью, а вот обратного адреса не написали.

Я терпеть не могу писем без обратного адреса. Они приходят не часто, но каждый раз содержат какую-нибудь пакость, или неприятность, или источник дополнительных хлопот и беспокойств. С досадой я полез в стол за ножницами, но тут опять раздался телефонный звонок.

На этот раз звонила Зинаида Филипповна, она кротко напомнила мне, что очередное заседание приемной комиссии через десять дней, я же до сих пор не взял у нее книги для ознакомления. Я спросил, много ли народу предстоит обсудить. Оказалось: двух прозаиков, двух же драматургов, трех критиков и публицистов и одного поэта малых форм, всего же восьмерых. Я спросил, что это такое — поэт малых форм. Она ответила, что никто этого толком не знает, но именно с этим поэтом ожидается скандал. Я пообещал зайти на днях.

Опять скандал. Вот бы о чем написать, подумал я. Типичное заседание приемной комиссии. Сначала, чтобы спихнуть с плеч долой, обсуждается дело какого-то бедолаги по секции научно-популярной литературы. Докладчик произносит негодующую речь против, при этом все время путает батисферу со стратосферой и батискаф с пироскафом. Комиссия слушает в молчаливом ужасе, некоторые украдкой крестятся, слышится: «Чур меня, чур!» Общий пафос докладчика: «Где же здесь литера-

тура?» Второй докладчик краток и честен: ни одной книжки претендента до конца прочитать не сумел, ничего не понял, инфузории-лепрозории, претендент — доктор наук, ну на кой ляд ему членство в Союзе?.. Выступает председатель: Космос, век НТС (он имеет в виду НТР), нельзя забывать, что авторитет нашей организации... высокая литература... Антон Павлович Чехов... Лев Толстой... Александр Сергеич... Сортир Сортирыч... Первого претендента единодушно проваливают при тайном голосовании с одним-единственным «за».

Второй претендент — медик, хирург, прямая кишка, но влюблен в наше село. Докладчик с непроспанными глазами шумно восхищается этой любовью и пересказывает два блистательных сюжета из претендента. Едет мужик на подводе в лесу, и вдруг — тигр. (Рязанская область, село Мясное.) Мужик — бежать. Тигр — за ним. Мужик залез по шею в прорубь, а тигр сел на краю и всю ночь над ним всхрапывал, а потом оказалось, что тигр бежал из зоопарка, но без людей не может, вот и привязался к мужику... Всеобщее восхищение, добродушный смех, одобрительные возгласы лейб-гвардейцев. Следует второй сюжет: мужик пришел к врачу с жалобой на внутреннюю болезнь, а врач попросил его принести анализы. Мужик же решил, что с него требуют взятку, и написал в прокуратуру. Однако оказался рак, врач его успешно оперирует, мужик спасен, но тут прямо в операционную приносят повестку из прокуратуры... Снова восхищение и одобрительные возгласы, один из лейб-гвардейцев плачет от смеха, уткнувшись лицом мне в плечо. Второй докладчик растроганным голосом читает из претендента описание сельской местности; восхищение и одобрение преображаются в громовое сюсюканье и водопадные всхлипывания, после чего претендента опять-таки проваливают, но уже при трех «за». Все смущены. Лейбгвардеец объясняет мне: «Ну, не знаю. Я как был «за», так и голосовал «за»...»

Потом принимаются за бывшего министра коммунального хозяйства одной южной республики, выпустившего в подарочном издании роскошный том — что-то вроде «Развития прачечного дела от царицы Тамар до наших дней».

Тут размышления мои вновь были прерваны телефонным звонком. Федор Михеич произнес озабоченно:

— Извини, Феликс Александрович, что я опять тебя отрываю... Ты как вчера — на Банной был?

— Да,— сказал я.— А как же... Все отвез в лучшем виде.

— Ну, спасибо. Тогда у меня всё.

Федор Михеич повесил трубку, а я встал из кресел и пошел прямо в прихожую надевать башмаки. И только уже одевшись, обмотавшись шарфом и напялив шляпу, перчатки уже натянув и даже взявшись уже за барабанчик замка, вспомнил я, слава богу, что подопытная-то рукопись моя осталась вчера в Клубе... и если я сейчас заеду за нею в Клуб...

Я вернулся в комнату, кряхтя, достал наугад какую-то папку потоньше из малого архива, что у меня под столом (черновики переводов, вторые экземпляры аннотаций на японские патенты, черновики рецензий и прочая макулатура), обвязал ее для прочности веревочкой, кое-как засунул в карман куртки коричневый конверт без обратного адреса (прочитать по дороге) и вышел вон.

Дом на Банной оказался серый, бетонный, пятиэтажный. Левое крыло его было обстроено лесами, леса же были забиты снегом и пусты. Средняя часть фасада выглядела достаточно свежо, а правое крыло впору было уже снова ремонтировать. Подъезд был один — посередине фасада. Дверной проем был широкий и по замыслу архитекторов должен был пропускать одновременно шесть потоков входящих и исходящих, однако, как водится, из шести входных секций функционировала лишь одна, прочие же были намертво заперты, а одна даже забита досками, кокетливо декорированными под палитру неряшливого живописца. И, как водится, справа и слева от дверного проема красовались разнокалиберные стеклянные вывески с названиями учреждений, так что вовсе не сразу обнаружил я скромную вывеску с серебряной надписью «Институт лингвистических исследований АН СССР».

Не без труда протиснувшись через функционирующую секцию, я некоторое время блуждал среди темных кулис в толпе таких же бедняг, как я. Здесь было темно, тревожно, а под ногами намесили столько снегу, что из опасения упасть мы все придерживались друг за друга.

Вырвавшись, наконец, на оперативный простор, я оказался перед широчайшей лестницей, которая возвела меня в огромный круглый зал высотой во все пять этажей. Середина этого зала была разгорожена на многочисленные деревянные клетушки, сверху, через решетчатую

стеклянную крышу, просачивался серенький дневной свет, слева от меня стеклянный киоск торговал изопродукцией, а справа продавали жареные пирожки и бисквит с повидлом.

Куда идти дальше, я даже представить себе не мог, а когда попытался выяснить это у тех, с кем плечо к плечу прорывался через кулисы, оказалось, что все они пришли сюда за бисквитом — кроме одного старичка, которого послали за пирожками.

Старуха в киоске сказала, что работает здесь всего второй день. И лишь накрашенная дамочка без пальто и с разносной книгой под мышкой послала меня направо и вверх, и там, на первой лестничной площадке, я обнаружил указатель.

Мне надо было на третий этаж, и я начал восхождение по железной винтовой лестнице, где опять было темно и тревожно, подошвы соскальзывали с неравновеликих ступенек, навстречу кто-то тяжело и страшно пыхтел, норовя столкнуть меня вниз, или с придушенным женским визгом дробно грохотал, поскользнувшись. А снизу вверх подпирало меня в спину чем-то твердым, неодушевленным, деревянным, судя по ощущению, и изрыгающим невнятную брань.

Впрочем, всему приходит конец. Я оказался на площадке третьего этажа, пыхтя, отдуваясь, размышляя, не принять ли нитроглицерин, и тут в последний раз меня саданули пониже спины, и невнятный голос осведомился: «Ну, чего встал, стоя́ло?», и мимо меня пронесли деревянную стремянку, да такой длины, что я глазам не поверил: как могли протащить такое по винтовой лестнице?

Положив под язык крупинку нитроглицерина, я огляделся. На площадку выходили, как в сказке, три двери: направо, налево и прямо. Судя по вывеске, мне надо было направо, и направо я пошел и за дверью обнаружил столик, а на столике — лампочку, а за лампочкой — старушку с вязанием. Она взглянула на меня добродушно-вопросительно, и мы поговорили.

Старушка была полностью в курсе. Писателям полагалось проходить в комнату номер такую-то, через конференц-зал, а до конференц-зала идти по этому вот коридору, никуда не сворачивая, да и сворачивать здесь особенно некуда, разве что в буфет, так буфет еще закрыт. Я поблагодарил и тронулся, а старушка сказала мне вслед: «Только там собрание...», и я, хоть и не

понял ее, но на всякий случай обернулся и благодарно покивал.

Коридор. Не часто встретишь теперь такие коридоры. Этот коридор был узкий, без окон, с таинственными зарешеченными отдушинами под потолком, с глухими железными дверями, возникающими то справа, то слева, выстланный скрипучими неровными досками, опасно подающимися под ногой. И не прямым был этот коридор, он шел классическим фортификационным зигзагом, причем каждый отрезок зигзага не превышал двадцати метров. Здесь все было рассчитано на тот случай, когда панцирной пехоте противника удалось сломить наше сопротивление на винтовой лестнице, и она, пехота, опрокинув старушку с ее столиком, ворвалась сюда, еще не зная, какая страшная ловушка ей здесь уготована: из отдушин под потолком на нее изливаются потоки кипящего масла; распахнувшиеся железные двери ощетиниваются копьями с иззубренными наконечниками шириной в ладонь; доски под ногами рушатся; и из-за каждого угла зигзага поражают ее в упор беспощадные стрелы... Я весь испариной покрылся, пока дошел до конца этого коридора.

Как и предсказала честная старуха, коридор вышел в конференц-зал. Но только здесь постиг я смысл ее последних слов. В конференц-зале действительно происходило какое-то собрание, скорее всего — общее, потому что яблоку было негде упасть от сидящего и стоящего народа. Я вынужден был остановиться на пороге. Дальше пути не было.

Сначала я не воспринял это собрание как помеху моим намерениям. Собрание как собрание, стол с зеленой скатертью, графин с водой, с трибуны кто-то что-то говорит, а по меньшей мере три сотни гавриков и гавриц при сем присутствуют (вместо того чтобы двигать научно-технический прогресс). Привстав на цыпочки, я озирал окрестности поверх моря голов до тех пор, пока не обнаружил в дальнем от себя углу зала малоприметную дверь, над которой красовалось белое полотнище с черной надписью: «Писатели — сюда». Вот только тогда я начал осознавать размеры постигшей меня неудачи.

О том, чтобы пробиться к этой двери через собрание, не могло быть и речи, я не Бэнкэй, чтобы шагать по головам и по плечам в битком набитом храме, я этого не умею и не люблю. О том, чтобы гордо повернуться и уйти, тоже не могло быть речи, я уже зашел слишком

далеко. Логически рассуждая, оставалось только одно: ждать, уповая на то, что нет собраний, которые длились бы вечно.

Придя к такому выводу, я сразу подумал о буфете. Где-то позади, за одной из этих страшных железных дверей, давали ватрушки, бутерброды с колбасой, пепси-колу, а может быть, даже и пиво. Я поглядел на часы. Без десяти три было на моих, и если буфету вообще суждено было сегодня открыться, то скорее всего через десять минут. Десять минут можно было и перетерпеть. Я перенес тяжесть тела на одну ногу, уперся плечом в косяк и стал слушать.

Очень скоро я понял, что присутствую на товарищеском суде. Обвиняемый, некий Жуковицкий, взял манеру делать несчастными молодых сотрудниц своего отдела. Вначале это сходило ему с рук, но после третьего или четвертого случая терпение общественности лопнуло, преступления возопили к небесам, а жертвы возопили к месткому. Обвиняемый, наглой красоты мужчина в сверкающей хромовой курточке, сидел, набычившись, на отдельном стуле слева от президиума и вид являл упорствующий и нераскаянный, хотя и покорный судьбе.

В общем, дело показалось мне пустяковым. Ясно было, что вот сейчас кончит болтать член месткома, затем вылезет на трибуну зав. отделом и распнет подсудимого на кресте общественного порицания, и тут же, без перехода, попросит суд о снисхождении, потому что в отделе у него одни девы и каждый сотрудник-мужчина на вес золота; потом председательствующий в краткой энергичной речи подведет черту, и все ринутся в буфет.

Ожидая этого неминуемого, как мне казалось, развития событий, я принялся разглядывать лица — любимое мое занятие на собраниях, совещаниях и семинарах. И уже через минуту, к изумлению своему, обнаружил в пятом ряду, прямо напротив президиума, шелушащуюся ряжку Ойла моего Союзного, Петеньки Скоробогатова, и унылый профиль его дружка-бильярдиста. Оба имели такой вид, словно сидят здесь с самого начала, прочно и по праву. Бильярдист сидел смирно и только лупал глазами на президиум: видно, зеленое сукно скатерти вызывало в нем приятные ассоциации. Ойло же Союзное был невероятно активен. Он поминутно поворачивался к соседке справа и что-то ей втолковывал, потрясая толстым указательным пальцем; потом всем корпусом устремлялся вперед, всовывал свою голову между

головами соседей впереди и что-то втолковывал им, причем приподнятый толстый зад его совершал сложные эволюции; потом, словно бы вполне удовлетворенный понятливостью собеседников, откидывался на спинку своего стула, скрещивал руки на груди и, чуть повернув ухо, благосклонно выслушивал то, что принимались шептать ему соседи сзади.

С трибуны неслось:

— ...и в такие дни, как наши, когда каждый из нас должен отдать все свои силы на развитие конкретных лингвистических исследований, на развитие и углубление наших связей со смежными областями науки, в такие дни особенно важно для нас укреплять и повышать трудовую дисциплину всех и каждого, морально-нравственный уровень каждого и всех, духовную чистоту, личную честность...

— И животноводство! — вскричал вдруг требовательно Петенька Скоробогатов, вскинув вперед и вверх вытянутую руку с указательным пальцем.

По аудитории пронесся невнятный гомон. На трибуне смешались.

— Безусловно... это бесспорно... и животноводство тоже... Но что касается конкретно товарища Жуковицкого, то мы не должны забывать, что он наш товарищ...

Ай да Ойло Союзное! Нет, как хотите, а что-то человеческое, что-то такое с большой буквы в нем, безусловно, есть. Невзирая на его поросячьи, вечно непроспанные глазки. Невзирая на постоянный запах перегара, образующий как бы его собственную атмосферу. Невзирая на беспримерную бездарность и халтурность его сочинений для школьников. Невзирая на его обыкновение подсаживаться без приглашения и наливать без спросу... (Впрочем, нет, тут я не прав. Конечно, Ойло, как правило, ходит без денег, потому что всегда в пропое. Но уж когда у него есть деньги!.. Подходи любой, ешь-пей до отвала и с собой уноси.) Он выдумщик, вот что его извиняет. Воплотитель в практику самых невозможных фантазий, какие бывают разве что в анекдотах.

Однажды в Мурашах, в Доме творчества, дурак Рогожин публично отчитал Ойло за появление в столовой в нетрезвом виде, да еще вдобавок прочитал ему мораль о нравственном облике советского писателя. Ойло выслушал все это с подозрительным смирением, а наутро на обширном сугробе перед крыльцом дома появилась надпись: «Рогожин, я Вас люблю!» Надпись эта была

сделана желтой брызчатой струей, достаточно горячей, судя по глубине проникновения в сугроб.

Теперь, значит, представьте себе такую картину. Мужская половина обитателей Мурашей корчится от хохота. Ойло с угрюмым лицом расхаживает среди них и приговаривает: «Это, знаете ли, уже безнравственно. Писатели, знаете ли, так не поступают...» Женская половина брезгливо морщится и требует немедленно перекопать и закопать эту гадость. Вдоль надписи, как хищник в зоопарке, бегает взад и вперед Рогожин и никого к ней не подпускает до прибытия следственных органов. Следственные органы не спешат, зато кто-то услужливо делает для Рогожина (и для себя, конечно) несколько фотоснимков: надпись, Рогожин на фоне надписи, просто Рогожин и снова надпись. Рогожин отбирает у него кассету и мчит в Москву. Сорок пять минут на электричке, пустяк.

С кассетой в одном кармане и с обширным заявлением на Петеньку — в другом Рогожин устремляется в наш секретариат возбуждать персональное дело о диффамации. В фотолаборатории Клуба ему в два счета изготавливают дюжину отпечатков, и их он с негодованием выбрасывает на стол перед Федором Михеичем. Кабинет Федора Михеича как раз в это время битком набит членами правления, собравшимися по поводу какого-то юбилея. Многие уже в курсе. Стоит гогот. Полина Златопольских (мечтательно заведя глаза): «Однако же, какая у него струя!»

Федор Михеич с каменным лицом объявляет, что не видит в надписи никакой диффамации. Рогожин теряется лишь на секунду. Диффамация заключена в способе, коим произведена надпись, заявляет он. Федор Михеич с каменным лицом объявляет, что не видит никаких оснований обвинять именно Петра Скоробогатова. В ответ Рогожин требует графологической экспертизы. Все валятся друг на друга. Федор Михеич с каменным лицом выражает сомнение в действенности графологической экспертизы в данном конкретном случае. Рогожин, горячась, ссылается на данные криминалистической науки, утверждающей якобы, будто свойства идеомоторики таковы, что почерк личности остается неизменным, чем бы личность ни писала. Он пытается демонстрировать этот факт, взявши в зубы шариковую ручку, чтобы расписаться на бумагах перед Федором Михеичем, угрожает дойти до ЦК и вообще ведет себя безобразно.

В конце концов Федор Михеич вынужден уступить, и на место происшествия выезжает комиссия. Петенька Скоробогатов, прижатый к стене и уже слегка напуганный размахом событий, сознается, что надпись сделал именно он. «Но не так же, как вы думаете, пошляки! Да разве это в человеческих силах?» Уже поздно. Вечер. Комиссия в полном составе стоит на крыльце. Сугроб еще днем перекопан и девственно чист. Петенька Скоробогатов медленно идет вдоль сугроба и, ловко орудуя пузатым заварочным чайником, выводит: «Рогожин, я к Вам равнодушен!» Удовлетворенная комиссия уезжает. Надпись остается.

Каков Скоробогатов, Ойло мое Союзное?!

Громовой возглас «И животноводство!» вернул меня к настоящему. Суд продолжался. Возглас исторгся из груди бильярдиста, пробудившегося вдруг к активности. Пока я предавался воспоминаниям, что-то изменилось. С трибуны говорили почему-то о какой-то шубе. О дорогой шубе. Об импортной шубе. Шуба была украдена. Шуба была украдена нагло, вызывающе. Кажется, собрание призывалось не воровать шубы. О жертвах сластолюбия и распущенности с трибуны больше не поминали, история же с шубой каким-то таинственным образом реабилитировала обвиняемого. Он уже не сидел с видом покорности судьбе, он распрямился и, упершись ладонями в расставленные колени, с вызовом и осудительно смотрел в сторону президиума. Члены президиума от него отворачивались, и один из них был значительно краснее остальных.

Я взглянул на часы. Было уже начало четвертого. Имело смысл поискать буфет, но тут через меня в коридор выскользнули двое юношей бледных со взором горящим, вынули сигареты и закурили, жадно затягиваясь. Что бросилось мне в глаза, так это противоестественное их оживление, бодрость какая-то, азарт. Никакого утомления, никакой скуки,— напротив, они явно стремились как можно скорее проглотить свою порцию никотина и вернуться в зал. В жизни своей не видал, чтобы люди были так захвачены собранием.

Я спросил их, как долго, по их мнению, еще продлится это словоблудие. Я видел, что это выражение их покоробило. Очень сухо они объяснили мне, что собрание сейчас в самом разгаре и вряд ли окончится раньше конца работы. Потом один из них догадался: «Вы писатель, наверное?» «Увы»,— сознался я. «А как ваша фами-

лия?» — с юношеской непосредственностью осведомился другой. «Есенин»,— сказал я и пошел домой.

Проклиная по дороге все собрания самым страшным проклятьем, я зашел на Петровке в игрушечный магазин, купил близнецам-бандитам по автомобилю и вступил в свою квартиру уже вполне в духе. На кухне шуровала Катька. Мой изголодавшийся нос пришел в восторг и немедленно сообщил этот восторг всему моему организму: на кухне тушилось мясо по-бургундски.

Пока я раздевался, Катька вылетела из кухни, подставила мне горячую щеку и, держа лоснящиеся от готовки руки как хирург перед операцией, с ходу принялась возбужденно мне рассказывать что-то о своих делах на службе.

Сначала я слушал ее вполслуха, потому что уже в который раз поразился: такая хорошенькая, такая, черт подери, пикантная молодая женщина, этакая гаврица — и неудачница! Как это может быть? Нелепость какая-то. Всегда я считал, что женщина с изюминкой просто обречена на успех, и вот на́ тебе... Тридцать лет. Двое детей. Первый муж растворился в воздухе. Второй муж барахло, слизняк какой-то непросыхающий. На работе конфликты. Диссертация три года как готова, а защититься не может. Несообразно все это, необъяснимо.

Машинально я пошел за нею на кухню и вдруг осознал, что говорит Катька какие-то странные вещи, непосредственно до меня касающиеся.

Оказывается, сегодня, после обеденного перерыва, ее вызвал к себе кадровик и устроил ей форменный допрос. Большей частью вопросы были обыкновенные, анкетные, но между ними, как бы невзначай, проскальзывали вопросики, не лезущие ни в какие ворота. Чуткая Катька сразу же засекла их, не подавая виду, запомнила и сейчас добросовестно, один за другим, мне пересказывала... С какого возраста она помнит своего отца, то есть меня? Была ли когда-нибудь у него на родине, то есть в Ленинграде? Знает ли кого-нибудь из довоенных друзей отца? Встречался ли при ней отец с кем-нибудь из этих друзей? Рассказывал ли ей отец о судьбе дома в Ленинграде, где вырос и жил до войны?..

Отбарабанивши все это, она замолчала и посмотрела на меня выжидательно. Я тоже молчал, с ужасом чувствуя, как лицо мое заливается краской, а глаза уезжают в угол самым подозрительным образом. Ощущал я себя полным идиотом.

— Пап, ты, может быть, опять что-нибудь натворил? — спросила она, понизив голос.

Она была напугана, а реакция моя на ее рассказ напугала ее еще более. Я же только сопел в ответ. Тысячи слов рвались у меня с языка, но все они, как назло, были мелодраматические, фальшивые и предполагали жесты вроде простирания дланей, задирания очей горе и прочей шиллеровщины. Потом вдруг страшная мысль озарила меня: что, если за бугром снова напечатали меня помимо ВААПа? Ну что за сволочи, в самом деле! И меня прорвало:

— Чушь проклятая! — гаркнул я.— Не было ничего, и быть не могло! Что ты на меня глаза вытаращила? Ну, настучала какая-нибудь стерва... Мало ли что... Зачем он тебя вообще вызывал? Он тебе сказал, зачем он тебя вызывал?

— Побеседовать,— сказала Катька.— Я, может быть, в Ганду поеду...

— В какую еще Ганду? В Африку? А бандитов куда?

Но у нее, оказывается, все было продумано. Бандитов забирает Клара, квартиру она сдает Щукиным, собрания сочинений буду выкупать я. Мне все это дико не понравилось. Если бандиты будут у Клары, то как же я буду с ними видеться? Не желаю я встречаться с Кларой и с ее генералом, не желаю выкупать собрания сочинений... А потом — как же Альберт? Его тоже забирает Клара? Ах, мужа все равно переводят в Сызрань? Прелестно! Поздравляю! Опять двадцать пять по следам мамаши. Впрочем, как знаешь. Но имей в виду, что в Ганде сейчас стреляют!

Ну, она знает, как со мной обращаться. Пока я шипел и испарялся, она ловко навалила мне полную тарелку мяса с грибами, тушенного в красном вине, налила мне на два пальца коньячку и усадила за стол. Я крякнул, выпил, смягчился, бросил на нее последний взгляд, полный родительского упрека, и взялся за вилку.

— А ты чего же? — как обычно, спохватился я с уже набитым ртом.

— А я уже,— как обычно, ответила она, встала коленками на стул и, отклячив круглую задницу, упершись локтями в стол, очень довольная, стала смотреть, как я ем.

— Раз в Ганду,— прочавкал я,— тогда не бери себе в голову. Это просто кадровик уже и сам не знает, о чем спрашивать. Про мать спрашивал?

— Спрашивал.

— Ну вот! Отрежь-ка мне булочки.

— Про мать спрашивал, почему она с тобой развелась,— сказала Катька, нарезая булку.

Я с трудом удержался, чтобы не грохнуть ножом и вилкой об стол: что за свинство, какое его собачье дело? Но потом подумал: да провались они все пропадом, мне-то что до них? А если Катьку в Ганду не пошлют, так тем лучше. Не хватало мне еще Катьки в Ганде, где идет пальба и огромные толпы негров поливают друг друга напалмом...

— Странные все какие-то вопросы были,— произнесла Катька тихо.— Необычные. Пап, у тебя правда все в порядке? Ты не скрываешь?

Вот почему никогда не дам я собственной своей, единственной и любимой дочери хоть страничку прочитать из Синей Папки. Как обожгло ее страхом после той статейки Брыжейкина о «Современных сказках», когда увезли меня с первым моим настоящим приступом стенокардии, так и осталась она до сих пор словно порченая. И сейчас вот — улыбается, острит, хвост пистолетом, а в глазах все тот же страх. Помню я эти глаза, когда в больнице сидела она возле моей койки...

Я успокоил ее, как умел, мы стали пить чай. Катька рассказывала про близнецов-бандитов, я рассказал про Петеньку Скоробогатова и про собрание, сделалось очень уютно, и неприятно было думать, что через четверть часа Катька соберется и уйдет. Потом я спохватился, отдал ей автомобили для бандитов и пригласительный билет на барда. Билет она приняла с восторгом и стала мне рассказывать про этого барда, какой он сейчас знаменитый, а я слушал и думал, как бы это поделикатнее дать ей понять, что про ателье и шубу (опять шуба!) я совсем не забыл, помню я про шубу, хотя она, Катька, мне о ней и не напоминает, просто с духом мне никак не собраться... Забрезжила тут у меня надежда, что в связи с командировкой в Ганду вопрос о шубе увянет сам собой: ну зачем ей шуба в этой Ганде?

Она уже одевалась, когда зазвонил телефон. Пришлось проститься наспех, и я взял трубку. Кирие элейсон! Господи, спаси нас и помилуй! Звонил О. Орешин.

Он звонил мне с тем, чтобы я сейчас же и немедленно, прямо и недвусмысленно выразил свое положительное отношение к справедливой его, Орешина, борьбе против беспардонного плагиатора Семена Колесниченко.

Заручившись моим положительным отношением, а он не скрывает, что я не первый, к кому он обращается за поддержкой, уже несколько авторитетных членов секретариата обещали ему полное содействие в беспощадной борьбе против плагиатчиков, без какового содействия, конечно же, немыслима сколько-нибудь реальная надежда на успех в разоблачении мафии плагиатчиков...

Я с болезненным даже любопытством ждал, как он будет выбираться из этой синтаксической спирали Бруно, я готов был пари держать, что он уже забыл, с чего начался у него этот неимоверный период, однако не на таковского я напал.

Так вот, заручившись моим положительным отношением, он, Орешин, на предстоящем заседании секретариата сумел бы поставить вопрос о мафии плагиатчиков с той резкостью и остротой, которой так не хватает нам, когда речь идет о людях, формально являющихся нашими коллегами, в то время как они морально и нравственно...

Я осторожно положил трубку на стол, принес стакан воды и принял сустак. Олег Орешин все бубнил. Я снова попытался понять его психологию. Откровенно говоря, месяц назад, в момент возгорания сыр-бора, я принял его за обыкновенного зоологического антисемита вроде лейб-гвардейцев. Но теперь я понимал, что ошибся. Не был он антисемитом. Более того, не был он и политическим демагогом. Он, по-видимому, искренне был потрясен тем, что вот он в муках, а может быть, и в порыве неистового вдохновения создал морально-нравственную ситуацию, пригвоздив к позорному столбу грубых и алчных медведей, а также ловких и пронырливых зайцев, и вдруг — пожалуйста! — возникает какой-то Колесниченко, ловкач, этакий мотылек, литературный паразит по призванию, ни мук творчества у него не бывает, ни вдохновения, а просто зоркие глаза да загребущие лапы — хватает то, что плохо лежит, тяп-ляп, быстренько перелопачивает — и готово! А чтобы половчее концы в воду, выдает свою стряпню за перевод с какого-то экзотического языка, уповая на то, что читать на нем все равно никто не умеет.

Дурак он, этот О. Орешин, вот что. Причем дурак не в обиходном, легком смысле слова, а дурак как представитель особого психологического типа. Он среди нас как пришелец-инопланетянин: совершенно иная система ценностей, незнакомая и чуждая психология, иные цели

существования, а то, что мы свысока считаем заскорузлым комплексом неполноценности, болезненным отклонением от психологической нормы, есть исходно здоровый костяк его миропонимания.

— ...а в противном случае никто из нас, честных писателей, а ведь их большинство, колесниченки просто бросаются в глаза, а большинство все-таки составляют такие люди, как мы с вами, для которых главное — честный труд, тщательное изучение материала, идейно-художественный уровень...

— И животноводство! — рявкнул я по наитию.

Целую секунду, а может быть и две, трубка молчала. Затем Орешин произнес нерешительно:

— Животноводство? Да... животноводство — без всякого сомнения... Но вы поймите, Феликс Александрович, какое обстоятельство для меня здесь является самым важным?..

И он затянул все сначала.

В общем, мы договорились с ним так, что я ознакомлюсь с этой историей поближе: прочитаю басню, прочитаю повесть, побеседую с Колесниченкой, а уж потом мы созвонимся и возобновим этот интересный и полезный разговор.

Ф-фу! Я бросил трубку и наподобие Счастливчика Джима, вскочивши с ногами на диван, принялся яростно чесать у себя под мышками и корчить ужасные гримасы. Нет спасенья, крутилось у меня в голове. Нет им спасенья, повторял я, подпрыгивая и гримасничая. Нет и не будет нам спасенья ныне и присно, и во веки веков, аминь! Потом я запыхался, упал на диван спиной и разбросал руки крестом.

Только сейчас я заметил, что в комнате совсем темно. Уже вечер, хоть и ранний, а все-таки вечер, и я не без грусти подумал, что всего несколько лет назад я в такую вот пору еще садился за машинку и набарабанивал две-три полноценные страницы, а теперь амба, товарищ Сорокин, теперь ничего путного в такую пору вам уже не набарабанить, только настроение себе испортите, и все дела...

И снова зазвонил телефон. Я, кряхтя, поднялся и взял трубку. Я еще не успел осознать вспыхнувшую надежду, что это Рита, когда мужской голос тихо произнес:

— Феликса Александровича, будьте добры.

— Я.

После маленькой паузы голос спросил:

— Простите, Феликс Александрович, вы получили наше письмо?

— Какое письмо?

— Э-э... Наверное, еще не дошло... Простите, Феликс Александрович... Мы тогда позвоним дня через два... Простите... До свидания...

И пошли короткие гудки.

Что за черт... Я торопливо перебрал в памяти письма последних дней и вдруг вспомнил про коричневый конверт без обратного адреса. Куда я его сунул? А! Я его в карман куртки сунул да и забыл... Невнятное тоскливое предчувствие, которое я ощутил давеча, обнаружив отсутствие обратного адреса, снова овладело мною.

Я включил свет, сходил в переднюю за конвертом и, усевшись за стол, стал разглядывать штемпели. Ничего особенного в штемпелях не оказалось. Москва, Г-69 — где это?.. Бумага очень плотная, на просвет не проглядывается, но на ощупь в конверте ничего, кроме письма, нет. Я взял ножницы и аккуратно, по самому краю, взрезал конверт. Внутри оказался второй, тоже тщательно заклеенный, но уже вполне стандартный почтовый конверт с картинкой. Адреса на нем не было, написано было только: «Феликсу Александровичу Сорокину лично! Посторонним не вскрывать!»

Я поймал себя на том, что сижу, выпятив губу, в полной нерешительности. Телефонный звонок... «Мы позвоним...» Катькин кадровик... Перспектива нести этот конверт куда следует и давать какие-то объяснения, в том числе и в письменном виде, навалилась на мою душу. А впрочем... «Да. Было какое-то письмо. Чушь какая-то. Не помню. Я, знаете, их много получаю, на каждый, знаете, чих не наздравствуешься...»

Я решительно взрезал и второй конверт.

В нем оказался листок почтовой бумаги с голубым обрезом. Четким и даже красивым почерком черными чернилами написано там было следующее. Без обращения.

«Мы давно уже догадались, кто Вы такой. Но не беспокойтесь, Ваша судьба так дорога и понятна нам, что с нашей стороны ни о какой угрозе разоблачения не может быть и речи. Наоборот, мы готовы приложить все силы к тому, чтобы погасить слухи, которые уже возникают относительно Вас и причин, по которым Вы среди нас оказались. Если Вы не можете покинуть нашу планету (или наше время) по техническим причинам,

то знайте: пусть наши технические возможности невелики, но они в полном Вашем распоряжении. Мы будем звонить Вам. Работайте спокойно».

Черт бы их всех подрал, анацефалов.

6. Банев. Возбуждение к активности

Виктор проснулся поздно, пора было обедать. Голова побаливала, но настроение оказалось неожиданно хорошим.

Вчера вечером, прикончив пачку сигарет, он спустился вниз, открыл дамской шпилькой чью-то машину, вывел Ирму через служебный вход и отвез ее к матери. Вначале они ехали молча. Он корчился от неприятнейших переживаний, а Ирма сидела рядом, чистенькая, опрятная, причесанная по последней моде — никаких косичек,— кажется, даже с накрашенными губами. Ему очень хотелось завязать разговор, но начинать надо было с признания своей беспросветной глупости, а это казалось ему непедагогичным. Кончилось все тем, что Ирма вдруг ни с того ни с сего разрешила ему курить (при условии, если все окна будут открыты) и принялась рассказывать, как ей было интересно, как это похоже на то, что она читала раньше, но не очень верила, какой он молодец, что устроил ей это неожиданное и в высшей степени поучительное приключение, что он вообще довольно хороший, не разводит скуку и не болтает глупостей, что Диана — «почти наша», всех ненавидит, но жалко вот, что у нее мало знаний, и слишком уж она любит выпить, но это, в конце концов, не страшно, ты тоже любишь выпить, а ребятам ты понравился, потому что говорил честно, не притворялся каким-нибудь хранителем высшего знания, и правильно, потому что никакой ты не хранитель, и даже Бол-Кунац сказал, что в городе ты — единственный стоящий человек, если не считать, конечно, доктора Голема, но Голем, собственно, к городу не имеет никакого отношения, и потом он не писатель, не выражает идеологии, а как ты считаешь, нужна идеология или лучше без нее. Сейчас многие полагают, что будущее за деидеологизацией...

Получился прекрасный разговор, собеседники были полны уважения друг к другу, и, вернувшись в гостиницу (автомобиль он загнал в какой-то захламленный двор), Виктор уже считал, что быть отцом — не такое

уж неблагодарное занятие, особенно если разбираешься в жизни и умеешь использовать даже теневые ее стороны в воспитательных целях. По этому поводу он выпил с Тэдди, который тоже был отцом и тоже интересовался воспитанием, ибо его первенцу было 14 лет — тяжелый переломный возраст, ты еще со своей наплачешься... то есть это его первому внуку было 14 лет, а воспитанием сына он не занимался потому, что сын свое детство провел в немецком концлагере. Детей бить нельзя, утверждал Тэдди. Их и без тебя будут всю жизнь колотить кому не лень, а если тебе хочется его ударить, дай лучше по морде самому себе, это будет полезнее.

После какой-то рюмки, однако, Виктор вспомнил, что Ирма ни словом не обмолвилась о его диком поведении у перекрестка, и пришел к выводу, что девчонка хитра и что вообще прибегать каждый раз к помощи любовницы, когда не знаешь, как выбраться из тяжелого положения, в которое сам же себя и загнал,— по меньшей мере нечестно. Эти соображения огорчили его, но тут пришел доктор Р. Квадрига и заказал свою обычную бутылку рома, и они выпили эту бутылку, после чего Виктору все опять стало представляться в радужном свете, потому что стало ясно, что Ирма попросту не хотела огорчать его, а это значит, что она уважает отца и, может быть, даже любит... Потом пришел еще кто-то и заказал еще что-то. Потом, вероятно, Виктор отправился спать... Вероятно... Надо полагать, что спать... Правда, сохранилось еще одно воспоминание: кафельный пол, сплошь залитый водой,— но что это был за пол и что это была за вода, вспомнить было невозможно. И не надо...

Приведя себя в порядок, Виктор спустился вниз, взял у портье свежие газеты и поговорил с ним о проклятой погоде.

— Как я вчера? — спросил он небрежно.— Ничего?

— В общем ничего,— сказал портье вежливо.— Счет вам Тэдди передаст.

— Ага,— сказал Виктор и, решив пока ничего не уточнять, пошел в ресторан. Ему показалось, что торшеров в зале поубавилось. Черт возьми,— испуганно подумал он. Тэдди еще не было. Виктор поклонился молодому человеку в очках и его спутнику, сел за свой столик и развернул газету. В мире все обстояло по-прежнему. Одна страна задерживала торговые суда другой страны, и эта другая страна посылала решительные протесты. Страны, которые нравились господину президенту, вели

справедливые войны во имя своих наций и демократии. Страны, которые господину президенту почему-либо не нравились, вели войны захватнические и даже, собственно, не войны вели, а попросту производили бандитские, злодейские нападения. Сам господин президент произнес двухчасовую речь о необходимости раз и навсегда покончить с коррупцией и благополучно перенес операцию удаления миндалин. Знакомый критик — большая сволочь — восхвалял новую книгу Роц-Тусова, и это было загадочно, потому что книга получилась хорошая.

Подошел официант, новый какой-то, незнакомый, дружелюбно посоветовал взять устрицы, принял заказ, помахал салфеткой по столику и удалился. Виктор отложил газеты, закурил и, расположившись поудобнее, стал думать о работе. После хорошей выпивки ему всегда с удовольствием думалось о работе. Хорошо бы написать оптимистическую, веселую повесть... О том, как живет на свете человек, любит свое дело, не дурак, любит друзей, и друзья его ценят, и о том, как ему хорошо,— славный такой парень, чудаковатый, остряк... Сюжета нет. А раз нет сюжета, значит, скучно. И вообще, если уж писать такую повесть, то надо разобраться, почему же этому хорошему человеку хорошо, и неизбежно придешь к выводу, что ему хорошо только потому, что у него любимая работа, а на все прочее ему наплевать. И тогда какой же он хороший человек, если ему на все наплевать, кроме любимой работы?.. Можно, конечно, написать про человека, смысл жизни которого состоит в любви к ближнему, ему потому хорошо, что он любит своих ближних и любит свое дело, но о таком человеке уже писали пару тысяч лет назад господа Лука, Матфей, Иоанн и еще кто-то — всего четверо. Вообще-то их было гораздо больше, но только эти четверо писали в соответствии, остальные были лишены кто национального самосознания, кто права переписки... а человек, о котором они писали, был, к сожалению, полоумный... А вообще, интересно было бы написать, как Христос приходит на Землю сегодня, не так, как писал Достоевский, а так, как писали эти Лука и компания... Христос приходит в генеральный штаб и предлагает: любите, мол, ближнего. А там, конечно, сидит какой-нибудь юдофоб...

— Вы разрешите, господин Банев? — пророкотал над ним приятный мужской голос.

Это был господин бургомистр собственной персоной. Не тот апоплексически-багровый, хрюкающий от нездо-

рового удовольствия боров на обширном ложе господина Росшепера, а элегантно-округлый, идеально выбритый и безукоризненно одетый представительный мужчина со скромной орденской ленточкой в петлице и со щитком Легиона Свободы на левом плече.

— Прошу,— сказал Виктор без всякой радости.

Господин бургомистр сел, огляделся и сложил руки на столе.

— Я постараюсь не обременять вас долго своим присутствием, господин Банев,— сказал он,— и попытаюсь не портить вашу трапезу, однако же вопрос, с коим я намерен к вам обратиться, назрел уже достаточно для того, чтобы все мы, и большие, и малые, кому дороги честь и благополучие нашего города, были готовы отложить наши дела для его скорейшего и эффективнейшего разрешения.

— Я вас слушаю,— сказал Виктор.

— Мы встречаемся с вами здесь, господин Банев, в обстановке скорее неофициальной, ибо я, сознавая вашу занятость, не рискнул обеспокоить вас в часы вашей работы, особенно принимая во внимание специфику оной. Однако же я обращаюсь к вам сейчас как лицо вполне официальное — и от своего имени лично, и от имени муниципалитета в целом...

Официант принес устрицы и бутылку белого вина. Бургомистр подъятием пальца остановил его.

— Друг мой,— сказал он.— Полпорции китчинганской осетрины и рюмку мятной. Осетрину без соуса... Итак, я продолжаю,— сказал он, снова оборотившись к Виктору.— Боюсь, правда, что наш разговор трудно будет счесть застольной беседой, ибо речь пойдет о вещах и обстоятельствах не только печальных, но я бы даже сказал, неаппетитных. Я намеревался поговорить с вами о так называемых мокрецах, об этой злокачественной опухоли, которая вот уже не первый год разъедает нашу несчастную округу.

— Да-да,— сказал Виктор. Ему стало интересно.

Бургомистр произнес негромкую, хорошо продуманную и стилистически совершенную речь. Он рассказал о том, как двадцать лет назад, сразу после оккупации, в Лошадиной Лощине был создан лепрозорий, карантинный лагерь для лиц, страдающих так называемой желтой проказой, или очковой болезнью. Собственно говоря, болезнь эта, как хорошо известно господину Баневу, появилась в нашей стране еще в незапамятные времена,

причем, как показывают специальные исследования, особенно часто она почему-то поражала жителей именно нашей округи. Однако только благодаря усилиям господина президента на эту болезнь было обращено самое серьезное внимание, и лишь по его личному указанию несчастные, лишенные медицинского ухода, разбросанные ранее по всей стране, подвергаемые зачастую несправедливым гонениям со стороны отсталых слоев населения, а со стороны оккупантов — даже прямому истреблению, эти несчастные были, наконец, свезены в одно место и получили возможность сносного существования, приличествующего их положению. Все это не вызывает никаких возражений, и упомянутые меры могут только приветствоваться, однако, как это у нас иногда бывает, самые лучшие и благородные начинания обернулись против нас. Не будем сейчас искать виновных. Не будем заниматься расследованием деятельности господина Голема, деятельности, возможно, самоотверженной, но, однако же, чреватой, как теперь выяснилось, самыми неприятными последствиями. Не будем также заниматься преждевременным критиканством, хотя позиция некоторых, достаточно высоких инстанций, упорно игнорирующих наши протесты, представляется лично нам загадочной. Перейдем к фактам... Бургомистр выпил рюмку мятной, вкусно закусил осетринкой, и голос его сделался еще более бархатистым — совершенно невозможно было представить себе, что он ставит на людей капканы. Он многословно выразил желание не задерживать внимание господина Банева на овладевших городом слухах, каковые слухи, он должен прямо признаться, есть результат недостаточно точного и единодушного исполнения всеми уровнями администрации предначертаний господина президента: мы имеем в виду чрезвычайно распространенное мнение о роковой роли так называемых мокрецов в резком изменении климата, об их ответственности за увеличение числа выкидышей и процента бесплодных браков, за гомерический исход из города некоторых домашних животных и за появление особой разновидности домашнего клопа, а именно — клопа крылатого...

— Господин бургомистр,— сказал со вздохом Виктор.— Должен вам признаться, что мне крайне трудно следить за вашими длинными периодами. Давайте говорить просто, как добрые сыновья одной нации. Давайте не будем говорить, о чем мы не будем говорить, а будем — о чем будем.

Бургомистр окинул его быстрым взглядом, что-то рассчитал, что-то сопоставил, черт его знает, что он там сопоставлял, но, наверное, все пошло в ход — и то, что Виктор пьянствовал с Росшепером, и то, что он вообще пьянствовал, шумно, на всю страну, и то, что Ирма — вундеркинд, и то, что есть на свете такая Диана, и еще, наверное, многое что — так что лоску у господина бургомистра на глазах поубавилось, и он крикнул подать себе рюмку коньяку. Виктор тоже крикнул подать себе рюмку коньяку. Бургомистр хохотнул, оглядел опустевший уже зал, легонько ударил кулаком по столу и сказал:

— Ладно уж, что нам с вами вилять. Жить в городе стало невозможно, скажите спасибо вашему Голему — кстати, вы знаете, что Голем — скрытый коммунист?.. Да-да, уверяю вас, есть материалы... он на ниточке висит, ваш Голем... Так вот я и говорю: детей развращают на глазах. Эти заразы просочились в школу и испортили ребятишек начисто... избиратели недовольны, некоторые город покидают, идет брожение, того и гляди, начнутся и самосуды, окружная администрация бездействует, вот какая у нас ситуация.— Он осушил рюмку.— Должен вам сказать, как я ненавижу эту мразь,— зубами бы рвал, да тошнит. Вы не поверите, господин Банев, дошел до того, что капканы на них ставлю... Ну, развратили детей, ладно. Дети есть дети, их сколько ни развращай — им все мало. Но вы войдите в мое положение. Дожди эти — все-таки их работа, не знаю, как это у них получается, но это так. Построили санаторий, целебные воды, роскошный климат, деньги греби лопатой. Сюда из столицы ездили, и чем все это кончилось? Дождь, туманы, клиенты в насморке, дальше — больше, приезжает сюда известный физик... забыл его фамилию, ну, да вы, наверное, знаете... прожил две недели — готово: очковая болезнь, в лепрозорий его. Хорошенькая реклама для санатория! Потом еще случай, потом еще, и всё — как ножом клиентов отрезало. Ресторан этот горит, санаторий едва дышит — слава богу, нашелся дурак-тренер, тренирует команду экстра для игры в дождливых странах... Ну и господин Росшепер, конечно, помогает в какой-то степени... Вы мне сочувствуете? Пробовал я договориться с этим Големом — как об стенку горох: красный есть красный. Писал наверх — никаких результатов. Писал выше — ничего. Еще выше — отвечают, что приняли к сведению и дали делу ход вниз по инстанции... Ненавижу их, но переломил себя, поехал в лепро-

зорий сам. Пропустили. Просил, доказывал... До чего же гадкие типы! Моргают на тебя облезлыми своими глазами, как на воробья какого-нибудь, словно тебя здесь нет...— Он наклонился к Виктору и прошептал: — Бунта боюсь, кровь прольется. Вы мне сочувствуете?

— Да,— сказал Виктор.— А при чем здесь я?

Бургомистр откинулся на спинку кресла, достал из алюминиевого футляра початую сигару, закурил.

— В моем положении,— сказал он,— остается одно: нажимать на все рычаги. Гласность нужна. Муниципалитет составил петицию в департамент здравоохранения, господин Росшепер подпишется, вы, я надеюсь, тоже, но это не бог весть что. Гласность нужна! Хорошая статья нужна в столичной газете, подписанная известным именем. Вашим именем, господин Банев. А материал животрепещущий — как раз для такого трибуна, как вы. Очень прошу. И от себя лично, и от муниципалитета, и от несчастных родителей... Добиться, чтобы лепрозорий убрали отсюда к чертовой бабушке! Куда угодно, но чтобы духу здесь мокрецового не было, заразы этой. Вот что я вам имел сказать.

— Да-да, понимаю,— сказал Виктор медленно.— Очень хорошо вас понимаю.

Хоть ты и скотина, думал он, хоть ты и боров, но понять тебя можно. Но что же это сделалось с мокрецами? Были тихие, сгорбленные, крались сторонкой, ничего о них такого не говорили, а говорили, будто воняет от них, будто заразные, будто здорово делают игрушки и вообще разные штуки из дерева... мать Фрэда говорила, помнится, что у них дурной глаз, что молоко от них киснет и что накличут они нам войну, мор и голод... А теперь сидят они за колючей проволокой, и что же они там у себя делают? Ох, много что-то они делают. И погоду они делают, и детей они переманивают (зачем?), и кошек они вывели (тоже зачем?), и клопы у них залетали...

— Вы, наверное, думаете, что мы сидим сложа руки,— сказал бургомистр.— Ни в коем случае. Но что мы можем? Готовлю я процесс против Голема. Господин санитарный инспектор Павор Суман согласен быть консультантом. Будем упирать на то, что вопрос об инфекционности болезни еще отнюдь не решен, а Голем, как скрытый коммунист, этим пользуется. Это одно. Далее, пытаемся отвечать террором на террор. Городской Легион, наша гордость, ребята подобрались золотые, орлы... но это

как-то не то. Указаний сверху ведь не поступает... Полиция в ложном положении оказывается... и вообще... Так что препятствуем, как можем. Задерживаем грузы, которые идут к ним... частные, конечно, не продовольствие там, и не постельные принадлежности, а вот книги всякие, они их много выписывают... Вот сегодня задержали грузовик, и как-то легче на душе. Но это все мелочи, от тоски, а надо бы радикально...

— Так,— сказал Виктор.— Орлы, значит, золотые. Как его там... Фламенда?.. Ну, тот, племянник...

— Фламин Ювента,— сказал бургомистр,— мой заместитель по Легиону, орел! Вы его уже знаете?

— Знаю немного,— сказал Виктор.— А книги-то зачем задерживать?

— Ну как зачем... Глупость это, конечно, но все мы люди, все мы человеки — накипает все-таки. И потом...— Бургомистр стыдливо заулыбался.— Чепуха, конечно, но ходят слухи, будто без книг они не могут... как нормальные люди без еды и прочего.

Наступило молчание. Виктор без аппетита ковырял вилкой бифштекс и размышлял. Я мало знаю о мокрецах, и то, что я знаю, не вызывает у меня к ним никаких симпатий. Может быть, просто я не очень-то любил их с детства. Но уж бургомистра и его банду я знаю хорошо — жир и сало нации, президентские холуи, черносотенцы... Нет, раз вы против мокрецов, значит, в мокрецах что-то есть... С другой стороны, статью написать можно даже самую разнузданную, все равно никто не рискнет меня напечатать, а бургомистр был бы доволен, и получил бы я с него шерсти клок, и мог бы жить здесь припеваючи... Кто из настоящих писателей может похвастаться, что живет припеваючи? Можно было бы здесь устроиться, получить синекуру, заделаться, например, каким-нибудь инспектором муниципалитета по городским пляжам и писать на здоровьице... про то, как хорошо жить хорошему человеку, который увлечен любимым делом... и выступить на эту тему перед вундеркиндами... Э, весь фокус в том, чтобы научиться утираться. Плюнули тебе в морду, а ты и утерся. Сначала со стыдом утерся, потом с недоумением, а там, глядишь, начнешь утираться с достоинством и даже получать от этого процесса удовольствие...

— Мы, конечно, ни в коей мере вас не торопим,— сказал бургомистр.— Вы — человек занятой и так далее. Что-нибудь в пределах недельки, а? Материалы мы все

вам предоставим, можем предоставить даже этакую схемку, планчик, по которому было бы желательно... а вы коснетесь опытной рукой, и все заиграет. И подписались бы под статьей три выдающихся сына нашего города — член парламента Росшепер Нант, знаменитый писатель Банев и государственный лауреат доктор Рем Квадрига...

Здорово работает, подумал Виктор. Вот у нас, у левых, такой настойчивости и в помине нет. Тянули бы бодягу, ходили бы вокруг да около — не оскорбить бы человека, не оказать бы на него излишнего нажима, чтобы, упаси бог, не заподозрил бы в корыстных намерениях... Выдающиеся сыновья!.. И ведь совершенно уверен, подлец, что статью я напишу и подпишу, что деваться мне некуда, что придется опальному Баневу поднять лапки и в поте души отработать свое безмятежное пребывание в родном городишке... Вот и насчет схемки ввернул... знаем мы, что это за схемка и какая это должна быть схемка, чтобы забрызганного президентскими слюнями Банева и сейчас напечатали. Да-а, господин Банев... коньячок любишь, девочек любишь, миноги маринованные с луком любишь, так люби и саночки возить...

— Я обдумаю ваше предложение,— сказал он, улыбаясь.— Замысел представляется мне достаточно интересным, но осуществление потребует некоторого напряжения совести.— Он безобразно, похабно подмигнул бургомистру.

Бургомистр гоготнул.

— А как же! «Совесть нации, точное зеркало» и прочее... Помню, как же...— Он снова наклонился к Виктору с видом заговорщика.— Прошу вас завтра ко мне,— пророкотал он.— Исключительно свои подберутся. Только, чур, без жен. А?

— Вот здесь,— сказал Виктор, вставая,— я вынужден прямо и решительно отклонить ваше предложение. Меня ждут дела.— Он опять похабно подмигнул.— В санатории.

Они расстались почти приятелями. Писатель Банев был зачислен в состав городской элиты, и, чтобы привести в порядок потрясенные такой честью нервы, ему пришлось вылакать фужер коньяку, едва спина господина бургомистра скрылась за дверью. Можно, конечно, уехать отсюда к чертовой матери, думал Виктор. За границу меня не выпустят, да и не хочу я за границу, чего мне там делать, везде одно и то же. Но и у нас в стране

найдется десяток мест, где можно укрыться и отсидеться. Он представил себе солнечный край, буковые рощи, пьянящий воздух, молчаливых фермеров, запахи молока и меда... и навоза, и комары... и как воняет отхожее место, и скучища... и древние телевизоры, и местная интеллигенция: шустрый поп-бабник и сильно пьющий самогон учитель... А в общем, что там говорить, есть куда уехать. Но ведь им только и надо, чтобы я уехал, чтобы скрылся с глаз долой, забился в нору, причем сам, без принуждения, потому что ссылать меня хлопотно, шум пойдет, разговоры... вот ведь в чем вся беда: они же будут очень довольны — уехал, заткнулся, забыт, перестал бренчать...

Виктор расплатился, поднялся к себе в номер, надел плащ и вышел под дождь. Ему вдруг очень захотелось снова повидать Ирму, поговорить с ней о прогрессе, разъяснить, почему он так много пьет (а действительно, почему я так много пью?), и, может быть, Бол-Кунац окажется там, а уж Лолы наверняка не будет... Улицы были мокрые, серые, пустые, в палисадниках тихо гибли от сырости яблони. Виктор впервые обратил внимание на то, что некоторые дома заколочены. Городок все-таки сильно переменился — покосились заборы, под карнизами высыпала белая плесень, вылиняли краски, а на улицах безраздельно царил дождь. Дождь падал просто так, дождь сеялся с крыш мелкой водяной пылью, дождь собирался на сквозняках в туманные крутящиеся столбы, волочащиеся от стены к стене, дождь с урчанием хлестал из ржавых водосточных труб, дождь разливался по мостовой и бежал по промытым между булыжников руслам. Черносерые тучи медленно ползали над самыми крышами. Человек был незваным гостем на улицах, и дождь его не жаловал.

Виктор вышел на городскую площадь и увидел людей. Они стояли под навесом на крыльце полицейского управления — двое полицейских в форменных плащах и маленький чумазый парнишка в промасленном комбинезоне. Перед крыльцом, левыми колесами на тротуаре, громоздился неуклюжий автофургон с брезентовым верхом. Один из полицейских был полицмейстер; выпятив могучую челюсть, он глядел в сторону, а парнишка, отчаянно жестикулируя, что-то доказывал ему плаксивым голосом. Другой полицейский тоже молчал с недовольным видом и сосал сигарету. Виктор приближался к ним, и шагов за двадцать до крыльца ему стало слышно, что говорит парень. Парень кричал:

— А я-то здесь при чем? Правил я не нарушал? Не нарушал. Бумаги у меня в порядке? В порядке. Груз правильный, вот накладная. Да что я, первый раз здесь езжу, что ли?..

Полицмейстер заметил Виктора, и лицо его приняло чрезвычайно неприязненное выражение. Он отвернулся и, словно бы не видя парнишки, сказал полицейскому:

— Значит, здесь будешь стоять. Смотри, чтобы все было в порядке. И в кабину не залезай, а то всё растащат. И никого к машине не подпускай. Понял?

— Понял,— сказал полицейский. Он был очень недоволен.

Начальник полиции спустился с крыльца, сел в свой автомобиль и уехал. Чумазый парнишка со злостью плюнул и воззвал к Виктору:

— Ну вот хоть вы скажите, виноват я или нет? — Виктор приостановился, и парня это воодушевило.— Еду нормально. Везу книги в спецзону. Тыщу раз уже возил. Теперь, значит, останавливают, приказывают ехать в полицию. За что? Правил я не нарушал? Не нарушал. Бумаги в порядке? В порядке, вот накладная. Лицензию отобрали, чтобы не сбежал. А куда мне бежать?

— Хватит тебе орать,— сказал полицейский.

Парень живо к нему обернулся.

— Так что я сделал? Скажите, я скорость превысил? Не превысил. С меня же за простой вычтут. И документ вот отобрали...

— Разберутся,— сказал полицейский.— Чего ты расстраиваешься? Пойди вон в трактир, твое дело маленькое.

— Э-эх, начальнички-и! — вскричал парень, с размаху напяливая на всклокоченную голову картуз.— Нигде правды нету! Налево ездишь — задерживают, направо ездишь — опять задерживают.— Он спустился было с крыльца, но остановился и сказал полицейскому просительно: — Может, штраф возьмете или как-нибудь?

— Иди-иди,— проговорил полицейский.

— Так мне же премию обещали за срочность! Всю ночь гнал...

— Иди, говорю! — сказал полицейский.

Парень снова плюнул, подошел к своему фургону, два раза лягнул по переднему скату, потом вдруг ссутулился и, сунув руки в карманы, почесал через площадь.

Полицейский посмотрел на Виктора, посмотрел на грузовик, посмотрел на небо, сигарета у него погасла, он

выплюнул окурок и, на ходу отгибая капюшон, ушел в управление.

Виктор постоял некоторое время, затем медленно двинулся вокруг грузовика. Грузовик был здоровенный, мощный, раньше на таких возили мотопехоту. Виктор огляделся. В нескольких метрах перед грузовиком, свернув набок переднее колесо, мокнул под дождем полицейский «харлей», а больше машин поблизости не было. Догнать они меня догонят, подумал Виктор, но хрен они меня остановят. Ему стало весело. А какого черта, подумал он: известный писатель Банев, снова напившись пьян, угнал в целях развлечения чужую машину; к счастью, обошлось без жертв... Он понимал, что всё обстоит не так просто, что не он будет первый, кто доставляет властям благовидный предлог упрятать беспокойного человека в кутузку, но не хотелось раздумывать, хотелось повиноваться импульсу. В крайнем случае, напишу гаду статью, подумал он мельком.

Он быстро открыл дверцу кабины и сел за руль. Ключа не было, пришлось оборвать провода зажигания и соединить их накоротко. Когда мотор уже завелся, Виктор, прежде чем захлопнуть дверцу, поглядел назад, на крыльцо управления. Там стоял давешний полицейский все с тем же недовольным выражением лица и с сигаретой на губе. Заметно было, что он ничего еще не понимает. Виктор захлопнул дверцу, аккуратно съехал на мостовую, переключил скорость и рванулся в ближайший проезд.

Было очень хорошо гнать по пустым, по заведомо пустым улицам, подымая колесами водопады из глубоких луж, ворочать тяжелый руль, наваливаясь всем телом,— мимо консервного завода, мимо парка, мимо стадиона, где «Братья по разуму», словно мокрые механизмы, все пинали и пинали свои мячи, и дальше, по шоссе, по рытвинам, подпрыгивая на сиденье и слыша, как сзади в кузове каждый раз тяжело ухает плохо закрепленный груз. В зеркальце заднего вида погоня не обнаруживалась, да и вряд ли можно было ее заметить так скоро за таким дождем. Виктор чувствовал себя очень молодым, очень кому-то нужным и даже пьяным. С потолка кабины ему подмигивали красотки, вырезанные из журналов, в «бардачке» он нашел пачку сигарет, и ему было так хорошо, что он чуть не проскочил перекресток, но вовремя притормозил и свернул по стрелке указателя: «Лепрозорий — 6 км». Здесь он почувствовал себя первооткры-

вателем, потому что еще ни разу не ездил и не ходил по этой дороге. А дорога оказалась хорошая, не в пример муниципальному шоссе — сначала очень ровный ухоженный асфальт, а потом даже бетонка, и, когда он увидел бетонку, он сразу вспомнил про проволоку и про солдат, а еще через пять минут он все это увидел.

Проволочная ограда в один ряд тянулась в обе стороны от бетонки и пропадала за дождем. Дорогу перегораживали высокие ворота с караульной будкой, дверь будки была распахнута, и на пороге уже стоял солдат в каске, в сапогах и в плащ-накидке, из-под которой высовывался ствол автомата. Еще один солдат, без каски, глядел в окошечко. «Никогда я не был в лагерях,— пропел Виктор,— но не говорите: слава богу...» Он сбросил газ и затормозил перед самыми воротами. Солдат вышел из будки и подошел к нему — молоденький такой, веснушчатый солдатик, всего лет восемнадцати.

— Здравствуйте,— сказал он.— Что вы так припоздали?

— Да вот, обстоятельства,— сказал Виктор, дивясь такому либерализму.

Солдатик оглядел его и вдруг подобрался.

— Ваши документы,— сказал он сухо.

— Какие там документы,— сказал Виктор весело.— Я же говорю — обстоятельства.

Солдат поджал губы.

— Вы что привезли? — спросил он.

— Книги,— сказал Виктор.

— А пропуск есть?

— Конечно, нет.

— Ага,— сказал солдат, и его лицо прояснилось.— То-то я гляжу... Тогда подождите. Тогда подождать вам придется.

— Имейте в виду,— сказал Виктор, подняв указательный палец.— За мною может быть погоня.

— Ничего, я быстро,— сказал солдат и, придерживая на груди автомат, забухал сапогами к караулке.

Виктор вылез из кабины и, стоя на подножке, поглядел назад. Ничего не было видно за дождем. Тогда он вернулся за руль и закурил. Было очень забавно. Впереди, за проволокой и за воротами, тоже крутился дождь, там угадывались какие-то темные сооружения — то ли дома, то ли башни, но разобрать что-нибудь определенное было невозможно. Неужели не пригласят посмотреть?— подумал Виктор. Свинство будет, если не при-

гласят. Можно, правда, попытаться воззвать к Голему, он сейчас где-нибудь здесь... Так и сделаю, подумал он. Зря я, что ли, геройствовал...

Солдатик снова вышел из караулки, а за ним выскочил старый знакомец, прыщавый мальчик-нигилист в одних трусах, очень сейчас веселый и без всяких следов всемирной тоски. Обогнав солдата, он вспрыгнул на подножку, заглянул в кабину, узнал, ахнул и засмеялся.

— Здравствуйте, господин Банев? Это вы? Вот здорово... Вы ведь книги привезли? А мы ждем-ждем...

— Ну что, все в порядке? — спросил подошедший солдатик.

— Да, это наша машина.

— Тогда загоняйте,— сказал солдатик.— А вам, сударь, придется выйти и подождать.

— Я хотел бы повидать доктора Голема,— сказал Виктор.

— Можно вызвать сюда,— предложил солдатик.

— Гм,— сказал Виктор и выразительно поглядел на мальчика. Мальчик виновато развел руками.

— У вас пропуска нет,— объяснил он.— А без пропуска они никого не пускают. Мы бы с радостью...

Ничего не оставалось, пришлось вылезать под дождь. Виктор соскочил на дорогу и, подняв капюшон, смотрел, как распахнулись ворота, грузовик дернулся и рывками заполз за ограду. Потом ворота закрылись. Виктор еще некоторое время слышал завывание двигателя и шипение тормозов, потом ничего не стало слышно, кроме шороха и плеска. Вот так так, подумал Виктор. А я? Он ощутил разочарование. Только теперь он понял, что совершал свои подвиги не бескорыстно, что он надеялся многое увидеть и многое понять... проникнуть, так сказать, в эпицентр. Ну и черт с вами, подумал он. Он поглядел вдоль бетонки. До перекрестка шесть километров, и от перекрестка до города километров двадцать. Можно, конечно, от перекрестка до санатория — два километра. Свиньи неблагодарные... Под дождем... Тут он заметил, что дождь ослабел. И на том спасибо, подумал он.

— Так вызвать вам господина Голема? — спросил солдат.

— Голема? — Виктор оживился. Вообще неплохо бы прогнать старого хрыча под дождем взад и вперед, и потом у него — машина. И фляга.— А что ж, вызовите.

— Это можно,— сказал солдатик.— Вызовем. Только навряд он выйдет, обязательно скажет, что занят.

— Ничего, ничего,— сказал Виктор.— Вы ему скажите, что Банев спрашивает.

— Банев? Ладно, скажу. Только он все равно не выйдет. Ну, да мне нетрудно. Банев, значит...— И солдатик ушел, симпатичный такой солдатик, сплошные веснушки под каской.

Виктор закурил сигарету, и тут раздался треск мотоциклетного двигателя. Из туманной пелены на сумасшедшей скорости выскочил «харлей» с коляской, подлетел вплотную к воротам и остановился. В седле сидел тот самый полицейский с недовольным лицом, и еще один, до глаз закутанный в брезент, сидел в коляске. Сейчас начнется, подумал Виктор, надвигая капюшон поглубже. Но это не помогло. Полицейский с недовольным лицом слез с мотоцикла, подошел к Виктору и рявкнул:

— Где грузовик?

— Какой грузовик? — изумленно сказал Виктор, чтобы выиграть время.

— А вы не прикидывайтесь! — заорал полицейский.— Я вас видел! Вы под суд пойдете! Угон арестованной машины!

— Вы на меня не орите,— возразил Виктор с достоинством.— Что за хамство? Я буду жаловаться.

Второй полицейский, разматывая на ходу брезентовые покровы, подошел и спросил:

— Тот?

— Ясно, тот! — сказал полицейский с недовольным лицом, извлекая из кармана наручники.

— Но-но-но! — сказал Виктор, отступив на шаг.— Это произвол! Как вы смеете?

— Не отягчайте вины сопротивлением,— посоветовал второй полицейский.

— А я ни в чем не виноват,— нагло заявил Виктор и сунул руки в карманы.— Вы меня с кем-то путаете, ребята.

— Вы угнали грузовик,— сказал второй полицейский.

— Какой грузовик? — вскричал Виктор.— При чем тут грузовик? Я пришел сюда в гости к господину Голему, главному врачу. Спросите у охраны. При чем здесь какой-то грузовик?

— А может быть, не тот? — усомнился второй полицейский.

— Ну как не тот? — возразил полицейский с недовольным лицом. Держа наготове наручники, он надвинулся на Виктора.— А ну, давай руки! — сказал он деловито.

И тут дверь караулки хлопнула, и высокий пронзительный голос прокричал:

— Прекратить скопление!

Виктор и полицейский вздрогнули. На пороге караулки стоял веснушчатый солдатик, выставив из-под накидки автомат.

— Отойти от ворот! — пронзительно крикнул он.

— Ты там потише! — сказал полицейский с недовольным лицом.— Здесь полиция.

— Ска-апление у ворот спецзоны более одного постороннего человека запрещается! После третьего предупреждения стреляю! Отойти от ворот!

— Давайте, давайте, отходите,— озабоченно сказал Виктор, тихонько подталкивая в грудь обоих полицейских. Полицейский с недовольным лицом растерянно поглядел на него, отвел его руку и шагнул к солдату.

— Слушай, парень, ты что, сдурел? — сказал он.— Этот тип угнал грузовик.

— Никаких грузовиков! — протяжно и пронзительно проорал симпатичный ласковый солдатик.— Па-аследнее предупреждение! Двоим отойти на сто метров от ворот!

— Слушай, Рох,— сказал второй полицейский.— Давай отойдем, ну их к богу. Никуда он от нас не денется.

Полицейский с недовольным лицом, багровый от негодования, открыл было снова рот, но тут в дверях караулки появился толстый сержант с обкусанным бутербродом в одной руке и со стаканом в другой.

— Рядовой Джура,— сказал он, жуя.— Почему не открываете огонь?

На веснушчатом лице под каской появилось выражение озверелости. Полицейские бросились к мотоциклу, оседлали его, развернулись мимо Виктора, принявшего позу регулировщика, и ринулись прочь. Багровый полицейский прокричал ему что-то неслышное за треском мотора. Отъехав шагов на пятьдесят, они остановились.

— Близко,— сказал сержант с неодобрением.— Что же ты смотришь? Близко ведь.

— Дальше! — пронзительным голосом завопил солдатик, взмахивая автоматом. Полицейские отъехали дальше, и их не стало видно.

— Повадились посторонние толпиться у ворот,— сообщил сержант солдатику, глядя на Виктора.— Ну, ладно, продолжай нести службу.— Он вернулся в караулку, а веснушчатый солдатик, понемногу остывая, несколько раз прошелся взад-вперед перед воротами.

Выждав несколько минут, Виктор осторожно осведомился:

— Прошу прощения, как там насчет доктора Голема?

— Нет его,— буркнул солдатик.

— Какая жалость,— сказал Виктор.— Тогда я пойду, пожалуй...— Он посмотрел в туман и дождь, где скрывались полицейские.

— Как так — пойдете? — встревоженно сказал солдатик.

— А что, нельзя? — спросил Виктор, тоже встревоженно.

— Почему нельзя,— сказал солдатик.— А насчет грузовика. Вы уйдете, а грузовик как же? Грузовики от ворот положено уводить.

— А я здесь при чем? — спросил Виктор, тревожась все больше.

— Как так — при чем? Вы его привели, вы его... это... Всегда же так, а как же?

Черт, подумал Виктор. Куда я его дену?.. С расстояния в сто метров доносился треск мотоциклетного мотора, работающего на холостых оборотах.

— Вы его правда угнали? — спросил солдатик с любопытством.

— Ну да! Полиция задержала шофера, а я, дурак, решил помочь...

— Да-а,— сочувственно протянул солдатик.— Прямо и не знаю, что вам посоветовать.

— А если я сейчас, скажем, пойду себе? — вкрадчиво спросил Виктор.— Стрелять не будете?

— Не знаю,— честно признался солдатик.— Вроде бы не положено. Спросить?

— Спросите,— сказал Виктор, соображая, успеет он удрать за пределы видимости или нет.

В эту минуту за воротами раздался гудок. Ворота растворились, и из зоны медленно выкатился злосчастный автофургон. Он остановился рядом с Виктором, дверца распахнулась, и Виктор увидел, что за рулем сидит уже не мальчик, как он ожидал, а лысый сутулый мокрец и смотрит на него. Виктор не двинулся с места, и тогда мокрец снял с руля руку в черной перчатке и приглашающе похлопал по сидению рядом с собой. Соизволили снизойти, горько подумал Виктор. Солдатик радостно сказал:

— Ну вот и хорошо, вот все и устроилось, поезжайте с богом.

У Виктора мелькнула мысль, что раз уж мокрец намерен сам доставить грузовик в город или куда там еще, словом, намерен сам иметь дело с полицией, то хорошо было бы тут же распрощаться и дунуть прямо через поле в санаторий, в обход засевшего в засаде «харлея».

— Там впереди полиция,— сказал он мокрецу.

— Ничего, садитесь,— сказал мокрец.

— Видите ли, я украл этот грузовик из-под ареста.

— Я знаю,— терпеливо сказал мокрец.— Садитесь.

Момент был упущен. Виктор вежливо и сердечно попрощался с солдатиком, забрался на сиденье и захлопнул дверцу. Грузовик тронулся, и через минуту они увидели «харлей». «Харлей» стоял поперек шоссе, оба полицейских стояли рядом и делали жесты — к обочине. Мокрец затормозил, выключил двигатель и, высунувшись из кабины, сказал:

— Уберите мотоцикл, вы загородили дорогу.

— А ну, к обочине! — скомандовал полицейский с недовольным лицом.— И предъявите документы.

— Я еду в полицейское управление,— сказал мокрец.— Может быть, поговорим там?

Полицейский несколько растерялся и проворчал что-то вроде «знаем мы вас». Мокрец спокойно ждал.

— Ладно,— сказал, наконец, полицейский.— Только машину поведу я, а этот пусть перейдет в мотоцикл.

— Пожалуйста,— согласился мокрец.— Но если можно, в мотоцикле поеду я.

— Еще лучше,— проворчал полицейский с недовольным лицом. У него даже лицо просветлело.— Вылезайте.

Они поменялись местами. Полицейский, зловеще покосившись на Виктора, принялся ёрзать и изгибаться на сиденье, поправляя плащ, а Виктор, косясь на полицейского, смотрел, как мокрец, еще сильнее сутулясь и косолапя, похожий со спины на огромную тощую обезьяну, идет к мотоциклу и забирается в коляску. Дождь снова хлынул, как из ведра, и полицейский включил дворники. Кортеж двинулся.

Хотел бы я знать, чем все это кончится, с некоторой томительностью подумал Виктор. Смутную надежду, впрочем, подавало намерение мокреца явиться в полицию. Обнаглел мокрец нынешний, изнахалился... Но штраф, во всяком случае, с меня сдерут, этого не миновать. Чтобы полиция да потеряла случай содрать с человека штраф... А, плевать я хотел, все равно придется уносить отсюда

ноги. Все хорошо. По крайней мере, душу отвел... Он вытащил пачку сигарет и предложил полицейскому. Полицейский негодующе хрюкнул, но взял. Зажигалка у него не работала, и пришлось ему хрюкнуть еще раз, когда Виктор поднес ему свою. Вообще его можно было понять, этого немолодого дядьку, лет сорока пяти, наверное, а все ходит в младших полицейских, очевидно, из бывших коллаборационистов: не тех сажал и не ту задницу лизал, да и где ему в задницах разбираться — та или не та... Полицейский курил, и вид у него уже был менее недовольный: дела его оборачивались к лучшему. Эх, бутылку бы мне сюда, подумал Виктор. Дал бы ему хлебнуть, рассказал бы ему пару ирландских анекдотов, поругал бы начальство, у которого сплошь любимчики верховодят, студентов бы обложил, глядишь — и оттаял бы человек.

— Надо же, какой дождь хлещет,— сказал Виктор.

Полицейский хрюкнул довольно нейтрально, без озлобления.

— А ведь какой раньше здесь климат был,— продолжал Виктор. Тут его осенило.— И вот заметьте: у них там в лепрозории дождя нет, а как подъезжает человек к городу, так сразу ливень.

— Да уж,— сказал полицейский.— Они там в лепрозории ловко устроились.

Контакт налаживался. Поговорили о погоде — какая она была и какой, черт подери, стала. Выяснили общих знакомых в городе. Поговорили о столичной жизни, о мини-юбках, о язве гомосексуализма, об импортном бренди и о контрабандных наркотиках. Естественно, отметили, что порядка не стало — не то, что до войны или, скажем, сразу после. Что полицейский — собачья должность, хотя и пишут в газетах: добрые, мол, и строгие стражи порядка, незаменимая шестерня государственного механизма. А пенсионный возраст увеличивают, пенсии уменьшают, за ранение на посту дают гроши, да еще вот теперь оружие отобрали, и — кто при таких условиях будет лезть из шкуры... Словом, обстановка создалась такая, что еще бы пару глотков, и полицейский сказал бы: «Ладно, парень, бог с тобой. Я тебя не видел, и ты меня не видел». Однако пары глотков не было, а момент для вручения красненькой не успел созреть, так что когда грузовик подкатил к подъезду полицейского управления, полицейский снова поугрюмел и сухо предложил Виктору следовать за ним и поторапливаться.

Мокрец отказался давать объяснения дежурному и потребовал, чтобы их немедленно провели к начальнику полиции. Дежурный ему ответил, что пожалуйста, начальник лично вас, вероятно, примет, а что касается вот этого господина, то он обвиняется в угоне машины, к начальнику ему идти незачем, а нужно его допросить и составить на него соответствующий протокол. Нет, твердо и спокойно сказал мокрец, ничего этого не будет, ни на какие вопросы господину Баневу отвечать не придется, и никаких протоколов господин Банев подписывать не станет, к чему имеются обстоятельства, касающиеся только господина полицмейстера. Дежурный, которому было безразлично, пожал плечами и отправился доложить. Пока он докладывал, появился шоферишка в замасленном комбинезоне, который ничего не знал и был сильно поддавши, так что сразу принялся кричать о справедливости, невиновности и прочих страшных вещах. Мокрец осторожно взял у него накладную, которой тот размахивал, примостился на барьере и подписал ее по всей форме. Шофер от изумления замолчал, и тут же мокреца и Виктора пригласили к начальству.

Полицмейстер встретил их сурово. На мокреца он глядел с неудовольствием, а на Виктора избегал глядеть и вовсе.

— Что вам угодно? — спросил он.

— Разрешите присесть? — осведомился мокрец.

— Да, прошу,— вынужденно сказал полицмейстер после небольшой паузы.

Все сели.

— Господин полицмейстер,— произнес мокрец.— Я уполномочен заявить вам протест против вторичного незаконного задержания грузов, адресованных лепрозорию.

— Да, я слышал об этом,— сказал полицмейстер.— Водитель был пьян, мы вынуждены были его задержать. Думаю, что в ближайшие дни все разъяснится.

— Вы задержали не водителя, а груз,— возразил мокрец.— Однако это не столь уж существенно. Благодаря любезности господина Банева груз был доставлен лишь с небольшим опозданием, и вы должны быть признательны присутствующему здесь господину Баневу, ибо существенное опоздание груза по вашей, господин полицмейстер, вине могло бы послужить для вас источником крупных неприятностей.

— Это забавно,— сказал полицмейстер.— Я не понимаю и не желаю понимать, о чем идет речь, потому что

как должностное лицо я не потерплю угроз. Что же касается господина Банева, то на этот счет существует уголовное законодательство, где такие случаи предусмотрены.— Он явно отказывался смотреть на Виктора.

— Я вижу, вы действительно не понимаете своего положения,— сказал мокрец.— Но я уполномочен довести до вашего сведения, что в случае нового задержания наших грузов вы будете объясняться с генералом Пфердом.

Наступило молчание. Виктор не знал, кто такой генерал Пферд, но зато полицмейстеру это имя было явно знакомо.

— По-моему, это угроза,— сказал он неуверенно.

— Да,— согласился мокрец.— Причем угроза более чем реальная.

Полицмейстер порывисто поднялся. Виктор с мокрецом тоже.

— Я приму к сведению всё, что услышал сегодня,— объявил полицмейстер.— Ваш тон, сударь, оставляет желать лучшего, однако я обещаю лицам, уполномочившим вас, что разберусь и, коль скоро обнаружатся виновные, накажу их. Это в полной мере касается и господина Банева.

— Господин Банев,— сказал мокрец,— если у вас будут неприятности с полицией по поводу этого инцидента, немедленно сообщите господину Голему. До свидания,— сказал он полицмейстеру.

— Всего хорошего,— ответствовал тот.

В восемь вечера Виктор спустился в ресторан и направился было прямо к своему столику, где уже сидела обычная компания, но его окликнул Тэдди.

— Здорово, Тэдди,— сказал Виктор, привалившись к стойке.— Что новенького? — Тут он вспомнил.— А! Счет... Сильно я вчера?

— Счет — ладно,— проворчал Тэдди.— Не так уж и много — разбил зеркало и своротил рукомойник. А вот полицмейстера ты помнишь?

— А что такое? — удивился Виктор.

— Так я и знал, что ты не упомнишь. Глаза у тебя были, брат, что у вареного порося. Ничего не соображал... Так вот ты,— он уставил Виктору в грудь указательный палец,— запер его, беднягу, в сортирной кабине, припер дверцу метлой и не выпускал. А мы-то не знали, кто там, он только что пришел, мы думали, это Квадрига. Ну,

думаем, ладно, пусть посидит... А потом ты его оттуда вытащил, стал кричать: ах, бедный, весь испачкался! — и совать его головой в рукомойник. Рукомойник своротил, и еле мы тебя, брат, оттащили.

— Серьезно? — сказал Виктор.— Ну и ну. То-то он сегодня на меня весь день волком смотрит.

Тэдди сочувственно покивал.

— Да, черт возьми, неудобно,— проговорил Виктор.— Извиниться надо бы... Как же он мне позволил? Ведь крепкий еще мужчина...

— Я боюсь, не пришили бы тебе дело,— сказал Тэдди.— Сегодня утром тут уже ходил один легавый, снимал показания... шестьдесят третья статья тебе обеспечена — оскорбительные действия при отягчающих обстоятельствах. А может, и того хуже. Террористический акт. Понимаешь, чем пахнет? Я бы на твоем месте...— Тэдди помотал головой.

— Что? — спросил Виктор.

— Говорят, сегодня к тебе бургомистр приходил,— сказал Тэдди.

— Да.

— Ну и что он?

— Да чепуха. Хочет, чтобы я статью написал. Против мокрецов.

— Ага! — сказал Тэдди и оживился.— Ну, тогда и правда чепуха. Напиши ты ему эту статью, и всё в порядке. Если бургомистр будет доволен, полицмейстер и пикнуть не посмеет, можешь его тогда каждый день в унитаз заталкивать. Он у бургомистра вот где...— Тэдди показал громадный костлявый кулак.— Так что все в порядке. Давай я тебе по этому поводу налью за счет заведения. Очищенной?

— Можно и очищенной,— сказал Виктор задумчиво.

Визит бургомистра представлялся ему теперь совсем в новом свете. Вот как они меня, подумал Виктор. Да-а... Либо убирайся, либо делай, что велят, либо мы тебя скрутим. Между прочим, убраться тоже будет нелегко. Террористический акт, разыщут. Экий ты, братец, алкоголик, смотреть противно. И ведь не кого-нибудь, а полицмейстера. Честно говоря, задумано и выполнено неплохо. Он не помнил ничего, кроме кафельного пола, залитого водой, но очень хорошо представлял себе всю сцену. Да, Виктор Банев, любимый ты мой человек, порося ты мое вареное, оппозиционер кухонный, и даже не кухонный — прибанный, любимец господина президен-

та... да, видно, пришла и тебе пора, так сказать, продаваться... Роц-Тусов, человек опытный, по этому поводу говорил: продаваться надо легко и дорого — чем честнее твое перо, тем дороже оно обходится власть имущим, так что, и продаваясь, ты наносишь ущерб противнику, и надо стараться, чтобы ущерб этот был максимальным... Виктор опрокинул рюмку очищенной, не испытав при этом никакого удовольствия.

— Ладно, Тэдди,— сказал он.— Спасибо. Давай счет. Много получилось?

— Твой карман выдержит,— ухмыльнулся Тэдди. Он достал из кассы листок бумаги.— Следует с тебя: за зеркало туалетное — семьдесят семь, за рукомойник фарфоровый большой — шестьдесят четыре, всего, сам понимаешь, сто сорок один. А торшер мы списали на ту драку. Одного не понимаю,— продолжал он, следя, как Виктор отсчитывает деньги.— Чем ты это зеркало раскокал? Здоровенное зеркало, в два пальца толщиной. Головой ты в него бился, что ли?

— Чьей? — хмуро спросил Виктор.

— Ладно, не горюй,— сказал Тэдди, принимая деньги.— Напишешь статеечку, оправдаешься, гонорарчик отхватишь, вот всё и окупится... Налить еще?

— Не надо, потом... Я еще подойду, когда поужинаю,— сказал Виктор и пошел на свое место.

В ресторане все было как обычно — полутьма, запахи, звон посуды на кухне; очкастый молодой человек с портфелем, спутником и бутылкой минеральной воды; согбенный доктор Р. Квадрига; прямой и подтянутый, несмотря на насморк, Павор; расплывшийся в кресле Голем с разрыхленным носом спившегося пророка. Официант.

— Миноги,— сказал Виктор.— Бутылку пива. И чего-нибудь мясного.

— Доигрались,— сказал Павор с упреком.— Говорил я вам — бросьте пьянствовать.

— Когда это вы мне говорили? Не помню.

— А до чего ты доигрался? — осведомился доктор Р. Квадрига.— Убил, наконец, кого-нибудь?

— А ты тоже ничего не помнишь? — спросил его Виктор.

— Это насчет вчерашнего?

— Да, насчет вчерашнего... Напился как зюзя,— сказал Виктор, обращаясь к Голему,— загнал господина полицмейстера в клозет...

— А-а! — сказал Р. Квадрига.— Это все вранье. Я так и сказал следователю. Сегодня утром ко мне приходил следователь. Понимаете, изжога зверская, голова трещит, сижу, смотрю в окно, и тут является эта дубина и начинает шить дело...

— Как вы сказали? — спросил Голем.— Шить?

— Ну да, шить,— сказал Р. Квадрига, протыкая воображаемой иглой воображаемую материю.— Только не штаны, а дело... Я ему прямо сказал: все вранье, вчера я весь вечер просидел в ресторане, все было тихо, прилично, как всегда, никаких скандалов, словом, скучища... Обойдется,— ободряюще сказал он Виктору.— Подумаешь... А зачем ты его так? Ты его не любишь?

— Давайте об этом не будем,— предложил Виктор.

— Так а о чем же мы будем? — спросил Р. Квадрига обиженно.— Эти двое все время препираются, кто кого не пускает в лепрозорий. В кои веки случилось что-то интересное, и сразу — не будем.

Виктор откусил половину миноги, пожевал, отхлебнул пива и спросил:

— Кто такой генерал Пферд?

— Лошадь,—сказал Р. Квадрига.—Конь. Дер Пферд. Или дас.

— А все-таки,— сказал Виктор,— знает кто-нибудь такого генерала?

— Когда я служил в армии,— сказал доктор Р. Квадрига,— нашей дивизией командовал его превосходительство генерал от инфантерии Аршманн.

— Ну и что? — сказал Виктор.

— Арш по-немецки — задница,— сообщил молчавший до сих пор Голем.— Доктор шутит.

— А где вы слыхали про генерала Пферда? — спросил Павор.

— В кабинете у полицмейстера,— ответил Виктор.

— Ну и что?

— И все. Так никто не знает? Ну и прекрасно. Я просто так спросил.

— А фельдфебеля звали Баттокс,— заявил Р. Квадрига.— Фельдфебель Баттокс.

— Английский вы тоже знаете? — спросил Голем.

— Да, в этих пределах,— ответил Р. Квадрига.

— Давайте выпьем,— предложил Виктор.— Официант, бутылку коньяку!

— Зачем же бутылку? — спросил Павор.

— Чтобы хватило на всех.

— Опять учините какой-нибудь скандал.

— Да бросьте вы, Павор,— сказал Виктор.— Тоже мне абстинент.

— Я не абстинент,— возразил Павор.— Я люблю выпить и никогда не упускаю случая выпить, как и полагается настоящему мужчине. Но я не понимаю, зачем напиваться. И уж совершенно ни к чему, по-моему, напиваться каждый вечер.

— Опять он здесь,— сказал Р. Квадрига с отчаянием.— И когда успел?..

— Мы не будем напиваться,— сказал Виктор, разливая всем коньяк.— Мы просто выпьем. Как это делает сейчас половина нации. Другая половина напивается, ну и бог с ней, а мы просто выпьем.

— В том-то вся и штука,— сказал Павор.— Когда по стране идет поголовное пьянство, и не только по стране, по всему миру, каждый порядочный человек должен сохранять благоразумие.

— Вы полагаете нас порядочными людьми? — спросил Голем.

— Во всяком случае, культурными.

— По-моему,— сказал Виктор,— у культурных людей гораздо больше оснований напиваться, чем у некультурных.

— Возможно,— согласился Павор.— Однако культурный человек обязан держать себя в рамках. Культура обязывает... Мы вот сидим здесь почти каждый вечер, болтаем, пьем, играем в кости. А сказал кто-нибудь из нас за это время что-нибудь, пусть даже не умное, но хотя бы серьезное? Хихиканье, шуточки... одно хихиканье да шуточки.

— А зачем — серьезное? — спросил Голем.

— А затем, что все валится в пропасть, а мы хихикаем да шутим. Пируем во время чумы. По-моему, стыдно, господа.

— Ну хорошо, Павор,— примирительно сказал Виктор.— Скажите что-нибудь серьезное. Пусть не умное, но хотя бы серьезное.

— Не желаю серьезного,— объявил Р. Квадрига.— Пьявки. Кочки. Фу!

— Цыц! — сказал ему Виктор.— Дрыхни себе... Правильно, Голем, давайте поговорим хоть раз о чем-нибудь серьезном. Павор, начинайте, расскажите нам про пропасть.

— Опять хихикаете? — сказал Павор с горечью.

— Нет,— сказал Виктор.— Честное слово — нет. Я ироничен — может быть. Но это происходит оттого, что всю свою жизнь я слышу болтовню о пропастях. Все твердят, что человечество валится в пропасть, но доказать ничего не могут. И на поверку всегда оказывается, что весь этот философский пессимизм — следствие семейных неурядиц или нехватки денежных средств...

— Нет,— сказал Павор.— Нет... Человечество валится в пропасть, потому что человечество обанкротилось.

— Нехватка денежных средств,— пробормотал Голем.

Павор не удостоил его вниманием. Он обращался исключительно к Виктору, говорил, нагнув голову и глядя исподлобья.

— Человечество обанкротилось биологически — рождаемость падает, распространяется рак, слабоумие, неврозы, люди превратились в наркоманов. Они заглатывают сотни тонн алкоголя, никотина, просто наркотиков, они начали с гашиша и кокаина и кончили ЛСД. Мы просто вырождаемся. Естественную природу мы уничтожили, а искусственная уничтожает нас. Далее, мы обанкротились идеологически — мы перебрали все философские системы и все их дискредитировали, мы перепробовали все мыслимые системы морали, но остались такими же аморальными скотами, как троглодиты. Самое страшное в том, что вся эта серая человеческая масса в наши дни остается той же сволочью, какой была всегда. Она постоянно жаждет и требует богов, вождей и порядка, и каждый раз, когда получает богов, вождей и порядок, она опять недовольна, потому что на самом деле ни черта ей не надо, ни богов, ни порядка, а надо ей хаоса, анархии, хлеба и зрелищ. Сейчас она скована железной необходимостью еженедельно получать конвертик с зарплатой, но эта необходимость ей претит, и она уходит от нее каждый вечер в алкоголь и наркотики. Да черт с ней, с этой кучей гниющего дерьма, она смердит и воняет девять тысяч лет и ни на что больше не годится, кроме как смердеть и вонять. Страшно другое — разложение захватывает нас с вами, людей с большой буквы, личностей. Мы видим это разложение и воображаем, будто оно нас не касается, но оно все равно отравляет нас безнадежностью, подтачивает нашу волю, засасывает... А тут еще это проклятье — демократическое воспитание: эгалитэ, фратэрнитэ, все люди — братья, все из одного теста... Мы постоянно отождествляем себя с чернью и ругаем себя, если случается нам обнаружить, что мы

умнее ее, что у нас иные запросы, иные цели в жизни. Пора это понять и сделать выводы — спасаться пора.

— Пора выпить,— сказал Виктор. Он уже жалел, что согласился на серьезный разговор с санитарным инспектором. Было неприятно смотреть на Павора. Павор слишком разгорячился, у него даже глаза закосили. Это выпадало из образа, а говорил он, как и все адепты пропастей, лютую банальщину. Так и хотелось ему сказать: бросьте срамиться, Павор, а лучше повернитесь-ка профилем и иронически усмехнитесь.

— Это все, что вы можете мне ответить? — осведомился Павор.

— Я могу вам еще посоветовать. Побольше иронии, Павор. Не горячитесь так. Все равно вы ничего не можете. А если бы и могли, то не знали бы, что.

Павор иронически усмехнулся.

— Я-то знаю,— сказал он.

— Ну-с?

— Есть только одно средство прекратить разложение...

— Знаем, знаем,— легкомысленно сказал Виктор,— нарядить всех дураков в золотые рубашки и пустить маршировать. Вся Европа у нас под ногами. Было.

— Нет,— сказал Павор.— Это только отсрочка. А решение одно: уничтожить массу.

— У вас сегодня прекрасное настроение,— сказал Виктор.

— Уничтожить девяносто процентов населения,— продолжал Павор.— Может быть, даже девяносто пять. Масса выполнила свое назначение — она породила из своих недр цвет человечества, создавший цивилизацию. Теперь она мертва, как гнилой картофельный клубень, давший жизнь новому кусту картофеля. А когда покойник начинает гнить, его пора закапывать.

— Господи,— сказал Виктор.— И все это только потому, что у вас насморк и нет пропуска в лепрозорий? Или, может быть, семейные неурядицы?

— Не притворяйтесь дураком,— сказал Павор.— Почему вы не хотите задуматься над вещами, которые вам отлично известны? Из-за чего извращаются самые светлые идеи? Из-за тупости серой массы. Из-за чего войны, хаос, безобразия? Из-за тупости серой массы, которая выдвигает правительства, ее достойные. Из-за чего Золотой Век так же безнадежно далек от нас, как и во время оно? Из-за косности и невежества серой массы. В прин-

ципе Гитлер был прав, подсознательно прав, он чувствовал, что на земле слишком много лишнего. Но он был порождением серой массы и все испортил. Глупо было затевать уничтожение по расовому признаку. И кроме того, у него не было настоящих средств уничтожения.

— А по какому признаку собираетесь уничтожать вы? — спросил Виктор.

— По признаку незаметности,— ответил Павор.— Если человек сер, незаметен, значит, его надо уничтожить.

— А кто будет определять, заметный это человек или нет?

— Бросьте, это детали. Я вам излагаю принцип, а кто, что и как — это детали.

— А чего это ради вы связались с бургомистром? — спросил Виктор, которому Павор надоел.

— То есть?

— На кой черт вам этот судебный процесс? Мельчите, Павор! И ведь всегда так с вами, со сверхчеловеками. Собираетесь перепахивать мир, меньше чем на три миллиарда трупов не согласны, а тем временем то беспокоитесь о чинах, то от триппера лечитесь, то за малую корысть помогаете сомнительным людям обделывать темные делишки.

— Вы все-таки полегче,— сказал Павор. Видно было, что он здорово взбесился.— Вы же сами — пьяница и лодырь.

— Во всяком случае, я не затеваю дутых политических процессов и не берусь перелопачивать мир.

— Да,— сказал Павор.— Вы даже на это не способны, Банев. Вы ведь всего-навсего богема, то есть, короче говоря, подонок, дешевый фрондер и дерьмо. Вы сами не знаете, чего хотите, и делаете только то, чего хотят от вас. Потакаете желаниям таких же подонков, как вы, и воображаете поэтому, что вы потрясатель основ и свободный художник. А вы просто поганый рифмач, из тех, которые расписывают общественные сортиры.

— Все это правильно,— согласился Виктор.— Жалко только, что вы не сказали этого раньше. Понадобилось вас обидеть, чтобы вы это сказали. Вот и получается, что вы — гаденькая личность, Павор. Всего лишь один из многих. И если будут уничтожать, то вас уничтожат. По принципу незаметности. Философствующий санитарный инспектор? В печку его!

Интересно, как мы выглядим со стороны, подумал

он. Павор отвратителен. Ну и улыбочка! Что это с ним сегодня? А Квадрига спит, что ему ссоры, серая масса и вся эта философия... А Голем развалился, как в театре, рюмочка в пальцах, рука за спинкой кресла, ждет, кто кому врежет. Что-то Павор долго молчит... Аргументы подбирает, что ли?

— Ну, хорошо,— сказал, наконец, Павор.— Поговорили и будет.

Улыбочка у него исчезла, глаза снова сделались, как у штурмбанфюрера. Он бросил на стол кредитку, допил коньяк и, не прощаясь, ушел. Виктор почувствовал приятное разочарование.

— Все-таки для писателя вы отвратительно плохо разбираетесь в людях,— сказал Голем.

— Это не по моей части,— легко сказал Виктор.— Пусть в людях разбираются психологи и департамент безопасности. Мое дело — улавливать тенденции повышенным чутьем художника... А к чему вы это говорите? Опять «Виктуар, перестаньте бренчать»?

— Я вас предупреждал: не трогайте Павора.

— Какого черта,— сказал Виктор.— Во-первых, я его не трогал. Это он меня трогал. А во-вторых, он свинья. Вы знаете, что он помогает бургомистру упечь вас под суд?

— Догадываюсь.

— Вас это не волнует?

— Нет. Руки у них коротки. То есть у бургомистра руки коротки и у суда.

— А у Павора?

— У Павора руки длинные,— сказал Голем.— И поэтому перестаньте при нем бренчать. Вы же видите, что я при нем не бренчу.

— Интересно, при ком вы бренчите,— проворчал Виктор.

— При вас я иногда бренчу. У меня к вам слабость. Налейте мне коньяку.

— Прошу.— Виктор налил.— Может, разбудим Квадригу? Что он, сукин кот, даже не защитил меня от Павора?

— Нет, не надо его будить. Давайте поговорим. Зачем вы впутываетесь в эти дела? Кто вас просил угонять грузовик?

— Мне так захотелось,— сказал Виктор.— Свинство — задерживать книги. И потом, меня расстроил бургомистр. Он покусился на мою свободу. Каждый раз,

когда покушаются на мою свободу, я начинаю хулиганить... Кстати, Голем, а может, генерал Пферд заступится за меня перед бургомистром?

— Чихал он на вас вместе с бургомистром,— сказал Голем.— У него своих забот хватает.

— А вы ему скажите — пусть заступится. А не то я напишу разгромную статью против вашего лепрозория, как вы кровь христианских младенцев используете для лечения очковой болезни. Вы думаете, я не знаю, зачем мокрецы приваживают детишек? Они, во-первых, сосут из них кровь, а во-вторых, растлевают. Опозорю вас перед всем миром. Кровосос и растлитель под маской врача.— Виктор чокнулся с Големом и выпил.— Между прочим, я говорю серьезно. Бургомистр принуждает меня написать такую статью. Вам, конечно, это тоже известно.

— Нет,— сказал Голем.— Но это не существенно.

— Я вижу, вам все не существенно,— сказал Виктор.— Весь город против вас — не существенно. Вас отдают под суд — не существенно. Санинспектор Павор раздражен вашим поведением — не существенно. Может быть, генерал Пферд — это псевдоним господина президента? Кстати, этот всемогущий генерал знает, что вы — коммунист?

— А почему раздражен писатель Банев? — спокойно спросил Голем.— Только не орите так, Тэдди оборачивается.

— Тэдди — наш человек,— возразил Виктор.— Впрочем, он тоже раздражен: его заели мыши.— Он насупил брови и закурил сигарету.— Погодите, что это вы меня спрашивали... А, да. Я раздражен потому, что вы не пустили меня в лепрозорий. Все-таки я совершил благородный поступок. Пусть даже глупый, но ведь все благородные поступки глупы. И еще раньше я носил мокреца на спине.

— И дрался за него,— добавил Голем.

— Вот именно. И дрался.

— С фашистами,— сказал Голем.

— Именно с фашистами.

— А у вас пропуск есть? — спросил Голем.

— Пропуск... Вот Павора вы тоже не пускаете, и он на глазах превратился в демофоба.

— Да, Павору здесь не везет,— сказал Голем.— Вообще он способный работник, но здесь у него ничего не получается. Я все жду, когда он начнет делать глупости. Кажется, уже начинает.

Доктор Р. Квадрига поднял взлохмаченную голову и сказал:

— Крепко. Вот пойду, и там посмотрим. Дух вон.— Голова его снова со стуком упала на стол.

— А все-таки, Голем,— сказал Виктор, понизив голос,— это правда, что вы — коммунист?

— Мне помнится, компартия у нас запрещена,— заметил Голем.

— Господи,— сказал Виктор.— А какая партия у нас разрешена? Я же не о партии спрашиваю, а о вас...

— Я, как видите, разрешен,— сказал Голем.

— В общем, как хотите,— сказал Виктор.— Мне-то все равно. Но бургомистр... Впрочем, на бургомистра вам наплевать. А вот если дознается генерал Пферд...

— Но мы же ему не скажем,— доверительно шепнул Голем.— Зачем генералу вдаваться в такие мелочи? Знает он, что есть лепрозорий, а в лепрозории — какой-то Голем, мокрецы какие-то, ну и ладно.

— Странный генерал,— задумчиво сказал Виктор.— Генерал от лепрозория. Между прочим, с мокрецами у него, наверное, скоро будут неприятности. Я это чувствую повышенным чутьем художника. В нашем городе прямо-таки свет клином сошелся на мокрецах.

— Если бы только в городе,— сказал Голем.

— А в чем дело? Это же просто больные люди, и даже, кажется, не заразные.

— Не хитрите, Виктор. Вы прекрасно знаете, что это не просто больные люди. Они даже заразны не совсем просто.

— То есть?

— То есть Тэдди вот, например, заразиться от них не может. И бургомистр не может, не говоря уже о полицмейстере. А кто-нибудь другой — может.

— Вы, например.

— Я тоже не могу. Уже.

— А я?

— Не знаю. Вообще это — только моя гипотеза. Не обращайте внимания.

— Не обращаю,— грустно сказал Виктор.— А чем они еще необыкновенны?

— Чем они необыкновенны,— повторил Голем.— Вы могли сами заметить, Виктор, что все люди делятся на три большие группы. Вернее, на две большие и одну маленькую... Есть люди, которые не могут жить без прошлого, они целиком в прошлом, более или менее

отдаленном. Они живут традициями, обычаями, заветами, они черпают в прошлом радость и пример. Скажем, господин президент. Что бы он делал, если бы у нас не было нашего великого прошлого? На что бы он ссылался и откуда бы он взялся вообще?.. Потом есть люди, которые живут настоящим и знать не желают будущего и прошлого. Вот вы, например. Все представления о прошлом вам испортил господин президент, в какое бы прошлое вы ни заглянули, везде вам видится все тот же господин президент. Что же до будущего, то вы не имеете о нем ни малейшего представления и, по-моему, боитесь иметь... И наконец, есть люди, которые живут будущим. От прошлого они совершенно справедливо не ждут ничего хорошего, а настоящее для них — это только материал для построения будущего, сырье... Да они, собственно, и живут-то уже в будущем... на островках будущего, которые возникли вокруг них в настоящем...— Голем, как-то странно улыбаясь, поднял глаза к потолку.— Они умны,— проговорил он с нежностью.— Они чертовски умны — в отличие от большинства людей. Они все как на подбор талантливы, Виктор. У них странные желания и полностью отсутствуют желания обыкновенные.

— Обыкновенные желания — это, например, женщины...

— В каком-то смысле — да.

— Водка, зрелища?

— Безусловно.

— Страшная болезнь,— сказал Виктор.— Не хочу... И все равно непонятно... Ничего не понимаю. Ну, то, что умных людей сажают за колючую проволоку,— это я понимаю. Но почему их выпускают, а к ним не пускают...

— А может быть, это не они сидят за колючей проволокой, а вы сидите.

Виктор усмехнулся.

— Подождите,— сказал он.— Это еще не все непонятное. При чем здесь, например, Павор? Ну ладно — меня не пускают, я — человек посторонний. Но должен же кто-то инспектировать состояние постельного белья и отхожих мест? Может быть, у вас там антисанитарные условия.

— А если его интересуют не санитарные условия?

Виктор в замешательстве посмотрел на Голема.

— Вы опять шутите? — спросил он.

— Опять нет,— ответил Голем.

— Так он что, по-вашему,— шпион?

— Шпион — слишком емкое понятие,— возразил Голем.

— Погодите,— сказал Виктор.— Давайте начистоту. Кто намотал проволоку и поставил охрану?

— Ох уж эта проволока,— вздохнул Голем.— Сколько об нее было порвано одежды, а эти солдаты постоянно болеют поносом. Вы знаете лучшее средство от поноса? Табак с портвейном... точнее, портвейн с табаком.

— Ладно,— сказал Виктор.— Значит, генерал Пферд. Ага...— сказал он.— И этот молодой человек с портфелем... Вот оно что! Значит, это у вас просто военная лаборатория. Понятно... А Павор, значит, не военный. По другому, значит, ведомству. Или, может быть, он шпион не наш, иностранный?

— Упаси бог! — сказал Голем с ужасом.— Этого нам еще не хватало...

— Так... А он знает, кто этот парень с портфелем?

— Думаю, да,— сказал Голем.

— А этот парень знает, кто такой Павор?

— Думаю, нет,— сказал Голем.

— Вы ему ничего не сказали?

— Меня это не касается.

— И генералу Пферду не сказали?

— И не подумал.

— Это несправедливо,— произнес Виктор.— Надо сказать.

— Слушайте, Виктор,— сказал Голем.— Я позволил вам болтать на эту тему только для того, чтобы вы испугались и не лезли в чужую кашу. Вам это совершенно ни к чему. Вы и так уже на заметке, вас могут погасить, вы даже пикнуть не успеете.

— Меня испугать нетрудно,— сказал Виктор со вздохом.— Я напуган с детства. И все-таки я никак не могу понять: что им всем нужно от мокрецов?

— Кому — им? — устало и укоризненно спросил Голем.

— Павору. Пферду. Парню с портфелем. Всем этим крокодилам.

— Господи,— сказал Голем.— Ну что в наше время нужно крокодилам от умных и талантливых людей? Я вот не понимаю, что *вам* от них нужно. Что вы во все это лезете? Мало вам своих собственных неприятностей? Мало вам господина президента?

— Много,— согласился Виктор.— Я сыт по горло.

— Ну и прекрасно. Поезжайте в санаторий, возьмите с собой пачку бумаги... Хотите, я подарю вам пишущую машинку?

— Я пишу по старой системе,— сказал Виктор.— Как Хемингуэй.

— Вот и прекрасно. Я вам подарю огрызок карандаша. Работайте, любите Диану. Может быть, вам еще сюжет дать? Может быть, вы уже исписались?

— Сюжеты рождаются из темы,— важно сказал Виктор.— Я изучаю жизнь.

— Ради бога,— сказал Голем.— Изучайте жизнь сколько вам угодно. Только не вмешивайтесь в процессы.

— Это невозможно,— возразил Виктор.— Прибор неизбежно влияет на картину эксперимента. Разве вы забыли физику? Ведь мы наблюдаем не мир как таковой, а мир плюс воздействие наблюдателя.

— Вам уже один раз дали кастетом по черепу, а в следующий раз могут просто пристрелить.

— Ну,— сказал Виктор,— во-первых, может быть, вовсе не кастетом, а кирпичом. А во-вторых,— мало ли где мне могут дать по черепу? Мне в любую минуту могут подвесить, так что же теперь — из номера не выходить?

Голем покусал нижнюю губу. У него были желтые лошадиные зубы.

— Слушайте, вы, прибор,— сказал он.— Вы тогда вмешались в эксперимент совершенно случайно — и немедленно получили по башке. Если теперь вы вмешаетесь сознательно...

— Я ни в какой эксперимент не вмешивался,— сказал Виктор.— Я шел себе спокойно от Лолы и вдруг вижу...

— Идиот,— сказал Голем.— Идет себе и видит. Надо было перейти на другую сторону, ворона вы безмозглая!

— Чего это ради я буду переходить на другую сторону?

— А того ради, что один ваш хороший знакомый занимался выполнением своих прямых обязанностей, а вы туда влезли, как баран.

Виктор выпрямился.

— Какой еще хороший знакомый? Там не было ни одного знакомого.

— Знакомый подоспел сзади с кастетом. У вас есть знакомые с кастетами?

Виктор залпом допил свой коньяк. С удивительной отчетливостью он вспомнил: Павор с покрасневшим от гриппа носом вытаскивает из кармана платок, и кастет со стуком падает на пол — тяжелый, тусклый, прикладистый.

— Бросьте,— сказал Виктор и откашлялся.— Ерунда. Не мог Павор...

— Я не называл никаких имен,— возразил Голем.

Виктор положил руки на стол и оглядел свои сжатые кулаки.

— При чем здесь его обязанности? — спросил он.

— Кому-то понадобился живой мокрец, очевидно. Киднапинг.

— А я помешал?

— Пытались помешать.

— Значит, они его все-таки схватили?

— И увезли. Скажите спасибо, что вас не прихватили — во избежание утечки информации. Их ведь судьбы литературы не занимают.

— Значит, Павор...— медленно сказал Виктор.

— Никаких имен,— напомнил Голем строго.

— Сукин сын,— сказал Виктор.— Ладно, посмотрим... А зачем им понадобился мокрец?

— Ну как — зачем? Информация... Где взять информацию? Сами знаете — проволока, солдаты, генерал Пферд...

— Значит, сейчас его там допрашивают? — проговорил Виктор.

Голем долго молчал. Потом сказал:

— Он умер.

— Забили?

— Нет. Наоборот.— Голем снова помолчал.— Они болваны. Не давали ему читать, и он умер от голода.

Виктор быстро взглянул на него. Голем печально улыбался. Или плакал от горя. Виктор вдруг почувствовал ужас и тоску, душную тоску. Свет торшера померк. Это было похоже на сердечный приступ. Виктор задохнулся и с трудом оттянул узел галстука. Боже мой, подумал он, какая же это дрянь, какая гадость, бандит, холодный убийца... а после этого, через час, помыл руки, попрыскался духами, прикинул, какие благодарности перепадут от начальства, и сидел рядом, и чокался со мной, и улыбался мне, и говорил со мной, как с товарищем, подлец, и все врал, наслаждался, издевался надо мной, хихикал в кулак, когда я отворачивался, подми-

гивал сам себе, а потом сочувственно спрашивал, что у меня с головой... Словно сквозь черный туман, Виктор видел, как доктор Р. Квадрига медленно поднял голову, разинул в неслышном крике запекшийся рот и стал судорожно шарить по скатерти трясущимися руками, как слепой, и глаза у него были, как у слепого, когда он вертел головой и все кричал, кричал, а Виктор ничего не слышал... И правильно, я сам дерьмо, никому не нужный, мелкий человечек, в морду меня, сапогом, и держать за руки, не давать утираться, и на кой черт я кому нужен, надо было бить крепче, чтобы не встал, а я как во сне, ватными кулаками, и боже мой, на кой черт я живу, и на кой черт живут все, ведь это так просто, подойти сзади и ударить железом в голову, и ничего не изменится, ничего в мире не изменится, родится за тысячу километров отсюда в ту же самую секунду другой такой же ублюдок... Жирное лицо Голема обрюзгло еще сильнее и стало черным от проступившей щетины, глаза заплыли, он лежал в кресле неподвижно, как бурдюк с прогорклым маслом, двигались только пальцы, когда он медленно брал рюмку за рюмкой, беззвучно отламывал ножку, ронял и снова брал, и снова ломал и ронял... И никого не люблю, не могу любить Диану, мало ли с кем я сплю, спать все умеют, но разве можно любить женщину, которая тебя не любит, а женщина не может любить, когда ты не любишь ее, и так все вертится в проклятом бесчеловечном кольце, как змея вертится, гонится за своим хвостом, как животные спариваются и разбегаются, только животные не придумывают слов и не сочиняют стихов, а просто спариваются и разбегаются... А Тэдди плакал, поставив локти на стойку, положив костлявый подбородок на костлявые кулаки, его лысый лоб шафранно блестел под лампой, и по впалым щекам безостановочно текли слезы, и они тоже блестели под лампой... А все потому, что я — дерьмо и никакой не писатель, какой из меня, к черту, писатель, если я не терплю писать, если писать — это мучение, стыдное, неприятное занятие, что-то вроде болезненного физиологического отправления, вроде поноса, вроде выдавливания гноя из чирья, ненавижу, страшно подумать, что придется заниматься этим всю жизнь, что уже обречен, что теперь уже не отпустят, а будут требовать: давай, давай, но сейчас не могу, даже думать об этом не могу, а то меня вырвет... Бол-Кунац стоял за спиной Р. Квадриги и смотрел на часы, тоненький, мокрый, с мокрым

свежим лицом, с чудными темными глазами, и от него, разрывая плотную горячую духоту, шел свежий запах — запах травы и ключевой воды, запах лилий, солнца и стрекоз над озером... И мир вернулся. Только какое-то смутное воспоминание или ощущение, или воспоминание об ощущении метнулось за угол: чей-то отчаянный оборвавшийся крик, непонятный скрежет, звон, хруст стекла...

Виктор облизнул губы и потянулся за бутылкой. Доктор Р. Квадрига, лежа головой на скатерти, хрипло бормотал: «Ничего не нужно. Спрячьте меня. Ну их...» Голем озабоченно сметал со стола стеклянные обломки. Бол-Кунац сказал:

— Господин Голем, простите, пожалуйста. Вам письмо.— Он положил перед Големом конверт и снова взглянул на часы.— Добрый вечер, господин Банев,— сказал он.

— Добрый вечер,— сказал Виктор, наливая себе коньяку.

Голем внимательно читал письмо. За стойкой Тэдди шумно сморкался в клетчатый носовой платок.

— Слушай, Бол-Кунац,— сказал Виктор.— Ты видел, кто меня тогда ударил?

— Нет,— ответил Бол-Кунац, поглядев ему в глаза.

— Как так — нет? — сказал Виктор, нахмурившись.

— Он стоял ко мне спиной,— объяснил Бол-Кунац.

— Ты его знаешь,— сказал Виктор.— Кто это был?

Голем издал неопределенный звук. Виктор быстро оглянулся на него. Голем, не обращая ни на кого внимания, задумчиво рвал записку на мелкие клочки. Обрывки он спрятал в карман.

— Вы ошибаетесь,— сказал Бол-Кунац.— Я его не знаю.

— Банев,— пробормотал Р. Квадрига.— Я тебя прошу... Я не могу там один. Пойдем со мной... Очень жутко...

Голем поднялся, поискал пальцем в жилетном кармане, потом крикнул:

— Тэдди! Запишите на меня... и учтите, что я разбил четыре рюмки... Ну, я пошел,— сказал он Виктору.— Подумайте и примите разумное решение. Может быть, вам лучше даже уехать.

— До свидания, господин Банев,— вежливо сказал Бол-Кунац. Виктору показалось, что мальчик едва заметно отрицательно покачал головой.

— До свидания, Бол-Кунац,— сказал он.— До свидания.

Они ушли. Виктор в задумчивости допил коньяк. Подошел официант, лицо у него было опухшее, все в красных пятнах. Он стал убирать со стола, и движения его были непривычно неловки и неуверенны.

— Вы здесь недавно? — спросил Виктор.

— Да, господин Банев. Сегодня с утра.

— А что Питер? Заболел?

— Нет, господин Банев. Он уехал. Не выдержал. Я тоже, наверное, уеду...

Виктор посмотрел на Р. Квадригу.

— Отведите его потом в номер,— сказал он.

— Да, конечно, господин Банев,— ответил официант нетвердым голосом.

Виктор расплатился, прощально помахал Тэдди и вышел в вестибюль. Он поднялся на второй этаж, подошел к двери Павора, поднял руку, чтобы постучать, постоял так немного и, не постучав, снова спустился вниз. Портье за своей конторкой с изумлением рассматривал руки. Руки у него были мокрые, к ним пристали клочья волос, а на лице, на обеих щеках, вспухли свежие царапины. Он посмотрел на Виктора — глаза у него были ошалелые. Но сейчас нельзя было замечать всех этих странностей, это было бы бестактно и жестоко, и тем более нельзя было говорить об этом, необходимо было сделать вид, будто ничего не случилось, все это надо было отложить на потом, на завтра или, может быть, даже на послезавтра. Виктор спросил:

— Где остановился этот... знаете, молодой человек в очках, он всегда ходит с портфелем.

Портье замялся. Как бы в поисках выхода, он посмотрел на номерную доску с ключами, потом все-таки ответил:

— В триста двенадцатом, господин Банев.

— Спасибо,— сказал Виктор, кладя на конторку монету.

— Только они не любят, когда их беспокоят,— нерешительно предупредил портье.

— Я знаю,— сказал Виктор.— Я и не думал их беспокоить. Я просто так спросил... загадал, понимаете ли: если в четном, то все будет хорошо.

Портье бледно улыбнулся.

— Какие же у вас могут быть неприятности, господин Банев,— вежливо сказал он.

— Всякие могут быть,— вздохнул Виктор.— Большие и малые. Спокойной ночи.

Он поднялся на третий этаж, двигаясь неторопливо, нарочито неторопливо, словно бы для того, чтобы все обдумать и взвесить, и прикинуть возможные последствия, и учесть все на три года вперед, но на самом деле думал он только о том, что ковер на лестнице давным-давно пора сменить, облез ковер, вытерся. И только уже перед тем, как постучать в дверь триста двенадцатого номера (люкс, две спальни и гостиная, телевизор, приемник первого класса, холодильник и бар), он чуть не сказал вслух: «Вы крокодилы, господа? Очень приятно. Так вы у меня будете жрать друг друга».

Стучать пришлось довольно долго: сначала деликатно, костяшками пальцев, а когда не ответили — более решительно, кулаком, а когда и на это не отреагировали — только скрипнули половицей и задышали в замочную скважину,— тогда, повернувшись задом, каблуком, уже совсем грубо.

— Кто там? — спросил, наконец, голос за дверью.

— Сосед,— ответил Виктор.— Откройте на минуту.

— Что вам надо?

— Мне надо сказать вам пару слов.

— Приходите утром,— сказал голос за дверью.— Мы уже спим.

— Черт бы вас подрал,— сказал Виктор, рассердившись.— Вы хотите, чтобы меня здесь увидели? Откройте, чего вы боитесь?

Щелкнул ключ, и дверь приоткрылась. В щели появился тусклый глаз долговязого профессионала. Виктор показал ему раскрытые ладони.

— Пару слов,— сказал он.

— Входите,— сказал долговязый.— Только без глупостей.

Виктор вошел в прихожую, долговязый закрыл за ним дверь и зажег свет. Прихожая была тесная, вдвоем они с трудом помещались в ней.

— Ну, говорите,— сказал долговязый. Он был в пижаме, спереди чем-то запачканной. Виктор с изумлением принюхался — от долговязого несло спиртным. Правую руку он, как и полагалось, держал в кармане.

— Мы так и будем здесь беседовать? — осведомился Виктор.

— Да.

— Нет,—сказал Виктор.—Здесь я беседовать не буду.

— Как хотите,— сказал долговязый.

— Как хотите,— сказал Виктор.— Мое дело маленькое.

Они помолчали. Долговязый, уже не скрываясь, внимательно обшаривал Виктора глазами.

— Кажется, ваша фамилия Банев? — сказал он.

— Кажется.

— Ага,— сказал долговязый хмуро.— Так какой же вы сосед? Вы живете на втором этаже.

— Сосед по гостинице,— объяснил Виктор.

— Ага... Так что вам нужно, я не пойму.

— Мне нужно кое-что вам сообщить,— сказал Виктор.— Есть кое-какая информация. Но я уже начинаю раздумывать, стоит ли.

— Ну, ладно,— сказал долговязый.— Пойдемте в ванную.

— Знаете,— сказал Виктор,— я, пожалуй, уйду.

— А почему вы не хотите в ванную? Что за капризы?

— Вы знаете,— сказал Виктор,— я раздумал. Я, пожалуй, пойду. В конце концов, это не моя забота.— Он сделал движение.

Долговязый даже закряхтел от раздиравших его противоречий.

— Вы, по-моему, писатель,— сказал он.— Или я вас с кем-то путаю?

— Писатель, писатель,—сказал Виктор.—До свидания.

— Да нет, погодите. Так бы сразу и сказали. Пойдемте. Вот сюда.

Они вошли в гостиную, где сплошь были портьеры — справа портьеры, слева портьеры, прямо, на огромном окне, портьеры. Огромный телевизор в углу сверкал цветным экраном, звук был выключен. В другом углу из мягкого кресла под торшером смотрел на Виктора поверх развернутой газеты очкастый молодой человек, тоже в пижаме и шлепанцах. Рядом с ним на журнальном столике возвышалась четырехугольная бутылка и сифон. Портфеля нигде не было видно.

— Добрый вечер,— сказал Виктор.

Молодой человек молча наклонил голову.

— Это ко мне,— сказал долговязый.— Не обращай внимания.

Молодой человек снова кивнул и закрылся газетой.

— Прошу сюда,— сказал долговязый. Они прошли в спальню направо, и долговязый сел на кровать.— Вот кресло,— сказал он.— Садитесь и выкладывайте.

Виктор сел. В спальне густо пахло застоявшимся табачным дымом и офицерским одеколоном. Долговязый сидел на кровати и смотрел на Виктора, не вынимая руки из кармана. В гостиной хрустела газета.

— Ладно,— сказал Виктор. Не то чтобы ему удалось полностью преодолеть отвращение, но раз он сюда пришел, надо было говорить.— Я примерно представляю себе, кто вы такие. Может быть, я ошибаюсь, и тогда все в порядке. Но если я не ошибаюсь, то вам полезно будет узнать, что за вами следят и стараются вам помешать.

— Предположим,— сказал долговязый.— И кто же за нами следит?

— Вами очень интересуется человек по имени Павор Сумман.

— Что? — сказал долговязый.— Санинспектор, что ли?

— Он не санинспектор. Вот, собственно, и все, что я хотел вам сказать.— Виктор встал, но долговязый не пошевелился.

— Предположим,— повторил он.— А откуда вы это, собственно, все знаете?

— Это важно? — спросил Виктор.

Некоторое время долговязый раздумывал.

— Предположим, что не важно,— произнес он.

— Ваше дело — проверить,— сказал Виктор.— А я больше ничего не знаю. До свидания.

— Да куда же вы, погодите,— сказал долговязый. Он нагнулся к туалетному столику, вытащил бутылку и стакан.— Так хотели войти и теперь уже уходите... Ничего, если из одного стакана?

— Это смотря что,— ответил Виктор и снова сел.

— Шотландское,— сказал долговязый.— Устраивает?

— Настоящее шотландское?

— Настоящий скотч. Получайте.— Он протянул Виктору стакан.

— Живут же люди,— сказал Виктор и выпил.

— Куда нам до писателей,— сказал долговязый и тоже выпил.— Вы бы все-таки рассказали толком...

— Бросьте,— сказал Виктор.— Вам за это деньги платят. Я назвал вам имя, адрес вы сами знаете, вот и займитесь. Тем более, что я и правда ничего не знаю. Разве что...— Виктор остановился и сделал вид, что его осенило. Долговязый немедленно клюнул.

— Ну? — сказал он.— Ну?

— Я знаю, что он похитил одного мокреца и что он

действовал вместе с городскими легионерами. Как его там... Фламента... Ювента...

— Фламин Ювента,— подсказал долговязый.

— Вот-вот.

— Насчет мокреца — это точно? — спросил долговязый.

— Да. Я пытался помешать, и господин санинспектор треснул меня кастетом по голове. А потом, пока я валялся, они увезли его на машине.

— Так-так,— произнес долговязый.— Значит, это был Сумман... Слушайте, а вы молодец, Банев! Хотите еще виски?

— Хочу,— сказал Виктор. Что бы он ни говорил себе, как бы он ни взвинчивал себя, как бы он себя ни настраивал, ему было противно. Ну и ладно, подумал он. И на том спасибо, что в доносчики я, по крайней мере, не гожусь. Никакого удовольствия, хотя они теперь и начнут жрать друг друга. Голем был прав: зря я полез в эту историю... Или Голем хитрее, чем я думаю.

— Прошу,— сказал долговязый, протягивая ему полный стакан.

7. Феликс Сорокин. Изпитал

Эту ночь я провел хорошо, без кошмаров. Мне приснилось имя: Катя. Только имя, и больше ничего.

Я проснулся поздно и позавтракать решил в «Жемчужнице». Есть в нашем жилом массиве такое питейное заведение, расположенное точнехонько напротив районного Дома пионеров. Внешний вид у этого заведения довольно странный, более всего напоминает оно белофинский дот «Миллионный», разбитый прямым попаданием тысячекилограммовой бомбы: глыбы скучного серого бетона, торчащие вкривь и вкось, перемежаются клубками ржавой железной арматуры, долженствующими по замыслу архитектора изображать морские водоросли, на уровне же тротуара тянутся узкие амбразуры-окна. А внутри это вполне приличное заведение, никаких изысков: холл с гардеробом, за холлом — приветливый, хорошо освещенный круглый зал, там всегда есть пиво, можно взять обычные холодные закуски, из горячего подают бефстроганов и фирменное мясо в горшочке, а вот раков я не видел там никогда. Время от времени я хожу туда завтракать —

когда надоедают мне вареные яйца и фруктовый кефир.

Я подоспел как раз к открытию, торопливо разделся и захватил столик у стены под окном. Официант, в котором развязность странно сочеталась с сонной угрюмостью, принес мне кружку пива и принял заказ на мясо в горшочке. Кругом гомонили. И курили. Натощак.

За мой столик никто не подсаживался, хотя место передо мной пустовало. С одной стороны, это было, конечно, прекрасно. Терпеть не могу общаться с посторонними людьми. С другой же стороны, мне вдруг пришло в голову, что такое бывало и раньше: в троллейбусах ли, в метро, в таких вот забегаловках, где меня никто не знает, пустующее место рядом со мной занимают в последнюю очередь, когда других свободных мест больше нет. Где-то я читал, что есть такие люди, самый вид которых внушает окружающим то ли робость, то ли отвращение, то ли вообще инстинктивное желание держаться подальше. И, подумав об этом, я тут же перескочил мыслями ко вчерашнему письму. Вот и еще фактик, пусть косвенный, который подтверждает, что не было то письмо дурацкой шуткой, что действительно почуял во мне кто-то нечто чужое, наводящее на фантастические мысли. Но все равно главное, конечно, не в этих пустяках, а в моих «Современных сказках».

Господи, эта книжка воистину — как настоящий ребенок: неприятностей и горестей от нее гораздо больше, нежели радостей и удовольствий. Редакторы рубили ее в капусту, лапшу из нее делали, вермишель, и если бы не Мирон Михайлович, изуродовали бы ее на всю жизнь. А когда она все-таки вышла, на нее двинулись рецензенты.

Фантастика в те поры еще только-только начинала формирование свое, была неуклюжа, беспомощна, отягощена генетическими болезнями сороковых годов, и рецензенты глядели на нее как на глиняного болвана для упражнений в кавалерийской рубке. Я читал рецензии на «Современные сказки», болезненно шипел, и перед глазами моими вставал, как на экране, бледный красавец в черкеске и с тухлым взглядом отпетого дроздовца; как он, докурив пахитоску до основания, двумя пальцами осторожно отлепляет заслюненный окурок от губы, сощуривается на мою беззащитную книгу, торопливо обнажает шашку и легко разбегается на цыпочках, занося над головой голубую сталь...

Они писали, что я подражаю не лучшим американ-

ским образцам. (Сейчас эти образцы признаны лучшими.) Они писали, что машины у меня заслоняют людей. (Машин у меня вовсе никаких не было, разве что автобусы.) «Где автор увидел таких героев?»— спрашивали они кого-то. «Чему может научить нашего читателя такая литература?»— вопрошали они друг друга. «И фальшивой нотой в работе издательства прозвучал выпуск беспомощной книжки Сорокина...»

А потом грянул обзор Гагашкина и фельетон Брыжейкина в «Добровольном информаторе», и я приземлился в больнице, и тут только начальственные благодетели мои спохватились, что на глазах у них режут хорошего человека, пусть даже и оступившегося по недосмотру, и взяли свои меры. Я не люблю вспоминать этот эпизод.

Тогда я не читал еще «Марсианских хроник» и даже не слыхал, что такая книга существует. Я писал свои «Сказки», представления не имея, что у меня получаются «Марсианские хроники» навыворот: цикл смешных и грустных историй о том, как осваивали нашу Землю инопланетные пришельцы. Главное там для меня было — попытаться взглянуть на нас, на нашу обыденную жизнь, на наши страсти и надежды со стороны, глазами чужаков, не злобных каких-нибудь чужаков, а просто равнодушных, инакомыслящих и инакочувствующих. Получилось, по-моему, ей-богу, забавно, только вот некоторые критики до сих пор считают меня ренегатом большой литературы, а некоторые читатели, оказывается,— одним из героев этой книги...

Официант принес мне мясо в горшочке, я спросил еще кружку пива и принялся есть.

— Вы разрешите?— произнес негромкий хрипловатый голос.

Поднявши глаза, я увидел, что рядом стоит, положив руку на спинку свободного стула, рослый горбун в свитере и потрепанных джинсах, с узким бледным лицом, обрамленным вьющимися золотистыми волосами до плеч. Без всякой приветливости я кивнул, и он тотчас уселся боком ко мне — видимо, горб мешал ему. Усевшись, он положил перед собой тощую черную папку и принялся тихонько барабанить по ней ногтями. Официант принес мое пиво и выжидательно взглянул на горбуна. Тот пробормотал: «Мне то же самое, если можно...» Я доел мясо, взялся за кружку и тут заметил, что горбун, оказывается, пристально смотрит на меня, а на

красных длинных губах его блуждает улыбка, которую я бы назвал любезной, не будь она такой нерешительной. Я уже знал, что он сейчас заговорит со мной, и он заговорил.

— Понимаете ли,— сказал он,— мне посоветовали обратиться к вам.

— Ко мне?

— Понимаете ли, да. Именно к вам.

— Так,— сказал я.— А кто посоветовал?

— Да вот...— Он с готовностью принялся озираться, вытянув шею, словно стремясь заглянуть через головы.— Странно, только что вон там сидел... Где же он?..

Я смотрел на него. Был он весь какой-то грязноватый. Из рукавов серого грязноватого свитера высовывались грязноватые манжеты сорочки, и воротник сорочки был засален и грязен, и руки его с длинными пальцами были давно немыты, как и золотые волнистые волосы, как и бледное худое лицо с белобрысой щетинкой на щеках и подбородке. И попахивало от него — птичьим двором, этакой неопрятной кислятинкой. Странный он был тип: для алкоголика выглядел слишком, пожалуй, респектабельно, а для так называемого приличного человека казался слишком уж опустившимся.

— Ушел куда-то,— сообщил он виноватым голосом.— Да бог с ним... Понимаете, он мне сказал, что вы способны если и не поверить, то по крайней мере понять.

— Слушаю вас,— сказал я, откровенно вздохнув.

— Собственно... вот!— Он двинул ко мне через стол свою папку и сделал рукой жест, приглашающий папку раскрыть.

— Извините,— сказал я решительно,— но чужих рукописей я не читаю. Обратитесь...

— Это не рукопись,— сказал он быстро.— То есть это не то, что вы думаете...

— Все равно,— сказал я.

— Нет, пожалуйста... Это вас заинтересует!— И видя, что я не собираюсь прикасаться к папке, он сам раскрыл ее передо мною.

В папке были ноты.

— Послушайте...— сказал я.

Но он не стал слушать. Понизив голос и перегнувшись ко мне через стол, он принялся рассказывать мне, в чем, собственно, дело, совершая ораторские движения кистью правой руки и обдавая меня сложными запахами птичьего двора и пивной бочки.

А дело его ко мне состояло в том, что всего за пять рублей он предлагал в полную и безраздельную собственность партитуру Труб Страшного Суда. Он лично перевел оригинал на современную нотную грамоту. Откуда она у него? Это длинная история, которую к тому же очень трудно изложить в общепонятных терминах. Он... как бы это выразиться... ну, скажем, падший ангел. Он оказался здесь, внизу, без всяких средств к существованию, буквально только с тем, что было у него в карманах. Работу найти практически невозможно, потому что документов, естественно, никаких нет... Одиночество... Никчемность... Бесперспективность... Всего пять рублей, неужели это так дорого? Ну, хорошо, пусть будет три, хотя без пятерки ему велено не возвращаться...

Мне не раз приходилось выслушивать более или менее слезливые истории о потерянных железнодорожных билетах, украденных паспортах, сгоревших дотла квартирах. Эти истории давно уже перестали вызывать во мне не только сочувствие, но даже и элементарную брезгливость. Я молча совал в протянутую руку двугривенный и удалялся с места беседы с наивозможной поспешностью. Но история, которую преподнес мне золотоволосый горбун, показалась мне восхитительной с чисто профессиональной точки зрения. Грязноватый падший ангел был просто талантлив! Такая выдумка сделала бы честь и самому Г. Дж. Уэллсу. Судьба пятерки была решена, тут и говорить было не о чем. Но мне хотелось испытать эту историю на прочность. Точнее, на объемность.

Я придвинул к себе ноты и взглянул. Никогда и ничего я не понимал в этих крючках и запятых. Ну, хорошо. Значит, вы утверждаете, что если мелодию эту сыграть, скажем, на кладбище...

Да, конечно. Но не надо. Это было бы слишком жестоко...

По отношению к кому?

По отношению к мертвым, разумеется! Вы обрекли бы их тысячи и тысячи лет скитаться без приюта по всей планете. И еще, подумайте о себе. Готовы ли вы к такому зрелищу?

Это рассуждение мне понравилось, и я спросил: для чего же тогда, по его мнению, мне могут понадобиться эти ноты?

Он страшно удивился. Разве мне не интересно иметь

в своем распоряжении такую вещь? Неужели я не хотел бы иметь гвоздь, которым была прибита к перекладине креста рука Учителя? Или, например, каменную плиту, на которой Сатана оставил проплавленные следы своих копыт, пока стоял над гробом папы Григория Седьмого, Гильдебранда?

Этот пример с плитой пришелся мне по душе. Так мог сказать только человек, представления не имеющий о малогабаритных квартирах. Ну, хорошо, сказал я, а если сыграть эту мелодию не на кладбище, а где-нибудь в парке культуры имени Горького?

Падший ангел нерешительно пожал плечами. Наверное, лучше этого не делать. Откуда нам знать, что там, в этом парке, на глубине трех метров под асфальтом?

Я вынул пять рублей и положил перед горбуном.

— Гонорар,— сказал я.— Валяйте в том же духе. Воображение у вас есть.

— Ничего у меня нет,— тоскливо отозвался горбун.

Он небрежно сунул пятерку в карман джинсов, поднялся и, не прощаясь, пошел прочь между столиками.

— Ноты заберите!— крикнул я ему вслед.

Но он не обернулся.

Я сидел, ожидая официанта, чтобы расплатиться, и от нечего делать разглядывал ноты. Их всего-то было четыре листочка, и вот на обороте последнего я обнаружил небрежную запись шариковой ручкой: «пр. Грановского, 19, «Жемчужница», клетч. пальто».

Наверное, нервы у меня в последнее время были немножечко на взводе, уж больно густо шли события, уж больно расщедрился тот, кому надлежит ведать моей судьбою. Поэтому, едва прочитав про клетч. пальто, я тут же вскочил, словно шилом ткнутый, и поглядел в оконную амбразуру — сначала налево, потом направо. Я едва не опоздал: известный мне человек в клетчатом пальто-перевертыше, крепко сжимая локоть златокудрого горбуна, облаченного в неопрятный брезентовый плащ до пят, исчезал вместе с ним из моего поля зрения.

Я опустился на стул и припал к кружке.

Такой конец забавной, хотя и не столь уж приятной истории подействовал на меня настолько угнетающе, что мне захотелось немедленно вернуться домой и никуда больше сегодня не ходить. Несвязные подозрения роились в моем воображении, выстраивались и тут же разваливались сюжетики самого отвратительного свойства, но в конце концов возобладала самая здравая и самая

реалистическая мысль: «Что я скажу Федору моему Михеичу?»

Подошел официант, и я беспрекословно расплатился за свое мясо, за свое пиво и за то пиво, которое не допил падший ангел. Затем я взял свою папку, вложил в нее ноты, пустую папку горбуна оставил на столе и пошел в гардероб одеваться.

Всю дорогу до Банной я украдкой высматривал фигуру в клетчатом пальто, но так ничего и не высмотрел.

Конференц-зал на этот раз был пуст и погружен в полутьму. Пройдя между рядами стульев, я добрался до двери под надписью «Писатели — сюда» и постучался. Никто мне не ответил, и, осторожно отворив дверь, я вступил в ярко освещенное помещение вроде короткого коридора. В конце этого коридора имела место еще одна дверь, над которой красовался этакий светофорчик, вроде тех застекленных хреновин, какие обыкновенно бывают над входом в рентгеновский кабинет. Верхняя половина светофорчика светилась, демонстрируя надпись «Не входить!» Нижняя была темная, однако и на ней можно было без труда различить надпись «Входите». По правой стороне коридорчика поставлено было несколько стульев, и на одном из них, скрючившись в три погибели и опираясь ладонями на роскошный, хоть и потертый бювар, торчком поставленный на острые коленки, сидел сам Гнойный Прыщ собственной персоной.

При виде его у меня, как всегда, холодок зашевелился под ключицами, и, как всегда, я подумал: «Это надо же, жив! Опять жив!»

Я поздоровался. Он ответил и пожевал провалившимся ртом. Я сел за два стула от него и стал смотреть в стену перед собой. Я ничего не видел, кроме основательно обшарпанной стены, небрежно окрашенной светло-зеленой масляной краской, но я физически ощущал, как выцветшие старческие глазки внимательно и прицельно сбоку меня ощупывают, как идет в шаге от меня некая привычная мозговая работа — с машинной скоростью тасуются некие карточки, на которые занесено всё: был или не был, состоял ли, участвовал ли, все факты, все слухи, все сплетни и всевозможные интерпретации слухов, и необходимые комментарии к сплетням, и строятся какие-то умозаключения, и подбиваются некие итоги, и формулируются выводы, которые, возможно, понадобятся впредь.

Я сознавал, конечно, что всё это — мой психоз. Старая сволочь вряд ли даже знала меня, а если и знала, то всё это делается совсем не так, да и времена уже не те, старый он уже, никому он теперь не нужен и никому не опасен. Года не проходит, чтобы не пронесся слух, будто он почил в бозе, он теперь более персонаж исторических анекдотов, нежели живой человек,— гнойная тень, протянувшаяся через годы в наше время. И все-таки я ничего не мог с собой поделать. Я боялся.

Тут он заговорил. Голос у него был скрипучий и невнятный — наверное, из-за плохого протеза. Однако я разобрал, что он полагает нынешнюю зиму ненормально снежной, и еще что-то о климате и погоде.

Впервые в моей жизни он заговорил со мною. Слова его были вполне банальны, любой человек мог бы произнести эти слова. Но мне, как в анекдоте, захотелось загородиться от него руками и заверещать: «Разговаривает!..»

Много-много лет назад, когда я был сравнительно молод, вполне внутренне честен и непроходимо глуп, до меня вдруг дошло (словно холодной водой окатило), что все эти мрачные и отвратительные герои жутких слухов, черных эпиграмм и кровавых легенд обитают не в каком-то абстрактном пространстве анекдотов, черта с два! Вон один сидит за соседним столиком, порядочно уже захорошевший,— добродушно бранясь, вылавливает из солянки маслину. А тот, прихрамывая на пораженную артритом ногу, спускается навстречу по беломраморной лестнице. А этот вот кругленький, вечно потный, азартно мотается по коридорам Моссовета, размахивая списком писателей, нуждающихся в жилплощади...

И когда это дошло до меня, встал мучительный вопрос: как относиться к ним? Как относиться к этим людям, которые по всем принятым мною нравственным и моральным правилам являются преступниками: хуже того — палачами; хуже того — предателями! Случалось, по слухам, что бивали их по щекам, выливали им на голову тарелку с супом в ресторане, плевали публично в глаза. По слухам. Сам я этого никогда не видел. По слухам, не подавали им руки, отворачивались при встрече, говорили резкие слова на собраниях и заседаниях. Да, бывало что-то вроде, но я не знаю ни одного такого случая, чтобы не лежало в его основе что-нибудь

вовсе не романтическое — выхваченная из-под носа путевка, адюльтерчик банальнейший, закрытая, но ставшая открытою недоброжелательная рецензия.

Они ходили среди нас с руками по локоть в крови, с памятью, гноящейся невообразимыми подробностями, с придушенной или даже насмерть задавленной совестью,— наследники выморочных квартир, выморочных рукописей, выморочных постов. И мы не знали, как с ними поступать. Мы были молоды, честны и горячи, нам хотелось хлестать их по щекам, но ведь они были стары, и дряблые их, отечные щеки были изборождены морщинами, и недостойно было топтать поверженных; нам хотелось пригвоздить их к позорному столбу, клеймить их публично, но ведь казалось, что они уже пригвождены и заклеймены, они уже на свалке и никогда больше не поднимут головы. В назидание потомству? Но ведь этот кошмар больше никогда не повторится, и разве такие назидания нужны потомству? И вообще казалось, пройдет год-другой, и они окончательно исчезнут в пучине истории, и сам собою отпадет вопрос, подавать им руку при встрече или демонстративно отворачиваться...

Но прошел год, и прошел другой, и как-то неуловимо все переменилось. Действительно, кое-кто из них ушел в тень, но в большинстве своем они и не думали исчезать в каких-то там пучинах. Как ни в чем не бывало, они, добродушно бранясь, вылавливали из солянки маслины, спешили, прихрамывая, по мраморным лестницам на заседания, азартно мотались по коридорам высоких инстанций, размахивая списками, ими же составленными и ими же утвержденными. В пучине истории пошли исчезать черные эпиграммы и кровавые легенды, а герои их, утратив при рассмотрении в упор какой бы то ни было хрестоматийный антиглянец, вновь неотличимо смешались с прочими элементами окружающей среды, отличаясь от нас разве что возрастом, связями и четким пониманием того, что сейчас своевременно, а с чем надобно погодить.

И пошли мы выбивать из них путевки, единовременные ссуды, жаловаться им на издательский произвол, писать на них снисходительные рецензии, заручаться их поддержкой на всевозможных комиссиях, и диким показался бы уже вопрос, надо ли при встрече подать руку товарищу имяреку. Ах, он в таком-то году обрек на безвестную гибель Иванова, Петрова и двух Раби-

новичей? Слушайте, бросьте, о ком этого не говорят? Половина нашего старичья обвиняет в такого рода грешках другую половину, и скорее всего обе половины правы. Надоело. Нынешние, что ли, лучше?

Не суди, и не судим будешь. Никто ничего не знает, пока сам не попробует. Нечего на зеркало пенять. А паче всего — не плюй в колодец и не мочись против ветра.

Потому что страшно. И всегда было страшно. С самого начала.

Этот мерзкий старик, что сидел через два стула от меня, мог сделать со мной всё. Написать. Намекнуть. Выразить недоумение. Или неуверенность. Эта тварь представлялась мне рудиментом совсем другой эпохи. Или совсем других условий существования. Ты перешел улицу на красный свет — и тварь откусывает тебе ноги. Ты вставил в рукопись неуместное слово — и тварь откусывает тебе руки. Ты выиграл по облигации — и тварь откусывает тебе голову. Ты абсолютно беззащитен перед нею, потому что не знаешь и никогда не узнаешь законов ее охоты и целей ее существования. У кого-то из фантастов — то ли у Ефремова, то ли у Беляева — описан чудовищный зверь гишу, пожиратель древних слонов, доживший до эпохи человека. Человек не умел спастись от него, потому что не понимал его повадок, а не понимал потому, что повадки эти возникли в те времена, когда человека еще не было и быть не могло. И человек мог спастить от гишу только одним способом: объединиться с себе подобными и убить...

Мы поговорили о погоде. Потом, помолчав, опять поговорили о погоде. Потом он стал возмущаться, какое это безобразие — на третий этаж без лифта по винтовой лестнице. Я предпочел промолчать, эта тема показалась мне скользкой.

Тут двери под светофорчиком распахнулись, и в коридор к нам ввалился Петенька Скоробогатов.

— Господи, да что это с тобой?— воскликнул я, вставая ему навстречу.

Голова Петеньки была обмотана белым бинтом, как чалмой. Левая рука, тоже перебинтованная и толстая, как бревно, висела на перевязи. Правой рукой Петенька опирался на палку. Да что же это они с ним сделали?— с ужасом подумал я.

Впрочем, тут выяснилось, что ОНИ ничего с ним не делали, а просто вчера, возвращаясь с собрания, увлекшись спором с председателем тутошнего месткома,

Петенька Скоробогатов, Ойло наше Союзное, промахнулся на ступеньках и сверзился по винтовой лестнице с третьего этажа на первый. Троих увезли в больницу, и там они по сей день лежат. После трепанации. А он, Петенька, хоть бы хны.

— ...Так, понимаешь, и полетел кувырком по спирали с третьего до первого. Голова—ноги, голова—ноги. И хоть бы хны! Повезло, понимаешь, за председателя зацепился, а он толстый такой кнур, мягкий...

Он расселся рядом с мной, вытянув поврежденную ногу. Все ему было как с гуся вода. Не задерживаясь на таких мелочах, как разорванное ухо, вывихнутая рука, растянутая лодыжка, он уже врал мне про то, как его вчера днем вызывали в Госкомиздат и предлагали издать двухтомник в подарочном издании. Иллюстрировать двухтомник будут Кукрыниксы, а печатать подрядилась типография в Ляйпциге...

Услыхав про Ляйпциг, я невольно покосился вправо. К счастью, Гнойного Прыща уже не было.

— А это у тебя что?— вскричал вдруг Петенька, выхватывая у меня папку.— А! Так ты и музыкой балуешься?— произнес он, увидев ноты.— Брось, не советую. Мертвый номер.— Он сунул папку обратно мне в руки.— Вот я сейчас... Ей-богу, сам удивился. Сумасшедший индекс сейчас получил. Просто сумасшедший. Этот тип мне рукопись не вернул. «Не отдам,— говорит.— Эталон». Я ему говорю: «Какой там эталон, писано между делом, случайный заказ». А он отвечает: «Для вас — случайный заказ, а для нас — эталон». Неет, Феликс, машину не обманешь, что ты!

И снова распахнулась дверь под светофорчиком, и в коридорчик вернулся Гнойный Прыщ. Он переступил через порог, плотно прикрыл за собой дверь и остановился. Несколько секунд он стоял, упершись одной рукой в стену, а другой прижимая к груди бювар. Лицо у него было зеленое, как у протухшего покойника, рот мучительно полуоткрыт, глаза навыкате.

— Как же так?— прошипел он, вполне, впрочем, явственно.— Как это может быть? Ведь я же своими глазами...

Его шатнуло, и мы с Петенькой ринулись к нему, чтобы поддержать. Но он отвел нас рукой, сжимающей бювар.

— Я же лично...— свистящим шепотом прокричал он, уставясь в пространство между нами.— Лично... Сам!

— Пустяки,— бодро произнес Петенька, обхватывая его за талию рукою с тростью.— Ничего такого особенного нету. И раньше бывало, и еще много раз будет, Мефодий Кириллыч...

— Да вы понимаете ли, что говорите?— спросил его Мефодий Кириллыч с каким-то даже отчаянием.— Или, может, Трубы Страшного Суда протрубили?

— Ни-ни-ни-ни-ни!— возразил Петенька.— Это я вам просто гарантирую. Никаких труб, кроме газовых, большого диаметра. Давайте-ка мы с вами присядем, Мефодий Кириллыч, и маленько отдышимся...

— Лично!..— проскрипел старик, послушно усаживаясь.— А впоследствии сам читал...

— Вы, Мефодий Кириллыч, строчки читали, а надо было между,— сказал Петенька, нагло мне подмигивая.— Там, видимо, подтекст был, а вы его не уловили. Вот машина вас и ущучила...

— Какой подтекст? Какая машина? Да вы понимаете ли, о чем я говорю, молодой человек?

Мне было тягостно и противно, я отвернулся и тут же заметил, что на светофорчике горит теперь надпись «Входите». Как сомнамбула, поднялся я с места и последовал приглашению.

Мне и раньше приходилось бывать в вычислительных центрах, так что серые шершавые шкафы, панели, мигающие огоньками, прочие экраны-циферблаты внимания моего в этой большой, ярко освещенной комнате не привлекли. Гораздо страннее и интереснее показался мне человек, сидевший за столом, заваленным рулонами и папками.

Был он, похоже, в моих годах, худощавый, с русыми, легко рассыпающимися волосами, с чертами лица в общем обыкновенными и в то же время чем-то неуловимо значительными. Что-то настораживало в этом лице, что-то в нем такое было, что ощущалась потребность внутренне подтянуться и говорить кратко, литературно и без всякого ерничества. Был он в синем лабораторном халате поверх серого костюма, сорочка на нем была белоснежная, а галстук неброский, старомодный и старомодно повязанный.

— Закройте, пожалуйста, дверь плотно,— произнес он мягким приятным голосом.

Я оглянулся и увидел, что оставил дверь полуоткрытой, извинился и прихлопнул створку. Затем я назвал себя. Что-то изменилось в его лице, и я понял, что

имя мое ему знакомо. Впрочем, себя он не назвал и сказал только:

— Очень рад. Если позволите, давайте взглянем, что вы нам принесли. Пройдите сюда, присаживайтесь.

В этих простых и даже, пожалуй, простейших, обыкновеннейших словах его прозвучало, как мне показалось, какое-то превосходство, притом настолько явственное, что я испытал вдруг потребность объясниться, оправдаться, что я не манкировал, что так уж сложились обстоятельства мои в последнее время, а вообще-то я уже был здесь вчера, буквально двадцати шагов не дошел до его двери — опять же по причинам, от меня никак не зависящим.

Впрочем, этот приступ виноватой почтительности, острый, почти физиологический, миновал быстро, и, разумеется, я ничего такого ему не сказал, а просто прошел к его столу, положил перед ним свою папку, а сам сел в довольно удобное полукресло. Меня вдруг двинуло в противоположность, захотелось вдруг развалиться, и ногу перекинуть через ногу, и, рассеянно озираясь по сторонам, изрыгнуть какую-нибудь фривольную банальность вроде: «А ничего себе живут ученые, лихо устроились!»

Но и такого, конечно, я ему ничего не сказал, и ногу на ногу не стал задирать, а сидел смирно, прилично и смотрел, как он придвигает к себе мою папку, осторожно и аккуратно развязывает тесемки, а сам словно бы улыбается длинным тонким ртом и, кажется, поглядывает на меня сквозь рассыпавшиеся волосы — то ли с любопытством, то ли с ехидцей, но явно доброжелательно.

Он раскрыл папку и увидел ноты. Брови его слегка приподнялись. Бормоча неловкие извинения, я потянулся за проклятой партитурой, но он, не отводя взгляда от нотных строчек, остановил меня легким движением ладони. Несомненно, он-то умел читать нотную грамоту, и прочитанное, несомненно, заинтересовало его, потому что, разрешив, наконец, мне изъять из папки манускрипт падшего ангела, он посмотрел на меня невеселыми серыми глазами и произнес:

— Любопытные, надо вам сказать, бумаги попадаются в старых папках у писателей...

Я не нашелся, что ему ответить, да и не ждал он моего ответа, а уже бегло, но аккуратно перелистывал копии моих рецензий на давно уже гниющие в редак-

ционных архивах поделки из самотека, копии аннотаций на японские патенты, рукописи моих переводов из японских технических журналов и прочий хлам, оставшийся от тех моих тяжелых лет, когда меня перестали печатать и принялись поносить...

Он листал, надеясь, видимо, отыскать в этой груде хлама что-нибудь хоть мало-мальски полезное, и мне стало ужасно стыдно, и я почувствовал себя последней свиньей, что вот сидит передо мной человек, строгий и невеселый, не халтурщик какой-нибудь и не конъюктурщик, и Сорокина он, видимо, читал, и ждал от Сорокина серьезный материал, на который можно было бы опереться в работе, элементарной порядочности ждал он от Сорокина, а Сорокин приволок ему мешок дерьма и вывалил на стол — на, мол, подавись.

Такие примерно переживания терзали меня, когда он закрыл, наконец, позорную папку, положил на нее бледные руки с длинными худыми пальцами и снова на меня посмотрел.

— Я вижу, Феликс Александрович,— произнес он,— что вас вовсе не интересует объективная ценность вашего творчества.

Не знаю, содержался ли в его словах или тоне упрек, но я из плебейского чувства противоречия сейчас же ощетинился.

— Это почему же вы так полагаете?

— Ну а как же?— Он постучал ногтем по папке.— Из этого материала, который вы мне принесли, только и следует, что у вас скверный почерк и что в Японии много работали над топливными элементами.

Вздорный демон склоки заворочался во мне, выталкивая наружу злобно-трусливые оправдания: «Знать ничего не хочу, сказано было — любую рукопись, вот вам из любых, пожалуйста, сами не знают, что им надо, а потом сами недовольны...» Но ничего подобного говорить я не стал, а сказал я, поникнув:

— Так уж вышло...

И добавил, неожиданно для себя:

— Не сердитесь, пожалуйста.

— Ну что вы,— произнес он и вдруг улыбнулся странной печально-ласковой улыбкой.— Как же мне на вас сердиться, Феликс Александрович? В сущности, ведь это нужнее вам, чем нам.

И тут до меня дошло, какую поразительную вещь сказал он минуту назад.

— Позвольте,— проговорил я, почему-то понизив голос.— Вы шутите, наверное? В каком смысле вы это сказали — про объективную ценность?

— В самом прямом,— ответил он, перестав улыбаться.

— Да разве же это возможно? Это что же — надо понимать, что вы здесь изобрели Мензуру Зоили?

— Почему бы и нет? И Мензуру, и многое другое...

— Но позвольте! Это же бессмыслица! Какая может быть у произведения объективная ценность?

— Почему бы и нет?— повторил он.

— Да хотя бы потому... Это же, простите, банальность! Мне, например, нравится, а вас от каждого слова тошнит. Сегодня это гремит на весь мир, а завтра все забыли...

— Все это, Феликс Александрович, верно, но какое это имеет отношение к объективной ценности?

— А такое это имеет отношение к объективной ценности,— сказал я, горячась,— что объективно ценное произведение должно быть и для вас ценно, и для меня ценно, и вчера это было ценно, и завтра будет ценно, а этого не бывает, этого быть не может!

Однако он возразил, что я путаю объективную ценность с ценностью вечною. Вечных ценностей не бывает действительно, ничего не бывает в литературе и искусстве такого, что бы ценилось всеми и всегда. Но не замечал ли я, что многие произведения, отгремев, казалось бы, свое, проживши, казалось бы, свою жизнь, вдруг возрождаются спустя века и снова гремят и живут, и еще даже громче и энергичнее, нежели раньше. Может быть, имеет смысл такую вот способность заново обретать жизнь как раз и считать мерою объективной ценности? Причем это всего лишь один из возможных подходов к проблеме объективной ценности... Существуют и другие, более функциональные, более удобные для алгоритмизации...

Я слушал его и физически ощущал, как горячность моя уходит, словно вода в песок. Я люблю поспорить, особенно на такие вот отвлеченные, непрактичные темы. Но мое представление об отвлеченных спорах непременно предполагает вполне определенную атмосферу: легкая эйфория, уютная компания, графинчик, естественно, и в перспективе второй графинчик, коль скоро возникает в нем необходимость. Здесь же, среди шершавых шкафов, в мертвенном свете ртутных трубок,

среди рулонов и графиков, и не в уютной компании, а в обществе человека, перед которым я испытывал робость... Нет, граждане, в такой обстановке я вам не спорщик.

И, словно бы угадав эти мои мысли, он произнес:

— Впрочем, спорить об этом, Феликс Александрович, не имеет никакого смысла. Машина для измерения объективной ценности художественных произведения, Мензура Зоили, как вы ее называете, создана. И уже довольно давно. И вот когда она была создана, Феликс Александрович, возник другой вопрос, гораздо более важный: да нужна ли кому-нибудь объективная ценность произведения? Чрезвычайно поучительна судьба первой действующей модели такой машины, а также ее изобретателя... Простите, я вас не утомляю?

Жутковатое предчувствие уже овладело мною, и я поспешно закивал, всем видом своим давая понять, что нисколько не утомлен и очень жду продолжения.

И не обмануло меня предчувствие. Он рассказал мне, как три десятка лет назад молодой изобретатель-энтузиаст привез на мотоцикле в писательский дом творчества в Кукушкине свою первую модель «Изпитала» — «Измерителя писательского таланта»; и о том, как Захар Купидоныч без разрешения подбросил в машину рукопись Сидора Феофиловича и потом с восторгом зачитал в столовой заключение «Изпитала», никого, впрочем, не удивившее; и о том, какая безобразная драка произошла возле равнодушной машины между Флавием Веспасиановичем и бестактным редактором издательства «Московский литератор»; и о том, как был безнадежно испорчен юбилей Гауссианы Никифоровны, когда пропали даром сто семь порций осетрины на вертеле и филе по-суворовски, доставленных из Клуба на персональном ЗИСе; и как Лукьян Любомудрович тщился подкупить изобретателя, чтобы тот подкрутил что-нибудь в своем проклятом аппарате,— предлагал сначала ящик водки, потом деньги и, наконец, жилплощадь в одном из высотных зданий... словом, о том, как восемь дней в доме творчества в Кукушкине стоял ад кромешный, а в ночь на девятый день машину разнесли вдребезги, а еще через день Мефодий Кириллыч закончил эту историю в полном соответствии с исчезнувшими ныне правилами разрешения конфликтов.

Жадно выслушав эту историю, я спросил, едва он замолчал:

— Значит, и вы знавали Анатолия Ефимовича?

— Разумеется!— ответил он с некоторым даже удивлением.— А почему вы о нем сейчас вспомнили?

— Ну, как же! Ведь все то, что вы мне сейчас рассказали, это замысел комедии, которую покойный Анатолий Ефимович хотел написать...

— А, да,— произнес он, как бы вспомнив.— Только он, знаете ли, не только хотел написать. Он и написал эту комедию. Он и себя там вывел — под другим именем, конечно. А в марте пятьдесят второго года все это в Кукушкине и произошло...

Что-то резнуло меня в этой последней фразе, но я уже зацепился за другую, как мне казалось, несообразность.

— Что значит — написал?— возразил я.— Мне Анатолий Ефимович все это рассказывал буквально за месяц до кончины. Именно как замысел комедии рассказывал!

Он усмехнулся невесело.

— Нет, Феликс Александрович. Когда он вам это рассказывал, пьеса уже четверть века как была написана. И лежала она в трех экземплярах, отредактированная, выправленная, вполне готовая к постановке, в ящике его стола. Помните его стол? Огромный, старинный, с множеством ящиков. Так вот слева, в самом низу, и лежала эта его комедия с неуклюжим названием «Изпитал».

Он произнес это так веско и так в то же время грустно, что мне ничего иного не оставалось, как немного помолчать. И мы помолчали, и он снова раскрыл мою папку и принялся перелистывать рукописи.

Я чувствовал легкую обиду на Анатолия Ефимовича, что не доверился он мне и не показал этот кусочек своей жизни, а ведь казалось мне, что он меня любит и отличает. Хотя, с другой стороны, кто я ему был такой, чтобы мне доверять? Бесед своих удостаивал только в кухне за чаем, где принимал только близких, и на том спасибо...

Но одновременно с легкой этой обидою испытывал я удивление. Удивляло меня не то, что Мензура Зоили, оказывается, давно уже изобретена и опробована. Меня удивляло, что я не испытываю по этому поводу удивления. Как-никак, реальное существование такой машины опрокидывало многие мои представления о возможном и невозможном...

Наверное, вся соль была в том, что сама личность моего собеседника до такой степени выходила за рамки этих моих представлений, что все остальное казалось мне странным и удивительным лишь постольку, поскольку было от нее производным. Мне ужасно захотелось спросить, а не он ли тот самый молодой изобретатель, который устроил неделю ужасов в Кукушкине, а затем был выведен в пьесе Анатолия Ефимовича. Я уже кашлянул и уже рот было разинул, но он тотчас поднял на меня свои прозрачные серые глаза, и я тут же понял, что ни за что не решусь задать ему этот вопрос. И брякнул я наугад:

— Так что же это у вас получается? Значит, все вот эти шкафы и есть «Изпитал»? Значит, правильно у нас говорят, что вы здесь измеряете уровень наших талантов?

На сей раз он даже не улыбнулся.

— Нет, конечно,— проговорил он.— То есть в каком-то смысле — да. Но в общем-то мы занимаемся совсем другими проблемами, очень специальными, скорее лингвистическими... или, точнее, социально-лингвистическими.

Я спросил, надо ли мне понимать его так, что эти шершавые шкафы действительно могут измерить уровень моего таланта, только сейчас настроены на другую задачу. Он ответил, что в известном смысле это так и есть. Тогда я не без яду осведомился, в каких же единицах измеряется у них здесь талант: по пятибалльной шкале, как в средней школе, или по двенадцатибалльной, как измеряются землетрясения... Он возразил, что наивно было бы предполагать, будто такое сложное социопсихологическое явление, как талант, можно оценивать в таких примитивных единицах. Талант — явление специфическое и для своего измерения требует единиц специфических...

— Впрочем,— сказал он,— проще будет показать вам, как машина работает. Данные, которые она выдает, имеют весьма косвенное отношение к таланту, но все равно... Вот, скажем, эта страничка, ваша рецензия на некую повесть под названием «Рожденье голубки»... Что это за повесть — можно судить по одному названию... Но машина будет иметь дело не с повестью, а с вашей рецензией, Феликс Александрович.

Он не без труда отцепил от листков намертво приржавевшую скрепку, взял верхний листок и положил его в этакий мелкий ящичек размером в машинопис-

ную страницу. Затем он задвинул ящичек в паз, небрежно перекинул несколько тумблеров на пульте и нажал указательным пальцем на красную клавишу с лампочкой внутри. Лампочка погасла, но зато засуетились и замигали многочисленные огоньки на вертикальной панели, и оживились два больших экрана по сторонам панели. Зазмеились кривые, запрыгали цифры, защелкали и тихонько заныли всякие там клистроны, кенотроны и прочие электронные потроха. Эпоха НТР.

Длилось все это с полминуты. Затем нытье прекратилось, а на панели и на экранах установились покой и порядок. Теперь там светились две гладкие кривые и огромное количество разнообразных цифр.

— Ну, вот и все,— произнес он, выдвинул ящичек и уложил листок обратно в папку.

Я и рта раскрыть не успел, а он уже объяснял мне, что вот эти цифры — это энтропия моего текста, а вот эти характеризуют что-то такое, что долго объяснять, а вот эта кривая — это сглаженный коэффициент чего-то такого, что я не разобрал, а вот эта — распределение чего-то такого, что я разобрал и даже запомнил было, но сразу забыл.

— Обратите внимание вот на эту цифру,— сказал он, постукивая пальцем по одинокой четверке, сиротливо устроившейся в нижнем правом углу цифрового экрана.— Среди ваших коллег сложилось почему-то убеждение, будто именно это и есть пресловутая объективная оценка или индекс гениальности, как называет ее этот странный, обмотанный бинтами человек.

— Ойло Союзное,— пробормотал я машинально.

— Возможно. Впрочем, сегодня он назвался Козлухиным, а вообще-то он появлялся здесь неоднократно, каждый раз с другой рукописью и под другим именем. Так вот, он упорно называет эту цифру индексом гениальности и считает, что чем она больше, тем автор гениальней...

И он рассказал, как, пытаясь разубедить Петеньку Скоробогатова, он однажды вырвал наугад из какой-то случайно попавшейся под руку газеты фельетон про жуликов в торговой сети и вложил в машину, и машина показала семизначное число, и хотя невооруженным глазом было видно, что фельетон безнадежно далек от гениальности, Петенька Скоробогатов ни в чем не разубедился, хитренько подмигнул и бережно спрятал газетный обрывок в разбухшую записную книжку.

— Так что же она показала, эта ваша семизначная цифра?— с любопытством спросил я.

— Простите, Феликс Александрович, но цифры бывают только однозначными. Семизначными бывают числа. Так вот, число, выдаваемое на этой строчке дисплея,— он снова постучал пальцем по моей четверке,— есть, популярно говоря, наивероятнейшее количество читателей данного текста.

— Читателей текста...— заметил я с робкой мстительностью.

— Да-да, строгий стилист несомненно найдет это словосочетание отвратным, однако в данном случае «читатель текста» — это термин, означающий человека, который хотя бы один раз прочитал или прочтет в будущем данный текст. Так что эта четверка — не какой-то там мифический индекс вашей, Феликс Александрович, гениальности, а всего лишь наивероятнейшее количество читателей вашей рецензии, показатель НКЧТ или просто ЧТ...

— А что такое эн-ка?— спросил я, чтобы что-нибудь сказать: голова у меня шла кругом.

— НК — наивероятнейшее количество.

— Ага...— сказал я и замолчал было, но в голове моей тут на мгновение прояснело, и я вопросил с возмущением:— Так какое же отношение это ваше НКЧТ имеет к таланту, к способностям, вообще к качеству данного, как вы выражаетесь, текста?

— Я предупреждал вас, Феликс Александрович, что мера эта имеет лишь косвенное отношение...

— Да никакое даже не косвенное!— прервал я его, набирая обороты.— Количество читателей зависит прежде всего от тиражей!

— А тиражи?

— Ну, знаете,— сказал я,— уж мне-то вы не рассказывайте. Уж мы-то знаем, от чего, а главное — от кого зависят тиражи! Сколько угодно могу я вам назвать безобразной халтуры, которая вышла полумиллионными тиражами...

— Разумеется, разумеется, Феликс Александрович! Вы сейчас совсем как этот ваш забинтованный Козлухин — почему-то упорно и простодушно связываете величину НКЧТ с качеством текста прямой зависимостью.

— Это не я связываю, это вы сами связываете! Я-то как раз считаю, что никакой зависимости нет, ни прямой, ни косвенной!

— Ну, как же нет, Феликс Александрович? Вот текст,— он двумя пальцами приподнял за уголок страничку злосчастной моей рецензии,— показатель НКЧТ, как видите, четыре. Есть возражения против такой оценки?

— Но позвольте... Естественно, если брать рецензию, да еще внутреннюю... Ну, редактор ее прочтет... может, автор, если ему покажут...

— Так. Значит, возражений нет.

Он вдруг ловко, как фокусник, извлек из моей папки старую школьную тетрадку в выцветшей, желтопятнистой обложке и столь стремительно придвинул ее к лицу моему, что я отшатнулся.

— Что мы здесь видим?— спросил он.

Мы здесь видели щемяще-знакомую с детских лет картинку: бородатый витязь прощается с могучим долгогривым конем. А под картинкой стихи: «Как ныне сбирается вещий Олег...»

— В чем дело?— спросил я с вызовом.— Между прочим, замечательные, превосходные стихи... Никакие уроки литературы их не убили...

— Безусловно, безусловно,— сказал он.— Но я вас не об этом спрашиваю. Если этот листок ввести сейчас в машину, то?..

Я интеллектуально заметался.

— Н-ну...— промямлил я,— много должно получиться, наверное... одних школьников сколько... Миллионов десять-двадцать?

— За миллиард,— жестко произнес он.— За миллиард, Феликс Александрович!

— Может, и за миллиард,— сказал я покорно,— Я же говорю — много...

— Итак,— произнес он,— тривиальная рецензия — НКЧТ равно четырем. «Замечательные, превосходные стихи» — НКЧТ переваливает за миллиард. А вы говорите — никакой зависимости нет.

— Так ведь...— Я замахал руками и защелкал пальцами.— «Песня-то... о вещем Олеге»... Она ведь напечатана! И сколько раз! Ее поют даже!

— Поют,— он покивал.— И будут петь. И будут печатать снова и снова.

— Ну, вот! А рецензия моя...

— А рецензию вашу петь не будут. И печатать ее тоже не будут. Никогда. Потому и НКЧТ у нее всего четыре. На прошлые времена и на все будущие. Так она и сгинет никем не читанная.

Удивительное ощущение возникло у меня в эту секунду. Он словно хотел что-то подсказать мне, навести на какую-то мысль. Он словно стучался в какую-то неведомую мне дверцу моего сознания: «Открой! Впусти!» Но все произнесенные нами слова и высказанные мысли были сами по себе банальны до бесцветности, и никакого отклика во мне они не находили. Словно кто-то пуховой подушкой бил в стальную дверь намертво запертого сейфа.

— Ну, и правильно...— сказал я нерешительно.— И господь с ней. Тоже мне — художественная ценность...

Он помолчал, разминая пальцами кожу над бровями.

— Я пошутил, Феликс Александрович,— сказал вдруг он почти виновато.— Конечно же, вы совершенно правы.

Он снова замолк. Молчал и я, пытаясь понять, в чем же именно я оказался прав, да еще — совершенно прав. И еще, в чем была соль шутки. И когда молчание стало неловким и даже неприличным, я произнес:

— Ну, что же... я пойду, пожалуй?

— Да-да, конечно, большое вам спасибо.

— Папку я возьму?

— Разумеется, прошу вас.

— А может быть, она вам...

— Нет-нет, большое спасибо. Мы выжали из нее все, что можно.

— Так что мне больше приходить не надо?

Он поднял на меня невеселые глаза.

— Я всегда буду рад вас видеть, Феликс Александрович. Правда, завтра меня здесь не будет. Приходите послезавтра, если соберетесь.

Не знаю, что́ он имел в виду, но для меня это приглашение прозвучало скорее как приказ. И опять демон склоки шевельнулся в душе моей, но я не дал ему воли. Я ограничился тем, что пожал плечами и принялся завязывать тесемки на папке, и тут он сказал:

— Ноты, пожалуйста, не забудьте, Феликс Александрович.

Оказывается, я чуть не забыл у него на столе эти дурацкие ноты. Он смотрел, как я запихиваю их в папку, как снова завязываю тесемки, а когда мы уже попрощались и я уже шел к выходу, он сказал мне вслед:

— Феликс Александрович, я бы не советовал вам носить эту партитуру по улицам. Мало ли что может случиться...

Но я решил ничего не уточнять. С меня было довольно. Словно бы ничего не услышав, я молча вышел в коридорчик и плотно прикрыл за собой дверь. В коридорчике никого не было.

От Банной до метро я шел пешком. Я брел, оскальзываясь, по обледенелым тротуарам, проталкивался через скопления провинциалов у дверей модных магазинов, пробирался через скопления автомобилей на перекрестках и при этом почти ничего вокруг себя не замечал. Мысли мои неотступно возвращались к беседе с моим странным знакомцем. Кстати, ведь он так и не назвал себя! И как это ему удалось? Странно, странно...

С одной стороны, казалось бы, что тут такого? Встретились два интеллигентных человека. По делу. Познакомились. Ну, ладно, один из них себя не назвал, а другой вспомнил об этом только после беседы. Это далеко не самое странное. Два интеллигентных, несомненно симпатичных друг другу человека обменялись кое-какими, довольно отвлеченными соображениями по поводу вполне банальных предметов: гениальность, творчество, литература, читатели, тиражи и тэ дэ. Но почему после этой беседы у меня словно занозы какие-то засели в сознании? Где-то вот здесь, за ушами, будто зудит что-то. Но что именно и почему?..

Уже в метро, стиснутый между двумя детскими колясками (в одной был ребенок, а в другой резиновые камеры для «москвича»), я внезапно совершенно отчетливо услышал сквозь грохот колес его мягкий голос: «Анатолий Ефимович не только хотел написать эту комедию. Он ее и написал. А в марте пятьдесят второго года все это в Кукушкине и произошло».

Так. Вот она, первая заноза. Сначала написал, а потом все это произошло. Вздор, вздор, это мне послышалось, конечно. Или оговорка. Главное — что у него было с Анатолием Ефимовичем? И когда он, собственно, успел? Анатолий Ефимович, не в пример подавляющему большинству моих коллег, был человеком крайне замкнутым, я бы сказал даже — нелюдимым. Заседаниями он манкировал, даже самыми ответственными. Салоны не посещал и в доме своем, упаси бог, таковых не устраивал. В Клубе почти не появлялся, спиртного не любил, а предпочитал хороший чай, заваренный собственноручно в домашних условиях. Друзей у него практически не осталось: одни умерли еще до

войны, другие погибли во время, а третьи, как он однажды выразился, «избрали часть благую». В сущности, он был одинок, я каждый раз думал об этом, когда видел в углу его кабинета груду нераспечатанных пачек с многочисленными переизданиями его трилогии, той самой, удостоенной всех мыслимых лавров,— он не раздаривал даже авторские экземпляры, ему некому было их раздаривать.

Собственно, кроме меня, он принимал в своем доме еще семь человек. Я всех их знал, и уверен я, что никто из них и не слыхивал об «Изпитале». А нынешний мой знакомец не только слыхал об этой комедии, но и явно читал ее! Странно, странно... Может быть, они когда-то, еще до меня задолго, были близки, а потом рассорились? Но ведь он примерно моего возраста, он в сыновья Анатолию Ефимовичу годится, так когда же они успели?..

Я так ничего и не придумал по этому поводу, а потом все эти мысли вылетели у меня из головы, когда совсем уже рядом с домом я поскользнулся по-настоящему, совершил фантастический пируэт и обрушился на бок, вдобавок сбив с ног подвернувшуюся даму с собачкой.

Поднимать нас сбежалось шестеро, и порядочно было тут кряхтенья, сопенья, ободрительных возгласов и сомнительных ламентаций по поводу того, что право на труд у нас не подразумевает, видно, права на посыпание песком обледенелых тротуаров. Больше всех, по-моему, пострадала собачка, которой в суматохе оттоптали лапу, но и я треснулся весьма серьезно. Я стоял, прижимая ладонь к боку, и пытался дышать, а вокруг меня переговаривались в том смысле, что ничего подобного в Москве зимой еще не бывало... бардак... конец света... страшный суд...

Отдышавшись, я с трудом произнес слова благодарности спасителям моим и слова вины перед несчастной дамой и ее собачкой. Мы разошлись, и я поковылял к облицованному черной плиткой крыльцу своему.

Эсхатологические мотивы, прозвучавшие в негодующем хоре поборников права на труд для дворников, направили мысли мои в совершенно иное русло. Я вспомнил падшего ангела и его дурацкие ноты, а затем, по естественной ассоциации, вспомнил напутственные слова моего сегодняшнего знакомца. «Я бы не советовал вам разгуливать с этими нотами по улице. Мало ли что,

знаете ли...» А что, собственно? Что это за ноты такие, с которыми мне не советуют гулять по улицам? «Боже, царя храни»? Или «Хорст Вессель»? И по этому поводу тоже ничего у меня не придумалось, кроме невероятного, разумеется, но зато все объясняющего предположения, что это действительно партитура Труб Страшного Суда.

Но тут я, по крайней мере, знал, к кому обратиться. Я не доехал до своего шестнадцатого этажа, а вышел на шестом. Там в четырехкомнатной квартире жил и работал популярный композитор-песенник Георгий Луарсабович Чачуа, хлебосол, эпикуреец и неистовый трудяга, с которым мы были на «ты» чуть ли не с самого дня вселения в этот дом.

За обитой дерматином дверью гремел рояль и заливался прекрасный женский голос. Видимо, Чачуа работал. Я заколебался. За дверью грохнул взрыв хохота, рояль смолк, голос тоже оборвался. Нет, кажется, Чачуа не работал. Я нажал на кнопку звонка. В тот же момент рояль загремел снова, и несколько мужских глоток грянули что-то грузинское. Да, Чачуа, кажется, не работал. Я позвонил вторично.

Дверь распахнулась, и на пороге возник Чачуа в черных концертных брюках с яркими подтяжками поверх ослепительно белой сорочки, расстегнутой у ворота, разгоряченное лицо озабочено, гигантский нос покрыт испариной. Ч-черт, все-таки он работал...

— Извини, ради бога,— сказал я, прижимая к груди папку.

— Что случилось?— осведомился он встревоженно и в то же время слегка раздраженно.

— Ничего не случилось,— ответил я, намертво задавливая в себе позыв говорить с кавказским акцентом.— Я на минуту забежал, потому что у меня к тебе...

— Слушай,— произнес он, нетерпеливо переступая с ноги на ногу.— Зайди попозже, а? Там люди у меня, работаем. Часа через два, да?

— Подожди, у меня дело совсем пустяковое,— сказал я, торопливо развязывая тесемки на папке.— Вот ноты. Посмотри, пожалуйста, когда будет время...

Он принял у меня листки и с недоумевающим видом перебрал их в руках. Из глубины квартиры доносились спорящие мужские голоса. Спорили о чем-то музыкальном.

— Л-ладно...— произнес он замедленно, не отрывая

взгляда от листков.— Слушай, кто писал, откуда взял, а?

— Это я тебе потом расскажу,— сказал я, отступая от двери.

— Да, дорогой,— сейчас же согласился Чачуа.— Лучше потом. Я сам к тебе зайду. У меня еще на час работы, потом «Спартак» будет играть, а потом я к тебе зайду.

Он махнул мне листками и захлопнул дверь.

Придя домой и раздевшись, я прежде всего полез в душ. Я был мокрый от пота, ушибленный бок ныл немилосердно, и вообще надо было успокоиться. Ворочаясь под душем, я составил себе программу на вечер. Прежде всего — ужин, он же сегодня обед. Его надо приготовить. Картошка есть. Сметана есть. Кажется. Есть зеленый горошек. Ба! Есть же банка говядины! К черту супы! Сварить картошку и вывалить в нее тушеную говядину! И лук есть, и маринованная черемша... И коньячок. Много ли человеку надо? Я враз повеселел.

Почему я не против чистить картошку, так это потому, что голова совершенно свободна. Между прочим, никто из моих знакомых не умеет чистить картошку так чисто и быстро, как я. Армия, товарищи! Центнеры, тонны, вагоны перечищенной картошки! И какой, бывало, картошки! Гнилой, глубоко промороженной, сине-зеленой, прочерневшей насквозь... А такую вот картошечку мирного времени, да еще рыночную вдобавок, чистить одно удовольствие. И боже мой, как это прекрасно, что больше мне не надо ехать на Банную!..

Я промыл начищенные картофелины в трех водах, налил в кастрюльку воды и нарезал в нее картофелины, разрезав каждую надвое или натрое. Затем я поставил кастрюльку на огонь.

...Как хотите, а вся эта их затея с определением НКЧТ — чушь и разбазаривание народных денег. Как и большинство высокоумных затей, связанных с литературой и с искусством вообще. Это же надо, понаставили шкафов тысяч на сто, и все для того лишь, чтобы доказать: ежели писателя издавать, то читателей у него будет много, хотя, может, и не очень; а ежели его, наоборот, не издавать, ежели его, сукина кота, держать в черном теле, то тогда у него, мерзавца, пакостника этакого, читателей и вовсе не будет. Или еще хлестче: ежели издать, скажем, Александра Сергеевича Пушкина томик хотя бы и прозы и параллельно издать романчик Унитазова Сортир Сортирыча про страсти

в литейном ковше, то у Пушкина читателей окажется не в пример больше. Вот ведь, по сути, и все, что он пытался мне там втолковать. Ну, плюс еще, может быть, нехитрую мысль, что хорошее всегда хорошо, а плохое всегда плохо...

Или тут что-то не так? Или что-то я тогда не понял и сейчас понять не могу? А, вольно же ему было намекать, говорил бы прямо, чего ему нужно, а теперь я хрен туда еще когда-нибудь пойду, а вот и картошечка поспела!

Вот и все готово сделалось у меня на столе, аппетитнейшая смесь картофеля и красноватой говядины дымилась в глубокой тарелке, и пахло на кухне мясными запахами и луком, и лавровым листом, и коньячок пролился в пузатую рюмку, и до чего же славно стало жить, и горизонты посветлели и озарились добрыми предчувствиями. Сценария у меня более половины готово, и в ателье за шубой идти не надо, и не надо, черт подери, совсем не надо, больше идти на Банную. Все долги уплачены до захода солнца, как говаривал юный мистер Коркран.

Я опрокинул рюмку, набил рот картошкой с мясом и потянулся к телевизору.

По первой программе кто-то пилил на скрипке. Полюбовавшись некоторое время измученным лицом пильщика, я переключился. По второй программе плясала самодеятельность: взметывала пестрые юбки, грохотала каблуками, сводила и разводила руки и время от времени душераздирающие взвизгивала. Я снова набил рот картошкой и снова переключился. Здесь несколько пожилых людей сидели вокруг круглого стола и разговаривали. Речь шла о достигнутых рубежах, о решимости что-то где-то обеспечить, о больших работах по реконструкции чего-то железного...

Я жевал картошку, ставшую вдруг безвкусной, слушал и проникновенно про себя матерился. Телевизор! Блистательное чудо двадцатого нашего века! Поистине фантастический концентрат усилий, таланта, изобретательности десятков, сотен, тысяч великолепнейших умов нашего, моего времени! Для того чтобы сейчас вот, вернувшись с работы, десятки миллионов усталых людей остервенело щелкали переключателями вместе со мной, не в силах решить поистине неразрешимую задачу: что выбрать? Вдохновенного пильщика? Или буйную потную толпу самодеятельных плясунов? Или этих

унылых и косноязычных специалистов за круглым столом?

Все-таки я выбрал пильщика. Налил вторую рюмку, отхлебнул и стал слушать. Наваждение какое-то, подумалось мне вдруг. С самого детства меня пичкают классической музыкой. Вероятно, кто-то где-то когда-то сказал, что если человека каждый день пичкать классической музыкой, то он помаленьку к ней привыкнет и в дальнейшем жить без нее уже не сможет, и это будет хорошо. И началось. Мы жаждали джаза, мы сходили по джазу с ума — нас душили симфониями. Мы обожали душещипательные романсы и блатные песни — на нас рушили скрипичные концерты. Мы рвались слушать бардов и менестрелей — нас травили ораториями. Если бы все эти титанические усилия по внедрению музыкальной культуры в наше сознание имели КПД ну хотя бы как у тепловой машины Дени Папена, я жил бы сейчас в окружении знатоков и почитателей музыкальной классики и сам безусловно был бы таким знатоком и почитателем. Тысячи и тысячи часов по радио, тысячи и тысячи телевизионных программ, миллионы пластинок... И что же в результате? Гарик Аганян почти профессионально знает поп-музыку. Жора Наумов до сих пор коллекционирует бардов. Ойло Союзное вроде меня: чем меньше музыки, тем лучше. Шибзд Леня вообще ненавидит музыку. Есть, правда, Валя Демченко. Но он любит классику с раннего детства, музыкальная пропаганда здесь ни при чем...

Пока я размышлял на эти темы, скрипач с экрана пропал, а на его место ворвались хоккеисты, и один из них сразу же ударил другого клюшкой по голове. Оператор стыдливо увел камеру в сторону, самое интересное мне не показали, и я выключил телевизор. Я был сыт, слегка навеселе, и оставалось мне всего-то-навсего вымыть посуду.

Потом я перешел в кабинет и медленно двинулся вдоль стенки с книгами, ведя указательным пальцем по стеклу.

«Война и мир». Не сегодня. Полугода еще не прошло.

«Письма Чехова». Не то настроение.

Чуковский. «От Чехова до наших дней». Недавно перечитывал.

Так. Сам Антон Павлович в десяти томах. «Скучную историю» перечитать? Нет. Побережем для дня помрачнее.

Михаил Булгаков. Я некоторое время рассматривал коричневый корешок, уже помятый, уже облупившийся местами, и внизу вон какая-то заусеница образовалась... Нет, хватит, впредь я эту книжку никому больше не дам. Неряхи чертовы. «Велик был год и страшен год по рождестве Христовом тысяча девятьсот восемнадцатый, от начала же революции — второй...»

— Нет,— сказал я вслух.— Я сейчас «Театральный роман» почитаю. Ничего нет на свете лучше «Театрального романа», хотите бейте вы меня, а хотите — режьте...

И я извлек с полки томик Булгакова и обласкал пальцами, и огладил ладонью гладкий переплет, и в который уже раз подумал, что нельзя, грешно относиться к книге, как к живому человеку.

Телефон грянул у меня за спиной, и я вздрогнул, потому что был уже не здесь, а в крошечной грязной комнатушке с диваном, из которого торчала пружина, неудобная, как кафкианский бред. Ушибленный бок у меня вдруг заныл, и, прижимая к ребрам прохладный томик, я подошел к столу, повалился в кресло и взял трубку.

Звонил Валя Демченко. Я вот совсем забыл, а в субботу, оказывается, у Сонечки день рождения, и меня звали. Я обрадовался. Я обрадовался потому, во-первых, что Сонечкин день рождения справляется далеко не каждый год, и уж если справляется, то это означает, что все у них хорошо, что пребывают они в полосе материального благополучия, все здоровы, капитан-лейтенант Демченко, всплывши из соленых пучин, прислал бодрое письмо из города Мурманска на Н-ском море, и вообще все прекрасно. А во-вторых, я обрадовался потому, что далеко не всякого приглашают на дни рождения Сонечки.

Мы поговорили. Я спросил, как обстоит дело с последней Валиной повестью, со «Старым дураком». Валя ответил, что в «Ежеквартальном надзирателе» после давешних неприятностей и читать не стали, шарахнулись, как от прокаженного, а в «Губернском вестнике» — да, прочли. Но молчат пока, ждут возвращения главного. Главный сейчас в Швеции, а может быть в Швейцарии, а может быть, и в Швамбрании. Поэтому никто в «Губернском вестнике» мнения по поводу повести пока не имеет. А вот когда главный вернется и прочитает, вот тут-то и мнение возникнет как бы по волшебству...

Спросил я, как он собирается бороться за название. Он ответил, что никак не собирается, что повесть теперь называется «Старый мудрец», а вот сцену совращения он решил оставить. Какого черта! Не хочет он своею собственной рукой отрезать от себя лучшие куски мяса. Пусть уж они режут, им за это деньги платят. И не маленькие...

Я успокоил его в том смысле, что у них-то рука не дрогнет. Он не спорил. Он знал это получше меня. Затем он спросил, не звонил ли мне сегодня Леня. Ах, не звонил! Ну, так еще позвонит. Он новую фразу написал, но не совсем в ней уверен...

Положивши трубку, я задумался: что подарить Сонечке? Я не умею делать подарки. Особенно женщинам. Коньяк? Не годится, хотя Сонечка любит хороший коньяк. Духи? Черт их разберет, эти духи. Может быть, подарить просто пятьдесят рублей чеками Внешпосылторга? Неудобно как-то. Книгу надо подарить какую-нибудь, вот что. Эх, был бы у меня какой-нибудь альбом репродукций... или хотя бы были деньги, рубликов триста пятьдесят — в «Планете» продается «Вашингтонская галерея», умереть можно!

Может быть, по ассоциации с Вашингтоном вспомнился мне мой Дэшиел Хэммет. Давно, ох, давно точит Сонечка зубки на моего Дэшиела Хэммета. Однотомничек с лучшими его вещами, избранное, я бы сказал, все равно что в моем коричневом томике Булгакова. «Кровавый урожай» там есть и «Мальтийский сокол», и «Стеклянный ключ»... Я ведь все это знаю почти наизусть, а Сонечка — это такой человек, что прав у нее на эту книгу никак не меньше, чем у меня.

И, принявши это решение, я поставил томик Булгакова на место, перешел к полкам с иностранщиной и, отодвинув в сторону модель драконоподобного корабля «тхюйен жонг», на каких древние вьетнамцы катали своих королей, извлек «The Novels of Dashiel Hammett». Вот что я сделаю, подумал я, листая страницы с золотым обрезом. Почитаю-ка я его сегодня и завтра напоследок и с тем распрощаюсь. Осторожно, чтобы не потревожить свой многострадальный бок, я возлег на диван, и том в моих руках сам собой раскрылся на «Мальтийском соколе».

Я дочитал до того места, где к Сэму Спэйду заявляются под утро лейтенант Дарби и детектив Том, и тут мне стало невмоготу. Я отложил книгу, поднялся, кряхтя, и спустил ноги с дивана.

Бок болел у меня, который уж раз болел у меня этот несчастный мой левый бок. Я побрел в ванную, задрал перед зеркалом рубаху и посмотрел. Бок был жирный, дряблый был у меня бок, и никаких следов увечья на нем не обнаруживалось. Как, впрочем, и в прежние разы. Я прошел на кухню, вылил в рюмку остатки коньяка и выпил махонькими глоточками, как японцы пьют сакэ.

В первый раз я сломал себе это ребро в шестьдесят пятом, зимой в Мурашах, когда подвигнул меня лукавый рискнуть съехать на финских санях по крутому склону до самой речки. Все съезжали, вот и я решил: чем я хуже? А хуже я оказался тем, что на середине склона струсил, показалось мне вдруг, что скорость моя приближается к космической, и, чтобы не улететь к едрене фене, я принял решение катапультироваться. И катапультировался. Шагов двадцать скакал я на левом боку вниз по пересеченной местности. «Сломали ребрышко-то»,— сказал мне хирург нашей поликлиники, когда я, вернувшись из Мурашей, явился к нему с жалобой на боли в боку. Это было раз.

Два года спустя я однажды зашел в Клуб пообедать. Я озирался в поисках свободного столика, и тут на меня из-за угла напало сильно поддатое Ойло Союзное. Будучи в агрессивно-восторженном состоянии духа (по случаю гонорара за очередную свою халтуру), оно обхватило меня длинными своими конечностями поперек, как в свое время Геркулес схватил Антея, приподняло меня над матерью-землею и стиснуло так, что ребро только жалобно хрустнуло. «Ты знаешь, трещина у тебя, старик»,— озабоченно сказал мне мой приятель-врач, когда я пожаловался ему на боль. Это было два.

В позапрошлом году, когда я в составе писательской бригады шел на сухогрузе из Владивостока в Петропавловск, застал нас на траверзе острова Мацуа восьмибалльный шторм. Писательская бригада, вся заблеванная, благополучно помирала в койках, меня же, морской болезни не подверженного, черт понес на палубу. Буквально на секунду оторвал я руку от поручней, и меня со страшной силой шарахнуло о комингс все тем же боком. «Боюсь, переломчик у вас»,— сказал мне судовой врач, и, как выяснилось впоследствии, боялся он не напрасно.

Это было уже три, и мне показалось, что, поскольку

бог любит именно троицу, злоключения ребра моего на этом закончатся. Но, как видно, изба без четырех углов не строится...

Я уныло поглядел на свет через пустую бутылку и втиснул ее в шкафчик под мойкой. Чаю попью, вот что я сейчас сделаю. Я поставил чайник, а сам встал у окна и прислонился лбом к холодному стеклу.

Экая все-таки мерзопакость. Ведь казалось же, что все наладилось, все заботы позади, так нет же — теперь ребро. Тот, кто ведает моей судьбой, махнул рукой на изящество выдумки и обратился к приемам прямым, грубым, подлым. Ну, на что это похоже? Среди бела дня, в пределах огромного мегалополиса, солидный пожилой человек, не спортсмен какой-нибудь легкомысленный, не буян и не алкоголик, вдруг ни с того ни с сего ломает ребро! Горько, товарищи. Горько и неприлично...

Я сходил в кабинет за Дэшиелом Хэмметом и принялся пристраиваться около кухонного стола в поисках позы, наименее болезненной. Как и в прошлые разы, оказалось, что легче всего мне в излюбленной Катькиной позе: колени на табуретке, локти на столе, задница в воздухе. В этой позе я и стал жить. В этой позе я стал пить чай и читать про пудовую статуэтку сокола из чистого золота, которую мальтийские рыцари изготовили когда-то в подарок королю Испании, а в наши дни началась за нею кровавая гангстерская охота. Когда я дочитал до того места, где в контору Сэма Спэйда вваливается продырявленный пятью пулями капитан «Ла Паломы», в дверь позвонили.

Кряхтя и постанывая, с огромной неохотой оторвавшись от Сэма Спэйда, я побрел открывать. Оказывается, за это время я успел начисто забыть и про ноты падшего ангела, и про Гогу Чачуа, и поэтому, увидев его на пороге, я испытал потрясение, тем более, что лицо его...

Нет, строго говоря, лица на нем не было. Был огромный, с синими прожилками, светло-голубой нос над толстыми усами с пробором, были бледные дрожащие губы, и были черные тоскливые глаза, наполненные слезами и отчаянием. Проклятые ноты, свернутые в трубку, он судорожно сжимал в волосатых кулаках, прижатых к груди. Он молчал, а у меня так перехватило дух от ужасного предчувствия, что и я не мог выговорить ни слова и только посторонился, давая ему дорогу.

Как слепой, он устремился в прихожую, натолкнулся на стенку и неверными шагами двинулся в кабинет. Там он обеими руками бросил ноты на стол, словно эта бумажная трубка обжигала его, упал в кресло и прижал к глазам ладони.

Ноги подо мной подогнулись, и я остановился в дверях, ухватившись за косяк. Он молчал, и мне казалось, что молчание это длится невероятно долго. Более того, мне казалось, что оно никогда не кончится, и у меня возникла дикая надежда, что оно никогда и не кончится, и я не услышу никогда тот ужас, который принес мне Чачуа. Но он все-таки заговорил:

— Слушай...— просипел он, отрывая руки от лица и запуская пальцы в густую шерсть над ушами.— Опять «Спартак» пропер! Ну, что ты будешь делать, а?

8. Банев. Гадкие лебеди

— Который час?— сонно спросила Диана.

Виктор аккуратно снял бритвой полоску мыла с левой скулы, поглядел в зеркало, потом сказал:

— Дрыхни, малыш, дрыхни. Рано еще.

— Действительно,— сказала Диана. Диван скрипнул.— Девять часов. А ты что там делаешь?

— Бреюсь,— ответил Виктор, снимая следующую полоску мыла.— Захотелось мне вдруг побриться. Дай, думаю, побреюсь.

— Сумасшедший,— сказала Диана сквозь зевок.— Вечером надо было бриться. Всю меня исполосовал своими колючками. Кактус.

В зеркало ему было видно, как она ломающимися шагами подошла к креслу, забралась с ногами и стала смотреть на него. Виктор ей подмигнул. Опять она была другая, нежная-нежная, мягкая-мягкая, ласковая-ласковая, свернулась, как сытая кошка, ухоженная, обглаженная, благостная — совсем не та, что ворвалась к нему вчера в номер.

— Сегодня ты похожа на кошку,— сообщил он.— И даже не на кошку — на кошечку, на кошаточку... Чего ты улыбаешься?

— Это не про тебя. Просто почему-то вспомнилось...

Она зевнула и сладко потянулась. Она тонула в пижаме Виктора, из бесформенной кучи шелка в кресле

выглядывало только ее чудное лицо и тонкие руки. Как из волны. Виктор стал бриться быстрее.

— Не торопись,— сказала она.— Обрежешься. Все равно мне уже пора ехать.

— Поэтому я и тороплюсь,— возразил Виктор.

— Ну, нет, я так не люблю. Так только кошки... Как там мои шмотки?

Виктор протянул руку и потрогал ее платье и чулки, развешенные на обогревательной решетке. Все высохло.

— Куда ты спешишь?— спросил он.

— Я же тебе говорила. К Росшеперу.

— Что-то я ничего не помню. Что там с Росшепером?

— Ну он же повредился,— сказала Диана.

— Ах, да!— сказал Виктор.— Да-да, ты что-то говорила. Откуда-то он там вывалился. Здорово расшибся?

— Этот дурак,— сказала Диана,— решил вдруг покончить с собой и выбросился в окно. Кинулся, как бык, головой вперед, проломил раму, но забыл при этом, что находится на первом этаже. Повредил коленку, заорал, а теперь лежит.

— Что это он?— равнодушно спросил Виктор.— Белая горячка?

— Что-то вроде.

— Подожди,— сказал Виктор.— Так это ты из-за него два дня ко мне не приезжала? Из-за этого вола?

— Ну да! Главный врач мне приказал с ним сидеть, потому что он, то есть Росшепер, без меня не мог. Не мог, и всё тут. Ничего не мог. Даже помочиться. Мне приходилось изображать журчание воды и рассказывать ему про писсуары.

— Что ты в этом понимаешь,— пробормотал Виктор.— Ты вот ему про писсуары рассказывала, а я тут мучился один, тоже ничего не мог, ни строчки не написал. Ты знаешь, я вообще не люблю писать, а последнее время... Вообще жизнь у меня последнее время...— Он остановился. Какое ей дело?— подумал он. Спарились и разбежались.— Да, слушай... Когда, ты говоришь, Росшепер сверзился?

— Третьего дня,— ответила Диана.

— Вечером?

— Угу,— сказала Диана, грызя печенье.

— В десять часов вечера,— сказал Виктор.— Между десятью и одиннадцатью.

Диана перестала жевать.

— Правильно,— сказала она.— А ты откуда знаешь? Принял его некробиотическую телепатему?

— Подожди,— сказал Виктор.— Я тебе сейчас расскажу кое-что интересное. Но сначала — а ты что делала в это время?

— Что я делала?.. А, да. Я в тот вечер, помнится, психанула. Мотала я бинты, и вдруг такая тоска на меня навалилась, как головная боль, хоть в петлю. Сунулась я мордой в эти бинты и реву, да как реву!— в три ручья, с детства так не ревела...

— И вдруг все прошло,— сказал Виктор.

Диана задумалась.

— Да... Нет... Тут вдруг Росшепер как заорет на улице, я перепугалась и выскочила...

Она хотела сказать еще что-то, но в дверь застучали, рванули ручку, и голос Тэдди прохрипел из коридора: «Виктор! Виктор, проснись! Открой, Виктор!» Виктор замер с бритвой в руке. «Виктор!— хрипел Тэдди.— Открой!»— и бешено вертел дверную ручку. Диана вскочила и повернула ключ. Дверь распахнулась, ворвался Тэдди, мокрый, растерзанный, и в руке у него был обрез.

— Где Виктор?— хрипло рявкнул он.

Виктор вышел из ванной.

— Что такое?— спросил он. У него заколотилось сердце. Арест... Война...

— Дети ушли,— тяжело дыша, сказал Тэдди.— Собирайся, дети ушли!

— Постой,— сказал Виктор.— Какие дети?

Тэдди швырнул обрез на стол в кучу исписанной, исчерканной, измятой бумаги.

— Сманили детей, сволочи!— заорал он.— Сманили, гады! Ну, теперь всё! Хватит, натерпелись... Теперь всё!

Виктор еще ничего не понимал, он только видел, что Тэдди вне себя. Таким он видел Тэдди только один раз, когда во время большого скандала в ресторане у него под шумок взломали кассу. Виктор в растерянности хлопал глазами, а Диана подхватила со спинки кресла белье, проскользнула в ванную и прикрыла за собой дверь. И в этот миг резко и нервно затрещал телефон. Виктор схватил трубку. Это была Лола.

— Виктор,— заныла она.— Я ничего не понимаю, Ирма куда-то пропала, оставила записку, что никогда не вернется, а кругом говорят, что дети ушли из го-

рода... Я боюсь! Сделай что-нибудь...— она почти плакала.

— Хорошо, хорошо, сейчас,— сказал Виктор.— Дайте штаны надеть.— Он бросил трубку и оглянулся на Тэдди. Бармен сидел на разворошенной постели и, бормоча странные слова, сливал в стакан остатки из всех бутылок.— Погоди,— сказал Виктор.— Надо без паники. Я сейчас...

Он вернулся в ванную и принялся торопливо добривать намыленный подбородок, несколько раз порезался, ему некогда было направить бритву, а Диана тем временем выскочила из-под душа и шуршала одеждой у него за спиной, лицо у нее было жесткое и решительное, словно она готовилась к драке, но она была совершенно спокойна.

...А дети шли бесконечной серой колонной по серым размытым дорогам, шли, спотыкаясь, оскальзываясь и падая под проливным дождем, шли, согнувшись, промокшие насквозь, сжимая в посиневших лапках жалкие промокшие узелки, шли маленькие, беспомощные, непонимающие, шли, плача, шли, молча, шли, оглядываясь, шли, держась за руки и за хлястики, а по сторонам дороги вышагивали мрачные черные фигуры без лиц, и на месте лиц были черные повязки, а под повязками безжалостно и холодно смотрели нечеловеческие глаза, и руки, затянутые в черные перчатки, сжимали автоматы, и дождь лил на вороненую сталь, и капли дрожали и катились по стали... Чепуха, думал Виктор, чепуха, это совсем не то, совсем не теперь, это я видел, но это было очень давно, а теперь совсем не так...

...Они уходили радостно, и дождь был для них другом, они весело шлепали по лужам горячими босыми ногами, они весело болтали и пели и не оглядывались, потому что уже всё забыли, потому что у них было только будущее, потому что они навсегда забыли свой храпящий и сопящий предутренний город, скопище клопиных нор, гнездо мелких страстишек и мелких желаний, беременное чудовищными преступлениями, непрерывно извергающее преступления и преступные намерения, как муравьиная матка непрерывно извергает яйца, они ушли, щебеча и болтая, и скрылись в тумане, пока мы, пьяные, захлебывались спертым воздухом, поражаемые погаными кошмарами, которых они никогда не видели и никогда не увидят...

Он надевал брюки, прыгая на одной ноге, когда стекла задребезжали, и густой механический рев проник в комнату. Тэдди опрометью бросился к окну, но за окном был все тот же дождь, пустая мокрая улица, и только кто-то проехал на велосипеде, мокрый брезентовый мешок, натужно двигающий ногами. А стекла продолжали дребезжать и позвякивать, и низкий тоскливый рев продолжался, а минуту спустя к нему присоединились отрывистые жалобные гудки.

— Пошли,— сказала Диана. Она была уже в плаще.

— Нет, погоди,— сказал Тэдди.— Виктор, оружие у тебя есть? Пистолет какой-нибудь, автомат... Есть?

Виктор не ответил, схватил свой плащ, и они втроем сбежали по лестнице в вестибюль, совсем уже пустой, без швейцара и портье. Казалось, в гостинице не осталось ни одного человека, только в ресторане за столом сидел Р. Квадрига, недоуменно вертя головой и, видимо, давно уже дожидаясь завтрака. Они выскочили на улицу и влезли в грузовик Дианы — все трое в кабину. Диана села за руль, и они понеслись по городу. Диана молчала, Виктор курил, стараясь собраться с мыслями, а Тэдди все продолжал вполголоса изрыгать невероятную брань, и даже Виктор не понимал значения многих слов, потому что такие слова мог знать только Тэдди — приютская крыса, воспитанник портовых трущоб, а потом спекулянт наркотиками, а потом вышибала в публичном доме, а потом солдат похоронной команды, а потом бандит и мародер, а потом бармен, бармен, бармен и опять бармен.

В городе людей почти не было видно, только на углу Солнечной Диана остановилась, чтобы взять в кузов растерянную супружескую пару. Низкий рев сирен ПВО и писклявые заводские гудки не прекращались, и было что-то апокалиптическое в этом стоне механических голосов над безлюдным городом. Все сжималось внутри, хотелось куда-то бежать и то ли прятаться, то ли стрелять, и даже «Братья по разуму» на стадионе гоняли мяч без обычного энтузиазма, а некоторые из них, разинув рты, оглядывались по сторонам, как бы пытаясь что-то уразуметь.

На шоссе за окраиной люди стали попадаться все чаще и чаще. Некоторые шли пешком, захлебываясь в дожде, жалкие, перепуганные, плохо соображающие, что они делают и зачем. Другие катили на велосипедах и тоже уже выдохлись, потому что ехать прихо-

дилось против ветра. Несколько раз грузовик проехал мимо брошенных автомобилей, поломавшихся или впопыхах не заправленных, а один автомобиль съехал в кювет. Диана останавливалась и подбирала всех, и скоро кузов оказался набит до отказа. Виктор с Тэдди тоже перебрались в кузов, уступив места женщине с грудным младенцем и какой-то полусумасшедшей старухе. Потом места не осталось и в кузове, и Диана уже больше не останавливалась, и грузовик мчался вперед, заливая потоками воды и обгоняя десятки и сотни людей, тащившихся к лепрозорию. Несколько раз грузовик обгоняли грузовые машины, набитые людьми, мотоциклисты, и еще один грузовик догнал их и пристроился сзади.

Диана привыкла возить коньяк для Росшепера или гонять пустую машину по окрестностям для собственного удовольствия, поэтому в кузове было страшно. Сесть все не могли, не было места, и стоявшие цеплялись друг за друга и за головы сидевших, и каждый старался забраться подальше от бортов, и никто ничего не говорил — все только пыхтели и ругались, а одна женщина непрерывно плакала. И шел дождь — такой, какого Виктор не видел никогда в жизни, он даже не представлял себе, что на свете бывают такие дожди — сплошной тропический ливень, но не теплый, а ледяной, пополам с градом, и сильный ветер нес его навстречу движению. Видимость была отвратительная — пятнадцать метров вперед и пятнадцать назад, и Виктор очень боялся, что Диана сшибет кого-нибудь на шоссе или врежется в затормозившую машину. Но всё обошлось благополучно, и Виктору только сильно отдавили ногу, когда все в кузове повалились друг на друга в последний раз и грузовик занесло перед громадным скоплением машин у ворот лепрозория.

Наверное, весь город собрался здесь. Здесь не было дождя, и казалось, что город прибежал сюда, спасаясь от потопа. Вправо и влево от шоссе, насколько хватал глаз, вдоль колючей изгороди растянулась тысячная толпа, в которой тонули разбросанные, стоящие кое-как пустые автомобили — роскошные длинные лимузины, потрепанные легковушки с брезентовым верхом, грузовики, автобусы и даже один автокран, на стреле которого сидело несколько человек. Над толпой висел глухой гул, иногда раздавались пронзительные выкрики.

Все попрыгали из кузова, и Виктор сразу потерял из виду Диану и Тэдди, вокруг были только незнакомые лица, мрачные, ожесточенные, недоумевающие, плачущие, кричащие, с закаченными в обмороке глазами, оскаленные... Виктор попытался пробиться к воротам, но через несколько шагов безнадежно увяз. Люди стояли плотной стеной, никто не желал уступать своего места, их можно было толкать, пинать, бить, они даже не оборачивались, они только вжимали головы в плечи и все старались просунуться вперед, вперед, ближе к воротам, ближе к своим детям, они вставали на цыпочки, они тянули шеи, и ничего не было видно за колышащейся массой капюшонов и шляп.

— Господи, за что? В чем согрешили мы, господи?

— Сволочи! Давно надо было вырезать. Говорили же умные люди...

— А где бургомистр? Какого черта он делает? Где полиция? Где все эти толстобрюхие?

— Сим, меня сейчас задавят... Сим, задыхаюсь! Ох, Сим...

— В чем отказывали? Чего для них жалели? От себя кусок отрывали, в обносках ходили, лишь бы их одеть-обуть...

— Наперегь всем разом — и ворота к черту...

— Да я его в жизни пальцем не тронула. Я видела, как вы своего-то ремнем гоняли, а у нас дома в заводе такого не было...

— Видал пулеметы? Это что же, в народ стрелять? За своих-то детей?

— Муничка! Муничка! Муничка! Муничка мой! Муничка!

— Да что же это, господа? Это же безумие какое-то! Где это видано?

— Ничего, легионеры им покажут... Они с тылу, понял? Ворота откроют, тут и мы поднапрем...

— А пулеметы видел? То-то и оно...

— Пустите меня! Да пустите же вы меня! У меня же дочка там!

— Они давно собирались, я уж видела, да боязно было спрашивать.

— А может, и ничего? Что же они, звери, что ли? Это же не оккупанты все-таки, не на расстрел же их повели, не в печи...

— В кр-р-ровь, зубами рвать буду!

— Да-а, видно, совсем мы дерьмом стали, если род-

ные дети от нас к заразам ушли... Брось, сами они ушли, никто их не гнал насильно...

— Эй, у кого ружья есть? Выходи! У кого ружья есть, говорю? Выходи ко мне, давай сюда, вот он я!

— Это мои дети, господин хороший, я их породил, я ими распоряжаться буду, как пожелаю!

— Да где же полиция, господи!

— Надо телеграмму господину президенту! Пять тысяч подписей — это вам не шутка!..

— Женщину задавили! Подвинься, говорю, сволочь! Не видишь?

— Муничек мой! Муничка! Муничка!

— Хрен от этих петиций толку. У нас петиций не любят. Дадут этой петицией по мозгам...

— Открывай ворота, так вашу перетак!.. Мокрецы паршивые! Гады!

— Ворота!

Виктор полез назад. Это было трудно, несколько раз его ударили, он все-таки выбрался, пробрался к грузовику и снова залез в кузов. Над лепрозорием стоял туман, в десятке метров от изгороди по ту сторону ничего уже не было видно. Ворота были плотно закрыты, перед ними оставалось пустое пространство, и в этом пространстве стояли, расставив ноги, направив в толпу автоматы, человек десять солдат внутренней службы в касках, надвинутых на глаза. На крыльце караульной будки, вставая от напряжения на носки, надсаживаясь, что-то кричал в толпу офицер, но его не было слышно. Над крышей караульной будки, словно громадная этажерка, возвышалась в тумане деревянная башня, на верхней ее площадке стоял пулемет и копошились люди в сером. Потом там, за проволокой, еле слышно позвякивая железом, прокатился вдоль ограды полугусеничный броневик, подпрыгнул несколько раз на кочках и скрылся в тумане. При виде броневика толпа притихла, так что даже стали слышны надсадные вопли офицера («...Спокойствие... имею приказ... по домам...»), затем снова загудела, заворчала, заревела.

Перед воротами возникло движение. Среди темных, синих, серых плащей и накидок засверкали знакомые до тошноты медные шлемы и золотые рубашки. Они возникали в толпе, как пятна света, продирались в пустое пространство и там сливались в желто-золотую массу. Здоровенные парни в золотых рубахах до колен,

препоясанные армейскими офицерскими ремнями с тяжелыми пряжками, в начищенных медных касках, из-за которых легионеров звали попросту пожарниками, с короткими массивными дубинками, и каждый заляпан эмблемами Легиона — эмблема на пряжке, эмблема на левом рукаве, эмблема на груди, эмблема на дубинке, эмблема на каске, эмблема на морде, пробу ставить некуда, на спортивной мускулистой морде с волчьими глазами... и значки, созвездия значков, значок Отличного Стрелка, и Отличного Парашютиста, и Отличного Подводника, и еще значки с портретом господина президента и его зятя, основателя Легиона, и его сына, обер-шефа Легиона... и у каждого в кармане бомба со слезоточивым газом, и если хоть один из этих болванов в порыве хулиганского энтузиазма бросит такую бомбу — ударит пулемет на вышке, ударят пулеметы броневика, ударят автоматы солдат, и все по толпе, по толпе, а не по золотым рубашкам. Легионеры строились в шеренгу перед солдатами, вдоль шеренги, размахивая дубинкой, носился Фламин Ювента, племянничек, и Виктор уже начал отчаянно озираться, не зная, что делать, но тут офицеру вынесли из караулки мегафон, и офицер страшно обрадовался, даже заулыбался, и взревел громовым голосом; но он успел проревeть только: «Прошу внимания! Прошу собравшихся...», а затем мегафон, видимо, опять испортился, офицер, бледнея, подул в раструб, а Фламин Ювента, приготовившийся было слушать, принялся с удвоенным усердием бегать и размахивать, и вдруг толпа грозно загудела — казалось, закричали все разом, и те, кто уже кричал раньше, и те, которые раньше молчали или просто переговаривались, или плакали, или молились, и Виктор тоже закричал, не помня себя от ужаса при мысли о том, что сейчас произойдет. «Уберите болванов!— кричал он.— Уберите пожарников! Это смерть! Не надо! Диана!» Неизвестно, кто и что кричал в толпе, но толпа, до сих пор неподвижная, стала равномерно колыхаться, как гигантское блюдо студня, и офицер, уронив мегафон, попятился к дверям караулки, а лица солдат под касками ощерились и остервенели, а наверху, на башне, больше никто не шевелился, там замерли и целились. И тут раздался Голос.

Он был как гром, он шел со всех сторон сразу, и он сразу покрыл все остальные звуки. Он был спокоен, даже меланхоличен, какая-то безмерная скука

слышалась в нем, безмерная снисходительность, словно говорил кто-то огромный, презрительный, высокомерный, стоя спиной к надоевшей толпе, говорил через плечо, оторвавшись на минуту от важных забот ради этой раздражившей его, наконец, пустяковины.

— Да перестаньте вы кричать,— сказал Голос.— Перестаньте размахивать руками и угрожать. Неужели так трудно прекратить болтовню и несколько минут спокойно подумать? Вы же прекрасно знаете, что дети ваши ушли от вас по собственному желанию, никто их не принуждал, никто не тащил за шиворот. Они ушли потому, что вы им стали окончательно неприятны. Не хотят они жить больше так, как живете вы и жили ваши предки. Вы очень любите подражать своим предкам и полагаете это человеческим достоинством, а они — нет. Не хотят они вырасти пьяницами и развратниками, мелкими людишками, рабами, конформистами, не хотят, чтобы из них сделали преступников, не хотят ваших семей и вашего государства.

Голос на минуту смолк. И целую минуту не было слышно ни звука — только какой-то шорох, словно туман шуршал, проползая над землей. Потом Голос заговорил снова:

— Вы можете быть совершенно спокойны за своих детей. Им будет хорошо — лучше, чем с вами, и много лучше, чем вам самим. Сегодня они не могут принять вас, но с завтрашнего дня приходите. В Лошадиной лощине будет оборудован Дом Встречи, после пятнадцати часов приходите хоть каждый день. Каждый день в четырнадцать тридцать от городской площади будут отходить три больших автобуса. Этого будет мало, во всяком случае — завтра, пусть ваш бургомистр позаботится о добавочном транспорте.

Голос снова помолчал. Толпа стояла неподвижной стеной. Люди словно боялись пошевелиться.

— Только имейте в виду,— продолжал Голос.— От вас самих зависит, захотят ли дети встречаться с вами. В первые дни мы еще сможем заставить детей приходить на свидания, даже если им этого не захочется, а потом... смотрите сами. А теперь расходитесь. Вы мешаете и нам, и детям, и себе. И очень вам советую: подумайте, попытайтесь подумать, что вы можете дать детям. Поглядите на себя. Вы родили их на свет и калечите их по своему образу и подобию. Подумайте об этом, а теперь расходитесь.

Толпа оставалась неподвижной. Может быть, она пыталась думать. Виктор пытался. Это были отрывочные мысли. Не мысли даже, а просто обрывки воспоминаний, куски каких-то разговоров, глупое раскрашенное лицо Лолы... А может быть, лучше аборт? Зачем это нам сейчас... Отец с дрожащими от ярости губами... Я из тебя сделаю человека, щенок паршивый, я с тебя всю шкуру спущу... У меня объявилась дочка двенадцати лет, не можешь ли ты ее куда-нибудь прилично пристроить?.. Ирма с любопытством смотрит на расхлюстанного Росшепера... не на Росшепера, а на меня.. мне, пожалуй, стыдно, но что она понимает, сопլячка?.. Брысь на место!.. Вот тебе кукла, хорошая кукла?.. Тебе еще рано, вырастешь — узнаешь...

— Ну, что же вы стоите,— сказал громовой Голос.— Расходитесь!

Налетел тугой холодный ветер, ударил в лицо и затих.

— Идите же,— сказал Голос.

И снова налетел ветер, уже совсем плотный, как тяжелая мокрая ладонь — уперлась в лицо, толкнула и убралась. Виктор вытер щеки и увидел, что толпа попятилась. Кто-то вскрикнул громко, раздались возгласы, звучавшие неуверенно, вокруг автомобилей и автобусов возникли небольшие водовороты. В кузов грузовика полезли со всех сторон, и все заторопились, отталкивая друг друга, лезли в дверцы машин, нетерпеливо растаскивали сцепившиеся рулями велосипеды, затрещали двигатели, а многие уходили пешком, часто оглядываясь назад, но не на автоматчиков, не на пулемет на башне, не на броневик, который подкатил с железным лязгом и встал с раскрытыми люками у всех на виду. Виктор знал, почему они оборачиваются и почему они торопятся, у него горели щеки, и если он чего-нибудь боялся, так это что Голос снова скажет: «Идите!»— и снова тяжелая мокрая ладонь брезгливо толкнет его в лицо.

Кучка дураков в золотых рубахах все еще нерешительно топталась перед воротами, но их уже стало меньше, а к оставшимся подошел офицер и рявкнул на них, внушительный, уверенный, исполняющий приятный долг, и они тоже пятились, потом повернулись и побрели прочь, подбирая на ходу брошенные на землю серые, синие, темные плащи, и вот уже золотых пятен не осталось ни одного, а мимо катили автобусы, лег-

ковые машины, и люди в кузове, встревоженно и нетерпеливо озираясь, спрашивали друг друга: «А где же водитель?»

Потом откуда-то вынырнула Диана, Диана Свирепая, поднялась на подножку, поглядела в кузов, крикнула сердито: «Только до перекрестка! Машина идет в санаторий!», и никто не осмелился возразить, все были на редкость тихие и на все согласные. Тэдди так и не появился, должно быть, сел в другую машину. Диана развернула грузовик, и они поехали по знакомой бетонке, обгоняя кучки пешеходов и велосипедистов, а их обгоняли перегруженные легковые машины, грузно приседающие на амортизаторах. Дождя не было, только туман и мелкая изморось. Дождь пошел уже тогда, когда Диана подвела грузовик к перекрестку, и люди вылезли из кузова, а Виктор пересел в кабину.

Они молчали до самого санатория.

Диана сразу ушла к Росшеперу — так она, по крайней мере, сказала,— а Виктор, сбросив плащ, рухнул на кровать в своей комнате, закурил и уставился в потолок. Может быть, час, а может быть, два он беспрерывно курил, ворочался, вставал, ходил по комнате, бессмысленно выглядывал в окно, задергивал и снова раздвигал портьеры, пил воду из-под крана, потому что его мучила жажда, и снова валился на кровать.

...Унижение, думал он. Да, конечно. Надавали пощечин, назвали подонком, как надоевшего попрошайку, но все-таки это были отцы и матери, все-таки они любили своих детенышей, били их, но готовы были отдать за них жизни, развращали их своим примером, но ведь не нарочно же, а по невежеству... матери рожали их в муках, а отцы кормили их и одевали, и они ведь гордились своими детьми и хвастались друг перед другом, проклинали их зачастую, но не представляли себе жизни без них... и ведь сейчас действительно жизнь совсем опустела, вообще ничего не осталось. Так разве же можно с ними так жестоко, так презрительно, так холодно, так разумно, и еще надавать на прощание по морде...

—...Неужели же, черт возьми, гадко все, что в человеке от животного? Даже материнство, даже улыбка мадонн, их ласковые мягкие руки, подносящие младенцу грудь... Да, конечно, инстинкт и целая религия, построенная на инстинкте... наверное, вся беда в том, что эту религию пытаются распространять и дальше, на воспи-

тание, где никакие инстинкты уже не работают, а если и работают, то только во вред... потому что волчица говорит своим волчатам: «Кусайте, как я», и этого достаточно, и зайчиха учит зайчат: «Удирайте, как я», и этого тоже достаточно, но человек-то учит детеныша: «Думай, как я», а это уже преступление... Ну, а эти-то как — мокрецы, заразы, гады, кто угодно, только не люди, по меньшей мере сверхлюди,— эти-то как? Сначала: «Посмотри, как думали до тебя, посмотри, что из этого получилось, это плохо, потому что то-то и то-то, а должно быть так-то и так-то. Посмотрел? А теперь начинай думать сам, как сделать, чтобы не было то-то и то-то, а получилось так-то и так-то». Только я не знаю, что это за то-то и что это за так-то, и вообще все это уже было, все это уже пробовали, получались отдельные хорошие люди, но главная масса пёрла по старой дороге, никуда не сворачивая, по-нашему, по-простому... Да и как ему воспитывать своего детеныша, когда отец его не воспитывал, а натаскивал: «Кусай, как я, и прячься, как я», и так же натаскивал его отца его дед, а деда — прадед, и так до глубины пещер, до волосатых копьеносцев, пожирателей мамонтов. Я-то их жалею, этих безволосых потомков, жалею их, потому что жалею себя, но им-то наплевать, им мы вообще не нужны, и не собираются они нас перевоспитывать, не собираются они даже взрывать старый мир, нет им дела до старого мира, у них свои дела, и от старого мира они требуют только одного — чтобы к ним не лезли. Теперь это стало возможно, теперь можно торговать идеями, теперь есть могущественные покупатели идей, и они будут охранять тебя, весь мир загонят за колючую проволоку, чтобы не мешал тебе старый мир, будут кормить тебя, будут тебя холить... будут самым предупредительным образом точить топор, которым ты рубишь тот самый сук, на котором они восседают, сверкая шитьем и орденами.

...И черт возьми, это по-своему грандиозно — всё уже пробовали, только этого не пробовали: холодное воспитание без розовых соплей, без слез... хотя что это я мелю, откуда я знаю, что у них там за воспитание... но все равно — жестокость, презрение, это же видно... Ничего у них не получится, потому что, ну ладно — разум, думайте, учитесь, анализируйте,— а как же руки матери, ласковые руки, которые снимают боль и делают мир теплым? И колючая щетина отца, который играет

в войну и в тигра, и учит боксу, и самый сильный, и знает больше всех на свете? Ведь это же тоже было! Не только же визгливые (или тихие) свары родителей, не только ремень и пьяное бормотание, не только же беспорядочное обрывание ушей, сменяющееся внезапно и непонятно судорожным одарением конфетами и медью на кино... Да откуда я знаю — быть может, у них есть эквивалент всему хорошему, что существует в материнстве и отцовстве... как Ирма смотрела на того мокреца!.. каким же это нужно быть, чтобы на тебя так смотрели... и уж во всяком случае, ни Бол-Кунац, ни Ирма, ни прыщавый нигилист-обличитель никогда не наденут золотых рубашек, а разве этого мало? Да черт возьми — мне от людей больше ничего и не надо!..

...Подожди, сказал он себе. Найди главное. Ты за них или против? Бывает еще третий выход: наплевать. Но мне не наплевать. Ах, как бы я хотел быть циником, как легко, просто и роскошно жить циником!.. Ведь надо же — всю жизнь из меня делают циника. стараются, тратят гигантские средства, тратят пули, цветы красноречия, бумагу, не жалеют кулаков, не жалеют людей, ничего не жалеют, только бы я стал циником,— а я никак... Ну, хорошо, хорошо. Все-таки: за или против? Конечно, против, потому что не терплю пренебрежения, ненавижу всяческую элиту, ненавижу всяческую нетерпимость и не люблю, ох, как не люблю, когда меня бьют по морде и прогоняют вон... И я — за, потому что люблю людей умных, талантливых и ненавижу дураков, ненавижу тупиц, ненавижу золотые рубашки, фашистов ненавижу, и ясно, конечно, что так я ничего не определю, я слишком мало знаю о них, а из того, что знаю, из того, что видел сам, в глаза бросается скорее плохое — жестокость, презрительность, нечеловечность, физическое уродство, наконец... И вот что получается: за них — Диана, которую я люблю, и Голем, которого я люблю, и Ирма, которую я люблю, и Бол-Кунац, и прыщавый нигилист... а кто против? Бургомистр против, старая сволочь, фашист и демагог, и полицмейстер, продажная шкура, и Росшепер Нант, и дура Лола, и шайка золотых рубашек, и Павор... Правда, с другой стороны — за них долговязый профессионал, а также некий генерал Пферд — не терплю генералов, а против — Тэдди и, наверное, еще много таких, как Тэдди... Да, тут большинством голосов ничего не решить. Это что-то вроде свободных демократических выборов: большинство всегда за сволочь...

Часа в два пришла Диана, Диана Веселая Обыкновенная, в туго перетянутом белом халате, подмазанная и причесанная.

— Как работа?— спросила она.

— Горю,— ответил он.— Сгораю, светя другим.

— Да, дыму много. Ты бы хоть окно открыл... Лопать хочешь?

— Черт возьми, да!— сказал Виктор. Он вспомнил, что не завтракал.

— Тогда, черт возьми, пошли!

Они спустились в столовую. За длинными столами чинно и молча хлебали диетический суп «Братья по разуму», черные от физической усталости. Обтянутый синим свитером толстый тренер ходил у них за спинами, хлопал по плечам, ерошил им волосы и внимательно заглядывал в тарелки.

— Я тебя сейчас познакомлю с одним человеком,— сказала Диана.— Он будет с нами обедать.

— Кто таков?— с неудовольствием осведомился Виктор. Ему хотелось помолчать за едой.

— Мой муж,— сказала Диана.— Мой бывший муж.

— Ага,— произнес Виктор.— Ага. Что ж... Очень приятно.

И чего это ей вздумалось, подумал он уныло. И кому это нужно. Он жалобно взглянул на Диану, но она уже быстро вела его к служебному столику в дальнем углу. Муж поднялся им навстречу — желтолицый, горбоносый, в темном костюме и в черных перчатках. Руки он Виктору не подал, а просто поклонился и негромко сказал:

— Здравствуйте, рад вас видеть.

— Банев,— представился Виктор с фальшивой сердечностью, которая всегда нападала на него при виде мужей.

— Мы, собственно, уже знакомы,— сказал муж.— Я Зурзмансор.

— Ах, да!— воскликнул Виктор.— Ну, конечно! У меня, должен вам сказать, память...— Он замолчал.— Погодите,— сказал он.— Какой Зурзмансор?

— Павел Зурзмансор. Вы меня, вероятно, читали, а недавно даже весьма энергично вступились за меня в ресторане. Кроме того, мы еще в одном месте встречались, тоже при несчастных обстоятельствах... Давайте сядем.

Виктор сел. Ну, хорошо, подумал он. Пусть. Зна-

чит, без повязки они такие. Кто бы мог подумать? Пардон, а где же его «очки»? У Зурзмансора — он же почему-то муж Дианы, он же горбоносый танцор, играющий танцора, который играет танцора, который на самом деле мокрец, или даже сразу четыре мокреца, или даже пять, считая с ресторанным,— не было у Зурзмансора «очков», будто они расплылись по всему лицу и окрасили кожу в желтоватый латиноамериканский цвет. А Диана со странной, какой-то материнской улыбкой смотрела то на него, то на своего мужа. И это было неприятно, Виктор почувствовал что-то вроде ревности, которой раньше никогда не ощущал, сталкиваясь с мужьями. Официантка принесла суп.

— Ирма передает вам привет,— сказал Зурзмансор, разламывая кусочек хлеба.— Просит не беспокоиться.

— Спасибо,— отозвался Виктор машинально. Он взял ложку и принялся есть, не чувствуя никакого вкуса. Зурзмансор тоже ел, поглядывая на Виктора исподлобья — без улыбки, но с каким-то юмористическим выражением. Перчаток он не снял, но в том, как он орудовал ложкой, как изящно ломал хлеб, как пользовался салфеткой, чувствовалось хорошее воспитание.

— Значит, вы все-таки тот самый Зурзмансор,— произнес Виктор.— Философ...

— Боюсь, что нет,— сказал Зурзмансор, промакивая губы салфеткой.— Боюсь, что к тому знаменитому философу я имею теперь весьма отдаленное отношение.

Виктор не нашелся, что ответить, и решил подождать с беседой. В конце концов не я затеял эту встречу, мое дело маленькое, он меня хотел увидеть, пусть он и начинает... Принесли второе. Внимательно следя за собой, Виктор принялся резать мясо. За длинными столами дружно и простодушно чавкали «Братья по разуму», гремя ножами и вилками. А ведь я здесь дурак дураком, подумал Виктор. Братец по разуму. Она ведь, наверное, до сих пор его любит. Он заболел, пришлось им расстаться, а она не захотела расстаться, иначе зачем бы она поперлась в эту дыру выносить горшки за Росшепером... И они часто видятся, он пробирается в санаторий, снимает повязку и танцует с ней. Он вспомнил, как они танцевали — шерочка с машерочкой... Все равно. Она его любит. А мне не все равно? А ведь не все равно. Что-то уж там — есть. Только — что есть? Они отобрали у меня дочь,

но я ревную к ним дочь не как отец. Они отобрали у меня женщину, но я ревную к нему Диану не как мужчина... О черт, какие слова! Отобрали женщину, отобрали дочь... Дочь, которая увидела меня впервые за двенадцать лет жизни... или ей уже тринадцать? Женщину, которую я знаю считанные дни... Но, заметьте, ревную — и притом не как отец и не как мужчина. Да, было бы гораздо проще, если бы он сейчас сказал: «Милостивый государь, мне все известно, вы запятнали мою честь, как насчет сатисфакции?»

— Как продвигается работа над статьей?— спросил Зурзмансор.

— Никак,— сказал Виктор.

— Было бы любопытно прочесть,— сообщил Зурзмансор.

— А вы знаете, что это должна быть за статья?

— Да, представляем. Но ведь вы такую писать не станете.

— А если меня вынудят? Меня генерал Пферд защищать не станет.

— Видите ли,— сказал Зурзмансор,— статья, которую ждет господин бургомистр, у вас все равно не получится. Даже если вы будете очень стараться. Существуют люди, которые автоматически, независимо от своих желаний, преобразуют по-своему любое задание, которое им дается. Вы относитесь к таким людям.

— Это хорошо или плохо?— спросил Виктор.

— С нашей точки зрения — хорошо. О человеческой личности очень мало известно, если не считать той ее составляющей, которая представляет собой набор рефлексов. Правда, массовая личность почти ничего больше в себе и не содержит. Поэтому особенно ценны так называемые творческие личности, перерабатывающие информацию о действительности индивидуально. Сравнивая известное и хорошо изученное явление с отражением этого явления в творчестве этой личности, мы можем многое узнать о психическом аппарате, перерабатывающем информацию.

— А вам не кажется, что это звучит оскорбительно?— сказал Виктор.

Зурзмансор, странно искривив лицо, посмотрел на него.

— А, понимаю,— сказал он.— Творец, а не подопытный кролик... Но видите ли, я изложил вам только одно обстоятельство, сообщающее вам ценность в на-

ших глазах. Другие обстоятельства общеизвестны, это правдивая информация об объективной действительности, машина эмоций, средство возбуждения фантазии, удовлетворение потребности в сопереживании... Собственно, я хотел вам польстить.

— В таком случае, я польщен,— сказал Виктор.— Однако все эти разговоры к написанию пасквилей никакого отношения не имеют. Берется последняя речь господина президента и переписывается целиком, причем слова «враги свободы» заменяются словами «так называемые мокрецы», или «пациенты кровавого доктора», или «вурдалаки из лепрозория»... так что мой психический аппарат участвовать в этом не будет.

— Это вам только кажется,— возразил Зурзмансор.— Вы прочтете эту речь и прежде всего обнаружите, что она безобразна. Стилистически безобразна, я имею в виду. Вы начнете исправлять стиль, приметесь искать более точные выражения, заработает фантазия, замутит от затхлых слов, захочется сделать слова живыми, заменить казенное вранье животрепещущими фактами, и вы сами не заметите, как начнете писать правду.

— Может быть,— сказал Виктор.— Во всяком случае, писать эту статью мне сейчас не хочется.

— А что-нибудь другое — хочется?

— Да,— сказал Виктор, глядя Зурзмансору в глаза,— я бы с удовольствием написал, как дети ушли из города. Нового Гаммельнского крысолова.

Зурзмансор удовлетворенно кивнул.

— Прекрасная мысль. Напишите.

Напишите, подумал Виктор с горечью. Мать твою так, а кто это напечатает? Ты, что ли, это напечатаешь?

— Диана,— сказал он.— А нельзя здесь что-нибудь выпить?

Диана молча поднялась и ушла.

— И еще я с удовольствием написал бы про обреченный город,— сказал Виктор.— И про непонятную возню вокруг лепрозория. И про злых волшебников.

— У вас нет денег?— спросил Зурзмансор.

— Пока есть.

— Имейте в виду, вы, по-видимому, станете лауреатом литературной премии лепрозория за прошлый год. Вы вышли в последний тур вместе с Тусовым, но у Тусова шансов меньше, это очевидно. Так что деньги у вас будут.

— Н-да,— сказал Виктор.— Такого со мной еще не бывало. И много денег?

— Тысячи три... Не помню точно.

Вернулась Диана и все так же молча поставила на стол бутылку и один стакан.

— Еще стакан,— попросил Виктор.

— Я не буду,— сказал Зурзмансор.

— Я, собственно... Гм...

— Я тоже не буду,— сказала Диана.

— Это за «Беду»?— спросил Виктор, наливая.

— Да. И за «Кошку». Так что месяца на три вы будете обеспечены. Или меньше?

— Месяца на два,— сказал Виктор.— Но не в этом суть... Вот что: я хотел бы побывать у вас в лепрозории.

— Обязательно,— сказал Зурзмансор.— Премию вам будут вручать именно там. Только вы разочаруетесь. Чудес не будет. Будет выходной день. Десяток домиков и лечебный корпус.

— Лечебный корпус,— повторил Виктор.— И кого же у вас там лечат?

— Людей,— сказал Зурзмансор со странной интонацией. Он усмехнулся, и вдруг что-то страшное произошло с его лицом. Правый глаз опустел и съехал к подбородку, рот стал треугольным, а левая щека вместе с ухом отделилась от черепа и повисла. Это длилось одно мгновение. Диана уронила тарелку, Виктор машинально оглянулся, а когда снова уставился на Зурзмансора, тот уже был прежний — желтый и вежливый. Тьфу, тьфу, тьфу, мысленно сказал Виктор. Изыди, нечистый дух. Или показалось? Он торопливо вытащил пачку сигарет, закурил и стал смотреть в стакан. «Братья по разуму» с большим шумом поднялись из-за столов и побрели к выходу, зычно перекликаясь. Зурзмансор сказал:

— Вообще мы хотели бы, чтобы вы чувствовали себя спокойно. Вам не надо ничего бояться. Вы, наверное, догадываетесь, что наша организация занимает определенное положение и пользуется определенными привилегиями. Мы многое делаем, и за это нам многое разрешается. Разрешаются опыты над климатом, разрешается подготовка нашей смены... и так далее. Не стоит об этом распространяться. Некоторые господа воображают, будто мы работаем на них, ну а мы их не разубеждаем.— Он помолчал.— Пишите о чем хотите

и как хотите, Банев, не обращайте внимания на псов лающих. Если у вас будут трудности с издательствами или денежные затруднения, мы вас поддержим. В крайнем случае мы будем издавать вас сами. Для себя, конечно. Так что ваши миноги будут вам обеспечены.

Виктор выпил и покачал головой.

— Ясно,— сказал он.— Опять меня покупают.

— Если угодно,— сказал Зурзмансор.— Главное, чтобы вы осознали: есть контингент читателей, пусть пока не очень многочисленный, который весьма заинтересован в вашей работе. Вы нам нужны, Банев. Причем вы нам нужны такой, какой вы есть. Нам не нужен Банев — наш сторонник и наш певец, поэтому не ломайте себе голову, на чьей вы стороне. Будьте на своей стороне, как и полагается всякой творческой личности. Вот и все, что нам от вас нужно.

— Оч-чень, оч-чень льготные условия,— сказал Виктор.— Картбланш и штабеля маринованных миног в перспективе. В перспективе и в горчичном соусе. И какая вдова ему б молвила «нет»?.. Слушайте, Зурзмансор, а вам приходилось когда-нибудь продавать душу и перо?

— Да, конечно,— сказал Зурзмансор.— И вы знаете, платили безобразно мало. Но это было тысячу лет назад и на другой планете.— Он снова помолчал.— Вы неправы, Банев,— сказал он.— Мы не покупаем вас. Мы просто хотим, чтобы вы оставались самим собой, мы опасаемся, что вас сомнут. Ведь многих уже смяли... Моральные ценности не продаются, Банев. Их можно разрушить, купить их нельзя. Каждая данная моральная ценность нужна только одной стороне, красть или покупать ее не имеет смысла. Господин президент считает, что купил живописца Р. Квадригу. Это ошибка. Он купил халтурщика Р. Квадригу, а живописец протек у него между пальцами и умер. А мы не хотим, чтобы писатель Банев протек между чьими-то пальцами, пусть даже нашими, и умер. Нам нужны художники, а не пропагандисты.

Он встал. Виктор тоже поднялся, ощущая неловкость, и гордость, и недоверие, и унижение, разочарование и ответственность, и еще что-то, в чем он пока не мог разобраться.

— Было очень приятно побеседовать,— сказал Зурзмансор.— Желаю успешной работы.

— До свидания,— сказал Виктор.

Зурзмансор коротко поклонился и ушел, вскинув голову, широко и твердо шагая. Виктор смотрел ему вслед.

— Вот за это я тебя и люблю,— сказала Диана.

Виктор рухнул на стул и потянулся к бутылке.

— За что?— рассеянно спросил он.

— За то, что ты им нужен. За то, что ты, кобель, пьяница, неряха, скандалист, подонок, всё-таки нужен таким людям.

Она перегнулась через стол и поцеловала его в щеку. Это была еще одна Диана — Диана Влюбленная — с огромными сухими глазами, Мария из Магдалы, Диана Смотрящая Снизу Вверх.

— Подумаешь,— пробормотал Виктор.— Интеллектуалы... Новые калифы на час.

Однако это были только слова. На самом деле все было не так просто.

Виктор вернулся в гостиницу на следующий день после завтрака. На прощание Диана сунула ему в руки берестяной туесок: Росшеперу прислали из столичных оранжерей полпуда клубники, и Диана здраво рассудила, что Росшеперу, при всей его аномальной прожорливости, с такой массой ягод в одиночку не управиться.

Мрачный швейцар отворил перед Виктором дверь, Виктор угостил его клубникой, швейцар взял несколько ягод, положил их в рот, пожевал, как хлеб, и сказал:

— Щенок-то мой, оказывается, заводилой у них был.

— Ну что уж вы так,— сказал Виктор.— Он славный парнишка. Умница, и воспитан хорошо.

— Так уж драл я его!— сказал швейцар, приободрившись.— Старался...— Он снова помрачнел.— Соседи заедаются,— сообщил он.— А я что? Я и не знал ничего...

— Плюньте на соседей,— посоветовал Виктор.— Это же они от зависти. Мальчишка у вас — прелесть. Я, например, очень рад, что моя дочка с ним дружит.

— Ха!— сказал швейцар, снова приободрившись.— Так, может, еще породнимся?

— А что же,— сказал Виктор.— Очень даже может быть.— Он представил себе Бол-Кунаца.— Отчего же...

Посмеялись по этому поводу, пошутили.

— Стрельбы вчера не слыхали?— спросил швейцар.

— Нет,— сказал Виктор, насторожившись.— А что?

— А так получилось,— сказал швейцар,— что, зна-

чит, когда мы все оттуда разошлись, кое-кто, значит, не разошелся, подобрались-таки отчаянные головы, разрезали проволоку и — внутрь. А по ним из пулеметов.

— Вот черт,— сказал Виктор.

— Сам я не видел,— сказал швейцар.— Люди рассказывают.— Он осторожно огляделся по сторонам, поманил к себе Виктора и сказал ему шепотом на ухо:— Тэдди наш там оказался, подранили его. Но ничего, обошлось. Дома сейчас отлеживается.

— Обидно,— пробормотал Виктор, расстроившись.

Он угостил клубникой портье, взял ключ и поднялся к себе. Не раздеваясь, набрал номер Тэдди. Сноха Тэдди сообщила, что все в общем ничего, прострелили ему мякоть, лежит на животе, ругается и сосет водку. Сама же она нынче собирается в Дом Встречи проведать сына. Виктор попросил передать Тэдди привет, пообещал зайти и повесил трубку. Надо было еще позвонить Лоле, но он представил себе этот разговор, упреки, вскрики и звонить не стал. Снял плащ, поглядел на клубнику, спустился на кухню и выпросил бутылочку сливок. Когда он вернулся, в номере сидел Павор.

— Добрый день,— сказал Павор, ослепительно улыбаясь.

Виктор подошел к столу, высыпал клубнику в полоскательницу, залил сливками, засыпал сахарным песком и сел.

— Ну, здравствуйте, здравствуйте,— сказал он мрачно.— Что скажете?

Смотреть на Павора ему не хотелось. Во-первых, Павор был сволочь, а во-вторых, неприятно, оказывается, смотреть на человека, на которого ты донес. Даже если он и сволочь, даже если ты донес из самых безукоризненных соображений.

— Слушайте, Виктор,— сказал Павор.— Я готов извиниться. Мы оба вели себя глупо, но я — в особенности. Это все от служебных неприятностей. Искренне прошу извинения. Мне было бы чертовски неприятно, если бы мы с вами рассорились из-за такой ерунды.

Виктор помешал ложечкой в клубнике со сливками и стал есть.

— Ей-богу, до того мне в последнее время не везет,— продолжал Павор,— весь мир обругал бы. И ни сочувствия тебе ни от кого, ни поддержки, бургомистр этот, скотина, завлек меня в грязную историю...

— Господин Сумман,— сказал Виктор.— Перестаньте ваньку валять. Притворяться вы умеете хорошо, но я, к счастью, вас раскусил, и наблюдать ваши артистические таланты не доставляет мне никакого удовольствия. Не портите мне аппетита, ступайте себе.

— Виктор,— проговорил Павор укоризненно.— Мы же взрослые люди. Нельзя же придавать столько значения застольной болтовне. Неужели вы вообразили, будто я действительно исповедую ту чушь, которую молол? Мигрень, неприятности, насморк... Ну что вы хотите от человека?

— Я хотел бы, чтобы человек не бил меня со спины кастетом по черепу,— объяснил Виктор.— А уж если бьет — бывают обстоятельства,— то чтобы не разыгрывал потом друга-приятеля.

— Ах, вот вы о чем,— сказал Павор задумчиво. Лицо у него словно осунулось.— Слушайте, Виктор, я вам все объясню. Это была чистая случайность. Я понятия не имел, что это вы. И потом... Вы же сами говорите, что бывают обстоятельства.

— Господин Сумман,— сказал Виктор, облизывая ложку.— Я всегда недолюбливал людей вашей профессии. Одного я даже застрелил — он был очень смелый в штабе, когда обвинял офицеров в нелояльности, но когда его послали на передовую... В общем, убирайтесь.

Однако Павор не убрался. Он закурил сигарету, положил ногу на ногу и откинулся в кресле. Ну понятно — здоровый мужик, и каратэ, наверное, знает, и кастет у него... Хорошо бы разозлиться сейчас... Что он, ей-богу, мне лакомство портит...

— Я вижу, вы много знаете,— сказал Павор.— Это плохо. Я имею в виду — для вас. Ну, ладно. Во всяком случае, вы не знаете, что я самым искренним образом уважаю вас и люблю. Ну, не дергайтесь и не притворяйтесь, будто вас тошнит. Я говорю серьезно. Я с удовольствием готов выразить сожаление по поводу инцидента с кастетом. Я даже признаюсь вам, что знал, кого бью, но мне ничего другого не оставалось. За углом валяется один свидетель, теперь вы приперлись... В общем, единственное, на что я мог пойти, это треснуть вас по возможности деликатно, что я и сделал. Приношу самые искренние извинения.

Павор сделал аристократический жест. Виктор смотрел на него с каким-то даже любопытством. Что-то в

этом было свежее, неиспытанное и труднопредставимое.

— Однако извиняться за то, что я — работник известного вам департамента,— продолжал Павор,— я не могу, да и не хочу в общем-то. Не воображайте, пожалуйста, будто у нас там собрались сплошные душители вольной мысли и подонки-карьеристы. Да, я — контрразведчик. Да, работа у меня грязная. Только работа всегда грязная, чистой работы не бывает. Вы в своих романах изливаете подсознание, либидо свое пресловутое, ну, а я — по-другому... Подробности я вам рассказывать не могу, но вы, наверное, сами обо всем догадываетесь. Да, слежу за лепрозорием, ненавижу этих мокрых тварей, боюсь их — и не только за себя боюсь, за всех людей боюсь, которые хоть чего-то стоят. За вас, например. Вы же ни черта не понимаете. Вы — вольный художник, эмоционал, ах, ох,— и все разговоры. А речь о судьбе системы. Если угодно — о судьбе человечества. Вот вы ругаете господина президента — диктатор, тиран, дурак... А надвигается такая диктатура, какая вам, вольным художникам, и не снилась. Я давеча в ресторане много чепухи наговорил, но главное зерно верное: человек — животное анархическое, и анархия его сожрет, если система не будет достаточно жесткой. Так вот, ваши любезные мокрецы обещают такую жесткость, что места для обыкновенного человека уже не останется. Вы думаете, что если человек цитирует Зурзмансора или Гегеля, то это — о! А такой человек смотрит на вас и видит кучу дерьма, ему вас не жалко, потому что вы и по Гегелю дерьмо, и по Зурзмансору тоже дерьмо. Дерьмо по определению. А что за границами этого определения — его не интересует. Господин президент по прирожденной своей ограниченности — ну, обласкает вас, ну, в крайнем случае, прикажет посадить, а потом к празднику амнистирует от полноты чувств и еще обедать к себе пригласит. А Зурзмансор поглядит на вас в лупу, проклассифицирует: дерьмо собачье, никуда не годное,— и вдумчиво, от большого ума, от всеобщей философии смахнет грязной тряпкой в мусорное ведро и забудет о том, что вы были...

Виктор даже есть перестал. Странное это было зрелище, неожиданное. Павор волновался, губы у него подергивались, от лица отлила кровь, он даже задыхался. Он явно верил в то, что говорил, в глазах у него ужасом застыло видение страшного мира. Ну-

ну,— сказал себе Виктор предостерегающе. Это же враг, мерзавец. Он же актер, он же тебя покупает за ломаный грошик... Он вдруг понял, что насильно отталкивается от Павора. Это же чиновник, не забывай. У него по определению не может быть идейных соображений — начальство приказало, вот он и работает за компот. Прикажут ему защищать мокрецов — будет защищать. Знаю я эту сволочь, видывал...

Павор взял себя в руки и улыбнулся.

— Я знаю, что вы думаете,— сказал он.— По вашей физиономии видно, как вы пытаетесь угадать: чего ко мне этот тип пристал, что ему от меня нужно. А вот представьте себе, ничего мне от вас не нужно. Искренне хочу предостеречь вас, искренне хочу, чтобы вы разобрались, чтобы вы выбрали правильную сторону...— Он болезненно оскалился.— Не хочу, чтобы вы стали предателем человечества. Потом спохватитесь — да поздно будет... Я уже не говорю о том, что вам вообще нужно отсюда убираться, я и пришел-то к вам, чтобы настоять на этом. Сейчас наступают тяжелые времена, у начальства приступ служебного рвения, кое-кому намекнули, что, мол, плохо работаете, господа, порядка нет... Но это — ладно, это чепуха, об этом еще поговорим. Я хочу, чтобы вы в главном разобрались. А главное — это не то, что будет завтра. Завтра они еще будут сидеть у себя за проволокой под охраной этих кретинов...— Он опять оскалился.— А вот пройдет десяток лет...

Виктор так и не узнал, что произойдет через десяток лет. Дверь номера открылась без стука, и вошли двое в одинаковых серых плащах, и Виктор сразу понял, кто это. У него привычно ёкнуло внутри, и он покорно поднялся, чувствуя тошноту и бессилие. Но ему сказали: «Сядьте», а Павору сказали: «Встаньте».

— Павор Сумман, вы арестованы.

Павор, белый, даже какой-то синевато-белый, как обрат, поднялся и хрипло сказал:

— Ордер.

Ему дали посмотреть какую-то бумагу, и пока он глядел в нее невидящими глазами, взяли под локти, вывели и затворили за собой дверь. Виктор остался сидеть, весь обмякнув, глядя в полоскательницу и повторяя про себя: пусть жрут друг друга, пусть жрут друг друга... Он все ждал, что на улице зашумит машина, стукнут дверцы, но так ничего и не дождался. Тогда

он закурил и, чувствуя, что не может больше сидеть здесь, чувствуя, что нужно с кем-то поговорить, как-то рассеяться или, по крайней мере, выпить с кем-нибудь водки, вышел в коридор. Интересно, откуда они узнали, что он у меня. Нет, совсем не интересно. Ничего инресного в этом нет... На лестничной клетке маячил долговязый профессионал. Было так непривычно видеть его одного, что Виктор огляделся,— и точно: в углу на диване сидел молодой человек с портфелем и разворачивал газету.

— А, вот он сам,— сказал долговязый. Молодой человек посмотрел на Виктора, поднялся и принялся складывать газету.— Я как раз к вам,— сказал долговязый.— Но раз уж так получилось, пойдемте к нам, там даже спокойнее.

Виктору было все равно, куда идти, и он покорно поплелся на третий этаж. Долговязый долго отпирал дверь триста двенадцатого номера. У него была целая связка ключей, и он, кажется, перепробовал их все. Тем временем Виктор и молодой человек в очках стояли рядом, и у молодого человека было скучающее выражение на лице, а Виктор думал, что было бы, если бы дать ему сейчас по башке, выхватить портфель и помчаться по коридору. Потом они вошли в номер, и молодой человек сейчас же ушел в спальню налево, а долговязый сказал Виктору: «Одну минуточку»— и удалился в спальню направо. Виктор присел за стол красного дерева и стал водить пальцем по шершавым кругам, оставленным на полированной поверхности стаканами и рюмками. Кругов этих было множество, со столом не церемонились и не смотрели, что он из красного дерева, на него клали горящие сигареты и по крайней мере один раз стряхнули авторучку. Потом из своей спальни снова вышел молодой человек, на этот раз без портфеля и без пиджака, в домашних шлепанцах, с газетой в одной руке и с полным стаканом в другой. Он сел в свое кресло под торшером, и сейчас же из своей спальни появился долговязый с подносом, который он тут же поставил на стол. На подносе стояла початая бутылка скотча, стакан и лежала большая квадратная коробка, обтянутая синим сафьяном.

— Сначала формальности,— сказал долговязый.— Хотя нет, подождите, сначала второй стакан.— Он огляделся, взял с письменного столика стаканчик для карандашей, заглянул в него, подул и поставил на поднос.— Итак, формальности,— сказал он.

Он выпрямился, опустил руки по швам и строго выкатил глаза. Молодой человек отложил газету и тоже встал, скучающе глядя в стену. Тогда Виктор тоже поднялся.

— Виктор Банев!— провозгласил долговязый казенно-возвышенным голосом.— Милостивый государь! От имени и по специальному повелению господина президента я имею вручить вам медаль «Серебряный Трилистник Второй Степени» в награду за особые услуги, оказанные вами департаменту, который я удостоен чести здесь представлять!

Он раскрыл синюю коробку, торжественно извлек из нее медаль на белой муаровой ленточке и принялся пришпиливать ее к груди Виктора. Молодой человек разразился вежливыми аплодисментами. Потом долговязый вручил Виктору удостоверение и коробку, пожал Виктору руку, отступил на шаг, полюбовался и тоже похлопал в ладоши. Виктор, чувствуя себя идиотом, тоже похлопал.

— А теперь это надо обмыть,— сказал долговязый.

Все сели. Долговязый разлил виски и взял себе стаканчик для карандашей.

— За кавалера «Трилистника»!— провозгласил он.

Все снова встали, обменялись улыбками, выпили и снова сели. Молодой человек в очках тут же взял газету и закрылся ею.

— Третья степень у вас, кажется, была,— сказал долговязый.— Теперь вам еще первую, и будете полным кавалером. Бесплатный проезд и все такое. За что третью схватили?

— Не помню,— сказал Виктор.— Было там что-то такое, убил, наверное, кого-нибудь... А, помню. Это за Китчинганский плацдарм.

— О!— сказал долговязый и снова разлил виски.— А я вот не воевал. Не успел.

— Вам повезло,— сказал Виктор. Они выпили.— Между нами говоря, не понимаю, за что мне дали эту штуку.

— Я же сказал: за особые услуги.

— За Суммана, что ли?— произнес Виктор, горестно усмехаясь.

— Бросьте!— сказал долговязый.— Вы же важная персона, вы же там, в кругах...— он неопределенно помахал пальцем возле уха.

— В каких там кругах...— сказал Виктор.

— Знаем, знаем!— лукаво закричал долговязый.— Все знаем! Генерал Пферд, генерал Пукки, полковник Бамбарха... Вы — молодец.

— В первый раз слышу,— сказал Виктор нервно.

— Затеял это дело полковник. Никто, сами понимаете, не возражал — еще бы! Ну, а потом генерал Пферд был на докладе у президента и подсунул ему представление на вас.— Долговязый засмеялся.— Потеха, говорят, была. Старик заорал: «Какой Банев? Куплетист? Ни за что!» Но генерал ему эдак сурово: надо, ваше высокопревосходительство! В общем, обошлось. Старик растрогался, ладно, говорит, прощаю. Что там у вас с ним получилось?

— Да так,— неохотно сказал Виктор.— О литературе поспорили.

— Вы действительно пишете книжки?— спросил долговязый.

— Да. Как полковник Лоуренс.

— И прилично платят?

— ...

— Надо будет и мне попробовать,— сказал долговязый.— Времени вот только свободного все нет. То одно, то другое...

— Да, времени нет,— согласился Виктор. При каждом движении медаль покачивалась и стучала по ребрам. От нее было ощущение, как от горчичника. Хотелось снять, и тогда сразу полегчает.— Вы знаете, я пойду,— сказал он, поднимаясь.— Время.

Долговязый тотчас вскочил.

— Конечно,— сказал он.

— До свидания.

— Честь имею,— сказал долговязый. Молодой человек в очках приспустил газету и поклонился.

Виктор вышел в коридор и сейчас же содрал с себя медаль. У него было сильное желание бросить ее в урну, но он удержался и сунул ее в карман. Он спустился вниз на кухню, взял бутылку джину, а когда шел обратно, портье окликнул его:

— Господин Банев, вам звонил господин бургомистр. В номере вас не было, и я...

— Что ему нужно?— угрюмо спросил Виктор.

— Он просил, чтобы вы ему немедленно позвонили. Вы сейчас к себе? Если он позвонит еще раз...

— Пошлите его в задницу,— сказал Виктор.— Я сейчас выключу у себя телефон, и если он будет звонить

вам, то так и передайте: господин Банев, кавалер «Трилистника Второй Степени», посылает-де вас, господин бургомистр, в задницу.

Он заперся в номере, выключил телефон и еще зачем-то прикрыл его подушкой. Потом он сел за стол, налил джину и, не разбавляя, выпил залпом целый стакан. Джин обжег глотку и пищевод. Тогда он схватил ложку и стал жрать клубнику в сливках, не замечая вкуса, не замечая, что делает. Хватит, хватит с меня, думал он. Не нужно мне ничего, ни орденов, ни гонораров, ни подачек ваших, не нужно мне вашего внимания, ни злобы вашей, ни любви вашей, оставьте меня одного, я по горло сыт самим собой, и не впутывайте меня в ваши истории... Он охватил голову руками, чтобы не видеть перед собой бело-синего лица Павора и этих бесцветных безжалостных морд в одинаковых плащах. Генерал Пферд с вами, генерал Баттокс, генерал Аршманн с вашими орденоносными объятьями, и Зурзмансор с отклеивающимся ликом... Он все пытался понять, на что это похоже. Высосал еще полстакана и понял, что, корчась, прячется на дне траншеи, а под ним ворочается земля, целые геологические пласты, гигантские массы гранита, базальта, лавы выгибают друг друга, стеная от напряжения, вспучиваются, выпячиваются и походя выдавливают его наверх, все выше, выжимают его из траншеи, выпирают над бруствером, а времена тяжелые, у властей приступ служебного рвения, намекнули кому-то, что плохо-де работаете, а он — вот он, над бруствером, голенький, глаза руками зажал, а весь на виду. Лечь бы на дно, думал он. Лечь бы на самое дно, чтобы не слышали и не видели. Лечь бы на дно, как подводная лодка, думал он, и кто-то подсказал ему: чтоб не могли запеленговать. Да-да, лечь бы на дно, как подводная лодка, чтоб не могли запеленговать. И никому не давать о себе знать. Нет меня, нет. Молчу. Разбирайтесь сами. Господи, почему я никак не могу сделаться циником?.. Лечь бы на дно, как подводная лодка, чтоб не могли запеленговать. Лечь бы на дно, как подводная лодка, твердил он, и позывных не передавать. Он уже почувствовал ритм, и сразу заработало: сыт я по горло, до подбородка... и не хочу ни пить, ни писать... Он налил джину и выпил. Я не хочу ни петь, ни писать... ох, надоело петь и писать... Где банджо, подумал он. Куда я сунул банджо? Он полез под кровать и вытащил

банджо. А мне на вас плевать, подумал он. Ох, до какой степени мне наплевать! Лечь бы на дно, как подводная лодка, чтоб не могли запеленговать. Он ритмично бил по струнам, и в этом ритме сначала стол, потом вся комната, а потом весь мир пошел притоптывать и поводить плечами. Все генералы и полковники, все мокрые люди с отваливающимися лицами, все департаменты безопасности, все президенты и Павор Сумман, которому выкручивали руки и били по морде... Сыт я по горло, до подбородка, даже от песен стал уставать... не стал уставать, уже устал, но «стал уставать» — это хорошо, а значит, это так и есть... лечь бы на дно, как подводная лодка, чтоб не могли запеленговать. Подводная лодка... горькая водка... а также молодка, а также наводка, а лагерь — не тетка, вот как, вот как...

В дверь уже давно стучали, все громче и громче, и Виктор, наконец, услышал, но не испугался, потому что это был не ТОТ стук. Обыкновенный радующий стук мирного человека, который злится, что ему не открывают. Виктор открыл дверь. Это был Голем.

— Веселитесь?— сказал он.— Павора арестовали.

— Знаю, знаю,— сказал Виктор весело.— Садитесь, слушайте...

Голем не сел, но Виктор все равно ударил по струнам и запел:

Сыт я по горло, до подбородка,
Даже от песен стал уставать.
Лечь бы на дно, как подводная лодка,
Чтоб не могли запеленговать...

— Дальше я еще не сочинил,— крикнул он.— Дальше будет водка... молодка... лагерь — не тетка... А потом — слушайте:

Не помогают ни девки, ни водка,
С водки — похмелье, а с девок — что взять?
Лечь бы на дно, как подводная лодка,
И позывных не передавать...

Сыт я по горло, сыт я по глотку,
О-о-ох, надоело пить и играть!
Лечь бы на дно, как подводная лодка,
Чтоб не могли запеленговать... [1]

---

[1] Стихи В. Высоцкого.

— Все!— крикнул он и швырнул банджо на кровать. Он почувствовал огромное облегчение, как будто что-то изменилось, как будто он стал вдруг очень нужен там, над бруствером, на виду у всех,— оторвал руки от зажмуренных глаз и оглядел серое грязное поле, ржавую колючую проволоку, серые мешки, которые раньше были людьми, нудное, бесчестное действо, которое раньше было жизнью, и со всех сторон над бруствером поднялись люди и тоже огляделись, и кто-то снял палец со спускового крючка...

— Завидую,— сказал Голем.— Но не пора ли вам засесть за статью?

— И не подумаю,— сказал Виктор.— Вы меня не знаете, Голем, я на всех плевал. Да садитесь же, черт возьми! Я пьян, и вы тоже напейтесь! Снимайте плащ... Снимайте, я вам говорю!— заорал он.— И садитесь! Вот стакан, пейте! Вы ничего не понимаете, Голем, хоть вы и пророк. И я вам не позволю. Не понимать — это моя прерогатива. В этом мире все слишком уж хорошо понимают, что должно быть, что есть и что будет, и большая нехватка в людях, которые не понимают. Вы думаете, почему я представляю ценность? Только потому, что я не понимаю. Передо мной разворачивают перспективы — а я говорю: нет, непонятно. Меня оболванивают теориями, предельно простыми,— а я говорю: нет, ничего не понимаю... Вот поэтому я нужен... Хотите клубники? Хотя я все съел. Тогда закурим...

Он встал и прошелся по комнате. Голем со стаканом в руке следил за ним, не поворачивая головы.

— Это удивительный парадокс, Голем. Было время, когда я все понимал. Мне было шестнадцать лет, я был старшим рыцарем Легиона, и я абсолютно все понимал, и я был никому не нужен! В одной драке мне проломили голову, я месяц пролежал в больнице, и все шло своим чередом — Легион победно двигался вперед без меня, господин президент неумолимо становился господином президентом, и опять же без меня. Все прекрасно обходились без меня. Потом то же самое повторилось на войне. Я офицерил, хватал ордена и при этом, естественно, все понимал. Мне прострелили грудь, я угодил в госпиталь, и что же — кто-нибудь побеспокоился, заинтересовался, где Банев, куда делся наш Банев, наш храбрый, все понимающий Банев? Ни хрена подобного! А вот когда я перестал понимать

что бы то ни было — о, тогда все переменилось. Все газеты заметили меня. Куча департаментов заметила меня. Господин президент лично удостоил... А? Вы представляете, какая это редкость — непонимающий человек! Его знают, о нем пекутся генералы и покой... э-э... полковники, он позарез нужен мокрецам, его почитают личностью, кошмар! За что? А за то, господа, что он ничего не понимает.— Виктор сел.— Я здорово пьян?— спросил он.

— Не без,— сказал Голем.— Но это неважно, продолжайте.

Виктор развел руками.

— Все,— сказал он виновато.— Я иссяк... Может быть, вам спеть?

— Спойте,— согласился Голем.

Виктор взял банджо и стал петь. Он спел «Мы храбрые ребята», потом «Урановые люди», потом «Про пастуха, которому бык выбодал один глаз и который поэтому нарушил государственную границу», потом «Сыт я по горло», потом «Равнодушный город», потом про правду и ложь, потом снова «Сыт я по горло», потом затянул государственный гимн на мотив «Ах, какие ножки у нее», но забыл слова, перепутал строфы и отложил банджо.

— Опять иссяк,— сказал он грустно.— Так, говорите, Павора арестовали? А я это знаю. Он сидел как раз у меня, где вы сидите... А вы знаете, что он хотел сказать, но не успел? Что через десяток лет мокрецы овладеют земным шаром и всех нас передавят. Как вы полагаете?

— Вряд ли,— сказал Голем.— Зачем нас давить? Мы сами друг друга передавим.

— А мокрецы?

— Может быть, они не дадут нам передавить друг друга... Трудно сказать.

— А может быть, помогут?— сказал Виктор с пьяным смехом.— А то ведь мы даже давить не умеем. Десять тысяч лет давим и все никак не передавим... Слушайте, Голем, а зачем вы мне врали, что вы их лечите? Никакие они не больные, они все здоровые, как мы с вами, только желтые почему-то...

— Гм,— произнес Голем.— Откуда у вас такие сведения? Я этого не знал.

— Ладно-ладно, больше вы меня не обманете. Я говорил с Зузр... с Зу... с Зурзмансором. Он мне все

рассказал: секретный институт... обмотались повязками в целях сохранения... Вы знаете, Голем, они там у вас воображают, будто смогут вертеть генералом Пфердом до бесконечности. А на самом деле — калифы на час. Сожрет он их вместе с повязками и перчатками, когда проголодается... Фу, черт, как пьян — все плывет...

Но он немного лукавил. Он хорошо видел перед собой толстое сизое лицо и маленькие, непривычно внимательные глазки.

— И Зурзмансор сказал вам, что он здоров?

— Да,— сказал Виктор.— Впрочем, не помню... Скорее всего, нет. Но видно же.

Голем поскреб подбородок краем стакана.

— Жалко, что вы пьяны,— сказал он.— Впрочем, может быть, это хорошо. У меня сегодня настроение. Хотите, я расскажу вам все, что догадываюсь и думаю о мокрецах?

— Валяйте,— согласился Виктор.— Только больше не врите.

— Очковая болезнь,— сказал Голем,— это очень любопытная штука. Вы знаете, кого поражает очковая болезнь?— Он замолчал.— Нет, не буду я вам ничего рассказывать.

— Бросьте,— сказал Виктор.— Вы уже начали.

— Ну и дурак, что начал,— возразил Голем. Он посмотрел на Виктора и ухмыльнулся.— Задавайте вопросы,— сказал он.— Если вопросы будут глупые, я на них с удовольствием отвечу... Давайте, давайте, а то я опять раздумаю.

В дверь постучали.

— Идите к черту!— гаркнул Виктор.— Я занят!

— Простите, господин Банев,— сказал робкий голос портье.— Вам звонит ваша супруга.

— Вранье! У меня нет никакой супруги... Впрочем, пардон. Я забыл. Ладно, я ей сейчас позвоню, спасибо.— Он схватил стакан, налил до краев, сунул Голему и сказал:— Пейте и ни о чем не думайте. Я сейчас.

Он включил телефон и набрал номер Лолы. Лола говорила очень сухо: извини, что помешала, но я собираюсь ехать к Ирме, не соблаговолишь ли ты присоединиться.

— Нет,— сказал Виктор.— Не соблаговолю. Я занят.

— Все-таки это твоя дочь! Неужели ты опустился до такой степени....

— Я занят!— рявкнул Виктор.

— Тебя не волнует, что с твоей дочерью?

— Перестань валять дурака,— сказал Виктор.— Ты, кажется, хотела избавиться от Ирмы. Ты избавилась, Чего тебе еще нужно?

Лола принялась плакать.

— Перестань,— сказал Виктор, морщась.— Ирме там хорошо. Лучше, чем в самом лучшем пансионе. Поезжай и убедись сама.

— Грубая, бездушная, эгоистическая свинья,— объявила Лола и повесила трубку. Виктор шепотом выругался, снова выключил телефон и вернулся к столу.

— Слушайте, Голем,— сказал он.— Что вы там мудрите с моими детьми? Если вы там готовите себе смену, то я не согласен.

— Какую смену?

— Ну, какую... Вот я и спрашиваю: какую?

— Насколько мне известно,— сказал Голем,— дети очень довольны.

— Мало ли что... Я и без вас знаю, что они довольны. Но чем они там занимаются?

— А разве они вам не говорили?

— Кто?

— Дети.

— Как они мне могли говорить, если я здесь, а они там?

— Они строят новый мир,— сказал Голем.

— А... Да, это они мне говорили. Но это же так, философия... Что вы мне опять врете, Голем? Какой может быть новый мир за колючей проволокой? Новый мир под командованием генерала Пферда!.. А если они там заразятся?

— Чем?— спросил Голем.

— Очковой болезнью, естественно!

— В шестой раз повторяю вам, что генетические болезни не заразны.

— В шестой, в шестой...— проворчал Виктор, потеряв нить.— А что это такое вообще очковая болезнь? Что от нее болит? Или, может быть, это секрет?

— Нет, это везде опубликовано.

— Ну, расскажите,— сказал Виктор.— Только без терминов.

— Сначала — изменения кожи. Прыщи, волдыри,

особенно на руках и на ногах... иногда — гнойные язвы...

— Слушайте, Голем, а это вообще важно?

— Для чего?

— Для сути.

— Для сути — нет,— сказал Голем.— Я думал, вам это интересно.

— Я хочу понять суть!— сказал Виктор проникновенно.

— А сути вы не поймете,— сказал Голем, слегка повысив голос.

— Почему?

— Во-первых, потому что вы пьяны...

— Это еще не причина,— сказал Виктор.

— А во-вторых, потому что это вообще невозможно объяснить.

— Так не бывает,— заявил Виктор.— Вы просто не хотите говорить. Но я на вас не в обиде. Подписка, разглашение, военный трибунал... Павора вот забрали... Бог с вами. Я только не понимаю, почему ребенок должен строить новый мир в лепрозории. Другого места не нашлось?

— Не нашлось,— ответил Голем.— В лепрозории живут архитекторы. И подрядчики.

— С автоматами,— сказал Виктор.— Видел. Ничего не понимаю. Кто-то из вас врет. Либо вы, либо Зурзмансор.

— Конечно, Зурзмансор,— хладнокровно сказал Голем.

— А может быть, вы оба врете. А я вам обоим верю, потому что есть в вас что-то... Вы мне только скажите, Голем, чего они хотят? Только честно.

— Счастья,— сказал Голем.

— Для кого? Для себя?

— Не только.

— А за чей счет?

— Для них этот вопрос не имеет смысла,— медленно сказал Голем.— За счет травы, за счет облаков, за счет текучей воды... за счет звезд.

— Совсем как мы,— сказал Виктор.

— Ну нет,— возразил Голем.— Совсем не так.

— Почему? Мы тоже...

— Нет, потому что мы вытаптываем траву, рассеиваем облака, тормозим воду... Вы меня поняли слишком буквально, а это аналогия.

— Не понимаю,— сказал Виктор.

— Я вас предупреждал. Я сам многое не понимаю, но я догадываюсь.

— А есть кто-нибудь, кто понимает?

— Не знаю. Вряд ли. Может быть, дети... Но даже если они и понимают, то по-своему. Очень по-своему.

Виктор взял банджо и потрогал струны. Пальцы не слушались. Он положил банджо на стол.

— Голем,— сказал он.— Вот вы — коммунист. Какого черта вы делаете в лепрозории? Почему вы не на митинге? Почему не на баррикаде? Москва вас не похвалит.

— Я — архитектор,— спокойно сказал Голем.

— Какой вы архитектор, если вы ни черта не понимаете? И вообще, чего вы меня водите за нос? Мы с вами час бьемся, а что вы мне сказали? Жрете мой джин и напускаете туману. Стыдно, Голем. И врете бесперечь.

— Ну уж и бесперечь,— сказал Голем.— Хотя не без этого. Не бывает у них гнойных язв.

— Дайте сюда стакан,— сказал Виктор.— Уже напились.— Он плеснул из бутылки и выпил.— Черт вас разберет, Голем. Ну зачем вам это? Что это за игры? Если можете рассказать — рассказывайте, а если это тайна — нечего было начинать.

— Это очень просто объясняется,— благодушно сказал Голем, вытягивая ноги.— Я же пророк, вы сами меня так обзывали. А пророки все в таком положении: знают они много, и рассказать им хочется — поделиться с приятным собеседником, похвастаться для придания себе веса. А когда начинают рассказывать, появляется этакое ощущение неудобства, неловкости... Вот они и зуммерят, как господь бог, когда его спросили насчет камня.

— Как угодно,— сказал Виктор.— Поеду в лепрозорий и узнаю все без вас. Ну, подскажите что-нибудь...

Он с интересом следил, как отнимаются руки и ноги, и думал, что хорошо бы выпить еще стакан для комплекта и завалиться спать, а потом проснуться и поехать к Диане. Все получится не так уж плохо. И вообще все не так плохо. Он представил себе, как споет Диане про подводную лодку, и ему стало совсем хорошо. Он взял мокрое весло, которое лежало на корме, и оттолкнулся от берега, и лодка сразу закачалась. Никакого дождя не было, был красный закат, и он поплыл прямо на закат, и весла срывались с верхушек волн. Лечь бы на

дно... И он бы лег, но было неловко, потому что над ухом лениво гудел голос Голема:

— ...Они очень молоды, у них все впереди, а у нас впереди — только они. Конечно, человек овладеет Вселенной, но это будет не краснощекий богатырь с мышцами, и, конечно, человек справится с самим собой, но только сначала он изменит себя... Природа не обманывает, она выполняет свои обещания, но не так, как мы думали, и зачастую не так, как нам хотелось бы...

Зурзмансор, который сидел на носу лодки, повернул голову, и стало видно, что у него нет лица, лицо он держал в руках, и лицо смотрело на Виктора — хорошее лицо, честное, но от него тошнило, а Голем все не отставал, все гудел...

— Ложитесь спать,— пробормотал Виктор, растягиваясь на дне лодки. Шпангоуты резали ему бока, и было очень неудобно, но уж очень хотелось спать.— Ложитесь спать, Голем...

Проснувшись, он обнаружил, что лежит в постели. Было темно, в окна с дробным треском хлестал дождь. Он с трудом поднял руку и потянулся к ночнику, но пальцы наткнулись на холодную гладкую стену. Странно, подумал он. А где Диана? Или это не санаторий? Он попробовал облизать губы, толстый шершавый язык не повиновался. Очень хотелось курить, но курить было нельзя ни в коем случае... Ага, собственно, мне хочется пить. «Диана!» — позвал он. Да, здесь же не санаторий. В санатории ночник справа, а здесь справа стена... Так это ж мой номер! — подумал он с восторгом. Как я сюда попал? Он лежал под одеялом и был раздет до белья. Что-то я не помню, чтобы я раздевался, подумал он. Кто-то меня раздел. Хотя, может быть, я разделся сам. Если на мне ботинки, то я раздевался сам... Он потер ногой об ногу. Ага, босой. Черт, руки чешутся, волдыри какие-то, поразвели клопов в номерах. Съеду. Куда это я ехал в лодке?.. А, это Павор здесь клопов развел... Он вдруг вспомнил о Паворе и сел, его замутило, и он опять лег на спину. Давно я так не надирался, однако... Павор... «Серебряный Трилистник»... Когда это было? Вчера? Он скривился и стал драть ногтями левую руку. Что сейчас — утро или вечер? Наверное, утро... А может быть, вечер. Голем! — вспомнил он. Мы с Големом высосали целую бутылку. И не разбавляли. А до этого полбутылки высосали с долговязым. А до этого я еще где-то

сосал. Или это было вчера? Постой-ка, а сейчас — сегодня или вчера? Встать бы надо, попить, то, се... Нет, подумал он упрямо. Я сначала разберусь.

Что-то Голем рассказывал интересное, он решил, что я пьян и ничего не понимаю, и можно поэтому говорить со мной откровенно. Впрочем, я действительно был пьян, но, помнится, все понимал. Что же я понимал?.. Он яростно потер тыльной стороной правой ладони по шерстяному одеялу. Тяжелые времена наступают... Нет, это из Павора... Ага, вот из Голема: у них все впереди, а у нас впереди — только они. И генетическая болезнь... А что же, вполне возможно. Когда-нибудь это должно произойти. Может быть, давно уже происходит. Внутри вида зарождается новый вид, а мы это называем генетической болезнью. Старый вид — для одних условий, новый вид — для других. Раньше нужны были мощные мышцы, плодовитость, морозоустойчивость, агрессивность и, так сказать, практическая сметка. Сейчас, положим, это тоже нужно, но скорее по инерции. Можно укокошить миллион с практической сметкой, и ничего существенного не произойдет. Это уж точно, много раз испробовано. Кто это сказал, что если из истории вынуть всего лишь несколько десятков... ну, пусть несколько сотен человек, то мы бы в два счета оказались в каменном веке. Ну, пусть несколько тысяч... Что это за люди? Это, брат, совсем другие люди.

А вполне возможно: Ньютон, Эйнштейн, Аристотель — мутанты. Среда, конечно, была не слишком благоприятная, и вполне возможно, что масса таких мутантов погибла, не обнаружив себя, как тот мальчишка из рассказа Чапека... Они, конечно, особенные: ни практической сметки у них не было, ни нормальных человеческих потребностей... Или, может быть, это кажется? Просто духовная сторона так гипертрофирована, что все прочее незаметно. Ну, это ты зря, сказал он. Эйнштейн говорил, что лучше всего работать смотрителем маяка — это уже само по себе звучит... А вообще интересно было бы себе представить, как в наши дни рождается хомо супер. Хороший сюжет... Черт, руки зудят нестерпимо... Написать бы такую утопию в духе Оруэлла или Бернарда Вольфа. Правда, трудно представить себе такого супера: огромный лысый череп, хиленькие ручки-ножки, импотент — банальщина. Но вообще-то что-то в этом роде должно быть. Во всяком случае, смещение потребностей. Водки не надо, жратвы какой-нибудь особенной не надо,

роскоши никакой, да и женщин в общем-то — так только, для спокойствия и вящей сосредоточенности. Идеальный объект для эксплуатации: отдельный ему кабинет, стол, бумагу, кучу книг... аллейку для перипатетических размышлений, а взамен он выдает идеи... Никакой утопии не получится — загребут его военные, вот и вся утопия. Сделают секретный институт, всех этих суперов туда свезут, поставят часового, вот и все...

Виктор, кряхтя, поднялся, ступая босыми ногами по холодному полу, прошел в ванную, открутил кран и с наслаждением напился, не зажигая света. Страшно было даже подумать — зажечь свет. Потом он снова вернулся на кровать и некоторое время чесался, проклиная клопов. Вообще-то, для сюжета это даже хорошо: секретный институт, часовые, шпионы... патриотизм патриотической уборщицы Клары... экая дешевка. Трудность в том, чтобы представить себе их работу, идеи, возможности,— куда уж мне... Это вообще невозможно. Шимпанзе не может написать роман о людях. Как я могу написать роман о человеке, у которого никаких потребностей, кроме духовных? Конечно, кое-что представить можно. Атмосферу. Состояние непрерывного творческого экстаза. Ощущение своего всемогущества, независимости... отсутствие комплексов, совершенное бесстрашие... Да, чтобы написать такую штуку, надо нализаться ЛСД. Вообще эмоциональная сфера супера, с точки зрения обычного человека, представлялась бы как патология. Болезнь... Жизнь — болезнь материи, мышление — болезнь жизни. Очковая болезнь, подумал он.

И вдруг все стало на свои места. Так вот что он имел в виду! — подумал Виктор про Голема. Умные и все на подбор талантливые... Тогда что же это выходит? Тогда выходит, что они уже не люди. Зурзмансор мне просто баки забивал. Значит, началось... Ничего нельзя скрыть, подумал он с удовлетворением. А такую штуку — тем более. Пойду к Голему, нечего ему строить пророка. Они, наверное, многое ему рассказали... Черт подери, это же будущее, то самое будущее, которое запускает щупальца в сердце сегодняшнего дня! У нас впереди — только они... Его охватило лихорадочное возбуждение. Каждая секунда была исторической, и жалко, что он не знал об этом вчера, потому что вчера и позавчера, и неделю назад каждая секунда тоже была исторической...

Он вскочил, зажег свет и, морщась от рези в глазах,

стал на ощупь искать свою одежду. Одежды не было, но потом глаза привыкли к свету, он схватил брюки, висящие на спинке кровати, и вдруг увидел свою руку. Рука до локтя была покрыта красной сыпью и мертвенно-белыми бугорками. Некоторые бугорки кровоточили от расчесов. На другой руке было то же самое. Что за черт, подумал он, холодея, потому что он уже знал — что это. Он уже вспомнил: изменения кожи, сыпь, волдыри, иногда — гнойные язвы... Гнойных язв пока не было, но он покрылся холодным потом и, уронив брюки, сел на кровать. Не может быть, подумал он. Я тоже. Неужели я тоже?.. Он осторожно погладил ладонью бугорчатую кожу, потом закрыл глаза и, задержав дыхание, прислушался к себе. Гулко и редко стучало сердце, в ушах тонко звенела кровь, голова казалась огромной, пустой, не было боли, не было ватной тяжести в мозгу. Дурак, подумал он, улыбаясь. Что я надеюсь заметить? Это должно быть как смерть, секунду назад ты был человеком, мелькнул квант времени — и ты уже бог, и не знаешь этого, и никогда не узнаешь, как дурак не знает, что он — дурак, как умный, если он и впрямь умен, не знает, что он — умный... Это, наверное, случилось, пока я спал. Во всяком случае, до того, как я заснул, суть мокрецов была для меня чрезвычайно туманна, а сейчас я вижу ее с предельной резкостью и постиг это голой логикой, даже не заметив...

Он счастливо засмеялся, ступил на пол и, хрустнув мышцами, подошел к окну. Мой мир, подумал он, глядя сквозь залитое водой стекло, и стекло исчезло, далеко внизу утонул в дожде замерший в ужасе город, и огромная мокрая страна, а потом все сдвинулось, уплыло, и остался только маленький голубой шарик с длинным голубым хвостом, и он увидел гигантскую чечевицу галактики, косо и мертво висящую в мерцающей бездне, клочья светящейся материи, скрученные силовыми полями, и бездонные провалы там, где не было света, и он протянул руку и погрузил ее в пухлое белое ядро, и ощутил легкое тепло, и, когда он сжал кулак, материя прошла сквозь пальцы, как мыльная пена. Он снова засмеялся, щелкнул по носу свое отражение в стекле и нежно погладил бугорки на вспухшей коже.

— По такому поводу необходимо выпить! — сказал он вслух.

В бутылке оставалось еще немного джину, бедный старый Голем не смог допить до конца, бедный старый

лжепророк... не потому лжепророк, что прорицания его неверны, а потому, что он всего-навсего говорящая марионетка. Я всегда буду любить тебя, Голем, подумал Виктор, ты хороший человек, ты умный человек, но ты — всего лишь человек... Он слил остатки в стакан, привычным движением опрокинул спиртное в глотку и, еще не успев проглотить, бросился в ванную. Его стошнило. Черт, подумал он. Какая мерзость. В зеркале он увидел свое лицо — мятое, слегка обрюзгшее, с неестественно большими и неестественно черными глазами. Ну, вот и все, подумал он, ну вот и все. Виктор Банев, пьяница и хвастун. Не пить тебе больше и не орать песен, и не хохотать над глупостями, и не молоть веселую чепуху деревянным языком, не драться, не буйствовать и не хулиганить, не пугать прохожих, не ругаться с полицией, не ссориться с господином президентом, не вваливаться в ночные бары с галдящей компанией молодых почитателей... Он вернулся на кровать. Курить не хотелось. Ничего не хотелось, от всего мутило, и стало грустно. Ощущение потери, сначала легкое, чуть заметное, как прикосновение паутины, разрасталось, мрачные ряды колючей проволоки вставали между ним и тем миром, который он так любил. За все надо платить, думал он, ничего не получают даром, и чем больше ты получил, тем больше нужно платить, за новую жизнь надо платить старой жизнью... Он яростно чесал руки, обдирая кожу, и не замечал этого.

Диана вошла, не постучавшись, сбросила плащ и остановилась перед ним, улыбающаяся, соблазнительная, и подняла руки, оправляя волосы.

— Замерзла,— сказала она.— Пускают погреться?

— Да,— сказал он, плохо понимая, что говорит.

Она выключила свет, и теперь он не видел ее, только слышал ключ, повернувшийся в скважине, треск расстегиваемых кнопок, шорох одежды и как туфли упали на пол, а потом она оказалась рядом, теплая, гладкая, душистая, а он все думал, что теперь всему конец — вечный дождь, угрюмые дома с крышами, как решето, чужие незнакомые люди в мокрой черной одежде, с мокрыми повязками на лицах... и вот они снимают повязки, снимают перчатки, снимают лица и кладут их в специальные шкафчики, а руки их покрыты гнойными язвами — тоска, ужас, одиночество... Диана прижалась к нему, и он привычным движением обнял ее. Она была прежняя, но он-то уже был не прежний, он больше ничего не мог, потому что ему ничего не было нужно.

— Что с тобой, малыш? — ласково спросила Диана.— Перебрал?

Он осторожно снял ее руки со своей шеи. Ему стало окончательно страшно.

— Подожди,— сказал он.— Подожди.

Он встал, нащупал выключатель, зажег свет и несколько секунд стоял к ней спиной, не решаясь обернуться, но все-таки обернулся. Нет, она была прекрасна. Она была, наверное, даже красивее, чем обычно, она всегда была красивее, чем обычно, но это было как картина. Это возбуждало гордость за человека, восхищение человеческим совершенством, но больше это ничего не возбуждало. Она смотрела на него, удивленно подняв брови, а потом, видимо, испугалась, потому что вдруг быстро села, и он увидел, что губы ее шевелятся. Она что-то говорила, но он не слышал.

— Подожди,— повторил он.— Не может быть. Подожди.

Он одевался с лихорадочной поспешностью и все твердил: подожди, подожди, но он уже думал не о ней, дело было не только в ней. Он выскочил в коридор, ткнулся в номер Голема, в запертую дверь, не сразу сообразил, куда теперь, затем сорвался, побежал вниз, в ресторан. Не надо, твердил он, не надо мне этого, я не просил.

Слава богу, Голем был на обычном месте. Он сидел, закинув руку за спинку кресла, и рассматривал на просвет рюмку с коньяком. А доктор Р. Квадрига был красен, агрессивен и, увидевши Виктора, сказал на весь зал:

— Эти мокрецы. Стервы. Прочь.

Виктор рухнул в свое кресло, и Голем, не говоря ни слова, налил ему коньяку.

— Голем,— сказал Виктор.— Ах, Голем, я заразился!

— Спринцевание! — провозгласил Р. Квадрига.— Мне тоже.

— Выпейте коньячку, Виктор,— сказал Голем.— Не надо так волноваться.

— Идите к черту,— сказал Виктор, в ужасе глядя на него.— У меня очковая болезнь. Что делать?

— Хорошо, хорошо,— сказал Голем.— Вы все-таки выпейте.— Он поднял палец и крикнул официанту: — Содовой! И еще коньяку.

— Голем,— сказал Виктор с отчаянием.— Вы не понимаете. Я не могу. Я заболел, говорю я вам! Заразился! Это нечестно... Я не хотел... Вы же говорили — не заразно...

Он ужаснулся при мысли, что говорит слишком несвязно, что Голем его не понимает и думает, что он просто пьян. Тогда он сунул Голему под нос свои руки. Рюмка опрокинулась, прокатилась по столу и упала на пол.

Голем сначала отшатнулся, потом пригляделся, наклонился вперед, взял руки Виктора за кончики пальцев и стал рассматривать расчесанную бугристую кожу. Пальцы у него были холодные и твердые. Ну вот и все, думал Виктор, вот и первый врачебный осмотр, а потом будут еще осмотры, и лживые обещания, что есть еще надежда, и успокоительные микстуры, а потом он привыкнет, и уже не будет никаких осмотров, и его отвезут в лепрозорий, замотают рот черной тряпкой, и все будет кончено.

— Землянику ели? — спросил Голем.

— Да,— покорно сказал Виктор.— Клубнику.

— Слопали, небось, килограмма два,— сказал Голем.

— При чем здесь земляника? — закричал Виктор, вырывая руки.— Сделайте что-нибудь! Не может быть, чтобы было поздно. Только что началось...

— Перестаньте орать. У вас крапивница. Аллергия. Вам противопоказано жрать клубнику в таких количествах.

Виктор еще не понимал. Разглядывая свои руки, он бормотал: «Вы же сами говорили... волдыри... сыпь...»

— Волдыри и от клопов бывают,— сказал Голем наставительно.— У вас идиосинкразия к некоторым веществам. И воображение не по разуму. Как у большинства писателей. Тоже туда же — мокрец...

Виктор почувствовал, что оживает. Обошлось, стучало у него в голове. Обошлось, кажется. Если обошлось, я не знаю, что сделаю. Курить брошу...

— А вы не врете? — сказал он жалким голосом.

Голем ухмыльнулся.

— Выпейте коньяку,— предложил он.— При аллергии нельзя пить коньяк, но вы выпейте. А то у вас уж очень жалкий вид.

Виктор взял его рюмку, зажмурился и выпил. Ничего! Подташнивает немного, но это, надо понимать, с похмелья. Сейчас пройдет. И все прошло.

— Милый писатель,— сказал Голем.— Чтобы стать архитектором, одних волдырей недостаточно.

Подошел официант и поставил на стол коньяк и содовую. Виктор глубоко и вольно вздохнул, вдохнул знакомый ресторанный воздух и ощутил прекрасные запа-

хи табачного дыма, маринованного лука, подгоревшего масла и жареного мяса. Жизнь вернулась.

— Дружище,— сказал он официанту.— Бутылку джина, лимонный сок и четыре порции миног в двести шестнадцатый. И быстро!.. Алкоголики,— сказал он Голему и Р. Квадриге.— Пропадите вы тут пропадом, а я пойду к Диане! — Он готов был расцеловать их.

Голем сказал, ни к кому не обращаясь:

— Бедный прекрасный утенок!

На секунду Виктор ощутил сожаление. Всплыло и исчезло воспоминание о каких-то огромных упущенных возможностях. Но он только рассмеялся, отпихнул кресло и зашагал к выходу.

9. Феликс Сорокин. «...Для чего ты все дуешь в трубу, молодой человек?»

И опять приснился мне сон, исполненный бессилия и безнадежности: будто с пушечным громом распахнулись вдруг все окна и двери и тугим сквозняком вынесло из Синей Папки все, что я написал, в озаренное кровавым заревом пространство над шестнадцатиэтажной пропастью, и закружились, замелькали, закувыркались разносимые ветром странички, и ничего не осталось в Синей Папке, но еще можно было сбежать вниз, догнать, собрать, спасти хоть что-нибудь, да вот только ноги словно вросли в пол, и глубоко в тело вошли удерживающие меня над лоджией крючья. «Катя!» — закричал я и заплакал в отчаянии, и проснулся, и оказалось, что глаза у меня сухие, ноги свело и невыносимо болит бок.

Некоторое время я лежал под светлыми квадратами на потолке, терпеливо двигал ступнями, чтобы избавиться от судороги, и мысли мои текли лениво и без всякого порядка. Думалось мне, что я все-таки очень нездоров и придется мне внять все-таки убеждениям Катьки и лечь на обследование... и сразу всё затормозится, всё остановится, и надолго закроется моя Синяя Папка...

И еще я подумал, что хорошо бы распечатать ее в двух экземплярах, и пусть один экземпляр хранится у Риты... хотя, с другой стороны, она тоже не девочка, что-то у нее нехорошее то ли с почками, то ли с печенью... Совершенно непонятно, просто представить себе нельзя, как, где, у кого можно поместить рукопись на хранение,— чтобы и хранили, и не совали бы в нее нос...

Потому что вполне возможно, что нынешний мой сон — пророческий: ничего мне не успеть закончить, и разметает мою Синюю Папку тугой сквозняк по канавам и помойкам. И листочка не останется, чтобы засунуть его в машину на предмет определения НКЧТ...

И вот когда я вспомнил об НКЧТ (просто так вспомнил, к мысли пришлось по принципу иронии и жалости), вот тогда словно сама собой проявилась у меня догадка, ясная и сухая, как формула: не ценность произведения они там определяют, а предсказывают они там судьбу произведения!

Так вот что он хотел мне все время втолковать, невеселый мой вчерашний знакомец! Наивероятнейшее Количество Читателей Текста — сюда же всё входит! И тиражи сюда входят, и качество, и популярность, и талант писателя, и талант читателя, между прочим. И можешь ты написать гениальнейшую вещь, а машина выдаст тебе мизер, потому что никуда твоя гениальная вещь не пойдет, прочтут ее разве что жена, близкие друзья да хорошо знакомый редактор, на котором все и кончится: «Ты же понимаешь, старик... Ты, старик, пойми меня правильно...»

Умненькая машина, хитренькая! А я, дурак, потащил к ним свои рецензии, мусор им свой потащил, мусорную свою корзину. Я сел, обхвативши колени руками. Вот что он имел в виду. Вот почему он мне, можно сказать, назначил следующее свидание. Сущное он мое имел в виду, подлинное. Чтобы твердо понял я, на каком я свете и надо ли мне дальше горячиться или же, подобно многим до меня, стоит бросить работать и начать вместо этого хорошо зарабатывать...

И холодно мне стало от этих мыслей, кожа пошла мурашками, и я натянул на плечи одеяло, и ужасно вдруг захотелось закурить.

Страшненькая машина, жутенькая. И зачем только это им понадобилось? Конечно, знать будущее — вековая мечта человечества, вроде ковра-самолета и сапога-скорохода. Цари-короли-императоры большие деньги за такое знание сулили. Но если подумать, то при одном непременном условии: чтобы будущее это было приятным. А неприятное будущее — кому его нужно знать? Вот прихожу я на Банную с Синей Папкой, и говорит мне машина человеческим голосом: «А дела твои, Феликс Александрович, дерьмо. Три читателя у тебя будут, и утрись».

Я отбросил одеяло и стал нашаривать ногами тапочки.

А ведь и не идти на Банную теперь тоже нельзя! Должен же я знать... Зачем? Зачем это мне знать, что вся работа моя, жизнь моя, по сути, коту под хвост? Но с другой стороны, почему уж так обязательно коту под хвост? А если и так, то что это означает — коту под хвост? Не сам ли я мечтаю отдать на хранение Синюю Папку так, чтобы не залез в нее потный любопытный нос Брыжейкина или Гагашкина? Впрочем, потный любопытный нос — это все-таки нечто иное. Брыжейкин — Гагашкиным, а читатель — читателем. Все же я, черт возьми, не онанизмом занимаюсь — я для людей пишу, а не для самоуслаждения. Конечно, с самого начала я готов был к тому, что Синюю Папку при моей жизни не напечатают. Обычная история, не я первый, не я и последний. Но мысль о том, что она просто сгинет, на пропасть пойдет, растворится во времени без следа... Нет, к этому я не готов. Глупо, согласен. Но не готов. Потому и страшно!

Я умывался, приводил в порядок постель, готовил завтрак, занятый этими мыслями. Было всего половина седьмого, но все равно я не мог бы теперь ни спать, ни даже просто лежать. Меня прямо-таки трясло от нервного возбуждения, от желания что-нибудь немедленно сделать или хотя бы решить.

Это ж надо же, до чего нас убедили, будто рукописи не горят! Горят они, да еще как горят, прямо-таки синим пламенем! Гадать страшно, сколько их, наверное, сгинуло, не объявившись... Не хочу я для своего творения такой судьбы. И узнать о такой судьбе не хотелось бы, если она такая... Ах, не зря обиняками вчера говорил мой невеселый знакомец, мог бы ведь и прямо сказать, что к чему, но рассудил, что ежели не догадаюсь я сам, то бог убогому простит, а уж если догадаюсь, тогда деваться мне будет некуда: приду, и принесу, и узнаю...

И нечувствительно оказалось, что сижу я за своим столом, и Синяя Папка распахнута передо мною, и пальцы мои сами собой берут листок за листком и бережно перекладывают справа налево, отглаживают, выравнивают объемистую стопочку, и ужасно горько мне стало, что вчера поздно вечером дочитал я последнюю написанную строчку. А как хорошо было бы именно сегодня, сейчас вот, в минуту неуверенности, в минуту паники, когда дорога моя неумолимо ведет к развилке, как хорошо было бы в эту минуту прочитать последнюю, еще неведомую мне, ненаписанную строчку и под нею слово «КОНЕЦ».

Тогда я мог бы сказать сейчас с легкой душой: «Все это, государи мои, философия, а вот полюбуйтесь-ка на это!» — и покачал бы Синюю Папку на растопыренной пятерне.

И так нестерпимо захотелось мне приблизить хоть немного этот желанный миг, что я торопливо раскрыл машинку, заправил чистый лист бумаги и напечатал:

«Часы показывали без четверти три. Виктор поднялся и распахнул окно. На улице было черным-черно. Виктор докурил у окна сигарету, выбросил окурок в ночь и позвонил портье. Отозвался незнакомый голос».

Я снял руки с клавиш и почесал подбородок. Вот всегда так, когда я пытаюсь взять эту мою работу приступом, на голом энтузиазме, вдохновением, все застопоривается.

В следующие полчаса я только вставил от руки слово «мокрую» и добавил после «черным-черно»: «и в черноте сверкал дождь». Нет, серьезную работу делают не так. Серьезную работу делают, например, в Мурашах, в доме творчества. Предварительно надо собраться с духом, полностью отрешиться от всего суетного и прочно отрезать себе все пути к отступлению. Ты должен твердо знать, что путевка на полный срок оплачена и деньги эти ни под каким видом не будут тебе возвращены. И никакого вдохновения! Только ежедневный рабский механический до изнеможения труд. Как машина. Как лошадь. Пять страниц до обеда, две страницы перед ужином. Или четыре страницы до обеда и тогда уже три страницы перед ужином. Никаких коньяков. Никакого трепа. Никаких свиданий. Никаких заседаний. Никаких телефонных звонков. Никаких скандалов и юбилеев. Семь страниц в день, а после ужина можешь посидеть в бильярдной, вяло переговариваясь со знакомыми и полузнакомыми братьями-литераторами. И если ты будешь тверд, если ты не будешь, упаси бог, жалеть себя и восклицать: «Имею же я, черт подери, право хоть раз в неделю...», то ты вернешься через двадцать шесть суток домой как удачливый охотник, без рук и без ног от усталости, но веселый и с набитым ягдташом... А ведь я еще даже не придумал, что же у меня будет в моем ягдташе!..

Ровно в восемь тридцать раздался телефонный звонок, но это не был Леня Шибзд. Непонятно, кто это был. Трубка дышала, трубка внимательно слушала мои раздраженные «Алло, кто говорит? Нажмите кнопку!..» А потом пошли короткие гудки.

Я бросил трубку, с отвращением выдернул из машинки початый лист, всунул его в папку под самый низ и закрыл машинку. Светало, на дворе опять разыгралась пурга, снова ощутил я острую боль в боку и прилег. Все-таки я холерик. Ведь вот только что трясся от возбуждения, и казалось мне, что нет ничего важнее на свете, чем моя Синяя Папка и ее судьба в веках. А теперь вот лежу, как раздавленная лягушка, и ничего-то вечного мне не надо, кроме покоя.

Бо́к болел, и небывалая слабость навалилась на меня, и жалость к себе пронзила, и вспомнил я, безвольно сдался воспоминанию, как сдаются обмороку, когда нет больше сил терпеть...

* * *

Она жила в квартире № 19, занимала там крошечную комнатушку бог знает на каких правах, училась на первом курсе Политехнического, и было ей около девятнадцати. И звали ее Катя, а фамилии ее Ф. Сорокин не знал и никогда не узнает. Во всяком случае, в этой жизни.

Ф. Сорокину исполнилось тогда пятнадцать, он перешел в девятый класс и был пареньком рослым и красивым, хотя уши у него были изрядно оттопырены. На уроках физкультуры он стоял в шеренге третьим после Володи Правдюка (убит в 1943-м) и Володи Цингера (ныне большой чин в авиационной промышленности). Катя, когда он познакомился с нею, была одного с ним роста, а когда разлучила их разлучительница всех союзов, Катя была уже на полголовы ниже его.

Ф. Сорокин несколько раз встречал ее еще до знакомства — либо на лестнице, либо у Анастасии Андреевны, но ничего мужского и личного она в нем тогда не возбуждала. Он был тогда сопляком и фофаном, этот рослый и красивый парень Ф. Сорокин. Дистанция между студенткой и школьником представлялась неимоверной, тягостное и безрезультатное перещупывание с Люсей Неверовской (ныне адмиральская вдова, пенсионерка и, кажется, уже прабабушка) воздвигало непреодолимую баррикаду между его вожделениями и всеми остальными грудями и ляжками в мире, и вообще для уместного опорожнения семенников предполагалось обязательным сначала проникнуть во вражеский стан, прикончить или захватить живыми Гитлера и Муссолини (о Тодзё не знал еще тогда Ф. Сорокин) и положить их головы к туфелькам.

Наверное, в психиатрии нашлось бы объяснение тому,

что маленькая студентка Катя положила глаз на школьника. Обыкновенно пятнадцатилетние половозрелые мальчишки привлекают главным образом дам на возрасте, а впрочем, что я понимаю в психиатрии? Но осмелится ли кто-нибудь утверждать, что роман Кати и Ф. Сорокина уникален? Ф. Сорокин не осмеливается. (Впрочем, он — лицо предубежденное.) Уже потом, два или три месяца спустя, Катя просто и спокойно рассказала Ф. Сорокину, что влюбилась в него с первого взгляда при первой же случайной встрече то ли на лестнице, то ли в подъезде. Может быть, она говорила неправду, но Ф. Сорокину было лестно.

Однако тут, возможно, имеет значение такое обстоятельство. Года за полтора до их знакомства с Катей произошла неприятность. Она училась тогда в десятом классе в одном из небольших городков под Ленинградом (Колпино? Павловск? Тосно?). Однажды она была дежурной и осталась после уроков прибирать класс. Тут вошли несколько ее одноклассников, схватили ее, обмотали голову пиджаками и повалили в проходе между партами. Ничего у них не получилось — может быть, от страха, может быть, по неопытности. Они только испачкали ей живот и ноги обильной дрянью и разбежались. Катя осталась девицею. Физически. А как насчет психологии?

Правда, надо сказать, что Ф. Сорокина она полюбила уже женщиной. С кем у нее это произошло в первый раз, она не сказала, а ему вопрос об этом никогда не приходил в голову.

В один жаркий день в начале сентября Ф. Сорокин вернулся из школы и зашел за ключом в квартиру № 19 к Анастасии Андреевне. Анастасии Андреевны он не застал, а нашел записку, что ключ оставлен у соседки, у Кати. В полутемном коридоре, загроможденном всяким хламом, он нашел Катину дверь и постучал. И дверь в ту же секунду распахнулась. И он увидел ее. И испытал потрясение.

В конце концов, цель оправдывает средства. А в любви, говорят, все средства хороши. Конечно, она его ждала и приготовилась. Да он-то совершенно не был готов. Потом он понял, что еще немного (немного чего?) и он либо бросился бы бежать сломя голову, либо свалился бы в обмороке.

* * *

Я поднялся, кряхтя и постанывая, полез под диван и из самого дальнего темного угла достал окурок, о котором помнил весь этот год. Я пошел с ним на кухню и закурил, стоя у окна, и мельком удивился, что табачный дым не оказывает на меня никакого действия, словно не дым я вдыхал, а теплый пахучий воздух.

* * *

Катя была тощенькая, узкоплечая и узкобедрая, с круглыми торчащими грудями. На ней был мешковатый серый халат приютского типа, она молча взяла Ф. Сорокина за руку и ввела в свою комнатушку, потом вернулась к двери и тихонько, но плотно затворила ее и щелкнула задвижкой, а потом повернулась к Ф. Сорокину и стала глядеть на него, опустив руки. Халат на ней был распахнут, а под халатом у нее была голая кожа, но Ф. Сорокин увидел сначала, что она красная ото лба до груди, и потом уже все остальное. Ну и зрелище для половозрелого сопляка, который до того видел голых женщин только на репродукциях Рубенса! Впрочем, еще на порнографических карточках, их ему показывал Борька Кутузов (разорван на куски снарядом в августе 1941 года).

Они встречались если и не каждый день, то все же достаточно регулярно. Точно в назначенный день и в условленный час, минута в минуту, Ф. Сорокин бесшумными скачками поднимался к дверям квартиры № 19. Обычно это было днем, часа в три или четыре, сразу после возвращения из школы. Конечно, он не звонил и не стучал. Дверь открывалась. Катя в своем приютском халатике на голое тело хватала его за руку, вводила в свою комнатушку, и они запирались там, и насыщались друг другом жадно и торопливо, и минут через двадцать Ф. Сорокин, бесшумный и осторожный, как индеец на военной тропе, вышмыгивал в полутемный коридор, привычно нащупывал барабанчик французского замка и оказывался на лестничной площадке. Говорили они немного и только шепотом, и за всю однообразную, но невероятно насыщенную историю этой любви им ни разу не привелось побыть друг с другом более получаса подряд...

А история была и впрямь невероятно насыщенной — для Ф. Сорокина несомненно, однако, наверное, и для Кати тоже. Спускаясь по лестнице из квартиры № 19, Ф. Сорокин уже начинал тосковать. Через день-другой

тоска сменялась напряженным нетерпеньем. Наступало назначенное время, и все у него внутри тряслось от лихорадочной радости и от растущего страха, что встреча вдруг не состоится (бывали такие случаи). И вот встреча, а затем снова тоска, нетерпенье, радость и страх, и снова встреча. И так неделя за неделей, осень, зима, весна и, наконец, проклятое лето 1941-го. И ни разу Ф. Сорокин не ощутил усталости от Кати, ни разу не захотелось ему перед встречей, чтобы встречи этой не было. По всей видимости, то же самое было и с нею.

Интересно, что именно в это время, в девятом классе, Ф. Сорокин вел успешное наступление на высшую математику и сферическую тригонометрию, на пару с Сашей Ароновым (умер от голода в январе 1942 года), вовсю мастерил астрономические трубы, вкалывал в мастерских Дома занимательной науки и играючи управлялся со школьной премудростью. И продолжался его платонический роман с Люсей Неверовской, а после встречи Нового года начался вдобавок и флирт с Ниной Халяевой (пропала без вести в эвакуации), и было еще много и много всякой ерунды и чепухи. Ф. Сорокин активно жил в учебе, науке, общественных и личных связях и ни разу, ни при каких обстоятельствах, нигде и никому ни словом, ни намеком не обмолвился о Кате.

Вряд ли их связывала просто половая страсть, хотя бы и самая что ни на есть неистовая: такое не могло бы тянуться столь долго и при этом сопровождаться беспрестанно приступами тоски, радости и страха. Вряд ли было это и любовью романтического толка, о которой писали великие. Было там и от того, и от другого, была там, вероятно, мальчишеская гордость обладания настоящей женщиной, и благодарная нежность девочки к мужчине, который не обижает и не выпендривается, а еще было, наверное, предчувствие.

В последний раз они встретились в конце мая, в начале экзаменов.

В десятых числах июля Ф. Сорокин вернулся со строительства аэродрома под Кингисеппом, возмужалый, уже убивший первого своего человека, врага, фашиста, и очень этим гордый. Окольными путями ему удалось узнать, что неделю назад Катя уехала со своим курсом на сооружение противотанковых рвов куда-то в Гатчину (или в Псков?).

В конце июля в домоуправление сообщили, что Катя убита при бомбежке.

* * *

Слабость. Это все слабость моя. Что-то я сегодня ослабел. Но почему я всегда так запрещаю себе вспоминать это имя? Имя — да. Катя. Катя. Но только имя. Потому, наверное, что я больше никогда не любил. Было у Ф. Сорокина с тех пор множество баб, две или три женщины и не было ни одной любви.

Телефонный звонок раздался, и я потащился обратно в кабинет. Это звонила Рита наконец, и вовремя.

Она только что вернулась из своей Тьмутаракани и желала пообщаться с интеллигентным человеком из литературного мира. Голос у нее был чистый, веселый и здоровый, и это было прекрасно, и мне захотелось немедленно с нею увидеться. Я спросил, как она сегодня, и она ответила, что сейчас она у себя в конторе, проторчит до обеда, а в обед можно будет ей рвануть когти. Я возликовал, и мы тут же совместно выковали план, как мы встретимся у меня в Клубе в пятнадцать ноль-ноль и сольемся там в гастрономическом экстазе. Для начала, сказал я деловито. Там видно будет, ответила она еще более деловито.

Разговор этот, как и следовало ожидать, коренным образом изменил мой взгляд на окружающую действительность. Окружение из враждебного сделалось дружелюбным, а действительность утратила мрачность и обрела все мыслимые оттенки розового и голубого. Вот и на дворе стало значительно светлее, и злая метель обратилась в легкий, чуть ли не праздничный снегопад. И все, что угрюмо обступало меня в последние дни, все эти неприятные и странные встречи, пугающие разговоры и недомолвки, обретшие вдруг плоть и кровь проблемы, совсем недавно еще абстрактные, вся эта темная безнадюга, обступившая меня зловещим частоколом, вдруг раздвинулась, отступила куда-то назад и в стороны, а передо мною все стало изумрудно-зеленое, серебристо-солнечное, туманно-голубое, с лихо мерцающей надписью поперек: «Перебьемся!» И бок мой теперь почти уже совсем не болел...

Для чего ты все дуешь в трубу, молодой человек?
Полежал бы ты лучше в гробу, молодой человек!

Прежде всего я отправился в ванную и там побрился самым тщательным образом. Рита терпеть не может даже намека на щетину. Затем я прошелся влажной тряпкой

по всем столам и шкафам. Рита не выносит пыли на полированных поверхностях. Я переменил постельное белье. Мы с Ритой признаем только свежие, хрустящие, накрахмаленные простыни. Я тщательно перетер бокалы и рюмки, придирчиво изучая стекло на просвет, я начистил «скайдрой» ножи, вилки и чайные ложки, взял себя в руки и вымыл ванну и унитаз. И уже под занавес я выкатил пылесос и пропылесосил пол везде, где он был.

Пока я всем этим занимался, дважды звонил телефон. Один раз это был Леня Шибзд, которому я после его стандартно-приветственного вопроса «как дела?» не дал и рта раскрыть, а второй раз опять молча подышал в трубку тот стеснительный, и я под веселую руку поведал ему, что предложение помощи я ценю, но помощь мне не требуется, ибо все свои дела здесь я уже довел до конца и в ближайшее время уйду с этой планеты и из этого времени навсегда.

Не знаю уж, что об этом подумал стеснительный, но звонков телефонных больше не было.

Я облачился в лучший свой костюм и вышел из дому без четверти два — с таким расчетом, чтобы успеть зайти в приемную комиссию и забрать причитающуюся мне порцию чтива. Господи, спаси меня и помилуй! Лифт не работал. То есть совсем не работал, ни большая кабина, ни малая.

И тотчас воображение мое нарисовало мне гомерическую картину, как мы с Ритой после хорошего обеда и хорошей прогулки по заснеженной Москве взбираемся пешочком на шестнадцатый этаж, как сердце у меня в груди колотится бешено и неровно, и я на каждой лестничной площадке присаживаюсь на специально для таких случаев предусмотренные скамеечки, украдкой сую в пасть нитроглицерин, а Рита, красивая женщина, дама сердца, любовница, последняя женщина моя, деликатно болтает о пустяках, унизительно-сочувственно поглядывая на меня сверху вниз, и время от времени приговаривает: «Да не спеши ты, куда нам спешить?»...

Я отогнал позорное видение и пошел спускаться пешком. И кого же я повстречал на площадке между восьмым и седьмым этажом? Кто стремительно поднимался мне навстречу, шагая через две ступеньки разом и лишь слегка придерживаясь левою рукой за перила? Кто он, румяный, насвистывающий из Гершвина, державший в правой руке тяжелую сумку с продуктами, с продуктовым заказом, судя по некоторым признакам?

Ну, разумеется, он! Костя Кудинов, поэт, тот самый до зелени бледный и облеванный бедолага, которого так недавно при последнем издыхании увезли промывать в Бирюлевскую больницу!

— Старик! — заорал он жизнерадостно, едва опознав меня.— Хорошо, что мы встретились! Ты не спешишь? Имей в виду, я включил тебя в нашу бригаду. Поедем на БАМ. Двадцать дней, пятнадцать выступлений, спецрейс самолетом туда и обратно... Как это тебе, а?

Поистине, сегодня был удачный день. Это может показаться странным, но я, пожилой, замкнутый, в общем-то избегающий новых знакомств человек, консерватор и сидун,— я люблю публичные выступления.

Мне нравится стоять перед набитым залом, видеть разом тысячу физиономий, объединенных выражением интереса, интереса жадного, интереса скептического, интереса насмешливого, интереса изумленного, но всегда интереса. Мне нравится шокировать их нашими цеховыми тайнами, раскрывать им секреты редакционно-издательской кухни, безжалостно разрушать иллюзии по поводу таких засаленных стереотипов, как вдохновенье, озаренье, божьи искры.

Мне нравится отвечать на записки, высмеивать дураков — тонко, чтобы никакая сука, буде она окажется в зале, не могла бы придраться; нравится ходить по лезвию бритвы, лавируя между тем, что я на самом деле думаю, и тем, что мне думать, по общему мнению, полагается...

А потом, когда выступление уже позади, нравится мне стоять внизу, в зале, в окружении истинных поклонников и ценителей, надписывать зачитанные до дряхлости книжки «Современных сказок» и вести разговор уже на равных, без дураков, крепко, до ожесточения спорить, все время испытывая восхитительное чувство защищенности от грубого выпада и от бестактной резкости, когда не страшно совершить ложный шаг, когда даже явная глупость, произнесенная тобой, вежливо пропускается мимо ушей...

Но особенно я люблю все это не в Москве и не в других столицах, административных, научных и промышленных, а в местах отдаленных, где-нибудь на границе цивилизации, где все эти инженеры, техники, операторы, все эти вчерашние студенты изголодались по культуре, по Европе, просто по интеллигентному разговору.

И я, конечно, дал Косте согласие, выяснил у него,

когда отлет, кто еще включен в бригаду и где нас будут инструктировать, и уже протянул ему руку для прощанья, но он вдруг взял меня за большой палец щепотью, хитро прищурился и как-то кокетливо пропел:

— А ты у нас рисковый мужик, Феликс Александрович! Ловко у тебя это получилось! Но не думаешь ли ты, что тебе это припомнят, а? Во благовремении, а?

Он кокетливо щурился и покачивал в воздухе мою обмякшую руку, а я ощутил, что все внутри у меня съеживается от дурного предчувствия. Наверное, суть была прежде всего в том, что произнес эти слова именно Костя. Не знаю. Но я сразу подумал, что не кончилась еще глупейшая история с этим... как он там... с эликсиром этим чертовым, который я же сам и выдумал себе на голову... Ничего не кончилось, что с того, что я начисто забыл про соглядатая в клетчатом пальто-перевертыше, они-то про меня не забыли, всё продолжается, и вот, оказывается, я уже какой-то ловкий ход сделал, обманул, видимо, кого-то, рискнул, дурень, и теперь мне это могут припомнить! И конечно же припомнят, обязательно припомнят!..

Иезус, Мария и Иосиф! Провалиться бы этому Косте Кудинову, откуда нет возврата! С его таинственными манерами, намеками и полунамеками! Уже через минуту подмигиваний, прищуриваний и раскачивания моей руки выяснилось, что речь идет совсем о другом.

В начале декабря знакомый мой редактор из «Московского плейбоя» дал мне отрецензировать рукопись Бабахина, председателя жилкомиссии нашей. Дал он мне эту рукопись и сказал так: «Врежь ты ему по соплям и ничего не боись, рецензия внутренняя, а главный наш от этого Бабахина уже в прединфаркте». Повесть, действительно, была чудовищная, и я врезал. По соплям. С наслаждением. А под самый Новый Год Бабахина с громом и лязгом из председателей поперли. Не за то, конечно, что пишет он повести, способные довести до инфаркта даже такого закаленного человека, как главный «Московского плейбоя». Нет, поперли его за то, что он «ел хлеб беззакония и пил вино хищения». И вот теперь этот идиот, поэт Костя Кудинов, вообразил себе, будто я все это предвидел заранее и рискнул выступить против Бабахина аж в начале декабря, когда все еще могло повернуться и так, и этак...

И более того. Этот идиот Костя Кудинов считал мою рецензию поступком безрассудным, хоть и героическим,

ибо полагал — не без оснований, впрочем,— что Бабахины не умирают, что они всегда возвращаются и никогда ничего не забывают.

Кому в наше время приятно попасть под подозрение в безрассудном геройстве? Но я был так благодарен Косте за то, что он, по всей видимости, забыл о моих приключениях с эликсиром жизни, и я только снисходительно похлопал его по плечу и дал ему понять, что все это комариная плешь и что при моих связях никакие Бабахины мне не страшны. Оставив его размышлять, какие выгоды он сможет теперь извлечь из доброго знакомства с таким значительным лицом, я неспешно и в каком-то смысле даже величественно двинулся вниз по лестнице.

И все-таки не обошлось без клетчатого пальто, все-таки оно напомнило о себе, хотя и несколько неожиданным образом.

Выйдя из метро на Кропоткинской, я увидел рядом с табачным киоском это величайшее достижение двадцатого века — красно-желтый фургон спецмедслужбы. Задние дверцы его были распахнуты настежь, и двое милиционеров ввергали в ее недра клетчатое пальто-перевертыш. Ввергаемое пальто отбрыкивалось задними ногами, а может быть, и не отбрыкивалось, а тщилось отыскать под собой опору. Лица я не видел. Я вообще больше ничего не видел, если не считать очков. Металлическая оправа от очков, ее деловито пронес мимо меня, держа двумя пальцами, третий милиционер, тут же скрывшийся за фургоном. Затем дверцы захлопнулись, машина выпустила из себя кубометр гнусного запаха и медленно укатила. Вот и все приключение, и спросить не у кого, что здесь произошло, потому что миновали времена, когда такого рода происшествия собирали зрителей. И я пошел своей дорогой.

Я вступил в Клуб, как и предполагал, в три без четверти. У входа дежурила на этот раз не подслеповатая Мария Трофимовна, а молодая еще пенсионерка, которая и работает-то у нас без году неделю, а уже всех знает, во всяком случае меня. Мы раскланялись, я предупредил ее, что жду даму, разделся и побрел наверх в приемную комиссию. Зинаида Филипповна, черноглазая и белолицая, как всегда, очень занятая и очень озабоченная, указала мне на шкаф, где на трех полках отдельными кучками лежали сочинения претендентов. Подумать только, всего-то их восемь, а уже напечатали такую уймищу!

— Я вам отобрала, Феликс Александрович,— произнесла Зинаида Филипповна, рассеянно мне улыбаясь.— Вы ведь военно-патриотическую тему предпочитаете? Вон крайняя стопка, Халабуев некто. Я вам уже записала.

Жалок и тосклив был вид стопки, воплотившей в себе дух и мысль неведомого мне Халабуева. Три тощеньких номера «Прапорщика» с аккуратненькими хвостиками бумажных закладок и одинокая, тощенькая же книжечка Северо-Сибирского издательства, повесть под названием «Стережем небо!».

И кто же это тебя, Халабуев, рекомендовал, подумал я. Кто же это опрометчивый отдал тебя нам на съедение с твоими тремя рассказиками и одной повестушечкой? Да и не повестушка это даже, а так, слегка беллетризированный очерк из жизни ракетчиков или летчиков. Да ты же, Халабуев, на один зуб будешь нашим лейб-гвардейцам, если, конечно, не заручился уже их благорасположением. Но если даже ты и заручился, Халабуев, на ползуба тебя не хватит нашим специалистам по истории куртуазной литературы Франции восемнадцатого века! Но уж если, Халабуев, исхитрился ты и у них благорасположение снискать, тогда честь тебе, Халабуев, и хвала, тогда далеко ты у нас пойдешь, и очень может быть, что через пяток лет будем мы все толпиться у твоего порога, выклянчивая право на аренду дачи в Подмосковье...

Со вздохом взял я Халабуева под мышку и, вежливо попрощавшись с Зинаидой Филипповной, направился прямо в ресторан.

И случилось так, что хотя народу в ресторане по дневному времени было не очень много, но удобный столик свободный оказался только один, и когда я уселся, то за столиком справа от меня оказался Витя Кошельков, знаменитейший наш юморист и автор множества скетчей, при галстуке бабочкой и при газете «Морнинг Стар», которую он читал с неприступным видом над чашечкой кофе.

А за столиком слева щебетали, непрерывно жуя, две неопределенного возраста дамы, вполне, впрочем, на вид аппетитные.

А за столиком прямо передо мной Аполлон Аполлонович Владимирский угощал какую-то из своих многочисленных внучатых (а может, даже и правнучатых) родственниц обедом с шампанским. Он заметил меня, и мы раскланялись.

Он был все такой же, каким я впервые увидел его почти четверть века назад. Маленькая, совершенно лысая, как воздушный шарик, голова на длинной складчатой шее игуаны, огромные черные глаза — сплошной зрачок без радужки, распущенный рот и беспорядочно клацающие искусственные челюсти, как бы живущие самостоятельной жизнью, и плавные движения дирижера, и резкий высокий голос человека, равнодушного к мнению окружающих. И старомодный, начала века, наверное, костюмчик с коротковатыми рукавами, из-под которых выползали ослепительные манжеты. Мне он казался пришельцем из невообразимо далекого, хрестоматийного прошлого; невозможно было представить себе, что энергичные, задорные, бодрящие песни, которые певали, да и сейчас еще поют на демонстрациях и студенческих вечеринках со времен коллективизации, написаны на стихи этого реликта...

Я сидел, одним глазом поглядывая в раскрытого на середине Халабуева, а другим — на дверь в холл, откуда пора было уже появиться Рите, а Аполлон Аполлонович, покровительственно наблюдая, как молоденькая родственница управляется с бифштексом, и поминутно элегантными щелчками загоняя в рукав непослушную манжету, исполнял под аккомпанемент беспорядочно клацающих челюстей очередной свой мемуар.

Этих мемуаров за истекшие десятилетия я наслушался предостаточно, и поэтому сейчас лишь узловые моменты рассеянно отмечало мое привычное ухо. Вот Владимир Владимыч и странные его отношения с Осей. Вот Борис Леонидыч промелькнул, сказал что-то забавное и сменился тут же Александром Александрычем, совсем уже больным, за день до кончины. А вот и Алексей Николаевич, и конечно же: «Их сиятельство уехали в Цека...» Самуил Яковлевич... Корней Иванович... Веня появился у Алексея Максимовича, совсем молодой и очень заносчивый... а Исаак Эммануилович вступил на последнюю свою короткую дорогу. «А как придет время уколы делать, так представь себе, душа моя, все писатели врассыпную, за кусты и в лес, а сестры со шприцами наготове — за ними, и только Миша грустно так стоит у больничного окна и говорит: «Побежали в лес по ягодицы...» Константин Сергеевич... «Ох, заберут вас когда-нибудь в ГУМ, Владимир Иванович...» Александр Сергеевич... (тут я вздрогнул). Виссарион Григорьевич с сыном своим Иосифом...

Я посмотрел на Аполлона Аполлоновича. Он был неиссякаем. Родственница, впрочем, оставалась к этому уникальному потоку информации вполне равнодушной. Я не исключал, конечно, что она, как и я, слышала все это далеко не впервые. И тут Аполлон Аполлонович сказал весело:

— А вот и Михаил Афанасьевич собственной персоною. Комман са ва, Мишель?

Я взглянул.

В одну зимнюю ночь сорок первого года, когда я во время воздушной тревоги возвращался домой из гранатных мастерских, бомба попала в деревянный дом у меня за спиной. Меня подняло в воздух, плавно перенесло через железные пики садовой ограды и аккуратно положило на обе лопатки в глубокий сугроб, и я лицом к черному небу лежал и с тупым изумлением глядел, как медленно и важно, подобно кораблям, проплывают надо мною горящие бревна.

И вот с таким же тупым изумлением глядел я теперь, как со стороны холла наискосок через ресторан идет Михаил Афанасьевич, мой невеселый вчерашний знакомец, только без синего лабораторного халата, а в остальном в точности такой же, и даже в том же самом сером костюме. Я видел, как шевельнулись его губы, он что-то ответил Аполлону Аполлоновичу, а меня не заметил или не узнал и прошел мимо, к выходу в вестибюль старой княгини. И когда он скрылся за дверью, в мертвой тишине, какая бывает после страшного взрыва, скрипучий голос Аполлона Аполлоновича произнес то ли торжественно, то ли доверительно:

— В библиотеку пошел. Или в партком.

А я ведь, оказывается, уже стоял, готовый бежать за ним следом. Были у меня к нему вопросы? Да. Были. Конечно. Хотел ли я спросить у него совета? Безусловно. Разумеется. Все то, о чем догадался я сегодняшним горьким утром, поднялось вдруг во мне снова, как ядовитое варево в ведьмином горшке. И необходимо стало мне узнать, правильно ли я его давеча понял, и если правильно, то что мне теперь с этим пониманием делать. Уже только ради этого стоило бежать за ним, но не это было главное.

Я осознал вдруг, кто он, мой невеселый знакомец с Банной, какой он такой Михаил Афанасьевич. Теперь это казалось мне столь же очевидным, сколь и невероятным. Эта встреча была достойным завершением моей

бездарно-фантасмагорической недели, на протяжении которой тот, коему надлежит ведать моей судьбой, распустил передо мной целый веер возможностей, ни одну из которых я не сумел или не захотел осуществить, и все это прошло, как вода сквозь песок, не оставив ничего, кроме грязноватой пенки филистерского облегчения. И теперь вот — последняя возможность. Самая, может быть, невероятная. И пусть она ничего не обещает мне поверх моего привычного бутерброда с маслом, но если я и ее сейчас упущу, пожертвую ею ради солянки с маслинами или даже ради душистой моей Риты, тогда ничего у меня не останется и незачем мне будет более раскрывать мою Синюю Папку.

Как во сне услышал я брюзгливое барственное блеяние:

— Или я великий русский писатель, или я буду есть эту лапшу...

И как во сне, повернувши голову, увидел я над дымящейся тарелкой полное длинное лицо с брюзгливо отвисшей губой, сейчас же скрывшееся от меня за согбенной спиной официанта.

И тут, уже совершенно наяву, увидел я в дверях холла остановившуюся Риту в любимом моем песочного цвета костюме, и глаз уколол мне блеск сережки в ее ухе, когда она медленно поворачивала голову, отыскивая меня в зале, но я трусливо спрятал глаза и, слегка согнувшись, торопливо побежал по ковровой дорожке прочь, туда, к той двери, за которой скрылся Михаил Афанасьевич. Горестно промелькнула в голове моей мысль, что вот опять я совершаю поступок, за который придется извиняться и оправдываться, но я отогнал эту мысль, потому что все это будет потом, а сейчас мне предстояло нечто несоизмеримо более важное.

В парткоме Михаила Афанасьевича не оказалось. Таточка там грохотала на своей машинке, а рядом с нею, развалившись в кресле и освободив от пиджака округлое литое брюшко, восседал красноносый и красногубый и вообще румяный сатир и с выражением, будто на трибуне стоя, диктовал ей по бумажке:

— ...и с абстракционизмом в литературе мы должны бороться и будем бороться так же непримиримо, как с абстракционизмом в живописи, в скульптуре, в архитектуре...

— И в животноводстве! — проорал я, чтобы остановить его.

Он остановился, явно ослепленный новым поворотом темы, а я быстро спросил Таточку:

— Михаил Афанасьевич сейчас не заходил?

— Нет,— отозвалась она, не переставая грохотать.— Его сегодня не будет.— И требовательно обратилась к сатиру: — «...в архитектуре и в животноводстве...». Дальше!

Я нашел Михаила Афанасьевича в журнальном зале, где он сидел в полном одиночестве и внимательно читал последний номер «Ежеквартального надзирателя». Тот самый. С повестью Вали Демченко, искромсанной, изрезанной, трижды ампутированной, но все-таки живой, непобедимо, вызывающе живой.

Я приблизился и остановился, не зная, что сказать и как начать. Ощущение нелепости происходящего вдруг овладело мною, я смешался, я готов был уже уйти, но тут он опустил журнал, взглянул на меня вопросительно и сразу же улыбнулся:

— А! Феликс Александрович,— произнес он своим тихим ровным голосом.— Здравствуйте. Садитесь, пожалуйста, вот как раз свободный стул.

— Это из Чапека? — спросил я, послушно усаживаясь.

— Нет, это из Гашека. Так чем я могу служить вам, Феликс Александрович?

— Я вижу, вы очень хорошо знаете литературу...

— Более того. Литературу я очень люблю. Хорошую литературу.

— А когда у вас возникает сомнение, хорошая ли она, вы суете ее в свою машину?

— Помилуйте, Феликс Александрович! Мне это както даже и не к лицу. Впрочем, я сам виноват. Я оговорился, прошу прощения. Конечно же, литература не бывает плохой или хорошей. Литература бывает только хорошей, а все прочее следовало бы называть макулатурой.

— Вот-вот! — подхватил я, продолжая напирать в каком-то горестном отчаянии.— «Свежесть бывает только одна — первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая!»

Он закрыл журнал, заложивши его, однако, пальцем, и некоторое время молча смотрел на меня. А я смотрел на него и поражался сходству с портретом в коричневом томике, и поражался, что за три месяца никто из наших пустобрехов не узнал его и сам я умудрился не узнать его с первого взгляда там, на Банной.

— Феликс Александрович,— сказал он наконец.— Я вижу, вы принимаете меня за кого-то другого. Я даже догадываюсь, за кого...

— Позвольте, позвольте! — вскричал я горячо, потому что эта его попытка уклониться разочаровала и даже оскорбила меня.— Ведь не станете же вы отрицать...

— Именно стану! — произнес он, наклоняясь ко мне.— Меня действительно зовут Михаил Афанасьевич, и говорят, что я действительно похож, но посудите сами: как я могу быть им? Мертвые умирают навсегда, Феликс Александрович. Это так же верно, как и то, что рукописи сгорают дотла. Сколько бы ОН ни утверждал обратное.

Я чувствовал, что пот заливает мне лицо. Я торопливо вытащил платок и утерся. Голова у меня шла кругом, в ушах звенело, видимо, давление подскочило неумеренно, и я опять чувствовал себя, как во сне.

— Однако давайте, наконец, приступим к вашему делу,— продолжал он и вынул палец из журнала, а журнал положил на диван рядом с собой.— Вы, как и следовало ожидать, совершенно правильно догадались, что машина моя определяет не абсолютную художественную ценность произведения, а всего лишь судьбу его в исторически обозримом времени.

Я кивнул, снова и снова протирая заливаемые потом глаза.

— Догадавшись, вы оказались перед вопросом: стоит ли рискнуть и передать мне на анализ вашу Синюю Папку.

Я снова кивнул.

— Давайте теперь попробуем разобраться, чего же вы, Феликс Александрович, боитесь и на что надеетесь. Вы, конечно, боитесь, что машина моя наградит вас за все ваши труды какой-нибудь жалкой цифрою, словно не труд всей своей жизни вы ей предложили, а какую-нибудь макулатурную рецензию, писанную с отвращением и исключительно чтобы отделаться... а то и ради денег. А надеетесь вы, Феликс Александрович, что случится чудо, что вознаградит вас моя машина шестизначным, а то и семизначным числом, словно и впрямь вы заявляете миру некий Новый Апокалипсис, который сам собой прорвется к читателю сквозь все и всяческие препоны... Однако же вы прекрасно знаете, Феликс Александрович, что чудеса в нашем мире случаются только поганые, так что надеяться вам, в сущности, не на что. Что же до ваших опасений, то не сами ли вы сознательно обрек-

ли свою папку на погребение в недрах письменного своего стола — изначально обрекли, Феликс Александрович, похоронили, еще не родив окончательно? Вы следите за ходом моих рассуждений?

Я кивнул.

— Вы понимаете, что я только облек в словесную форму ваши собственные мысли?

Я снова кивнул и сказал сиплым голосом, мимолетно поразившим меня самого:

— Вы упустили еще третью возможность...

— Нет, Феликс Александрович! Не упустил! О вашей детской угрозе огнем я догадываюсь. Так вот, чтобы наказать вас за нее, я расскажу вам сейчас о четвертой возможности, такой стыдной и недостойной, что вы даже не осмеливаетесь пустить ее в свое сознание, ужас перед нею сидит у вас где-то там, на задворках, ужас сморщенный, голенький, вонючий... Рассказать?

Предчувствие этого сидящего на задворках сморщенного ужаса резнуло меня, как сердечный спазм, и я даже задохнулся, но я уверен был, что ничего он не сможет сказать такого, о чем я сам уже не передумал, чем не перемучился тридцать три раза. Я стиснул зубы и процедил сквозь платок, прижатый ко рту.

— Любопытно было бы узнать...

И он рассказал.

Честью своей клянусь, жизнью дочери моей Катьки, жизнью внуков: не знал я заранее и представить себе не мог, что он мне расскажет обо мне самом. И это было особенно унизительно и срамно, потому что четвертая моя возможность была такой очевидной, такой пошлой, такой лежащей на поверхности... любой нормальный человек назвал бы ее первой... для Ойла Союзного она вообще единственная, и других он не ведает... Только такие, как я, занесшиеся без всякой видимой причины, надутые спесью до того, что уже и надутости этой не ощущают, невесть что вообразившие о себе, о писанине своей и о мире, который собою осчастливливают, только такие, как я, способны упрятать эту возможность от себя так глубоко, что сами о ней не подозревают...

Ну, подумать только, как я, Феликс Александрович Сорокин, создатель незабвенного романа «Товарищи офицеры», как я мог представить себе, что проклятая машина на Банной может выбросить на свои экраны не семизначное признание моих, Сорокина, заслуг перед мировой культурой и не гордую одинокую троечку, свидетельствую-

щую о том, что мировая культура еще не созрела, чтобы принять в свое лоно содержимое Синей Папки, а может выбросить машина на свои экраны крепенькие и кругленькие 90 тыс., означающие, что Синюю Папочку благополучно приняли, благополучно вставили в план и выскочила она из печатных машин, чтобы осесть на полках районных библиотек рядом с прочей макулатурой, не оставив по себе ни следов, ни памяти, похороненная не в почетном саркофаге письменного стола, а в покоробленных обложках из уцененного картона.

— ...Простите меня,— закончил он с сочувствием в голосе.— Но я не мог оставить в стороне эту возможность, даже если бы не хотел слегка наказать вас.

Я молча кивнул. В который раз. Воистину: демон неба сломал мне рога гордыни.

— Что же касается вашей угрозы сжечь Синюю Папку и забыть о ней,— продолжал Михаил Афанасьевич,— то я, признаться, назвал ее, угрозу, детской лишь в некоторой запальчивости. На самом деле угроза эта кажется мне серьезной, и весьма серьезной. Но, Феликс Александрович! Вся многотысячелетняя история литературы не знает случая, когда автор сжег бы своими руками свое ЛЮБИМОЕ детище. Да, жгли. Но жгли лишь то, что вызывало отвращение и раздражение, и стыд у них самих... А ведь вы, Феликс Александрович, свою Синюю Папку любите, вы живете в ней, вы живете для нее... Ну как вы позволите себе сжечь такое только потому, что не знаете его будущего?

Он был прав, конечно. Все это была кислая болтовня — насчет сжигания, забвения... Да и как бы я ее стал жечь — при паровом-то отоплении? Я нервно хихикнул: может быть, потому и печатается у нас столько барахла, что исчезли по городам печки?

Михаил Афанасьевич тоже засмеялся, но тут же стал серьезным.

— Поймите меня правильно, Феликс Александрович,— сказал он.— Вот вы пришли ко мне за советом и за сочувствием. Ко мне, к единственному, как вам кажется, человеку, который может дать вам совет и выразить искреннее сочувствие. И того вы не хотите понять, Феликс Александрович, что ничего этого не будет и не может быть, ни совета от меня, ни сочувствия. Не хотите вы понять, что вижу я сейчас перед собой только лишь потного и нездорово раскрасневшегося человека с вялым ртом и коронарами, сжавшимися до опасного предела,

человека пожившего и потрепанного, не слишком умного и совсем не мудрого, отягченного стыдными воспоминаниями и тщательно подавляемым страхом физического исчезновения. Ни сочувствия этот человек не вызывает, ни желания давать ему советы.

Да и с какой стати? Поймите, Феликс Александрович, нет мне никакого дела ни до ваших внутренних борений, ни до вашего душевного смятения, ни до вашего, простите меня, самолюбования. Единственное, что меня занимает, это ваша Синяя Папка, чтобы роман ваш был написан и закончен. А как вы это сделаете, какой ценой,— я не литературовед и не биограф ваш, это, право же, мне не интересно. Разумеется, людям свойственно ожидать награды за труды свои и за муки, и в общем-то это справедливо, но есть исключения: не бывает и не может быть награды за муку творческую. Мука эта сама заключает в себе награду. Поэтому, Феликс Александрович, не ждите вы для себя ни света, ни покоя. Никогда не будет вам ни покоя, ни света.

И наступила тишина. Словно бы я оглох. И в этой глухой тишине беззвучно вошла библиотекарша в сопровождении двух каких-то старух, и они, беззвучно переговариваясь, подошли к шкафу, беззвучно раскрыли его и принялись беззвучно выкладывать на стол и листать какие-то пропыленные подшивки. И вот что странно: они словно бы не видели нас, ни разу не взглянули в нашу сторону, словно бы нас здесь не было.

И в этой тишине вдруг зазвучал глуховатый приятный голос Михаила Афанасьевича. Он не говорил и не рассказывал, а именно читал вслух из невидимой книги.

Город смотрел на них пустыми окнами — покрытый плесенью, скользкий, трухлявый, словно он много лет гнил на дне моря, и вот, наконец, его вытащили на поверхность, на посмешище солнцу, и солнце, насмеявшись вдоволь, принялось его разрушать. Таяли и испарялись крыши, жесть и черепица дымились ржавым паром и исчезали на глазах. Мягко подламываясь, истаивали уличные фонари, растворялись в воздухе киоски и рекламные тумбы — все вокруг потрескивало, тихонько шипело, шелестело, делалось пористым, прозрачным, превращалось в сугробы грязи и пропадало...

Михаил Афанасьевич замолчал, откинулся на спинку дивана и закрыл глаза. Но я уже понял, откуда он это

читал и почему это кажется мне таким знакомым. Это был еще не самый конец, не последние строчки, но теперь я видел эту последнюю картинку, и я уже знал свою последнюю строчку, после которой не будет больше ничего, кроме слова «конец» и, может быть, даты.

* * *

Весь ресторан Клуба видел, как известный писатель военно-патриотической темы Феликс Сорокин, рослый, несколько грузный, сереброголовый красавец с пышными черными усами, блестя лауреатским значком на лацкане пиджака, свободно пройдя меж столиками, подошел к красивой женщине в элегантном костюме песочного цвета и поцеловал ей руку. И весь ресторан услышал, как он, повернувшись к официанту Мише, произнес отчетливо:

— Мяса! Любого! Но только не псины. Хватит с меня псины, Миша!

Половина зала пропустила эти странные слова мимо ушей, другая половина сочла их за неудачную шутку, а Аполлон Аполлонович, покачав черепашьей головкой, пробормотал: «Странно... Когда это он успел?..»

А Феликс Сорокин и не думал шутить. И надраться он отнюдь не успел, это ему еще предстояло. Просто он был возмутительно, непристойно и неумело счастлив сейчас, и сам толком не знал, почему, собственно.

10. Банев. Exodus

Через год после войны поручика Б. демобилизовали по ранению. Ему повесили медаль «Виктория», сунули в зубы месячный оклад денежного содержания и картонный ящик с подарком господина президента: бутылка трофейного шнапса, две жестянки страсбургского паштета, два круга копченой конской колбасы и трофейные же шелковые подштанники для устройства семейной жизни. Вернувшись в столицу, поручик не унывает. Он — хороший механик, и его в любую минуту возьмут работать в университетские мастерские, откуда он ушел добровольцем, но он не торопится — восстанавливает старые знакомства, заводит новые, а в промежутках пропивает барахло, изъятое у неприятеля в счет репараций. На одной вечеринке он встречает женщину по имени Нора, очень похожую на Диану. Описание вечеринки: заез-

женные довоенные пластинки, денатурат домашней очистки, американская тушенка, шелковые блузки на голое тело и морковь во всех видах. Поручик, звеня медалями, мигом разгоняет разных штатских, неустанно подкладывающих Норе вареную морковку, и начинает правильную осаду. Нора ведет себя странно. С одной стороны, она явно не прочь, но, с другой стороны, она дает ему понять, что связываться с нею опасно. Однако разгоряченный денатуратом экс-поручик не желает ничего знать. Они покидают вечеринку и отправляются к Норе. Послевоенная столица ночью: редкие фонари, мостовая в выбоинах, огороженные развалины, недостроенный цирк, в котором гниют шесть тысяч пленных под охраной двух инвалидов, в совершенно уже темном переулке кого-то грабят. Нора живет в старинном трехэтажном доме, лестница загажена, на одной двери надпись мелом: «Здесь живет немецкая овчарка». В длинном коридоре, заваленном разным хламом, отшатываются в тень затхлые личности. Нора, гремя многочисленными ключами, отпирает свою дверь, обитую чудом сохранившейся блестящей кожей. В прихожей она делает еще одно предупреждение, но Б., полагая, что речь идет всего лишь о какой-нибудь уголовщине, отвечает только, что хаживал на танки в конном строю. Квартирка не по времени чистенькая и уютная, огромный диван. Нора смотрит на поручика с каким-то сожалением, уходит ненадолго и возвращается с початой бутылкой коньяка, одетая в высшей степени соблазнительно. Оказывается, в их распоряжении всего полчаса. По истечении получаса удовлетворенный поручик уходит с надеждой встретиться вновь. В конце коридора его уже ждут — два затхлых человека из тени. Неприятно усмехаясь, они загораживают дорогу и предлагают поговорить. Поручик без лишних слов принимается их бить и одерживает неожиданно легкую победу. Сбитые с ног, затхлые люди, плача и хихикая, разъясняют поручику Б. его положение. Экс-поручик бил своих. Они теперь все свои. Нора не просто соблазнительная женщина, Нора — королева столичных клопов. Вам теперь конец, господин офицер, встретимся в «Атакане», мы все там встречаемся, каждую ночь. Идите домой, а когда вам станет невтерпеж, приходите, у нас открыто до утра...

На западной окраине столицы, в доходном доме рядом с химическим заводом, живет многосемейный титулярный советник Б. Нарочито подробное и нарочито скучное описание обстоятельств героя: три комнатки, кухня,

прихожая, стертая жена, пятеро зеленоватых детей, крепкая старая теща, переселившаяся из деревни. Химический завод воняет, днем и ночью над ним стоят столбы разноцветного дыма, от ядовитого смрада умирают деревья, желтеет трава, дико и странно мутируют мухи. Несколько лет титулярный советник ведет кампанию по укрощению завода: гневные требования в адрес администрации, слезные петиции во все инстанции, разгромные фельетоны во все газеты, бесплодные попытки организовать пикеты у проходной. Однако завод стоит, как бастион. На набережной перед заводом замертво падают отравленные постовые; дохнут домашние животные, покидают квартиры и уходят бродяжничать целые семьи; в газетах появляется некролог на преждевременную кончину директора завода. У титулярного советника Б. умирает жена, дети по очереди заболевают бронхиальной астмой. Однажды вечером, спустившись в подвал за дровами, он обнаруживает там сохранившийся со времен Сопротивления миномет и огромные запасы мин. Той же ночью он перетаскивает все это на чердак и открывает слуховое окно. Завод лежит перед ним как на ладони: в резком свете прожекторных ламп снуют рабочие, бегают вагонетки, плывут желтые и зеленые клубы ядовитых паров. Я тебя убью, шепчет титулярный советник и открывает огонь. В этот день он не идет на службу, на следующий день — тоже. Он не спит и не ест, он сидит на корточках под слуховым окном и стреляет. Время от времени он делает перерывы, чтобы охладился ствол миномета. Он оглох от выстрелов и ослеп от порохового дыма. Иногда ему кажется, что химический смрад ослабевает, и тогда он улыбается, облизывает губы и шепчет: я убью тебя. Потом он падает без сил и засыпает, а проснувшись, видит, что мины кончились — осталось три штуки. Он выстреливает их и высовывается в окно. Обширный двор завода усеян воронками, зияют выбитые стекла, на боках гигантских газгольдеров темнеют вмятины, двор перерыт сложной системой траншей, по траншеям короткими перебежками двигаются рабочие, быстрее прежнего бегают вагонетки, водители автокаров защищены железными листами, а когда ветер относит клубы ядовитых паров, на кирпичной стене заводоуправления открывается свежая белая надпись: «Внимание! При обстреле эта сторона особенно опасна»...

Виктор дочитал последнюю страницу, закурил и поглядел на листок, заправленный в машинку. Там было

всего полторы строчки: «Выйдя из редакции, журналист Б. хотел было взять такси, но передумал и спустился в подземку». Виктор совершенно точно знал, что случилось затем с журналистом Б., но писать он больше не мог. Часы показывали без четверти три. Виктор поднялся и распахнул окно. На улице было черным-черно, и в черноте сверкал дождь. Виктор докурил у окна сигарету, выбросил окурок в мокрую ночь и позвонил портье. Отозвался незнакомый голос. Виктор осведомился, какой сегодня день недели. Незнакомый голос, помедлив, сообщил, что сейчас ночь с пятницы на субботу. Виктор поморгал, положил трубку и решительно выдернул листок из машинки. Хватит. Двое суток подряд, не разгибаясь, никого не видя, ни с кем не разговаривая, выключив телефон, не отвечая на стук, без Дианы, без выпивки, кажется, даже без еды, только время от времени забираясь на кровать, чтобы увидеть во сне королеву клопов, как она сидит у притолоки и шевелит черными усиками... Хватит. Журналист Б. подождет на платформе, пока подойдет поезд с надписью «Посадки нет». Ничего ему не сделается. А мы пока закусим, мы это заслужили, ей-богу... Виктор убрал машинку, спрятал в стол рукопись и пошарил в пустом баре. Потом он жевал черствую булку с джемом и горько сетовал на себя за то, что вылил вчера полбутылки бренди в раковину во избежание соблазна, и радовался, что цикл «За кулисами большого города» все-таки начат, и начат неплохо, прекрасно начат, вполне удовлетворительно. Хотя, наверное, придется все переписать. Странно все-таки, подумал он, почему эти рассказы пошли именно сейчас? Почему не год назад, не два года назад, когда я их придумал? Сейчас я должен был бы писать о ханурике, вообразившем себя суперменом, вот о чем. Я ведь и начал с этого. Впрочем, такое со мной не в первый раз. А если подумать и хорошенько вспомнить, то так бывает всегда. И именно поэтому невозможно писать по заказу. Начинаешь писать роман о юных годах господина президента, а получается про необитаемый остров, где живут странные обезьяны, которые питаются не бананами, а мыслями потерпевших кораблекрушение... Ну, здесь, положим, связь на поверхности. Э, да чего там, всегда она есть. Надо только покопаться, а кому охота копаться, если хочется выпить после двухдневного воздержания. Спущусь-ка я сейчас вниз, у портье всегда найдется выпить. Дожую вот сейчас и спущусь...

Виктор вздрогнул и перестал жевать. Из черного провала за окном сквозь плеск дождя донесся звук, как будто ударили молотком по доске. Стреляют, с удивлением подумал Виктор. Некоторое время он напряженно прислушивался.

...Ну хорошо, а что автор хотел сказать этими своими сочинениями? Зачем ему понадобилось воскрешать тяжелые послевоенные времена, когда кое-где еще встречались клопы и легкомысленные женщины? Может быть, автор хотел показать героизм и стойкость столицы, которая под водительством его высокопревосходительства... Не выйдет, господин Банев! Не позволим! Весь мир знает, что по прямому указанию господина президента на владельцев химических предприятий, загрязняющих воздух, только в столице наложен штраф в размере... Что благодаря личной и неусыпной заботе господина президента более ста тысяч детей столицы ежегодно выезжают в загородные лагеря... что согласно табели о рангах чины ниже надворных советников не имеют права собирать подписи под петициями...

Тут свет погас. Эге! — сказал Виктор вслух, и лампа загорелась снова, но вполнакала. «Эт-то еще что?» — произнес Виктор, однако светлее не сделалось. Виктор подождал немного, затем позвонил портье. Никто не отозвался. Можно позвонить на электростанцию, но для этого надо найти телефонную книгу, а где ее искать, и все равно пора ложиться. Только сначала надо выпить. Виктор поднялся и вдруг услышал какой-то шорох. Кто-то возил по двери руками. Потом в дверь начали толкаться. «Кто там?» — спросил Виктор, ему не ответили, слышно было только, как толкаются и сопят. Виктору стало жутко. Озаренные красноватым светом стены казались чужими и непривычными, в углах сгустилось слишком много тени, а за дверью возилось что-то большое, тупое и бессмысленное. Чем бы его? — подумал Виктор, озираясь, но тут за дверью сказали сиплым шепотом: «Банев, эй, Банев, ты здесь?» Отпустив вполголоса «идиота», Виктор вышел в прихожую и повернул ключ. В номер ввалился Р. Квадрига. Он был в халате, волосы у него были всклокочены, глаза бегали.

— Слава богу, хоть ты на месте,— сразу же заговорил он.— А то я совсем со страху спятил... Слушай, Банев, надо удирать... Пойдем, а? Пойдем отсюда, Банев...— Он схватил Виктора за рубашку и потянул в коридор.— Пойдем, невозможно больше...

— Обалдел, — сказал Виктор, вырываясь. — Иди спать, рамолик. Три часа.

Но Квадрига снова ловко ухватил его за рубашку, и Виктор с изумлением обнаружил, что доктор гонорис кауза совершенно трезв, от него даже не пахло.

— Нельзя спать,— сказал Квадрига.— Из этого проклятого дома надо удирать. Видишь, что со светом? Мы здесь погибнем... И вообще из города надо удирать. У меня на вилле машина. Пошли. Я бы один уехал, да боюсь выйти.

— Погоди, не хватайся,— сказал Виктор.— Успокойся сначала.

Он втащил Квадригу в номер, усадил в кресло, а сам пошел в ванную за стаканом воды. Квадрига сейчас же вскочил и побежал за ним.

— Мы здесь с тобой одни, никого не осталось,— сказал он.— Голема нет, швейцара нет, директора нет...

Виктор открутил кран. В трубах заворчало, вылилось несколько капель.

— Тебе что,— сказал Квадрига,— воды надо? Пойдем, у меня есть целая бутылка. Только быстро. И вместе.

Виктор потряс кран. Вылилось еще несколько капель, и ворчание прекратилось.

— Что случилось? — спросил Виктор, холодея.— Война?

Квадрига махнул рукой.

— Да какая война... Удирать надо, пока не поздно, а он — война...

— Почему — удирать?

— По дороге,— сказал Квадрига, идиотски хихикнув.

Виктор отодвинул его локтем, вышел из номера и направился вниз, к портье. Квадрига семенил следом.

— Слушай,— бормотал он.— Давай через черный ход... Только бы выйти, а там у меня машина. Уже заправлена, погружена... Я как чувствовал, ей-богу... Водочки выпьем и поедем, а то здесь водки не осталось...

В коридоре тускло, как красные карлики, светились плафоны, на лестнице света не было вообще, в вестибюле — тоже, только над конторкой портье тлела лампочка. Там кто-то сидел, но это был не портье.

— Пойдем, пойдем,— сказал шепотом Квидрига и потянул Виктора к выходу.— Туда не надо, там нехорошо...

Виктор высвободился и подошел к конторке.

— Что у вас тут за безобразие...— начал он и замолчал.

За конторкой сидел Зурзмансор.

На месте портье сидел Зурзмансор и быстро писал в толстой тетради.

— Банев,— сказал он, не поднимая головы.— Вот и все, Банев. Прощайте. И не забывайте наш разговор.

— А я не собираюсь уезжать,— возразил Виктор. Голос у него сорвался.— Я намерен узнать, что делается с электричеством и водой. Это ваша работа?

Зурзмансор поднял желтое лицо.

— Нет,— сказал он.— Мы больше не работаем. Прощайте, Банев.— Он протянул через конторку руку в перчатке. Виктор машинально взял эту руку, ощутил пожатие и пожал сам.— Такова жизнь,— сказал Зурзмансор.— Будущее создается тобой, но не для тебя. Вы, наверное, это уже поняли. Или скоро поймете. Вас это касается больше, чем нас. Прощайте.

Он кивнул и снова принялся писать.

— Пойдем! — прошипел над ухом Квадрига.

— Ничего не понимаю,— громко, на весь вестибюль, произнес Виктор.— Что здесь происходит?

Он не желал, чтобы в вестибюле было тихо. Он не желал ощущать себя здесь посторонним. Не он здесь посторонний, и нечего Зурзмансору сидеть в три часа ночи за конторкой портье. И нечего меня запугивать, я вам не Квадрига... Но Зурзмансор не услышал или не захотел услышать. Тогда Виктор демонстративно пожал плечами, повернулся и направился в ресторан. В дверях он остановился.

В зале тускло светились торшеры, тускло светилась люстра, тускло светились рожки на стенах, и зал был полон. За столиками сидели мокрецы. Они все были одинаковые, только сидели в разных позах. Одни читали, другие спали, а многие, словно окоченев, неподвижно смотрели в пространство. Светлели голые черепа, пахло сыростью и медикаментами. Окна были распахнуты, на полу темнела вода. Не было слышно ни звука, только плеск дождя доносился снаружи.

Потом перед Виктором появился Голем, напряженный, озабоченный, совсем старый.

— Почему вы еще здесь? — спросил он вполголоса.— Уходите, здесь нельзя.

— Что значит — нельзя? — сказал Виктор, снова раздражаясь.— Я хочу выпить.

— Тише,— сказал Голем.— Я думал, вы уже уехали. Я стучал к вам. Куда вы сейчас?

— К себе в номер. Возьму бутылку и пойду к себе в номер.

— Здесь нет спиртного,— сказал Голем.

Виктор молча показал пальцем на бар, где тускло блестели ряды бутылок. Голем оглянулся.

— Нет,— сказал он.— Увы.

— Я хочу выпить! — повторил Виктор упрямым голосом.

Но он не ощущал в себе упрямства. Он хорохорился. Мокрецы смотрели на него. Читавшие опустили книги, окоченевшие повернули черепа, и только спавшие продолжали спать. Десятки блестящих глаз, словно бы повисших в красноватом сумраке, смотрели на него.

— Не ходите в номер,— сказал Голем.— Уходите из гостиницы. К Лоле... Или к доктору на виллу... Только чтобы я знал, где вы находитесь. Я за вами заеду. Слушайте, Виктор, не ерепеньтесь, делайте, как я говорю. Рассказывать сейчас некогда и непристойно. Жалко, Дианы нет, она бы подтвердила...

— А где Диана?

Голем опять оглянулся и посмотрел на часы.

— В четыре часа... или в пять... она будет на автостанции у Солнечных ворот.

— А где она сейчас?

— Сейчас она занята.

— Так,— сказал Виктор и тоже посмотрел на часы.— В четыре или в пять у Солнечных ворот.— Ему очень хотелось уйти. Невыносимо было стоять вот так, в фокусе внимания этого тихого сборища.

— Может быть, в шесть,— сказал Голем.

— У Солнечных ворот...— повторил Виктор.— Это там, где вилла нашего доктора.

— Вот-вот,— сказал Голем.— Отправляйтесь на виллу и там ждите.

— По-моему, вы просто хотите меня выпроводить,— сказал Виктор.

— Да,— сказал Голем. Он вдруг с интересом уставился Виктору в лицо.— Виктуар, неужели вам совсем-совсем не хочется отсюда убраться?

— Мне хочется спать,— небрежно сказал Виктор.— Я две ночи не спал.— Он взял Голема за пуговицу и вывел его в вестибюль.— Ладно, я уйду,— сказал он.— Но что это за пандемониум? У вас здесь съезд?

— Да,— сказал Голем.

— Или вы подняли восстание?

— Да,— сказал Голем.

— А может быть, война началась?

— Да,— сказал Голем.— Да, да, да. Убирайтесь отсюда.

— Ладно,— сказал Виктор. Он повернулся, чтобы идти, но остановился.— А Диана? — спросил он.

— Ей ничто не грозит,— сказал Голем.— И мне тоже. Никому из нас ничто не грозит. Во всяком случае, до шести. Может быть, до семи.

— Вы мне отвечаете за Диану,— сказал Виктор тихо.

Голем вынул носовой платок и вытер шею.

— Я отвечаю за все,— сказал он.

— Да? Я бы предпочел, чтобы вы отвечали только за Диану.

— Вы мне надоели,— сказал Голем.— Ох, как вы мне надоели, прекрасный утенок. Диана с детьми. Диане ничего не грозит. И уходите. Мне надо работать.

Виктор повернулся и пошел к лестнице. Зурзмансора за конторкой не было, только тлела лампочка над толстой клеенчатой тетрадью.

— Банев,— позвал Р. Квадрига из какого-то темного угла.— Куда ты? Пойдем!

— Не могу же я тащиться под дождем в шлепанцах! — сердито отозвался Виктор, не оборачиваясь. Выперли, думал он. Из гостиницы они нас выперли. А может быть, из ратуши они нас тоже выперли. И может быть, из города... А дальше что? У себя в номере он быстро переоделся и натянул плащ. Квадрига неотступно путался под ногами.

— Так и пойдешь в халате? — спросил Виктор.

— Он теплый,— сказал Квадрига.— А дома еще один есть.

— Болван, иди оденься.

— Не пойду,— твердо сказал Квадрига.

— Пойдем вместе,— предложил Виктор.

— Нет. И вместе не надо. Да ты не бойся, я так... Я привык...

Квадрига был как пудель, рвущийся гулять. Он подпрыгивал, заглядывал в глаза, громко дышал, тянул за одежду, подбегал к двери и возвращался. Убеждать его было бесполезно. Виктор сунул ему свой старый плащ и задумался. Он вынул из стола документы и деньги, рассовал их по карманам, закрыл окно и погасил свет. Затем он отдался на волю Квадриги.

Доктор гонорис кауза, нагнув голову, стремительно

протащил его через коридор, по служебной лестнице, мимо темной холодной кухни, выпихнул его в дверь под проливной дождь в кромешную тьму и выскочил следом.

— Слава богу, выбрались! — сказал он.— Бежим!

Но бегать он не умел. Его одолевала одышка, да и темно было так, что идти приходилось почти на ощупь, держась за стены. Разве только общее направление можно было угадать по уличным фонарям, горевшим вполнакала, да кое-где просачивался сквозь щели в занавесках красноватый свет. Дождь лупил без передышки, но улицы не были совершенно безлюдны. Где-то переговаривались вполголоса, мяукал грудной младенец, пару раз проехали тяжелые грузовики, какая-то телега прогремела железными ободьями по асфальту. «Все бегут,— бормотал Квадрига.— Все удирают. Одни мы тащимся...» Виктор молчал. Под ногами хлюпало, туфли промокли, по лицу ползла тепловатая вода, Квадрига цеплялся, как клещ, все это было глупо, бездарно, тащиться предстояло через весь город, и конца этому не было видно. Он налетел на водосточную трубу, что-то хрустнуло, Квадрига оторвался и сейчас же плачуще заорал на весь город: «Банев! Где ты?» Пока они шарили в мокрой темноте, ища друг друга, над головами хлопнуло окошко, и придушенный голос осведомился: «Ну, что слышно?» «Темно, так и не так...» — ответил Виктор. «Точно! — с энтузиазмом подхватил голос.— И воды нет... Хорошо, мы корыто успели набрать». «А что будет?» — спросил Виктор, придерживая Квадригу, рвущегося вперед. После некоторого молчания голос произнес: «Эвакуацию объявят, не иначе... Эх, жизнь!» И окошко захлопнулось. Потащились дальше. Квадрига, держась за Виктора обеими руками, принялся сбивчиво рассказывать, как он проснулся от ужаса, спустился вниз и увидел там этот шабаш... Налетели впотьмах на грузовик, ощупью обогнули его и налетели на человека с каким-то грузом. Квадрига опять заорал. «В чем дело?» — свирепо спросил Виктор. «Дерется,— обиженно сообщил Квадрига.— Прямо по печени. Ящиком». На тротуарах оказывались наперекосяк поставленные автомобили, холодильники, буфеты, целые заросли растений в горшках. Квадригу занесло в раскрытый зеркальный шкаф, потом он запутался в велосипеде. Виктор медленно стервенел. На каком-то углу их остановили, осветив фонариком. Блеснули мокрые солдатские каски, грубый голос с южным выговором объявил: «Военный патруль. Предъявите документы». У Квадриги

документов, естественно, не было, и он немедленно стал кричать, что он доктор, что он лауреат, что он лично знаком... Грубый голос презрительно сказал: «Шпаки. Пропустить». Пересекли городскую площадь. Перед полицейским управлением сгрудились автомобили с зажженными фарами. Бессмысленно метались золоторубашечники, сверкая медью своих пожарных шлемов, раздавались зычные неразборчивые команды. Видно было, что центр паники здесь. Отсветы фар еще некоторое время озаряли дорогу, затем снова стало темно.

Квадрига больше не бормотал, а только пыхтел и постанывал. Несколько раз он падал, увлекая за собой Виктора. Они извозились, как свиньи. Виктор вконец отупел и больше не ругался, пелена покорной апатии обволокла мозг, надо было идти, идти, сегодня идти и завтра идти, отпихивать невидимых встречных, снова и снова поднимать Квадригу за ворот разбухшего халата, нельзя было только останавливаться и ни в коем случае нельзя было идти назад. Что-то вспоминалось ему, что-то давно бывшее, позорное, горькое, неправдоподобное, только тогда было зарево и людская каша на улицах, и вдали грохотало и бухало, позади был ужас, а вокруг были опустевшие дома с окнами, заклеенными крест-накрест, и в лицо летел пепел, и вонь горелой бумаги, а на крыльцо красивого особняка с огромным национальным флагом вышел высокий полковник в роскошной лейб-гусарской форме, снял фуражку и застрелился, а мы, ободранные, окровавленные, преданные и проданные, тоже в гусарской форме, но уже не гусары, а почти дезертиры, засвистели, заржали, заулюлюкали, а кто-то запустил в труп полковника обломком своей сабли...

— А ну, стой! — шепотом сказали из темноты и уперлись в грудь чем-то очень знакомым. Виктор машинально поднял руки.

— Как вы смеете! — взвизгнул Р. Квадрига у него за спиной.

— А ну, тихо,— сказал голос.

— Караул! — заорал Квадрига.

— Тише, дурак,— сказал ему Виктор.— Сдаюсь, сдаюсь,— сказал он в темноту, откуда упирались в грудь стволом автомата и тяжело дышали.

— Стрелять буду! — испуганно предупредил голос.

— Не надо,— сказал Виктор.— Мы же сдаемся.— В горле у него пересохло.

— А ну, раздевайся! — скомандовал голос.

— То есть как?

— Ботинки снимай, плащ снимай, штаны...

— Зачем?

— Быстро, быстро! — прошипел голос.

Виктор присмотрелся, опустил руки, шагнул в сторону и, ухватившись за автомат, задрал ствол вверх. Грабитель пискнул, рванулся, но почему-то не выстрелил. Оба натужно кряхтели, выворачивая друг у друга оружие. «Банев! Где ты?» — в отчаянии вопил Квадрига. На ощупь и по запаху человек с автоматом был солдат. Некоторое время он еще рыпался, но Виктор был гораздо сильнее.

— Всё,— сказал Виктор сквозь зубы.— Всё... Не дергайся, а то по морде получишь.

— А вы пустите! — прошипел солдат, слабо сопротивляясь.

— Тебе зачем мои штаны? Ты кто такой?

Солдат только пыхтел. «Виктор! — вопил Квадрига уже где-то вдалеке.— Ааа!» Из-за угла вывернула машина, осветила на секунду фарами знакомое веснушчатое лицо, круглые от страха глаза под каской и умчалась.

— Э, а ведь я тебя знаю,— сказал Виктор.— Ты что же это людей грабишь? Отдай автомат.

Солдат, цепляясь каской, покорно вылез из ремня.

— Так зачем тебе мои штаны? — спросил Виктор.— Дезертируешь?

Солдат сопел. Симпатичный такой солдатик, веснушчатый.

— Ну, чего молчишь?

Солдатик заплакал — тоненько, с подвыванием.

— Все равно мне теперь...— забормотал он.— Все равно расстрел. С поста я ушел. Убежал я с поста, пост бросил, куда мне теперь деваться... Отпустили бы меня, сударь, а? Я же не со зла, не злодей ведь я какой-нибудь, не выдавайте, а?

Он хлюпал и сморкался и в темноте, вероятно, утирал сопли рукавом шинели — жалкий, как все дезертиры, напуганный, как все дезертиры, готовый на все.

— Ладно,— сказал Виктор.— Пойдешь с нами. Не выдадим. Одежда найдется. Пошли, только не отставай.

Он пошел вперед, а солдатик потащился за ним, все еще всхлипывая.

По собачьему вою нашли Квадригу. Теперь у Виктора на шее висел автомат, за левую его руку судорожно цеплялся всхлипывающий солдатик, за правую — тихо завы-

вающий Квадрига. Бред какой-то. Можно, конечно, вернуть разряженный автомат этому мальчишке и дать сопляку пинка. Нет, жалко. Сопляка жалко, и автомат, возможно, еще пригодится... Мы тут посоветовались с народом, и есть мнение, что разоружаться преждевременно. Автомат еще может понадобиться в грядущих боях...

— Перестаньте ныть, вы оба,— сказал Виктор.— Патрули сбегутся.

Они притихли, а через пять минут, когда впереди забрезжили тусклые огни автостанции, Квадрига потянул Виктора вправо, радостно бормоча: «Пришли, слава тебе, господи...»

Ключ от калитки Квадрига, конечно, забыл в гостинице, в брюках. Чертыхаясь, перелезли через ограду; чертыхаясь, путались некоторое время в мокрой сирени; чуть не упали в фонтан; добрались, наконец, до подъезда, вышибли дверь и ввалились в холл. Щелкнул выключатель, и холл озарился багровым полусветом. Виктор повалился в ближайшее кресло. Пока Квадрига бегал по дому в поисках полотенец и сухой одежды, солдатик живо разделся до белья, смотал обмундирование в узел и засунул его под диван. После этого он несколько успокоился и перестал всхлипывать. Потом вернулся Квадрига, и они долго и ожесточенно растирались полотенцами и переодевались.

В холле царил хаос. Все было перевернуто, разбросано, заслякощено. Книги валялись вперемежку с пыльным тряпьем и свернутыми холстами. Под ногами хрустело стекло, валялись сморщенные тюбики из-под красок, телевизор смотрел пустым прямоугольником экрана, а стол был заставлен грязной посудой с тухлыми объедками. В общем, только что не было навалено в углах, а может быть, и было навалено — в темноте не разберешь. Запах в доме стоял такой, что Виктор не вытерпел и распахнул окно.

Квадрига принялся хозяйничать. Сначала он взялся за край стола, наклонил его и с дребезгом ссыпал все на пол. Затем он вытер стол мокрым халатом, сбегал куда-то, принес три хрустальных бокала антикварной красоты и две квадратные бутылки. Подсигивая от нетерпения, он вытащил пробки и наполнил бокалы.

— Будем здоровы...— неразборчиво пробормотал он, схватил свой бокал и жадно приник к нему, заранее закатывая глаза от наслаждения.

Виктор, снисходительно усмехаясь, смотрел на него, разминая волглую сигарету. На лице Квадриги изобразилось вдруг неописуемое изумление пополам с обидой.

— И здесь тоже...— проговорил он с отвращением.

— Что такое? — спросил Виктор.

— Вода,— робко подал голос солдатик.— Как есть вода. Холодная.

Виктор отхлебнул из своего бокала. Да, это была вода, чистая, холодная, возможно, даже дистиллированная.

— Ты чем нас поишь, Квадрига? — спросил он.

Квадрига, не говоря ни слова, схватил вторую бутылку и сделал глоток. Лицо его исказилось. Он сплюнул и сказал: «Боже мой!», пригнулся и на цыпочках вышел из комнаты. Солдатик опять всхлипнул. Виктор посмотрел на бутылочные этикетки: ром, виски. Он снова отхлебнул из бокала: вода. Запахло обыкновенной чертовщиной, сами собой скрипнули где-то половицы, кожа на спине съежилась под пристальным взглядом чьих-то глаз. Солдатик ушел с головой в воротник огромного Квадригиного свитера и засунул руки глубоко в карманы. Глаза у него были круглые, он, не отрываясь, смотрел на Виктора. Виктор спросил хрипло:

— Ну, чего уставился?

— А вы чего? — шепотом спросил солдатик.

— Я-то ничего, а ты вот что таращишься?

— Так, а чего вы... Страшно как-то... Не надо так...

Спокойствие, сказал себе Виктор. Ничего страшного. Это же суперы. Суперы еще и не то могут. Они, брат, все могут. Воду в вино, а вино в воду. Сидят себе в ресторане и превращают. Основу подрывают, краеугольный камень. Трезвенники, мать их...

— Струсил? — сказал он солдатику.— Зас...ц ты.

— Так страшно! — сказал солдатик, оживившись.— Вам-то что, а я там натерпелся... Стоишь на посту ночью, а он вылетит из зоны, глянет на тебя сверху и дальше... Капрал у нас один даже запачкался... Капитан все говорил: привыкнете, мол, служба, мол, присяга, мол... Ни фига невозможно привыкнуть. Давеча вон один прилетел, сел на крышу караулки и смотрит, и смотрит... а глаза-то ведь не человечьи, красные, светятся, и серой от него ну прямо так и несет...— Солдатик вынул руки из рукавов и перекрестился.

Из недр виллы вновь появился Квадрига, все так же пригнувшись и на цыпочках.

— Одна вода,— сказал он.— Виктор, давай удирать. Машина стоит в гараже заправленная, сядем и — эх! А?

— Не паникуй,— сказал Виктор.— Удрать всегда успеем... А впрочем, как хочешь. Я сейчас не поеду, а ты валяй. И парнишку прихватишь.

— Нет,— сказал Квадрига.— Без тебя я не поеду.

— А тогда перестань трястись и принеси чего-нибудь пожрать,— приказал Виктор.— Хлеб у тебя в камень еще не превратился?

Хлеб в камень не превратился. Консервы тоже остались консервами, и неплохими консервами. Они ели, а солдатик рассказывал, какого страха он натерпелся за последние два дня, про летающих мокрецов, про нашествие дождевых червей, про ребятишек, которые за два дня стали взрослыми, про друга своего, рядового Крупмана, парнишечку девятнадцати лет, который со страху сделал себе самострел... и еще как обед в караулку принесли, поставили разогревать, два часа обед на плите стоял, так и не разогрелся, холодным скушали... А нынче заступил я на пост, в восемь часов вечера, дождь кромешный с градом, над зоной — неположенные огни, музыка раздается нечеловеческая, и какой-то голос все говорит и говорит, говорит и говорит, а что говорит — не понять ни слова. А потом из степи крутящиеся вышли столбы и — в зону. И только они в зону зашли, как отворяются ворота и вылетает из зоны господин капитан на своей машине. Я и на караул взять не успел, вижу только, что господин капитан — на заднем сидении, без фуражки, без плаща — лупит шофера в шею и орет: «Давай, сукин сын! — орет.— Давай!» — Оторвалось у меня что-то внутри, и словно мне кто сказал: беги, говорит, рви когти, а то костей не соберешь. Ну, я и рванул. Да не по дороге, а напрямик, через степь, через овраги, чуть в болоте не завяз, накидку где-то там оставил, новую, вчера выдали, но к городу вышел, а в городе — патрули. Раз я от них еле ушел, второй раз от них еле ушел, добрался досюда вот, до автостанции, смотрю — народ бежит, гражданских так пускают, а нашего брата — шиш, пропуск требуют. Ну, я и решился.

Рассказав свою историю, солдатик свернулся в кресле и тут же заснул. Мучительно трезвый Квадрига снова принялся твердить, что надо удирать — и немедленно. «Вот же человек,— твердил он, тыча вилкой в сторону заснувшего воина.— Понимает же человек... А ты — дубина, Банев, непроницаемая дубина. Как ты не чувствуешь, я просто физически ощущаю, как на меня с севера давит... Ты поверь мне... я знаю, ты мне не веришь,

но сейчас поверь, я ведь давно вам говорю: нельзя здесь оставаться... Голем тебе голову заморочил, пьяница носатая... Ты пойми, сейчас дорога свободна, все ждут рассвета, а потом все мосты забьют, как в сороковом... Дубина ты упрямая, Банев, и всегда был такой, и в гимназии ты такой был...» Виктор велел ему спать или убираться к черту. Квадрига надулся, доел консервы и забрался на диван, закутавшись в мохеровое одеяло. Некоторое время он ворочался, кряхтел, бормотал апокалиптические предупреждения, потом затих. Было четыре часа.

В 4. 10 свет мигнул и погас совсем. Виктор вытянулся в кресле, укрылся каким-то сухим тряпьем и лежал тихо, глядя в темное окно и прислушиваясь. Постанывал солдатик во сне, всхрапывал намаявшийся доктор гонорис кауза. Где-то — наверное, на автостанции — взревывали двигатели, неразборчиво кричали голоса. Виктор попытался разобраться в происходящем и пришел к выводу, что мокрецы рассорились-таки с генералом Пфердом, выперли его из лепрозория, перенесли свою резиденцию в город и воображают, что раз они умеют превращать вино в воду и наводить на людей ужас, то смогут продержаться и против современной армии... да что там — против современной полиции. Идиоты. Разрушат город, сами погибнут, людей оставят без крова. И дети... Детей же загубят, сволочи! А зачем? Что им надо? Неужели опять драка за власть? Эх вы, а еще суперы. Тоже мне — умные, талантливые... та же дрянь, что и мы. Еще один новый порядок, а чем порядок новее, тем хуже,— это уж известно. Ирма... Диана... Он встрепенулся, нащупал в темноте телефон, снял трубку. Телефон молчал. Опять они что-то не поделили, а мы, которым не надо ни тех, ни других, а надо, чтобы нас оставили в покое, мы опять должны срываться с места, топтать друг друга, бежать, спасаться, или того хуже — выбирать свою сторону, ничего не понимая, ничего не зная, веря на слово, и даже не на слово, а черт знает на что... стрелять друг в друга, грызть друг друга.

Привычные мысли в привычном русле. Тысячу раз я уже так думал. Приучены-с. Сызмальства приучены-с. Либо ура-ура, либо пошли вы все к черту, никому не верю. Думать не умеете, господин Банев, вот что. А потому упрощаете. Какое бы сложное социальное движение ни встретилось вам на пути, вы прежде всего стремитесь его упростить. Либо верой, либо неверием. И если уж

верите, то аж до обомления, до преданнейшего щенячьего визга. А если не верите, то со сладострастием харкаете растравленной желчью на все идеалы — и на ложные, и на истинные. Перри Мэйсон говаривал: улики сами по себе не страшны, страшна неправильная интерпретация. То же и с политикой. Жулье интерпретирует так, как ему выгодно, а мы, простаки, подхватываем готовую интерпретацию. Потому что не умеем, не можем и не хотим подумать сами. А когда простак Банев, никогда в жизни ничего, кроме политического жулья, не видевший, начинает интерпретировать сам, то опять же садится в лужу, потому что неграмотен, думать по-настоящему не обучен и потому, естественно, ни в какой иной терминологии, кроме как в жульнической, интерпретировать не способен. Новый мир, старый мир... и сразу же ассоциации: нойе орднунг, альте орднунг... Ну, ладно, но ведь простак Банев существует не первый день, кое-что повидал, кое-чему научился. Не полный же он маразматик. Есть ведь Диана, Зурзмансор, Голем. Почему я должен верить фашисту Павору, или этому сопливому деревенскому недорослю, или трезвому Квадриге? Почему обязательно кровь, гной, грязь? Мокрецы выступили против Пферда? Прекрасно! Гнать его в шею. Давно пора... И детей они не дадут в обиду, непохоже это на них... и не рвут они на себе жилеток, не взывают к национальному самосознанию, не развязывают дремучих инстинктов... То, что наиболее естественно, то наименее приличествует человеку,— правильно, Бол-Кунац, молодец... И вполне может быть, что это новый мир без нового порядка. Страшно? Неуютно? Но так и должно быть. Будущее создается тобой, но не для тебя. Ишь, как я взвился, когда меня покрыло пятнами будущего! Как запросился назад, к миногам, к водке... Вспоминать противно, а ведь так и должно было быть. Да, ненавижу старый мир. Глупость его ненавижу, невежество, фашизм. А что я без этого всего? Это хлеб мой и вода моя. Очистите вокруг меня мир, сделайте его таким, каким я хочу его видеть, и мне конец. Восхвалять я не умею, ненавижу восхваления, а ругать будет нечего, ненавидеть будет нечего — тоска, смерть... Новый мир — строгий, справедливый, умный, стерильно-чистый — я ему не нужен, я в нем — нуль. Я был ему нужен, когда я боролся за него... а раз я ему не нужен, то и он мне не нужен, но если он мне не нужен, то зачем я за него дерусь?.. Эх, добрые старые времена, когда можно было отдать свою жизнь за построение нового мира, а умереть в старом. Акселерация, везде акселе-

рация... Но нельзя же бороться против, не борясь за! Ну что же, значит, когда ты рубишь лес, больше всего достается тому самому суку, на котором ты сидишь...

...Где-то в огромном пустом мире плакала девочка, жалобно повторяла: не хочу, не хочу, несправедливо, жестоко, мало ли что будет лучше, тогда пускай не будет лучше, пускай они останутся, пускай они будут, неужели нельзя сделать так, чтобы они остались с нами, как глупо, как бессмысленно... Это же Ирма, подумал Виктор. «Ирма!» — крикнул он и проснулся.

Храпел Квадрига. Дождь за окном прекратился, и стало как будто светлее. Виктор поднес к глазам часы. Светящиеся стрелки показывали без четверти пять. Тянуло промозглым холодом, надо было встать и закрыть окно, но он угрелся, шевелиться не хотелось, и веки сами собой наползали на глаза. Не то во сне, не то наяву, где-то рядом проходили машины, одна за другой проходили машины, тащились по грязной разбитой дороге машины, через бесконечное грязное поле, под серым грязным небом, мимо покосившихся телеграфных столбов с оборванными проводами, мимо раздавленной пушки с задранным стволом, мимо обгорелой печной трубы, на которой сидели сытые вороны, и промозглая сырость проникала под брезент, под шинель, и страшно хотелось спать, но спать было нельзя, потому что должна была проехать Диана, а калитка заперта, в окнах темно, она подумала, что меня здесь нет, и поехала дальше, а он выскочил из окна и изо всех сил погнался за машиной, и кричал так, что лопались жилы, но тут как раз рядом шли танки, грохотали и гремели, он не слышал самого себя, и Диана укатила туда, к переправе, где все горело, где ее убьют, и он останется один, и тут возник свирепый пронзительный визг бомбы, прямо в темя, прямо в мозг... Виктор бросился в кювет и вывалился из кресла.

Визжал Р. Квадрига. Он раскорячился перед раскрытым окном, глядел в небо и визжал, как баба, было светло, но это не был дневной свет: на захламленном полу лежали ровные ясные прямоугольники. Виктор подбежал к окну и выглянул. Это была луна — ледяная, маленькая, ослепительно яркая. В ней было что-то невыносимо страшное, Виктор не сразу понял — что. Небо было по-прежнему затянуто тучами, но в этих тучах кто-то вырезал ровный аккуратный квадрат, и в центре квадрата была луна.

Квадрига уже не визжал. Он зашелся от визга и издавал только слабые скрипучие звуки. Виктор с трудом перевел дыхание и вдруг почувствовал злость. Да что это им здесь — цирк, что ли? За кого они меня принимают?.. Квадрига все скрипел.

— Перестань! — рявкнул Виктор с ненавистью.— Квадратов не видел? Живописец дерьмовый! Холуй!

Он схватил Квадригу за мохеровое одеяло и тряхнул изо всех сил. Квадрига повалился на пол и замер.

— Хорошо,— сказал он вдруг неожиданно ясным и отчетливым голосом.— С меня хватит.

Он поднялся на четвереньки и прямо с четверенек, как спринтер, кинулся вон. Виктор снова посмотрел в окно. В глубине души он надеялся, что ему привиделось, но все оставалось по-прежнему, и он даже разглядел в правом нижнем углу квадрата крошечную звездочку, почти утонувшую в лунном блеске. Прекрасно были видны мокрые кусты сирени, и бездействующий фонтан с аллегорической рыбой из мрамора, и узорчатые ворота, а за воротами — черная лента шоссе. Виктор сел на подоконник и, следя за тем, чтобы не дрожали пальцы, закурил. Мельком он заметил, что солдатика в холле нет,— то ли удрал солдатик, то ли спрятался под диван и помер от страха. Автомат, во всяком случае, лежал на прежнем месте, и Виктор истерически хихикнул, сопоставив эту несчастную железяку с силами, которые проделали квадратный колодец в тучах. Ну и фокусники. Не-ет, если новый мир и погибнет, то старому тоже достанется на орехи... А все-таки хорошо, что под рукой автомат. Глупо, но с ним как-то спокойнее. А подумавши,— и неглупо вовсе. Ведь ясно же — ожидается великий драп, это же в воздухе висит, а когда идет великий драп, всегда лучше держаться в сторонке и иметь при себе оружие.

Во дворе взревел мотор, из-за угла вынесся огромный, бесконечно длинный лимузин Квадриги (личный подарок господина президента за бескорыстную службу преданной кистью), не разбирая дороги, устремился к воротам, вышиб их с треском, вылетел на шоссе, повернул и скрылся из виду.

— Удрал-таки, скотина,— пробормотал Виктор не без зависти. Он слез с подоконника, повесил на плечо автомат, сверху накинул плащ и окликнул солдатика. Солдатик не отозвался. Виктор заглянул под диван, но там был только серый узел с обмундированием. Виктор заку-

рил еще одну сигарету и вышел во двор. В кустах сирени рядом с выбитыми воротами он нашел скамейку странной формы, но очень удобную, а главное — с хорошим видом на шоссе, уселся, положив ногу на ногу, и поплотнее закутался в плащ. Сначала на шоссе было пусто, но потом прошла машина, другая, третья, и он понял, что драп начался.

Город прорвало, как нарыв. Впереди драпали избранные, драпала магистратура и полиция, драпала промышленность и торговля, драпали суд и акциз, финансы и народное просвещение, почта и телеграф, драпали золотые рубашки — все, все, в облаках бензиновой вони, в трескотне выхлопов, встрепанные, агрессивные, злобные и тупые, лихоимцы, стяжатели, слуги народа, отцы города, в вое автомобильных сирен, в истерическом стоне сигналов — рев стоял на шоссе, а гигантский фурункул все выдавливался и выдавливался, и, когда схлынул гной, потекла кровь: собственно народ — на битком набитых грузовиках, в перекошенных автобусах, в навьюченных малолитражках, на мотоциклах, на велосипедах, на повозках, пешком, сгибаясь под тяжестью узлов, толкая ручные тележки, пешком с пустыми руками, угрюмые, молчаливые, потерянные, оставляя позади свои дома, своих клопов, свое нехитрое счастье, налаженную жизнь, свое прошлое и свое будущее. За народом отступала армия. Медленно прополз вездеход с офицерами, бронетранспортер, проехали два грузовика с солдатами и наши лучшие в мире походные кухни, а последним двигался полугусеничный броневик с пулеметами, развернутыми назад.

Светало, побледнела луна, страшный квадрат расплылся, тучи таяли, наступало утро. Виктор подождал минут пятнадцать, никого больше не дождался и вышел за ворота. На асфальте валялись грязные тряпки, чей-то раздавленный чемодан — хороший чемодан, по всему видно — начальство обронило, колесо от телеги, а немного поодаль, на обочине — сама телега со старым продранным диваном и фикусом. На середине шоссе, прямо напротив ворот — одинокая галоша. Вокруг было пусто. Виктор посмотрел в сторону автостанции. Там тоже больше не было ни одной машины, ни одного человека. В садах засвистели птицы, поднималось солнце, которого Виктор не видел уже полмесяца, а город — несколько лет. Но теперь на него здесь некому было смотреть. Снова раздалось жужжание мотора, и из-за поворота

вынырнул автобус. Виктор сошел на обочину. Это были «Братья по разуму» — они проплыли мимо, одинаково повернув к нему равнодушные бессмысленные лица. Вот и все, подумал Виктор. Выпить бы. Где же Диана?

Он медленно пошел обратно в город.

Солнце было справа, оно то пряталось за крышами особняков, то выглядывало в промежутки, то брызгало теплым светом сквозь ветви полусгнивших деревьев. Тучи исчезли, и небо было удивительно чистое. От земли поднимался легкий туман. Было совершенно тихо, и Виктор обратил внимание на странные, едва слышные звуки, доносившиеся словно бы из-под земли,— слабое какое-то потрескивание, шорохи, шелест. Но потом он привык и забыл о них. Удивительное чувство покоя и безопасности охватило его. Он шел как пьяный и почти все время смотрел в небо. На Проспекте президента возле него остановился джип.

— Садитесь,— сказал Голем.

Голем был серый от усталости и какой-то придавленный, а рядом с ним сидела Диана, тоже усталая, но все равно красивая, самая красивая из всех усталых женщин.

— Солнце,— сказал Виктор, улыбаясь ей.— Поглядите, какое солнце.

— Он не поедет,— сказала Диана.— Я вас предупреждала, Голем.

— Почему не поеду? — удивился Виктор.— Поеду. Только зачем торопиться?

Он не удержался и снова посмотрел на небо. Потом посмотрел назад, на пустую улицу. Все было залито солнцем. Где-то в поле тащились беженцы, громыхала отступающая армия, драпало начальство, там были пробки, там висела ругань, орались бессмысленные команды и угрозы, а с севера на город надвигались победители, и здесь была пустая полоса покоя и безопасности, несколько километров пустоты, и в пустоте машина и три человека.

— Голем, это идет новый мир?

— Да,— сказал Голем. Он вглядывался в Виктора из-под опухших век.

— А где же ваши мокрецы? Идут пешком?

— Мокрецов нет,— сказал Голем.

— Как так — нет? — спросил Виктор. Он поглядел на Диану. Диана молча отвернулась.

— Мокрецов нет,— повторил Голем. Голос у него был сдавленный, и Виктору вдруг почудилось, что он вот-вот заплачет.— Можете считать, что их не было. И не будет.

— Прекрасно,— сказал Виктор.— Пойдемте прогуляемся.

— Вы поедете или нет? — вяло спросил Голем.

— Я бы поехал,— сказал Виктор, улыбаясь,— но мне надо зайти в гостиницу, забрать рукописи... и вообще посмотреть... Вы знаете, Голем, мне здесь нравится.

— Я тоже остаюсь,— сказала вдруг Диана и вылезла из машины.— Что мне там делать?

— А что вам здесь делать? — спросил Голем.

— Не знаю,— сказала Диана.— У меня же теперь никого нет, кроме этого человека.

— Ну, хорошо,— сказал Голем.— Он не понимает. Но вы же понимаете...

— Но должен же он посмотреть,— возразила Диана.— Не может же он уехать, не посмотрев...

— Вот именно,— подхватил Виктор.— На кой черт я нужен, если я не посмотрю? Это же моя специальность — смотреть.

— Слушайте, дети,— сказал Голем.— Вы соображаете, на что идете? Виктор, вам же говорили: оставайтесь на своей стороне, если хотите, чтобы от вас была польза. На своей!

— Я всю жизнь на своей стороне,— сказал Виктор.

— Здесь это будет невозможно.

— Посмотрим,— сказал Виктор.

— Господи,— сказал Голем,— как будто мне не хочется остаться! Но нужно же немножко думать головой! Нужно же разбираться, черт побери, что хочется и что должно...— Он словно убеждал самого себя.— Эх, вы... Ну и оставайтесь. Желаю вам приятно провести время.— Он включил скорость.— Где тетрадь, Диана?.. А, вот она. Так я беру ее себе. Вам она не понадобится.

— Да,— сказала Диана.— Он так и хотел.

— Голем,— сказал Виктор.— А вы-то почему бежите? Вы же хотели этот мир.

— Я не бегу,— строго сказал Голем.— Я еду. Оттуда, где я больше не нужен, туда, где я еще нужен. Не в пример вам. Прощайте.

И он уехал. Диана и Виктор взялись за руки и пошли вверх по Проспекту господина президента в пустой город

навстречу наступающим победителям. Они не разговаривали, они полной грудью вдыхали непривычно чистый свежий воздух, жмурились на солнце и ничего не боялись. Город смотрел на них пустыми окнами, он был удивителен, этот город,— покрытый плесенью, скользкий, трухлявый, весь в каких-то злокачественных пятнах, словно изъеденный экземой, словно он много лет гнил на дне моря, и вот, наконец, его вытащили на поверхность на посмешище солнцу, и солнце, насмеявшись вдоволь, принялось его разрушать.

Таяли и испарялись крыши, жесть и черепица дымились ржавым паром и исчезали на глазах. В стенах росли проталины, расползались, открывая обшарпанные обои, облупленные кровати, колченогую мебель и выцветшие фотографии. Мягко подламываясь, истаивали уличные фонари, растворялись в воздухе киоски и рекламные тумбы — все вокруг потрескивало, тихонько шипело, шелестело, делалось пористым, прозрачным, превращалось в сугробы грязи и пропадало. Вдали башня ратуши изменила очертания, сделалась зыбкой и слилась с синевой неба. Некоторое время в небе, отдельно от всего, висели старинные башенные часы, потом исчезли и они...

Пропали мои рукописи, весело подумал Виктор. Вокруг уже не было города — торчал кое-где чахлый кустарник, и остались больные деревья и пятна зеленой травы, только вдалеке, за туманом, еще угадывались какие-то здания, остатки зданий, призраки зданий, а недалеко от бывшей мостовой, на каменном крылечке, которое никуда не вело, сидел Тэдди, вытянув больную ногу и положив рядом с собой костыли.

— Привет, Тэдди,— сказал Виктор.— Остался?

— Ага,— сказал Тэдди.

— Что так?

— Да ну их,— сказал Тэдди.— Набились, как сельди в бочку, некуда ногу вытянуть, я говорю снохе: ну зачем тебе, дура, сервант? А она меня кроет. Плюнул я на них и остался.

— Пойдешь с нами?

— Да нет, идите,— сказал Тэдди.— Я уж посижу. Ходок я теперь никудышный, а мое меня не минует...

Они пошли дальше. Становилось жарко, и Виктор сбросил на землю ненужный плащ, стряхнул с себя ржавые остатки автомата и засмеялся от облегчения. Диана поцеловала его и сказала: «Хорошо!» Он не возражал.

Они шли и шли под синим небом, под горячим солнцем, по земле, которая уже зазеленела молодой травой, и пришли к тому месту, где была гостиница. Гостиница не исчезла вовсе — она стала огромным серым кубом из грубого шершавого бетона, и Виктор подумал, что это памятник, а может быть,— пограничный знак между старым и новым миром. И едва он это подумал, как из-за глыбы бетона беззвучно выскользнул реактивный истребитель со щитком Легиона на фюзеляже, беззвучно промелькнул над головой, все еще бесшумно вошел в разворот где-то возле солнца и исчез, и только тогда налетел адский свистящий рев, ударил в уши, в лицо, в душу, но навстречу уже шел Бол-Кунац, с выгоревшими усиками на загорелом лице, а поодаль шла Ирма, тоже почти взрослая, босая, в простом легком платье, с прутиком в руке. Она посмотрела вслед истребителю, подняла прутик, словно прицеливаясь, и сказала: «Кх-х!»

Диана рассмеялась. Виктор посмотрел на нее и увидел, что это еще одна Диана, совсем новая, какой она никогда прежде не была, он не предполагал даже, что такая Диана возможна — Диана Счастливая. И тогда он погрозил себе пальцем и подумал: все это прекрасно, но вот что, не забыть бы мне вернуться.

КОНЕЦ

Хищные вещи века

О, хищные вещи века!
На душу наложено вето...
Андрей Вознесенский

Есть лишь одна проблема —
одна-единственная в мире —
вернуть людям духовное
содержание, духовные заботы...
А. де Сент-Экзюпери

ГЛАВА ПЕРВАЯ

У таможенника было гладкое округлое лицо, выражающее самые добрые чувства. Он был почтительно приветлив и благожелателен.

— Добро пожаловать,— негромко произнес он.— Как вам нравится наше солнце? — Он взглянул на паспорт в моей руке.— Прекрасное утро, не правда ли?

Я протянул ему паспорт и поставил чемодан на белый барьер. Таможенник бегло перелистал страницы длинными осторожными пальцами. На нем был белый мундир с серебряными пуговицами и серебряными шнурами на плечах. Он отложил паспорт и коснулся кончиком пальца чемодана.

— Забавно,— сказал он.— Чехол еще не высох. Трудно представить себе, что где-то может быть ненастье.

— Да, у нас уже осень,— со вздохом сказал я, открывая чемодан.

Таможенник сочувственно улыбнулся и рассеянно заглянул внутрь.

— Под нашим солнцем невозможно представить себе осень,— сказал он.— Благодарю вас, вполне достаточно... Дождь, мокрые крыши, ветер...

— А если под бельем у меня что-нибудь спрятано? — спросил я. Не люблю разговоров о погоде.

Он от души рассмеялся.

— Пустая формальность,— сказал он.— Традиция.

Если угодно, условный рефлекс всех таможенников.— Он протянул мне лист плотной бумаги.— А вот и еще один условный рефлекс. Прочтите, это довольно необычно. И подпишите, если вас не затруднит.

Я прочел. Это был закон об иммиграции, отпечатанный изящным курсивом на четырех языках. Иммиграция категорически запрещалась. Таможенник смотрел на меня.

— Любопытно, не правда ли? — сказал он.

— Во всяком случае, это интригует,— ответил я, доставая авторучку.— Где нужно расписаться?

— Где и как угодно,— сказал таможенник.— Хоть поперек.

Я расписался под русским текстом поперек строчки «С законом об иммиграции ознакомился (лась)».

— Благодарю вас,— сказал таможенник, пряча бумагу в стол.— Теперь вы знаете практически все наши законы. И в течение всего срока... Сколько вы у нас пробудете?

Я пожал плечами.

— Трудно сказать заранее. Как пойдет работа.

— Скажем, месяц?

— Да, пожалуй. Пусть будет месяц.

— И в течение всего этого месяца...— он наклонился, делая какую-то пометку в паспорте.— В течение всего этого месяца вам не понадобятся больше никакие законы.— Он протянул мне паспорт.— Я уже не говорю о том, что вы можете продлить ваше пребывание у нас на любой разумный срок. А пока пусть будет тридцать дней. Если вам захочется побыть еще, зайдете шестнадцатого мая в полицию, уплатите доллар... У вас ведь есть доллары?

— Да.

— Вот и прекрасно. Причем совсем не обязательно именно доллар. У нас принимают любую валюту. Рубли, фунты, крузейро...

— У меня нет крузейро,— сказал я.— У меня только доллары, рубли и несколько английских фунтов. Это вас устроит?

— Несомненно. Кстати, чтобы не забыть. Внесите, пожалуйста, девяносто долларов семьдесят два цента.

— С удовольствием,— сказал я.— А зачем?

— Так уж принято. В обеспечение минимума потребностей. К нам еще ни разу не приезжал человек, не имеющий каких-нибудь потребностей.

Я отсчитал девяносто один доллар, и он, не садясь, принялся выписывать квитанцию. От неудобной позы шея его налилась малиновой кровью. Я огляделся. Белый барьер тянулся вдоль всего павильона. По ту сторону барьера радушно улыбались, смеялись, что-то доверительно объясняли белые таможенные чиновники. По эту сторону нетерпеливо переминались, щелкали замками чемоданов, возбужденно оглядывались пестрые пассажиры. Всю дорогу они лихорадочно листали рекламные проспекты, шумно строили всевозможные планы, тайно и явно предвкушали сладкие денечки и теперь жаждали поскорее преодолеть белый барьер — томные лондонские клерки и их спортивного вида невесты, бесцеремонные оклахомские фермеры в ярких рубашках навыпуск, широких штанах до колен и сандалиях на босу ногу, туринские рабочие со своими румяными женами и многочисленными детьми, мелкие католические боссы из Испании, финские лесорубы с деликатно притушенными трубочками в зубах, итальянские баскетболистки, иранские студенты, профсоюзные деятели из Замбии... Таможенник вручил мне квитанцию и отсчитал двадцать восемь центов сдачи.

— Вот и все формальности. Надеюсь, я не слишком задержал вас. Желаю вам приятно провести время.

— Спасибо,— сказал я и взял чемодан.

Таможенник смотрел на меня, слегка склонив набок гладкое улыбающееся лицо.

— Через этот турникет, прошу вас. До свидания. Позвольте еще раз пожелать вам всего хорошего.

Я вышел на площадь вслед за итальянской парой с четырьмя детьми и двумя механическими носильщиками.

Солнце стояло высоко над сизыми горами. На площади все было блестящее, яркое и пестрое. Немного слишком яркое и пестрое, как это обычно бывает в курортных городах. Блестящие красные и оранжевые автобусы, возле которых уже толпились туристы. Блестящая глянцевитая зелень скверов с белыми, синими, желтыми, золотыми павильонами, тентами и киосками. Зеркальные плоскости, вертикальные, горизонтальные и наклонные, вспыхивающие ослепительными горячими зайчиками. Гладкие матовые шестиугольники под ногами и колесами — красные, черные, серые, едва заметно пружинящие, заглушающие шаги... Я поставил чемодан и надел темные очки.

Из всех солнечных городов, в которых мне довелось побывать, этот был, наверное, самым солнечным. И совершенно напрасно. Было бы гораздо легче, если бы он оказался пасмурным, если было бы грязно и слякотно, если бы этот павильон был серым, с цементными стенами и на сером мокром цементе было бы нацарапано что-нибудь похабное. Унылое и бессмысленное — от скуки. Тогда бы, наверное, сразу захотелось работать. Обязательно захотелось бы, потому что такие вещи раздражают и требуют деятельности... Все-таки трудно привыкнуть к тому, что нищета может быть богатой... И поэтому нет обычного азарта и не хочется немедленно взяться за дело, а хочется сесть в один из этих автобусов, вот в этот красный с синим, и двинуть на пляж, поплавать с аквалангом, обгореть, покидать мяч с ребятами или отыскать Пека, лечь с ним в прохладной комнате на полу, вспомнить все хорошее, и чтобы он спрашивал меня про Быкова, про Трансплутон, про новые корабли, в которых я сам теперь плохо разбираюсь, но все же лучше, чем он, и чтобы он вспоминал про мятеж и хвастался шрамами и своим высоким общественным положением... Это будет очень удобно, если у Пека высокое общественное положение. Хорошо, если бы он оказался, скажем, мэром...

Ко мне неторопливо приблизился, вытирая губы платочком, смуглый полный человек в белом, в круглой белой шапочке набекрень. Шапочка была с прозрачным зеленым козырьком и с зеленой лентой, на которой было написано: «Добро пожаловать». На мочке правого уха у него блестела серьга-приемник.

— С приездом,— сказал человек.

— Здравствуйте,— сказал я.

— Добро пожаловать. Меня зовут Амад.

— А меня — Иван,— сказал я.— Рад познакомиться.

Мы кивнули друг другу и стали смотреть, как туристы рассаживаются по автобусам. Они весело галдели, и теплый ветерок катил от них по площади окурки и мятые конфетные бумажки. На лицо Амада падала зеленая тень козырька.

— Курортники,— сказал он.— Беззаботные и шумные. Сейчас их развезут по отелям, и они немедленно кинутся на пляж.

— С удовольствием прокатился бы на водных лыжах,— заметил я.

— В самом деле? Вот никогда бы не подумал. Вы меньше всего похожи на курортника.

— Так и должно быть,— сказал я.— Я приехал поработать.

— Поработать? Ну что же, к нам приезжают и для этого. Два года назад к нам приезжал Джонатан Крайс, писал здесь картину.— Он засмеялся.— Потом в Риме его поколотил какой-то папский нунций, не помню фамилии.

— Из-за этой картины?

— Нет, вряд ли. Ничего он здесь не написал. Здесь он дневал и ночевал в казино... Пойдемте выпьем что-нибудь.

— Пойдемте,— сказал я.— Вы мне что-нибудь посоветуете.

— Советовать — моя приятная обязанность,— сказал Амад.

Мы одновременно наклонились и оба взялись за ручку чемодана.

— Не стоит, я сам...

— Нет,— возразил Амад.— Вы гость, а я хозяин... Пойдемте вон в тот бар. Там сейчас пусто.

Мы вошли под голубой тент. Амад усадил меня за столик, поставил чемодан на пустой стул и отправился к стойке. Здесь было прохладно, щелкала холодильная установка. Амад вернулся с подносом. На подносе стояли два высоких стакана и плоские тарелочки с золотистыми от масла ломтиками.

— Не очень крепкое,— сказал Амад,— но зато по-настоящему холодное.

— Я тоже не люблю крепкое с утра.

Я взял стакан и отхлебнул. Было вкусно.

— Глоток — ломтик,— посоветовал Амад.— Глоток — ломтик. Вот так.

Ломтики хрустели и таяли на языке. По-моему, они были лишние. Некоторое время мы молчали, глядя из-под тента на площадь. Автобусы с негромким гулом один за другим уходили в садовые аллеи. Они казались громоздкими, но в их громоздкости было какое-то изящество.

— Все-таки там слишком шумно,— сказал Амад.— Отличные коттеджи, много женщин — на любой вкус, море рядом, но никакой приватности. Думаю, вам это не подойдет.

— Да,— согласился я.— Шум будет мешать. И я не

люблю курортников, Амад. Терпеть не могу, когда люди веселятся добросовестно.

Амад кивнул и осторожно положил в рот очередной ломтик. Я смотрел, как он жует. Было что-то профессиональное в сосредоточенном движении его нижней челюсти. Проглотив, он сказал:

— Нет, все-таки синтетика никогда не сравняется с натуральным продуктом. Не та гамма.— Он подвигал губами, тихонько чмокнул и продолжал: — Есть два превосходных отеля в центре города, но, по-моему...

— Да, это тоже не годится,— сказал я.— Отель налагает определенные обязательства. И я не слыхал, чтобы кто-нибудь мог написать в отеле что-либо путное.

— Ну, это не совсем так,— возразил Амад, критически разглядывая оставшийся ломтик.— Я читал одну книжку, и там было написано, что ее сочинили именно в отеле. Отель «Флорида».

— А,— сказал я.— Вы правы. Но ведь ваш город не обстреливают из пушек.

— Из пушек? Конечно, нет. Во всяком случае, не как правило.

— Я так и думал. А между тем замечено, что хорошую вещь можно написать только в обстреливаемом отеле.

Амад все-таки взял ломтик.

— Это трудно устроить,— сказал он.— В наше время трудно достать пушку. Кроме того, это очень дорого: отель может потерять клиентуру.

— Отель «Флорида» тоже потерял в свое время клиентуру. Хемингуэй жил там один.

— Кто?

— Хемингуэй.

— А... Но это же было так давно, еще при фашистах. Времена все-таки переменились, Иван.

— Да,— сказал я.— И в наше время писать в отелях не имеет смысла.

— Бог с ними, с отелями,— сказал Амад.— Я знаю, что вам нужно. Вам нужен пансионат.— Он достал записную книжку.— Называйте условия, попробуем подобрать что-нибудь подходящее.

— Пансионат,—сказал я.— Не знаю. Не думаю, Амад. Вы поймите, я не хочу знакомиться с людьми, с которыми я знакомиться не хочу. Это во-первых. Во-вторых. Кто живет в частных пансионатах? Те же самые курортники, у которых не хватило денег на отдель-

ный коттедж. Они тоже весёлятся добросовестно. Они устраивают пикники, междусобойчики и спевки. Ночью они играют на банджо. Кроме того, они хватают всех, до кого могут дотянуться, и принуждают участвовать в конкурсе на самый долгий поцелуй. И главное — все они приезжие. А меня интересует ваша страна, Амад. Ваш город. Ваши горожане. Я вам скажу, что мне нужно. Мне нужен уютный домик с садом. Умеренное расстояние до центра. Нешумная семья, почтенная хозяйка. Крайне желательна молодая дочка. Представляете, Амад?

Амад взял пустые стаканы, отправился к стойке и вернулся с полными. Теперь в стаканах была бесцветная жидкость, а на тарелочках — микроскопические многоэтажные бутерброды.

— Я знаю такой уютный домик,— заявил Амад.— Вдове сорок пять, дочери двадцать, сыну одиннадцать. Допьем и поедем. Я думаю, вам понравится. Плата обычная, хотя, конечно, дороже, чем в пансионате. Вы надолго приехали?

— На месяц.

— Господи! Всего-то?

— Не знаю, как пойдут дела. Может быть, задержусь еще.

— Обязательно задержитесь,— сказал Амад.— Я вижу, вы совсем не представляете, куда приехали. Вы просто не знаете, как у нас тут весело и ни о чем не надо думать.

Мы допили, поднялись и пошли через площадь под горячим солнцем к стоянке автомобилей. Амад шагал быстро, немного вразвалку, надвинув зеленый козырек на глаза и небрежно помахивая чемоданом. Из таможенного павильона сыпалась очередная порция туристов.

— Хотите — честно? — сказал вдруг Амад.

— Хочу,— сказал я. Что я еще мог сказать? Сорок лет прожил на свете, но так и не научился вежливо уклоняться от этого неприятного вопроса.

— Ничего вы здесь не напишете,— сказал Амад.— Трудно у нас что-нибудь написать.

— Написать что-нибудь всегда трудно,— сказал я. А хорошо все-таки, что я не писатель.

— Охотно верю. Но в таком случае у нас это просто невозможно. Для приезжего по крайней мере.

— Вы меня пугаете.

— А вы не бойтесь. Вы просто не захотите здесь работать. Вам не усидеть за машинкой. Вам будет обидно сидеть за машинкой. Вы знаете, что такое радость жизни?

— Как вам сказать...

— Ничего вы не знаете, Иван. Пока вы еще ничего об этом не знаете. Вам предстоит пройти двенадцать кругов рая. Смешно, конечно, но я вам завидую...

Мы остановились у длинной открытой машины. Амад бросил на заднее сиденье чемодан и распахнул передо мной дверцу.

— Прошу,— сказал он.

— А вы, значит, уже прошли? — спросил я, усаживаясь.

Он уселся за руль и включил двигатель.

— Что именно?

— Двенадцать кругов рая.

— Я, Иван, уже давно выбрал себе излюбленный круг,— сказал Амад. Машина бесшумно покатилась по площади.— Остальные для меня давно уже не существуют. К сожалению. Это как старость. Со всеми ее привилегиями и недостатками...

Машина промчалась через парк и понеслась по прямой тенистой улице. Я с интересом посматривал по сторонам, но я ничего не узнавал. Глупо было надеяться узнать что-нибудь. Нас высаживали ночью, лил дождь, семь тысяч измученных курортников стояли на пирсах, глядя на догорающий лайнер. Города мы не видели, вместо города была черная мокрая пустота, мигающая красными вспышками. Там трещало, бухало, раздирающе скрежетало. «Перебьют нас, как кроликов, в темноте»,— сказал Роберт, и я сейчас же погнал его обратно на паром сгружать броневик. Трап подломился, и броневик упал в воду, и, когда Пек вытащил Роберта, синий от холода Роберт подошел ко мне и сказал, лязгая зубами: «Я же вам говорил, что темно...»

Амад вдруг сказал:

— Когда я был мальчишкой, я жил возле порта, и мы ходили сюда бить заводских. У них у многих были кастеты, и мне проломили нос. Полжизни я проходил с кривым носом, пока не починил его в прошлом году... Любил я подраться в молодости. У меня был кусок свинцовой трубы, и один раз я отсидел шесть месяцев, но это не помогло.

Он замолчал, ухмыляясь. Я подождал немного и сказал:

— Хорошую свинцовую трубу теперь не достать. Теперь в моде резиновые дубинки — перекупают у полицейских.

— Точно,— сказал Амад.— Или купит гантели, отпилит один шарик и пользуется. Но ребята пошли уже не те. Теперь за это высылают...

— Да,— сказал я.— А чем вы еще занимались в молодости?

— А вы?

— Я собирался стать межпланетником и тренировался на перегрузки. И еще мы играли в «кто глубже нырнет».

— Мы тоже,— сказал Амад.— На десять метров за автоматами и виски. Там, за пирсами, они лежали ящиками. У меня из носа шла кровь... А когда началась заварушка, мы стали там находить покойников с рельсом на шее и бросили это дело.

— Очень неприятное зрелище — покойник под водой,— сказал я.— Особенно когда течение.

Амад усмехнулся.

— Я видывал и не такое. Мне приходилось работать в полиции.

— Это уже после заварушки?

— Гораздо позже. Когда вышел закон о гангстерах.

— У вас их тоже называли гангстерами?

— А как их еще называть? Не разбойниками же... «Шайка разбойников, вооруженных огнеметами и газовыми бомбами, осадила муниципалитет»,— произнес он с выражением.— Не звучит, чувствуете? Разбойник — это топор, кистень, усы до ушей, тесак...

— Свинцовая труба,— предложил я.

Амад хохотнул.

— Что вы делаете сегодня вечером? — спросил он.

— Гуляю.

— У вас тут есть знакомые?

— Есть. А что?

— Тогда другое дело.

— Почему?

— Хотел я вам кое-что предложить, но раз у вас есть знакомые...

— Между прочим,— сказал я,— кто у вас мэром?

— Мэром? Черт его знает, не помню. Выбирали кого-то...

— Не Пек Зенай случайно?

— Не знаю,— сказал Амад с сожалением.— Не хочу врать.

— А вы такого вообще не знаете?

— Зенай... Пек Зенай... Нет, не знаю. Не слыхал. Он что, ваш приятель?

— Да. Старый приятель. У меня здесь есть еще друзья, но они все приезжие.

— Одним словом, так,— сказал Амад.— Если вам станет скучно и в голову полезут всякие мысли, приходите ко мне. Каждый божий вечер с семи часов я сижу в «Лакомке»... Любите вкусно поесть?

— Еще бы,— сказал я.

— Желудок в порядке?

— Как у страуса.

— Вот и приходите. Будет весело, и ни о чем не надо будет думать.

Амад притормозил и осторожно свернул к решетчатым воротам, которые бесшумно распахнулись перед нами. Машина вкатилась во двор.

— Приехали,— объявил Амад.— Вот ваш дом.

Дом был двухэтажный, белый с голубым. Окна изнутри были закрыты шторами. Чистенький дворик, выложенный разноцветными плитами, был пуст, вокруг был плодовый сад, ветви яблонь царапали стены.

— А где вдова? — спросил я.

— Пойдемте в дом,— сказал Амад.

Он поднялся на крыльцо, листая записную книжку. Я, озираясь, шел следом. Садик мне нравился. Амад нашел нужную страницу, набрал комбинацию цифр на маленьком диске возле звонка, и дверь отворилась. Из дома пахнуло прохладным свежим воздухом. Там было темно, но, едва мы ступили в холл, вспыхнул свет. Амад сказал, пряча записную книжку:

— Направо — хозяйская половина, налево — ваша. Прошу... Здесь гостиная. Это бар, сейчас мы выпьем. Прошу дальше... Это ваш кабинет. У вас есть фонор?

— Нет.

— И не надо. Здесь все есть... Пройдемте сюда. Это спальня. Вот пультик акустической защиты. Умеете пользоваться?

— Разберусь.

— Хорошо. Защита трехслойная, можете устраивать себе здесь могилу или бордель, что вам понравится... Тут управление кондиционированием. Сделано, между

прочим, неудобно: управлять можно только из спальни.

— Перебьюсь,— сказал я.

— Что? Ну да... Там ванная и туалет.

— Меня интересует вдова,— сказал я.— И дочка.

— Успеете. Поднять шторы?

— Зачем?

— Правильно, незачем... Пойдемте выпьем.

Мы вернулись в гостиную, и Амад по пояс погрузился в бар.

— Вам покрепче? — спросил он.

— Наоборот.

— Яичницу? Сэндвичи?

— Пожалуй, ничего.

— Нет,— сказал Амад.— Яичницу. С томатами.— Он рылся в баре.— Не знаю, в чем тут дело, но этот автомат готовит совершенно изумительные яичницы с томатами... Кстати, и я тоже перекушу.

Он вытянул из бара поднос и поставил на низенький столик перед полукруглой тахтой. Мы уселись.

— А как насчет вдовы? — напомнил я.— Мне бы хотелось представиться.

— Комнаты вам нравятся?

— Ничего.

— Ну и вдова тоже вполне ничего. И дочка, между прочим.— Он достал из бокового кармана плоский кожаный футляр. В футляре, как патроны в обойме, рядком лежали ампулы с разноцветными жидкостями. Амад покопался в них указательным пальцем, сосредоточенно понюхал яичницу, поколебался, потом выбрал ампулу с чем-то зеленым и, осторожно надломив, покапал на томаты. В гостиной запахло. Запах не был неприятным, но на мой вкус не имел отношения к еде.— Но сейчас они еще спят,— продолжал Амад. Взгляд его стал рассеянным.— Спят и видят сны...

Я посмотрел на часы.

— Однако!

Амад кушал.

— Половина одиннадцатого,— сказал я.

Амад кушал. Шапочка его была сдвинута на затылок, и зеленый козырек торчал вертикально, как гребень у раздраженного мимикродона. Глаза его были полузакрыты. Я смотрел на него.

Проглотив последний ломтик помидора, он отломил корочку белого хлеба и тщательно подчистил сковородку. Взгляд его прояснился.

— Что вы там такое говорили? — спросил он.— Половина одиннадцатого? Завтра вы тоже встанете в половине одиннадцатого. А может быть, и в двенадцать. Я, например, встану в двенадцать.

Он поднялся и с удовольствием потянулся, хрустя суставами.

— Фу,— сказал он,— можно, наконец, ехать домой. Вот вам моя карточка, Иван. Поставьте ее на письменный стол и не выбрасывайте до самого отъезда...— Он подошел к плоскому ящику возле бара и сунул в щель другую карточку. Раздался звонкий щелчок.— А вот это,— сказал он, разглядывая карточку на просвет,— передайте вдове с моими наилучшими пожеланиями.

— И что будет? — спросил я.

— Будут деньги. Надеюсь, вы не любитель торговаться, Иван? Вдова назовет вам цифру, и вам не следует торговаться. Это не принято.

— Постараюсь не торговаться,— сказал я.— Хотя интересно было бы попробовать.

Амад поднял брови.

— Ну, если вам так уж хочется, то отчего же не попробовать? Всегда делайте только то, что вам хочется, и у вас будет отличное пищеварение. Сейчас я принесу ваш чемодан.

— Мне нужны проспекты,— сказал я.— Мне нужны путеводители. Я писатель, Амад. Мне понадобятся брошюры об экономическом положении масс, статистические справочники. Где все это можно достать? И когда?

— Путеводитель я вам дам,— сказал Амад.— В путеводителе есть статистика, адреса, телефоны и все такое. А что касается масс, то у нас такой ерунды, по-моему, не издают. Можно, конечно, послать заказ в ЮНЕСКО, только зачем это вам? Сами все увидите... Подождите, я сейчас принесу чемодан и путеводитель.

Он вышел и быстро вернулся с чемоданом в одной руке и с толстеньким голубым томиком в другой. Я встал.

— Судя по вашему лицу,— произнес он, улыбаясь,— вы раздумываете, прилично давать мне чаевые или нет.

— Признаться, да,— сказал я.

— Ну и как? Хочется вам это сделать или нет?

— Признаться, нет,— сказал я.

— У вас здоровая, крепкая натура,— одобрительно сказал Амад.— Не давайте. Никому не давайте чаевых. Можете получить по морде, особенно от девушек. Но

зато никогда не торгуйтесь. Тоже можете получить. А вообще все это ерунда. Откуда я знаю, может быть, вы любите получать по морде, как тот самый Джонатан Крайс... Будьте здоровы, Иван. Развлекайтесь. И приходите в «Лакомку». В любой вечер с семи часов. А самое главное — ни о чем не думайте.

Он помахал рукой и вышел. Я сел, взял запотевший стакан со смесью и раскрыл путеводитель.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Путеводитель был отпечатан на меловой бумаге с золотым обрезом. Вперемежку с роскошными фотографиями в нем содержались любопытные сведения. В городе проживало пятьдесят тысяч человек, полторы тысячи кошек, двадцать тысяч голубей и две тысячи собак (в том числе семьсот медалисток). В городе было пятнадцать тысяч легковых автомобилей, пятьсот вертолетов, тысяча такси (с шоферами и без), девятьсот автоматических мусорщиков, четыреста постоянных баров, кафе и закусочных, одиннадцать ресторанов, четыре отеля международного класса и курорт, ежегодно обслуживающий до ста тысяч человек. В городе было шестьдесят тысяч телевизоров, пятьдесят кинотеатров, восемь увеселительных парков, два Салона Хорошего Настроения, шестнадцать салонов красоты, сорок библиотек и сто восемьдесят парикмахерских автоматов. Восемьдесят процентов населения было занято в сфере обслуживания, а остальные работали на двух частных кондитерских синтез-комбинатах и одном государственном судоремонтном заводе. В городе было шесть школ и один университет, помещавшийся в древнем замке крестоносца Ульриха де Казы. В городе функционировало восемь гражданских обществ, в том числе «Общество Усердных Дегустаторов», «Общество Знатоков и Ценителей» и «За Старую Добрую Родину, Против Вредных Влияний». Кроме того, полторы тысячи человек входили в семьсот один кружок, где они пели, играли скетчи, учились расставлять мебель, кормить детей грудью и лечить кошек. По потреблению спиртных напитков, натурального мяса и жидкого кислорода на душу населения город занимал в Европе соответствен-

но шестое, двенадцатое и тринадцатое места. В городе было семь мужских и пять женских клубов, а также спортивные клубы «Быки» и «Носороги». Мэром города был избран (большинством в сорок шесть голосов) некто Флим Гао. Среди членов муниципалитета Пека тоже не оказалось...

Я отложил путеводитель, снял пиджак и приступил к подробному осмотру своих владений. Гостиная мне понравилась. Она была выполнена в голубых тонах, а я люблю этот цвет. Бар оказался набит бутылками и охлажденной снедью, так что я мог хоть сейчас принять дюжину изголодавшихся гостей.

Я прошел в кабинет. В кабинете перед окном стоял большой стол с удобным креслом. Вдоль стен тянулись полки, плотно уставленные собраниями сочинений. Чистые яркие корешки расположены были с большим искусством, так что составляли приятную цветовую гамму. Верхнюю полку занимал пятидесятитомный энциклопедический словарь в издании ЮНЕСКО, а на нижней пестрели детективы в глянцевитых бумажных обложках.

На столе я прежде всего увидел телефон. Я взял трубку и, присев на подлокотник кресла, набрал номер Римайера. В трубке раздались протяжные гудки. Я ждал, вертя в пальцах маленький диктофон, оставленный кем-то на столе. Римайер не отвечал. Я повесил трубку и осмотрел диктофон. Пленка была наполовину использована, и, перемотав ее, я включил прослушивание.

«Привет, привет и еще раз привет! — произнес веселый мужской голос.— Крепко жму руку или целую в щечку в зависимости от твоего пола и возраста. Я прожил здесь два месяца и свидетельствую, что мне было хорошо. Позволь дать несколько советов. Лучшее заведение в городе — это «Хойти-Тойти» в Парке Грез. Лучшая девочка в городе — Бася из Дома Моделей. Лучший мальчик в городе — это я, но он уже уехал. По телевидению смотри девятую программу, остальное все зола. Не связывайся с интелями и держись подальше от «Носорогов». Ничего не бери в кредит — хлопот не оберешься. Вдова — добрая женщина, но любит поговорить и вообще... А Вузи я не застал, она уезжала к бабушке за границу. По-моему, она милашка, у вдовы в альбоме была фотография, но я ее взял себе. И еще. Я приеду сюда в будущем году в марте, так что будь

другом, если решишь вернуться — выбери другое время. Ну, будь...»

Забренчала музыка. Я послушал немного и выключил диктофон. Ни один из томов сочинений мне вытащить не удалось, так плотно они были вбиты и, может быть, даже склеены, а больше в кабинете ничего интересного не оказалось, и я отправился в спальню.

В спальне было особенно прохладно и уютно. Мне всегда хотелось иметь именно такую спальню, но никак не хватало времени этим заняться. Кровать была большая и низкая. На ночном столике стоял очень изящный фонор и маленький переносный пульт управления телевизором. Экран телевизора висел на высокой спинке кровати, в ногах. А над изголовьем вдова навесила картину, очень натурально изображающую свежие полевые цветы в хрустальной вазе. Картина была выполнена светящимися красками, и капли росы на лепестках цветов поблескивали в сумраке спальни.

Я наобум включил телевизор и повалился на кровать. Было мягко и в то же время как-то упруго. Телевизор заорал. Из экрана выскочил нетрезвый мужчина, проломил какие-то перила и упал с высоты в огромный дымящийся чан. Раздался шумный всплеск, из фонора запахло. Мужчина скрылся в бурлящей жидкости, а затем вынырнул, держа в зубах что-то вроде разваренного ботинка. Невидимая аудитория разразилась ржанием... Затемнение. Тихая лирическая музыка. Из зеленого леса на меня пошла белая лошадь, запряженная в бричку. В бричке сидела хорошенькая девушка в купальнике. Я выключил телевизор, поднялся и заглянул в ванную.

В ванной пахло хвоей и мигали бактерицидные лампы. Я разделся, бросил белье в утилизатор и залез под душ. Потом я неторопливо оделся перед зеркалом, причесался и стал бриться. На туалетной полке стояли ряды флаконов, коробки с гигиеническими присосками и стерилизаторами, тюбики с пастами и мазями. А на краю полки лежала горка плоских коробочек с пестрой этикеткой «Девон». Я выключил бритву и взял одну коробочку. В зеркале мигала бактерицидная трубка, и точно так же она мигала тогда, и я точно так же стоял перед зеркалом и старательно разглядывал такую же коробочку, потому что мне не хотелось выходить в спальню, где Рафка Рейзман громко спорил о чем-то с врачом, а в ванне еще колыхалась зеленая масля-

нистая вода, и над нею поднимался пар, и орал приемник, висевший на фарфоровом крючке для полотенец, завывал, гукал и всхрапывал, пока Рафка не выключил его с раздражением... Это было в Вене, и там, точно так же как и здесь, очень странно было видеть в ванной комнате «Девон» — популярный репеллент, великолепно отгоняющий комаров, москитов, мошку и прочих кровососов, о которых давным-давно забыли и в Вене и здесь, в приморском курортном городе... Только в Вене было еще и страшно.

Коробочка, которую я держал в руке, была почти пуста: в ней осталась всего одна таблетка. Остальные коробочки не были распечатаны. Я кончил бриться и вернулся в спальню. Мне захотелось снова позвонить Римайеру, но тут дом ожил. С легким свистом взвились гофрированные шторы, оконные стекла скользнули в пазы, и в спальню хлынул из сада теплый воздух, пахнущий яблоками. Кто-то где-то заговорил, над головой прозвучали легкие шаги и строгий женский голос сказал: «Вузи! Скушай хоть пирожок, слышишь?..» Тогда я быстро сообщил одежде некоторую небрежность (в соответствии с нынешней модой), пригладил виски и вышел в холл, захватив в гостиной карточку Амада.

Вдова оказалась моложавой полной женщиной, несколько томной, со свежим приятным лицом.

— Как мило! — сказала она, увидев меня.— Вы уже встали? Здравствуйте! Меня зовут Вайна Туур, но вы можете звать меня просто Вайна.

— Очень приятно,— произнес я, светски содрогаясь.— Меня зовут Иван.

— Как мило! — сказала тетя Вайна.— Какое оригинальное, мягкое имя! Вы завтракали, Иван?

— С вашего позволения, я намеревался позавтракать в городе,— сказал я и протянул ей карточку.

— Ах,— сказала тетя Вайна, разглядывая ее на просвет.— Этот милый Амад... Если бы вы знали, какой это обязательный и милый человек! Но я вижу, что вы не завтракали... Ленч вы скушаете в городе, а сейчас я угощу вас своими гренками. Генерал-полковник Туур говорил, что нигде в мире нельзя отведать такие гренки.

— С удовольствием,— сказал я, содрогаясь вторично.

Дверь за спиной тети Вайны распахнулась, и в холл, звонко стуча каблучками, влетела очень хорошенькая девушка в короткой синей юбке и открытой белой блуз-

ке. В руке у нее был огрызок пирожка, она жевала и напевала через нос модный мотивчик. Увидев меня, она остановилась, лихо перекинула через плечо сумочку на длинном ремешке и, нагнув голову, сделала глоток.

— Вузи,— сказала тетя Вайна, поджимая губы.— Вузи, это Иван.

— Ничего себе! — воскликнула Вузи.— Привет!

— Вузи! — укоризненно сказала тетя Вайна.

— Вы с женой приехали? — спросила Вузи, протягивая руку.

— Нет,— сказал я. Пальцы у нее были прохладные и мягкие.— Я один.

— Тогда я вам все покажу,— сказала она.— До вечера. Сейчас мне надо бежать. А вечером сходим.

— Вузи! — укоризненно сказала тетя Вайна.

— Обязательно,— сказал я.

Вузи засунула в рот остаток пирожка, чмокнула мать в щеку и помчалась к выходу. У нее были гладкие загорелые ноги, длинные и стройные, и стриженый затылок.

— Ах, Иван,— сказала тетя Вайна, тоже глядя ей вслед,— в наше время так трудно с молодыми девушками! Так рано развиваются, так быстро нас покидают... С тех пор как она поступила в этот салон...

— Она у вас портниха? — осведомился я.

— О нет! Она работает в Салоне Хорошего Настроения, в отделе для престарелых женщин. И вы знаете, ее там ценят. Но в прошлом году она однажды опоздала, и теперь ей приходится быть очень осторожной. Вы сами видите, она не смогла даже с вами прилично поговорить, но вполне возможно, что ее уже ждет клиент... Вы можете не поверить, но у нее уже есть постоянная клиентура... Впрочем, что же мы здесь стоим? Гренки остынут.

Мы вошли на хозяйскую половину. Я изо всех сил старался держаться как подобает, хотя как именно подобает, я представлял себе довольно смутно. Тетя Вайна усадила меня за столик, извинилась и вышла. Я огляделся. Это была точная копия моей гостиной, только стены были не голубые, а розовые, и за верандой было не море, а низкая ограда, отделяющая дворик от улицы. Тетя Вайна вернулась с подносом и поставила передо мной чашку с топлеными сливками и тарелочку с гренками.

— Вы знаете, я тоже позавтракаю,— сказала она.— Мой врач не рекомендует мне завтракать вообще, и уж во всяком случае топлеными сливками, но мы так привыкли... Это любимый завтрак генерал-полковника. И вы знаете, я стараюсь брать только постояльцев-мужчин, этот милый Амад хорошо понимает меня. Он понимает, как это нужно мне — хоть изредка посидеть вот так, как мы сидим сейчас с вами за чашечкой топленых сливок...

— Ваши сливки изумительно хороши,— заметил я довольно искренне.

— Ах, Иван! — Тетя Вайна поставила чашку и слегка всплеснула руками.— Ведь вы сказали это почти так же, как генерал-полковник... И как странно, вы даже похожи на него. Только лицо у него было немного у́же, и он завтракал всегда в мундире...

— Да,— сказал я с сожалением.— Мундира у меня нет.

— Но ведь был когда-то! — сказала она, лукаво грозя мне пальчиком.— Я ведь вижу. Ах, как это бессмысленно! Люди теперь вынуждены стесняться своего военного прошлого. Как это глупо, не правда ли? Но их всегда выдает выправка, совершенно особенная мужественная осанка. Этого не скроешь, Иван.

Я сделал сложный неопределенный жест и, сказавши: «м-да», взял гренок.

— Как все это нелепо, не правда ли? — с живостью продолжала тетя Вайна.— Как можно смешивать такие разнородные понятия — война и армия? Мы все ненавидим войну. Война — это ужасно. Моя мать рассказывала мне, она была тогда девочкой, но все помнит: вдруг приходят солдаты, грубые, чужие, говорят на чужом языке, отрыгиваются, офицеры так бесцеремонны и так некультурны, громко хохочут, обижают горничных, простите, пахнут, и этот бессмысленный комендантский час... Но ведь это война! Она достойна всяческого осуждения! И совсем иное дело — армия. Вы знаете, Иван, вы должны помнить эту картину: войска, выстроенные побатальонно, строгость линий, мужественные лица под касками, оружие блестит, аксельбанты сверкают, а потом командующий на специальной военной машине объезжает фронт, здоровается, и батальоны отвечают послушно и кратко, как один человек!

— Несомненно,— сказал я.— Несомненно, это многих впечатляло.

— Да! И очень многих! У нас всегда говорили, что надо непременно разоружаться, но разве можно уничтожать армию? Это последнее прибежище мужества в наше время повсеместного падения нравов. Это дико, это смешно — государство без армии...

— Смешно,— согласился я.— Вы не поверите, но с самого подписания Пакта я не перестаю улыбаться.

— Да, я понимаю вас,— сказала тетя Вайна.— Нам больше ничего не оставалось делать. Нам оставалось только саркастически улыбаться. Генерал-полковник Туур,— она достала платочек,— он так и умер с саркастической усмешкой на устах...— Она приложила платочек к глазам.— Он говорил нам: «Друзья, я еще надеюсь дожить до того дня, когда все развалится». Надломленный, потерявший смысл существования. Он не вынес пустоты в сердце...— Она вдруг встрепенулась.— Вот взгляните, Иван...

Она резво выбежала в соседнюю комнату и принесла тяжелый старомодный фотоальбом. Я сейчас же поглядел на часы, но тетя Вайна не обратила на это внимания и, усевшись рядом, раскрыла альбом на самой первой странице.

— Вот генерал-полковник.

Генерал-полковник был орел. У него было узкое костистое лицо и прозрачные глаза. Его длинное тело усеивали ордена. Самый большой орден в виде многоконечной звезды, обрамленной лавровым венком, сверкал в районе аппендикса. В левой руке генерал сжимал перчатки, а правая покоилась на рукоятке кортика. Высокий воротник с золотым шитьем подпирал нижнюю челюсть.

— А это генерал-полковник на маневрах.

Генерал-полковник и здесь был орел. Он давал указания своим офицерам, склонившимся над картой, развернутой на лобовой броне гигантского танка. По форме траков и по зализанным очертаниям смотровой башни я узнал тяжелый штурмовой танк «мамонт», предназначенный для преодоления зоны атомных ударов, а ныне успешно используемый глубоководниками.

— А это генерал-полковник в день своего пятидесятилетия.

Генерал-полковник был орлом и здесь. Он стоял у накрытого стола с бокалом в руке и слушал тост в

свою честь. Нижний левый угол фотографии занимала размытая лысина с электрическим бликом, а рядом с генералом, восхищенно глядя на него снизу вверх, сидела очень молодая и очень миловидная тетя Вайна. Я попробовал украдкой определить на ощупь толщину альбома.

— А это генерал-полковник на отдыхе.

Даже на отдыхе генерал-полковник оставался орлом. Широко расставив ноги, он стоял на пляже в тигровых плавках и рассматривал в полевой бинокль туманный горизонт. У его ног копошился в песке голый ребенок трех или четырех лет. Генерал был жилист и мускулист, гренки и сливки не портили его фигуру. Я принялся шумно заводить часы.

— А это...— начала тетя Вайна, переворачивая страницу, но тут в гостиную без стука вошел невысокий полный человек, лицо и особенно одежда которого показались мне необычайно знакомыми.

— Доброе утро,— произнес он, слегка склонив набок гладкое улыбающееся лицо.

Это был давешний таможенник все в том же белом мундире с серебряными пуговицами и серебряными шнурами на плечах.

— Ах, Пети! — сказала тетя Вайна.— Ты уже пришел? Познакомься, пожалуйста, это Иван... Иван, это Пети, друг нашего дома.

Таможенник повернулся ко мне, не узнавая, коротко наклонил голову и щелкнул каблуками. Тетя Вайна переложила альбом ко мне на колени и поднялась.

— Садись, Пети,— сказала она,— я принесу тебе сливок.

Пети еще раз щелкнул каблуками и сел рядом со мной.

— Не желаете ли поинтересоваться? — сейчас же осведомился я, перекладывая альбом со своих колен на колени таможенника.— Вот это генерал-полковник Туур. Это он просто так. (В глазах таможенника появилось странное выражение.) А вот здесь генерал-полковник на маневрах. Видите? А вот здесь...

— Благодарю вас,— отрывисто сказал таможенник.— Не утруждайтесь, потому что...

Вернулась с гренками и сливками тетя Вайна. Еще с порога она сказала:

— Как приятно видеть человека в мундире, не правда ли, Иван? — Она поставила поднос на столик.— Пе-

ти, ты сегодня рано. Что-нибудь случилось? Прекрасная сегодня погода, такое солнце...

Сливки для Пети были налиты в особенную чашку, на которой красовался вензель «Т», осененный четырьмя звездочками.

— Ночью шел дождь, я просыпалась, значит, были тучи,— продолжала тетя Вайна.— А сейчас, взгляните, ни одного облачка... Еще чашечку, Иван?

Я встал.

— Благодарю вас, я сыт. Позвольте мне откланяться. У меня деловое свидание.

Осторожно закрывая за собой дверь, я услыхал, как вдова сказала: «Ты не находишь, что он удивительно похож на штаб-майора Пола?..»

В спальне я распаковал чемодан и переложил одежду в стенной шкаф и снова позвонил Римайеру. К телефону опять никто не подошел. Тогда я сел за стол в кабинете и принялся исследовать ящики. В одном из ящиков обнаружилась портативная пишущая машинка, в другом — почтовый набор и пустая бутылка из-под смазки для аритмичных двигателей. Остальные ящики были пусты, если не считать пачки смятых квитанций, испорченной авторучки и небрежно сложенного листка, разрисованного рожицами. Я развернул листок. Видимо, это был черновик телеграммы. «Грин умер у рыбарей получай тело воскресенье соболезнуем Хугер Марта мальчики». Я дважды прочел написанное, перевернул листок, изучил рожицы и прочел в третий раз. Видимо, Хугеру и Марте было невдомек, что нормальные люди, сообщая о смерти, говорят в первую очередь, отчего или как умер человек, а не у кого он там умер. Я бы написал: «Грин утонул во время рыбной ловли». В пьяном виде, вероятно. Кстати, какой у меня теперь адрес?

Я вернулся в холл. У двери в хозяйскую половину сидел на корточках худенький мальчик в коротких штанишках. Зажав под мышкой длинную серебристую трубку, он, сопя и пыхтя, торопливо разматывал клубок бечевки. Я подошел к нему и сказал:

— Привет.

Реакция у меня не та, что прежде, но все-таки я успел увернуться. Длинная черная струя пролетела у меня над ухом и плюхнулась в стену. Я изумленно глядел на мальчишку, а он глядел на меня, лежа на боку и выставив перед собой свою трубку. Лицо его было мокрое, рот открыт и перекошен. Я оглянулся на стену.

По стене текло. Я снова посмотрел на мальчика. Он медленно поднимался, не опуская трубки.

— Что-то ты, брат, нервный,— произнес я.

— Вы стойте, где стоите,— хрипло сказал мальчик.— Я вашего имени не называл.

— Да уж куда там,— сказал я.— Ты и своего не называл, а палишь в меня, как в чучело.

— Вы стойте, где стоите,— повторил мальчик.— И не двигайтесь.— Он попятился и вдруг забормотал скороговоркой.— Уйди от волос моих, уйди от костей моих, уйди от мяса моего...

— Не могу,— сказал я. Я все старался понять, играет он или действительно меня боится.

— Почему? — растерянно спросил мальчик.— Я все говорю, как надо.

— Я не могу уйти, не двигаясь,— объяснил я.— И стоя, где стою.

Рот у него снова приоткрылся.

— Хугер,— сказал он неуверенно.— Говорю тебе, Хугер: сгинь!

— Почему Хугер? — удивился я.— Ты меня с кем-то путаешь. Я не Хугер, я Иван.

Тогда мальчик вдруг закрыл глаза и пошел на меня, наклонив голову и выставив перед собой свою трубку.

— Я сдаюсь,— предупредил я.— Смотри не выпали.

Когда трубка уперлась мне в живот, он выронил ее и, опустив руки, весь как-то обмяк. Я наклонился и заглянул ему в лицо. Теперь он был красный. Я поднял трубку. Это было что-то вроде игрушечного автомата — с удобной рифленой рукояткой и с плоским прямоугольным баллончиком, который вставлялся снизу, как магазин.

— Что это за штука? — спросил я.

— Ляпник,— сказал он угрюмо.— Дайте сюда.

Я отдал ему игрушку.

— Ляпник,— сказал я.— Которым, значит, ляпают. А если бы ты в меня попал? — Я посмотрел на стену.— Надо же, теперь это за год не отмыть, придется стену менять.

Мальчик недоверчиво посмотрел на меня снизу вверх.

— Это же ляпа,— сказал он.

— Да? А я-то думал — лимонад.

Лицо его приобрело, наконец, нормальную окраску

и обнаружило определенное сходство с мужественными чертами генерал-полковника Туура.

— Да нет,— сказал он.— Это ляпа.

— Ну?

— Она высохнет.

— И тогда уже все окончательно пропало?

— Да нет же. Просто ничего не останется.

— Гм,— сказал я с сомнением.— Впрочем, тебе виднее. Будем надеяться на лучшее. Но я все-таки очень рад, что ничего не останется на стене, а не на моей физиономии. Как тебя зовут?

— Зигфрид,— сказал мальчик.

— А подумавши?

Он посмотрел на меня.

— Люцифер.

— Как?

— Люцифер.

— Люцифер,— сказал я.— Велиал. Астарет. Вельзевул и Азраил. А покороче у тебя ничего нет? Очень неудобно звать на помощь человека по имени Люцифер.

— Двери же закрыты,— сказал он и отступил на шаг. Лицо его снова побледнело.

— Ну и что?

Он не ответил и снова начал пятиться, уперся спиной в стену и пошел боком, прижимаясь к ней и не сводя с меня глаз. Я понял, наконец, что он принял меня то ли за вора, то ли за убийцу и хочет удрать, но почему-то он не звал на помощь и почему-то не заскочил в комнату матери, а прокрался мимо двери и продолжал красться вдоль стены к выходу из дома.

— Зигфрид,— сказал я.— Зигфрид-Люцифер, ты ужасный трус. За кого ты меня принимаешь? — Я нарочно не двигался с места и только поворачивался вслед за ним.— Я ваш новый жилец, твоя мама напоила меня сливками и накормила меня гренками, а ты чуть не заляпал меня и теперь сам же меня боишься. Это я должен тебя бояться.

Все это очень напоминало одну сцену в Аньюдинском интернате, когда мне привезли почти такого же мальчика, сына хлыста. Елки-палки, неужели я до такой степени похож на гангстера?

— Ты похож на мускусную крысу Чучундру,— сказал я,— которая всю свою жизнь плакала, потому что у нее не хватало духу выйти на середину комнаты.

У тебя от страха стал голубой нос, уши сделались холодными, а штанишки — мокрыми, и ты оставляешь за собой ручеек...

В таких случаях абсолютно все равно, что говорить. Важно говорить спокойно и не делать резких движений. Выражение его лица не менялось, но когда я сказал о ручейке, он на секунду скосил глаза, чтобы посмотреть. Всего на секунду. Затем он прыгнул к выходной двери, забился возле нее, дергая засов, и вылетел во двор — только мелькнули грязные подошвы сандалий. Я вышел за ним.

Он стоял в кустах сирени, так что мне видно было только его бледное лицо. Словно удирающая кошка остановилась на миг, чтобы поглядеть через плечо.

— Ну ладно,— сказал я.— Объясни мне, пожалуйста, что я должен делать. Мне надо сообщить домой свой новый адрес. Адрес вот этого самого дома. Дома, в котором я теперь живу.— Он молча смотрел на меня.— К твоей маме мне идти неудобно. Во-первых, у нее гости, а во-вторых...

— Вторая Пригородная, семьдесят восемь,— сказал он.

Я не торопясь уселся на крыльце. Между нами было метров десять.

— Ну и голосок у тебя! — сказал я доверительно.— Как у моего знакомого бармена из Мирза-Чарле.

— Когда вы приехали? — спросил он.

— Да вот...— я посмотрел на часы.— Часа полтора назад.

— Тут до вас жил один,— сказал он и стал глядеть в сторону.— Дрянь-человек. Подарил мне плавки, полосатые, я полез купаться, а они в воде растаяли.

— Ай-яй-яй! — сказал я.— Это же чудовище какое-то, а не человек. Его надо было утопить в ляпе.

— Я не успел,— сказал мальчик.— Я хотел, да он уже уехал.

— Это тот самый Хугер? — спросил я.— С Мартой и мальчиками!

— Нет. Откуда вы взяли? Хугер уже потом жил.

— Тоже дрянь-человек?

Он не ответил. Я привалился спиной к стене и стал смотреть на улицу. Из ворот напротив рывками выполз автомобиль, поерзал, разворачиваясь, взревел двигателем и укатил. Сейчас же вслед за ним промчался еще один такой же автомобиль. Запахло ароматиче-

ским бензином. Потом автомобили пошли один за другим, у меня даже запестрело в глазах. В небе появилось несколько вертолетов. Это были так называемые бесшумные вертолеты. Но они летели довольно низко и, пока они летели, разговаривать было трудно. Впрочем, мальчик разговаривать, по-видимому, не собирался. Не собирался он и выходить. Он что-то делал в кустах со своим ляпником и время от времени поглядывал на меня. Не ляпнул бы он в меня оттуда, подумал я. Вертолеты все шли и шли, и машины все мчались и мчались, и казалось, будто все пятнадцать тысяч легковых автомобилей выкатились на Вторую Пригородную, и все пятьсот вертолетов повисли над домом семьдесят восемь. Это продолжалось минут десять, мальчишка совсем перестал обращать на меня внимание, а я сидел и думал, какие вопросы придется задать Римайеру. Затем все стало, как прежде: улица опустела, запах бензина рассеялся, в небе стало чисто.

— Куда это они все сразу? — спросил я.

Мальчик пошуршал в кустах.

— А вы что, не знаете? — сказал он.

— Откуда же мне знать?

— А я не знаю — откуда. Хугера-то вы откуда-то знаете...

— Хугера...— сказал я.— Хугера я знаю совершенно случайно. А про вас ничего не знаю. Как вы тут живете, чем занимаетесь... Вот что ты там сейчас делаешь?

— Предохранитель испортился.

— Так давай его сюда, я починю. Чего ты меня так боишься? Я похож на какого-нибудь дрянь-человека?

— Они все на работу поехали,— сказал мальчик.

— Поздно у вас работа начинается. Уже обедать пора, а вы еще только на работу идете... Ты знаешь, где отель «Олимпик»?

— Знаю, конечно.

— Проводишь меня?

Мальчик помедлил.

— Нет,— сказал он.

— Почему?

— Сейчас школа кончается. Мне надо домой идти.

— Ах, вот оно что! — сказал я.— Ты, значит, филонишь? Или, как у нас говорили, мотаешь?.. И в каком же ты классе?

— В третьем.

— Я тоже когда-то учился в третьем.

Он высунулся из кустов.

— А потом?

— А потом в четвертом.— Я поднялся.— Ну ладно. Разговаривать со мной ты не хочешь, проводить меня не хочешь, штанишки у тебя мокрые, пойду я к себе. Ну, что смотришь? Даже не хочешь мне сказать, как тебя зовут...

Он молча глядел на меня и дышал через рот. Я пошел к себе. Кремовый холл был обезображен, как мне показалось, необратимо. Огромная угольно-черная клякса на стене не собиралась высыхать. Кому-то сегодня влетит, подумал я. Под ноги мне попался клубок бечевки. Я поднял его. Конец бечевки был привязан к ручке двери в хозяйскую половину. Так, подумал я, это мы тоже понимаем. Я отвязал бечевку и сунул клубок в карман.

В кабинете я достал из стола чистый лист бумаги и составил телеграмму Марии: «Прибыл благополучно Вторая Пригородная семьдесят восемь целую Иван». В путеводителе я нашел телефон Бюро Обслуживания, передал телеграмму и снова позвонил Римайеру. И снова Римайер не отозвался. Тогда я надел пиджак, посмотрелся в зеркало, пересчитал деньги и собрался уже выходить, когда заметил, что дверь в гостиную приоткрыта и в щель смотрит глаз. Я, конечно, ничего не заметил. Я внимательно оглядел свой костюм спереди, вернулся в ванную и некоторое время, посвистывая, чистил себя пылесосом. Когда я вернулся в кабинет, лопоухая голова, просунутая в полуоткрытую дверь, моментально скрылась — осталась торчать только серебристая трубка ляпника. Усевшись в кресло, я по очереди открыл и закрыл все двенадцать ящиков стола, включая потайные, и только тогда снова поглядел на дверь. Мальчик стоял на пороге.

— Меня зовут Лэн,— сообщил он.

— Приветствую тебя, Лэн,— сказал я рассеянно.— Меня зовут Иван. Заходи. Правда, я уже собрался обедать. Ты еще не обедал сегодня?

— Нет.

— Вот и хорошо. Сбегай, отпросись у мамы и пойдем.

Лэн помолчал, глядя в пол.

— Еще рано,— сказал он.

— Что рано? Обедать?

— Нет, идти... туда... Школа только через двадцать

минут кончается.— Он снова помолчал.— И потом там этот толстый хмырь со шнурами.

— Дрянь-человек? — спросил я.

— Да,— сказал Лэн.— Вы правда уходите сейчас?

— Да, ухожу,— сказал я и достал из кармана клубок бечевки.— На вот, возьми. А если бы мать первой вышла?

Он пожал плечом.

— Если вы вправду уходите,— сказал он,— то можно, я у вас посижу?

— Ну что ж, посиди.

— А здесь больше никого нет?

— Никого.

Он так и не подошел ко мне, чтобы взять бечевку, но позволил подойти к себе и даже взять себя за ухо. Ухо действительно было холодное. Я легонько потрепал его и, подтолкнув мальчишку к столу, сказал:

— Сиди сколько хочешь. Я вернусь не скоро.

— Я тут посплю,— сказал Лэн.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Отель «Олимпик» был пятнадцатиэтажный, красный с черным. Половина площади перед ним была заставлена автомобилями, в центре площади в маленьком цветнике возвышался монумент, изображающий человека с гордо поднятой головой. Огибая монумент, я вдруг обнаружил, что человек этот мне знаком. Я в замешательстве остановился и пригляделся. Несомненно, в смешном старомодном костюме, опираясь рукой на непонятный аппарат, который я принял было за продолжение абстрактного постамента, устремив презрительно сощуренные глаза в бесконечность, на площади перед отелем «Олимпик» стоял Владимир Сергеевич Юрковский. На постаменте золочеными буквами была вырезана надпись: «Владимир Юрковский, 5 декабря, год Весов».

Я не поверил, потому что это было совершенно невозможно. Юрковским не ставят памятников. Пока они живы, их назначают на более или менее ответственные посты, их чествуют на юбилеях, их выбирают членами академий. Их награждают орденами и удостаивают международных премий. А когда они умирают —

или погибают,— о них пишут книги, их цитируют, ссылаются на их работы, но чем дальше, тем реже, а потом, наконец, забывают о них. Они уходят из памяти и остаются только в книгах. Владимир Сергеевич был генералом науки и замечательным человеком. Но невозможно поставить памятники всем генералам и всем замечательным людям, тем более в странах, к которым они никогда не имели прямого отношения, и в городах, где они если и бывали, то разве что проездом... А в этом их году Весов Юрковский не был даже генералом. В марте он вместе с Дауге заканчивал исследования Аморфного Пятна на Уране, и один бомбозонд взорвался у нас в рабочем отсеке, попало всем, и, когда в сентябре мы вернулись на Планету, Юрковский был весь в сиреневых лишаях, злой и говорил, что вот вволю поплавает и позагорает и засядет за проект нового бомбозонда, потому что старый — дерьмо... Я оглянулся на отель. Мне оставалось только сделать вывод, что жизнь города находится в таинственной и весьма мощной зависимости от Аморфного Пятна на Уране. Или находилась... Юрковский высокомерно улыбался. Вообще скульптура была хорошая, но я не понимал, на что Юрковский опирается. На бомбозонд этот аппарат похож не был...

Что-то зашипело у меня над ухом. Я повернул голову и невольно отстранился. Рядом со мной, тупо уставясь в постамент, стоял длинный худой человек, с ног до шеи затянутый в какую-то серую чешую, с громоздким кубическим шлемом на голове. Лицо человека закрывала стеклянная пластина с дырочками. Из дырочек в такт дыханию вырывались струйки дыма. Изможденное лицо за стеклянной пластиной было залито потом и часто-часто ёкало щеками. Сначала я принял его за Пришельца, затем подумал, что это курортник, которому прописаны особые процедуры, и только тут догадался, что это артик.

— Простите,— сказал я.— Вы мне не скажете, что это за памятник?

Мокрое лицо совсем исказилось.

— Что? — глухо донеслось из-под шлема.

Я нагнулся.

— Я спрашиваю: что это за памятник?

Человек снова уставился на постамент. Дым из дырочек пошел гуще. Снова раздалось сильное шипение.

— Владимир Юрковский,— прочитал он.— Пятое декабря, год Весов... Ага... декабря... Ну... Так это какой-нибудь немец...

— А кто этот памятник поставил?

— Не знаю,— сказал человек.— Тут же не написано. А зачем вам?

— Это мой знакомый,— объяснил я.

— Тогда чего вы спрашиваете? Спросили бы у него самого.

— Он умер.

— А-а... Так, может, его здесь похоронили?

— Нет,— сказал я.— Он далеко похоронен.

— Где похоронен?

— Далеко!.. А что это за штука, на которую он опирается?

— Какая штука? Это эрула.

— Что?

— Эрула, говорю! Электронная рулетка.

Я вытаращил глаза.

— При чем здесь рулетка?

— Где?

— Здесь, на памятнике.

— Не знаю,— сказал человек, подумав.— Может, ваш приятель ее изобрел?

— Вряд ли,— сказал я.— Он работал в другой области.

— А какой?

— Он был планетолог и планетолетчик.

— А-а... Ну, если он ее изобрел, то молодец. Полезная вещь. Надо бы запомнить: Юрковский Владимир. Головастый был немец...

— Вряд ли он ее изобрел,— сказал я.— Я же говорю, он был планетолетчик.

Человек воззрился на меня.

— А если не он изобрел, тогда почему он с нею стоит, а?

— Так в том-то и дело,— сказал я.— Сам удивляюсь.

— Врешь ты все,— сказал человек неожиданно.— Врешь и сам не знаешь, зачем врешь. С самого утра, а уже наелся... Алкоголик! — Он повернулся и побрел прочь, волоча тощие ноги и звучно шипя.

Я пожал плечами, последний раз глянул на Владимира Сергеевича и через просторную, как аэродром, площадь направился к отелю.

Гигантский швейцар откатил передо мною дверь и звучно сказал: «Милости просим». Я остановился.

— Будьте любезны,— сказал я.— Вы не знаете, что это за памятник?

Швейцар посмотрел поверх моей головы на площадь. На лице его изобразилось замешательство.

— А разве там... не написано?

— Написано,— сказал я.— Но кто поставил этот памятник? И за что?

Швейцар переступил с ноги на ногу.

— Прошу прощения,— виновато сказал он.— Никак не могу ответить на этот вопрос. Он здесь давно стоит, а я совсем недавно... Боюсь вас дезинформировать. Может быть, портье...

Я вздохнул.

— Ну хорошо, не беспокойтесь. Где у вас здесь телефон?

— Направо, прошу вас,— сказал швейцар обрадованно.

Ко мне было устремился портье, но я помотал головой, взял трубку и набрал номер Римайера. На этот раз телефон оказался занят. Я направился к лифту и поднялся на девятый этаж.

Римайер, грузный, с непривычно обрюзгшим лицом, встретил меня в халате, из-под которого виднелись ноги в брюках и ботинках. В комнате воняло застоявшимся табачным дымом, пепельница на столе была полна окурков. Вообще в номере царил кавардак. Одно кресло было опрокинуто, на диване валялась скомканная сорочка, явно женская, под подоконником и под столом блестели батареи пустых бутылок.

— Чем могу служить? — неприветливо осведомился Римайер, глядя мне в подбородок. По-видимому, он только что вышел из ванны — редкие светлые волосы на его длинном черепе были мокры.

Я молча протянул ему свою карточку. Римайер внимательно прочитал ее, медленно сунул в карман халата и, по-прежнему глядя мне в подбородок, сказал: «Садитесь». Я сел.

— Очень неудачно получается,— сказал он.— Я чертовски занят, и нет ни минуты времени.

— Я несколько раз звонил вам сегодня,— сказал я.

— Я только что вернулся... Как вас зовут?

— Иван.

— А фамилия?

— Жилин.

— Видите ли, Жилин... Короче говоря, я должен сейчас одеться и уйти опять...— Он помолчал, растирая ладонью вялые щеки.— Да, собственно, и говорить-то... Впрочем, если хотите, посидите здесь и подождите меня. Если я не вернусь через час, уходите и возвращайтесь завтра к двенадцати. Да, оставьте мне ваш адрес и телефон, запишите прямо на столе...— Он сбросил халат и, волоча его по полу, ушел в соседнюю комнату.— А пока осмотрите город. Скверный городишко... Но этим все равно надо заняться. Меня уже тошнит от него...— Он вернулся, затягивая галстук. Руки у него дрожали, кожа на лице была дряблой и серой. Я вдруг ощутил, что не доверяю ему,— смотреть на него было неприятно, как на запущенного больного.

— Вы плохо выглядите,— сказал я.— Вы сильно изменились.

Римайер впервые взглянул мне в глаза.

— А откуда вы знаете, какой я был раньше?

— Я видел вас у Марии. Много курите, Римайер, а табак теперь сплошь и рядом пропитывают дрянью.

— Ерунда это — табак,— сказал он с неожиданным раздражением.— Здесь все дрянью пропитывают... А в общем-то вы правы, наверное, надо бросать.— Он медленно натянул пиджак.— Надо бросать...— повторил он.— И вообще не надо было начинать.

— Как идет работа?

— Бывало и хуже. На редкость захватывающая работа.— Он как-то неприятно усмехнулся.— Ну, я пойду. Меня ждут, я опаздываю. Значит, либо через час, либо завтра в двенадцать.

Он кивнул и вышел.

Я записал на телефонном столике свой адрес и телефон и, въехав ногой в кучу бутылок, подумал, что работа была, по-видимому, действительно захватывающая. Я позвонил портье и потребовал в номер уборщицу. Вежливый голос ответил, что хозяин номера категорически запретил обслуживающему персоналу появляться в номере в его отсутствие и повторил это запрещение только что, выходя из отеля. «Ага»,— сказал я и повесил трубку. Мне это не слишком понравилось. Сам я таких приказаний никогда не отдаю и никогда ни от кого ничего не скрываю, даже записную книжку. Глупо создавать ненужные впечатления, лучше поменьше пить. Я поднял опрокинутое кресло, уселся и приго-

товился ждать, стараясь подавить чувство недовольства и разочарования.

Ждать пришлось недолго. Минут через пять дверь приоткрылась и в комнату просунулась хорошенькая женская мордочка.

— Эй! — чуть сипло произнесла мордочка.— Римайер дома?

— Римайера нет,— сказал я.— Но вы все равно заходите.

Она поколебалась, рассматривая меня. По-видимому, она не собиралась заходить, просто заглянула мимоходом.

— Заходите, заходите,— сказал я.— А то мне одному скучно.

Она вошла легкой танцующей походкой и, подбоченясь, остановилась передо мной. У нее был короткий вздернутый нос и растрепанная мальчишеская прическа. Волосы были рыжие, шорты ярко-красные, а голошейка навыпуск — яично-желтая. Яркая женщина. И довольно приятная. Ей было лет двадцать пять.

— Ждете? — сказала она.

Глаза ее блестели, и от нее пахло вином, табаком и духами.

— Жду,— сказал я.— Садитесь, будем ждать вместе.

Она повалилась на тахту напротив меня и задрала ноги на телефонный столик.

— Киньте сигаретку рабочему человеку,— сказала она.— Пять часов не курила.

— Я некурящий... Позвонить, чтобы принесли?

— Господи, и здесь грустец... Оставьте телефон, а то опять припрется эта баба... Пошарьте в пепельнице и найдите бычок подлиннее!

В пепельнице было полно длинных бычков.

— Они все в помаде,— сказал я.

— Давайте, давайте, это моя помада. Как вас зовут?

— Иван.

Она щелкнула зажигалкой и закурила.

— А меня — Илина. Вы тоже иностранец? Вы все иностранцы какие-то широкие. Что вы здесь делаете?

— Жду Римайера.

— Да нет. Чего вас принесло к нам? От жены спасаетесь?

— Я не женат,— сказал я скромно.— Я приехал написать книгу.

— Книгу? Ну и знакомые же у этого Римайера...

Книгу он приехал написать. Проблема пола у спортсменов-импотентов. Как у вас с проблемой пола?

— Это для меня не проблема,— сказал я скромно.— А для вас?

Она спустила ноги со столика.

— Но-но... полегче. Здесь вам не Париж. Патлы сначала обрежь, а то сидит как перш...

— Как кто? — Я был очень терпелив, ждать еще оставалось сорок пять минут.

— Как перш. Знаешь, ходят такие...— Она стала делать руками неопределенные движения возле ушей.

— Не знаю,— сказал я.— Я здесь недавно. Я еще ничего не знаю. Расскажите, это интересно.

— Ну, уж нет, только не я. У нас не болтают. Наше дело маленькое — подай, прибери, скаль зубы и помалкивай. Профессиональная тайна. Слыхал про такого зверя?

— Слыхал,— сказал я.— А где это «у вас»? У врачей?

Почему-то ей это показалось очень смешным.

— У врачей!.. Надо же...— хохотала она.— А ты парень ничего, с язычком... У нас в Бюро тоже есть один такой. Как скажет — все лежат. Когда мы рыбарей обслуживаем, его всегда назначают, рыбари любят повеселиться.

— Да и кто не любит? — сказал я.

— Это ты зря. Интели, например, его прогнали. «Уберите,— говорят,— дурака...» Или вот нынче, у этих беременных мужиков...

— У кого?

— У грустецов. Слушай, а ты, я вижу, ничего не понимаешь. Откуда ты такой приехал?

— Из Вены,— сказал я.

— Ну и что? У вас в Вене нет грустецов?

— Вы представить себе не можете, чего только нет в Вене.

— Может быть, у вас там и нерегулярных собраний нет?

— У нас — нет,— сказал я.— У нас все собрания регулярные. Как автобусная линия.

Она развлекалась.

— Может, у вас и официанток нет?

— Официантки есть. Причем попадаются превосходные экземпляры. Значит, вы официантка?

Она вдруг вскочила.

— Не-ет, так у нас дело не пойдет! — закричала она.— Хватит с меня грустецов на сегодня. Сейчас ты у меня выпьешь со мной на брудершафт как миленький...— Она принялась валить бутылки под окном.— Вот стервы, все пустые... Может, ты и непьющий? Ага, вот есть немного вермута... Будешь вермут? Или спросить виски?

— Начнем с вермута,— сказал я.

Она грохнула бутылку на столик и взяла с подоконника два стакана.

— Надо вымыть, погоди минутку, накидали мусора...— Она ушла в ванную и продолжала говорить оттуда: — Если бы ты еще оказался непьющим, я бы не знаю что с тобой сделала... Ну и кабак у него здесь, в ванной, люблю! Ты где остановился, тоже здесь?

— Нет, в городе,— ответил я.— На Второй Пригородной.

Она вернулась со стаканами.

— С водой или чистого?

— Пожалуй, чистого.

— Все иностранцы пьют чистое. А у нас почему-то пьют с водой.— Она села ко мне на подлокотник и обняла меня за плечи. От нее здорово пахло спиртным.— Ну, на «ты»...

Мы выпили и поцеловались. Без всякого удовольствия. Губы у нее оказались сильно накрашены, а веки тяжелы от бессонницы и усталости. Она поставила стакан, отыскала в пепельнице еще один окурок и вернулась на тахту.

— Где же этот Римайер? — сказала она.— Сколько можно ждать? Ты давно его знаешь?

— Нет, не очень.

— По-моему, он сволочь,— сказала она с неожиданной злобой.— Все выпытал, а теперь скрывается. Не открывает, скотина, и не дозвонишься к нему. Слушай, а он не шпик?

— Какой шпик?

— А, много их, сволочей... Из Общества Трезвости, нравственники... Знатоки и Ценители тоже дрянь хорошая...

— Нет, Римайер порядочный человек,— сказал я с некоторым усилием.

— Порядочный... Все вы порядочные. Поначалу. Римайер тоже был порядочным, таким прикидывался добреньким, веселеньким... А теперь смотрит, как крокодил!

— Бедняга,— сказал я.— Он, наверное, вспомнил о семье, и ему стало стыдно.

— Да нет у него никакой семьи. И вообще, ну его к черту! Налить тебе еще?

Мы выпили еще. Она легла и закинула руки за голову. Затем она сказала:

— Да ты не расстраивайся. Плюнь. Вина у нас полно, спляшем, сбегаем на дрожку... Завтра футбол, поставим на «Быков»...

— Да я и не расстраиваюсь. На «Быков» так на «Быков».

— Ах, «Быки»! Какие мальчики! Век бы смотрела... Руки как железо, прижмешься к нему — как к дереву, честное слово...

В дверь постучали.

— Заходи! — заорала Илина.

В комнату вошел и сразу остановился высокий костлявый человек средних лет со светлыми усами щеточкой и со светлыми выпуклыми глазами.

— Виноват,— сказал он.— Я хотел видеть Римайера.

— Здесь все хотят видеть Римайера,— сказала Илина.— Присаживайтесь, будем ждать вместе.

Незнакомец наклонил голову и присел к столу, положив ногу на ногу.

Вероятно, он был здесь не впервые. Он не озирался по сторонам, а глядел в стену прямо перед собой. Впрочем, может быть, он был не любопытен. Во всяком случае, ни я, ни Илина его явно не интересовали. Мне это показалось неестественным: по-моему, такая пара, как я и Илина, должна была заинтересовать любого нормального человека. Илина приподнялась на локте и стала пристально рассматривать незнакомца.

— Я вас где-то уже видела,— объявила она.

— В самом деле? — холодно сказал незнакомец.

— Как вас зовут?

— Оскар. Я приятель Римайера.

— Вот славно,— сказала Илина. Ее явно раздражало безразличие незнакомца, но пока она сдерживалась.— Он тоже приятель Римайера,— она показала на меня пальцем.— Вы знакомы?

— Нет,— сказал Оскар, по-прежнему глядя в стену.

— Меня зовут Иван,— сказал я.— А это приятельница Римайера. Ее зовут Илина, и мы с нею только что выпили на брудершафт.

Оскар довольно равнодушно взглянул на Илину и вежливо наклонил голову. Илина, не сводя с него глаз, взяла бутылку.

— Здесь еще немного осталось,— сказала она.— Хотите выпить, Оскар?

— Нет, благодарю вас,— холодно ответил Оскар.

— На брудершафт! — сказала Илина.— Не хотите? Зря.

Она плеснула вина в мой стакан, а остатки вылила в свой и сейчас же выпила.

— В жизни бы не подумала,— сказала она,— что у Римайера могут быть друзья, которые откажутся выпить. А ведь я вас все-таки где-то видела!

Оскар пожал плечами.

— Вряд ли,— сказал он.

Илина накалялась на глазах.

— Сволочь какая-нибудь,— сообщила она мне громко.— Алло, Оскар, может, вы интель?

— Нет.

— Как же нет? — сказала Илина.— Ясно, что интель. Вы еще поцапались в «Ласочке» с плешивым Лейзом, зеркало расколотили, а Моди надавала вам оплеух...

Каменное лицо Оскара слегка порозовело.

— Уверяю вас,— произнес он очень вежливо,— я не интель и никогда в жизни не был в «Ласочке».

— Что же, я вру, по-вашему? — сказала Илина.

Тут я на всякий случай снял со столика бутылку и поставил под кресло.

— Я приезжий,— сказал Оскар.— Турист.

— Давно прибыли?— спросил я, чтобы разрядить атмосферу.

— Нет, недавно,— ответил Оскар. Он по-прежнему глядел в стену. Железной выдержки человек.

— А-а! — сказала вдруг Илина.— Помню... Это я все напутала.— Она расхохоталась.— Никакой вы не интель, конечно... Вы же были позавчера у нас в Бюро. Вы коммивояжер, да? Вы предлагали управляющему партию какой-то дряни... «Дюгонь»... «Дюпон»...

— «Девон»,— подсказал я.— Есть такой репеллент, «Девон».

Оскар впервые улыбнулся.

— Совершенно верно,— сказал он.— Но я не коммивояжер, конечно. Я просто выполнил поручение моего родственника.

— Это другое дело,— сказала Илина и вскочила.—

Так бы и сказали. Иван, нам всем нужно выпить на брудершафт. Я позвоню... Нет, лучше я сбегаю. А вы пока поболтайте. Я сейчас...

Она выскочила из комнаты, хлопнув дверью.

— Веселая женщина,— сказал я.

— Да, чрезвычайно. Вы местный?

— Нет, я тоже приезжий... Какая странная идея пришла в голову вашему родственнику!

— Что вы имеете в виду?

— Кому нужен «Девон» в курортном городе?

Оскар пожал плечами.

— Мне трудно судить об этом, я не химик. Но согласитесь, нам часто трудно понять даже поступки наших ближних, не то что их фантазии. Так «Девон», оказывается... как вы его назвали? Реце...

— Репеллент,— сказал я.

— Это, кажется, для комаров?

— Не столько для, сколько против.

— Вы, я вижу, хорошо в этом разбираетесь,— сказал Оскар.

— Мне приходилось им пользоваться.

— Ах, даже так...

Что за черт? — подумал я. Что он всем этим хочет сказать? Он больше не смотрел в стену. Он смотрел мне прямо в глаза и улыбался. Но если он хотел что-нибудь сказать, то он уже сказал. Он встал.

— Пожалуй, я не стану больше ждать,— произнес он.— Насколько я понимаю, меня здесь вынудят пить на брудершафт. А я приехал сюда не пить. Я приехал сюда лечиться. Передайте, пожалуйста, Римайеру, что я буду звонить ему сегодня вечером. Не забудете?

— Нет,— сказал я.— Не забуду. Если я скажу, что заходил Оскар, он поймет, о ком идет речь?

— Да, конечно. Это мое настоящее имя.

Он поклонился и вышел размеренным шагом, не оглянувшись, прямой и весь какой-то неестественный. Я запустил пальцы в пепельницу, выбрал окурок без помады и несколько раз затянулся. Табак мне не понравился. Я потушил окурок. Оскар мне тоже не понравился. И Илина. И Римайер мне тоже очень не понравился. Я перебрал бутылки, но все они были пусты.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Римайера я не дождался. Илина так и не вернулась. Мне надоело сидеть в прокуренной комнате, и я спустился вниз, в вестибюль. Я намеревался пообедать и остановился, озираясь, где здесь ресторан. Около меня мгновенно возник портье.

— К вашим услугам,— нежно прошелестел он.— Автомобиль? Ресторан? Бар? Салон?..

— Какой салон? — полюбопытствовал я.

— Парикмахерский салон.— Он деликатно взглянул на мою прическу.— Сегодня принимает мастер Гаоэй. Усиленно рекомендую.

Я вспомнил, что Илина назвала меня, кажется, патлатым першем, и сказал: «Ну что ж, пожалуй».— «Прошу за мной»,— сказал портье. Мы пересекли вестибюль. Портье приоткрыл низкую широкую дверь и негромко сказал в пустоту обширного помещения.

— Простите, мастер, к вам клиент.

— Прошу,— произнес спокойный голос.

Я вошел. В салоне было светло и хорошо пахло, блестел никель, блестели зеркала, блестел старинный паркет. С потолка на блестящих штангах свисали блестящие полушария. В центре зала стояло огромное белое кресло. Мастер двигался мне навстречу. У него были пристальные неподвижные глаза, крючковатый нос и седая эспаньолка. Больше всего он напоминал пожилого, опытного хирурга. Я робко поздоровался. Он коротко кивнул и, озирая меня с головы до ног, стал обходить меня сбоку. Мне стало неуютно.

— Приведите меня в соответствие с модой,— сказал я, стараясь не выпускать его из поля зрения. Но он мягко придержал меня за рукав и несколько секунд дышал за моей спиной, бормоча: «Несомненно... Вне всякого сомнения...» Потом я почувствовал, как он прикоснулся к моему плечу.

— Несколько шагов вперед, прошу вас,— сказал он строго.— Пять-шесть шагов, а потом остановитесь и резко повернитесь кругом.

Я повиновался. Он задумчиво разглядывал меня, пощипывая бородку. Мне показалось, что он колеблется.

— Впрочем,— сказал он неожиданно,— садитесь.

— Куда? — спросил я.

— В кресло, в кресло,— сказал он.

Я опустился в кресло и смотрел, как он снова мед-

ленно приближается ко мне. На его интеллигентнейшем лице вдруг появилось выражение огромной досады.

— Ну как же так можно? — произнес он.— Это же ужасно!..

Я не нашелся что ответить.

— Сырье... Дисгармония...— бормотал он.— Безобразно... Безобразно!

— Неужели до такой степени плохо? — спросил я.

— Я не понимаю, зачем вы пришли ко мне,— сказал он.— Ведь вы не придаете своей внешности никакого значения.

— С сегодняшнего дня начинаю придавать,— сказал я.

Он махнул рукой.

— Оставьте!.. Я буду работать вас, но...— Он затряс головой, стремительно повернулся и отошел к высокому столу, уставленному блестящими приборами. Спинка кресла мягко откинулась, и я оказался в полулежачем положении. Сверху на меня надвинулось большое полушарие, излучающее тепло, и сотни крошечных иголок тотчас закололи мне затылок, вызывая странное ощущение боли и удовольствия одновременно.

— Прошло? — спросил мастер, не оборачиваясь. Ощущение исчезло.

— Прошло,— ответил я.

— Кожа у вас хороша,— с некоторым удовольствием проворчал мастер.

Он вернулся ко мне с набором необыкновенных инструментов и принялся ощупывать мои щеки.

— И все-таки Мироза вышла за него,— сказал он вдруг.— Я ожидал всего, чего угодно, но только не этого. После того как Левант столько сделал для нее... Вы помните этот момент, когда они плачут над умирающей Пини? Можно было держать любое пари, что они вместе навсегда. И теперь, представьте себе, она выходит за этого литератора!

У меня есть правило: подхватывать и поддерживать любой разговор. Когда не знаешь, о чем идет речь, это даже интересно.

— Ненадолго,— сказал я уверенно.— Литераторы непостоянны, уверяю вас. Я сам литератор.

Его пальцы на секунду замерли на моих веках.

— Это не приходило мне в голову,— признался он.— Все-таки брак, хотя и гражданский... Надо не забыть позвонить жене. Она была очень расстроена.

— Я ее понимаю,— сказал я.— Хотя мне всегда казалось, что Левант сперва был влюблен в эту... в Пини.

— Влюблен? — воскликнул мастер, заходя с другого бока.— Ну, разумеется, он любил ее! Безумно любил! Как может любить только одинокий, всеми отвергнутый мужчина!

— И поэтому совершенно естественно, что после смерти Пини он искал утешения у ее лучшей подруги...

— Подруги... Да,— сказал одобрительно мастер, щекоча меня за ухом.— Мироза обожала Пини. Это очень точное слово: именно подруга! В вас сразу чувствуется литератор. И Пини тоже обожала Мирозу...

— Но заметьте,— подхватил я,— ведь Пини с самого начала подозревала, что Мироза неравнодушна к Леванту.

— О, конечно. Они необычайно чутки к таким вещам. Это было ясно каждому, моя жена сразу обратила на это внимание. Я помню, она подталкивала меня локтем каждый раз, когда Пини садилась за кудрявую головку Мирозы и так лукаво, знаете ли, выжидательно поглядывала на Леванта...

На этот раз я промолчал.

— Вообще я глубоко убежден,— продолжал он,— что птицы чувствуют не менее тонко, чем люди.

Ага, подумал я и сказал:

— Не знаю, как птицы вообще, но Пини была гораздо более чуткой, чем, может быть, даже мы с вами.

Что-то коротко прожужжало у меня над макушкой, слабо звякнул металл.

— Вы говорите слово в слово, как моя жена,— заметил мастер.— Вам, наверное, должен нравиться Дэн. Я был потрясен, когда он сумел сработать бункин этой японской герцогине... не помню ее имени. Ведь никто, ни один человек не верил Дэну. Сам японский король...

— Простите,— сказал я.— Бункин?

— Да, вы же не специалист... Ну, вы помните тот момент, когда японская герцогиня выходит из застенка. Ее волосы, высокий вал белокурых волос, украшенных драгоценными гребнями...

— А-а,— догадался я.— Это прическа!

— Да, она даже вошла на время в моду в прошлом году. Хотя настоящий бункин у нас могли делать единицы... как и настоящий шиньон, между прочим. И конечно, никто не мог поверить, что Дэн с обожженными

руками, полуослепший... Вы помните, как он ослеп?

— Это было потрясающе,— проговорил я.

— О-о, Дэн был настоящий мастер. Сделать бункин без электрообработки, без биоразвертки... Вы знаете,— продолжал он, и в голосе его послышалось волнение,— мне сейчас пришло в голову, что Мироза должна, когда расстанется с этим литератором, выйти не за Леванта, а за Дэна. Она будет вывозить его в кресле на веранду, они будут слушать при луне поющих соловьев... Вместе, вдвоем...

— И тихо плакать от счастья,— сказал я.

— Да...— голос мастера прервался.— Это будет только справедливо. Иначе я просто не знаю... Иначе я просто не понимаю, к чему вся наша борьба... Нет, мы должны потребовать. Я сегодня же пойду в союз.

Я снова промолчал. Мастер прерывисто дышал у меня над ухом.

— Пусть бреются в автоматах,— сказал он вдруг мстительно.— Пусть ходят, как ощипанные гуси. Мы дали им попробовать однажды, что это такое, посмотрим теперь, как это им понравилось.

— Боюсь, это будет непросто,— сказал я осторожно, потому что ничего не понимал.

— А мы, мастера, привыкли к сложному. Непросто! А когда к вам является жирное чучело, потное и страшное, и вам нужно сделать из него человека... или по крайней мере нечто такое, что в обыденной жизни не отличается от человека... это что, просто?! Помните, как сказал Дэн? «Женщина рождает человека раз в девять месяцев, а мы, мастера, делаем это каждый день». Разве это не превосходные слова?

— Дэн говорил о парикмахерах? — спросил я на всякий случай.

— Дэн говорил о мастерах! «На нас держится красота мира»,— говорил он. И еще, помните? «Для того, чтобы сделать из обезьяны человека, Дарвину нужно было быть отличным мастером».

Я решил сдаться и признался:

— Вот этого я уже не помню.

— А вы давно смотрите «Розу салона»?

— Да я совсем недавно приехал.

— А-а... Тогда вы много потеряли. Мы с женой смотрим эту историю уже седьмой год, каждый вторник. Мы пропустили только один раз: у меня был приступ, и я потерял сознание. Но во всем городе только один че-

ловек не пропустил ни разу — мастер Миль из Центрального салона.

Он отошел на несколько шагов, включил и выключил разноцветные софиты и вновь принялся за дело.

— Седьмой год,— повторил он.— И теперь представьте себе: в позапрошлом году они убивают Мирозу и бросают Леванта в японские застенки пожизненно, а Дэна сжигают на костре. Вы можете себе это представить?

— Это невозможно,— сказал я.— Дэна? На костре? Правда, Бруно тоже сожгли на костре...

— Возможно...— нетерпеливо сказал мастер.— Во всяком случае, нам стало ясно, что они хотят быстренько свернуть программу. Но мы этого не потерпели. Мы объявили забастовку и боролись три недели. Миль и я пикетировали парикмахерские автоматы. И должен вам сказать, что значительная часть горожан нам сочувствовала.

— Еще бы,— сказал я.— И что же? Вы победили?

— Как видите. Они прекрасно поняли, что это такое, и теперь телецентр знает, с кем имеет дело. Мы не отступили ни на шаг, и если понадобится — не отступим. Во всяком случае, теперь по вторникам мы отдыхаем, как встарь — по-настоящему.

— А в остальные дни?

— А в остальные дни ждем вторника и гадаем, что ожидает нас, чем вы, литераторы, нас порадуете, спорим и заключаем пари... Впрочем, у нас, мастеров, не так много досуга.

— Большая клиентура, вероятно?

— Нет, дело не в этом. Я имею в виду домашние занятия. Стать мастером нетрудно, трудно оставаться мастером. Масса литературы, масса новых методов, новых приложений, за всем надо следить, надо непрерывно экспериментировать, исследовать и надо непрерывно следить за смежными областями — бионика, пластическая медицина, органика... И потом, вы знаете, накапливается опыт, появляется потребность поделиться. Вот мы с Милем пишем уже вторую книгу, и буквально каждый месяц нам приходится вносить в рукопись исправления. Все устаревает на глазах. Сейчас я заканчиваю статью об одном малоизвестном свойстве врожденно-прямого непластичного волоса, и, вы знаете, у меня практически нет никаких шансов оказаться первым. Только в нашей стране я знаю трех мастеров, за-

нятых тем же вопросом. Это естественно: врожденно-прямой непластичный волос — это актуальнейшая проблема. Ведь он считается абсолютно неэстетируемым. Впрочем, вас это, конечно, не может интересовать. Вы ведь литератор?

— Да,— сказал я.

— Вы знаете, как-то во время забастовки мне случилось пробежать один роман. Это не ваш?

— Не знаю,— сказал я.— А о чем?

— Н-ну, я не могу сказать вам совершенно точно... Сын поссорился с отцом, и у него был друг, этакий неприятный человек со странной фамилией... Он еще резал лягушек.

— Не могу вспомнить,— соврал я. Бедный Иван Сергеевич!

— Я тоже не могу вспомнить. Какой-то вздор. У меня есть сын, но он никогда со мной не ссорится. И животных он никогда не мучает... разве что в детстве...

Он снова отступил от меня и медленно пошел по кругу, оглядывая. Глаза его горели. Кажется, он был очень доволен.

— А ведь, пожалуй, на этом можно закончить,— проговорил он.

Я вылез из кресла. «А ведь неплохо...— бормотал мастер.— Просто очень неплохо». Я подошел к зеркалу, а он включил прожекторы, которые осветили меня со всех сторон, так что на лице совсем не осталось теней. В первый момент я не заметил в себе ничего особенного. Я как я. Потом я почувствовал, что это не совсем я. Что это гораздо лучше, чем я. Много лучше, чем я. Красивее, чем я. Добрее, чем я. Гораздо значительнее, чем я. И я ощутил стыд, словно умышленно выдавал себя за человека, которому в подметки не гожусь...

— Как вы это сделали? — спросил я вполголоса.

— Пустяки,— ответил мастер, как-то особенно улыбаясь.— Вы оказались довольно легким клиентом, хотя и основательно запущенным.

Я, как Нарцисс, стоял перед зеркалом и не мог отойти. Потом мне вдруг стало жутко. Мастер был волшебником, и волшебником недобрым, хотя сам, наверное, и не подозревал об этом. В зеркале, озаренная прожекторами, необычайно привлекательная и радующая глаз, отражалась ложь. Умная, красивая, значительная пустота. Нет, не пустота, конечно, я не был о себе та-

кого уж низкого мнения, но контраст был слишком велик. Весь мой внутренний мир, все, что я так ценил в себе... Теперь его вообще могло бы не быть. Оно было больше не нужно. Я посмотрел на мастера. Он улыбался.

— У вас много клиентов? — спросил я.

Он не понял моего вопроса, да я и не хотел, чтобы он меня понял.

— Не беспокойтесь,— ответил он.— Вас я всегда буду работать с удовольствием. Сырье самое высококачественное.

— Спасибо,— сказал я, опуская глаза, чтобы не видеть его улыбки.— Спасибо. До свидания.

— Только не забудьте расплатиться,— благодушно сказал он.— Мы, мастера, очень ценим свою работу.

— Да, конечно,— спохватился я.— Разумеется. Сколько я должен?

Он сказал, сколько я должен.

— Как? — спросил я, приходя в себя.

Он с удовольствием повторил.

— С ума сойти,— честно сказал я.

— Такова цена красоты,— объяснил он.— Вы пришли сюда заурядным туристом, а уходите царем природы. Разве не так?

— Самозванцем я ухожу,— пробормотал я, доставая деньги.

— Ну-ну, не так горько,— вкрадчиво сказал он.— Даже я не знаю этого наверняка. Да и вы не уверены... Еще два доллара, пожалуйста... Благодарю вас. Вот пятьдесят пфеннигов сдачи... Вы ничего не имеете против пфеннигов?

Я ничего не имел против пфеннигов. Мне хотелось скорее уйти.

В вестибюле я некоторое время постоял, приходя в себя, глядя через стеклянную стену на металлического Владимира Сергеевича. В конце концов все это очень не ново. В конце концов миллионы людей совсем не то, за что они себя выдают. Но этот проклятый парикмахер сделал меня эмпириокритиком. Реальность замаскировалась прекрасными иероглифами. Я больше не верил тому, что вижу в этом городе. Залитая стереопластиком площадь в действительности, наверное, вовсе не была красива. Под изящными очертаниями автомобилей мнились зловещие, уродливые формы. А вон та прекрасная, милая женщина на самом деле, конеч-

но, отвратительная, вонючая гиена, похотливая, тупая хрюшка. Я закрыл глаза и помотал головой. Старый дьявол...

Неподалеку остановились два лощеных старца и принялись с жаром спорить о преимуществах фазана тушеного перед фазаном, запеченным с перьями. Они спорили, истекая слюной, чмокая и задыхаясь, щелкая друг у друга под носом костлявыми пальцами. Этим двум никакой мастер помочь не смог бы. Они сами были мастерами и не скрывали этого. Во всяком случае, они вернули меня к материализму. Я подозвал портье и спросил, где ресторан.

— Прямо перед вами,— сказал портье и, улыбнувшись, поглядел на спорящих старцев.— Любая кухня мира.

Вход в ресторан я принял за ворота в ботанический сад. Я вошел в этот сад, раздвигая руками ветви экзотических деревьев, ступая то по мягкой траве, то по неровным плитам ракушечника. В пышной прохладной зелени гомонили невидимые птицы, слышались негромкие разговоры, звяканье ножей, смех. Мимо моего носа пролетела золотистая птичка. Она с натугой тащила в клюве маленький бутерброд с икрой.

— Я к вашим услугам,— сказал глубокий бархатный голос.

Из зарослей выступил мне навстречу величественный мужчина со щеками на плечах.

— Обед,— коротко сказал я. Не люблю метрдотелей.

— Обед...— повторил он значительно.— Обед в обществе? Отдельный столик?

— Отдельный столик. А впрочем...

В руке у него мгновенно появился блокнот.

— Мужчину вашего возраста будут рады видеть у себя за столом миссис и мисс Гамилтон-Рэй...

— Дальше,— сказал я.

— Отец Жофруа...

— Я предпочел бы аборигена,— сказал я.

Он перевернул листок.

— Только что сел за стол доктор философии Опир.

— Пожалуй,— сказал я.

Он спрятал блокнотик и повел меня по дорожке, выложенной плитами песчаника. Где-то вокруг разговаривали, ели, шипели сифонами. В листве разноцветными пчелами метались колибри. Метрдотель почтительно осведомился:

— Как прикажете вас представить?

— Иван. Турист и литератор.

Доктору Опиру было под пятьдесят. Он сразу понравился мне, потому что немедленно, без всяких церемоний прогнал метрдотеля за официантом. Он был румяный, толстый и непрерывно и с удовольствием говорил и двигался.

— Не затрудняйтесь,— сказал он, когда я потянулся за меню.— Все уже известно. Водка, анчоусы под яйцом — у нас их называют пасифунчиками,— картофельный суп «лике»...

— Со сметаной,— вставил я.

— Разумеется!.. Паровая осетрина по-астрахански, ломтик телятины...

— Я хочу фазанов. Запеченных с перьями.

— Не надо: не сезон... Ломтик говядины, угорь в сладком маринаде...

— Кофе,— сказал я.

— Коньяк,— возразил он.

— Кофе с коньяком.

— Хорошо. Коньяк и кофе с коньяком. Какое-нибудь белое вино к рыбе и хорошую натуральную сигару...

Обедать с доктором философии Опиром оказалось очень удобно. Можно было есть, пить и слушать. Или не слушать. Доктор Опир не нуждался в собеседнике. Доктор Опир нуждался в слушателе. Я в разговоре не участвовал, я даже не подавал реплик, а доктор Опир с наслаждением ораторствовал, почти не прерываясь, размахивая вилкой, но тарелки и блюда перед ним пустели тем не менее с прямо-таки таинственной быстротой. В жизни не встречал человека, который бы так искусно говорил с набитым и жующим ртом.

— Наука! Ее Величество Наука! — восклицал он.— Она зрела долго и мучительно, но плоды ее оказались изобильны и сладки. Остановись, мгновенье, ты прекрасно! Сотни поколений рождались, страдали и умирали, и никогда никому не захотелось произнести этого заклинания. Нам исключительно повезло. Мы родились в величайшую из эпох — в Эпоху Удовлетворения Желаний. Может быть, не все это еще понимают, но девяносто девять процентов моих сограждан уже сейчас живут в мире, где человеку доступно практически все мыслимое. О наука! Ты, наконец, освободила человечество! Ты дала нам, даешь и будешь отныне давать все...

пищу — превосходную пищу! — одежду — превосходную, на любой вкус и в любых количествах! — жилье — превосходное жилье! Любовь, радость, удовлетворенность, а для желающих, для тех, кто утомлен счастьем,— сладкие слезы, маленькие спасительные горести, приятные утешительные заботы, придающие нам значительность в собственных глазах... Да, мы, философы, много и злобно ругали науку. Мы призывали луддитов, ломающих машины, мы проклинали Эйнштейна, изменившего нашу вселенную, мы клеймили Винера, посягнувшего на нашу божественную сущность. Что ж, мы действительно утратили эту божественную сущность. Наука отняла ее у нас. Но взамен! Взамен она бросила человечество за пиршественные столы Олимпа... Ага, а вот и картофельный суп, божественный «лике»!.. Нет-нет, делайте, как я... Берите вот эту ложечку... Чуть-чуть уксуса... поперчите... другой ложечкой, вот этой, зачерпните сметану и... нет-нет, постепенно, постепенно разбалтывайте... Это тоже наука, одна из древнейших, более древняя, во всяком случае, чем универсальный синтез... Кстати, обязательно посетите наши синтезаторы «Рог Амальтеи АК» ...Вы ведь не химик? Ах да, вы же литератор! Об этом надо писать, это величайшее таинство сегодняшнего дня, бифштексы из воздуха, спаржа из глины, трюфели из опилок... Как жаль, что Мальтус умер. Над ним хохотал бы сейчас весь мир! Конечно, у него были какие-то основания для пессимизма. Я готов согласиться с теми, кто полагает его даже гениальным. Но он был слишком невежествен, он совершенно не видел перспективы естественных наук. Он был из тех несчастливых гениев, которые открывают законы общественного развития как раз в тот момент, когда эти законы перестают действовать... Мне его искренне жаль. Ведь человечество было для него миллиардом жадно разинутых ртов. Он должен был просыпаться по ночам от ужаса. Это воистину чудовищный кошмар: миллиард разинутых пастей и ни одной головы! Я оглядываюсь назад и с горечью вижу, как слепы они были — потрясатели душ и властители умов недалекого прошлого. Сознание их было омрачено беспрерывным ужасом. Социальные дарвинисты! Они видели только сплошную борьбу за существование: толпы остервенелых от голода людей, рвущих друг друга в клочки из-за места под солнцем, как будто оно только одно, это место, как будто солнца не хватит для всех!

И Ницше... Может быть, он годился для голодных рабов фараоновых времен со своей зловещей проповедью расы господ, со своими сверхчеловеками по ту сторону добра и зла... Кому сейчас нужно быть по ту сторону? Неплохо и по эту, как вы полагаете? Были, конечно, Маркс и Фрейд. Маркс, например, первым понял, что все дело в экономике. Он понял, что вырвать экономику из рук жадных дураков и фетишистов, сделать ее государственной, безгранично развить ее — это и означает заложить фундамент Золотого Века. А Фрейд показал, для чего, собственно, нам нужен этот Золотой Век. Вспомните, что было причиной всех несчастий рода человеческого. Неудовлетворенные инстинкты, неразделенная любовь и неутоленный голод, не так ли? Но вот является Ее Величество Наука и дарит нам удовлетворение. И как быстро все это произошло! Еще не забыты имена мрачных прорицателей, а уже... Как вам кажется осетрина? У меня такое впечатление, что соус синтетический. Видите, розоватый оттенок... Да, синтетический. В ресторане мы могли бы рассчитывать на натуральный... Метр! Впрочем, пусть его, не будем капризны... Идите, идите!.. О чем это я? Да! Любовь и голод. Удовлетворите любовь и голод, и вы увидите счастливого человека. При условии, конечно, что человек наш уверен в завтрашнем дне. Все утопии всех времен базируются на этом простейшем соображении. Освободите человека от забот о хлебе насущном и о завтрашнем дне, и он станет истинно свободен и счастлив. Я глубоко убежден, что дети, именно дети — это идеал человечества. Я вижу глубочайший смысл в поразительном сходстве между ребенком и беззаботным человеком, объектом утопии. Беззаботен — значит счастлив. И как мы близки к этому идеалу! Еще несколько десятков лет, а может быть, и просто несколько лет, и мы достигнем автоматического изобилия, мы отбросим науку, как исцеленный отбрасывает костыли, и все человечество станет огромной счастливой детской семьей. Взрослые будут отличаться от детей только способностью к любви, а эта способность сделается — опять-таки с помощью науки — источником новых, небывалых радостей и наслаждений... Позвольте, как вас зовут? Иван? А, так вы, надо думать, из России... Коммунист? Ага... Ну да, у вас там все иначе, я знаю... А вот и кофе! М-м-м... неплохой кофе! Но где же коньяк? Ага, благодарю вас... Между прочим, я слыхал, что Великий Де-

густатор удалился от дел. На последнем Брюссельском конкурсе коньяков произошел грандиознейший скандал, который удалось замять с огромным трудом. Гран-при получает девиз «Белый Кентавр». Жюри в восторге. Это нечто небывалое. Это некая феноменальная феерия ощущений! Вскрывают заявочный пакет и — о ужас! — это синтетик! Великий Дегустатор побелел как бумага, его стошнило! Мне, между прочим, довелось попробовать этот коньяк, он действительно превосходен, но его гонят из мазутов и у него даже нет собственного названия. Эй экс восемнадцать дробь нафтан, и он дешевле гидролизного спирта... Возьмите эту сигару. Вздор, что значит не курите? После такого обеда нельзя не курить... Я люблю этот ресторан. Каждый раз, когда я приезжаю читать лекции в здешний университет, я обедаю в «Олимпике». А перед возвращением я непременно захожу в «Таверну». Да, там нет этой зелени, этих райских птичек, там немного жарко, немного душно и пахнет дымком, но это настоящая, неповторимая кухня. Усердные Дегустаторы собираются именно там. Либо там, либо в «Лакомке». Там только едят. Там нельзя болтать, там нельзя смеяться, туда совершенно бессмысленно являться с женщиной, там только едят! Тихо, вдумчиво...

Доктор Опир, наконец, замолк, откинулся на спинку кресла и глубоко, с наслаждением затянулся. Я сосал могучую сигару и смотрел на него. Он был мне ясен, этот доктор философии. Всегда и во все времена существовали такие люди, абсолютно довольные своим положением в обществе и потому абсолютно довольные положением общества. Превосходно подвешенный язык и бойкое перо, великолепные зубы и безукоризненно здоровые внутренности, и отлично функционирующий половой аппарат.

— Итак, мир прекрасен, доктор? — сказал я.

— Да,— с чувством сказал доктор Опир.— Он, наконец, прекрасен.

— Вы великий оптимист,— сказал я.

— Наше время — это время оптимистов. Пессимист идет в салон Хорошего Настроения, откачивает желчь из подсознания и становится оптимистом. Время пессимистов прошло, как прошло время туберкулезных больных, сексуальных маньяков и военных. Пессимизм, как умонастроение, искореняется все той же наукой. И не только косвенно, через создание изобилия, но и непо-

средственно, путем прямого вторжения в темный мир подкорки. Скажем, грезогенераторы — наимоднейшее сейчас развлечение народа. Абсолютно безвредно, необычайно массово и конструктивно просто... Или, скажем, нейростимуляторы...

Я попытался направить его в нужное русло.

— А не кажется ли вам, что как раз в этой области наука — например та же фармацевтическая химия — иногда перехлестывает?

Доктор Опир снисходительно улыбнулся и понюхал свою сигару.

— Наука всегда действовала методом проб и ошибок,— веско сказал он.— И я склонен полагать, что так называемые ошибки — это всегда результат преступного использования. Мы еще не вступили в Золотой Век, мы еще только вступаем в него, и у нас под ногами до сих пор болтаются всевозможные аутло, хулиганы и просто грязные люди... Так появляются разрушающие здоровье наркотики, созданные, как вы сами знаете, с самыми благородными целями, всякие там ароматьеры... или этот, не к столу будет сказано...— Он вдруг захихикал довольно скабрезно.— Вы догадываетесь, мы с вами взрослые люди... О чем это я?.. Да, так все это не должно нас смущать. Это пройдет, как прошли атомные бомбы.

— Я хотел только подчеркнуть,— заметил я,— что существует еще проблема алкоголизма и проблема наркотиков...

Интерес доктора Опира к разговору падал на глазах. Видимо, он вообразил, будто я оспариваю его тезис о том, что наука — благо. Вести спор на таком уровне ему было, естественно, скучно, как если бы он утверждал пользу морских купаний, а я бы его оспаривал на том основании, что в прошлом году чуть не утонул.

— Да, конечно...— промямлил он, разглядывая часы.— Не все же сразу... Согласитесь все-таки, что важна прежде всего основная тенденция... Официант!

Доктор Опир вкусно покушал, хорошо поговорил — от лица прогрессивной философии,— чувствовал себя вполне удовлетворенным, и я решил не настаивать, тем более что на его «прогрессивную философию» мне было наплевать, а о том, что меня интересовало больше всего, доктор Опир в конце концов ничего конкретного сказать, вероятно, и не мог.

Мы расплатились и вышли из ресторана. Я спросил:

— Вы не знаете, доктор, кому этот памятник? Вон там, на площади...

Доктор Опир рассеянно поглядел.

— В самом деле, памятник,— сказал он.— Я как-то раньше даже не замечал... Вас подвезти куда-нибудь?

— Спасибо, я предпочитаю пройтись.

— В таком случае до свидания. Рад был с вами познакомиться... Конечно, трудно надеяться переубедить вас,— он поморщился, поковырял зубочисткой во рту — но интересно было бы попробовать... Может быть, вы посетите мою лекцию? Я начинаю завтра в десять.

— Благодарю вас,— сказал я.— Какая тема?

— Философия неооптимизма. Я там обязательно коснусь ряда вопросов, которые мы сегодня с вами так содержательно обсудили.

— Благодарю вас,— сказал я еще раз.— Обязательно.

Я смотрел, как он подошел к своему длинному автомобилю, рухнул на сиденье, поковырялся в пульте автоводителя, откинулся на спинку и, кажется, сейчас же задремал. Автомобиль осторожно прокатился по площади и, набирая скорость, исчез в тени и зелени боковой улицы.

Неооптимизм... Неогедонизм и неокретинизм... Неокапитализм... Нет худа без добра, сказала лиса, зато ты попал в Страну Дураков. Надо сказать, что процент урожденных дураков не меняется со временем. Интересно, что делается с процентом дураков по убеждению? Любопытно, кто ему присвоил звание доктора? Не один же он такой! Была, наверное, целая куча докторов, которая торжественно присвоила такое звание неооптимисту Опиру. Впрочем, это бывает не только среди философов...

Я увидел, как в холл вошел Римайер, и сразу забыл про доктора Опира. Костюм на Римайере висел мешком, Римайер сутулился, лицо Римайера совсем обвисло. И по-моему, он пошатывался на ходу. Он подошел к лифту, и тут я догнал его и взял за рукав.

Римайер сильно вздрогнул и обернулся.

— Какого черта? — сказал он. Он был явно не рад мне.— Зачем вы еще здесь?

— Я ждал вас.

— Я же вам сказал, приходите завтра в двенадцать.

— Какая разница? — сказал я.— Зачем терять время?

Он, тяжело дыша, смотрел мне в лицо.

— Меня ждут, понимаете? В номере сидит человек и ждет меня. И он не должен видеть вас у меня. Вы можете это понять?

— Не кричите так,— сказал я.— На нас глядят.

Римайер повел по сторонам заплывшими глазами.

— Пойдемте в лифт,— сказал он.

Мы вошли в кабину, и Римайер нажал кнопку пятнадцатого этажа.

— Говорите быстро, что вам надо.

Вопрос был на редкость глуп. Я даже растерялся.

— Вы что, не знаете, зачем я здесь?

Он потер лоб, затем проговорил:

— Черт, все так перепуталось... Слушайте, я забыл, как вас зовут.

— Жилин.

— Слушайте, Жилин, ничего нового у меня для вас нет. Мне некогда было этим заниматься. Это все бред, понимаете? Выдумки Марии. Они там сидят, пишут бумажки и выдумывают. Их всех надо гнать к чертовой матери.

Мы доехали до пятнадцатого этажа, и он нажал кнопку первого.

— Черт,— сказал он.— Еще пять минут, и он уйдет... В общем, я уверен в одном. Ничего этого нет. Во всяком случае, здесь, в городе.— Он вдруг украдкой глянул на меня и отвел глаза.— Вот что я вам скажу. Загляните к рыбарям. Просто для очистки совести.

— К рыбарям? К каким рыбарям?

— Сами узнаете,— нетерпеливо сказал он.— Да не капризничайте там, делайте все, что велят.— Потом он, словно оправдываясь, добавил:— Я не хочу предвзятости, понимаете?

Лифт остановился на первом этаже, и он нажал кнопку девятого.

— Все,— сказал он.— А потом мы увидимся и поговорим подробнее. Скажем, завтра в двенадцать.

— Ладно,— медленно сказал я. Он явно не хотел говорить со мной. Может быть, он не доверял мне. Что ж, это бывает.— Между прочим,— сказал я,— к вам заходил некий Оскар.

Мне показалось, что он вздрогнул.

— Он вас видел?

— Естественно. Он просил передать, что будет звонить сегодня вечером.

— Плохо, черт, плохо...— пробормотал Римайер.— Слушайте... Черт, как ваша фамилия?

— Жилин.

Лифт остановился.

— Слушайте, Жилин, это очень плохо, что он вас видел... Впрочем, плевать... Я пошел.— Он открыл дверцу кабины.— Завтра мы поговорим с вами как следует, ладно? Завтра... А вы загляните к рыбарям, договорились?

Он изо всех сил захлопнул за собой дверцу.

— Где мне их искать?— спросил я.

Я постоял немного, глядя ему вслед. Он почти бежал неверными шагами, удаляясь по коридору.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Я шел медленно, держась в тени деревьев. Изредка мимо прокатывали машины. Одна машина остановилась, водитель распахнул дверцу, перегнулся с сиденья, и его стошнило. Он вяло выругался, вытер рот ладонью, хлопнул дверцей и уехал. Он был немолодой, краснолицый, в пестрой рубашке на голое тело. Римайер, наверное, спился. Это случается довольно часто: человек старается, работает, считается ценным работником, к нему прислушиваются и ставят его в пример, но как раз в тот момент, когда он нужен для конкретного дела, вдруг оказывается, что он опух и обрюзг, что к нему бегают девки, что от него с утра пахнет водкой... Ваше дело его не интересует, и в то же время он страшно занят, он постоянно с кем-то встречается, разговаривает путано и неясно, и он вам не помощник. А потом вы охнуть не успеваете, как он оказывается в алкогольной лечебнице, или в сумасшедшем доме, или под следствием. Или вдруг женится — странно и нелепо, и от этой женитьбы отчетливо воняет шантажом... И остается только сказать: «Врачу, исцелися сам...»

Хорошо бы все-таки отыскать Пека. Пек — жесткий, честный человек, и он всегда все знает. Вы еще не успеете закончить техконтроль и выйти из корабля, а он уже на «ты» с дежурным поваром Базы, уже с полным знанием дела участвует в разборе конфликта между командиром Следопытов и главным инженером, не поделившими какой-то трозер, техники уже организуют в его честь вечеринку, а зам. директора советуется с

ним, отведя его в угол... Бесценный Пек! А в этом городе он родился и прожил здесь треть жизни...

Я нашел телефонную будку, позвонил в Бюро Обслуживания и попросил найти адрес или телефон Пека Зеная. Мне предложили подождать. В будке, как всегда, пахло кошками. Пластиковый столбик был исписан телефонами, разрисован рожами и неприличными изображениями. Кто-то, видимо, ножом глубоко вырезал печатными буквами незнакомое слово «СЛЕГ». Я приоткрыл дверь, чтобы не было так душно, и смотрел, как на противоположной, теневой, стороне улицы у входа в свое заведение курит бармен в белой куртке с засученными рукавами. Потом мне сообщили, что Пек Зенай, по данным на начало года, обитает по адресу: улица Свободы, 31, телефон 11—331. Я поблагодарил и тут же набрал этот номер. Незнакомый голос сообщил мне, что я не туда попал. Номер телефона правильный и адрес тоже, но Пек Зенай здесь не живет, а если и жил раньше, то неизвестно, когда и куда выехал. Я дал отбой, вышел из будки и перешел на другую сторону улицы, в тень.

Поймав мой взгляд, бармен оживился и сказал еще издали:

— Давайте заходите!

— Не хочется что-то,— сказал я.

— Что, не соглашается, стерва?— сказал бармен сочувственно.— Заходите, чего там, побеседуем... Скучно.

Я остановился.

— Завтра утром,— сказал я,— в десять часов в университете состоится лекция по философии неооптимизма. Читает знаменитый доктор философии Опир из столицы.

Бармен слушал меня с жадным вниманием, он даже перестал затягиваться.

— Надо же!— сказал он, когда я кончил.— До чего докатились, а! Позавчера девчонок в ночном клубе разогнали, а теперь у них, значит, лекции. Мы им еще покажем лекции!

— Давно пора,— сказал я.

— Я их к себе не пускаю,— продолжал бармен, все более оживляясь.— У меня глаз острый. Он еще только к двери подходит, а я уже вижу: интель. Ребята, говорю, интель идет! А ребята у нас как на подбор, сам Дод каждый вечер после тренировок у меня сидит. Ну, он, значит, встает, встречает этого интеля в дверях, и

не знаю уж, о чем они там беседуют, а только налаживает он его дальше. Правда, иной раз они компаниями бродят. Ну, тогда, чтобы, значит, скандала не было, дверь на стопор, пусть стучатся. Правильно я говорю?

— Пусть,— сказал я. Он мне уже надоел. Есть такие люди, которые надоедают необычайно быстро.

— Что — пусть?

— Пусть стучатся. Стучись, значит, в любую дверь.

Бармен настороженно посмотрел на меня.

— А ну-ка, проходите,— сказал вдруг он.

— А может, значит, по стопке?— предложил я.

— Проходите, проходите,— повторил он.— Вас здесь не обслужат.

Некоторое время мы смотрели друг на друга. Потом он что-то проворчал, попятился и задвинул за собой стеклянную дверь.

— Я не интель,— сказал я.— Я бедный турист. Богатый!

Он глядел на меня, расплющив нос на стекле. Я сделал движение, будто опрокидываю стаканчик. Он что-то сказал и ушел в глубину заведения. Было видно, как он бесцельно бродит между пустыми столиками. Заведение называлось «Улыбка». Я улыбнулся и пошел дальше.

За углом оказалась широкая магистраль. У обочины стоял огромный, облепленный заманчивыми рекламами грузовик-фургон. Задняя стенка его была опущена, и на ней, как на прилавке, горой лежали разнообразные вещи: консервы, бутылки, игрушки, стопы целлофановых пакетов с бельем и одеждой. Две молоденькие девчушки щебетали сущую ерунду, выбирая и примеряя блузки. «Фонит»,— пищала одна. Другая, прикладывая блузку так и этак, отвечала: «Чушики, чушики, и совсем не фонит».— «Возле шеи фонит».— «Чушики!»— «И крестик не переливается...» Шофер фургона, тощий человек в комбинезоне и в черных очках с мощной оправой, сидел на поребрике, прислонившись спиной к рекламной тумбе. Глаз его видно не было, но, судя по вялому рту и потному носу, он спал. Я подошел к прилавку. Девушки замолчали и уставились на меня, приоткрыв рты. Им было лет по шестнадцати, глаза у них были как у котят — синенькие и пустенькие.

— Чушики,— твердо сказал я.— Не фонит и переливается.

— А около шеи?— спросила та, что примеряла.

— Около шеи просто шедевр.

— Чушики,— нерешительно возразила вторая девочка.

— Ну, давай другую посмотрим,— миролюбиво предложила первая.— Вот эту.

— Вот эту лучше, серебристую, растопырочкой.

Я увидел книги. Здесь были великолепные книги. Был Строгов с такими иллюстрациями, о каких я никогда и не слыхал. Была «Перемена мечты» с предисловием Сарагона. Был трехтомник Вальтера Минца с перепиской. Был почти весь Фолкнер, «Новая политика» Вебера, «Полюса благолепия» Игнатовой, «Неизданный Сянь Ши-куй», «История фашизма» в издании «Память человечества». Были свежие журналы и альманахи, были карманные Лувр, Эрмитаж, Ватикан. Все было. «И тоже фонит...» — «Зато растопырочка!»— «Чушики...» Я схватил Минца, зажал два тома под мышкой и раскрыл третий. Никогда в жизни не видел полного Минца. Там были даже письма из эмиграции...

— Сколько с меня?— воззвал я.

Девицы опять уставились. Шофер подобрал губы и сел прямо.

— Что?— спросил он сипловато.

— Кто здесь хозяин?— осведомился я.

Он встал и подошел ко мне.

— Что вам надо?

— Я хочу этого Минца. Сколько с меня?

Девицы захихикали. Он молча смотрел на меня, затем снял очки.

— Вы иностранец?

— Да, я турист.

— Это самый полный Минц.

— Да я же вижу,— сказал я.— Я совсем ошалел, когда увидел.

— Я тоже,— сказал он.— Когда увидел, что вам нужно.

— Он же турист,— пискнула одна из девочек.— Он не понимает.

— Да это все без денег,— сказал шофер.— Личный фонд. В обеспечение личных потребностей.

Я оглянулся на полку с книгами.

— «Перемену мечты» вы видели?— спросил шофер.

— Да, спасибо, у меня есть.

— О Строгове я не спрашиваю. А «История фашизма»?

— Превосходное издание.

Девицы опять захихикали. Глаза у шофера выкатились.

— Бр-рысь, сопливые!— рявкнул он.

Девицы шарахнулись. Потом одна вороватым движением схватила несколько пакетов с блузками, они перебежали на другую сторону улицы и там остановились, глядя на нас.

— Р-р-растопырочки,— сказал шофер. Тонкие губы его подергивались.— Надо бросать всю эту затею. Вы где живете?

— На Второй Пригородной.

— А, в самом болоте... Пойдемте, я отвезу вам все. У меня в фургоне полный Щедрин, его я даже не выставляю, вся библиотека классики, вся «Золотая библиотека», полные «Сокровища философской мысли»...

— Включая доктора Опира?

— Сучий пóтрох,— сказал шофер.— Сластолюбивый подонок. Амеба. А Слия вы знаете?

— Мало,— сказал я.— Он мне не понравился. Неоиндивидуализм, как сказал бы доктор Опир.

— Доктор Опир вонючка,— сказал шофер. — А Слий — это настоящий человек. Конечно, индивидуализм. Но он по крайней мере говорит то, что думает, и делает то, о чем говорит... Я вам достану Слия... Послушайте, а вот это вы видели? А это?

Он зарывался в книги по локоть. Он нежно гладил их, перелистывал, на лице его было умиление.

— А это?— говорил он.— А вот такого Сервантеса, а?

К нам подошла немолодая осанистая женщина, покопалась в консервах и брюзгливо сказала:

— Опять нет датских пикулей?.. Я же вас просила.

— Идите к черту,— сказал шофер рассеянно.

Женщина остолбенела. Лицо ее медленно налилось кровью.

— Как вы посмели?— произнесла она шипящим голосом.

Шофер, сбычившись, посмотрел на нее.

— Вы слышали, что я вам сказал? Убирайтесь отсюда!

— Вы не смеете!..— сказала женщина.— Ваш номер?

— Мой номер девяносто три,— сказал шофер.— Девяносто три, ясно? И я на вас всех плевал! Вам ясно? У вас есть еще вопросы?

— Какое хулиганство!— сказала женщина с достоинством. Она взяла две банки консервированных лакомств, поискала на прилавке глазами и аккуратно содрала обложку с журнала «Космический человек».— Я вас запомню, девяносто третий номер! Это вам не прежние времена,— она завернула банки в обложку.— Мы еще с вами увидимся в муниципалитете...

Я крепко взял шофера за локоть. Каменная мышца под моими пальцами обмякла.

— Наглец,— сказала дама величественно и удалилась.

Она шла по тротуару, горделиво неся красивую голову с высокой цилиндрической прической. На углу остановилась, вскрыла одну из банок и стала аккуратно кушать, доставая розовые ломтики изящными пальцами. Я отпустил руку шофера.

— Надо стрелять,— сказал он вдруг.— Давить их надо, а не книжечки им развозить.— Он обернулся ко мне. Глаза у него были измученные.— Так отвезти вам книги?

— Да нет,— сказал я.— Куда я все это дену?

— Тогда пошел вон,— сказал шофер.— Минца взял? Вот пойди и заверни в него свои грязные подштанники.

Он влез в кабину. Что-то щелкнуло, и задняя стенка стала подниматься. Было слышно, как все трещит и катится внутри фургона. На мостовую упало несколько книг, какие-то блестящие пакеты, коробки и консервные банки. Задняя стенка еще не закрылась, когда шофер грохнул дверцей, и фургон рванулся с места.

Девицы уже исчезли. Я стоял один на пустой улице с томиками Минца в руках и смотрел, как ветерок лениво листает страницы «Истории фашизма» у меня под ногами. Потом из-за угла вынырнули мальчишки в коротких полосатых штанах. Они молча прошли мимо меня, засунув руки в карманы. Один из них соскочил на мостовую и погнал перед собой ногами, как футбольный мяч, банку ананасного компота с глянцевитой красивой этикеткой.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

На пути домой меня застигла смена. Улицы наполнились автомобилями. Над перекрестками повисли вертолеты-регулировщики, и потные полицейские, ревя мегафонами, разгоняли поминутно возникающие пробки.

Автомобили двигались медленно. Водители высовывали головы, переговаривались, острили, орали, прикуривали друг у друга и отчаянно сигналили. Лязгали бамперы. Все были веселы, все были добры, всё так и сияло дикарской восторженностью. Казалось, с души города только что свалился какой-то тяжелый груз, казалось, все были полны каким-то завидным предвкушением. На меня и на других пешеходов показывали пальцами. Несколько раз мне поддавали бампером на перекрестках — девушки, просто так, в шутку. Одна девушка долго ехала рядом со мной по тротуару, и мы познакомились. Потом по резервной полосе прошла демонстрация людей с постными лицами. Они несли плакаты. Плакаты взывали вливаться в самодеятельный городской ансамбль «Песни отечества», вступать в муниципальные кружки кулинарного искусства, записываться на краткосрочные курсы материнства и младенчества. Людям с плакатами поддавали бамперами с особенным удовольствием. В них кидали окурки, огрызки яблок и комки жеваной бумаги. Им кричали: «Сейчас запишусь, только галоши надену!», «А я стерильный!», «Дяденька, научи материнству!» А они продолжали медленно двигаться между двух сплошных потоков автомобилей, невозмутимо, жертвенно, глядя прямо перед собой с печальной надменностью верблюдов.

Недалеко от дома на меня напала толпа девиц, и когда я выбрался на Вторую Пригородную, в петлице у меня была пышная белая астра, на щеках сохли поцелуи, и мне казалось, что я познакомился с половиной девушек города. Вот это парикмахер! Вот это мастер!

В моем кабинете в кресле сидела Вузи в пламенно-оранжевой кофточке. Ее длинные ноги в остроносых туфлях покоились на столе, в длинных пальцах она держала тонкую длинную сигарету и, закинув голову, пускала через нос к потолку длинные плотные струи дыма.

— Наконец-то!— вскричала она, увидев меня.— Где вы пропадаете, в самом деле? Ведь я вас жду, вы что, не видите?

— Меня задержали,— сказал я, пытаясь вспомнить, точно ли я назначил ей свидание.

— Сотрите помаду,— потребовала она.— У вас дурацкий вид. А это еще что? Книги? Зачем вам?

— Как зачем?

— С вами просто беда. Опаздывает, таскается с какими-то книгами... Или это порники?

— Это Минц,— сказал я.

— Дайте сюда.— Она вскочила и выхватила книги у меня из рук.— Боже мой, какая глупость! Все три одинаковые... А это что такое? «История фашизма»... Вы что, фашист?

— Что вы, Вузи!— сказал я.

— Тогда зачем вам это? Вы что, будете их читать?

— Перечитывать.

— Ничего не понимаю,— сказала она обиженно.— Вы мне так понравились сначала... Мама говорит, что вы литератор, я уже перед всеми расхвасталась, как дура, а вы, оказывается, чуть ли не интель!

— Как можно, Вузи!— сказал я укоризненно. Я уже понял, что нельзя допускать, чтобы тебя принимали за интеля.— Эти книженции мне понадобились просто как литератору, и все.

— Книженции!— Она расхохоталась.— Книженции... Смотрите, как я умею!— Она закинула голову и выпустила из ноздрей две толстые струи дыма.— Со второго раза получилось. Здорово, верно?

— Редкостные способности,— заметил я.

— А вы не смейтесь, попробуйте сами... Меня сегодня научила одна дама в Салоне. Всю меня обслюнявила, старая корова... Будете пробовать?

— А зачем это она вас слюнявила?

— Кто?

— Корова.

— Ненормальная. А может, грустица... Как вас зовут, я забыла.

— Иван.

— Потешное имя. Вы мне потом еще напомните... Вы не тунгус?

— По-моему, нет.

— Ну-у-у... А я всем сказала, что вы тунгус. Жалко... Слушайте, а почему бы нам не выпить?

— Давайте.

— Мне сегодня нужно крепко выпить, чтобы забыть эту слюнявую корову.

Она выскочила в гостиную и вернулась с подносом. Мы выпили немного бренди, посмотрели друг на друга, не нашли, что сказать, и выпили еще немного бренди. Я чувствовал себя как-то неловко. Не знаю, в чем здесь было дело, но она мне нравилась. Что-то чудилось мне в ней, я сам не понимал, что именно; что-то отличало ее от стандартизованных, развинченных чита-

тельниц журналов мод. И по-моему, ей во мне тоже что-то чудилось.

— Прекрасная погода сегодня,— сказала она, отведя глаза.

— Жарко немного,— заметил я.

Она отхлебнула бренди, я тоже. Молчание затягивалось.

— Что вы больше всего любите делать?— спросила она.

— Когда как, а вы?

— Я тоже когда как. Вообще я люблю, чтобы было весело и ни о чем не надо думать.

— Я тоже,— сказал я.— По крайней мере сейчас.

Она как-то подбодрилась. А я вдруг понял, в чем дело: за весь день я сегодня не встретил ни одного по-настоящему приятного человека, и мне это просто надоело. Ничего в ней не было.

— Пойдем куда-нибудь,— сказала она.

— Можно,— сказал я. Мне никуда не хотелось идти, хотелось немного посидеть в прохладе.

— Я вижу, вам не очень-то хочется,— сказала она.

— Откровенно говоря, я предпочел бы немножко посидеть.

— А тогда сделайте, чтобы было весело.

Я подумал и рассказал про коммивояжера на верхней полке. Ей понравилось, хотя соли она, по-моему, не уловила. Я ввел поправку и рассказал про президента и старую деву. Она долго хохотала, дрыгая чудными длинными ногами. Тогда я хватил бренди и рассказал про вдову, у которой на стенке росли грибы. Она сползла на пол и чуть не опрокинула поднос. Я поднял ее под мышки, водворил в кресло и выдал историю про пьяного межпланетника и девочку из колледжа. Тут прибежала тетя Вайна и испуганно спросила, что делается с Вузи, не щекочу ли я ее. Я налил тете Вайне бренди и, обращаясь персонально к ней, рассказал про ирландца, который пожелал быть садовником. Вузи совсем зашлась, а тетя Вайна, грустно улыбнувшись, поведала, что генерал-полковник Туур любил рассказывать эту историю, когда был в хорошем настроении, только там фигурировал, кажется, не ирландец, а негр, и претендовал он на должность не садовника, а настройщика пианино. «И вы знаете, Иван, у нас эта история кончалась как-то не так»,— добавила она, подумав. В этот момент я заметил, что в дверях стоит

Лэн и смотрит на нас. Я помахал и улыбнулся ему. Он словно не заметил этого, и тогда я подмигнул ему и поманил его пальцем.

— С кем это вы там перемигиваетесь?— спросила Вузи ломаным от смеха голосом.

— Это Лэн,— сказал я. Все-таки смотреть на нее было одно удовольствие, люблю смотреть, когда люди смеются, особенно такие, как Вузи, красивые и почти дети.

— Где Лэн?— удивилась она.

Лэна в дверях не было.

— Лэна нет,— сказала тетя Вайна, которая одобрительно нюхала свою рюмочку с бренди и ничего не заметила.— Мальчик сегодня пошел к Зирокам на день рождения. Если бы вы знали, Иван...

— А почему он говорит — Лэн?— спросила Вузи, снова оглядываясь на дверь.

— Лэн был здесь,— объяснил я.— Я помахал ему рукой, а он убежал. Вы знаете, он мне показался немножко диковатым.

— Ах, он у нас очень нервный ребенок,— сказала тетя Вайна.— Он родился в тяжелое время, а в этих нынешних школах совершенно не умеют подойти к нервным детям. Сегодня я отпустила его в гости...

— Мы сейчас тоже пойдем,— сказала Вузи.— Вы меня проводите. Я только подмалююсь, а то из-за вас у меня все размазалось. А вы пока наденьте что-нибудь приличное.

Тетя Вайна была не прочь остаться, рассказать мне еще что-нибудь и, может быть, даже показать фотоальбом Лэна, но Вузи утащила ее с собой, и я слышал, как она спрашивает мать за дверью: «Как его зовут? Все не могу запомнить... Веселый дядька, правда?»— «Вузи!..»— укоризненно внушала тетя Вайна.

Я выложил на постель весь свой гардероб и попытался сообразить, как Вузи представляет себе прилично одетого человека. До сих пор мне казалось, что я одет вполне прилично. Вузины каблучки уже выбивали в кабинете нетерпеливую чечетку. Ничего не придумав, я позвал ее.

— Это все, что у вас есть?— спросила она, сморщив нос.

— Неужели не годится?

— Да ладно, сойдет... Снимайте пиджак и надевайте вот эту гавайку... или лучше вот эту. Ну и одеваются

у вас в Тунгусии... Давайте побыстрее. Нет-нет, рубашку тоже снимайте.

— Что, на голое тело?

— Знаете, вы все-таки тунгус. Вы куда собираетесь? На полюс? На Марс? Что это у вас под лопаткой?

— Пчелка укусила,— сказал я, торопливо натягивая гавайку.— Пошли.

На улице было уже темно. Люминесцентные лампы мертво светили сквозь черную листву.

— Куда мы направляемся?— спросил я.

— В центр, конечно... Не хватайте меня под руку, жарко... Драться вы хоть умеете?

— Умею.

— Это хорошо, я люблю смотреть.

— Смотреть я тоже люблю...

Народу на улицах было гораздо больше, чем днем. Под деревьями, среди кустов, в воротах группами по нескольку человек торчали какие-то неприкаянные люди. Они остервенело курили трещащие синтетические сигары, гоготали, небрежно и часто отплевывались и громко разговаривали грубыми голосами. Над каждой группой висел гомон радиоприемников. Под одним фонарем стучало банджо, и двое подростков, корячась и изгибаясь, отчаянно вскрикивая, плясали модный фляг, танец большой красоты, когда умеешь его танцевать. Подростки умели. Вокруг стояла компания, тоже отчаянно вскрикивала и ритмично била в ладоши.

— Может быть, станцуем?— предложил я Вузи.

— Нет уж...— прошипела она, схватила меня за руку и пошла быстрее.

— А почему нет? Вы не умеете фляг?

— Я лучше с крокодилами буду плясать, чем с этими...

— Напрасно,— сказал я.— Ребята как ребята.

— Да, каждый в отдельности,— сказала Вузи с нервным смешком.— И днем.

Они торчали на перекрестках, толпились под фонарями, угловатые, прокуренные, оставляя на тротуарах россыпи плевков, окурков и бумажек от конфет. Нервные и нарочито меланхоличные. Жаждущие, поминутно озирающиеся, сутуловатые. Они ужасно не хотели походить на остальной мир и в то же время старательно подражали друг другу и двум-трем популярным киногероям. Их было не так уж и много, но они бросались в глаза, и мне все время казалось, что каждый город

и весь мир заполнены ими,— может быть, потому, что каждый город и весь мир принадлежали им по праву. И они были полны для меня какой-то темной тайны. Ведь я сам простаивал когда-то вечера с компанией приятелей, пока не нашлись умелые люди, которые увели нас с улицы, и потом много-много раз видел такие же компании во всех городах земного шара, где умелых людей не хватало. Но я так никогда и не смог понять до конца, какая сила отрывает, отвращает, уводит этих ребят от хороших книг, которых так много, от спортивных залов, которых предостаточно в этом городе, от обыкновенных телевизоров, наконец, и гонит на вечерние улицы с сигаретой в зубах и транзистором в ухе — стоять, сплевывать (подальше), гоготать (попротивнее) и ничего не делать. Наверное, в пятнадцать лет из всех благ мира истинно привлекательным кажется только одно: ощущение собственной значительности и способность вызывать всеобщее восхищение или по крайней мере привлекать внимание. Все остальное представляется невыносимо скучным и занудным, и в том числе, а может, и в особенности те пути достижения желаемого, которые предлагает усталый и раздраженный мир взрослых...

— А вот здесь живет старый Руэн,— сказала Вузи.— У него каждый вечер новая. Устроился так, старый хрыч, что они к нему сами ходят. Во время заварушки ему оторвало ногу... Видите, у него света нет, радиолу слушают. А ведь страшный, как смертный грех!

— Хорошо тому живется, у кого одна нога...— рассеянно сказал я.

Она, конечно, захихикала и продолжала:

— А вот тут живет Сус. Он рыбарь. Вот это парень!

— Рыбарь?— сказал я.— И чем же он занимается, этот Сус-рыбарь?

— Рыбарит. Что делают рыбари? Рыбарят! Или вы спрашиваете, где он служит?

— Нет, я спрашиваю, где он рыбарит.

— В метро...— Она вдруг запнулась.— Слушайте, а вы сами не рыбарь?

— Я? А что, заметно?

— Что-то в вас есть, я сразу заметила. Знаем мы этих пчелок, которые кусают в спину.

— Неужели?— сказал я.

Она взяла меня под руку.

— Расскажите что-нибудь,— сказала она, подлащиваясь.— У меня никогда не было знакомых рыбарей. Вы ведь мне что-нибудь расскажете?

— А как же... Рассказать про летчика и корову?

Она подергала меня за локоть.

— Нет, правда...

— Какой жаркий вечер!— сказал я.— Хорошо, что вы сняли с меня пиджак.

— Все равно ведь все знают. И Сус рассказывает, и другие...

— Вот как?— спросил я с интересом.— И что же рассказывает Сус?

Она сразу отпустила мою руку.

— Я сама не слыхала... Девчонки рассказывали.

— И что же рассказывали девчонки?

— Ну... мало ли что... Может быть, они врут все. Может, Сус вовсе тут ни при чем...

— Гм...— сказал я.

— Ты только ничего не думай про Суса, он хороший парень и очень молчаливый.

— Чего ради я стану думать про Суса?— сказал я, чтобы ее успокоить.— Я его и в глаза не видел.

Она опять взяла меня под руку и с энтузиазмом сказала, что сейчас мы выпьем.

— Сейчас самое время нам выпить с тобой,— сказала она.

Она уже была со мною прочно на «ты». Мы свернули за угол и вышли на магистраль. Здесь было светлее, чем днем. Сияли лампы, светились стены, разноцветными огнями полыхали витрины. Это был, вероятно, один из кругов Амадова рая. Но я представлял себе все это как-то иначе. Я ожидал ревущие оркестры, кривляющиеся пары, полуголых и голых людей. А здесь было довольно спокойно. Народу было много, и, по-моему, все были пьяны, но все были отлично и разнообразно одеты, и все были веселы. И почти все курили. Ветра не было ни малейшего, и волны сизого табачного дыма качались вокруг ламп и фонарей, как в накуренной комнате. Вузи затащила меня в какое-то заведение, высмотрела знакомых и удрала, пообещав найти меня позже. Народ в заведении стоял стеной. Меня прижали к стойке, и я опомниться не успел, как проглотил рюмку горькой. Пожилой коричневый дядя с желтыми белками гудел мне в лицо:

— ...Куэн повредил ногу, так? Брош пошел в арти-

ки и теперь никуда не годен. Это уже трое, так? А справа у них нет никого, Финни у них справа, а это еще хуже, чем никого. Официант он, вот и все. Так?

— Что вы пьете?— спросил я.

— Я вообще не пью,— с достоинством ответил коричневый, дыша сивухой.— У меня желтуха. Слыхали про такое?

Позади меня кто-то сверзился с табурета. Шум то стихал, то усиливался. Коричневый, надсаживаясь, выкрикивал историю про какого-то типа, который на работе повредил шланг и чуть не умер от свежего воздуха. Понять что-нибудь было трудно, потому что разнообразные истории выкрикивались со всех сторон.

— ...Он, дурак, успокоился и ушел, а она вызвала грузотакси, погрузила его барахло и велела свезти за город и там все вывалить...

— ...А я твой телевизор к себе и в сортир не повешу. Лучше «Омеги» все равно ничего не придумать, у меня есть сосед, инженер, он так прямо и говорит. Лучше, говорит, «Омеги» ничего не придумать...

— ...Так у них свадебное путешествие и закончилось. Вернулись они домой, отец его в гараж заманил — а отец у него боксер — и там его исхлестал, ну, до потери сознания, врача потом вызывали...

— ...Ну, ладно, взяли мы троих... А правило у них, знаешь, какое: бери все, что захочешь, но сглотай все, что берешь. А он уже завелся. Берем, говорит, еще... А они уже ходят рядом и смотрят... Ну, думаю, хватит, пора рвать когти...

— ...Деточка, да я бы с твоим бюстом горя бы не знал, такой бюст раз на тысячу встречается, ты не думай, что я комплименты говорю, я этого не люблю...

На опустевший табурет рядом со мной вскарабкалась поджарая девчонка с челкой до кончика носа и принялась стучать кулачками по стойке, крича: «Бармен! Бармен! Пить!» Гомон опять немного стих, и я услыхал, как позади двое переговариваются трагическим полушепотом: «А где достал?» — «У Бубы. Знаешь Бубу? Инженер...» — «И что, настоящий?» — «Жуть, сдохнуть можно!» — «Там еще какие-то таблетки нужны...»— «Тихо, ты...» — «Да ладно, кто нас слушает... Есть у тебя?» — «Буба дал один пакетик, он говорит, это в любой аптеке навалом... Во, смотри...» Пауза. «Де... Девон... Что это такое?»— «Лекарство какое-то, почем я знаю...» Я обернулся. Один был краснощекий, в расстег-

нутой до пупа рубашке, с волосатой грудью. А другой был какой-то изможденный, с пористым носом. Оба смотрели на меня.

— Выпьем?— предложил я.

— Алкоголик,— сказал пористый нос.

— Не надо, не надо, Пэт,— сказал краснощекий.— Не заводись, пожалуйста.

— Если нужен «Девон», могу ссудить,— громко сказал я.

Они отшатнулись. Пористый нос принялся осторожно озираться. Краем глаза я заметил, что несколько лиц повернулись в нашу сторону и выжидательно застыли.

— Пошли, Пэт,— сказал вполголоса краснощекий.— Пошли, ну его совсем.

Кто-то положил руку мне на плечо. Я оглянулся и увидел загорелого красивого мужчину с мощными мышцами.

— Да?— сказал я.

— Приятель,— сказал он доброжелательно,— брось ты это дело. Брось, пока не поздно. Ты «Носорог»?

— Я гиппопотам,— сострил я.

— Не нужно, я серьезно. Тебя, может, побили?

— До синяков.

— Ладно, не расстраивайся. Сегодня тебя, завтра ты... А «Девон» и все прочее — это дрянь, ты уж мне поверь. Много на свете дряни, а это уж всем дряням дрянь, понимаешь?

Девочка с челкой посоветовала мне:

— Тресни ему по зубам, чего он суется... Шпик паршивый...

— Налакалась, дура,— спокойно сказал загорелый и повернулся к нам спиной. Спина у него была огромная, обтянутая полупрозрачной рубашкой и вся в круглых буграх мускулов.

— Не твое дело,— сказала девочка ему в спину. Затем она сказала мне:— Слушай, друг, позови бармена, я никак не докричусь.

Я отдал ей свой стакан и спросил:

— Чем бы заняться?

— А сейчас все пойдем,— ответила девочка. Проглотив спиртное, она сразу осоловела.— А заняться — это как повезет. Не повезет, так никуда не пробьешься. Или деньги нужны, если к меценатам. Ты приезжий, наверное? У нас эту горькую никто не пьет. Как там у вас, рассказал бы... Не пойду я сегодня никуда, пой-

ду в Салон. Настроение паршивое, ничего не помогает... Мать говорит: заведи ребенка. А ведь тоже скука, на что он мне сдался...

Она закрыла глаза и опустила подбородок на сплетенные пальцы. Вид у нее был какой-то наглый и обиженный одновременно. Я попытался ее расшевелить, но она перестала обращать на меня внимание и вдруг снова принялась орать: «Бармен! Пить! Ба-армен!» Я поискал глазами Вузи. Ее нигде не было видно. Кафе стало пустеть. Все куда-то заспешили. Я тоже слез с табурета и вышел. По улицам потоком шли люди. Все они шли в одном направлении, и минут через пять меня вынесло на площадь. Площадь была большая и плохо освещенная — широкое сумрачное пространство, окаймленное световым кольцом фонарей и витрин. И она была полна людьми.

Люди стояли вплотную друг к другу, мужчины и женщины, подростки, парни и девушки, переминались с ноги на ногу и чего-то ждали. Разговоров почти не было слышно. То там, то здесь разгорались огоньки сигарет, озаряя сжатые губы и втянутые щеки. Потом в наступившей тишине начали бить часы, и над площадью ярко вспыхнули гигантские плафоны. Их было три: красный, синий и зеленый, неправильной формы, в виде закругленных треугольников. Толпа колыхнулась и замерла. Вокруг меня тихонько задвигались, гася сигареты. Плафоны на мгновение погасли, а затем начали вспыхивать и гаснуть поочередно: красный — синий — зеленый, красный — синий — зеленый... Я ощутил на лице волну горячего воздуха, вдруг закружилась голова. Вокруг шевелились. Я поднялся на цыпочки. В центре площади люди стояли неподвижно; было такое впечатление, словно они оцепенели и не падают только потому, что сжаты толпой. Красный — синий — зеленый, красный — синий — зеленый... Одеревеневшие запрокинутые лица, черные разинутые рты, неподвижные вытаращенные глаза. Они там даже не мигали под плафонами... Стало совсем уже тихо, и я вздрогнул, когда пронзительный женский голос неподалеку крикнул: «Дрожка!» И сейчас же десятки голосов откликнулись: «Дрожка! Дрожка!» Люди на тротуарах по периметру площади начали размеренно хлопать в ладоши в такт вспышкам плафонов и скандировать ровными голосами: «Дрож-ка! Дрож-ка! Дрожка!» Кто-то уперся мне в спину острым локтем. На меня

навалились, толкая вперед, к центру площади, под плафоны. Я сделал шаг, другой, а затем двинулся через толпу, расталкивая оцепеневших людей. Двое подростков, застывших, как сосульки, вдруг бешено забились, судорожно хватая друг друга, царапаясь и колотя изо всех сил, но их неподвижные лица по-прежнему были запрокинуты к вспыхивающему небу... Красный — синий — зеленый, красный — синий — зеленый. И так же неожиданно подростки вновь замерли. И тут, наконец, я понял, что все это необычайно весело. Мы все хохотали. Стало просторно, загремела музыка. Я подхватил славную девочку, и мы пустились в пляс, как раньше, как надо, как давным-давно, как всегда, беззаботно, чтобы кружилась голова, чтобы все нами любовались, а мы отошли в сторонку, и я не отпускал ее руки, и совсем ни о чем не надо было говорить, и она согласилась, что шофер — очень странный человек. Терпеть не могу алкоголиков, сказал Римайер, этот пористый нос — самый настоящий алкоголик, а как же «Девон», сказал я, как же без «Девона», когда у нас замечательный зоопарк, быки любят лежать в трясине, а из трясины все время летит мошкара, Рим, сказал я, какие-то дураки сказали, что тебе пятьдесят лет, вот еще вздор какой, больше двадцати пяти лет я тебе не дам, а это Вузи, я ей про тебя рассказывал, так я же вам мешаю, сказал Римайер, нам никто не может помешать, сказала Вузи, а это Сус, самый лучший рыбарь, он схватил ляпник и попал скату прямо в глаз, и Хугер поскользнулся и упал в воду, не хватает, чтобы ты потонул, сказал Хугер, гляди, у тебя уже плавки растворились, какой вы смешной, сказал Лэн, это же есть такая игра, в гангстера и мальчика, помните, вы играли с Марией... Ах, как мне хорошо, почему мне еще никогда в жизни не было так хорошо, так обидно, ведь могло быть так хорошо каждый день, Вузи, сказал я, какие мы все молодцы, Вузи, у людей никогда не было такой важной задачи, Вузи, и мы ее решили, была лишь одна проблема, одна-единственная в мире, вернуть людям духовное содержание, духовные заботы, нет, Сус, сказала Вузи, я тебя очень люблю, Оскар, ты такой славный, но прости меня, пожалуйста, я хочу, чтобы это был Иван, я обнял ее и догадался, что ее можно поцеловать, и я сказал, я люблю тебя...

Бах! Бах! Бах! Что-то стало с треском лопаться в ночном небе, и на нас посыпались острые звонкие ос-

колки, и сразу сделалось холодно и неудобно. Это были пулеметные очереди. Загремели пулеметные очереди. «Ложись, Вузи!»— заорал я, хотя еще ничего не сообразил, и бросил ее на землю, и упал на нее, чтобы прикрыть от пуль, и тут меня стали бить по лицу...

Тра-та-та-та-та... Вокруг меня частоколом торчали одеревеневшие люди. Некоторые начали приходить в себя и обалдело шевелили белками. Я полулежал на груди твердого, как скамейка, человека, и прямо перед моими глазами была его широко раскрытая пасть с блестящей слюной на подбородке... Синий — зеленый, синий — зеленый, синий — зеленый... Чего-то не хватало. Раздавались пронзительные вопли, ругань, кто-то бился и визжал в истерике. Над площадью нарастал густой механический рев. Я с трудом поднял голову. Плафоны были прямо надо мной, синий и зеленый равномерно вспыхивали, а красный погас, и с него сыпался стеклянный мусор. Тра-та-та-та-та!..— и сейчас же лопнул и погас зеленый плафон. А в свете синего неторопливо проплыли распахнутые крылья, с которых срывались красноватые молнии выстрелов.

Я опять попытался броситься на землю, но это было невозможно, все они вокруг стояли, как столбы. Что-то гадко треснуло совсем недалеко от меня, взвился султан желто-зеленого дыма, и пахнуло отвратительной вонью. Пок! Пок! Еще два султана повисли над площадью. Толпа взвыла и заворочалась. Желтый дым был едкий, как горчица, у меня потекли слезы и слюни, я заплакал и закашлял, и вокруг все тоже заплакали, закашляли и хрипло завопили: «Сволочи! Хулиганье! Бей интелей!..» Снова послышался нарастающий рев мотора. Самолет возвращался. «Да ложитесь же, идиоты!»— закричал я. Все вокруг меня повалились друг на друга. Тра-та-та-та-та-та!.. На этот раз пулеметчик промахнулся, и очередь пришлась по дому напротив, зато газовые бомбы снова легли точно в цель. Огни вокруг площади погасли, погас синий плафон, и в кромешной тьме началась свалка.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Не знаю, как я добрался до этого фонтана. Наверное, у меня здоровые инстинкты, а обыкновенная холодная вода — это было как раз то, что нужно. Я полез

в воду, не раздеваясь, и лег. Мне сразу стало легче. Я лежал на спине, на лицо мне сыпались брызги, и это было необычайно приятно. Здесь было совсем темно, сквозь ветви и воду просвечивали неяркие звезды, и было совсем тихо. Несколько минут я почему-то следил за звездой поярче, медленно двигавшейся по небу, пока не сообразил, что это ретрансляционный спутник «Европа», и подумал, как это далеко отсюда и как это обидно и бессмысленно, если вспомнить безобразную кашу на площади, отвратительную ругань и визг, мокротное харканье газовых бомб и тухлую вонь, выворачивающую наизнанку желудок и легкие. Понимая свободу как приумножение и скорое утоление потребностей, вспомнил я, искажают природу свою, ибо зарождают в себе много бессмысленных и глупых желаний, привычек и нелепейших выдумок... Бесценный Пек обожал цитировать старца Зосиму, когда кружил с потиранием рук вокруг накрытого стола. Тогда мы были сопливыми курсантами и совершенно серьезно воображали, будто такого рода изречения годятся в наше время лишь для того, чтобы блеснуть эрудицией и чувством юмора... Тут кто-то шумно рухнул в воду шагах в десяти от меня.

Сначала он хрипло кашлял, отхаркивался и сморкался, так что я поспешил выбраться из воды, потом принялся плескаться, ненадолго совсем затих и вдруг разразился бранью.

— Гниды бесстыжие,— рычал он,— про-р-роститутки... собаки свинячьи... По живым людям! Гиены вонючие, дряни поганые... Слегачи образованные, гады...— Он снова яростно отхаркался.— Свербит у них, что люди развлекаются... На щеку наступили, сволочи...— Он болезненно охнул в нос.— Провались они с этой дрожкой, чтобы я туда еще раз пошел...

Он опять застонал и поднялся. Было слышно, как с него льет. Я смутно видел во мраке его шатающуюся фигуру. Он тоже меня заметил.

— Эй, друг, закурить нет? — окликнул он.

— Было,— сказал я.

— Гады,— сказал он.— Я тоже не догадался вынуть. Так во всем плюхнулся.— Он прошлепал ко мне и присел рядом.— Болван какой-то на щеку наступил,— сообщил он.

— По мне тоже прошлись,— сочувственно сказал я.— Ошалели все.

— Нет, ты мне скажи, откуда они слезогонку берут?— сказал он.— И пулеметы.

— И самолеты,— добавил я.

— Самолет что!— возразил он.— Самолет у меня у самого есть. Купил по дешевке, всего семьсот крон... Чего им надо, вот что я не понимаю!

— Хулиганье,— сказал я.— Набить им как следует морду, вот и весь разговор...

Он желчно рассмеялся.

— Как же, набил один такой!.. Они тебя так отделают... Ты думаешь, их не били? Еще как били! Да, видно, мало... Их надо было в землю вбить, с пометом ихним вместе, а мы прозевали... А теперь они нас бьют. Народ мягкий стал, вот что я тебе скажу. Всем на все наплевать. Отбарабанил свои четыре часика, выпил — и на дрожку, и бей ты его хоть из пушки.— Он в отчаянии хлопнул себя по мокрым бокам.— Ведь были же, говорят, времена!— завопил он.— Ведь пикнуть же не смели! Чуть из них кто вякнет — ночью к нему в белых балахонах или там в черных рубашках, дадут в зубы с хрустом и в лагерь, чтоб не вякал... В школах, сын рассказывает, все фашистов поносят: ах, негров обижали, ах, ученых совсем затравили, ах, лагеря, ах, диктатура! Да не травить надо было, а в землю вбивать, чтобы на развод не осталось!— Он с длинным хлюпаньем провел ладонью под носом.— Завтра на работу с утра, а мне всю морду свезло... Пойдем выпьем, а то еще простудимся...

Мы пролезли через кусты и выбрались на улицу.

— Тут за углом «Ласочка»,— сообщил он.

«Ласочка» была полна мокроволосыми полуголыми людьми. По-моему, все были подавлены, как-то смущены и мрачно хвастались друг перед другом синяками и ссадинами. Несколько девушек в одних трусиках, сгрудившись вокруг электрокамина, сушили юбки — их платонически похлопывали по голому. Мой спутник сразу пролез в толпу и, размахивая руками и поминутно сморкаясь в два пальца, стал призывать «вколотить их, сволочей, в землю». Ему вяло поддакивали.

Я спросил русской водки, а когда девушки отошли и оделись, снял гавайку и подсел к камину. Бармен поставил передо мной стакан и снова вернулся за стойку к пухлому журналу — решать кроссворд. Публика разговаривала.

— И чего, спрашивается, стрелять? Не настреля-

лись, что ли? Как маленькие, ей-богу... Добро только портят.

— Бандиты, хуже гангстеров, а только как хотите, дрожка эта — тоже гадость.

— Это точно. Давеча моя говорит, я, говорит, тебя, пап, видела, ты, говорит, папа, синий был, как покойник, и очень уж страшный, а ей всего-то десять лет, каково мне было в глаза ей смотреть, а?..

— Эй, кто-нибудь,— сказал бармен, не поднимая головы.— Развлечение из четырех букв, это что?

— Ну, хорошо. А кто все это выдумал? И дрожку, и ароматьеры... А? Вот то-то...

— Если промокнешь, лучше всего бренди.

— ...Ждали мы его на мосту. Смотрим, идет, очкарик, и трубу такую несет со стеклами. Мы его ка-ак взяли — с моста. С очками вместе и с трубой, только ногами дрыгнул... А потом Ноздря прибегает, в сознание его, значит, привели, посмотрел с моста, как тот булькает. Ребята, говорит, да вы что, пьяные, это же совсем не тот, я этого, говорит, в первый раз вижу...

— А по-моему, надо издать закон: если ты семейный, нечего на дрожку шляться...

— Эй, кто-нибудь,— сказал бармен.— А как будет литературное произведение из семи букв? Книжка, что ли?..

— ...Так у меня у самого во взводе было четыре интеля, пулеметчики. Совершенно правильно, дрались, как черти. Я помню, мы с пакгаузов удирали,— ну, знаете, там еще теперь фабрику строят, и вот двое остались прикрывать. Между прочим, никто их не просил, вызвались исключительно сами. А потом вернулись мы, а они висят рядышком на мостовом кране, голые, и все у них калеными щипцами повыдергано. Вот так, понял? А теперь я думаю: где остальные двое сегодня, скажем, были? Может, они меня же слезогонкой угощали, ведь такие могут вполне...

— Мало ли кого вешали... Нас тоже вешали за разные места.

— В землю их вколотить до ноздрей, и все тут!

— Я пойду. Чего тут сидеть... У меня уже изжога началась. А там, наверное, все починили...

— Эй, бармен, девочки! По последней!

Гавайка моя высохла. Я оделся и, когда кафе опустело, перебрался за столик и стал смотреть, как в углу двое изысканно одетых пожилых людей тянут через

соломинку коктейль. Они сразу бросались в глаза — оба, несмотря на очень теплую ночь, в строгих черных костюмах и при черных галстуках. Они не разговаривали, а один все время поглядывал на часы. Потом я отвлекся. Ну, доктор Опир, как вам показалась эта дрожка? Вы были на площади? Да нет, вы, конечно, не были. А зря. Интересно было бы знать, что вы об этом думаете. Впрочем, черт с вами. Какое мне дело до того, что думает доктор Опир? Что я сам об этом думаю? Что ты об этом думаешь, высококачественное парикмахерское сырье? Скорей бы акклиматизироваться. Не забивайте мне голову индукцией, дедукцией и техническими приемами. Самое главное — побыстрее акклиматизироваться. Почувствовать себя своим среди них... Вот все они опять пошли на площадь. Несмотря на то, что произошло, они все-таки снова пошли на площадь. А у меня нет, ну, ни малейшего желания идти на площадь. Я бы с удовольствием пошел сейчас домой и опробовал бы свою новую кровать. А когда же к рыбарям? Интели, «Девон» и рыбари. Интели — может, это местная золотая молодежь? «Девон»... «Девон» надо иметь в виду. Вместе с Оскаром. Теперь рыбари...

— Рыбари — это немного вульгарно,— негромко, но отнюдь не шепотом сказал один из черных костюмов.

— Все зависит от темперамента,— сказал другой.— Лично я нисколько не осуждаю Карагана.

— Видите ли, я тоже не осуждаю. Немного шокирует то, что он забрал свой пай. Джентльмен так не поступил бы.

— Простите, но Караган не джентльмен. Он всего лишь директор-распорядитель. Отсюда и мелочность, и меркантильность, и некоторая, я бы сказал, мужиковатость...

— Не будем так строги. Рыбари — это интересно. И честно говоря, я не вижу оснований, почему бы нам не заниматься этим. Старое Метро — это вполне респектабельно. Уайлд элегантнее Нивеля, но мы же не отказываемся на этом основании от Нивеля...

— И вы серьезно готовы?..

— Хоть сейчас... Кстати, без пяти два. Пойдемте?

Они поднялись, вежливо-дружески попрощались с барменом и пошли к выходу — элегантные, спокойные, снисходительно-высокомерные. Это было удивительной удачей. Я громко зевнул и, проговорив: «На площадь пойти...», последовал за ними, раздвигая табуретки.

Улица была еле освещена, но я сразу увидел их. Они не торопились. Тот, что шел справа, был пониже, и, когда они проходили под фонарями, было видно, что волосы у него мягкие и редкие. По-моему, они больше не разговаривали.

Они обогнули сквер, свернули в совсем темный переулок, отшатнулись от пьяного человека, попытавшегося с ними заговорить, и вдруг резко, так ни разу и не оглянувшись, нырнули в сад перед большим мрачным домом. Я услышал, как гулко хлопнула тяжелая дверь. Было без двух минут два.

Я отпихнул пьяного, вошел в сад и присел на выкрашенную серебряной краской скамейку в кустах сирени. Скамейка была деревянная, дорожка, ведущая через сад, посыпана песком. Подъезд дома освещался синей лампочкой, и я разглядел две кариатиды, держащие балкон над дверью. На вход в метро это не было похоже, но это еще ничего не значило, и я решил подождать.

Ждать пришлось недолго. Зашуршали шаги, и на дорожке появилась темная фигура в накидке. Это была женщина. Я не сразу понял, почему мне показалась знакомой ее гордо поднятая голова с высокой цилиндрической прической, в которой блестели под звездами крупные камни. Я встал ей навстречу и произнес, стараясь придать голосу насмешливо-почтительные интонации:

— Опаздываете, сударыня, уже третий час.

Она нисколько не испугалась.

— Да что вы говорите?— воскликнула она.— Неужели мои часы отстают?

Это была та самая женщина, которая повздорила с шофером фургона, но она, конечно, не узнала меня. Женщины с такой брезгливой нижней губой никогда не помнят случайных встречных. Я взял ее под руку, и мы поднялись по широким каменным ступенькам. Дверь оказалась тяжелой, как крышка реакторного колодца. В вестибюле никого не было. Женщина, не оглядываясь, сбросила мне на руки накидку и пошла вперед, а я задержался на секунду, оглядывая себя в огромном зеркале. Молодец мастер Гаоэй, но держаться мне все-таки рекомендуется в тени. Мы вошли в зал.

Нет, это было что угодно, но только не метро. Зал был большой и невероятно старомодный. Стены были обшиты черным деревом, на высоте пяти метров прохо-

дила галерея с балюстрадой. С раскидистого потолка грустно улыбались одними губами розовые белокурые ангелы. Почти всю площадь зала занимали ряды мягких кресел, обитых тисненой кожей и очень массивных на вид. В креслах, небрежно развалясь, располагались элегантно одетые люди, большей частью пожилые мужчины. Они смотрели в глубину зала, где на фоне черного глубокого бархата сияла ярко подсвеченная картина.

На нас никто не оглянулся. Дама проплыла в передние ряды, а я присел в кресло поближе к двери. Теперь я был почти совершенно уверен, что пришел сюда зря. В зале молчали и покашливали, от толстых сигар мирно тянулись синеватые струйки дыма, многочисленные лысины покойно сияли под электрической люстрой. Я обратился к картине. Я неважный знаток живописи, но, по-моему, это был Рафаэль, и если не подлинный, то весьма совершенная копия.

Грянул густой медный удар, и в ту же секунду рядом с картиной возник высокий худой человек в черной маске, весь от шеи до ногтей облитый черным трико. За ним, прихрамывая, следовал горбатенький карлик в красном балахоне. В коротких вытянутых лапках карлик держал огромный, тускло отсвечивающий меч самого зловещего вида. Он замер справа от картины, а замаскированный человек выступил вперед и глухо заговорил:

— В соответствии с законами и установлениями благородного сообщества меценатов и во имя искусства, святого и неповторимого, властью, данной мне вами, я рассмотрел историю и достоинства этой картины, и теперь...

— Прошу остановиться!— раздался позади меня резкий голос.

Все обернулись. Я тоже обернулся и увидел, что на меня в упор глядят трое молодых, видимо, очень сильных людей в изысканно старомодных темных костюмах. У одного в правой глазнице блестел монокль. Несколько секунд мы разглядывали друг друга, затем человек с моноклем, дернув щекой, уронил монокль. Я сейчас же встал. Они разом двинулись на меня, ступая мягко и неслышно, как кошки. Я попробовал кресло — оно было слишком массивное. Они кинулись. Я встретил их как мог, и сначала все шло хорошо, но очень быстро я понял, что у них кастеты, и еле успел

увернуться. Я прижался спиной к стене и смотрел на них, а они, тяжело дыша, смотрели на меня. Их еще оставалось двое. В зале покашливали. С галереи по деревянной лестнице поспешно спускались еще четверо, ступеньки скрипели и визжали на весь зал. Плохо дело, подумал я и бросился на прорыв.

Это была тяжелая работа, совсем как в Маниле, но там нас было двое. Уж лучше бы они стреляли, тогда бы я отобрал у кого-нибудь пистолет. Но они все шестеро встретили меня кастетами и резиновыми дубинками. Счастье еще, что было очень тесно. Левая рука у меня вышла из строя, когда четверо вдруг отскочили, а пятый окатил меня из плоского блестящего баллона какой-то холодной мерзостью. И сейчас же в зале погас свет.

Эти штучки были мне знакомы: теперь они меня видели, а я их — нет. И мне бы, наверное, пришел конец, но тут какой-то дурак распахнул дверь и жирным басом провозгласил: «Прошу прощения, я ужасно опоздал и так сожалею...» Я ринулся на свет по падающим телам, смел с ног опоздавшего, пролетел через вестибюль, вышиб парадную дверь и, придерживая левую руку правой, пустился бежать по песчаной дорожке. Никто меня не преследовал, но я пробежал две улицы, прежде чем догадался остановиться.

Я повалился на газон и долго лежал в жесткой траве, хватая ртом теплый парной воздух. Сразу собрались любопытные. Они стояли полукругом и глазели с жадностью, даже не переговаривались. «Пошли вон...»— сказал я, наконец, поднимаясь. Они поспешно разошлись. Я постоял, соображая, где нахожусь, а затем побрел домой. На сегодня с меня было достаточно. Я так ничего и не понял, но с меня было вполне достаточно. Кто бы они ни были, эти члены благородного сообщества меценатов,— тайные поклонники искусства, или недобитые аристократы-заговорщики, или еще кто-нибудь,— дрались они больно и беспощадно, и самым большим дураком у них в зале был все-таки, по-видимому, я.

Я миновал площадь, где опять размеренно вспыхивали цветные плафоны и сотни истерических глоток орали: «Дрож-ка! Дрож-ка!» И этого с меня хватит. Приятные сны, конечно, всегда лучше неприятной действительности, но живем-то мы не во сне... В заведении, куда меня проводила Вузи, я выпил бутылку ледяной

минеральной воды, поглазел, отдыхая, на наряд полиции, мирно расположившийся у стойки, потом вышел и свернул на свою Пригородную. За левым ухом у меня наливалась гуля величиной с теннисный мяч. Меня качало, и я шел медленно, держась поближе к изгороди. Потом я услыхал за спиной стук каблуков и голоса.

— ...твое место было в музее, а не в кабаке!

— Ничего подобного... я не пьян. Как в-вы не понимаете, всего одна бутылка м-мозеля...

— Гадость какая! Напился, подцепил девку...

— При чем здесь девка? Это одна н-натурщица...

— Подрался из-за девки, заставил нас драться из-за девки...

— К-какого черта вы верите им и не верите мне?

— Да потому, что ты пьян! Ты подонок, такой же, как они, даже хуже...

— Ничего! Того мер-рзавца с браслетом я оч-чень хорошо запомнил... Не держите меня! Я сам пойду!..

— Ничего ты, братец, не запомнил. Очки с тебя сбили моментально, а без очков ты не человек, а слепая кишка... Не брыкайся, а то в фонтан!

— Я тебя предупреждаю, еще одна такая выходка, и мы тебя выгоним. Пьяный культуртрегер — какая гадость!

— Да не читай ты ему морали, дай человеку проспаться...

— Р-ребята! Вот он, м-мерзавец!..

Улица была пуста, и мерзавцем, очевидно, был я. Я уже мог сгибать и разгибать левую руку, но мне было еще очень больно, и я остановился, чтобы пропустить их. Их было трое. Это были молодые парни в одинаковых каскетках, сдвинутых на глаза. Один, плотный и приземистый, явно веселясь, очень крепко держал под руку другого, рослого, мордастого, с разболтанными движениями и неожиданными порывами... Третий, худой и длинный, с узким темным лицом, шел поодаль, держа руки за спиной. Поравнявшись со мной, разболтанный верзила решительно затормозил. Приземистый парень попытался сдвинуть его с места, но тщетно. Длинный прошел несколько шагов и тоже остановился, нетерпеливо глядя через плечо.

— Попался, с-скотина!— заорал пьяный, порываясь схватить меня за грудь свободной рукой.

Я отступил к забору и сказал, обращаясь к приземистому:

— Я вас не трогал.

— Перестань безобразничать!— резко сказал длинный издали.

— Я тебя а-атлично запомнил!— орал пьяный.— От меня не уйдешь! Я с тобой посчитаюсь!

Он рывками надвигался на меня, волоча за собой приземистого, который вцепился в него, как полицейский бульдог.

— Да это не тот!— уговаривал приземистый, которому было очень весело.— Тот же на дрожку пошел, а этот трезвый...

— М-меня не обманешь...

— Предупреждаю в последний раз, мы тебя выгоним!

— Испугался, мер-рзавец! Браслет снял!

— Ты же его не видишь! Ты же без очков, балда!..

— Я все а-атлично вижу!.. А если даже и не тот...

— Прекрати, наконец!..

Длинный все-таки подошел и вцепился в пьяного с другой стороны.

— Да проходите вы!— сказал он мне раздраженно.— Что вы, в самом деле, тут остановились? Пьяного не видели?

— Не-ет, от меня не уйдешь!

Я пошел своей дорогой. До дома было уже недалеко. Компания шумно тащилась следом.

— Если угодно, я его наскозь в-вижу! Царь пр-ироды... Напился до р-рвоты, н-набил кому-нибудь мор-рду, сам получил как следует, и н-ничего ему больше не надо... Пу-пустите, я ему навешаю по чавке...

— До чего ты докатился, ведем тебя, как гангстера...

— А ты меня не в-веди!.. Я их ненавижу!.. Дрожки... Водки... Бабы... Студень безмозглый...

— Да, конечно, успокойся... Только не падай.

— Довольно ур-р... упреков!.. Вы мне надоели вашим фарисейством... пу-ри-тант...танством... Нужно рвать! Стрелять! Всех стереть с лица з-земли!

— Ох, и нализался! А я было решил, что он совсем протрезвел...

— Я тр-резв! Я все помню. Двадцать восьмого... Что, не так?

— Заткнись, балда!

— Ч-ш-ш-ш-ш! Вер-рна! Враг начеку... Ребята, тут был где-то шпик... Я же с ним разговаривал... Браслет, сволочь, с-снял... Но я этого шпика еще до двадцать восьмого...

— Да замолчи ты!

— Ч-ш-ш-ш-ш! Все! И ни слова больше... И не беспокойтесь, минометы за мной...

— Я его сейчас убью, этого подонка...

— Па вр-врагам ци... цивилизации... Полторы тысячи метров слезогонки — лично... Шесть секторов... Э-эк!

Я был уже у ворот своего дома. Когда я оглянулся, рослый лежал лицом вниз, приземистый сидел над ним на корточках, а длинный стоял поодаль и потирал левой рукой ребро ладони правой.

— Ну зачем ты это сделал?— сказал приземистый.— Ты же его искалечил.

— Хватит болтовни,— сказал длинный яростно.— Никак не отучимся болтать. Никак не отучимся пить водку. Хватит.

Будем как дети, доктор Опир, подумал я, по возможности бесшумно проскальзывая во двор. Я придержал створки ворот, чтобы они не щелкнули, закрываясь.

— А где этот?— спросил длинный, понижая голос.

— Кто?

— Этот тип, который шел впереди...

— Свернул куда-то...

— Куда, ты не заметил?

— Слушай, мне было не до него.

— Жаль... Ну ладно, бери его, пошли.

Отступив в тень яблонь, я смотрел, как они проволокли пьяного мимо ворот. Пьяный страшно хрипел.

В доме было тихо. Я прошел к себе, разделся и принял горячий душ. Гавайка и шорты попахивали слезогонкой и были покрыты жирными пятнами светящейся жидкости. Я бросил их в утилизатор. Затем я осмотрелся перед зеркалом и еще раз подивился, как легко отделался: желвак за ухом, порядочный синяк на левом плече и несколько ссадин на ребрах. Да ободранные кулаки.

На ночном столике я обнаружил извещение, в котором мне почтительно предлагалось внести деньги за квартиру за первые тридцать суток. Сумма оказалась изрядной, но вполне терпимой. Я отсчитал несколько кредиток и сунул их в предусмотрительно оставленный конверт, а затем лег на кровать, закинув здоровую руку за голову. Простыни были прохладные, хрустящие, в открытое окно вливался солоноватый морской воздух. Над ухом уютно сипел фонор. Я собирался не-

много подумать перед сном, но был слишком измотан и быстро задремал.

Что-то разбудило меня, и я открыл глаза и насторожился, прислушиваясь. Где-то недалеко не то плакали, не то пели тонким детским голосом. Я осторожно поднялся и высунулся из окна. Тонкий прерывающийся голос бормотал: «...в гробах мало побыв, выходят и живут, как живые среди живых...» Послышалось всхлипывание. Издалека, словно комариный звон, доносилось: «Дрож-ка! Дрож-ка!» Жалобный голос произнес: «...кровь с землей замешав, не поест...» Я подумал, что это пьяная Вузи плачет и причитает в своей комнате наверху, и позвал вполголоса: «Вузи!» Никто не отозвался. Тонкий голос выкрикнул: «Уйди от волос моих, уйди от мяса моего, уйди от костей моих!»— и я понял, кто это. Я перелез через подоконник, спрыгнул в траву и вошел в сад, прислушиваясь к всхлипываниям. Между деревьями показался свет, и скоро я наткнулся на гараж. Ворота были полуоткрыты, я заглянул внутрь. Там стоял огромный блестящий «опель». На монтажном столике горели две свечи. Пахло ароматическим бензином и горячим воском.

Под свечами на шведской скамейке сидел Лэн в белой до пяток рубашке и босиком, с толстой потрепанной книгой на коленях. Широко раскрытыми глазами он смотрел на меня, и лицо его было совсем белое и окаменевшее от ужаса.

— Ты что здесь делаешь?— громко спросил я и вошел.

Он молча смотрел на меня, затем начал дрожать. Я услышал, как стучат его зубы.

— Лэн, дружище,— сказал я.— Да ты, видно, не узнал меня. Это же я, Иван.

Он выронил книгу и спрятал руки под мышками. Как и сегодня утром, лицо его покрылось испариной. Я сел рядом с ним и обнял его за плечи. Он обессиленно привалился ко мне. Его всего трясло. Я посмотрел на книгу. Некий доктор Нэф осчастливил человечество «Введением в учение о некротических явлениях». Я пинком отбросил книгу под столик.

— Чья это машина?— спросил я громко.

— Ма... мамина...

— Отличный «форд».

— Это не «форд», это «опель».

— А ведь верно, «опель». Миль двести, наверное?

— Да...

— А где ты свечки достал?

— Купил.

— Да ну? Вот не знал, что в наше время продаются свечи. А у вас тут что, лампочка перегорела? Я, понимаешь, вышел в сад яблочко сорвать, гляжу, свет в гараже...

Он тесно придвинулся ко мне и сказал шепотом:

— Вы... Вы еще немножко не уходите.

— Ладно. А может, погасим свет и пойдем ко мне?

— Нет, туда нельзя.

— Куда нельзя?

— К вам. И в дом нельзя.— Он говорил с огромной убежденностью.— Еще долго нельзя. Пока не заснут.

— Кто?

— Они.

— Кто — они?

— Они. Слышите?

Я прислушался. Слышно было только, как шуршат ветки под ветром, да где-то далеко-далеко орут: «Дрож-ка! Дрож-ка!».

— Ничего особенного не слышу,— сказал я.

— Это потому, что вы не знаете. Вы здесь новичок, а новичков они не трогают.

— А кто же это все-таки — они?

— Все они. Видели вы этого хмыря с пуговицами?

— Пети? Видел. А почему он хмырь? По-моему, вполне приличный человек...

Лэн вскочил.

— Пойдемте,— сказал он шепотом.— Я вам покажу. Только тихо.

Мы вышли из гаража, подкрались к дому и обогнули угол. Лэн все время держал меня за руку. Ладонь у него была холодная и мокрая.

— Вот, смотрите,— сказал он.

Действительно, зрелище было страшненькое. На хозяйской веранде, просунув неестественно свернутую голову сквозь перила, лежал мой таможенник. Ртутный свет с улицы падал на его лицо, оно было синее, вспухшее, покрытое темными потеками. Сквозь полуоткрытые веки виднелись мутные, скошенные к переносице глаза. «Ходят между живыми, как живые, при свете дня,— бормотал Лэн, держась за меня обеими руками.— Кивают и улыбаются, но в ночи лица их белые, и кровь выступает на лицах...» Я подошел к веранде. Таможен-

ник был в ночной пижаме. Он сипло дышал, от него пахло коньяком. На лице его была кровь, похоже было, что он упал мордой на битое стекло.

— Да он просто пьян,— сказал я громко.— Пьяный человек. Храпит. Очень противно.

Лэн помотал головой.

— Вы новичок,— прошептал он.— Вы ничего не видите. А я видел...— Его снова затрясло.— Их много пришло... Это она их привела... и принесли ее... Была луна... Они отпилили ей макушку... Она кричала, так кричала... А потом стали есть ложками... И она ела, и все смеялись, что она кричит и бьется...

— Кто? Кого?

— А потом завалили деревом и сожгли... и плясали у костра... А потом все зарыли в саду... Она за лопатой ездила на машине... Я все видел... Хотите, покажу, где зарыли?

— Вот что, приятель,— сказал я.— Пошли ко мне.

— Зачем?

— Спать, вот зачем. Все давно спят, только мы с тобой тут болтаем.

— Никто не спит. Вы совсем новичок. Сейчас никто не спит. Сейчас спать нельзя.

— Пошли, пошли,— сказал я.— Ко мне пошли.

— Не пойду,— сказал он.— Не трогайте меня. Я вашего имени не называл.

— А вот я сейчас ремень возьму,— сказал я грозно,— и напорю тебя по заднице!

Кажется, это его немного успокоило. Он снова вцепился мне в руку и замолчал.

— Пошли, дружище, пошли,— сказал я.— Ты будешь спать, а я буду рядом сидеть. И если что-нибудь случится, сразу тебя разбужу.

Мы влезли через окно в мою спальню (входить в дом через дверь он отказался наотрез), и я уложил его в постель. Я намеревался рассказать ему сказку, но он сразу же заснул. Лицо у него было измученное, и он все время вздрагивал во сне. Я придвинул кресло к окну, закутался в плед и выкурил сигарету, чтобы успокоиться. Я попытался думать о Римайере, о рыбарях, до которых я так и не добрался, о том, что должно случиться двадцать восьмого числа, о меценатах, но у меня ничего не получалось, и это меня раздражало. Меня раздражало, что я никак не мог заставить себя думать о своем деле как о чем-то важном. Мысли раз-

бегались, лезли эмоции, я не столько думал, сколько чувствовал. Я чувствовал, что не зря приехал сюда, но в то же время чувствовал, что приехал совсем не за тем, за чем нужно.

А Лэн спал. Он не проснулся даже, когда у ворот зафыркал мотор, застучали автомобильные дверцы, кто-то заорал, зареготал и завыл на разные голоса, и я решил было, что перед домом совершают преступление, но оказалось, что это всего-навсего вернулась Вузи. Весело напевая, она принялась раздеваться еще в саду, небрежно развешивая на яблонях юбку, блузку и прочее. Меня она не заметила, вошла в дом, повозилась немного у себя наверху, уронила что-то тяжелое и, наконец, затихла. Было около пяти. Над морем разгоралась заря.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Когда я проснулся, Лэна уже не было. Плечо у меня ломило так, что боль отдавала в темя, и я дал себе слово весь сегодняшний день «ходить опасно». Кряхтя и чувствуя себя больным и жалким, я проделал некое подобие зарядки, кое-как умылся, взял конверт с деньгами и отправился к тете Вайне, продвигаясь через двери боком. В холле я нерешительно остановился: в доме было совсем тихо, и я не был уверен, что хозяйка встала. Но тут хозяйская дверь отворилась, и в холл вышел таможенник Пети. Ну, знаете, подумал я. Ночью Пети был похож на перепившего утопленника. Сейчас, в свете дня, он напоминал жертву хулиганского нападения. Нижняя часть его лица была залита кровью. Свежая кровь лаково блестела на подбородке, и он держал под челюстью носовой платок, чтобы не запачкать свой белоснежный мундир со шнурами. Лицо у него было напряженное, глаза косили, но в общем он держался удивительно спокойно, словно падать мордой в битое стекло было для него самым обыкновенным делом. Маленькая неприятность, с кем не бывает, не обращайте, пожалуйста, внимания, сейчас все будет в порядке...

— Доброе утро,— пробормотал я.

— Доброе утро,— вежливо, несколько в нос отозвался он, осторожно промакивая подбородок.

— Что с вами? Вам помочь?

— Пустяки,— сказал он.— Упал стул...

Он вежливо поклонился и, пройдя мимо меня, неторопливо вышел из дома. Я с очень неприятным чувством проводил его взглядом, а когда снова повернулся к двери, передо мной стояла тетя Вайна. Она стояла в дверях, грациозно опираясь на косяк, чистенькая, розовая, душистая, и смотрела на меня так, словно я был генерал-полковником Тууром или по крайней мере штаб-майором Полом.

— Доброе утро, ранняя птичка,— проворковала она.— А я слышу, кто это разговаривает в доме в такой час?

— Я никак не мог решиться побеспокоить вас,— проговорил я, светски содрогаясь и мысленно взвыв от боли в плече.— Доброе утро, и позвольте вручить вам...

— Как мило! Сразу видно истинного джентльмена. Генерал-полковник Туур говаривал, что истинный джентльмен никогда никого не заставляет ждать. Никогда. Никого...

Тут я заметил, что она медленно, но весьма упорно оттесняет меня от своих дверей. В гостиной у нее было темно, шторы, видимо, были опущены, и в холл тянуло чем-то сладким.

— Но вам, право же, не нужно было так уж спешить...— Она, наконец, выдвинулась на удобную позицию и плавным небрежным движением закрыла дверь.— Однако вы должны быть уверены, я сумею оценить вашу предупредительность... Вузи еще спит, а мне уже пора собирать в школу Лэна, так что простите... Кстати, свежие газеты у вас на веранде.

— Благодарю вас,— сказал я, отступая.

— Если у вас достанет терпения, через часок прошу вас на чашку сливок.

— К сожалению, я должен буду уйти,— сказал я и откланялся.

Газет было шесть. Две местные, иллюстрированные, толстые, как альманахи, одна столичная, два роскошных еженедельника и почему-то арабская «Эль Гуния». «Эль Гунию» я отложил, а остальные просмотрел, заедая новости сэндвичами и запивая горячим какао.

В Боливии правительственные войска после упорных боев овладели городом Рейес, мятежники оттеснены за реку Бени. В Москве на Международном конгрессе ядерников Хаггертон и Соловьев сообщили о проекте промышленной установки для получения антивеществ.

Третьяковская галерея прибыла в Леопольдвиль, официальное открытие произойдет завтра. С базы «Старый Восток» (Плутон) в зону абсолютного свободного полета запущена очередная серия беспилотных устройств, с двумя устройствами из четырех связь временно потеряна. Генеральный секретарь ООН направил генералиссимусу Орельяносу официальное послание, в котором предупредил, что в случае повторного применения экстремистами атомных гранат в Эльдорадо будут введены полицейские силы ООН. У истоков реки Квандо (Центральная Ангола) археологическая экспедиция Академии наук ОАР обнаружила остатки циклопических сооружений, построенных, как полагают, задолго до ледникового периода. Группа специалистов Объединенного центра исследований субэлектронных (ритринитивных) структур оценивает запасы энергии, имеющиеся в распоряжении человечества, как достаточные на три миллиарда лет. Космический отдел ЮНЕСКО сообщает, что чистый относительный прирост населения внеземных баз и плацдармов приближается к приросту населения на Земле. Глава английской делегации в ООН от имени великих держав выступил с проектом полной демилитаризации, хотя бы и насильственным путем, еще милитаризованных районов земного шара...

Сообщения о том, кто сколько килограммов выжал и кто сколько мячей в чьи ворота закатил, я читать не стал. Из местных же сообщений меня заинтересовали три.

Городская газета «Радость жизни» писала: «Этой ночью группа злоумышленников на частном самолете вновь совершила налет на площадь Звезды, полную отдыхающих граждан. Хулиганы выпустили несколько пулеметных очередей и сбросили одиннадцать газовых бомб. В результате возникшей паники несколько мужчин и женщин получили тяжкие увечья. Нормальный отдых сотен порядочных людей был сорван ничтожной группкой бандитствующих, с позволения сказать, интеллигентов при явном попустительстве полиции. Председатель общества «За Старую Добрую Родину, Против Вредных Влияний» заявил нашему корреспонденту, что общество намерено взять дело охраны заслуженного отдыха сограждан в свои руки. Председатель недвусмысленно дал понять, кого именно народ считает источником вредной заразы, бандитизма и милитаризованного хулиганства...»

На девятнадцатой странице газета отвела полосу для статьи «выдающегося представителя новейшей философии, лауреата литературных премий доктора Опира». Статья называлась «Мир без забот». Доктор Опир красивыми словами и очень убедительно обосновывал всемогущество науки, звал к оптимизму, клеймил угрюмых скептиков-очернителей и приглашал «быть как дети». Особенную роль в формировании психологии современного (то есть беззаботного) человека он отводил методам волновой психотехники. «Вспомните, какой великолепный заряд бодрости и хорошего настроения дает вам светлый, счастливый, радостный сон! — восклицал представитель новейшей философии.— И недаром сон как средство излечения многих психических заболеваний известен уже более ста лет. Но ведь все мы немножко больны: мы больны нашими заботами, нас одолевают мелочи быта, нас раздражают, правда, редкие, но кое-где еще сохранившиеся и иногда встречающиеся неустройства, неизбежные трения между индивидуальностями, нормальная здоровая сексуальная неудовлетворенность и недовольство собой, столь присущее каждому гражданину... И подобно тому, как ароматный бодусан смывает дорожную пыль с усталого тела, так радостное сновидение омывает и очищает истомленную душу. И теперь нам не страшны более никакие заботы и неустройства. Мы знаем: наступит час, и невидимое излучение грезогенератора, который я вместе с публикой склонен называть ласковым именем «дрожка», исцелит нас, исполнит оптимизма, вернет нам радостное ощущение бытия». Далее доктор Опир объяснял, что дрожка абсолютно безвредна в физическом и психическом смысле и что нападки недоброжелателей, усматривающих в дрожке сходство с наркотиками, демагогически болтающих о «дремлющем человечестве», не могут не вызвать у нас тягостного недоумения, а возможно, и более высоких и грозных для них, недоброжелателей, гражданских чувств. В заключение доктор Опир объявлял счастливый сон лучшим видом отдыха, смутно намекал на то, что дрожка является лучшим средством против алкоголизма и наркоманства, и настоятельно убеждал не смешивать дрожку с иными (не апробированными медициной) средствами волнового воздействия.

Еженедельник «Золотые дни» сообщал о том, что из Государственной картинной галереи похищено ценное

полотно, принадлежащее, по мнению специалистов, кисти Рафаэля. Еженедельник обращал внимание компетентных органов на то, что этот преступный акт является третьим за истекшие четыре месяца этого года и что ни одного из ранее похищенных произведений искусства найдено так и не было.

В общем-то читать в еженедельниках было нечего. Я бегло просмотрел их, и они произвели на меня самое тягостное впечатление. Их заполняли удручающие остроты, бездарные карикатуры, среди которых особенной глупостью сияли серии «без слов», биографии каких-то тусклых личностей, слюнявые очерки из жизни различных слоев населения, кошмарные циклы фотографий «Ваш муж на службе и дома», бесконечные советы, как занять свои руки и при этом, упаси бог, не побеспокоить голову, страстные идиотские выпады против пьянства, хулиганства и распутства, уже знакомые мне призывы вступать в кружки и хоры. Были там воспоминания участников «заварушки» и борьбы против гангстеризма, поданные в литературной обработке каких-то ослов, лишенных совести и литературного вкуса, беллетристические упражнения явных графоманов со слезами и страданиями, с подвигами, с великим прошлым и сладостным будущим, бесконечные кроссворды, чайнворды и ребусы и загадочные картинки...

Я швырнул эту груду макулатуры в угол. Ну что у них здесь за тоска!.. Дурака лелеют, дурака заботливо взращивают, дурака удобряют... Дурак стал нормой, еще немного — и дурак станет идеалом, и доктора философии заведут вокруг него восторженные хороводы. А газеты водят хороводы уже сейчас. Ах, какой ты у нас славный, дурак! Ах, какой ты бодрый и здоровый, дурак! Ах, какой ты оптимистичный, дурак, и какой ты, дурак, умный, какое у тебя тонкое чувство юмора, и как ты ловко решаешь кроссворды!.. Ты, главное, только не волнуйся, дурак, все так хорошо, все так отлично, и наука к твоим услугам, дурак, и литература, чтобы тебе было весело, дурак, и ни о чем не надо думать... А всяких там вредно влияющих хулиганов и скептиков мы с тобой, дурак, разнесем (с тобой, да не разнести!). Чего они, в самом деле! Больше других им надо, что ли?.. Тоска, тоска... Какое-то проклятье на этих людях, какая-то жуткая преемственность угроз и опасностей. Империализм, фашизм... десятки миллионов загубленных жизней, исковерканных судеб... в том числе

миллионы погибших дураков, злых и добрых, виноватых и невиновных... Последние схватки, последние путчи, особенно беспощадные, потому что последние. Уголовники, озверелое от безделья офицерье, всякая сволочь из бывших разведок и контрразведок, наскучившая однообразием экономического шпионажа, взалкавшая власти... Пришлось вернуться из космоса, выйти из заводов и лабораторий, вернуть в строй солдат. Ладно, справились. Ветерок перебирает листы «Истории фашизма» под ногами... Не успели вдоволь повосхищаться безоблачными горизонтами, как из тех же грязных подворотен истории полезли недобитки с короткоствольными автоматами и самодельными квантовыми пистолетами, гангстеры, гангстерские шайки, гангстерские корпорации, гангстерские империи... «Мелкие, кое-где еще встречающиеся неустройства»,— увещевали и успокаивали доктора опиры, а в окна университетов летели бутылки с напалмом, города захватывались бандами хулиганов, музеи горели как свечи... Ладно. Отпихнув локтем докторов опиров, снова вернулись из космоса, снова вышли из заводов и лабораторий, вернули в строй солдат — справились. Снова горизонты безоблачны. Снова вылезли опиры, снова замурлыкали еженедельники, и снова все из тех же подворотен потек гной. Тонны героина, цистерны опиума, моря спирта... и еще что-то, чему даже нет пока названия... И снова у них все висит на волоске, а дураки решают кроссворды, пляшут фляг, желают одного: чтобы было весело. Но где-то кто-то сходит с ума, кто-то рожает детей-идиотов, кто-то странно умирает в ваннах, кто-то не менее странно умирает у каких-то рыбарей, а меценаты охраняют свою страсть к искусству кастетами... И еженедельники стараются прикрыть это смрадное болото хрупкой, как меренги, приторной корочкой благополучной болтовни, а этот дипломированный дурак прославляет сладкие сны, и тысячи недипломированных дураков с удовольствием (чтобы было весело и ни о чем не надо думать) предаются снам, как пьянству... И снова дураков убеждают, что все хорошо, что космос осваивается небывалыми темпами (и это правда), что энергии хватит на миллиарды лет (и это тоже правда), что жизнь становится все интереснее и разнообразнее (и это, несомненно, тоже правда, но не для дураков), и демагоги-очернители (читай: люди, думающие, что в наше время любая капля гноя способна заразить все человечество, как

когда-то пивные путчи превратились в мировую угрозу), чуждые интересам народа, подлежат всемерному осуждению... Дураки и преступники... Преступники-дураки...

— Работать надо,— сказал я вслух.— К черту меланхолию... Мы вам покажем скептиков!

Пора было идти к Римайеру. Правда, рыбари... Ладно, к рыбарям можно будет сходить потом. Надоело тыкаться вслепую. Я вышел во двор. Было слышно, как на веранде тетя Вайна кормит Лэна завтраком:

— Ну, мам, ну, я не хочу!

— Кушай, сынок, надо кушать... Ты такой бледненький...

— А я не хочу! Комки противные...

— Да где же комки? Ну, давай я сама съем... М-м-м! Как вкусно! Попробуй только и увидишь, как вкусно...

— А если я не хочу! Я больной, я не пойду в школу.

— Лэн, ну, что ты говоришь! Ты и так много пропускаешь...

— И пусть...

— Как же пусть! Меня уже директор два раза вызывал. Нас оштрафуют!

— Ну и пусть штрафуют...

— Кушай, кушай, сынок... Может быть, ты не выспался?

— Не выспался! И у меня живот болит... и голова... и зуб... Вот видишь, вот этот...

Голос у Лэна был капризный, и я сразу представил себе его надутые губы, болтающуюся ногу в носке. Я вышел за ворота. День опять был ясный, солнечный, чирикали птицы. Было еще слишком рано, и на пути до «Олимпика» я встретил только двоих. Они шли рядом по обочине тротуара, чудовищно дикие в веселом мире свежей зелени и ясного неба. Один был выкрашен ярко-красной краской, другой — ярко-синей. Сквозь краску проступал пот. Они дышали с трудом, рты их были разинуты, глаза налиты кровью. Я непроизвольно расстегнул все пуговицы на рубашке и вздохнул с облегчением, когда эта странная пара миновала меня.

В отеле я сразу поднялся на девятый этаж. Я был настроен очень решительно. Хочет того Римайер или не хочет, но ему придется рассказать мне все, что меня интересует. Впрочем, теперь Римайер нужен был мне не только для этого. Мне нужен был слушатель, а в этом солнечном бедламе я мог пока говорить откро-

венно только с Римайером. Правда, это был не тот Римайер, на которого я рассчитывал, но об этом в конце концов тоже нужно было поговорить...

У дверей номера Римайера стоял давешний рыжий Оскар, и, увидев его, я сразу замедлил шаги. Он задумчиво поправлял галстук, откинув голову и глядя в потолок. Вид у него был озабоченный.

— Привет,— сказал я. Надо же было с чего-то начинать.

Он шевельнул бровями, посмотрел на меня, и я понял, что он меня вспомнил. Он медленно сказал:

— Здравствуйте.

— Вы тоже к Римайеру?— спросил я.

— Римайер плохо себя чувствует,— сказал он. Он стоял у самой двери и не собирался, по-видимому, уступать мне дорогу.

— Какая жалость,— сказал я, придвигаясь.— А что с ним?

— Он очень плохо себя чувствует.

— Ай-яй-яй-яй,— сказал я.— Надо бы посмотреть...

Я подошел к Оскару вплотную. Он явно не собирался пускать меня в номер. У меня сразу заболело плечо.

— Я не уверен, что это так уж надо,— желчно сказал он.

— Что вы говорите! Неужели так плохо?

— Вот именно. Очень плохо. И вам не следует его беспокоить. Ни сегодня, ни в другие дни.

Кажется, я пришел вовремя, подумал я. И надеюсь, не опоздал.

— Вы его родственник?— спросил я. Я был очень миролюбив.

Он осклабился.

— Я его друг. Самый близкий в этом городе. Можно сказать, друг детства.

— Это очень трогательно,— сказал я.— А вот я — его родственник. Все равно что брат. Давайте вместе зайдем и посмотрим, что могут сделать для бедняги Римайера его друг и его брат.

— Может быть, брат уже сделал для Римайера достаточно?

— Ну что вы... Я только вчера приехал.

— А у вас нет здесь случайно других братьев?

— Я думаю, их нет среди ваших друзей,— сказал я.— Римайер — исключение...

Пока мы несли эту чушь, я внимательно его рассматривал. Он не выглядел слишком уж ловким человеком, даже если учесть мое больное плечо. Но он все время держал руки в карманах, и, хотя я был почти убежден, что он не станет стрелять в отеле, рисковать не хотелось. Тем более что мне приходилось слышать о квантовых разрядниках ограниченного действия.

Мне много раз ставили в упрек, что мои намерения отчетливо видны на моей физиономии. А Оскар, по-видимому, был достаточно проницательным человеком. С другой стороны, в карманах у него явно ничего подходящего не было, и руки в карманах он держал зря. Он отступил от двери и сказал:

— Заходите...

Мы вошли. Римайер действительно был плох. Он лежал на кушетке, накрытый сорванной портьерой, и неразборчиво бредил. Стол в номере был перевернут, посередине комнаты валялась в луже спиртного разбитая бутылка, и всюду была разбросана смятая мокрая одежда. Я подошел к Римайеру и сел так, чтобы не терять из виду Оскара, который встал у окна, опершись задом на подоконник. Глаза у Римайера были открыты. Я наклонился над ним.

— Римайер,— позвал я.— Это я, Иван. Вы узнаете меня?

Он тупо глядел мне в лицо. На подбородке у него виднелась под щетиной свежая ссадина.

— Ты уже там...— пробормотал он.— Рыбарей... чтобы долго... не бывает... Ты не обижайся... Мешал очень... Не терплю.

Это был бред. Я посмотрел на Оскара. Оскар жадно слушал, вытянув шею.

— Нехорошо, когда просыпаешься...— бормотал Римайер.— Никому... просыпаться... Начинают... тогда не просыпаться...

Оскар не нравился мне все больше и больше. Мне не нравилось, что он слушает бред Римайера. Мне не нравилось, что он оказался здесь раньше меня. И еще мне не нравилась ссадина на подбородке Римайера, совсем свежая. Рыжая морда, подумал я, глядя на Оскара, как же от тебя избавиться?

— Надо вызвать врача,— сказал я.— Почему вы не вызвали врача, Оскар? По-моему, это делириум тременс...

Я сейчас же пожалел о сказанном. От Римайера, к моему немалому изумлению, совсем не пахло спиртным, и Оскар, очевидно, хорошо знал это. Он ухмыльнулся и спросил:

— Делириум тременс? Вы уверены?

— Нужно немедленно вызвать врача,— повторил я.— И сиделок.

Я опустил руку на телефонную трубку. Он моментально подскочил ко мне и положил ладонь на мою руку.

— Зачем же вы? — сказал он.— Давайте лучше я вызову врача. Вы тут человек новый, а я знаю отличного врача.

— Ну какой там у вас врач...— возразил я, глядя на ссадину у него на костяшках пальцев. Эта ссадина тоже была свежая.

— Отличный врач. Как раз специалист по белой горячке.

— Вот видите,— сказал я.— А может быть, у Римайера и нет никакой белой горячки.

Римайер вдруг сказал:

— Так я велел... Альзо шпрахт Римайер... Наедине с миром...

Мы оглянулись на него. Он говорил высокомерно, но глаза его были закрыты, а лицо в складках дряблой серой кожи казалось жалким. Сволочь, подумал я про Оскара, имеет наглость торчать здесь. У меня вдруг мелькнула дикая мысль, показавшаяся мне в тот момент очень удачной: свалить Оскара толчком в солнечное сплетение, связать и заставить немедленно выложить все, что он знает. Знает он, вероятно, много. А может быть, и все. Он смотрел на меня, и в его бледных глазах были страх и ненависть.

— Хорошо,— сказал я.— Пусть врача вызовет портье.

Он убрал руку, и я позвонил портье. В ожидании врача я сидел возле Римайера, а Оскар ходил из угла в угол, перешагивая через лужу спиртного. Я следил за ним краем глаза. Он вдруг нагнулся и поднял что-то с пола. Что-то маленькое и пестрое.

— Что это там? — спросил я равнодушно.

Он поколебался немного, а затем бросил мне на колени плоскую коробочку с пестрой этикеткой.

— А,— сказал я и поглядел на Оскара.— «Девон».

— «Девон»,— отозвался он.— Странно, что здесь, а не в ванной, правда?

Черт, подумал я. Пожалуй, я был слишком зелен, чтобы драться с ним в открытую. Я еще слишком мало знал.

— Ничего странного,— сказал я наобум.— Вы ведь, кажется, распространяете этот репеллент. Наверное, это образец, который вывалился у вас из кармана.

— У меня из кармана? — он страшно удивился.—А, вы имеете в виду, что я... Но я уже давно выполнил все поручения и теперь просто отдыхаю. Но если вы интересуетесь, я могу помочь.

— Это очень интересно,— сказал я.— Я посоветуюсь...

Тут, к сожалению, дверь распахнулась, и появился врач в сопровождении двух сестер.

Врач оказался человеком решительным. Он жестом убрал меня с кушетки и отбросил портьеру, которой был накрыт Римайер. Римайер лежал совершенно голый.

— Ну конечно...— сказал врач.— Опять...— Он поднял Римайеру веки, оттянул ему нижнюю губу, пощупал пульс.— Сестра, кордеин... И вызовите горничных, пусть вылижут эту конюшню до блеска...— Он выпрямился и посмотрел на нас.— Родственники?

— Да,— сказал я. Оскар промолчал.

— Вы нашли его уже без сознания?

— Он лежал и бредил,— сказал Оскар.

— Это вы перенесли его сюда?

Оскар помедлил.

— Я только укрыл его портьерой,— сказал он.— Когда я пришел, он лежал, как сейчас. Я боялся, что он простудится.

Врач некоторое время смотрел на него, потом сказал:

— Впрочем, это безразлично. Вы можете идти. Оба. С ним останется сиделка. Вечером можете позвонить. Всего хорошего.

— А что с ним, доктор? — спросил я.

Врач пожал плечами.

— Ничего особенного. Переутомление, нервное истощение... Кроме того, он, по-видимому, слишком много курит. Завтра он станет транспортабельным, и тогда увезите его домой. У нас ему оставаться вредно. У нас слишком весело. До свиданья.

Мы вышли в коридор.

— Пойдемте выпьем,— предложил я.

— Вы забыли, что я не пью,— заметил Оскар.

— Жаль. Вся эта история меня так расстроила, что хочется выпить. Римайер всегда был таким здоровяком...

— Ну, в последнее время он сильно сдал,— сказал Оскар осторожно.

— Да, я с трудом узнал его, когда вчера увидел...

— Я тоже,— сказал Оскар. Он не верил ни одному моему слову. Я ему тоже.

— Где вы остановились? — спросил я.

— Здесь же,— сказал Оскар.— Этажом ниже, восемьсот семнадцатый номер.

— Жаль, что вы не пьете. Мы бы могли посидеть у вас и хорошо поговорить.

— Да, это было бы неплохо. Но, к сожалению, я очень спешу.— Он помолчал.— Знаете что, дайте мне ваш адрес, завтра утром я вернусь и зайду к вам. Около десяти — вас устроит? Или вы позвоните мне...

— Отчего же...— сказал я и дал ему свой адрес.— Честно говоря, меня очень интересует «Девон».

— Я думаю, мы сумеем договориться,— сказал Оскар.— До завтра.

Он сбежал по лестнице. Он действительно, по-видимому, спешил. А я спустился в лифте в вестибюль и дал телеграмму Марии: «Брату очень плохо чувствую себя одиноким бодрюсь Иван». Я и в самом деле чувствовал себя одиноким. Римайер снова вышел из игры — по крайней мере на сутки. Единственный намек, который он мне дал, это совет насчет рыбарей. Ничего определенного у меня не было. Были рыбари, которые обитают где-то в Старом Метро; был «Девон», который, возможно, каким-то боком касался моего дела, но с тем же успехом мог не иметь к нему никакого отношения; был Оскар, явно связанный с «Девоном» и с Римайером, фигура достаточно неприятная и зловещая, но, несомненно, лишь одна из множества неприятных и зловещих фигур на местных безоблачных горизонтах; был еще какой-то Буба, снабдивший «Девоном» пористый нос... В конце концов я здесь всего сутки, подумал я. Время есть. И на Римайера в конце концов можно еще рассчитывать, и Пека, может быть, удастся найти... Я вдруг вспомнил вчерашнюю ночь и дал телеграмму Зигмунду: «Концерт самодеятельности двадцать восьмого подробности не знаю Иван». Потом я подозвал портье и спросил, как быстрее пройти к Старому Метро.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

— Приходили бы вечером, сейчас слишком рано.

— А мне хочется сейчас.

— Приспичило, значит. А вы, может, адресом ошиблись?

— Да нет, не ошибся.

— И вот именно сейчас вам и надо?

— Именно сейчас. И не позже.

Он поцокал языком и дернул себя за нижнюю губу. Он был коренастый, плотный, с круглой, гладко выбритой головой. Говорил он, едва шевеля языком, и утомленно заводил глаза под верхние веки. По-моему, он не выспался. Его приятель, сидевший за барьером в кресле, по-видимому, тоже не выспался. Но он вообще не говорил ни слова и даже не смотрел в мою сторону. Помещение было мрачное, затхлое, с отставшими от стен покоробленными панелями. С потолка свисала тусклая от пыли лампочка без абажура, на грязном шнуре.

— Почему бы вам все-таки не прийти позже? — промямлил круглоголовый.— Когда все приходят...

— Так уж мне захотелось,— скромно сказал я.

— Захотелось...— Он пошарил в столе.— У меня вот и бланка не осталось... Эль, у тебя есть бланки?

Эль молча нагнулся и вытянул откуда-то из-под барьера мятый лист бумаги. Круглоголовый сказал зевая:

— Прихóдите ни свет ни заря... Народу никого нет, девчонок тоже... спят еще... Веселья никакого.— Он протянул мне бланк.— Заполните и подпишите,— сказал он.— Мы с Элем подпишемся за свидетелей. Деньги сдайте... не беспокойтесь, у нас честно. Документы у вас есть какие-нибудь?

— Никаких.

— И то хорошо.

Я просмотрел бланк. «Настоящим я, нижеподписавшийся (пропуск), в присутствии свидетелей (большой пропуск) убедительно прошу подвергнуть меня приемным испытаниям на соискание звания члена общества ДОЦ. Подпись соискателя. Подписи свидетелей».

— Что такое ДОЦ? — спросил я.

— Это мы так зарегистрированы,— ответил круглоголовый. Он пересчитывал деньги.

— Но ДОЦ как-то расшифровывается?

— А кто его знает... Это еще до меня было. ДОЦ и ДОЦ... Ты не знаешь, Эль? — Эль лениво помотал головой.— Ну в самом деле, не все ли вам равно...

— Абсолютно все равно,— сказал я, вставил свое имя и подписался.

Круглоголовый посмотрел, тоже вписал свое имя и подписался и передал бланк Элю.

— Похоже, вы иностранец,— сказал он.

— Да.

— Тогда припишите ваш домашний адрес. У вас родные есть?

— Нет.

— Тогда и не надо. Готово, Эль? Положи в папку... Ну, пойдемте?

Он поднял барьер и подвел меня к массивной квадратной двери, оставшейся, наверное, еще с тех времен, когда метро оборудовали под атомоубежище.

— Выбора-то никакого нет,— сказал он, словно оправдываясь. Он выдвинул засовы и с натугой повернул ржавую рукоять.— Пойдете прямо по коридору,— сказал он,— а там сами увидите.

Мне показалось, что Эль позади хихикнул. Я обернулся. В барьер перед Элем был встроен небольшой экран. На экране что-то двигалось, но я не разглядел что. Круглоголовый, налегая всей тяжестью на рукоять, откатил дверь. За дверью открылся пыльный проход. Несколько секунд круглоголовый прислушивался, затем повторил:

— Прямо по этому коридору.

— А что там будет? — спросил я.

— Чего хотели, то и получите... Или, может, вы раздумали?

Все это было явно не то, что надо, но, как известно, никто ничего не знает, пока сам не попробует. Я перешагнул через высокий порог, и дверь с чмоканьем закрылась за мной. Было слышно, как заскрежетали засовы.

Коридор освещали несколько уцелевших ламп. Было сыро, на цементных стенах цвела плесень. Я постоял, прислушиваясь, но ничего не услышал, кроме редкого стука капель. Я осторожно двинулся вперед. Под ногами скрипела цементная крошка. Коридор скоро кончился, и я очутился в сводчатом бетонном тоннеле, освещенном совсем уже скверно. Когда глаза привыкли к сумраку, я разглядел рельсовый путь. Рельсы были

ржавые, между ними темнели лужи неподвижной воды. Под сводом тянулись провисшие провода. Сырость прохватывала до костей, и отвратно пахло — не то падалью, не то испорченной канализацией. Нет, это было совсем не то, что нужно. Мне не хотелось терять времени даром, и я подумал, что сейчас вернусь и скажу, что приду в другой раз. Но сначала я решил — просто из любопытства — пройти немного по тоннелю. Я пошел направо, на свет далеких ламп. Я перескакивал через лужи, спотыкался о прогнившие шпалы, путался в оборванных кабелях. Дойдя до лампы, я снова остановился.

Рельсовый путь был разобран. Шпалы валялись вдоль стен, а на пустом полотне зияли дыры, наполненные водой. Затем я увидел рельсы. Никогда мне не приходилось видеть рельсы в таком состоянии. Некоторые были скручены штопором. Они были начищены до блеска и напоминали огромные сверла. Другие были с огромной силой вбиты в полотно и в стены тоннеля. А третьи были завязаны в узлы. У меня мороз пошел по коже, когда я увидел это. В простые узлы, в узлы с бантом, в узлы с двумя бантами, как шнурки на ботинках... Они были сизые от окалины.

Я посмотрел вперед, в глубину тоннеля. Оттуда тянуло гниющей падалью, тусклые желтые огни редких ламп мерно мигали, словно что-то раскачивалось на сквозняке, заслоняя и снова открывая их. Нервы мои не выдержали. Я чувствовал, что это не более чем дурацкая шутка, но я ничего не мог с собой поделать. Я присел на корточки и осмотрелся. Скоро я нашел то, что искал: метровый обломок железного прута. Я взял его под мышку и двинулся дальше. Железо было холодное, влажное и шершавое от ржавчины.

Косой мигающий свет далеких ламп озарял скользкие, блестящие от сырости стены. Я уже давно заметил на них странные округлые потеки, но вначале не обратил на это внимания, а потом заинтересовался и подошел посмотреть. По стене, насколько хватал глаз, тянулись два ряда круглых следов, разделенных метровыми интервалами. Это выглядело так, как будто по стене здесь пробежал слон, и пробежал не очень давно,— на краю одного такого следа слабо шевелилась раздавленная белая сороконожка. Хватит, подумал я, пора возвращаться. Я посмотрел вдоль тоннеля. Теперь под лампами впереди были отчетливо видны черные качаю-

щиеся гирлянды. Я взял прут поудобнее и пошел вперед, держась поближе к стене.

Это тоже впечатляло. Под сводом тоннеля тянулись провисшие кабели, а на них, связанные хвостами и собранные в тяжелые щетинистые гроздья, покачивались на сквозняке сотни и сотни мертвых крыс. В полумраке жутко блестели мелкие оскаленные зубы, торчали во все стороны закостеневшие лапки, и эти гроздья длинными гнусными гирляндами уходили в темноту. Густой тошнотворный смрад опускался из-под свода и растекался по тоннелю, шевелящийся, плотный, как кисель...

Раздался пронзительный визг, и под ноги мне вдруг бросилась огромная крыса. Потом еще одна. И еще. Я попятился. Они мчались оттуда, из темноты, где не было ни одной лампы. И оттуда вдруг толчками пошел воздух. Я нащупал локтем пустоту в стене и вдвинулся в нишу. Под каблуками заверещало и задергалось живое — я не глядя отмахнулся своей железной палкой. Мне было не до крыс, потому что я слышал, как кто-то тяжело и мягко бежит по тоннелю, плюхая по лужам. Зря я ввязался в это дело, подумал я. Железный прут показался мне таким легким и ничтожным по сравнению с завязанными в узлы рельсами. Это не летучая пиявка... И не динозавр из Конго... Только б не гигантопитек, все что угодно, только бы не гигантопитек. У этих ослов хватит ума выловить гигантопитека и запустить в тоннель... Я плохо соображал в эти секунды. И неожиданно ни с того ни с сего подумал о Римайере. Зачем он послал меня сюда? Он что, с ума сошел?.. Только бы не гигантопитек...

Он пронесся мимо меня так быстро, что я не успел разобрать, что это такое. Тоннель гудел от его галопа. Затем где-то совсем рядом раздался отчаянный скрежещущий визг пойманной крысы, и наступила тишина. Я осторожно выглянул. Он стоял шагах в десяти, под самой лампой, и ноги подо мной обмякли от огромного облегчения.

— Умники-затейники,— сказал я вслух, чуть не плача.— Остряки-самоучки... Это надо же додуматься! Таланты-самородки...

Он услышал мой голос и, задрав кормовые ноги, произнес:

— Температурка у нас будет два метра тринадцать дюймов, влажности нет, чего нет, того нет...

— Повтори свое задание,— сказал я, подходя.

Он со свистом выпустил из присосков сжатый воздух, бессмысленно подрыгал ногами и взбежал на потолок.

— Слезай вниз,— приказал я строго,— и отвечай на вопрос.

Он висел у меня над головой среди заплесневелых проводов, этот давно устаревший кибер, предназначенный для работ на астероидах, жалкий и нелепый, весь в лохмотьях от карбонной коррозии и в кляксах черной подземной грязи.

— Слезай вниз! — рявкнул я.

Он швырнул в меня дохлой крысой и умчался в темноту.

— Базальты! — вопил он на разные голоса.— Псевдометаморфические породы! Я над Берлином! Как слышите? Пора спать!

Я бросил палку и пошел за ним следом. Он добежал до следующей лампы, спустился вниз и стал быстро, по-собачьи, рыть бетон рабочими манипуляторами. Бедняга, у него и в лучшие-то времена мозг был способен к нормальной работе только при тяжести в одну сотую земной, а сейчас он был совершенно невменяем. Я нагнулся над ним и стал шарить под панцирем, отыскивая узел регулировки. «Вот поганцы»,— сказал я вслух. Узел регулировки был расплющен, словно по нему ударили кувалдой. Он бросил копать и схватил меня за ногу.

— Стоп! — гаркнул я.— Прекратить!

Он прекратил, лег на бок и сообщил басом:

— Надоел он мне до смерти, Эль. Бренди бы сейчас выпить...

Внутри у него щелкнули контакты, и заиграла музыка. Шипя и посвистывая, он исполнил «Марш охотников». Я смотрел на него и думал, как все это глупо и отвратительно, как смешно и страшно одновременно. Если бы я не был межпланетником, если бы я испугался и побежал, он бы почти наверняка убил меня... А ведь здесь никто не знал, что я был межпланетником. Никто. Ни один человек. Римайер тоже не знал, что я был межпланетником...

— Встань,— сказал я.

Он зажужжал и принялся ковырять стену, и тогда я повернулся и пошел обратно. Все время, пока я шел до поворота в коридор, мне было слышно, как он гремит

и лязгает в груде исковерканных рельсов, шипит электросваркой и несет околесицу на два голоса.

Противоатомная дверь была уже открыта. Я шагнул через порог и захлопнул ее за собой.

— Ну как? — спросил круглоголовый.

— Глупо,— ответил я.

— Я же не знал, что вы межпланетник. Вы работали в космосе?

— Работал. Все равно глупо. На дураков. На неграмотных экзальтированных дураков.

— На каких?

— Экзальтированных.

— А-а... Ну, это вы зря. Многим нравится. А вообще я вам говорил, что приходили бы вечером. У нас вообще для одиночек развлечений мало...— Он налил виски и добавил содовой из сифона.— Хотите?

Я взял стакан и облокотился на барьер. Эль с сигареткой, прилипшей к губе, угрюмо смотрел на экран. По экрану метались ослизлые стены тоннеля, скрученные рельсы, черные лужи, летели искры электросварки.

— Это не для меня,— заявил я.— Пусть этим занимаются бухгалтеры и парикмахеры. Я против них, конечно, ничего не имею, но мне-то надо такое, чего я никогда в жизни не видел.

— Сами, значит, не знаете, чего хотите,— сказал круглоголовый.— Это тяжелый случай. Вы, извиняюсь, не интель?

— А в чем дело?

— Нет, вы только не подумайте чего-нибудь, перед костлявой, сами понимаете, все равны. Я только что хочу сказать? Что интели — самые капризные клиенты, вот и все. Верно, Эль? Если приходит, скажем, тот же бухгалтер или парикмахер, он хорошо знает, чего ему надо. Кровь погонять ему надо, чтобы себя показать, собой погордиться, чтобы девчонки визжали, чтобы показывать всем дырки в шкуре... Это парни простые, каждому хочется считать себя мужчиной. Ведь кто он такой, наш клиент? Способностей особенных у него нет, да они ему и не требуются... Вот раньше, я в книге читал, хоть завидовали друг другу, сосед, мол, как сыр в масле катается, а я на холодильник накопить не могу — разве это можно вытерпеть? Цеплялись, конечно, зубами, за барахло, за деньги, за место выгодное... Жизнь на это клали! У кого кулак крепче или голова хитрее, тот и наверху... А теперь ведь жизнь стала жир-

ная, тихая, всего в достатке. К чему себя применить? Я же не карась, я же человек все-таки, мне же скучно, а придумать сам ничего не умею. Это ведь надо особые способности иметь — придумывать! Это надо же гору книг прочитать, а попробуй-ка их читать, когда тебя от них тошнит... Прославиться там в мировом масштабе или выдумать чего-нибудь вроде машины — это мне и в голову не сразу придет, а если и придет — что толку? Никому ты в общем-то не нужен, даже жене и детям собственным не нужен, если разобраться, верно, Эль? Да и тебе никого не надо... Теперь, значит, придумывают для тебя умные люди что-нибудь новенькое, то ароматьеры эти, то дрожку, то новую пляску... Питье вот новое придумали... «хорек» называется... Хотите, я вам собью? Он этого «хорька» хватит — глаза на лоб, он и доволен... А пока глаза у него на месте, жизнь для него все равно что дождевая вода. Вот к нам тут один интель ходит и каждый раз жалуется: жизнь, говорит, пресна, ребята... А отсюда я выхожу — герой! После, скажем, пульки или «один на двенадцать» я же совсем по-другому на себя смотрю. Верно, Эль? Мне все снова сладко делается — бабы, жратва, вино...

— Да,— сказал я сочувственно.— Я вас хорошо понимаю. Но для меня-то все это тоже пресно.

— Слег ему нужен,— сказал вдруг Эль басом.

— Что-что? — спросил я.

— Слег, говорю.

Круглоголовый весь сморщился.

— Ну брось, Эль. Ну что ты сегодня какой-то...

— Кашлять я на него хотел,— сказал Эль.— Не люблю я этих... Все ему пресно, все ему не так.

— Вы его не слушайте,— сказал круглоголовый.— Он ночь не спал, утомился...

— Нет, почему же? — возразил я.— Очень интересно. Что это за слег?

Круглоголовый опять сморщился.

— Неприлично это, понимаете? — сказал он.— Вы Эля не слушайте, он хороший парень, простой, но ему обложить человека ничего не стоит. А слово это нехорошее. Повадились сейчас какие-то на стенах его везде писать. Вот ведь хулиганье, а? Сопляки, толком и не знают, что это такое, а пишут... Вон, видите, мы барьер обстругали... Сволочь какая-то вырезала, поймал бы его — наизнанку вывернул бы... Ведь у нас женщины бывают.

— Ты скажи ему,— произнес Эль, обращаясь к круглоголовому,— чтобы раздобыл себе слег и утихомирился. Пусть найдет Бубу...

— Да заткнись ты, Эль! — сказал круглоголовый сердито.— Не слушайте вы его...

Услышав имя Бубы, я снова наполнил стакан и устроился поудобнее.

— Что же это такое,— сказал я,— тайный порок какой-нибудь?

— Тайный! — сказал Эль басом и нехорошо заржал.

Круглоголовый тоже засмеялся.

— У нас тайного ничего быть не может,— сказал он.— Какие могут быть тайны, когда народ с пятнадцати лет закладывает? Дураки эти, интели, все секреты разводят... Хотят двадцать восьмого заварушку устроить, шепчутся, минометы давеча за город повезли, чтобы спрятать, значит, ну, как дети, ей-богу! Верно, Эль?

— Ты ему скажи,— простой хороший парень Эль гнул свое.— Ты ему скажи: пусть валит ко всем чертям. Ты за него не заступайся. Так ему и скажи: пусть идет к Бубе в «Оазис», и весь разговор.

Он выбросил на барьер мой бумажник и бланк. Я допил виски. Круглоголовый серьезно сказал:

— Конечно, как хотите, дело ваше, но я вам советую от этих вещей держаться подальше. Мы, может, все к этому придем, да чем позже, тем лучше. Я вам этого даже объяснить не могу, я только чувствую, что это — как в могилу: никогда не поздно и всегда рано.

— Спасибо,— сказал я.

— Он еще благодарит! — Эль снова заржал.— Ты видал такое? Еще и благодарит!

— Три рубля мы удержали,— сказал круглоголовый.— А бланк порвите. Нет, дайте я сам порву. А то, не дай бог, случится с вами что-нибудь, а полиция к нам пожалует.

— Честно говоря,— сказал я, пряча бумажник,— мне все-таки непонятно, как вашу контору не прикроют.

— А у нас все честно-благородно,— сказал круглоголовый.— Не хочешь — никто тебя не заставит. А если что-нибудь случилось — сам виноват.

— Наркоманов тоже никто не заставляет,— возразил я.

— Э, сравнили! Наркотики — дело денежное, корыстное...

— Ну ладно, до свиданья,— сказал я.— Спасибо вам, ребята. Где, вы сказали, Бубу искать?

— «Оазис»,— пробасил Эль.— Кафе. Проваливай.

— Какой ты вежливый, дружок,— сказал я,— даже сердце щемит.

— Проваливай, проваливай,— повторил Эль.— Интель вонючий.

— Не волнуйся так, милый,— сказал я,— а то язву наживешь. Береги желудок, дороже желудка у тебя ничего нет. Верно я говорю?

Эль начал медленно выдвигаться из-за барьера, и я ушел. У меня снова разболелось плечо.

На улице падал крупный теплый дождь. Листья деревьев блестели мокро и весело, пахло свежестью, озоном, грозой.

Я остановил такси и назвал «Оазис». Улица вся струилась свежими ручейками, и город был таким красивым и уютным, что неприятно было даже думать о заплесневелом, заброшенном метро.

Дождь хлестал вовсю, когда я выскочил из машины и, перемахнув через тротуар, ворвался в кафе «Оазис». Народу было довольно много, почти все ели, даже бармен за стойкой хлебал суп, пристроив тарелку между стаканчиками для спиртного. Пообедавшие курили, рассеянно глядя на улицу сквозь залитую водой витрину. Я подошел к стойке и вполголоса осведомился, здесь ли Буба. Бармен положил ложку и оглядел зал.

— Не-а,— сказал он.— Да вы обедайте пока, он скоро будет.

— А как скоро?

— Минут через двадцать, через полчаса.

— Ага,— сказал я.— Тогда я пообедаю, а потом подойду, и вы мне его покажете.

— Умгум,— сказал бармен, возвращаясь к своему супу.

Я взял поднос, набрал себе какой-то обед и сел к окну подальше от других посетителей. Мне хотелось подумать. Я чувствовал, что материала набралось достаточно для того, чтобы подумать о деле. Кажется, цепочка намечалась. Коробочки с «Девоном» в ванной. Пористый нос говорил о Бубе и о «Девоне» (шепотом говорил). Простой хороший парень Эль говорил о Бубе и о слеге. Отчетливая цепочка: ванна — «Девон» — Буба — слег. Более того. Загорелый парень с мышцами предупреждал, что «Девон» и все прочее — всем

дряням дрянь, а круглоголовый адепт социального мазохизма не видел разницы между слегом и могилой. Как будто все сходится. Как будто это то, что мы ищем... И если это так, то Римайер правильно посылал меня к рыбарям... Римайер, сказал я про себя. Зачем ты посылал меня к рыбарям, Римайер? Да еще наказывал не капризничать и делать, что велят... И ведь ты не знал, что я межпланетник, Римайер. А если даже и знал, то ведь там есть не только сумасшедший кибер, там есть и пулька, и «один на двенадцать». Чем-то я тебе очень не понравился, Римайер... Чем-то я тебе помешал. Да нет же, сказал я, этого же не может быть. Просто ты мне очень не доверял, Римайер. Просто я чего-нибудь еще не знаю. Например, я не знаю, что такое Оскар, который торгует в курортном городе «Девоном» и который с тобой связан, Римайер. И наверное, до нашего разговора в лифте ты встречался с Оскаром... Я не хочу об этом думать. Он лежит, как покойник, а я думаю о нем такие вещи, и он даже не может оправдаться... Я вдруг почувствовал скверный холодок внутри. Ну хорошо, ну мы выловим эту шайку. И что изменится? Дрожка останется, лопоухий Лэн будет по-прежнему не спать по ночам, Вузи будет приходить домой пьяная до безобразия, а таможенник Пети будет зачем-то падать мордой в битое стекло... И все будут заботиться о «благе народа». Одних будут поливать слезогонкой, других вколачивать по уши в землю, третьих превращать из обезьян в то, что вполне сойдет за людей... А потом дрожка выйдет из моды, и народу подарят супердрожку, а вместо изъятого слега подсунут суперслег. Все будет для блага народа. Веселись, Страна Дураков, и ни о чем не думай!..

За соседний столик уселись с подносами двое в накидках. Один из них показался мне чем-то знакомым. У него было породистое высокомерное лицо, и, если бы не толстый белый пластырь на левой скуле, я бы обязательно узнал его — во всяком случае, у меня было такое ощущение. Второй был румяный человек с большой плешью и суетливыми движениями. Разговаривали они негромко, но не потому, что хотели скрыть что-нибудь, и их было отлично слышно с того места, где я сидел.

— Поймите меня правильно,— убедительно повествовал румяный, торопливо поглощая шницель.— Я вовсе не против театров и музеев. Но ассигнования на город-

ской театр в прошлом году недоиспользованы, а в музеи ходят одни туристы...

— И похитители картин,— вставил человек с пластырем.

— Оставьте, пожалуйста. У нас нет картин, которые стоило бы похищать. Слава богу, «Сикстинских мадонн» пока еще не научились синтезировать из опилок. Я хочу обратить ваше внимание на то, что распространение культуры должно в наше время идти совсем другим путем. Культура должна не входить в народ, а исходить из народа. Народные капеллы, кружки самодеятельности, массовые игры — вот что нужно нашей публике...

— Нашей публике нужна хорошая оккупационная армия,— сказал человек с пластырем.

— Ах, оставьте, пожалуйста, вы ведь так не думаете... Охват кружками у нас на безобразном уровне. Боэла мне жаловалась вчера, что на ее чтения ходит только один человек, и тот, кажется, с матримониальными намерениями. А нам надо отвлекать народ от дрожки, от алкоголя, от сексуальных развлечений. Нам надо поднимать дух...

Человек с пластырем прервал его:

— Что вам от меня нужно? Чтобы я сегодня поддерживал ваш проект против этого осла, нашего уважаемого мэра? Ради бога! Мне абсолютно все равно. Но если вы хотите знать мое мнение о духе, то духа нет, дорогой советник! Дух давно умер! Он захлебнулся в брюшном сале. И на вашем месте я бы считался с этим, и только с этим!

Румяный человек, казалось, был убит. Некоторое время он молчал, потом вдруг застонал:

— Боже мой, боже мой, чем мы вынуждены заниматься! Но я спрашиваю вас, кто-то все-таки летит к звездам! Где-то строят мезонные реакторы! Где-то создают новую педагогику! Боже мой, совсем недавно я понял, что мы даже не захолустье, мы — заповедник! В глазах всего мира мы — заповедник глупости, невежества и порнократии. Представьте себе, в нашем городе второй год сидит профессор Рубинштейн. Социальный психолог, мировое имя. Он изучает нас, как животных... «Инстинктивная социология разлагающихся экономических формаций» — так называется его работа. Его интересует человек как носитель первобытных инстинктов, и он мне жаловался, как трудно ему было на-

бирать материал в странах, где инстинктивная деятельность искажена и подавлена системой педагогики. А у нас он блаженствует! По его словам, у нас вообще нет никакой деятельности, кроме инстинктивной. Я был оскорблен, мне было стыдно, но, боже мой, что же я мог ему возразить?.. Вы поймете меня. Вы же умный человек, мой друг, вы холодный человек, я знаю, но не могу же я поверить, чтобы вам до такой степени было все равно...

Человек с пластырем высокомерно глядел на него и вдруг дернул щекой. И я сразу же узнал его: это был тот самый тип с моноклем, который так ловко облил меня светящейся гадостью вчера у меценатов. Ах ты стервец! — подумал я.— Ах ты вор! Оккупационная армия ему понадобилась! Дух, видите ли, захлебнулся в сале...

— Простите, советник,— брезгливо произнес человек с пластырем.— Я все это понимаю, и именно поэтому мне совершенно ясно, что все вокруг нас — это маразм. Последние судороги. Эйфория.

Я встал и приблизился к их столику.

— Разрешите? — спросил я.

Они удивленно воззрились на меня. Я сел.

— Простите меня, пожалуйста,— сказал я.— Я, собственно, турист и здесь у вас недавно, а вы, по-моему, местные и даже имеете какое-то отношение к городскому управлению... Вот я и решился побеспокоить вас. Я все слышу вокруг: меценаты, меценаты... А что это такое, никто толком не знает...

Человек с пластырем снова дернул щекой. Глаза его расширились — он тоже узнал меня.

— Меценаты?— сказал румяный советник приветливо.— Есть, есть такая варварская организация у нас. Очень печально, но есть. (Я кивал и рассматривал пластырь. Мой знакомый уже оправился и с прежним высокомерным видом кушал желе.) По сути дела, это современные вандалы. Мне просто трудно подобрать другое слово. Они скупают на паях ворованные картины, скульптуры, рукописи неопубликованных книг, патенты и уничтожают их. Вы представляете, как это отвратительно? Они находят некое патологическое наслаждение в уничтожении элементов мировой культуры. Собираются большой, хорошо одетой толпой и неторопливо, продуманно, со сладострастием уничтожают...

— Ай-яй-яй-яй! — сказал я, не сводя глаз с пластыря.— А ведь таких надо вешать за ноги.

27 Заказ 319

— Мы их преследуем! — воскликнул румяный советник.— Мы их преследуем по закону. Мы, к сожалению, не можем преследовать артиков и перщей, они, собственно, не нарушают никаких писаных законов, но коль скоро речь заходит о меценатах...

— Вы уже кончили, советник? — осведомился человек с пластырем. Меня он игнорировал.

Румяный спохватился.

— Да-да, нам пора идти. Вы нас извините,— сказал он, обращаясь ко мне,— у нас заседание в муниципалитете...

— Бармен! — металлическим голосом позвал человек с пластырем.— Вызовите такси, прошу вас.

— Вы давно в городе? — спросил румяный.

— Второй день,— ответил я.

— И вам... нравится?

— Красивый город.

— М-да,— промямлил румяный.

Мы помолчали. Человек с пластырем нахально вставил в глаз монокль и вытащил сигару.

— Болит? — спросил я сочувственно.

— Что именно? — надменно сказал он.

— Скула,— сказал я.— И еще должна болеть печень.

— У меня никогда ничего не болит,— ответил он, блеснув моноклем.

— Разве вы знакомы? — удивился румяный.

— Немножко,— сказал я.— Мы поспорили об искусстве.

Бармен крикнул, что такси прибыло. Человек с пластырем сейчас же встал.

— Пойдемте, советник,— сказал он.

Румяный растерянно улыбнулся мне и тоже встал. Они пошли к выходу. Я проводил их глазами и направился к стойке.

— Бренди? — спросил бармен.

— Именно,— сказал я. Меня трясло от злости.— Кто эти люди, с которыми я сейчас говорил?

— Плешивый — это советник муниципалитета, культурой занимается. А тот, что с моноклем,— это городской казначей.

— Казначей,— сказал я.— Сволочь, а не казначей.

— Да ну? — сказал бармен с интересом.

— Вот вам и ну. Буба пришел?

— Нет еще. А казначей, он что?

— Сволочь он,— сказал я.— Ворюга.

Бармен подумал.

— Очень даже может быть,— сказал он.— Вообще-то он барон. Бывший, конечно. Повадки у него и верно сволочные. Жалко, я голосовать не ходил, а то бы против него голосовал... А что он вам сделал?

— Он вам сделал,— сказал я.— А я ему сделал. И еще кое-что сделаю. Вот такое положение.

Бармен, ничего не поняв, кивнул и сказал:

— Повторим?

— Давайте,— сказал я.

Он налил мне бренди и сообщил:

— А вот и Буба пришел.

Я оглянулся и чуть не выронил стакан. Я узнал Бубу.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Он стоял у двери и озирался с таким видом, будто пытался вспомнить, куда он пришел и для чего пришел. Он был очень не похож на себя, но я его все-таки узнал сразу, потому что мы четыре года просидели рядом в аудиториях школы, и потом было еще несколько лет, когда мы встречались чуть ли не ежедневно.

— Слушайте,— сказал я бармену.— Его зовут Буба?

— Умгум,— сказал бармен.

— Что же это — кличка?

— Откуда мне знать? Буба и Буба. Его все так зовут.

— Пек! — крикнул я.

Все посмотрели на меня. И он тоже медленно повернул голову и поискал глазами, кто зовет. Но на меня он не обратил внимания. Словно вспомнив что-то, он вдруг судорожными движениями принялся отряхивать воду с плаща, а потом, шаркая каблуками, подковылял к стойке и с трудом взобрался на табурет рядом со мной.

— Как обычно,— сказал он бармену. Голос у него был глухой и сдавленный, словно его держали за горло.

— Вас тут дожидаются,— сказал бармен, ставя перед ним стакан спирта и глубокую тарелку, наполненную сахарным песком.

Он медленно повернул голову, посмотрел на меня и спросил:

— Ну? Чего надо?

Веки у него были воспалены и полуопущены, в уголках глаз скопилась слизь. И дышал он через рот, как будто страдал аденоидами.

— Пек Зенай,— тихо произнес я,— курсант Пек Зенай, вернитесь, пожалуйста, с Земли на небо.

Он все так же слепо смотрел на меня. Потом облизнул губы и сказал:

— Сокурсник, что ли?

Мне стало жутко. Он отвернулся, взял стакан, выцедил спирт и, давясь от отвращения, стал есть сахарный песок большой столовой ложкой. Бармен налил ему второй стакан.

— Пек,— сказал я,— ты что же, дружище, не помнишь меня?

Он снова оглядел меня.

— Да нет... Наверное, видел где-то...

— Видел где-то! — сказал я с отчаянием.— Я — Иван Жилин, неужели ты меня совсем забыл?

Его рука со стаканом едва заметно дрогнула, и этим все кончилось.

— Нет, приятель,— сказал он.— Прошу извинить, конечно, но я вас не помню.

— И «Тахмасиб» не помнишь? И Айову Смита не помнишь?

— Изжога меня сегодня изводит,— сообщил он бармену.— Дайте мне содовой, Кон.

Бармен, с любопытством слушавший, налил содовой.

— Дрянной сегодня день,— сказал Буба.— Два автомата отказали, представляете, Кон?

Бармен покачал головой и вздохнул.

— Директор лается,— продолжал Буба.— Вызвал меня на ковер и облаял. Уйду я оттуда. Послал я его к чертовой матери, он меня и уволил.

— А вы заявите в профсоюз,— посоветовал бармен.

— Да ну их,— сказал Буба. Он выпил содовую и вытер рот ладонью. На меня он не смотрел.

Я сидел, как оплеванный. Я совершенно забыл, зачем мне нужен был Буба. Мне нужен был Буба, а не Пек... То есть Пек мне тоже был нужен, но не этот... Этот не был Пеком, он был каким-то незнакомым и неприятным мне Бубой, и я с ужасом смотрел, как он выцедил второй стакан спирта и снова принялся заталкивать в себя полные ложки сахара. Лицо его покрылось красными пятнами, он давился и слушал, как бармен азартно рассказывал ему про футбол... Мне захотелось

крикнуть: Пек, что с тобой случилось, Пек; ты же ненавидел все это!.. Я положил руку ему на плечо и сказал умоляюще:

— Пек, милый, выслушай меня, пожалуйста...

Он отстранился.

— В чем дело, приятель? — Глаза его уже совсем не смотрели.— Я не Пек, меня зовут Буба, понял? Вы меня с кем-то путаете... Никакого Пека здесь нет... Так что тогда «Носороги», Кон?..

И я вспомнил, где я нахожусь, и понял, что Пека здесь действительно больше нет, а есть здесь Буба, агент преступной организации, и это единственная реальность, а Пек Зенай — мираж, доброе воспоминание, и о нем надо скорее забыть, если я намерен работать... Ладно, подумал я, стискивая зубы, пусть будет по-вашему.

— Алё, Буба,— сказал я.— У меня к тебе дело.

Он уже был пьян.

— А я о делах возле стойки не разговариваю,— заявил он.— И вообще я работу кончил. Все. Больше у меня никаких дел нет. Обратись, приятель, в муниципалитет. Там тебе помогут.

— Я к тебе обращаюсь, а не в муниципалитет,— сказал я.— Ты меня будешь слушать?

— А я тебя и так все время слушаю. Здоровье только порчу.

— Дело у меня небольшое,— сказал я.— Мне нужен слег.

Он сильно вздрогнул.

— Ты что, приятель, обалдел, что ли?

— Вы бы все-таки постыдились,— сказал бармен,— при людях-то... Совесть совсем потеряли.

— Заткнись,— сказал я ему.

— Ты потише,— грозно сказал бармен.— В полицию давно не таскали? А то смотри, раз, два — и высылка...

— Плевал я на высылку,— нагло сказал я.— Не суйся в чужие дела...

— Слегач вонючий,— сказал бармен. Он заметно озверел, но говорил негромко.— Слег ему захотелось. Сейчас позову сержанта, он тебе даст слег...

Буба сполз с табуретки и поспешно заковылял к выходу. Я оставил бармена и поспешил следом. Он выскочил под дождь и, забыв поднять капюшон, стал озираться, ища такси. Я догнал его и взял за рукав.

— Ну, что тебе от меня надо? — с тоской сказал он.— Я полицию позову.

— Пек,— сказал я.— Опомнись, Пек, я — Иван Жилин, ты же меня помнишь...

Он все озирался, то и дело вытирая ладонью воду, струившуюся по лицу. Вид у него был жалкий, загнанный, и я, стараясь подавить раздражение, все уверял себя, что это мой Пек, бесценный Пек, незаменимый Пек, добрый, умный, веселый Пек, все пытался вспомнить, какой он был за пультом «Гладиатора», и не мог, потому что невозможно было представить его где-нибудь, кроме бара, над стаканом спирта.

— Такси! — завизжал он, но машина промчалась мимо, в ней было полно людей.

— Пек,— сказал я,— поедем ко мне. Я тебе все расскажу.

— Отстаньте от меня,— сказал он, стуча зубами.— Я никуда с вами не поеду. Отстань! Я же тебя не трогал, я же тебе ничего не сделал, отстань, ради бога!

— Ну хорошо,— сказал я.— Я от тебя отстану. Но ты мне должен дать слег и дать свой адрес.

— Не знаю я никаких слегов,— застонал он.— Да что ж это за день такой сегодня, господи!..

Припадая на левую ногу, он побрел прочь и вдруг нырнул в подвальчик с красивой скромной вывеской. Я последовал за ним. Мы сели за столик, и нам тотчас принесли горячее мясо и пиво, хотя мы ничего не заказывали. Буба дрожал, мокрое лицо его стало синим. Он с отвращением оттолкнул тарелку и стал глотать пиво, обхватив кружку обеими ладонями. В подвальчике было тихо и пусто, над сверкающим буфетом висела белая доска с золотыми буквами: «У нас платят». Буба поднял голову от кружки и тоскливо сказал:

— Можно, я уйду, Иван? Не могу... К чему все эти разговоры? Отпусти меня, пожалуйста...

Я взял его за руку.

— Пек, что с тобой творится? Ведь я тебя искал, адреса твоего нигде нет... Я тебя встретил совершенно случайно и ничего не понимаю. Как ты попал в эту историю?.. Может, я могу помочь тебе чем-нибудь? Может быть, мы...

Он вдруг с бешенством вырвал у меня руку.

— Вот палач,— прошипел он.— Гестаповец... Черт меня понес в этот «Оазис»... Дурацкая болтовня, сопли... Нет у меня слега, понял? Есть один, так я тебе его не отдам! Что я потом — как Архимед?.. Есть у тебя совесть? Тогда отпусти меня, не мучай...

— Я не могу тебя отпустить,— сказал я,— пока не получу слега. И твой адрес. Должны же мы поговорить...

— Я не желаю с тобой говорить, неужели ты этого не понимаешь? Я ни с кем ни о чем не желаю говорить. Я хочу домой... И слег свой я тебе не отдам... Что я вам, фабрика? Тебе отдам, а потом через весь город крюка давать?

Я молчал. Ясно было, что он ненавидит меня сейчас. Что если бы он чувствовал себя в силах, он бы убил меня и ушел. Но он знал, что это не в его силах.

— Сволочь,— сказал он с яростью.— Почему ты сам купить не можешь? Денег у тебя нет? На! На! — Он стал судорожно рыться в карманах, выбрасывая на стол медяки и смятые бумажки.— Бери, здесь хватит!

— Что купить? У кого?

— Вот осел проклятый... Ну этот... Как его... м-м-м... как его... А, дьявол!..— крикнул он.— Провались ты совсем! — Он запустил пальцы в нагрудный карман и вытащил плоский пластмассовый футлярчик. Внутри была блестящая металлическая трубочка, похожая на инвариант-гетеродин для карманных радиоприемников.— На! Жри! — Он протянул мне эту трубочку. Она была маленькая, длиной не больше дюйма и толщиной в миллиметр.

— Спасибо,— сказал я.— И как ею пользоваться?

У Пека раскрылись глаза. Он даже, кажется, улыбнулся.

— Господи,— сказал он почти с нежностью,— неужели ты ничего не знаешь?

— Ничего не знаю,— сказал я.

— Ну, так бы и сказал с самого начала. А я думаю, что он меня изводит, как палач? У тебя приемник есть? Вставь туда вместо гетеродина, повесь где-нибудь в ванной или поставь, все равно, и валяй.

— В ванной?

— Да.

— Обязательно в ванной?

— Ну да! Обязательно нужно, чтобы тело было в воде. В горячей воде. Эх ты, теленок...

— А «Девон»?

— А «Девон» высыпь в воду. Таблеток пять в воду и одну в рот. На вкус они отвратительные, но зато потом не пожалеешь... И еще обязательно добавь в воду ароматических солей. А перед самым началом выпей

пару стаканчиков чего-нибудь покрепче. Это нужно, чтобы... как это... ну... развязаться, что ли...

— Так,— сказал я.— Понятно. Теперь все понятно.— Я завернул слег в бумажную салфетку и положил в карман.— Значит, волновая психотехника?

— Господи, да какое тебе до этого дело? — Он уже стоял, надвигая капюшон на голову.

— Никакого,— сказал я.— Сколько я тебе должен?

— Пустяки, вздор! Пошли скорее... Какого черта мы теряем время?

Мы поднялись на улицу.

— Ты правильно решил,— сказал Пек.— Разве это мир? Разве в этом мире мы люди? Это дерьмо, а не мир. Такси! — завопил он.— Эй, такси! — Его затрясло от возбуждения.— И чего меня понесло в «Оазис»?.. Не-ет, теперь я больше никуда, никуда...

— Дай мне твой адрес,— сказал я.

— Зачем тебе мой адрес?

Подкатило такси, Буба рванул дверцу.

— Адрес! — сказал я, хватая его за плечо.

— Вот дурак,— сказал Буба.— Солнечная, одиннадцать... Вот дурак,— повторил он, усаживаясь.

— Завтра я к тебе зайду,— сказал я.

Он уже не обращал на меня внимания. «Солнечная! — крикнул он шоферу.— Через центр! И побыстрее, ради бога!»

Как просто, подумал я, глядя вслед его машине. Как все оказалось просто! И все совпадает. И ванна и «Девон». И орущие приемники, которые так нас раздражали и на которые мы никогда не обращали внимания. Мы их просто выключали... Я взял такси и отправился домой.

А вдруг он меня обманул, подумал я. Просто хотел от меня поскорее избавиться... Впрочем, это я скоро узнаю. Он совсем не похож на агента-распространителя. Он же Пек... Впрочем, нет, он уже больше не Пек. Бедный Пек. Никакой ты не агент, ты просто жертва. Ты знаешь, где можно купить эту гадость, но ты всего лишь жертва. Слушайте, я не желаю допрашивать Пека, я не желаю его трясти, как какую-нибудь шпану... Правда, он уже не Пек. Чепуха, что значит не Пек? Он — Пек... и все-таки... придется... Волновая психотехника... Но дрожка — это ведь тоже волновая психотехника. Что-то слишком просто все получается, подумал я. Я здесь и двух суток не пробыл... А Римайер живет

здесь с самого мятежа. Как забросили его тогда, так он здесь и прижился, и все им были довольны, хотя в последних отчетах он писал, что ничего похожего на то, что мы ищем, здесь нет. Правда, у него нервное истощение... и «Девон» на полу. И Оскар. И он не стал умолять меня, чтобы я его отпустил, а просто направил меня к рыбарям...

Я никого не встретил ни во дворе, ни в холле. Было уже около пяти. Я прошел к себе в кабинет и позвонил Римайеру. Ответил тихий женский голос.

— Как больной? — спросил я.

— Он спит. Не надо его беспокоить.

— Я не буду. Ему лучше?

— Я же вам сказала, что он заснул. И не звоните так часто, пожалуйста. Ваши звонки его тревожат.

— Вы будете у него все время?

— Во всяком случае, до утра. Если вы позвоните еще хоть раз, я выключу телефон.

— Благодарю вас,— сказал я.— Вы только не уходите от него до утра. Я больше не буду вас беспокоить.

Я повесил трубку и некоторое время сидел, размышляя, в удобном мягком кресле перед большим и совершенно пустым столом. Потом я достал из кармана слег и положил перед собой. Маленькая блестящая трубочка, незаметная и совершенно безобидная на вид, обычная радиодеталь. Такие можно делать миллионами. Они должны стоить копейки и очень удобны при транспортировке.

— Что это у вас? — спросил Лэн над самым моим ухом.

Он стоял рядом и смотрел на слег.

— Разве ты не знаешь? — спросил я.

— Это из приемника,— сказал он.— У меня в приемнике есть такая. Все время портится.

Я достал из кармана свой приемник, вынул из него гетеродин и положил рядом со слегом. Гетеродин был похож на слег, но это был не слег.

— Неодинаковые,— признал Лэн.— Но такую штучку я тоже видел.

— Какую?

— Вот такую, как у вас.

Он вдруг насупился, и лицо его сделалось сердитым.

— Вспомнил? — спросил я.

— Вовсе нет,— сказал он мрачно.— Ничего я не вспомнил.

— Ну и ладно,— сказал я. Я взял слег и вставил его в приемник вместо гетеродина. Лэн схватил меня за руку.

— Не надо,— сказал он.

— Почему?

Он не ответил, глядя на приемник настороженными глазами.

— Ты чего боишься? — спросил я.

— Ничего я не боюсь, откуда вы взяли...

— Посмотрись в зеркало,— сказал я и положил приемник в карман.— У тебя такой вид, будто ты за меня испугался.

— За вас? — удивился он.

— Ну ясно, за меня. Не за себя же... Хотя да, ведь ты еще боишься этих... некротических явлений.

Он стал смотреть в сторону.

— Откуда вы взяли? — сказал он.— Просто мы так играем.

Я презрительно фыркнул.

— Знаю я эти игры! Одного вот только не знаю: откуда в наше время берутся некротические явления?

Он озирался по сторонам, потом стал пятиться.

— Я пойду,— сказал он.

— Нет уж,— сказал я решительно.— Давай договорим, раз начали. Как мужчина с мужчиной. Ты не думай, я в этих некротических явлениях кое-что смыслю.

— Что вы смыслите? — Он был уже возле дверей и говорил очень тихо.

— Побольше тебя,— сказал я строго.— Но орать об этом на весь дом я не собираюсь. Если хочешь говорить, подойди сюда... Я-то ведь не некротическое явление... Залезай сюда на стол и садись.

Целую минуту он колебался, исподлобья глядя на меня, и все, чего он опасался, и все, на что он надеялся, появлялось и исчезало у него на лице. Наконец он сказал:

— Я только дверь закрою.

Он сбегал в гостиную, закрыл дверь в холл, вернулся, плотно закрыл дверь в гостиную и подошел ко мне. Руки у него были в карманах, лицо бледное, а оттопыренные уши — красные и холодные.

— Во-первых, ты дурак,— объявил я, подтащив его к себе и поставив между коленей.— Жил-был мальчик до того запуганный, что штанишки у него не высыхали даже на пляже, а уши у него от страха были такие

холодные, словно он клал их на ночь в холодильник. Этот мальчик все время дрожал, и так он дрожал, что, когда вырос, у него оказались извилистые ноги, а кожа сделалась, как у ощипанного гусака.

Я надеялся, что он хоть раз улыбнется, но он слушал очень серьезно и очень серьезно спросил:

— А чего он боялся?

— У него был старший брат, хороший человек, но большой любитель выпить. И как это часто бывает, подвыпивший брат был совсем не похож на брата трезвого. У него делался очень дикий вид. А когда он выпивал особенно много, то делался похожим на покойника. И вот этот мальчик...

На лице Лэна появилась презрительная усмешка.

— Нашел чего бояться... Они, когда пьяные, наоборот, добрые.

— Кто — они? — сейчас же спросил я.— Мать? Вузи?

— Ну да. Мама, наоборот, с утра, как встанет, всегда злится, а потом раз выпьет вермуту, два выпьет вермуту, и все. А к вечеру уже совсем добрая, потому что ночь близко...

— А ночью?

— Ночью этот хмырь приходит,— неохотно сказал Лэн.

— До хмыря нам дела нет,— деловито сказал я.— Не от хмыря же ты в гараж убегаешь.

— Я не убегаю,— сказал он упрямо.— Это такая игра.

— Не знаю, не знаю,— сказал я.— Есть, конечно, на свете вещи, которых даже я боюсь. Например, когда мальчик плачет и дрожит. Я на такие вещи смотреть не могу, у меня все внутри прямо переворачивается. Или когда зубы болят, а по ходу дела надо улыбаться,— вот это страшно, ничего не скажешь. А бывают просто глупости. Когда дураки, например, от безделья и от жира угощаются мозгом живой обезьянки. Это уже не страшно, это просто противно. Тем более что это они не сами придумали. Это еще тысячу лет назад — и тоже с жиру — придумали толстые тираны на Дальнем Востоке. А нынешние дурачки услыхали про это и обрадовались. Так их ведь жалеть надо, а не бояться...

— Жалеть,— сказал Лэн.— Они-то ведь никого не жалеют. Они что захотят, то и делают. Им ведь все равно, как вы не понимаете... Им если скучно, то все равно, кому голову пилить... Дурачки... Это они днем,

может быть, дурачки, вы вот все это не понимаете, а ночью они не дурачки, они все прóклятые...

— Как это так?

— Всем миром они прóклятые. Покоя им нет и не будет. Вы-то ничего не знаете... Вам что, как приехали, так и уедете... А они — ночью живые, а днем мертвые... трупные...

Я сходил в гостиную и принес ему воды. Он выпил полный стакан и сказал:

— А вы скоро уедете?

— Да нет, что ты,— сказал я, похлопывая его по спине.— Я же только что приехал.

— Можно, я у вас ночевать буду?

— Конечно.

— Сначала у меня замок был, а сейчас она у меня замок зачем-то сняла. А зачем сняла — не говорит...

— Ладно,— сказал я.— Будешь спать у меня в гостиной. Хочешь?

— Да.

— Вот, запирайся там и спи на здоровье. А я тогда в спальню через окно забираться буду.

Он поднял голову и пристально посмотрел мне в лицо.

— Думаете, у вас двери запираются? Я тут все знаю. У вас ведь тоже не запираются.

— Это у вас они не запираются,— сказал я по возможности небрежно.— А у меня они запираться будут. На полчаса работы.

Он неприятно, как взрослый, засмеялся.

— Вы сами-то боитесь. Ладно, я пошутил. Запираются они у вас, не бойтесь.

— Дурачина ты,— сказал я.— Я же тебе сказал, что ничего такого не боюсь.— Он испытующе смотрел на меня.— А замок я хотел сделать в гостиной для тебя, чтобы ты спал спокойно, раз уж ты такой боязливый. А я всегда сплю с открытым окном.

— Я же говорю,— сказал он,— я пошутил.

Мы помолчали.

— Лэн,— сказал я,— а кем ты будешь, когда вырастешь?

— А что? — сказал он. Он очень удивился.— Какая мне разница?

— Как так — какая разница? Тебе все равно, химиком ты будешь или барменом?

— Я же вам сказал: мы все прóклятые. От прокля-

тья-то не уйдешь, как вы понять не можете, это же всякий знает.

— Что ж,— сказал я,— бывали и раньше про́клятые народы. А потом рождались дети, которые вырастали и снимали проклятье.

— А как?

— Это долго объяснять, дружище.— Я встал.— Я тебе это еще обязательно расскажу. А сейчас беги играй. Днем-то ты хоть играешь? Ну, вот и беги. А когда солнце сядет, приходи, я тебе постелю.

Он сунул руки в карманы и пошел к дверям. Там он остановился и сказал через плечо:

— А эту штучку из приемника вы лучше выньте. Вы думаете, это что такое?

— Гетеродин,— сказал я.

— Никакой это не гетеродин. Вы его выньте, а то вам плохо будет.

— Почему это мне будет плохо? — сказал я.

— Выньте,— сказал он.— Вы всех будете ненавидеть. Вы сейчас не про́клятый, а станете проклятым. Кто вам его дал? Вузи?

— Нет.

Он умоляюще посмотрел на меня.

— Иван, выньте!

— Так и быть,— сказал я.— Выну. Беги играй. И никогда меня не бойся, слышишь?

Он ничего не сказал и вышел, а я остался сидеть в кресле, положив руки на стол, и скоро услышал, как он завозился в кустах сирени под окнами. Он шуршал, топал, что-то бормотал и тихонько вскрикивал, разговаривая сам с собой: «...Принесите флаги и ставьте здесь, и здесь, и здесь... вот...вот...вот... И тогда я сел в самолет и улетел в горы...» Интересно, когда он ложится спать? — подумал я. Хорошо, если в восемь или хотя бы в девять, зря я, пожалуй, все это затеял, сейчас бы заперся в ванной и через два часа уже все знал бы, да нет, не мог же я отказать ему, представь-ка себя на его месте, но это не метод, я потакаю его страхам, надо было придумать что-нибудь поумнее, а попробуй придумай, это тебе не Аньюдинский интернат, ох, какой же это не Аньюдинский интернат, какое же это все не такое, и что же мне сейчас предстоит, какой, интересно, круг рая, только если будет щекотно, я не смогу, интересно, рыбари — это тоже круг рая, наверняка, меценатство для аристократов духа, а Старое Метро

для тех, кто попроще, хотя интели тоже аристократы духа, а напиваются как свиньи и ни на что больше не годны, даже они больше ни на что не годны, слишком много ненависти, слишком мало любви, ненависти легко научить, а вот любви — трудно, и потом любовь слишком затаскали и обслюнявили, и она пассивна, почему-то так получилось, что любовь всегда пассивна, а ненависть зато всегда активна и потому очень привлекательна, и говорят еще, что ненависть — от природы, а любовь — от ума, от большого ума, а с интелями все-таки хорошо бы поговорить, не все же они там дураки и истерики, а вдруг удастся найти Человека, что, собственно, хорошо у человека от природы, фунт серого вещества, но и это не всегда хорошо, так что человеку всегда приходится начинать на голом месте, а хорошо было бы, если бы наследовались социальные признаки; правда, тогда Лэн был бы сейчас маленьким генерал-полковником; нет уж, лучше не надо, лучше на голом месте, он бы, конечно, ничего не боялся, но зато он бы пугал других, не генералов-полковников...

Я вздрогнул, потому что увидел: на яблоне напротив окна сидит Лэн и пристально смотрит на меня. В следующее мгновение он исчез, только затрещали ветки и посыпались яблоки. Нипочем не верит, подумал я. Никому не верит. А я кому-нибудь верю в этом городе? Я перебрал всех, кого мог вспомнить. Нет, никому я не верю. Я снял трубку, позвонил в «Олимпик» и попросил соединить с номером восемьсот семнадцать.

— Слушаю вас,— сказал голос Оскара.

Я молчал, прикрыв микрофон пальцами.

— Слушаю! — раздраженно повторил Оскар.— Второй раз уже,— сказал он кому-то в сторону.— Алло!.. Да нет, какие у меня здесь могут быть женщины?..— Он повесил трубку.

Я взял томик Минца, лег в гостиной на тахту и читал до сумерек. Очень люблю Минца, но совершенно не помню, о чем я читал. С шумом проехала вечерняя смена. Тетя Вайна кормила Лэна ужином, пичкала его толокном с горячим молоком. Лэн капризничал, хныкал, а она терпеливо и ласково уговаривала его. Таможенник Пети внушал командирским голосом, но вполне добродушно: «Надо есть, надо есть, раз мать говорит — надо есть, выполняйте...» Заходили двое каких-то, судя по голосам — разболтанных молодых людей, спрашивали Вузи и заигрывали с тетей Вайной. По-моему, они

были пьяны. Темнело быстро. В восемь часов в кабинете зазвонил телефон. Я босиком сбегал в кабинет и взял трубку, но никто не заговорил. Как аукнется, так и откликнется. В восемь десять в дверь постучали. Я обрадовался, что это Лэн, но это оказалась Вузи.

— Что же вы даже не заходите? — возмущенно спросила она прямо с порога. На ней были шорты с изображением подмигивающей физиономии, тесная курточка-безрукавка, открывающая пупок, и огромный прозрачный шарф, она была свежая и крепенькая, как недозрелое яблоко. До оскомины.

— Я сижу и жду его весь день, а он здесь валяется. У вас болит что-нибудь?

Я поднялся и сунул ноги в туфли.

— Садитесь, Вузи.— Я похлопал по тахте рядом с собой.

— Не сяду я с вами,— сказала она.— Он тут читает, оказывается... Хоть бы выпить предложил.

— В баре,— сказал я.— Как поживает слюнявая корова?

— Слава богу, сегодня ее не было,— сказала Вузи, залезая в бар.— Сегодня мне досталась мэриха... Вот дурища. Почему, значит, ее никто не любит? А за что ее любить?.. Вам с водой?.. Глаза белые, морда красная, задница диваном — ну как у лягушки, ей-богу... Слушайте, давайте сделаем «хорек». Сейчас все делают «хорек»...

— А я не люблю делать, как все.

— Это я и сама вижу. Все идут гулять, а он валяется. И читает вдобавок.

— Он устал,— сказал я.

— Ах, так? Тогда я могу уйти!

— А я вас не пущу,— сказал я, поймал ее за шарф и посадил рядом с собой.— Вузи, девочка, вы специалист только по дамскому хорошему настроению или вообще? Не можете ли вы привести в хорошее настроение одинокого мужчину, которого никто не любит?

— А за что вас любить? — Она оглядела меня.— Глаза рыжие, нос картошкой...

— Как у крокодила.

— Как у пса... Не обнимайтесь, я вам не позволяю. Почему вы не зашли?

— А почему вы меня вчера бросили?

— Здравствуйте, я его бросила!..

— Одного, в чужом городе...

— Я его бросила! Да я вас потом везде искала! Я всем рассказывала, что вы тунгус, а вы пропали,— очень нехорошо с вашей стороны... Нет, я не разрешаю! Где вы вчера были? Рыбарили, наверное? А сегодня опять ничего не расскажете...

— Почему это не расскажу? — сказал я. И я рассказал ей про Старое Метро. Я сразу сообразил, что правды будет недостаточно, и я рассказал про людей в металлических масках, про жуткую клятву, про стену, мокрую от крови, про рыдающий скелет — про разные вещи я рассказал и дал ей пощупать желвак за ухом. Ей все очень понравилось.

— Пойдемте сейчас же,— сказала она.

— Ни за что,— сказал я и лег.

— Что за манеры? Сейчас же вставайте, и пойдем! Ведь мне никто не поверит, а вы покажете эту шишку, и все сразу будет в порядке.

— А потом мы пойдем на дрожку? — осведомился я.

— Ну да! Знаете, это, оказывается, даже полезно для здоровья...

— И будем пить бренди?

— И бренди, и вермут, и «хорек», и виски...

— Хватит, хватит... И будем тискаться в машинах на скорости в сто пятьдесят миль?.. Слушайте, Вузи, зачем вам туда идти?

Она, наконец, поняла и растерянно заулыбалась.

— А что тут плохого? Рыбари ведь тоже ходят...

— Да нет, ничего плохого,— сказал я.— Но что тут хорошего?

— Не знаю. Все так делают. Иногда бывает очень весело... И дрожка. В дрожке все всегда исполняется...

— Что же это — все?

— Ну не все, конечно... Но о чем думаешь, чего хотелось бы, часто исполняется. Как во сне.

— Так, может, лучше лечь спать?

— Ну да! — сердито сказала она.— В настоящем сне такое бывает... Будто вы не знаете! А в дрожке — только то, что хочется!

— А что вам хочется?

— Н-ну... Много чего...

— А все-таки? Вот пусть я волшебник. И я вам говорю: загадайте три желания. Любые, какие хотите. Самые сказочные. И я вам их исполню. Ну-ка?

Она тяжело задумалась, у нее даже плечи опустились. Потом лицо ее прояснилось.

— Чтобы я никогда не старилась! — заявила она.

— Отлично,— сказал я.— Раз.

— Чтобы я...— вдохновенно начала она и замолчала.

Я очень любил задавать этот вопрос своим знакомым и задавал его при каждом удобном случае. Несколько раз я задавал своим ребятам даже сочинения на тему «Три желания». И мне всегда было очень интересно, что из тысячи мужчин и женщин, стариков и ребятишек всего два-три десятка сообразили, что желать можно не только для себя лично и для ближайших тебе людей, но и для большого мира, для человечества в целом. Нет, это не было свидетельством неистребимости человеческого эгоизма, желания совсем не всегда были сугубо эгоистичными, а большинство опрошенных потом, когда я напоминал им об упущенных возможностях и о великих всечеловеческих проблемах, спохватывалось, совершенно искренне сердилось и упрекало меня, что я сразу не сказал. Но так или иначе все они начинали свой ответ чем-нибудь вроде: «Чтобы я...» Здесь проявлялась какая-то вековая подсознательная убежденность, что твои личные желания ничего не могут изменить в большом мире — есть у тебя волшебная палочка или нет, безразлично...

— Чтобы мне...— снова начала Вузи и снова замолчала. Я украдкой следил за нею. Она заметила это, расплылась в улыбке и, махнув рукой, сказала: — Да ну вас, в самом деле... Ну и трепач вы!

— Нет-нет-нет,— сказал я.— К этому вопросу всегда нужно быть готовым. А то вот был у меня один знакомый, он всем задавал этот вопрос, а потом сокрушался: «Ах, а я вот так не сообразил, такой случай потерял». Так что это совершенно серьезно. Первое у вас — чтобы никогда не стариться. А дальше?

— Ну что дальше?.. Ну, конечно, хорошо бы иметь красивого парня, чтобы все за ним бегали, а он бы только со мной был. Всегда.

— Превосходно,— сказал я.— Это два. И наконец?

По ее лицу было видно, что эта игра ей уже надоела и что сейчас она что-нибудь отмочит. И она отмочила. Я даже глазами захлопал.

— Да,— сказал я.— Это, конечно, да... Только это случается и без волшебства...

— Как сказать! — возразила она и принялась развивать идею, ссылаясь на невзгоды своих клиенток. Все это ей было очень весело и забавно, а я, позорно поте-

рявшись, дул бренди с лимонным соком и стесненно хихикал, чувствуя себя девой-неудачницей. Нет, если бы это происходило в кабаке, я бы знал, как себя вести... Ох... Ну и ну... Да-а-а!.. Хорошенькими делами они там занимаются в Салонах Хорошего Настроения... Ай да престарелые!..

— Ф-фу-у...— сказал я наконец.— Вузи, вы меня смущаете... и потом я уже все понял. Я вижу, что без волшебства действительно не обойтись. Хорошо, что я не волшебник!

— Здорово я вас уела! — радостно сказала Вузи.— А вы бы чего сейчас пожелали?

Тогда я тоже решил пошутить.

— Мне ничего такого не надо,— сказал я.— Я ничего такого и не умею. Я бы хотел хороший добрый слег...

Она весело улыбалась.

— Мне трех желаний не требуется,— пояснил я.— Мне хватит одного.

Она еще улыбалась, но улыбка стала растерянной, потом кривой, потом она перестала улыбаться.

— Что? — сказала она жалким голосом.

— Вузи!..— сказал я, поднимаясь.— Вузи!..

Она словно не знала, что делать. Она вскочила, потом села, потом опять вскочила. Столик с бутылками опрокинулся. На глазах у нее были слезы, а лицо было жалким, как у ребенка, которого нагло, грубо, жестоко, издевательски обманули. И вдруг она закусила губу и изо всех сил ударила меня по лицу — раз и еще раз. И пока я моргал, она, уже совсем плача, отшвырнула ногой опрокинутый столик и выбежала вон. Я сидел с раскрытым ртом. В темном саду взревел мотор, вспыхнули фары, затем шум двигателя пронесся по двору, по улице и затих в отдалении.

Я ощупал физиономию. Ай да шутка! Никогда в жизни я еще не шутил так эффектно. Болван старый... Вот тебе и слег...

— Можно? — спросил Лэн. Он стоял в дверях, и он был не один. С ним был угрюмый, остриженный наголо конопатый мальчик.— Это Рюг,— сказал Лэн.— Можно, он тоже будет ночевать здесь?

— Рюг,— задумчиво сказал я, разглаживая щеки.— Рюг, значит... Ну да, конечно, хоть два Рюга... Слушай, Лэн, а почему ты не пришел на десять минут раньше?

— Так тут же она была,— сказал Лэн.— Мы в окно смотрели, ждали, когда она уйдет.

— Да? — сказал я.— Очень интересно. Рюг, голубчик, а что скажут твои родители?

Рюг не ответил. Лэн сказал:

— У него не бывает родителей.

— Ну хорошо,— сказал я, чувствуя легкое утомление.— А вы не будете драться подушками?

— Нет,— сказал Лэн, не улыбаясь.— Мы будем спать.

— Ладно,— сказал я.— Я вам сейчас постелю, а вы быстренько приберите вот это все...

Я постелил им на тахте и на креслах, они сразу же разделись и легли. Я запер дверь в холл, погасил у них свет и перешел к себе в спальню и некоторое время сидел у окна, слушая, как они шепчутся, ворочаются и двигают мебель. Потом они затихли. Около одиннадцати часов в доме раздался звон битого стекла. Голос тети Вайны запел какую-то маршевую песню, и снова зазвенело разбитое стекло. По-видимому, неутомимый Пети опять падал мордой. Из города доносилось: «Дрож-ка! Дрож-ка!» Кого-то громко тошнило на улице.

Я запер окно и опустил шторы. Дверь из кабинета в спальню я тоже запер. Потом я отправился в ванную и пустил горячую воду. Я все сделал по инструкции: поставил приемник на полочку для мыла, бросил в воду несколько таблеток «Девона» и кристаллики ароматической соли и хотел уже проглотить таблетку, когда вспомнил, что необходимо еще «развязаться». Мне не хотелось беспокоить ребятишек, да это и не понадобилось: початая бутыль с бренди нашлась в туалетном шкафчике. Я сделал несколько глотков прямо из горлышка, закусил таблеткой, потом разделся догола, залез в ванную и включил приемник.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Я нарочно не включал терморегулятор, и, когда вода остыла, я очнулся. Вопил приемник, блеск яркого света на белых стенах резал глаза. Я основательно озяб и покрылся пупырышками. Выключив приемник, я пустил горячую воду и остался в ванне, наслаждаясь приливающим теплом и очень странным, очень новым ощущением полной, какой-то космически огромной пустоты. Я ожидал похмелья, но похмелья не было. Было просто

хорошо. И было очень много воспоминаний. И очень хорошо думалось, словно после долгого отдыха в горах...

В середине прошлого века Олдс и Милнер занимались экспериментами по мозговой стимуляции. Они вживляли электроды в мозг белых крыс. У них была варварская техника и варварская методология, но, отыскав в мозгу у крыс центры наслаждения, они добились того, что животные часами нажимали на рычажок, замыкающий ток в электродах, производя до восьми тысяч самораздражений в час. Эти крысы не нуждались ни в чем реальном. Они знать ничего не хотели, кроме рычага. Они игнорировали пищу, воду, опасность, самку, их ничто в мире не интересовало, кроме рычага стимулятора. Позже опыты были поставлены на обезьянах и дали те же результаты. Ходили слухи, что кто-то ставил такие эксперименты на преступниках, приговоренных к смерти.

То было тяжелое для человечества время: время борьбы против атомного уничтожения, время непрерывных малых войн по всему лицу планеты, время, когда большинство людей голодало, но даже тогда английский писатель и критик Кингсли Эмис, узнав об опытах с крысами, написал: «Не могу утверждать, что это пугает меня сильнее, нежели берлинский или тайваньский кризис, но должно, по-моему, пугать сильнее». Он многого опасался в будущем, этот умный и ядовитый автор «Новых карт ада», в частности, он предвидел возможности мозговой стимуляции для создания иллюзорного бытия, столь же или более яркого, нежели бытие реальное.

В конце века, когда наметились первые триумфы волновой психотехники и стали пустеть психиатрические лечебницы, в хоре восторженных воплей научных комментаторов раздражающим диссонансом прозвучала брошюрка Криницкого и Миловановича. В заключительной ее главке советские педагоги Криницкий и Милованович писали примерно следующее. В огромном большинстве стран мира воспитание молодого поколения находится на уровне восемнадцатого — девятнадцатого столетий. Эта давняя система воспитания ставила и ставит своей целью прежде всего и по преимуществу подготовить для общества квалифицированного, но оболваненного участника производственного процесса. Эту систему не интересуют все остальные потенции человеческого мозга, и поэтому вне производственного процесса человек в массе остается психологически человеком пещерным, Человеком Невоспитанным. Неиспользование этих потенций

имеет результатом неспособность индивидуума к восприятию нашего сложного мира во всех его противоречиях, неспособность связывать психологически несовместимые понятия и явления, неспособность получать удовольствие от рассмотрения связей и закономерностей, если они не касаются непосредственного удовлетворения самых примитивных социальных инстинктов. Иначе говоря, эта система воспитания практически не развивает в человеке чистого воображения, фантазии и — как немедленное следствие — чувства юмора. Человек Невоспитанный воспринимает мир как некий по сути своей тривиальный, рутинный, традиционно простой процесс, из которого лишь ценой больших усилий удается выколотить удовольствия, тоже в конце концов достаточно рутинные и традиционные. Но и неиспользованные потенции остаются, по-видимому, скрытой реальностью человеческого мозга. Задача научной педагогики как раз и состоит в том, чтобы привести в движение эти потенции, научить человека фантазии, привести множественность и разнообразие потенциальных связей человеческой психики в качественное и количественное соответствие с множественностью и разнообразием связей реального мира. Эта задача, как известно, и должна стать основной задачей человечества на ближайшую эпоху. Но пока эта задача не решена, остаются основания предполагать и опасаться, что успехи психотехники приведут к таким способам волновой стимуляции мозга, которые подарят человеку иллюзорное бытие, яркостью и неожиданностью своей значительно превышающее бытие реальное. И если вспомнить, что фантазия позволяет человеку быть и разумным существом и наслаждающимся животным, если добавить к этому, что психический материал для создания ослепительного иллюзорного бытия поставляется у Человека Невоспитанного самыми темными, самыми первобытными рефлексами, тогда нетрудно представить себе тот жуткий соблазн, который таится в подобных возможностях...

И вот — слег.

Понятно, почему слово «слег» они пишут на заборах...

Теперь все понятно. Скверно, что это мне понятно... Лучше бы я ничего не понял, лучше бы я, очнувшись, пожал плечами и вылез из ванны. Неужели Строгову это было бы понятно, и Эйнштейну, и Петрарке? Фантазия — бесценная вещь, но нельзя ей давать дорогу

внутрь. Только вовне, только вовне... До чего же вкусного червяка забросила какая-то сволочь на удочке в эту заводь! И как точно выбрано время... Да, если бы я командовал уэллсовскими марсианами, я не стал бы возиться с боевыми треножниками, тепловым лучом и прочей ерундой... Иллюзорное бытие... Нет, это не наркотик, куда там наркотикам... Это именно то, что должно было быть. Здесь. Сейчас. Каждому времени свое. Маковые зерна и конопля, царство сладостных смутных теней и покоя — для нищих, для заморенных, для забитых... А здесь никому не нужен покой, здесь ведь никто не умирает от голода, здесь просто скучно. Сытно, тепло, пьяно и скучно. Мир не то чтобы плох, мир скучен. Мир без перспектив, мир без обещаний... А он же не карась, он же все-таки человек... Да, это не царство теней, это именно бытие, настоящее, без скидок, без грезовой путаницы... Слег надвигается на мир, и этот мир будет не прочь покориться слегу.

И вдруг на какую-то долю мгновения я почувствовал, что погиб. И погибать мне было уютно. К счастью, я разозлился. Расплескивая воду, я вылез из ванны, ругаясь, разжигая в себе злобу, натянул на мокрое тело трусы и рубашку и схватил часы. Было три часа, и это могло быть три часа дня, и три часа следующей ночи, и три часа через сто лет. Дурак, подумал я, натягивая брюки. Разжалобился, отпустил Бубу, ведь он готов был дать мне адрес притона... Оперативники были бы уже здесь, и мы накрыли бы все это проклятое гнездо. Гнусное гнездо. Клопиное гнездо. Отвратительную клоаку... И в этот момент по самому дну сознания световым зайчиком прошла какая-то очень спокойная мысль. Но я не уловил ее.

В аптечке я нашел «потомак» — самое сильное возбуждающее, какое там только было. Сунулся в гостиную, но там посапывали ребятишки, и я вылез в окно. Город, естественно, отдыхал. На Пригородной торчали под фонарями ржущие подростки, по магистралям, залитым светом, бродили галдящие толпы. Где-то орали песни, где-то вопили: «Дрож-ка!», где-то били стекла. Я выбрал такси без шофера, нашел индекс Солнечной улицы и набрал его на пульте управления. Машина пошла кружить по городу. В кабине воняло кислятиной, под ногами катались бутылки. На одном перекрестке я чуть не врезался в хоровод завывающих людей, на другом ритмично вспыхивали и гасли цветные огни,—

видимо, дрожку можно было устраивать не только на площади. Они отдыхали, они отдыхали во все тяжкие, добрые духовники из Салонов Хорошего Настроения, вежливые таможенники, искусные парикмахеры, нежные матери и мужественные отцы, невинные юноши и девушки,— все сменили дневной облик на ночной, все старались, чтобы было весело и ни о чем не надо было думать...

Я затормозил. На том самом месте. Мне даже почудилось, будто потянуло гарью.

...Пек подбил бронетранспортер из «гремучки». Бронетранспортер завертелся на одной гусенице, прыгая на кучах битого кирпича, и наружу сейчас же выскочили двое фашистов в распахнутых камуфляжных рубашках, швырнули в нас по гранате и помчались в тень. Они действовали умело и проворно, и было ясно, что это не сопляки из Королевской гимназии и не уголовники из Золотой бригады, а настоящие матерые офицеры-танкисты. Роберт в упор срезал их пулеметной очередью. Бронетранспортер был набит ящиками с консервированным пивом. Мы вдруг сразу вспомнили, что уже два дня непрерывно хотим пить. Айова Смит забрался в кузов и стал передавать нам банки. Пек вскрыл банки ножом. Роберт, прислонив пулемет к борту, пробивал банки ударом об острый выступ на броне. А Учитель, поправляя пенсне, путался в ремнях «гремучки» и бормотал: «Погодите, Смит, минуточку, вы же видите, у меня заняты руки...» В конце улицы ярко пылал пятиэтажный дом, густо пахло гарью и горячим металлом, мы жадно глотали теплое пиво, мы были мокрые, было очень жарко, а мертвые офицеры лежали на битом и перебитом кирпиче, одинаково раскинув ноги в коротких черных штанах, камуфляжные рубахи сбились к затылку, и кожа на их спинах все еще лоснилась от пота. «Это офицеры,— сказал Учитель,— слава богу. Я больше не могу видеть мертвых мальчиков. Проклятая политика, люди забывают бога из-за нее».— «Какого такого бога? — спросил Айова Смит из кузова.— В первый раз слышу».— «Не надо шутить с этим, Смит,— сказал Учитель.— Все это скоро кончится, и впредь никогда и никому не будет больше позволено отравлять души людей суетностью».— «А как они будут размножаться?» — спросил Айова Смит. Он снова нагнулся за пивом, и мы увидели горелые дыры у него на штанах. «Я говорю о политике,— сказал Учитель кротко.—

Фашисты должны быть уничтожены, это звери, но этого мало. Есть еще много политических партий, и всем им со всей их пропагандой не место в нашей стране.— Учитель был из этого города и жил в двух кварталах от нашего поста.— Социал-анархисты, технократы, коммунисты, конечно...» — «Я коммунист,— объявил Айова Смит.— Во всяком случае, по убеждениям. Я за коммуну». Учитель растерянно смотрел на него. «И я безбожник,— добавил Айова Смит.— Бога нет, Учитель, и с этим ничего не поделаешь». И тут мы все стали говорить, что мы безбожники, а Пек сказал, что он к тому же за технократию, а Роберт объявил, что отец его — социал-анархист, и дед был социал-анархистом, и ему, Роберту, тоже не миновать стать социал-анархистом, хотя он не знает, что это такое. «Вот если бы пиво сделалось ледяным,— задумчиво сказал Пек,— я бы с удовольствием поверил в бога». Учитель сконфуженно улыбался и протирал пенсне. Он был хороший, мы всегда над ним подшучивали, и он никогда не обижался. Я с первой же ночи заметил, что храбрости он был не великой, но и никогда не отступал без команды. Мы все еще шутили и болтали, когда раздался грохот и треск, стена горящего дома обрушилась, и прямо из крутящегося огня, из тучи искр и дыма на нашу улицу выплыл, держась в метре над мостовой, штурмовой танк «мамонт». Такого ужаса мы еще не видели. Выплыв на середину улицы, он повел метателем, словно осматриваясь, затем убрал воздушную подушку и с громом и скрежетом двинулся в нашу сторону. Я опомнился только в подворотне. Танк был уже значительно ближе, и сначала я не увидел никого, но затем в кузове бронетранспортера поднялся во весь рост Айова Смит, выставив перед собой «гремучку», уперев казенник в живот, и стал целиться. Я видел, как отдача согнула его пополам, я видел, как по черному лбу танка ширкнула огненная черта, а затем улица наполнилась ревом и пламенем, и когда я с трудом поднял опаленные веки, улица была пуста и дымилась, и на улице был только танк. Не было бронетранспортера, не было куч битого кирпича, не было покосившегося киоска возле соседнего дома — был только танк. Он словно проснулся теперь, он извергал водопады огня, и улица на глазах переставала быть улицей и превращалась в площадь. Пек сильно ударил меня по шее, и прямо перед лицом я увидел его стеклянные глаза, но не было уже времени

бежать к траншее и разворачивать лоток. Мы вдвоем подхватили мину и побежали навстречу танку, и я помню только, что неотрывно смотрел Пеку в затылок, задыхался и считал шаги, и вдруг каска слетела с головы Пека, и Пек упал, и я едва не выронил тяжеленную мину и упал на него. Танк взорвали Роберт и Учитель. Я не знаю, как и когда они это сделали,— должно быть, они бежали вслед за нами с другой миной. Я просидел до утра на середине улицы, держа на коленях перебинтованную голову Пека и глядя на чудовищные гусеницы танка, торчащие из асфальтового озера. В то же утро как-то сразу все кончилось. Зун Падана сдался со всем своим штабом и, уже пленный, был застрелен на улице какой-то сумасшедшей женщиной...

Это было то самое место. Мне даже чудилось, будто пахнет гарью и раскаленным металлом. И даже киоск стоял на углу, и он даже был немного перекошенный — в стиле новой архитектуры. А часть улицы, которую танк превратил в площадь, так и осталась площадью, а на месте асфальтового озера был сквер, и в сквере кого-то били. Айова Смит был инженером-мелиоратором из Айовы, Соединенные Штаты. Роберт Свентицкий был кинорежиссером из Кракова, Польша. Учитель был школьным учителем из этого города. Их никто никогда больше не видел, даже мертвыми. А Пек был Пеком, который стал теперь Бубой. Я включил двигатель.

Буба жил в таком же коттедже, как и я, и входная дверь была раскрыта настежь. Я постучал, но никто не отозвался и никто не вышел мне навстречу. Я вошел в темный холл. Свет не загорелся. Дверь на правую половину оказалась запертой, и я заглянул на левую. В гостиной на растерзанной тахте спал бородатый мужчина в пиджаке и без брюк. Чьи-то ноги торчали из-под перевернутого стола. Пахло коньяком, табачным дымом и еще чем-то сладким, как давеча из гостиной тети Вайны. У двери в кабинет я столкнулся с красивой пышной женщиной, которая нисколько не удивилась, увидев меня.

— Добрый вечер,— сказал я.— Простите, Буба здесь живет?

— Здесь,— ответила она, разглядывая меня блестящими, словно масляными глазами.

— Можно его видеть?

— А почему бы нет? Сколько угодно.

— Где он?

— Вот чудак! — Она засмеялась.— Ну где может быть Буба?

Я предполагал — где, но сказал:

— Не знаю. Может быть, в спальне?

— Тепло,— сказала она.

— Что тепло?

— Вот дурак. И еще трезвый. Хочешь выпить?

— Нет,— сказал я сердито.— Где Буба? Он мне срочно нужен.

— Плохо твое дело,— сказала она весело.— Ну пошли, поищи, а я пойду.

Она потрепала меня по щеке и вышла.

В кабинете было пусто. На столе возвышалась большая хрустальная ваза с какой-то красноватой дрянью. От нее пахло сладко и тошно. В спальне тоже никого не было, простыни и подушки были скомканы и валялись как попало. Я подошел к двери ванной. В дверь явно стреляли из пистолета, изнутри, судя по форме пробоин. Я помедлил, затем взялся за ручку. Дверь была заперта.

Я с трудом открыл ее. Буба лежал в ванне по шею в зеленоватой воде, от воды поднимался пар. На краю ванны хрипел и завывал приемник. Я стоял и глядел на Бубу. На бывшего космонавта-испытателя Пека Зеная. На бывшего стройного мускулистого парня, который в восемнадцать лет покинул свой теплый город у теплого моря и ушел в космос во славу человечества, а в тридцать лет вернулся на родину, чтобы драться с последними фашистами, и остался здесь навсегда. Мне было противно думать, что какой-нибудь час назад я был похож на него. Я потрогал его лицо, подергал за редкие влажные волосы. Он не пошевелился. Тогда я нагнулся над ним, чтобы дать ему понюхать «потомак», и вдруг понял, что он мертв.

Я сбросил на пол приемник и раздавил его каблуком. На полу валялся пистолет. Но Пек не застрелился, просто ему, наверное, мешали, и он стрелял в дверь, чтобы его оставили в покое. Я сунул руки в горячую воду, поднял его и перенес в спальню на кровать. Он лежал весь обмякший, страшный, с глазами, утонувшими подо лбом. Если бы он не был моим другом... Если бы он не был таким замечательным парнем... Если бы он не был таким замечательным работником...

Я вызвал по телефону «Скорую помощь» и сел рядом с Пеком. Я старался о нем не думать. Я старался

думать о деле. И я старался быть жестким и холодным, потому что по дну моего сознания снова прошел теплый световой зайчик, и на этот раз я понял, что это за мысль. Когда приехал врач, я уже знал, что буду делать дальше. Я найду Эля. Я заплачу ему любую сумму. Может быть, я буду его бить. Если понадобится, я буду его пытать. Он скажет мне, откуда ползет на мир эта зараза. Он назовет мне адреса и имена. Он скажет мне все. И мы найдем этих людей. Мы разгромим и сожжем их тайные мастерские, а их самих мы увезем так далеко, что они никогда не смогут вернуться. Кто бы они ни были. Мы выловим всех, мы выловим всех, кто когда-либо пробовал слег, и их мы тоже изолируем. Кто бы они ни были. Потом я потребую, чтоб изолировали меня, потому что я знаю, что такое слег. Потому что я понял, что это была за мысль, потому что я социально опасен, так же как и они все. И это будет только начало. Начало всех начал, и впереди останется самое важное: *сделать* так, чтобы *люди никогда, никогда, никогда не захотели узнать, что такое слег.* Наверное, это будет дико. Наверное, многие и многие скажут, что это слишком дико, слишком жестоко, слишком глупо, но нам же придется это сделать, если мы только хотим, чтобы человечество не остановилось...

Врач, старый седой человек, положил белый саквояж, нагнулся над Бубой, осмотрел его и сказал равнодушно:

— Безнадежен.

— Вызовите полицию,— сказал я.

Он медленно спрятал в саквояж инструменты.

— В этом нет никакой необходимости,— сказал он.— Здесь нет состава преступления. Это нейростимулятор...

— Да, я знаю.

— Ну вот. Второй случай за ночь. Они совсем не знают меры.

— Давно это началось?

— Нет, не очень... Несколько месяцев.

— Так какого же черта вы молчите?

— Молчим? Не понимаю. Это у меня шестой вызов за ночь, молодой человек. Второй случай нервного истощения и четыре случая белой горячки. Вы его родственник?

— Нет.

— Ну ничего. Я пришлю людей.— Он постоял немного, глядя на Пека.— Вступайте в хоровые кружки,—

сказал он.— Записывайтесь в лигу раскаявшихся шлюх...

Он бормотал еще что-то, уходя,— старый, равнодушный, сгорбленный человек. Я накрыл Пека простыней, опустил штору и вышел в гостиную. Пьяные гнусно храпели, распространяя запах перегара, и я взял их обоих за ноги, выволок во двор и бросил в лужу возле фонтана. Снова наступал рассвет, звезды гасли на бледнеющем небе. Я сел в такси и набрал на пульте индекс Старого Метро.

Там было людно. В регистратуре к барьеру было не пробиться, хотя мне показалось, что бланки заполняли всего два или три человека, а остальные только смотрели, жадно вытягивая шеи. Ни круглоголового, ни Эля за барьером не оказалось, и никто не знал, как их найти. Внизу, в переходах и тоннелях, толкались и кричали пьяные полусумасшедшие мужчины и истеричные женщины. То глухо, то резко и отчетливо гремели выстрелы, дрожал от взрывов бетон под ногами, воняло гарью, порохом, потом, бензином, духами и водкой. Рукоплещущие, визжащие девки теснились вокруг капающего кровью детины с бледным торжествующим лицом, где-то жутко рычали дикие звери. В залах публика бесновалась у огромных экранов, а на экранах кто-то с завязанными глазами веером палил из автомата, прижав приклад к животу, кто-то сидел по грудь в черной тяжелой жидкости, весь синий, и курил толстую трещащую сигару, кто-то с перекошенным от напряжения лицом висел, словно окаменев, в паутине туго натянутых нитей...

Потом я узнал, где Эль. Возле грязного помещения, заваленного мешками с песком, я увидел круглоголового. Он неподвижно стоял в дверях, лицо его было закопчено, от него несло пороховой гарью, и зрачки были во весь глаз. Через каждые пять секунд он нагибался и чистил колени, и он не слушал меня, и пришлось сильно встряхнуть его, чтобы он меня заметил.

— Нету Эля! — гаркнул он.— Нету его, понимаешь? Один дым, понял? Двадцать киловольт, сто ампер, понимаешь? Не допрыгнул!

Он сильно оттолкнул меня, повернулся и устремился в грязное помещение, прыгая через мешки с песком. Расталкивая любопытных, он продрался к низенькой железной двери.

— А ну, пусти! — визжал он.— А ну, я опять! Бог троицу любит...

Дверь гулко захлопнулась за ним, и люди шарахнулись прочь, спотыкаясь и падая. Я не стал ждать, пока он выйдет. Или не выйдет. Он мне больше не был нужен. Оставался только Римайер. Оставалась еще и Вузи, но на нее я не надеялся. Значит, только Римайер. Я не буду его будить, я подожду под дверью.

Уже взошло солнце, и загаженные улицы были пусты. Из каких-то подземных стоянок выползали и принимались за работу дворники-автоматы. Они знали только работу, у них не было потенций, которые стоило развивать, но зато у них не было и первобытных рефлексов. Возле «Олимпика» мне пришлось остановиться и пропустить длинную колонну красных и зеленых людей и людей, закованных в дымящуюся чешую, которые, трудно волоча ноги, проплелись из одной улицы в другую, оставив за собой запах пота и краски. Я стоял и ждал, пока они пройдут, а солнце уже озаряло громаду отеля и весело блестело на металлическом лице Владимира Сергеевича Юрковского, смотревшего, как и при жизни, поверх всех голов. Потом они прошли, и я вошел в отель. Портье дремал за своим барьером. Проснувшись, он профессионально улыбнулся и спросил свежим голосом:

— Прикажете номер?

— Нет,— сказал я.— Я иду к Римайеру.

— К Римайеру? Но простите... Девятьсот второй номер?

Я остановился.

— Да, кажется. В чем дело?

— Прошу прощения, но Римайера нет дома.

— Как нет?

— Он уехал.

— Не может быть, он же болен... Вы не ошибаетесь? Девятьсот второй номер.

— Совершенно верно, девятьсот второй номер. Римайер. Наш постоянный клиент. Полтора часа назад он уехал. Точнее, улетел. Друзья помогли ему спуститься и сесть в вертолет.

— Какие друзья? — спросил я безнадежно.

— Я сказал — друзья? Прошу прощения, возможно, это знакомые. Их было трое, и двоих я действительно не знаю. Просто молодые люди спортивного типа. Но мистера Пеблбриджа я знаю, он наш постоялец, но он уже выписался.

— Пеблбридж?

— Совершенно верно. Последнее время он довольно часто встречался с Римайером, из чего я и заключил, что они хорошо знакомы. Он снимал у нас восемьсот семнадцатый номер... Такой представительный мужчина, в годах, рыжеватый...

— Оскар...

— Совершенно верно, Оскар Пеблбридж.

— Понятно,— произнес я, стараясь держать себя в руках.— Так вы говорите, они помогли ему?

— Да. Ведь он сильно болел, к нему даже врача вызывали вчера. Он был еще очень слаб, и молодые люди поддерживали его под локти и почти несли.

— А сиделка? У него была сиделка.

— Была. Но она ушла сразу же после них. Они ее отпустили.

— Как вас зовут? — спросил я.

— Вайл, к вашим услугам.

— Слушайте, Вайл,— сказал я.— А вам не показалось, что Римайера увезли насильно?

Я не спускал с него глаз. Он растерянно заморгал.

— Н-нет,— проговорил он.— Впрочем, сейчас, когда вы это сказали...

— Хорошо,— сказал я.— Дайте мне ключ от его номера, и пойдемте со мной.

Портье, как правило, весьма дошлый народ. Во всяком случае, на определенные вещи нюх у них просто замечательный. Было совершенно ясно, что он догадался, кто я. И может быть, даже — откуда я. Он подозвал швейцара, что-то шепнул ему, и мы поднялись в лифте на девятый этаж.

— Какой валютой он расплачивался? — спросил я.

— Кто? Пеблбридж?

— Да.

— Кажется... Ах да, марками. Немецкими марками.

— А когда он к вам приехал?

— Минуточку... сейчас я вспомню... Шестнадцать марок... Совершенно точно, четыре дня назад.

— Он знал, что Римайер живет у вас?

— Простите, не могу сказать. Но позавчера они обедали вместе. А вчера долго беседовали в вестибюле. Рано утром, когда еще никто не спал.

В номере Римайера было непривычно чисто и прибрано. Я походил, осматривая комнаты. В стенном шкафу стояли чемоданы. Постель была смята, но никаких следов борьбы я не нашел. В ванной тоже все было

чисто и прибрано. На туалетной полочке лежали коробки «Девона».

— Как вы полагаете, я должен вызвать полицию? — спросил портье.

— Не знаю,— ответил я.— Посоветуйтесь с администрацией.

— Вы понимаете, я опять начал сомневаться... Правда, он не попрощался со мной... но все это выглядело совершенно невинно. Ведь он же мог подать знак, я бы понял его, мы давно знаем друг друга... А он только просил мистера Пеблбриджа: «Приемник, приемник не забудьте...»

Приемник лежал под зеркалом, скрытый небрежно брошенным полотенцем.

— Да? — сказал я.— И что же отвечал мистер Пеблбридж?

— Мистер Пеблбридж успокаивал его, говорил: «Обязательно, обязательно, не беспокойтесь...»

Я взял приемник и, выйдя из ванной, уселся за письменный стол. Портье смотрел то на меня, то на приемник. Так, подумал я, теперь он знает, зачем я сюда пришел. Я включил приемник. В нем захрипело и завыло. Все они знают о слеге. Не нужно Эля, не нужно Римайера, можно брать любого, первого встречного. Вот этого портье, например. Хоть сейчас. Я выключил приемник и сказал:

— Будьте добры, включите комбайн.

Портье мелкими шажками побежал к радиокомбайну, включил и вопросительно оглянулся на меня.

— Оставьте на этой станции,— сказал я.— Немножко потише, пожалуйста. Благодарю вас.

— Так вы мне не советуете вызывать полицию? — спросил портье.

— Как вам угодно.

— Мне показалось, что вы имели в виду что-то вполне определенное, когда расспрашивали меня.

— Это вам только показалось,— холодно сказал я.— Просто я недолюбливаю мистера Пеблбриджа. Но это вас не касается.

Портье поклонился.

— Я пока останусь здесь, Вайл,— сказал я.— У меня есть предположение, что мистер Пеблбридж вернется и зайдет сюда. Не надо предупреждать его, что я здесь. А вы пока свободны.

— Слушаюсь,— сказал портье.

Когда он вышел, я позвонил в Бюро Обслуживания и продиктовал телеграмму Марии: «Нашел смысл жизни но одинок брат неожиданно убыл приезжай немедленно Иван». Потом я снова включил приемник, и он снова захрипел и завыл. Тогда я снял крышку и вытянул гетеродин. Это был не гетеродин. Это был слег. Красивая аккуратная деталька, явно заводского производства, и чем больше я смотрел на нее, тем больше мне казалось, что где-то когда-то — задолго до приезда сюда, и не один раз — я уже видел такие детали в каком-то очень знакомом приборе. Я попытался вспомнить, где же я их видел, но вместо этого вспомнил портье, его лицо, его ухмылку, понимающе-сочувственные глаза. Все они заражены. Нет, они не пробовали слега, упаси бог! Они даже никогда не видели его. Это же так неприлично! Это же всем дряням дрянь... Тише, дорогая, как можно при мальчике?.. Но мне рассказывали, это нечто необыкновенное... Я? Ну что ты, дружище! Ты, однако, обо мне невысокого мнения... Не знаю, говорят, что в «Оазисе», у Бубы, а сам я не знаю... А почему бы и нет? Я человек умеренный, если почувствую неладное — остановлюсь... Дайте пять пачек «Девона», мы собрались (хи, хи!) на рыбную ловлю... Пятьдесят тысяч человек. И их знакомые в других городах. И сто тысяч туристов ежегодно. И дело ведь не в банде. Бог с ней, с бандой, что нам стоит ее разогнать! Дело в том, что все они готовы, все они жаждут, и нет ни малейшего намека на возможность доказать им, что это страшно, что это гибель, что это позор...

Я стиснул слег в кулаке, подпер кулаком голову и уставился на парадный, с колодкой орденских ленточек пиджак Римайера, висящий на спинке стула. Вот так же, как я сейчас, он сидел, должно быть, в этом самом кресле несколько месяцев назад, и тоже второй раз держал в руках слег и приемник, и тот же теплый световой зайчик бродил по дну его сознания: ни о чем не надо беспокоиться, ведь теперь есть свет в любой тьме, сладость в любой горечи, радость в любой муке...

Вот-вот, сказал Римайер. Теперь ты понял. Надо быть просто честным перед собой. Это немножко стыдно сначала, а потом начинаешь понимать, как много времени ты потратил зря...

...Римайер, сказал я. Я тратил время не для себя. Этого нельзя делать, просто нельзя, это гибель для всех, нельзя заменять жизнь снами...

...Жилин, сказал Римайер. Когда человек что-нибудь делает, он всегда делает это для себя. Может быть, и существуют на свете совершенные эгоисты, но уж совершенных альтруистов не бывает. Если ты имеешь в виду смерть в ванной, то, во-первых, в реальном мире мы все равно смертны, а во-вторых, раз наука дала нам слег, она позаботится и о том, чтобы слег был безвреден. А пока нужна просто умеренность. И не говори мне о замене яви сном. Ты же не новичок, ты прекрасно знаешь, что эти сны тоже явь. Это целый мир. Почему же обретение этого мира ты называешь гибелью?..

...Римайер, сказал я. Потому что этот мир все-таки иллюзорен, он весь в тебе, а не вне тебя, и все, что ты в нем делаешь, остается в тебе. Он противоположен реальному миру, он враждебен ему. Люди, ушедшие в иллюзорный мир, погибают для мира реального. Они все равно что умирают. И когда в иллюзорные миры уйдут все — а ты знаешь, этим может кончиться,— история человечества прекратится...

...Жилин, сказал Римайер. История — это история людей. Каждый человек хочет прожить жизнь недаром, и слег дает тебе такую жизнь... Да, знаю, ты считаешь, что и без слега живешь недаром, но сознайся, ты никогда так ярко и горячо не жил, как сегодня в ванне. Тебе немного стыдно вспоминать, ты не рискнул бы рассказать об этой жизни другим? И не надо. У них свои жизни, у тебя своя...

...Римайер, сказал я. Все это верно. Но прошлое! Космос, школы, борьба с фашистами, с гангстерами — что же, все это зря? Сорок лет я прожил зря? А другие? Тоже зря?..

...Жилин, сказал Римайер. В истории ничего не бывает зря. Одни боролись и не дожили до слега. А ты боролся и дожил...

...Римайер, сказал я. Я боюсь за человечество. Это же конец. Это конец взаимодействию человека с природой, это конец взаимодействию личности с обществом, это конец связям между личностями, это конец прогресса, Римайер. Все миллиарды людей в ваннах, погруженные в горячую воду и в себя. Только в себя...

...Жилин, сказал Римайер. Это страшно, потому что непривычно. А что касается конца, то он настанет только для *реального* общества, только для *реального* прогресса. А каждый отдельный человек не потеряет ниче-

го, он только приобретет, ибо его мир станет несравненно ярче, его связи с природой — иллюзорной, конечно,— станут многообразнее, а связи с обществом — тоже иллюзорным, но ведь он об этом не будет знать,— станут и мощнее и плодотворнее. И не надо горевать о конце прогресса. Ты же знаешь, все имеет конец. Вот кончается и прогресс реального мира. Раньше мы не знали, как он кончится. Теперь знаем. Мы не успели познать всей потенциальной яркости реального бытия, может быть, мы и достигли бы этого познания через сотни лет, а теперь оно в наших руках. Слег дарит тебе восприятие отдаленнейших потомков и отдаленнейших предков, какого ты никогда не достигнешь в реальной жизни. Ты просто в плену одного старого идеала, но будь же логичен, идеал, который тебе предлагает слег, столь же прекрасен... Ведь ты же всегда мечтал о человеке с фантазией и гигантским воображением...

...Римайер, сказал я. Если бы ты знал, как я устал. Мне надоело спорить. Всю жизнь я спорю и с самим собой и с другими людьми. Я всегда любил спорить, потому что иначе жизнь — это не жизнь. Но я устал именно сейчас, и именно о слеге я не хочу спорить...

...Тогда иди, Иван, сказал Римайер.

Я вставил слег в приемник. Как и он тогда. Я поднялся. Как и он тогда. Я уже ни о чем не думал, я уже не принадлежал этому миру, но я еще услышал, как он сказал: не забудь только плотно запереть дверь, чтобы тебе не мешали. И тогда я сел.

...Ах вот как, Римайер! — сказал я. Вот как это было! Ты сдался. Ты плотно запер дверь. А потом ты писал лживые отчеты своим друзьям, что никакого слега нет. А еще потом ты, поколебавшись всего минуту, послал меня на смерть, чтобы я тебе не мешал. Твой идеал — дерьмо, Римайер. Если во имя идеала человеку приходится делать подлости, то цена этому идеалу — дерьмо. Именно так, Римайер. Так. Так... Я мог бы сказать тебе еще много, слегач. Я мог бы еще долго говорить о том, что не так просто вырвать из крови природное стремление каждого человека бороться с остановкой, с любой остановкой, со смертью, с покоем, с регрессом. Твой слег — та же ядерная бомба, только замедленного действия и для сытых. Но я не буду распространяться об этом. Я скажу тебе только одно: если во имя идеала человеку приходится делать подлости, то цена этому идеалу — дерьмо...

Я взглянул на часы и сунул приемник в карман. Мне надоело ждать Оскара. Я хотел есть. И еще у меня было чувство, будто я сделал, наконец, в этом городе что-то полезное. Я оставил портье свой телефон — на случай, если вернется Оскар или Римайер,— и вышел на площадь. Я не верю, что Римайер вернется и даже что я когда-нибудь его увижу, но Оскар еще мог сдержать свое обещание, хотя скорее всего его придется все-таки искать. И искать его буду уже не я. И, вероятно, не здесь.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

В кафе-автомате был только один посетитель: за столиком в углу, обставившись закусками и бутылками, сидел смуглый, прекрасно, но нелепо одетый человек восточного типа. Я взял себе простоквашу и творожники со сметаной и принялся за еду, время от времени поглядывая на него. Он ел и пил много и жадно, лицо его блестело от пота, ему было жарко в дурацком лоснящемся фраке. Он отдувался, откидываясь на спинку стула, и распускал широкий ремень на брюках. При этом на солнце ярко вспыхивала длинная желтая кобура, висящая под фалдами. Я уже доедал последний творожник, когда он окликнул меня.

— Алло! — сказал он.— Вы местный?

— Нет,— сказал я.— Турист.

— А, значит, вы тоже ничего не понимаете...

Я сходил к стойке, сбил себе коктейль из соков и подошел к нему.

— Почему пусто? — продолжал он. У него было живое худощавое лицо и свирепый взгляд.— Где жители? Почему все закрыто?.. Все спят, никого не добьешься...

— Вы только что приехали?

— Да.

Он отодвинул пустую тарелку и придвинул полную. Потом он отхлебнул светлого пива.

— Откуда вы? — спросил я. Он свирепо взглянул на меня, и я поспешно добавил: — Если это не секрет, конечно...

— Нет,— сказал он,— не секрет...— и принялся есть.

Я допил сок и собрался уходить, но он сказал:

— Здорово живут, собаки. Такая еда, и сколько хочешь, и все бесплатно.

— Ну, все-таки не совсем бесплатно,— возразил я.

— Девяносто долларов! Гроши! Я за три дня съем на девяносто долларов! — Глаза его вдруг остановились.— С-собаки,— пробормотал он, снова принимаясь за еду.

Я знал таких людей. Они приезжали из крошечных, разграбленных до полной нищеты королевств и княжеств, они жадно ели и пили, вспоминая прокаленные солнцем пыльные улицы своих городов, где в жалких полосках тени неподвижно лежали умирающие голые мужчины и женщины, а дети с раздутыми животами копались в помойках на задворках иностранных консульств. Они были переполнены ненавистью, и им нужно были только две вещи: хлеб и оружие. Хлеб для своей шайки, находящейся в оппозиции, и оружие против другой шайки, стоящей у власти. Они были самыми яростными патриотами, горячо и пространно говорили о любви к народу, но всякую помощь извне решительно отвергали, потому что не любили ничего, кроме власти, и никого, кроме себя, и готовы были во славу народа и торжества высоких принципов уморить свой народ — если понадобится, до последнего человека — голодом и пулеметами. Микрогитлеры.

— Оружие? Хлеб? — спросил я.

Он насторожился.

— Да,— сказал он.— Оружие и хлеб. Только без дурацких условий. И по возможности даром. Или в кредит. Истинные патриоты никогда не имеют денег. А правящая клика купается в роскоши...

— Голод? — спросил я.

— Все что угодно. А вы тут купаетесь в роскоши.— Он ненавидяще посмотрел на меня.— Весь мир купается в роскоши, и только мы голодаем. Но вы напрасно надеетесь. Революцию не остановить!

— Да,— сказал я.— А против кого революция?

— Мы боремся против кровопийц Бадшаха! Против коррупции и разврата правящей верхушки, за свободу и истинную демократию... Народ с нами, но народ надо кормить. А вы нам заявляете: хлеб дадим только после разоружения. Да еще грозите вмешательством... Какая гнусная лживая демагогия! Какой обман революционных масс! Разоружиться перед лицом кровопийц — это значит накинуть петлю на шею всех настоящих борцов! Мы отвечаем: нет! Вы не обманете народ! Пусть сложат оружие Бадшах и его молодцы! Тогда посмотрим, что надо делать.

— Да,— сказал я.— Но Бадшах, вероятно, тоже не хочет, чтобы ему накинули петлю на шею.

Он резко отставил бокал с пивом, и рука его привычно потянулась к кобуре. Впрочем, он быстро опомнился.

— Я так и знал, что вы ни черта не понимаете,— сказал он.— Вы, сытые, вы осоловели от сытости, вы слишком кичливы, чтобы понять нас. В джунглях вы бы не осмелились так разговаривать со мной!

В джунглях я бы говорил с тобой по-другому, бандит, подумал я и сказал:

— Я действительно многого не понимаю. Я, например, не понимаю, что случится после того, как вы одержите победу. Предположим, вы победили, повесили Бадшаха, если он, в свою очередь, не удрал за хлебом и оружием...

— Он не удерет. Он получит то, что заслужил. Революционный народ раздерет его в клочья! И вот тогда мы начнем работать. Мы вернем территории, отторгнутые у нас сытыми соседями, мы выполним всю программу, о которой вопит лживый Бадшах, чтобы обмануть народ... Я им покажу забастовки! Они у меня побастуют... Никаких забастовок! Всех под ружье и вперед! И победим. И вот тогда...

Он закрыл глаза, сладко застонал и повел головой.

— И тогда вы будете сытыми, будете купаться в роскоши и спать до полудня?

Он усмехнулся.

— Я это заслужил. Народ это заслужил. Никто не посмеет попрекнуть нас. Мы будем есть и пить, сколько пожелаем, мы будем жить в настоящих домах, мы скажем народу: теперь вы свободны, развлекайтесь!

— И ни о чем не думайте,— добавил я.— А вам не кажется, что все это может выйти вам боком?

— Бросьте! — сказал он.— Это демагогия. Вы демагог. И догматик. У нас тоже есть всякие догматики, вроде вас. Человек, мол, потеряет смысл жизни. Нет, отвечаем мы, человек ничего не потеряет. Человек найдет, а не потеряет. Надо чувствовать народ, надо самому быть из народа, народ не любит умников! Ради чего же я, черт подери, даю себя жрать древесным пиявкам и сам жру червей? — Он вдруг довольно добродушно ухмыльнулся.— Вы, наверное, на меня обиделись немного, я тут обозвал вас сытыми и еще как-то... Не надо, не обижайтесь. Изобилие плохо, когда его

нет у тебя и оно есть у соседа. А достигнутое изобилие — это отличная штука! За него стоит подраться. Все за него дрались. Его нужно добывать с оружием в руках, а не обменивать на свободу и демократию.

— Значит, все-таки ваша конечная цель — изобилие? Только изобилие?

— Ясно!.. Конечная цель всегда изобилие. Учтите только, что мы разборчивы в средствах...

— Это я уже учел... А человек?

— Что человек?

Впрочем, я понимал, что спорить бесполезно.

— Вы никогда здесь не были раньше? — спросил я.

— А что?

— Поинтересуйтесь,— сказал я.— Этот город дает отличные предметные уроки изобилия.

Он пожал плечами.

— Пока мне здесь нравится.— Он снова отодвинул пустую тарелку и придвинул полную.— Закуски какие-то незнакомые... Все вкусно и дешево... Этому можно позавидовать.— Он проглотил несколько ложек салата и проворчал: — Мы знаем, что все великие революционеры дрались за изобилие. У нас нет времени самим теоретизировать, но в этом и нет необходимости. Теорий достаточно и без нас. И потом изобилие нам никак не грозит. Оно нам еще долго не будет грозить. Есть задачи гораздо более насущные.

— Повесить Бадшаха,— сказал я.

— Да, для начала. А потом нам придется истребить догматиков. Я чувствую это уже сейчас. Потом осуществление наших законных притязаний. Потом еще что-нибудь объявится. А уж потом-потом-потом наступит изобилие. Я оптимист, но я не верю, что доживу до него. И вы не беспокойтесь, справимся как-нибудь. Если с голодом справимся, то с изобилием и подавно... Догматики болтают: изобилие, мол, не цель, а средство. Мы отвечаем на это так: всякое средство было когда-то целью. Сегодня изобилие — цель. И только завтра оно, может быть, станет средством.

Я встал.

— Завтра может оказаться поздно,— сказал я.— И напрасно вы ссылаетесь на великих революционеров. Они бы не приняли ваш лозунг: теперь вы свободны, развлекайтесь. Они говорили иначе: теперь вы свободны, работайте. Они ведь никогда не дрались за изобилие для брюха, их интересовало изобилие для души и головы...

Рука его опять дернулась к кобуре, и опять он спохватился.

— Марксист! — сказал он с удивлением.— Впрочем, вы же приезжий. У нас марксистов почти нет, мы их сажаем...

Я сдержался.

Проходя мимо витрины, я еще раз взглянул на него. Он сидел спиной к улице и снова ел, растопырив локти.

Когда я пришел домой, гостиная была уже пуста. Простыни и подушки ребята свалили кучей в углу. На письменном столе лежала прижатая телефоном записка. Детским корявым почерком было написано: «Берегитесь. Она что-то задумала. Возилась в спальне». Я вздохнул и сел в кресло.

До встречи с Оскаром (если она состоится) оставалось еще около часа. Ложиться спать не имело смысла, да было и небезопасно — Оскар мог пожаловать не один, и пораньше, и не через дверь. Я достал из чемодана пистолет, вставил обойму и сунул в боковой карман. Потом я залез в бар, сварил себе кофе и снова вернулся в кабинет.

Я вынул слег из своего приемника и из приемника Римайера, положил перед собой на стол и снова попытался вспомнить, где же я видел точно такие детали и почему мне кажется, что я видел их даже неоднократно. И я вспомнил. Я сходил в спальню и принес оттуда фонор. Мне даже не понадобилась отвертка. Я снял с фонора футляр, сунул указательный палец под раструб одоратора и, зацепив ногтем, извлек вакуумный тубусоид ФХ-92-У, четырехразрядный, статичного поля, емкость два. Продается в магазинах бытовой электроники по пятьдесят центов за штуку. На местном жаргоне — слег.

Так и должно быть, подумал я. Нас сбили с толку разговоры о новом наркотике. Нас постоянно сбивают с толку разговоры о новых ужасных изобретениях. Мы уже несколько раз садились в аналогичную лужу. Когда Мхагана и Бурис обратились в ООН с жалобой на то, что сепаратисты применяют новый вид оружия — замораживающие бомбы, мы кинулись искать подпольные военные фабрики и даже арестовали двух самых настоящих подпольных изобретателей (шестнадцати и девяноста шести лет). А потом выяснилось, что эти изобретатели совершенно ни при чем, а ужасные замораживающие бомбы были приобретены сепаратистами в

Мюнхене на оптовом складе холодильных установок и оказались бракованными суперфризерами. Правда, действие этих суперфризеров действительно было ужасным. В сочетании с молекулярными детонаторами (широко применяются подводными археологами на Амазонке для отпугивания пираньи и кайманов) суперфризеры были способны дать мгновенное понижение температуры до ста пятидесяти градусов холода в радиусе двадцати метров. Потом мы долго убеждали друг друга не забывать и всегда иметь в виду, что в наше время буквально ежемесячно появляется масса технических новинок самого мирного назначения и с самыми неожиданными побочными свойствами, и свойства эти часто бывают таковы, что нарушения закона о запрещении производства оружия и боеприпасов становятся просто бессмысленными. Мы сделались очень осторожными с новыми видами вооружения, применяемыми различными экстремистами, и спустя всего год попались на другом, когда принялись искать изобретателей таинственной аппаратуры, с помощью которой браконьеры выманивали птеродактилей далеко за пределы заповедника в Уганде, и нашли остроумную самоделку из детской игрушки «Встань — сядь» и довольно распространенного медицинского прибора. А вот теперь мы поймали слег — сочетание стандартного приемника, стандартного тубусоида и стандартных химикалий с очень стандартной горячей водопроводной водой.

Короче говоря, тайные фабрики искать не придется, подумал я. Придется искать ловких и беспринципных спекулянтов, которые очень тонко чувствуют, что живут в Стране Дураков. Как трихины в свиной ляжке... Пять-шесть предприимчивых корыстолюбцев. Невинный коттедж где-нибудь на окраине. Пойти в универсальный магазин, купить за пятьдесят центов вакуумный тубусоид, содрать с него целлофановую упаковку и переложить в изящную коробку со стекловатой. И продать («только по знакомству и только вам!») за пятьдесят марок. Правда, имел место еще изобретатель. И даже не один. Наверняка не один... Но они вряд ли выжили: это вам не манок для птеродактилей... И вообще, разве дело в спекулянтах?.. Ну продадут они еще сорок слегов, ну сто. Даже в Городе Дураков должны же сообразить, наконец, что к чему. И когда это случится, слег начнет распространяться, как пожар. И позаботятся об этом прежде всего моралисты из «Радости Жизни».

А потом выступит доктор Опир и заявит, что, по данным науки, слег способствует ясности мышления и незаменим в борьбе против алкоголизма и плохого настроения. И вообще идеал будущего — это огромное корыто с горячей водой... И слово «слег» перестанут писать на заборах... Вот кого надо брать за глотку, если вообще когонибудь брать, подумал я. Не в спекулянтах же беда. Беда, что существует эта Страна Дураков, этот поганый неострой. Он взял под свою опеку дрожку и ждет не дождется момента, когда можно будет узаконить слег...

В дверь постучали. В кабинет вошел Оскар, и он был действительно не один. С ним был сам Мария, плотный, седой, как всегда, в темных очках и с толстой тростью, смахивающий на ветерана, потерявшего зрение. Оскар самодовольно улыбался.

— Здравствуйте, Иван,— сказал Мария.— Познакомьтесь, это ваш дублер Оскар Пеблбридж. Из Юго-Западного отделения.

Мы пожали друг другу руки. Что мне всегда не нравилось в нашем Совете Безопасности, так это множество замшелых традиций, а из всех традиций больше всего меня бесила идиотская система перекрестной конспирации, из-за которой мы постоянно перехватываем друг у друга агентуру, бьем друг другу физиономии и сплошь и рядом стреляем друг в друга, и довольно метко. Не работа, а игра в сыщики-разбойники, ну их всех в болото...

— Я вас собирался сегодня брать,— сообщил Оскар.— В жизни не видел более подозрительного субъекта.

Я молча вынул из кармана пистолет, разрядил его и бросил в ящик стола. Оскар следил за мной с одобрением. Я сказал, обращаясь к Марии:

— Я догадываюсь, что следствие бы просто провалилось, не начавшись, если бы я знал об Оскаре. Однако должен сообщить, что вчера я его чуть не искалечил.

— Я вас так и понял,— сказал Оскар самодовольно.

Мария кряхтя уселся в кресло.

— Никак не могу припомнить случая,— сказал он,— чтобы Иван был доволен всем. А между тем конспирация — это основа нашей работы... Возьмите стулья, оба, и садитесь... Вы, Оскар, не имели права дать себя покалечить, а вы, Иван, не имели права дать себя арестовать. Вот как надлежит смотреть на эти вещи... А это

что тут у вас? — сказал он, снимая темные очки над слегами.— Между делом занялись радиотехникой? Похвально, похвально...

Я понял, что они ничего не знают. Оскар листал записную книжку, где у него все было зашифровано личным кодом, и, по-видимому, готовился делать сообщение, а Мария водил мясистым носом над слегами, держа очки в поднятой руке. В этом зрелище было нечто символическое.

— Итак, агент Жилин заполняет свой досуг радиотехникой,— проговорил Мария, надевая очки и откидываясь в моем кресле.— У него много досуга, он перешел на четырехчасовой рабочий день... А как обстоит дело со смыслом жизни, агент Жилин? Вы, кажется, его нашли? Надеюсь, вас не придется увозить, как агента Римайера?

— Не придется,— сказал я.— Я не успел втянуться. Римайер вам что-нибудь рассказывал?

— Нет, что вы! — сказал Мария с огромным сарказмом.— Зачем? Ему приказали выследить наркотик, он его выследил, воспользовался и теперь, видимо, полагает, что исполнил свой долг... Он сам стал наркоманом, понимаете? — сказал Мария.— Он молчит! Он накачался этим зельем до ушей и говорить с ним бесполезно! Он бредит, что убил вас, и все время просит радиоприемник...— Мария запнулся и посмотрел на радиоприемник.— Странно,— сказал он. Он посмотрел на меня.— Впрочем, я люблю порядок. Оскар прибыл сюда первым, у него есть кое-какие соображения — как по поводу снадобья, так и по поводу операции. Начнём с него.

Я взглянул на Оскара.

— По поводу какой операции?

— Черт знает что...— сказал Мария.

— Захват центра,— сказал Оскар.— Вы еще не напали на центр?

Ловля начинается, подумал я и сказал:

— Нет, не напал. На центр я не напал. Но...

— По порядку, по порядку,— строго сказал Мария и похлопал ладонью по столу.— Начинайте, Оскар, а вы, Иван, слушайте внимательно и готовьте свои соображения. Если вы еще способны соображать.

Оскар начал. По-видимому, он был хороший работник. Он действовал быстро, энергично и целеустремленно. Правда, Римайер обвел его вокруг пальца так же,

как и меня. Но Оскару тем не менее удалось многое. Он понял, что искомое «снадобье» называют здесь слегом. Он очень быстро понял связь слега с «Девоном». Он понял, что ни рыбари, ни перши, ни грустецы не имеют к нам никакого отношения. Он превосходно понял, что в этом городе практически невозможно сохранить какую бы то ни было тайну. Ему удалось даже втереться в доверие к интелям, и он твердо установил, что в городе существуют всего две действительно тайные организации: меценаты и интели. И поскольку меценаты исключались, оставались только интели...

— Это не противоречило создавшемуся у меня убеждению,— говорил Оскар,— что единственные люди в городе, способные вести научные или квазинаучные изыскания и имеющие доступ к лабораториям, это студенты и преподаватели университета. Правда, заводы города тоже имеют лаборатории. Таких лабораторий всего четыре, и я обследовал их все. Эти лаборатории сугубо специализированы и загружены текущей работой до предела. Поскольку заводы работают круглосуточно, не было никаких оснований предполагать, что заводские лаборатории могут стать центрами производства слега. А вот из семи лабораторий университета две явно окружены атмосферой тайны. Что там делается, выяснить мне не удалось, однако я взял на заметку трех студентов, которые, как мне кажется, должны знать это наверняка...

Я слушал его очень внимательно, поражаясь, как много он успел здесь, но мне было уже ясно, в чем его главная ошибка. Я понимал, что он шел по ложному следу, и вместе с тем во мне зрело смутное ощущение еще более значительной ошибки, главной ошибки, ошибки в изначальной схеме Совета.

— ...И я пришел к представлению,— говорил Оскар,— о существовании полугангстерской организации вертикального типа с четкими разделениями функций отдельных групп. Производственная группа занимается изготовлением и совершенствованием слега... Должен вам сказать, что слег, чем бы он ни был, совершенствуется: мне удалось установить, что в самом начале «Девон» не применялся... Далее, коммерческая группа занимается распространением слега, а боевая группа терроризирует население и пресекает возникающие разговоры о слеге. Запуганность обывателей...

И тут я все понял.

— Одну минутку,— сказал я.— Оскар, вы гарантируете, что в городе всего две тайные организации?

— Да,— сказал Оскар.— Только меценаты и интели.

— Продолжайте, Оскар,— сказал Мария недовольно.— Иван, я попросил бы не перебивать.

— Виноват,— сказал я.

Оскар продолжал говорить, но я его больше не слушал. В мозгу у меня словно вспыхнуло что-то. Традиционная изначальная схема всех наших мероприятий с ее непременной аксиомой о существовании разветвленной организации злоумышленников разлетелась в пыль, и я только удивлялся, как я раньше не усмотрел всей ее глупой сложности для этой простой страны. Не было тайных мастерских, охраняемых угрюмыми личностями с кастетами, не было осторожных, лишенных принципов деловых людей, не было коммивояжеров с двойными воротничками, набитыми контрабандой, и зря Оскар вычерчивал эту красивую схему из кружков и квадратиков, соединенных путаницей линий, с надписями «центр», «штаб» и многочисленными вопросительными знаками. Нечего было разрушать и сжигать, некого было брать и высылать на Баффинову землю. Были современная промышленность бытовых приборов, государственные магазины, где слеги продавались по пятьдесят центов, и были — вначале — один-два не лишенных изобретательности человека, изнывающих от безделья и жаждущих новых впечатлений, и была средних размеров страна, где изобилие было когда-то целью, да так и не стало средством. И этого было вполне достаточно.

Кто-то по ошибке вставил в приемник слег вместо гетеродина и залег в ванну понежиться, послушать хорошую музыку или узнать последние новости,— и началось. Поползли слухи, в мусоропроводы сыпались останки фоноров, потом до кого-то дошло, что слеги можно добывать не из фоноров, а просто покупать в магазинах, и кто-то догадался применить ароматические соли, и кто-то пустил в ход «Девон», и люди начали умирать в ваннах от нервного истощения, и статистический отдел Совета Безопасности подал в Президиум совершенно секретный доклад, и сразу обнаружилось, что все умертвия произошли с туристами, побывавшими в этой стране, и что в этой стране таких умертвий больше, чем в любом другом месте Планеты. И как это часто бывает, на хорошо проверенных фактах построили неверную теорию, и нас, строго законспирированных, од-

ного за другим послали сюда раскрывать тайную шайку торговцев новым, неизвестным наркотиком, и мы прибыли сюда, и делали тут глупости, и как это всегда бывает, никакой труд не пропал даром, и если искать виноватого, то виноваты все, от мэра до Римайера, а раз все, значит — никто, и теперь надо...

— Иван,— раздраженно сказал Мария.— Вы заснули?

Они оба смотрели на меня. Оскар протягивал мне блокнот со схемой. Я взял блокнот и бросил его на стол.

— Послушайте,— сказал я.— Оскар, конечно, молодчина, но мы опять сели в лужу... Оскар, вы так много увидели, и вы ничего не поняли. Если в этой стране и есть люди, ненавидящие слег, то это интели. Интели не гангстеры, это отчаявшиеся люди, патриоты... У них одна задача — расшевелить это болото. Любыми средствами. Дать этому городу хоть какую-нибудь цель, заставить его оторваться от корыта... Они жертвуют собой, понимаете? Они вызывают огонь на себя, пытаются возбудить в городе хоть одну общую для всех эмоцию, пусть хотя бы ненависть... Неужели вы не слыхали о слезогонке, о расстрелах дрожек?.. И в лабораториях они изготовляют не слег, они там делают бомбы, варят слезогонку... и вообще нарушают закон о военной технике. Они путч готовят на двадцать восьмое, а слег — вот!

Я сунул им по слегу и тут же выложил все, что я по этому поводу думаю.

Сначала они слушали меня с недоверием. Потом они уставились на слеги и не сводили с них глаз, пока я не закончил, а когда я закончил, они довольно долго молчали. Мария держал свой слег, как жужелицу. На лице его было неудовольствие. Оскар сказал:

— Вакуумный тубусоид... Гм... Действительно... И приемники... В этом что-то есть...

Мария сунул слег в нагрудный карман и решительно объявил:

— Ничего в этом нет. То есть я вами, конечно, доволен, Иван, вы, видимо, нашли то, что нужно, но работать вам не в Совете, а в Комиссии Мировых Проблем. Они там обожают философствовать, и по сей день ничего полезного не сделали. А вы работаете у нас уже десять лет, но так и не осознали простой истины: если есть преступление, значит, есть и преступник...

— Это неверно,— сказал я.

— Это верно! — сказал Мария.— Не затевайте со мной спора, вечно вы спорите!.. Молчите, Оскар, сейчас говорю я. И я спрашиваю вас, Иван: какой толк в вашей версии? Что вы предлагаете делать? Только конкретно, пожалуйста. Конкретно!

— Конкретно...— проговорил я.

Да, моя версия им не подходила. Они, наверное, даже не считали ее версией. Для них это была философия. Они были люди, так сказать, решительного действия, гиганты немедленных решительных мер. Они не давали спуску. Они рубили узлы и срывали дамокловы мечи. Они принимали решения быстро, а приняв, больше уже не сомневались. Они не умели иначе. Это было их мировоззрение... И это только я так считал, что их время прошло... Терпение, подумал я. Мне понадобится очень много терпения... Я понял вдруг, что логика жизни снова отрывает от меня моих лучших товарищей и что теперь мне будет особенно плохо, потому что решения *этого* спора придется ждать долго, очень долго... Они смотрели на меня.

— Конкретно...— повторил я.— Конкретно я предлагаю план распространения и развития человеческого мировоззрения в этой стране.

Оскар неприязненно сморщился, а Мария сказал желчно:

— Ха-ха! Я говорю с вами серьезно.

— Я тоже. Нужны не сыщик и не опергруппы с автоматами.

— Нужно *решение*! — сказал Мария.— Не разговоры, а решение!

— Я предлагаю именно решение,— сказал я.

Мария побагровел.

— Нужно спасать людей,— сказал он.— Души мы будем спасать потом, когда спасем людей... Не раздражайте меня, Иван!

— Пока вы будете восстанавливать мировоззрение,— сказал Оскар,— люди будут умирать или становиться идиотами.

Я не хотел спорить, но все-таки сказал:

— До тех пор, пока человеческое мировоззрение не будет восстановлено, люди будут умирать или становиться идиотами, и никакие опергруппы здесь не помогут... Вспомните Римайера,— сказал я.

— Римайер забыл свой долг! — яростно сказал Мария.

— Вот именно,— сказал я.

Мария захлопнул рот и, сорвав очки, некоторое время молча вращал глазами. Он был, несомненно, железный человек: просто-таки видно было, как он загоняет свое бешенство в желчный пузырь. Через минуту он был уже совершенно спокоен и мирно улыбался.

— Да,— сказал он.— Я, кажется, вынужден признать, что разведка как общественный институт окончательно деградировала. Видимо, последних настоящих разведчиков мы перебили во время путчей. «Нож» Данцигер, «Бамбук» Савада, «Кукла» Гровер, «Козлик» Боас... Да, они продавались и покупались, у них не было родины, они были подонками, люмпенами, но они работали! «Сириус» Харам... Он работал на четыре разведки, он был мерзавец. Он был грязная скотина. Но если он давал информацию, то это была настоящая информация, четкая, точная и своевременная. Помню, я приказал повесить его, не испытывая никакой жалости, но, когда я смотрю на сегодняшних моих сотрудников, я понимаю, какая это была потеря... Ну хорошо, ну не удержался человек, стал наркоманом, в конце концов «Бамбук» — Савада тоже был наркоманом. Но зачем писать лживые донесения? Ну не пиши их вообще, уволься, извинись... Я приезжаю в этот город в глубокой уверенности, что знаю его досконально, потому что у меня здесь уже десять лет сидит опытный, проверенный резидент. И вдруг выясняю, что ровно ничего не знаю. Каждый местный мальчишка знает, кто такие рыбари. А я не знаю! Я знаю только, что организация «КВС», занимавшаяся примерно тем же, чем занимаются нынешние рыбари, была расформирована и запрещена три года назад. Я знаю это из донесений моего резидента. А в местной полиции мне сообщают, что общество «ДОЦ» возникло два года назад, и этого из донесений моего резидента я уже не узнал... Я беру элементарный пример, мне в конце концов нет никакого дела до рыбарей, но это же превращается в стиль работы! Донесения задерживаются, донесения лгут, донесения дезинформируют... донесения, наконец, просто выдумываются! Один явочным порядком увольняется из Совета и не считает нужным сообщить об этом своему начальнику, ему, видите ли, надоело, он все собирался сообщить, да как-то не нашел времени... Другой, вместо того чтобы бороться с наркотиками, сам становится наркоманом... А третий философствует!

Он горестно мне покивал.

— Поймите меня правильно, Иван,— продолжал он.— Я не против философствований. Но философия — это одно, а наша работа — это совсем другое. Ну посудите сами, Иван, если нет тайного центра, если имеет место стихийная самодеятельность, то откуда эта скрытность? Эта конспирация? Почему слег окружен такой таинственностью? Я допускаю, что Римайер молчит потому, что его мучают угрызения совести вообще и в частности за вас, Иван. Но остальные? Ведь слег не запрещен законом, о слеге знают все, и все таятся. Вот Оскар не философствует, он полагает, что обывателя просто запугивают. Это я понимаю. А что полагаете вы, Иван?

— У вас в кармане,— сказал я,— лежит слег. Идите в ванную. «Девон» на туалетной полочке — таблетку в рот, четыре в воду. Водка в шкафчике. Мы вас подождем с Оскаром. А потом вы нам расскажете — громко, вслух, своим товарищам по работе и подчиненным — о своих ощущениях и переживаниях. А мы... вернее, Оскар пусть послушает, а я, так и быть, выйду.

Мария надел очки и воззрился на меня.

— Вы полагаете, что я не расскажу? Вы полагаете, что я тоже пренебрегу служебным долгом?

— То, что вы узнаете, не будет иметь никакого отношения к служебному долгу. Служебный долг вы, может быть, нарушите потом. Как Римайер. Это слег, товарищи. Это машинка, которая будит фантазию и направляет ее куда придется, а в особенности туда, куда вы сами бессознательно — я подчеркиваю: бессознательно — не прочь ее направить. Чем дальше вы от животного, тем слег безобиднее, но чем ближе вы к животному, тем больше вам захочется соблюсти конспирацию. Сами животные вообще предпочитают помалкивать. Они знай себе давят на рычаг.

— Какой рычаг?

Я объяснил им про крыс.

— А вы сами-то пробовали? — спросил Мария.

— Да.

— И что?

— Как видите, помалкиваю,— сказал я.

Некоторое время Мария сопел. Потом он сказал:

— Ну, я не ближе к животному, чем вы... Как это вставить?

Я зарядил приемник и подал ему. Оскар следил за нами с интересом.

— С богом,— сказал Мария.— Где тут ванная? Заодно помоюсь с дороги.

Он заперся в ванной, и было слышно, как он там все роняет.

— Странное дело,— сказал Оскар.

— Это вообще не дело,— возразил я.— Это кусок истории, Оскар, а вы хотите засунуть его в папку с тесемками. А это вам не гангстеры. Ясно даже и ежу, как говаривал Юрковский.

— Кто?

— Юрковский Владимир Сергеевич. Был такой известный планетолог, я с ним вместе работал.

— А-а,— сказал Оскар.— Между прочим, на площади напротив «Олимпика» стоит памятник какому-то Юрковскому.

— Это тот самый и есть.

— Правда?— сказал Оскар.— А впрочем, вполне возможно. Только памятник ему воздвигли не за то, что он был известным планетологом. Он просто впервые в истории города сорвал банк в электронную рулетку. Такой подвиг было решено увековечить.

— Я ожидал чего-нибудь в этом роде,— пробормотал я. Мне было тоскливо.

В ванной зашумел душ, и вдруг Мария заорал ужасным голосом. Сначала я решил, что он пустил ледяную воду вместо теплой, но он орал не переставая, а потом принялся ругаться страшными словами. Мы с Оскаром переглянулись. Оскар был в общем спокоен, он решил, что так проявляется действие слега, и на лице его возникло сочувственное выражение. Бешено лязгнула задвижка, дверь ванной с треском откатилась, в спальне зашлепали мокрые пятки, и голый Мария ввалился в кабинет.

— Вы что, идиот? — заорал он на меня.— Что за грязные шутки?

Я обмер. Мария был похож на чудовищную зебру. Его упитанное тело покрывали вертикальные ядовито-зеленые потеки. Он орал и топал ногами, от него летели изумрудные брызги. Когда мы пришли в себя и осмотрели место происшествия, выяснилось, что душевой конус забит губкой, пропитанной зеленым лаком, и я вспомнил записку Лэна, и понял, что это Вузи. Инцидент исчерпывался долго. Мария считал, что это издеватель-

ство и хамское нарушение субординации. Оскар ржал. Я тер Марию щеткой и объяснялся. Потом Мария заявил, что теперь уж он никому не верит и испытает слег дома. Он оделся и принялся обсуждать с Оскаром план блокады города.

А я мыл ванну и думал, что моя работа в Совете Безопасности на этом заканчивается, что начинается совсем другая работа, что я не знаю, с чего нужно начинать, что мне хочется включиться в обсуждение плана блокады, но хочется не потому, что я считаю блокаду необходимой, а потому, что это так просто, гораздо проще, чем вернуть людям души, сожранные вещами, и научить каждого думать о мировых проблемах, как о своих личных.

«...Изолировать этот гнойник от мира, изолировать жестко — вот и вся наша философия»,— вещал Мария. Это предназначалось мне. А может быть, и не только мне. Ведь Мария умница. Он наверняка понимает, что изоляция — это всегда оборона, а здесь надо наступать. Но он умел наступать только опергруппами, и ему, наверное, было неловко в этом признаться.

Спасать. До каких же пор вас нужно будет спасать? Вы когда-нибудь научитесь спасать себя сами? Почему вы вечно слушаете попов, фашиствующих демагогов, дураков опиров? Почему вы не желаете утруждать мозг? Почему вы так не хотите думать? Как вы не можете понять, что мир огромен, сложен и увлекателен? Почему вам все просто и скучно? Чем же таким ваш мозг отличается от мозга Рабле, Свифта, Ленина, Эйнштейна, Макаренко, Хемингуэя, Строгова? Когда-нибудь я устану от этого, подумал я. Когда-нибудь у меня не хватит больше сил и уверенности. Ведь я такой же, как вы! Только я хочу помогать вам, а вы не хотите помогать мне...

Рюг и Лэн пришли ко мне после уроков, и Лэн сказал: «Мы уже решили, Иван. Мы поедем в Гоби, на Магистраль». У Лэна был рыжий пух на губе и большие красные руки, и было видно, что про Магистраль придумал именно он, и совсем недавно, минут десять назад. Рюг, как обычно, молчал, и жевал травинку, и внимательно рассматривал меня спокойными серыми глазами. Совсем стал квадратный, подумал я про него и сказал: «Превосходная книга, правда?» — «Ну да,— сказал Лэн.— Мы сразу поняли, куда надо ехать». Рюг

молчал. «Зной и смрад стоят в тени этих чернорабочих драконов,— сказал я на память.— Они жуют все под собой — старую монгольскую кумирню и кости двугорбого животного, павшего когда-то в песчаной буре...» — «Да»,— сказал Лэн, а Рюг все жевал травинку. «Каждый раз,— продолжал я (уже из Ичиндаглы),— когда солнце занимает на небе математически точно определенное положение, на востоке расцветает мираж странного города с белыми башнями, которого никто еще не видел наяву...» — «Надлежит увидеть это своими глазами»,— сказал Лэн и засмеялся. «Друг мой Лэн,— сказал я,— это слишком увлекательно и, следовательно, слишком просто. Вы сами увидите, что это слишком просто, и это будет неприятное разочарование...» Нет, я не так сказал. «Друг мой Лэн,— сказал я,— ну что это за мираж? Вот я семь лет назад в доме твоей матери увидел действительно прекрасный мираж: вы оба стояли передо мной уже почти взрослые...» Нет, это я говорю для себя, а не для них. Надо сказать не так. «Друг мой Лэн,— сказал я.— Семь лет назад ты объяснил мне, что твой народ проклят. Мы пришли сюда и сняли проклятье с тебя, Рюга и со многих других детей, у которых не бывает родителей. А теперь ваша очередь снимать проклятье, которое...» Будет очень трудно объяснить. Но я объясню. Так или иначе я им объясню. Мы с детства знаем о том, как снимали проклятья на баррикадах, и о том, как снимали проклятья на стройках и в лабораториях, а вы снимете последнее проклятье, вы, будущие педагоги и воспитатели. В последней войне, самой бескровной и самой тяжелой для ее солдат.

Наверху визгливо закричала Вузи и жалобно заплакал Лэн. В кабинете что-то бубнил Оскар. Хорошо ему, подумал я. Просто: слег — это плохо, вредно, противоестественно. Значит, надо уничтожить слег, запретить его законом и следить потом, чтобы закон выполнялся строго. И только Мария умнее, потому что старше и опытнее. Марию еще можно будет перетянуть на нашу сторону. Я для него не авторитет, но найдутся люди, которых он выслушает внимательно... До чего же хорошо, что я могу сейчас крикнуть на весь мир и меня услышат миллионы единомышленников! И я подумал, что теперь не уеду отсюда. Я здесь всего три дня. Не может быть, чтобы здесь не оказалось никого, кто с нами. Кто ненавидит все это смертной ненавистью, кто хочет взор-

вать этот тупой сытый мир. Такие люди всегда были и всегда будут. Ну, хотя бы тот шофер-книголюб... или этот длинный, жесткий, из интелей... Да мало ли кто еще! Они тычутся, как слепые. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь им, чтобы они не растрачивали ненависть по мелочам. Теперь наше место здесь. И мое место здесь.

Какая предстоит работа, подумал я. Какая работа!.. Я не знал пока, с чего нужно начинать в этой Стране Дураков, захваченной врасплох изобилием, но я знал, что не уеду отсюда, пока мне позволяет закон об иммиграции. А когда он перестанет позволять, я его нарушу.

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Аркадий и Борис Стругацкие пишут тридцать лет. Книги их созданы в разные времена, и не во все времена у писателей было прекрасное настроение. В этом Стругацкие похожи на всех писателей. Одни книги удаются, другие — нет. В хорошей книге накапливается и фиксируется часть времени, прожитого ее автором. Для того чтобы время осталось в книге, нужно знать какой-то секрет. Знание этого секрета не приходит вместе с розовоперстой Эос. Муза не нашептывает автору его лучшие строки. Секрет нужно найти самому.

Писатель всматривается в окружающий его мир.

Он вспоминает. Наблюдает. Предсказывает.

Три разных действия писателя приводят к возникновению различных литератур: исторической, литературы о современности и фантастики. Три жанра — исторический, реалистический и фантастический — неизменно соотнесены с их живущим в точно определенное время и в точно определенных исторических условиях автором. Этот реально живущий человек проживает свою единственную жизнь в конкретном историческом времени, среди вполне конкретных людей. Здесь и сейчас, а не на каком-то выдуманном пленэре автор с восторгом, болью или глубоким безразличием наблюдает за прошлым, настоящим, будущим.

Окружающий мир велик, и человек, автор, писатель выбирает из этого мира лишь то, что его взволновало или насторожило. Как всякий человек, он привлекает к осмыслению действительности свое образование и жизненный опыт, ищет аналогий, рассуждает, сравнивает. Для того чтобы адекватно передать свои впечатления и выводы, он строит обстоятельства, воссоздает характеры и их реакцию на ситуацию, отыскивает в жизни, литературе, архиве дополнительный материал.

Он пытается сделать читателя свидетелем и соучастником того, о чем пишет. Цель писателя — отнюдь не поиск и разработка художественных приемов. Сами по себе они не важны и служат лишь для того, чтобы ясно выразить восторг, боль, сомнение, любовь, презрение и другие человеческие чувства. Все, что есть в книге, нужно лишь для того, чтобы читатель достиг того же, чего достиг автор, когда все понял и написал об этом или, напротив, ужаснулся своему непониманию и взялся за перо.

Причина, по которой Стругацкие взялись за перо в конце пятидесятых, была, вероятно, более прозаичной: публикуемые в то время произведения фантастического жанра были изначально заданными, грубо раскрашенными всего лишь двумя цветами — красным и черным. Красным был написан мир коммунистического завтра или послезавтра (о сегодняшнем дне фантасты тогда не писали), черным — все остальное. После 1956 года стало ясно, что двух цветов недостаточно, что есть оттенки, что знакомое по художественным фильмам счастье в многодетной городской семье или празднование небывалого урожая в семье сельской — не единственная форма художественной жизни, обладающая достоинствами, а достоинства этой формы, в свою очередь, нельзя некритически переносить в другие жанры. Стругацкие почувствовали, что жанр агитационно-разоблачительного плаката — не единственно возможный.

В отличие от плакатиста, художник твердо знает: качество созданного им образа не является произведением яркости красок на площадь холста. Ему хорошо известно, что прав не тот, чьи краски ярче или голос громче. Для того чтобы образ удовлетворял взыскательного художника, он должен быть правдоподобен и убедителен.

Творчество Аркадия и Бориса Стругацких начиналось с выбора красок, необходимых для создания убедительного образа будущего.

Краски были выбраны хорошо, книги читали.

Писатели были молоды и внимательны, они хорошо понимали, что только патетическими взвизгиваниями да панегирическими словоизвержениями (характерными не для одной лишь фантастики) подлинности и убедительности не добьешься. Они хорошо знали (даже тогда, когда это знание только препятствовало успеху), что повышенную значительность художественному тек-

сту придает деталь, наблюдение. Стругацкие пишут так, как будто ежедневно наблюдают будущее, и точно соотносят свои наблюдения с современностью при помощи сопоставлений, эпитетов, метафор. Текст насыщен реальными деталями, предметами, жестами. Язык персонажей приближен к языку современника. Писатели доказывают существование будущего тем, что хорошо в нем ориентируются, и тем, что они могут просто, без затей, назвать хорошо им известную вещь. Так два времени связываются, стягиваются художественными приемами.

А. и Б. Стругацких уже в ту пору не слишком занимают технические параметры достижений будущего, а их художественный метод хорошо описывается традиционной формулой «человек в обстоятельствах» и традиционным безразличием к декорациям, характерным для шекспировского театра. В течение 1958—1960 годов Стругацких печатали много и охотно: опубликованы их повести «Извне», «Страна багровых туч», «Путь на Амальтею», рассказы «Спонтанный рефлекс», «Забытый эксперимент», «Шесть спичек», «Испытание СКР», «Ночь на Марсе», «Чрезвычайное происшествие», «Поражение». Читатель эпохи железного занавеса, изолированный от шедевров мировой фантастики, замученный непрерывающимся потоком успехов наших доблестных земле-, море- и прочих первопроходцев, детально изучивший (по одноименному произведению) устройство генератора чудес, решительно одобрил новизну, на которой были построены первые опыты Стругацких. На успех работала реалистическая манера описания, живые и подвижные персонажи, развитое чувство юмора, увлекательный (хоть и вполне обычный для фантастики) авантюрно-приключенческий сюжет. Опыты 1958—1960 годов повлияли, вероятно, на развитие жанра советской фантастики, но сколько-нибудь серьезного значения для становления жанра самих Стругацких не имели, а обнаружили лишь следующее:

1. Авторы несвободны от идеологических пут отходящей кровавой эпохи (небрежение человеческой жизнью в сравнении с делом, абсолютная необходимость подчинения, правота вышестоящего);

2. Авторы проявляют значительный интерес к людям будущего, их психологии, личным качествам не только в смысле взаимоотношений человека и его дела (или общего дела), но и в смысле межличностных вза-

имоотношений, что для отечественной фантастики нетрадиционно;

3. Изменившаяся внутриполитическая обстановка не препятствует публикации нетрадиционных (в указанном смысле) произведений, а активизировавшийся читатель замечает неполное соответствие повестей Стругацких шаблонам отечественного фантастического жанра и отличия их прозы от прозы Ю. Долгушина одобряет.

Образ будущего, созданный в ранних опытах А. и Б. Стругацких, неполон и фрагментарен. Авторы делают попытку создать целостную картину, объединяя фрагменты. Опубликованные рассказы дописываются, перерабатываются и связываются общими персонажами и их личной историей. Рудименты эпохи твердой руки изгоняются из сюжета и стиля. В будущем (авторы определяют его как коммунистическое) люди свободны, а мера их несчастья задана объективными и достойными уважения причинами (чаще всего — собственными непреднамеренными ошибками). Такова повесть в рассказах «Возвращение. Полдень. XXII век», переиздававшаяся в различных вариантах с 1961 по 1975 год. (Примечателен тот факт, что повесть эта, вероятно наиболее бесконфликтная у Стругацких, издана большим суммарным тиражом, нежели другие, более значительные и проблемные их произведения, что, впрочем, характеризует не авторов, а издательскую политику до середины 80-х годов. Сейчас картина изменилась.)

Вероятно, ранние произведения А. и Б. Стругацких сыграли в эволюции их творчества роль тщательно выполняемых авторами лабораторных работ. Стругацкие вырабатывали стиль, способ сюжетообразования, искали в большом море литературы свое собственное течение. Яркая индивидуальность Стругацких, их умение создать образ человека в будущем сделали их первые книги нужными не только им, но и читателю, находящему в них достойные внимания мысли и достойные уважения эмоции.

К 1962 году все лабораторные работы были Стругацкими выполнены и зачет читателям сдан. Тема человека-покорителя, человека-героя, человека-работника была исчерпана, и эта исчерпанность не была чисто литературной: становилось ясно, что преобразования общественной жизни, декларированные в 1956-м и развитые в 1961-м, не станут реальностью ранее 1980 года.

Завершая первый период своего творчества, Стругацкие пишут повесть «Стажеры» (1962). В этой повести они прощаются с хорошо знакомыми своему читателю героями: надежным и исполненным чувства долга Быковым, пытливым и осторожным Дауге, милым и обаятельным Крутиковым, умным и тонким Юрковским. Старые герои совершают прощальный рейс (закончившийся трагически) по ими освоенному Космосу и уступают место новым. Стругацкие отдали дань традиции, объединявшей фантастику и приключенческую литературу, и ясно осознали: к серьезным литературным достижениям приводят серьезные проблемы. Серьезные же проблемы порождаются обыкновенной человеческой жизнью, которая, по выражению Т. Уайлдера, «проживает нас» на Земле. Героизм, «приключения тела» и неизменно сопутствующий им (хотя и смягченный, гуманизированный у Стругацких) культ силы уходят в прошлое. Один из центральных персонажей «Стажеров», бортинженер Иван Жилин, говорит: «Главное всегда остается на Земле». Все произведения Стругацких, написанные после «Стажеров», связаны с земным бытием, земными людьми и их проблемами прямо, не метафорически. Стругацкие становятся профессиональными писателями, полностью определяющими назначение, смысл и формообразующие факторы своей прозы. Они осознают смысл слов «свобода творчества». Благодаря свободе творчества фантастика становится уже не способом смотреть на мир, а литературным приемом, тропом, способом сказать.

Поскольку Стругацкие — писатели, то есть люди, пересоздающие материал своей личной истории в общезначимой модели мира, свобода творчества воспринимается ими как часть некоторой более общей свободы. Более общая свобода включает в себя свободу от внешнего идеологического давления. Возникают темы взаимоотношений личности с социальными структурами, долга, выбора, ответственности.

Осознанная перемена места действия требовала изменения художественной системы. Будущее, достоверно изображенное Стругацкими в ранних произведениях, было прекрасно. Люди — хорошими. Планета — благоустроенной. Человечество располагает огромными ресурсами. Идеал был достигнут, и не было никакого сомнения в том, что дальнейший путь людей — непрерывное и бесконечное его совершенствование. Основные

коллизии ранних произведений Стругацких — поиск персонажами своего места в прекрасном деле совершенствования идеала. Это было понятно и правильно, особенно с точки зрения читателя, желающего в надежде славы и добра смотреть без боязни на эволюцию общественной жизни. Но кое-что было не совсем понятно. Оставалась частность: *как* люди и их жизнь стали такими. Этот вопрос настойчиво требовал осмысления и, если возможно, ответа.

Начинается тяжелый, кропотливый, далеко не всегда приносящий удовлетворение поиск. В течение трех лет Стругацкие пишут шесть книг. Это «Попытка к бегству» (1962), «Далекая радуга» (1963), «Трудно быть богом» (1964), «Понедельник начинается в субботу» (1964), «Хищные вещи века» (1965), «Улитка на склоне» (1965). В это же время задумываются «Второе нашествие марсиан» и «Гадкие лебеди». Исключительно высокая активность Стругацких связана, несомненно, с общественными движениями конца 50-х и начала 60-х годов, когда казалось, что человеконенавистнические настроения предшествующей эпохи никогда больше не обретут правовую основу, когда люди надеялись слышать и говорить правду о страшном, когда считалось очевидным, что никакой фашизм никогда не повторится.

О фашизме Стругацкие пишут подробно, с хорошим знанием как истории проблемы, так и современного материала. Портрету феномена человеконенавистничества посвящены две повести этого периода: «Попытка к бегству» и «Трудно быть богом».

Серое небо и снег над планетой Саулой («Попытка к бегству»). В белом снегу остывают босые мертвецы в джутовых мешках вместо одежды. Живых людей, одетых в те же джутовые мешки, погоняют пиками сытые, укутанные мехом охранники. Охранники считают, что так будет вечно; охраняемые, разобщенные заботой о сохранении собственной индивидуальной жизни,— не возражают. Трое землян — двое из коммунистического (по Стругацким) будущего и один — из нашего XX века — всматриваются в страшную картину лагерного коммунизма (по Сталину). Люди будущего, избалованные этикой и эстетикой, не понимают, не могут понять происходящее на Сауле. Человек XX века (он попал в будущее по случайности) опознает фашизм мгновенно и пытается силой оружия разрушить главное: вечность и непреходящесть рабства. На Сауле это

ему не удается, и он возвращается в свой XX век, где погибает в схватке с эсэсовцами.

Действие повести «Трудно быть богом» также происходит не на Земле, и поэтому погода там такая же, как и на планете Сауле — серая и нерадостная. Перевоплотившийся в преданного короной опале аристократа Румату, наблюдатель земного Института экспериментальной истории Антон собирает информацию о феодализме. Феодализм, как и любая другая человеконенавистническая формация, безжалостна к знанию (любому) и чести (кроме воинской), и Антону-Румате приходится попутно спасать оказавшихся в беде ученых, литераторов, врачей. Контраст между социально-психологическими реалиями Земли и Арканара здесь значительно более выражен, нежели в «Попытке», поскольку на Сауле земляне — визитеры, а здесь, в Арканаре,— резиденты. Отсюда — высокая плотность реалий фашизма, динамика феодальной интриги, подступы к психологии фашизма, сделавшие повесть столь популярной.

Антон-Румата в этом феодальном мире почти бог, он располагает огромными возможностями: знанием, энергетическими ресурсами, золотом. Он может изменить все, что ему требуется: от намерений главы шайки (подкупом) до полного изменения хода истории (массовое перевоспитание населения с помощью технических средств). Но человеческое оказывается сильнее божественного: когда убивают его возлюбленную, он берет в руки не какой-нибудь бластер или скорчер, а обыкновенный меч.

Мир и его обитатели, написанные Стругацкими в «Попытке» и «Трудно быть богом», достоверны и узнаваемы, как был достоверен и узнаваем их Космос и люди, осваивающие его. Взятое Стругацкими право не задумываться о способах перемещения космолетов (вообще) и данного космолета (в частности) ни к чему плохому не привело: яркость и выразительность (то есть собственно художественность) остались, а серьезность проблем и подходов к их решению заметно возросла.

Далеко не все писатели-фантасты разделяют их убеждения. Поток отечественной полутехнологической, полуприключенческой фантастики продолжается. Западная фантастика пробивается к советскому читателю тоненькой струйкой. Уже идут на убыль, но еще не иссякли споры между «физиками» и «лириками». Стру-

гацкие пытаются совместить свое представление о будущем с теми методами, которыми это будущее создается сегодня. В сказке «Понедельник начинается в субботу» они описывают сообщество людей, для которых работать интереснее, чем потреблять, и одновременно — людей, активно паразитирующих на созидателях: лжеученых, самодуров, невежд. В одной из глав повести Стругацкие остроумно пародируют розово-голубое представление о будущем. «Понедельник» на долгие годы становится одной из самых читаемых книг Стругацких, его персонажи (особенно осмеянные) легко узнаются в любом научном сообществе, а их имена (особенно повезло суперпотребителю и демагогу Выбегалле, прикрывающемуся псевдодемократичной патриотической фразой) становятся именами нарицательными.

К этому времени (1963—1965) окончательно складывается круг читателей Стругацких [1]. Это, как правило, образованные и умные люди и их дети. Они могут заниматься различной профессиональной деятельностью, но объединены преимущественно достаточно высокой квалификацией или мастерством. Читатели Стругацких любят думать, любят работать и любят своих друзей. В книгах Стругацких они более всего ценят нетривиальность и достоверность изображаемого мира. Некоторые обращают особое внимание на юмор Стругацких — точный и временами беспощадный. В сущности, читатели Стругацких очень похожи (с необходимыми по жанру изменениями) на персонажи их ранних и полных оптимизма книг и, так же как эти персонажи, не могут существовать без созидательной деятельности.

Противопоставление созидания и потребления, начатое в «Понедельнике», имеет серьезнейшие основания. Яркость отрицательных и некоторая размытость положительных персонажей сказки связывалась с ежедневной жизнью простой пропорцией. В 1965 году концепция быстрого построения коммунизма называется уже попросту волюнтаризмом. К власти в стране приходят Выбегаллы — невежественные люди, главная задача которых — хорошо прожить свой век. Эти люди не ошибаются, они знают все, они всегда правы. Пользуясь государственной машиной, как личным автомобилем,

[1] Данные о читателях книг Стругацких основаны на проведенном мною в 1974—1975 годах опросе. Хотя статистик вряд ли сочтет выборку репрезентативной, совпадение ответов на многие вопросы невольно обращает на себя внимание.

они приносят в жизнь общества свое (основанное на церковноприходском разумении) понимание людей, истории, мира.

Сохранение и совершенствование какого-то иного понимания требуют теперь серьезных усилий, противостояния власти. Стругацкие исследуют человека, историю, мир так же, как это делают все другие писатели. Они создают ситуацию и конфликт, в которых наилучшим образом выявляются интересующие их тенденции развития людей, истории, мира. Вот как это делается в повести «Хищные вещи века», героем которой становится персонаж «Стажеров» бортинженер Иван Жилин.

Занявшись земными делами, Жилин обнаруживает не совсем то, что хотелось бы видеть человеку коммунистического далека.

Конфликт героя и обстановки задан изначально, на первой же странице. Метафорой границы между различными мировоззрениями является таможенный барьер. Благоденствие по ту сторону барьера пишется подробно и тщательно. Таможенник обращает внимание приезжего на «наше солнце», «прекрасное утро». Жилин получает рекомендации гида: «Всегда делайте только то, что вам хочется, и у вас будет отличное пищеварение... А самое главное — ни о чем не думайте».

Прошлое страны (его Стругацкие дают лишь в воспоминаниях Жилина) не столь благополучно: «...лил дождь... догорающий лайнер... черная мокрая пустота, мигающая красными вспышками. Там трещало, бухало, раздирающе скрежетало». По прошествии сравнительно небольшого времени страна выглядит иначе: «Из всех солнечных городов, в которых мне довелось побывать, этот был, наверное, самым солнечным».

Однако противопоставление «солнце — ненастье» (от разработки которого можно было бы ожидать целой сюжетной линии) не развивается. Метафора обрывается сразу же короткой фразой Жилина: «Все-таки трудно привыкнуть к тому, что нищета может быть богатой». Стругацких не увлекают противопоставления «черный — белый» (белый — красный). Как и их герой, они намерены поработать, они намерены изучить социально-психологический спектр Страны Дураков детально.

С пересечением таможенного барьера Страны Дураков начинается действие, не выходящее поначалу за пределы приключенческого жанра. Герой остро конф-

ликтует с обстановкой, но другой обстановки и, следовательно, выбора у него нет. Его окружает одна только плохая обстановка: роскошные синтетические коньяки, отели, рестораны, игорный дом, Салон Хорошего Настроения и прочие аксессуары полного изобилия. Роскошный путеводитель (меловая бумага, золотой обрез) сообщает Жилину факты: на пятьдесят тысяч человек приходится пятнадцать тысяч легковых автомобилей и шестьдесят тысяч телевизоров. «Восемьдесят процентов населения было занято в сфере обслуживания.... Полторы тысячи человек входили в семьсот один кружок...»

К сожалению, путеводители с золотым обрезом не всегда позволяют реконструировать социально-психологический портрет общества. Авторы и их герой внимательно присматриваются к людям общества изобилия и создают свой портрет этого общества. Выясняется, что при наступившем изобилии люди так же несчастливы, как и до его наступления.

Общество эпохи изобилия изнасиловано бездельем и, следовательно, ненужностью людей самим себе. Эта ненужность пропитывает все слои общества, кроме, пожалуй, университетской интеллигенции. Люди не понимают друг друга, не понимают сами себя, потому что еще не успели понять, что плодотворный труд является физиологической потребностью человеческого организма. Это важнейшее положение не было ни декларировано, ни (с помощью системы воспитания) распространено. Факт необходимости плодотворного труда еще не стал привычным, а полное удовлетворение постоянно растущих потребностей уже тут как тут. Каждый человек в этом обществе (включая туристов) проходит «двенадцать кругов рая» и, в конце концов, выбирает свой излюбленный круг. Социум не разделяется более на тружеников и трутней. Есть просто люди, вот только хобби у них разные.

Люди пьют. Люди сладострастно уничтожают произведения искусства. Люди разгоняют скуку, подвергаясь смертельной опасности. Люди вдумчиво и сосредоточенно углубляются в мир гастрономии. Молодые люди уходят от мира и его ежедневных забот с помощью грезогенератора, любовно называемого «дрожкой». И где-то за всем этим прячется непонятное, стыдное, захватывающее.

Изобретено «иллюзорное бытие, яркостью и неожиданностью своей значительно превышающее бытие ре-

альное». *Человек скучающий* к этому изобретению абсолютно не готов, он неизбежно будет до полного истощения собственной психики (то есть буквально до смерти от нервного истощения) давить на кнопку, дающую ему радость бытия, хотя бы и иллюзорного. Жилин понимает соблазнительность этой яркой искусственной жизни и понимает, что под угрозой — существование человечества вообще, ибо в сравнении с иллюзорной жизнью, даруемой слегом, еда, питье и размножение — тоскливая суета.

Невозможно помешать распространению иллюзорного бытия силой. И неизвестно, как помешать этому распространению умом.

Повесть «Хищные вещи века» была написана (уже в 1964 году) потому, что Стругацкие обнаружили ранние, почти еще незаметные в обществе симптомы девальвации мысли и труда. Они обнаружили, что техническое развитие общества, если только оно не сопровождается развитием личности, губительно, а «потребительский коммунизм» — отвратителен. Они обнаружили побочные продукты прогресса — «хищные вещи». Они обнаружили слабость и неподготовленность человека к тому, что ему предстоит в будущем. Стругацкие сделали все это более двадцати лет назад, и более двадцати лет их предупреждение не переиздавалось. Идеологические воззрения Людовика XV, получившие широкое распространение вслед за концепцией Людовика XIV [2], успешно защищали свои завоевания во всех областях общественной и экономической жизни страны, не исключая и издательскую политику. Становилось совершенно ясно, что ничего неправомерно хорошего в ближайшие годы не случится, что люди, находящиеся у власти, будут что есть силы ее использовать, не обращая внимания на прочих, которые, будучи предоставлены сами себе, разворуют, загадят и скомпрометируют

---

[2] Людовик XV Бурбон (1710—1774), король Франции (1715—1774). Его фраза «После нас — хоть потоп», хоть и не вошла в отечественные наставления по управлению государством и никогда не провозглашалась с высоких трибун, оказала серьезное воздействие на мышление и образ действий политических лидеров СССР периода 1964—1985 гг.

Людовик XIV Бурбон (1638—1715), король Франции (1643—1715). Ему принадлежит фраза: «Государство — это я». Эта концепция в отечественные наставления по управлению государством вошла.

все на много лет вперед, что художественной интеллигенции просто ничего другого не остается, как петь хвалу и славу.

Идеологическое давление начинает усиливаться, в коридорах власти набирает силу новый состав аппарата управления, экономические несообразности лишают силы и так слабые и непоследовательные демократические начинания. Настроение у Стругацких начинает портиться, и вслед за ним начинает портиться настроение людей в их книгах. Наилучшим образом процесс порчи настроения, безысходности, безнадежных попыток поиска выхода отражен в повести «Улитка на склоне» [3].

Действие повести происходит в двух местах: таинственном Лесу и в не менее таинственном Институте, который этот Лес изучает. В Лесу действует бывший сотрудник Института Кандид, оказавшийся здесь в результате какой-то аварии или катастрофы и частично утративший память. Он пытается восстановить свое прошлое, добраться до Города, уйти от обессмысленного существования обитателей Леса. В Городе с такой же тоской и надеждой Перец мечтает уйти в Лес. В Институте — бюрократическая интрига, в Лесу — загадочное Одержание — процесс преобразования бытия, не принимающий человека в расчет. Входа нет. Выхода нет.

Что привело Стругацких к столь блестяще написанному отчаянию?

В 1966—1967 годах окончательно оформилась перспектива новой эпохи — «эпохи развитого социализма». Начался печально знаменитый период нашей истории. Взрастала и крепла социальная безответственность, безнравственность, коррупция. Наблюдалось срастание целого ряда социальных институтов с аналогичными институтами сталинской эпохи. Возродилось и набрало силу преследование мысли. В такую эпоху жанр Стругацких процветать, разумеется, не мог, как не мог процветать никакой реалистический (то есть отражающий

---

[3] Повесть написана в 1965—1966 гг. Опубликовать ее целиком в те годы не удалось, и она была напечатана в виде двух отдельных частей: «Кандид» (в ленинградском сборнике «Эллинский секрет», 1966) и «Перец» (журнал «Байкал», № 1—2 за 1968 г.). В первозданном виде опубликована лишь в 1988 году журналом «Смена».

действительность) жанр. Для писателей, сохраняющих социальную ответственность, открытые глаза и ряд прочих общечеловеческих достоинств, возможность публикации стала проблематичной. Проблема самовыражения художника перестала быть проблемой художественной и стала проблемой взаимоотношений человека и социальной структуры, общества, государства. Поскольку прогноз на ближайшее десятилетие был однозначно пессимистическим, каждый писатель стоял перед выбором: писать правду и не печататься, писать полуправду и иногда печататься, либо писать, что нынче требуется, и печататься сколько влезет. Начинается тяжелое время советской литературы, время высот человеческого духа, хвалебных од и победных реляций.

В жанре победных реляций Стругацкие не выступали. Две темы занимают их: взаимоотношения художника с самодовольным и самодостаточным государством и разделение общества на конформистов, диссидентов и инсургентов под возрастающим давлением внешних обстоятельств. Вторая тема была с блеском (и безнадежным результатом) разработана в повести «Второе нашествие марсиан» (1967). Первой теме посвящен роман «Гадкие лебеди». История публикации этого романа сама по себе достаточно точно характеризует эпоху. Роман окончен в 1967-м. Стругацкие, не питая, впрочем, особенных надежд, предлагают его издателям. Объем внутренних рецензий сравним с объемом рецензируемого произведения, но дело не движется. Затем рукопись без ведома авторов попадает за рубеж и без их согласия публикуется во Франции и США, что вызвало горячий протест патриотически настроенных литераторов, и одновременно становится «широко известной в узких кругах» в СССР. После двадцатилетнего хождения в списках публикуется в СССР под названием «Время дождей» в журнале «Даугава» (1987). За три года до этого роман Стругацких «Гадкие лебеди» становится частью их нового романа «Хромая судьба» (1984).

«Хромая судьба» — книга о взаимоотношениях писателя с самодовольным и самодостаточным государством. Разные части этого романа написаны в разное время, и вся книга тем самым испытала влияние двух периодов — периода основания самодовольного государства и периода его кризиса. Испытав влияние разных

эпох, книга стала вместилищем разных, хотя и не противоречащих друг другу, моделей взаимоотношений писателя и самодостаточного государства.

Роман делится на две взаимопроникающие части: Феликс Сорокин, немолодой московский «писатель военно-патриотической темы», копается в своих замыслах, набросках, рукописях, одна из которых — неоконченная — лежит в Синей Папке. Герой неоконченной рукописи писатель Виктор Банев проживает в неизвестном исторически и территориально государстве и становится в нем свидетелем и участником окончания целой исторической эпохи. Два героя отличаются друг от друга тем же, чем отличаются Стругацкие начала 80-х от Стругацких середины 60-х годов. Стругацкие же 80-х отличаются от Стругацких 60-х не только возрастом, то есть увеличением опыта и уменьшением сил, но собственно отличием этих двух эпох.

Между двумя взаимопроникающими частями одного романа «Хромая судьба» Стругацкими были написаны десять произведений. О некоторых из них следует говорить долго и обстоятельно. Эти произведения отражают разные стороны нашей жизни, но более всего — отсутствие каких-то общих рецептов процветания человеческого общества. Стругацкие пишут о желании сдаться в сладкий и хорошо обеспеченный плен («Второе нашествие марсиан», 1967), пародируют захватившую власть глупость и алчность («Сказка о Тройке», 1967), строят действующую модель тоталитарного общества («Обитаемый остров», 1968). Стругацкие говорят о простоте (и труднодоступности) человеческого счастья («Пикник на обочине», 1971), о сложности понимания другого человека («Малыш», 1970), о безнадежном одиночестве человека перед выбором единственно верного поступка («За миллиард лет до конца света», 1974), о несчастливых людях и непрекращающихся трагедиях умного и гуманного мира («Жук в муравейнике», 1979). Общественно-политический кризис, продлившийся два десятилетия, оставивший тяжелейшее социально-психологическое наследие, находит точное, взвешенное выражение в лучших книгах этого периода. Население страны, не сделав ничего для настоящего и будущего, увязает в трясине высокой фразы, славословия, ругани, помыкания, угодничества, бесправия, вседозволенности. Портреты остаются молодыми и полными сил, люди стареют, теряют силы, отчаиваются.

Поэтому Виктор Банев вмешивается в происходящие вокруг него события, а Феликс Сорокин лишь описывает их в Синей Папке.

В жизнеописании Феликса Сорокина присутствуют обрывки текстов, неоконченные и неначатые сюжеты, воспоминания. Эти неоконченные сюжеты обрываются, смазываются. Обрывается история поэтишки Кости Кудинова [4], обрывается тема инопланетян, превращается в шутку и исчезает история партитуры Труб Страшного Суда, пропадает преследователь в клетчатом пальто. Герой все время возвращается к своей Синей Папке — бесценной и лелеемой правде. Мимо проходят блестяще шаржированные более или менее преуспевающие представители словесности отечественной. И снова всплывает содержимое Синей Папки.

Феликс Сорокин — усталый человек, стыдящийся своих окололитературных регалий, литературной поденщины, это человек, проживший нелегкую жизнь. Что заставляет его мучительно искать необходимые слова для своей Синей Папки, почему бы ему не отчаяться и не начать преуспевать? Для этого необходимо обучиться достаточно сложным вещам, а именно: поддерживать более или менее добропорядочные отношения с мерзавцами, выслушивать начальственный бред, проникаться общественно-политической (то есть, в рамках романа, государственно-политической конъюнктурой), кланяться, пресмыкаться и таить, из всех сил таить сокровенное, то есть человеческое, глубоко внутри, чтобы никто не заметил, не позавидовал прямой спине, не загубил. Всем этим сложным вещам Ф. Сорокин обучается, но как-то лениво, нехотя: с чиновниками окололитературными вежлив, но не льстив, равнодушием даже к мерзенькому Косте Кудинову не проникся и в помощи ему не отказал, много, слишком много в нем человеческого достоинства, не стать ему первым учеником. Даже хлеб свой — военно-патриотические писания — полюбить не сумел.

И в жизни он не очень-то устроен, и заработки таковы, что радоваться приходится такой убогой для маститых сумме, как 196 рублей 11 копеек. Самым важным для него, признанного писателя военно-патриотической темы, остается правда. Она остается в воображении,

[4] Этот оборвавшийся сюжет восстановлен Стругацкими в киноповести «Пять ложек эликсира», напечатанной в сборнике: Современная фантастика. М.: Книжная палата, 1988.

воображение переливается в Синюю Папку. Весь текст «Хромой судьбы», посвященный Ф. Сорокину и написанный от его лица,— это история его маленькой личной правды, его измученной неканонической рукописи.

Для того чтобы читатель поверил Ф. Сорокину, Стругацкие отдают ему одну из лучших своих книг. (То же и, вероятно, по сходным причинам сделал в «Мастере и Маргарите» Михаил Булгаков.)

В этой книге — нескончаемый дождь (вот где полностью реализовалась метафора «солнце — ненастье» из «Хищных вещей века»), непонятные мокрецы — больные люди, наделенные необычайной мощью интеллекта и другими необычайными свойствами, отчужденные от родителей дети, молодчики в золотых рубашках, вечно пьяный художник. Человек с нормальным зрением не может в этом мире преуспеть принципиально, потому что успех обусловлен полной потерей индивидуальности. Очевидно, в мире, где общество полностью съедено государством, можно преуспевать, только присоединившись к пожирающему общество государству.

Стругацкие убедительно и точно показывают, что происходит, когда художник присоединяется к власти: «Господин президент считает, что купил живописца Р. Квадригу. Это ошибка. Он купил халтурщика Р. Квадригу, а живописец протек у него между пальцами и умер».

Для того чтобы что-то собой представлять, художник должен быть исключительно на своей собственной стороне. Он должен просто писать, писать, по точному выражению Б. Окуджавы, «как он дышит». Вот как Виктор Банев описывает процедуру сочинения заказной статьи: «Берется последняя речь господина президента и переписывается целиком, причем слова «враги свободы» заменяются словами «так называемые мокрецы», или «пациенты кровавого доктора», или «вурдалаки из лепрозория»... так что мой мыслительный аппарат участвовать в этом деле не будет». Но на это есть возражение: «Это вам только кажется... Вы прочтете эту речь и прежде всего обнаружите, что она безобразна. Стилистически безобразна, я имею в виду. Вы начнете исправлять стиль, искать более точные выражения, заработает фантазия, замутит от затхлых слов, захочется сделать слова живыми, заменить казенное вранье животрепещущими фактами, и вы сами не заметите, как начнете писать правду».

С разных сторон В. Баневу настойчиво предлагают: «Перестаньте бренчать». Присяжные критики статьей в «Образцовом информаторе» доводят Ф. Сорокина, отошедшего на минуточку от своей военно-патриотической темы, до сердечного приступа. И оба писателя неотступно думают о ценности собственного труда. И вдруг оказывается, что эту ценность можно измерить.

На протяжении всей повести Ф. Сорокин идет и никак не может дойти до Института лингвистических исследований. То его отвлекают мелочи, куски жизни без продолжения, то опять он погружен в Синюю Папку. Но вот, наконец, он беседует с сотрудником института. Оказывается, существует программа для компьютера, которая может вычислить «наивероятнейшее количество читателей текста». Не уровень таланта, нет. Просто — число читателей. И вот, когда в Синей Папке дети ушли от родителей навсегда, когда мир заканчивается и в перспективе — Исход и окончание времен, наступает разрешение проблемы творчества, неотступно преследующей Ф. Сорокина. В писательском клубе он снова встречается с научным сотрудником Института лингвистических исследований.

«Вы, как и следовало ожидать, совершенно правильно догадались, что машина моя определяет не абсолютную художественную ценность произведения, а всего лишь судьбу его в исторически обозримом времени... Догадавшись, вы оказались перед вопросом: стоит ли рискнуть и передать мне на анализ вашу Синюю Папку». Да, кивает Сорокин. Он боится, что машина наградит его «жалкой цифрою, словно не труд всей своей жизни вы ей предложили, а какую-нибудь макулатурную рецензию, писанную с отвращением...» Он надеется, что «вознаградит вас моя машина шестизначным, а то и семизначным числом», и шедевр сам чудесными путями пробьется к читателю. И еще есть один вариант, унизительный, стыдный: «...как я мог представить себе, что проклятая машина на Банной может выбросить на свои экраны не семизначное признание моих, Сорокина, заслуг перед мировой культурой и не гордую одинокую троечку, свидетельствующую о том, что мировая культура еще не созрела, чтобы принять в свое лоно содержимое Синей Папки», а может это оказаться 90 тыс. экз., как для всей прочей макулатурной трухи.

А Михаил Афанасьевич (имя этого персонажа — не случайность. Ф. А. Сорокин, и не он один, действитель-

но принимает научного сотрудника Института лингвистических исследований за М. А. Булгакова. «Хромая судьба» связана с Булгаковым многими нитями. Это и структура романа в романе, и многочисленные реминисценции, и дьявольщина, и, наконец, прямая ссылка) негромко продолжает: «Поймите меня правильно. Вот вы пришли ко мне за советом и сочувствием... И того вы не хотите понять, Феликс Александрович, что ничего этого не будет и не может быть, ни совета от меня, ни сочувствия. Не хотите вы понять, что вижу я сейчас перед собой только лишь потного и нездорово раскрасневшегося человека с вялым ртом и коронарами, сжавшимися до опасного предела, человека пожившего и потрепанного, не слишком умного и совсем не мудрого, отягченного стыдными воспоминаниями и тщательно подавляемым страхом физического исчезновения. Ни сочувствия этот человек не вызывает, ни желания давать ему советы. Да и с какой стати? Поймите, Феликс Александрович, нет мне никакого дела ни до ваших внутренних борений, ни до вашего душевного смятения, ни до вашего, простите меня, самолюбования. Единственное, что меня интересует, это ваша Синяя Папка, чтобы роман ваш был написан и закончен. А как вы это сделаете, какой ценой...— это, право же, мне не интересно...»

И наступает тишина. В этой тишине глуховатый голос Михаила Афанасьевича читает не написанный еще текст — окончание Синей Папки.

Там заканчивается дождь, там спасается бегством самодовольное чиновничество, бегут прочь от изменений трусы и обыватели, превращаются в родниковую воду спиртное и наркотики, рушатся бетонные соты и ржавеет оружие. В этот солнечный мир возвращаются дети. Новый мир принадлежит им и ими выстроен. Виктор Банев, писатель, видит все это. Он счастлив это видеть. Он должен досмотреть правду до конца. Но этот солнечный новый мир не им построен и не ему принадлежит. Он, писатель, должен вернуться и рассказать о нем.

Нет, не будет, не будет художнику «ни света, ни покоя». Он будет по клочкам собирать правду о мире, он будет создавать из нее полотна и строки, а если ему не позволят — он вставит правду между строк, подмешает ее в самые льстивые роскошные краски. Он будет мучиться и торжествовать, он будет считать себя

гением и ничтожеством, «червем и богом». И так — до конца.

Но иногда, отложив только что законченную рукопись, отступив от мольберта, оторвав пальцы от клавиш, он все-таки будет счастлив. И счастлив будет его читатель, зритель, слушатель.

О. В. Шестопалов

Оглавление

Аркадий Натанович Стругацкий
Борис Натанович Стругацкий

ХРОМАЯ СУДЬБА
ХИЩНЫЕ ВЕЩИ ВЕКА

Фантастические повести

Редактор Э. Б. Кузьмина
Технический редактор Е. Н. Волкова
Корректор Л. В. Петрова

ИБ 1877

Сдано в набор 10.09.90. Подписано в печать 9.10.90.
Формат 84×108 1/32. Бум. кн.-журнальная. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 26,04.
Усл. кр.-отт. 26,04. Уч.-изд. л. 29,04. Тираж 100 000 экз.
Изд. № 4989в. Заказ № 319. Цена 2 руб. 10 коп.

Издательство «Книга» 125047, Москва, ул. Горького, 50.

Типография изд-ва «Уральский рабочий»,
620151, Свердловск, пр. Ленина, 49.

Стругацкий А. Н., Стругацкий Б. Н.
С 87 **Хромая судьба. Хищные вещи века. Фантаст. повести**/Послесл. О. Шестопалова.— М.: Книга, 1990.—488 с.

«Хромая судьба» — произведение двуплановое. Рассказ о странностях, преследующих ее героя, писателя Феликса Сорокина, причудливо перекликается с невероятными событиями, которые обрушились на героя его любимой повести-притчи Виктора Банева.

Другая повесть наших известнейших фантастов, «Хищные вещи века», написанная четверть века назад, звучит в наши дни с особой актуальностью. Она посвящена приключениям знакомого нам персонажа, космонавта Ивана Жилина, в стране изобилия и пресыщения, где воинствующий вещизм раздавил духовность и нравственность.

В послесловии очерчены основные этапы развития творчества Стругацких за тридцать лет.

Для самых широких кругов читателей.

С $\frac{4702010201\text{-}076}{002(01)\text{-}90}$ Без объявл. ББК 84Р7-4

ISBN 5—212—00171—4

С 1988 года издательство «Книга»
выпускает новую серию
«ВРЕМЯ И СУДЬБЫ»

Первые книги серии посвящены тому недавнему и трагическому времени, правду о котором мы с болью открываем только сейчас.

1988

РАПОПОРТ Я. Л. НА РУБЕЖЕ ДВУХ ЭПОХ: ДЕЛО ВРАЧЕЙ 1953 года

Воспоминания единственного уцелевшего из жертв «дела врачей».

1989

ЛЕВ РАЗГОН. НЕПРИДУМАННОЕ: ПОВЕСТЬ В РАССКАЗАХ

Писатель, проведший 17 лет в лагерях и ссылке, рисует галерею типов: и жертв (от жены М. И. Калинина до афганского принца), и тюремщиков, и тех, кто в самые тяжелые времена помогал невинно осужденным, как Е. П. Пешкова.

Я. ХАРОН. ЗЛЫЕ ПЕСНИ ГИЙОМА ДЮ ВЕНТРЕ: ПРОЗАИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ К ПОЭТИЧЕСКОЙ БИОГРАФИИ

В рассказ о годах, проведенных в лагере и ссылке, неожиданно вплетается литературная мистификация: автор вместе со своим другом по лагерю сочинил некоего французского поэта XVI века, сочинил его биографию и сто сонетов, обретающих особый драматизм на фоне тюремных будней.

Л. К. ЧУКОВСКАЯ. ЗАПИСКИ ОБ АННЕ АХМАТОВОЙ. КНИГА I. 1938—1941

Дневниковые записи встреч с Ахматовой воссоздают судьбу поэта и через нее — судьбу страны.

ВОСПОМИНАНИЯ КРЕСТЬЯН-ТОЛСТОВЦЕВ. 1910—1930-е годы

О трагичной судьбе толстовских коммун, уничтоженных в тридцатые годы, коммунаров, прошедших через тюрьмы и ссылки.

ЦЕНА МЕТАФОРЫ, ИЛИ ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ А. Д. СИНЯВСКОГО И Ю. М. ДАНИЭЛЯ

Книга включает произведения писателей, которые были «осуждены» уголовным судом в 1966 г., а также письма выдающихся деятелей культуры всего мира — в защиту осужденных и материалы советской прессы, обличающие их.

Н. Я. МАНДЕЛЬШТАМ. ВОСПОМИНАНИЯ

Горестный, страстный рассказ вдовы выдающегося русского поэта о его судьбе, истории его арестов и гибели в лагере, о страшной атмосфере жизни в эпоху сталинизма.

1990

АЛЕКСЕЙ КАПЛЕР. «Я» И «МЫ»: ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ РЫЦАРЯ ИСКУССТВА

Книга воскрешает обаятельный образ человека, чья жизнь десятилетиями связана с историей советского кино. В его мемуарных очерках встают годы становления молодого советского кино. Другие срезы истории — в его военных очерках, лагерных рассказах, писавшихся «в стол».

СЕМЕН ЛИПКИН. ЖИЗНЬ И СУДЬБА ВАСИЛИЯ ГРОССМАНА. А. БЕРЗЕР. ПРОЩАНИЕ

О драматической судьбе Гроссмана рассказывают его близкий друг поэт Семен Липкин и редактор «Нового мира» А. С. Берзер. Ее воспоминания дополнены публикацией ценных документов эпохи, стенограмм обсуждения романа Гроссмана. Взволнованная интонация воспоминаний, светлая человеческая личность писателя, богатство подлинных свидетельств времени привлекут внимание самых широких кругов читателей.

РАИСА ОРЛОВА, ЛЕВ КОПЕЛЕВ. МЫ ЖИЛИ В МОСКВЕ. 1956—1980

Раиса Орлова и Лев Копелев — друзья академика Сахарова, Генриха Бёлля, те, кого у нас десятилетиями именовали диссидентами, а теперь мы признаем их совестью русской интеллигенции. Книга освещает противостояние лучших людей страны засилью застоя, рисует нравственные процессы в стране начиная с «оттепели». Широкая картина жизни интеллигенции за четверть века дополнена главками-портретами Анны Ахматовой, К. И. Чуковского, Евгении Гинзбург, А. Д. Сахарова и других «героев и мучеников» Совести.

КОНСТ. СИМОНОВ. ГЛАЗАМИ ЧЕЛОВЕКА МОЕГО ПОКОЛЕНИЯ: РАЗМЫШЛЕНИЯ О И. В. СТАЛИНЕ

Раздумья известного писателя о сложностях и противоречиях своей эпохи, связанных с именем Сталина, оценка и переоценка нравственных процессов в обществе и в литературе. Особая тема книги — «Сталин и война». Размышления самого автора, его военный опыт дополнены подробными записями его бесед с маршалами Коневым и Василевским, адмиралом Исаковым, материалами к биографии маршала Жукова.

А. Л. ТОЛСТАЯ. ДОЧЬ

Многие годы судьба и самое имя младшей дочери Льва Толстого в нашей стране замалчивались. А между тем судьба ее поразительна. В первую мировую войну графиня Толстая добровольно идет на фронт сестрой милосердия. Затем она — хранитель Ясной Поляны. Затем — Лубянка. Ее лагерные записи — ценнейшее свидетельство очевидца. Вторая часть книги — рассказ о Японии, куда А. Л. Толстая выехала в 1929 г. с лекциями об отце. Третья часть посвящена Америке, где А. Л. Толстая жила с 1931 г. Немало в книге ярких зарисовок крупных государственных деятелей, с которыми скрещивались пути автора.

1991

ЕВГЕНИЯ ГИНЗБУРГ. КРУТОЙ МАРШРУТ: ХРОНИКА ВРЕМЕН КУЛЬТА ЛИЧНОСТИ

Всемирно известная книга рисует все круги сталинских тюрем, лагерей, ссылки. Несомненный писательский дар, богатство и разнообразие характеров и судеб, обаяние личности автора привлекут к книге самые широкие круги читателей.

МАРК ПОПОВСКИЙ. ДЕЛО АКАДЕМИКА ВАВИЛОВА

Раскрыта одна из трагических страниц в истории советской науки — судьба выдающегося ученого-генетика Н. И. Вавилова, павшего жертвой беззакония в годы сталинщины. Книга, написанная в годы застоя, стала причиной вынужденной эмиграции автора. Увидела свет на Западе в 1983 г.

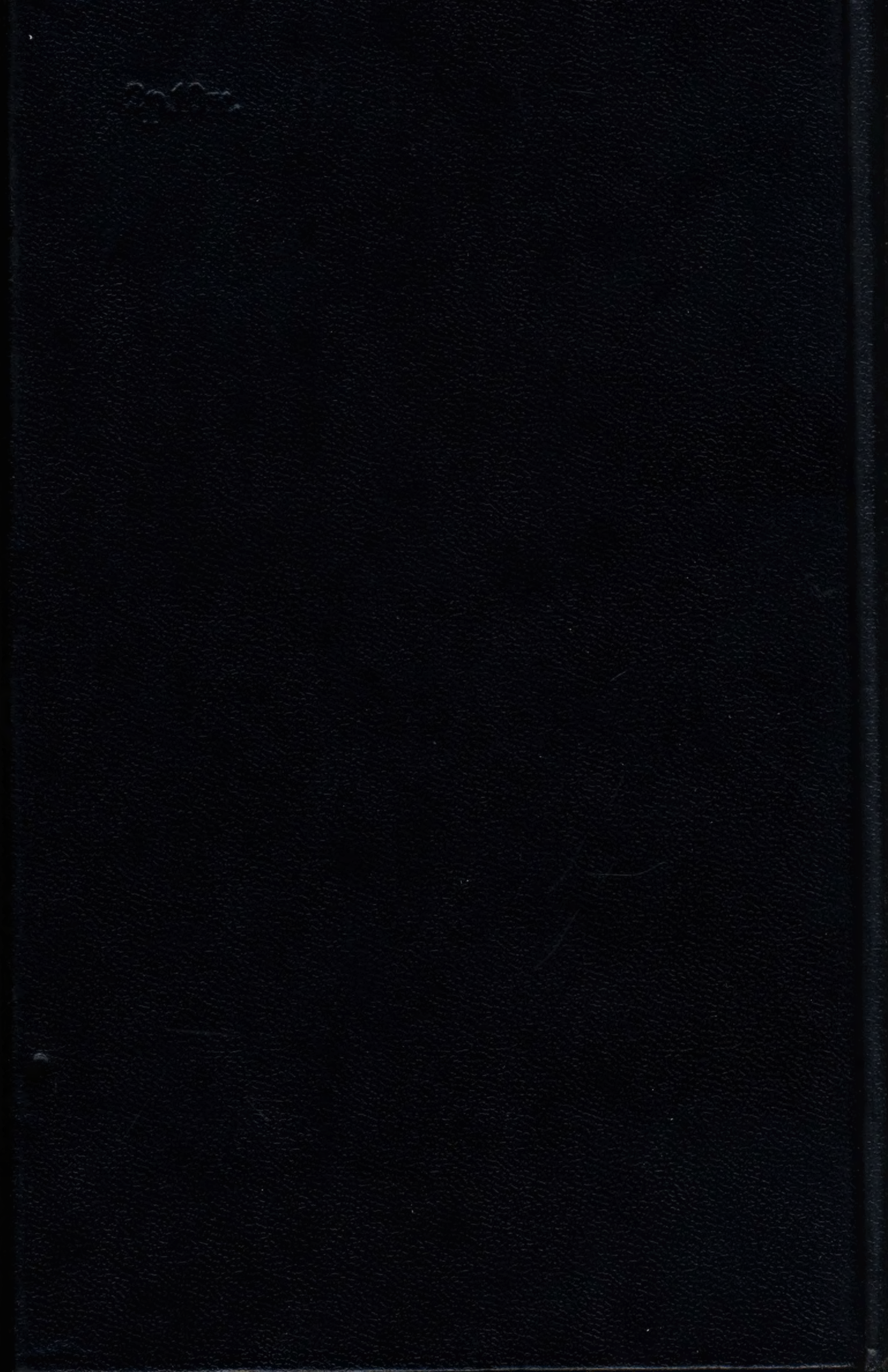
Э. И. КОТЛЯР. ГОЛГОФЫ В РАССРОЧКУ

Автор, прошедший путь от инженера до начальника конструкторского бюро на Сталинградском тракторном заводе, оказался затем в лагере и в ссылке в Заполярье. На опыте своем и своих товарищей рассказывает о судьбах людей в водовороте ГУЛАГа.










СТРУГАЦКИЕ
1 ХРОМАЯ СУДЬБА
2 ХИЩНЫЕ ВЕЩИ ВЕКА